Виталий
ВОЛОВИК

Избранные произведения

в 3-х томах

ИЗДАТЕЛЬСТВО
Премьер
Запорожье

2004

Издание осуществлено при содействии

запорожского городского головы
Е.Г. Карташова,

ректора Запорожского государственного университета
В.В. Савина,

ректора Запорожского областного института последипломного педагогического образования
Н.А. Фролова,

ректора гуманитарного университета ЗИГМУ
В.Н. Огаренко,

директора Запорожской дирекции АППБ “Аваль”
А.Ф. Билоусенко,

председателя совета директоров ООО “Компания «Александр»”
В.Ф. Кальцева

Виталий
ВОЛОВИК

Избранные произведения

ТОМ 1

ИЗДАТЕЛЬСТВО
Премьер
Запорожье

2004

УДК 883.В–3(477.64)
ББК Ш6(4Укр–4Зп)6
В68

Благотворительный Фонд
"Возрождение края"
(г. Запорожье, Украина)

Фонд "Отечество"
(г. Москва, Российская Федерация)

Воловик В.И.
В68 Избранные произведения. В 3-х т. — Запорожье: Премьер, 2004 — Т. 1./ Предисл. Евгения Лукьяненко, 2004. — 608 с.
ISBN 966-685-107-5

В том входит трилогия «Воля-волюшка», которая включает романы «Следы», «Пороги», «Вера», повествующие о событиях нашей истории первой половины недавно завершившего свой бег XX века. В произведении читатель встретится с Нестором Махно, Левой Задовым, Марийкой и Петром Задорожними, Никитой Прудкосвистом и другими потомками запорожских казаков в сложных, противоречивых, исполненных драматизма обстоятельствах, которые и составляют Жизнь.

УДК 883.В–3(477.64)
ББК Ш6(4Укр–4Зп)6

ISBN 966-685-107-5

© Воловик В., 1995
© «Премьер», оформление, 2004

АВТОР СЛОВА

Множество бед происходит мире. У нас в Украине — так уж несомненно. Одна из самых страшных, ещё и потому, что малоосознаваема, — утрата СЛОВА в его высокой значимости.

Читаемый ныне во всём мире японец Харуки Мураками делает убийственный вывод: “Засоряем мир всяким дерьмом — словами без сути и смысла.»

К сожалению, сегодняшняя массовая литература не только мало противоречит этому, но и сама почти повально опускается до словесной пошлости и бессмысленности. Не проверил, напечатана ли в каком-то сборнике шутка, которую процитирую. Помню её точно, ибо сам автор прочитал её мне однажды:

Михаил Александрович Шолохов
Для простого читателя труден —
И поэтому пишет для олухов
Михаил Александрович Дудин.

Сегодня я осознаю, что давнее дудинское четверостишие отражает, увы, нынешнюю всеобщую реальность. Современные «мастера слова» не только сами так чаще всего пишут, но у нас в Украине и национальную классику (Е. Гребинку, Панаса Мирного, И. Нечуя-Левицкого), а с ними вместе Д. Бокаччо, других выдающихся иностранцев пытаются сократить и адаптировать — соответственно уровню современного словосодержания и словопользования.

Шолоховых и Дудиных, Гончаров или Стельмахов, к сожалению, трудно теперь сыскать среди многонационального корпуса литераторов Украины. И равнять кого-то из ныне сущих с ПОДЛИННЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ кощунственно. Правда, есть Борис Олийнык и Лина Костенко... На них, на таких — вся надежда. Но пока состав ПОДЛИННЫХ ВЕЛИЧИН количественно сокращается: далеко не все могут собраться с творческими и духовно-нравственными силами, дабы в условиях доведенного до нищеты общества и смертельной «заботы» реальной власти о культуре, о её творцах создавать неконъюнктурные, стоящие вещи.

В этом контексте помимо удовлетворения от какого-то подлинного творческого успеха, с надеждой рассматриваешь художественно-творческий труд каждого непокоренного и талантливого человека как мужественное гражданское и профессиональное противостояние деградации культуры, активную причастность к её возрождению.

Виталий Иванович Воловик как раз из таких. Давний, испытанный ценитель, творческий соучастник и решительный защитник культурно-художественного прогресса. Более 40 лет уже — сам активно пишущий публицист, очеркист, исследователь-аналитик, умеющий достойно-убедительно изложить свои научные идеи, размышления и открытия философа, историка, педагога... И признанный, имеющий своего благодарного читателя прозаик, мастер литературы художественной.

Именно на профессиональном писательском творчестве Виталия Воловика и сосредоточусь в этом предисловии. Смело подчёркиваю, что художественная проза из-под его пера — явление ныне зрелого профессионализма, который утвердился не столько количеством написанного, сколько читательским распознаванием и признанием творческого роста автора — от книги к книге.

Отдавая должное незаурядной политической и научно-педагогической биографии этого писателя, приходится лишь сожалеть, что в силу общественного и гражданского призвания профессиональное литературно-художественное творчество не стало для него основным родом деятельности. Знаю, что как прозаик работает он в своё «свободное» от основной службы время. Впрочем, это удел абсолютного большинства украинских писателей. Смею предположить: будь литература основным его занятием — В. Воловик достиг бы большего, и мне бы, наверное, пришлось писать о нём по-другому, ибо непрерывное движение, мужание, профессиональный рост прозаика дали бы основание говорить более высокие слова о его таланте и мастерстве.

Мне попросту посчастливилось прочитать все его опубликованные (начиная с 1984 года) литературно-художественные произведения. Это художественно-документальная повесть о героических запорожских подпольщиках периода Великой Отечественной войны — «Обязаны выстоять» и два эпических полотна — историческая трилогия «Воля-волюшка», автобиографическая тетралогия «Время выбирает нас».

Юбилейный год активной литературной деятельности (20-летие) Виталий Воловик ознаменовал изданием романа «Блажен, кто верует...» (Запорожье, 2004) — заключительной части тетралогии.

Именно последний роман как раз более всего подтверждает накопление привлекательных и достаточно весомых результатов писательского копания, исповедального самокопания, поучительной для читателя аналитики автора, совершенствования мастерства его СЛОВА.

Известно, подлинное СЛОВО — очень ёмкое, многозначное, многоликое и многоцветное слово. Всё в нём — от элементарного житейского понятия до весомого дела и усваиваемой истины. Виталий Воловик, мне кажется, постоянно шёл к СЛОВУ и пришёл к СЛОВУ настолько дерзко и уверенно, что сам стал творить СЛОВО. Впрочем, что ему ещё оставалось, если его общественная жизнь сложилась так, что на всём её протяжении именно слово должно было служить для него основным инструментом ДЕЛА и самим ДЕЛОМ?.. Ничего не оставалось! В том случае, если он был ответственным в слове и в деле своей жизни, своей комсомольской и партийной работы. А Виталий Иванович, по моему глубокому убеждению, был и остаётся (это закал!) именно таким человеком.

Неслучайно же его автобиографический герой Мащенко, став заведующим отделом пропаганды и агитации обкома партии, так выражает своё отношение к своему делу-призванию : «...для Юрия пропаганда и агитация дело святое и никаких насмешек над ней, а тем более пошлости он терпеть не может». То приспособленцы увиливают от слова и дела, халтурят вовсю и, конечно же, не дорастают до подлинного ДЕЛА, до СВОЕГО СЛОВА в жизни.

Но давайте вернёмся к писательскому СЛОВУ В.Воловика, что не будет во вред общей оценке этого примечательного человека. Хотя бы потому, что речь поведём и об автобиографической тетралогии. А в ней уж (прочитайте и убедитесь) жизнь автора — как на ладони. «Время выбирает нас» — вещь исповедальная, честная, во многих местах с суровыми самооценками, почти из сплошного внутреннего монолога основного героя и автора. Особенно последний роман «Блажен, кто верует...».

Каковы же основные черты СЛОВА В.Воловика в его книгах?

Самое главное, по-моему, существо его выбора и главная стезя литературного творчества — осмысленный офилософствованный художественно-образный документализм.

Это касается не только тетралогии «Время выбирает нас», но и повести о подпольщиках «Обязаны выстоять» и романов о Несторе Махно, махновщине, о судьбах людей с той и с другой стороны гражданской войны, уже после неё — в социалистической стройке и в борьбе с фашизмом (трилогия «Воля-волюшка»).

Документализм В. Воловика — по-исследовательски скрупулезен, дотошен. В отступлении от подлинности автора не упрекнёшь. Это, быть может, в чём-то даже минус для него — боязнь переступить границу полной достоверности, фактической доказательности. Но зато это и большой плюс, имеющий как раз решающее значение для СЛОВА: настолько срастаешься при чтении с текстом, настолько веришь авторской правде и искренности, что

как естественное слово воспринимаешь и публицистические «служебные» размышления Юрия Мащенко, и даже достаточно многочисленные статистические показатели, которыми автор осмелился насытить роман «Блажен, кто верует...». Последнее, кстати, сегодня очень уместно, очень необходимо, очень оправданно. Когда из нашего сознания выхолащивают правдивое представление (у молодёжи) и память (у старших поколений) о великом историческом прошлом, важно осветить и выразить это прошлое яркими фактами и цифрами. Всё дело в том, как, насколько умело преподносятся такие факты и цифры: или примитивно и бездушно протарабаренными в хорошем вообще-то по замыслу «Слове к народу» газеты «Комуніст» или осмысленными в душевном размышлении героя, в потоке его сознания, в естественном смысловом течении повествования.

Кстати, так сказать, о неуязвимости документализма В. Воловика, в отличие от большинства читателей, я могу судить, сопоставляя им написанное с тем, что знаю сам, из личного опыта — систему дела, события, многих героев или их реальных прототипов (скажем, с Е.Д. Клерфоном сам работал в Донецком обкоме КПУ, а с общеизвестным Л.М. Кравчуком — в ЦК; прототип воловиковского Верхового стал прототипом и моего Верховея в ироничной повести «Холодная проза»).

Неотрывна от такого документализма аналитическая избирательность В. Воловика по отношению к жизненному материалу.

У кого-то из литераторов есть такая манера — хватая всё подряд, набивать торбу (тему, сюжет) и лишь, как говорится, опосля, уже излагая, что-то анализировать. У нашего же автора, как мне кажется, дело отлажено по-иному, соответственно его целостной натуре идейного человека, философа, историка, педагога, аналитика-прогнозиста: он совершает предварительный отбор материала, отсекает несущественное, лишнее. Конечно, не всё это удаётся, есть ведь у человека эмоции, привязанности, сентенциальные задумки... Но в целом у В.Воловика трудно найти что-то, не относящееся к тематической и проблемной основе повествования.

Не могу не сказать и ещё об одной сквозной особенности его литературного творчества. Речь как раз об особенностях авторского словопользования в прямом смысле этого слова. Во всех книгах — это образное СЛОВО. Ёмкое и, как правило, достаточно точное. Автор органически не приемлет, как он выражается, «словодристики».

И ещё одно. СЛОВО у В. Воловика во всех произведениях двуязычное — русское и украинское, ибо именно такова реальная языковая действительность, в которой живут герои В. Воловика, он сам.

Книги русскоязычные. Но в диалогах — так много сочной, естественно звучащей украинской мовы!

Такого русскоязычного автора, по-моему, никто не отважится упрекнуть в русификации литературы об украинской жизни. Скорее — наоборот. Я надеюсь, что, поскольку на украинском жизненном материале В.Воловик поднимает тематику и проблематику народной истории и теперешней жизни, которые одинаково существенны и для Украины, и для России, то, думается, что эта проза найдёт свою широкую читательскую аудиторию и в России. Тогда вероятнее будет говорить об участии В. Воловика в украинизации, подобно до XVII—XVIII веков, российской культуротворческой практики. И это, с моей точки зрения, вовсе неплохо... А проникновение в Россию для него ведь вполне возможно. Есть у соседей-братьев интерес к нему. Неслучайно московская газета «День литературы» уже писала о его исторической трилогии «Воля-волюшка».

* * *

СЛОВО В. Воловика, может, и не сегодняшнее — что в прямом, что в деловом, практическом его разумении.

СЛОВО, звучащее не «державным суржиком» наших государственных ерховночинцев (Лина Костенко) и не в бытовой стихийной образности безобразности или в подобном ей сегодняшнем «масхалтурном» книжном и радиотелевизионном исполнении; СЛОВО не с конъюнктурными, верноподданническими оценками действительности — такое СЛОВО может быть даже и не понято сегодня ведущими общественно-политическими силами.

Имею в виду реальную власть — ей правда и подлинные уроки прошлого вовсе ни к чему.

Имею в виду соперничающие с этой властью такие же, по существу, политические кланы — скорее всего они продолжат политику своих непосредственных предшественников.

Имею в виду и верхушечный состав левой оппозиции, где, говоря по-маркузиански, обосновались «одномерные» люди, сросшиеся с условиями режима и нуждающиеся в ярлыке оппозиционера навсегда. Этим тоже не нужен ни жгучий украинский художественный фильм «Ленин в огненном кольце» (1993), ни художественная проза такая, как у В. Воловика.

Но, пишет именно он, что отлитые из правды слова «превратятся в памятники. Как египетские пирамиды и скифские курганы, только ещё более святые и дорогие для Человека. Прошлое заговорит с настоящим во весь голос, открыто и прямо приглашая встре-

тить завтрашний день. Тот день станет началом великого времени Правды. И начинающее его поколение, высоко подняв над Землёю светильник жизни, провозгласит Закон: «Не сметь тревожить могилы предков. Не сметь вызывать на суд тени ушедших. Они не вернутся. Они сказали, что хотели и как умели. Они сказали всё, что могли». Разве не современное, животрепещущее СЛОВО? Как раз — оно! По-моему, правильное СЛОВО, звучащее для того, чтобы завтрашние люди сказали лучше, чем наше с В. Воловиком поколение, и, безусловно, не так, как сегодняшние официальные «властители умов». Время торжества такого СЛОВА обязательно придёт. Среди его авторов и защитников рад приветствовать своего друга, соратника, писателя и общественного деятеля Виталия Воловика.

Евгений ЛУКЬЯНЕНКО, *лауреат Международной премии им. Владимира Винниченко Украинского фонда культуры*

ВОЛЯ-ВОЛЮШКА

Р О М А Н – Т Р И Л О Г И Я

•

КНИГА ПЕРВАЯ

СЛЕДЫ

Посвящаю памяти
отца моего Ивана Алексеевича

1

Андреевка — обычное украинское село: не слишком большое и не так чтобы маленькое, с густыми садами, окружавшими приземистые хаты, что надвинули почти на самые глаза окон пышные соломенные шапки, беззаботно веселые среди буйной весенне-летней зелени и задумчиво печальные в осенне-зимнюю непогоду. С другого, правого берега Днепра растыканные в кажущемся беспорядке хаты напоминают сухой-пресухой горох. Будто кто в сердцах взял и швырнул со всей силой окаменевшие зерна, а они раскатились по земле и, остановившись у самой бурлящей воды, замерли, настороженно вслушиваясь: не бежит ли, не гонится кто за ними?

А тут и вправду есть чего опасаться. Словно по гигантским ступеням, летит, прыгает с порога на порог Славутич. Торопится на желанное свидание с красавицей Хортицей, что ждет его впереди. Он надменно и горделиво проплывает, оставляя без должного внимания уважительно стелющуюся перед ним паутину балок с нежными и загадочными названиями — Большая Бицулина, Малая Бицулина и Таволжанка, небрежно обтекает множество островов и вдруг натыкается на спину громадного каменного хряка. Порог лежит, распластавшись лениво между берегами, и никакого дела ему нет до того, что не место ему здесь, что он кому-то мешает. За то и имя такое получил — Лишний. Схватившись с ним и немного подпортив нарядную голубую шкуру, Днепр снова вырывается на свободу. Он едва успевает перевести дыхание, как приходится вступать в новый бой — с подстерегающим его Вольным порогом. С весны до самой зимы сердито ревет-разрывается Вольный. К ночи иной раз так разгуляется, что от дикого хохота его мурашки начинают ползать по холодеющему от ужаса телу и волосы на голове дыбом становятся. И так без устали изо дня в день. Лишь с наступлением морозов затихает Вольный. Но не сразу, не вдруг. Уже земля давно остыла, укрывшись на зиму белым одеялом, а Вольный все не хочет покориться холодной силе. Гнут морозы бунтаря, слабеет мощь его, но он живет, и еще долго слышится на берегу обиженно-сердитое старческое ворчание.

Ворчание... Ну да! Конечно, ворчание. Так когда-то ворчал их старый ослепший дед Савва, когда ругался с односельчанами из-за невозвращенных долгов. Собственно, никаких сельчан не было вовсе. Просто они возникали в больном воображении деда; сидя на ворохе старого тряпья, прикрывавшего доски его кровати, что стояла в коморе, он таращил стеклянные глаза, выкрикивая:

— Ага! Получишь! Наживешься! Костью поперек горла тебе мое добро станет. Костью! Богатеть захотел? Бач, шо надумал! Людей, людей не смеши, дурень голозадый. Бо-га-теть! Ось тебе! Ось тебе!

Дед Савва тыкал в пространство сухие грязные пальцы, скрученные в дули.

— На! На! Понюхай, свинячая морда. Ач, чего захотелось ему! Ач!

Он запрокидывал голову и, выставив вперед остренькую бороденку, заходился в неудержимом смехе. Не глядя, дед посылал в полутемное пространство перед собой то одну, то другую руку, скрученную в дулю, похрапывая и подвизгивая. Потом, видно, доведенный смехом до полного изнеможения, валился навзничь, и из глубины чулана доносились только тяжелое прерывистое дыхание и постанывание. Казалось, дед едва удерживает свою рвущуюся из широкой и плоской, как стол, груди душу, готовую вот-вот вырваться из тела и унестись в мир иной. Еще немного, и все будет кончено. Душа деда, которая представлялась малолетнему Никите в виде старой толстой вороны с длинным клювом и растопыренными когтями лап, вызволится и, взмахнув тяжелыми крыльями, ударит в стекло, вмазанное в стенку коморы. Послышится звон и наступит тишина. Никита страшился этого момента и в то же время ждал его. Нет, он не желал ничего дурного деду Савве, хотя боялся и его страшных выпученных глаз, и криков, и пугающего, с потрескиванием смеха. Просто думалось, что во всем виноват не сам дед, а эта противная ворона, которая никак не может вырваться наружу и дать покой деду. Деду и, конечно, ему, Никите.

«А может, ее уже нет? — вслушиваясь с замиранием сердца в наступавшую тишину, думал он. — Может, улетела? А как же стекло? Почему я не слышал, как оно разбилось?» Но тут из коморы вновь доносилось отрывистое бормотание деда, и все начиналось сначала.

— Ты шо тут огинаешься? — спросил его сердито отец, застав однажды у двери дедовой коморы.

— Дедушка там... Погано ему... Мучает его ворона, — испуганно вжимаясь в пахнущую соломой, глиной и еще чем-то стену, пролепетал Никита.

— Шо там за ворона? — удивленно вскинул лоскутки черных бровей отец. — Шо ты мелешь? Дед з глузду зъехал. Пойнял?

Никита непонимающе смотрел на отца. «Как съехал? — хотелось спросить ему. — С какого глузда?» В его детской памяти всплыл крутой спуск, покрытый заледеневшим снегом, укатанный немногими санками, досками и просто ребячьими штанами. Сколько раз он, Никита, стоял на той горе, казавшейся такой высоченной, с изумлением глядя, как отчаянно срывались вниз его сверстники, гиком и свистом отгонявшие собственный страх. Иные отчаюги так разгоняли свои отполированные до блеска доски, что доезжали чуть ли не до самой середины Днепра. Он завидовал этим хлопцам, но сам никак не мог заставить себя съехать. Знал, был уверен, что стоит один-единственный раз решиться и потом все пойдет как по маслу. Знал, но ничего с собой поделать не мог. Вот вроде все, совсем решился. Сейчас он подойдет к со-

седскому хлопцу Петру, которому позволил несколько раз съехать на своих санках в благодарность за то, что тот полдня катал его по селу. Подойдет и скажет: «Все, Петро, хватит. Дай я спробую». Но ноги не хотят его слушать. И губы нет никаких сил разжать.

— Никита! — подбегает к нему запыхавшийся после крутого подъема Петро. — Мо, спробуешь? Така красота! Аж дух забивает.

— Не, Петро! — трясет головой Никита. — Шо я, дурной — новое пальто пачкать?

Он сосредоточенно, по-отцовски хмуря бровки, начинает рассматривать полы новенького пальтишка, подбитого теплым мехом, которое на прошлой неделе привез ему отец из Александровска. Выискивает невидимые пылинки и, сокрушенно качая головой, смахивает их рукавичкой.

— Ну тогда я еще разок слетаю. Можно?

— Шо?! — неожиданно начинает злиться Никита. — Ты ж и так пять раз катался.

— Та какие пять! Только четыре... — пробует возразить Петро. Но Никита не дает ему договорить. Он весь кипит и, не снимая рукавичек, тычет под самый нос Петру дульки:

— Вот! Вот тебе на. Думаешь, я счету не знаю? Обдурить меня хочешь? Давай сюда мои санки.

— Тю на тебя! — растерянно лупает глазами Петро. — Ты чего? Сдурел, Дуля?

Услышав обидную кличку, которой и деда, и отца, и теперь, оказывается, его дразнят односельчане, Никита начинает злиться еще сильнее. Он просто закипает, как вода в чугунке, который мамка ставит на печку.

— Дай! — тянет к себе он задубевшую веревку от саночек. — Дай сюда, голодранец.

Он с силой дергает веревку, и старший, наверняка сильнее его, Петро уступает.

— Та бери. Бери свои санки, — пожимает плечами он и, мазнув рукавом старенькой фуфайчонки у себя под носом, добавляет обиженно:

— Бери и мотай отсюда. Не буду тебе больше конем. Проси — не проси, а не буду.

Рванув из рук Петра веревку, Никита уходит. Его душит обида; она застряла тугим комом в горле и не дает дышать. Он открывает рот и, глотнув упругий морозный воздух, заходится в плаче. А ведь знает, что во всем виноват сам: опять не смог одолеть страх. Знает, но не хочет признаться в этой простой правде даже самому себе. Всегда кто-то ему мешал. Чаще всего он винил Петра, который не раз подбивал его отважиться на рискованный шаг. «Гад! Падлюка! — ругал своего «верного коника» Никита. — Голодранец поганый. Не полезь ко мне он сегодня, я бы сам съехал с той проклятой горы. Обязательно бы съехал...»

Съехал бы... Съехал... Так то ж он мог бы. Петро, хлопцы... А при чем тут дед Савва? Как может он, старый слепой дед Савва, взять и съехать с этого самого глузда? Ой, чего-то здесь не так! «А может... может, татко шуткуют? Ну да! Так и есть. Шутку-ют». Обрадованный Никита поднимает голову, но наткнувшись на холодный, как лед, и колючий, как мамина цыганская иголка, взгляд отца, снова втягивает ее в плечи.

— Не бойся, нерозумное хлопья! — по-своему понимая причину испуга сына, скалит большие желтые зубы отец. — Дед не страшный. То в нем дурной голос кричит. От я его сейчас пугну трохи.

Толкнув носком сапога деревянную дверь, отец исчезает в коморе.

— Цыть, дурень старый! — доносится оттуда его приглушенный голос. — Цыть, кажу тебе, бо прибью. Дух выпущу!

Из коморы слышится какая-то возня, а вслед за ней странные звуки, напоминающие жалобный скулеж их щенка Бобки, когда его обидят.

— От так! — изрекает отец, выбираясь из низкой двери коморы. — Поучил трохи дурня старого. Теперь молчать будет, а ты марш на печку. Нечего шлендрать по хате.

Никита пулей влетел в комнату и настороженно затих в объятиях мамы. С ней всегда спокойно и ничего не страшно. Вот так бы сидел и сидел, прижавшись к теплой груди, к мамкиным рукам, согревающим голову, плечи, спину и, кажется, даже самую его душу. Только что это сегодня с мамой? Будто чужая, и руки... Руки незнакомые, неживые, вялые. Даже холодно от них. Такое ощущение, что он не дома, а на улице под холодным дождем. Крупная капля шлепнулась ему на шею и побежала вниз под рубашку, щекоча тело своими гладкими боками. Никита поднимает голову и хочет спросить о чем-то маму, но так и застывает с полуоткрытым ртом. Из мамкиных глаз одна за другой выкатываются слезинки и, как мальчишки с той высокой горы, бросаются вниз, катятся по щекам, оставляя на них мокрые дорожки, и срываются с подбородка, окропляя безвольно лежащие на его плечах руки, его рубашку и шею.

— Го-о-спо-оди! — покачиваясь, со свистом вздыхает мама. — Душить... Подушкой душить родного батька! Ой, людоньки-людоньки! И земля тебя носит. Носит, не расступится...

Никита знает из маминых сказок, что такое бывает. Расступается земля и забирает в себя поганых и злых людей. Но ему совсем не хочется, чтобы это случилось с батьком. Тот хоть и бывает сердитым, но все же свой, родной. А вдруг в ту самую яму, которая образуется, когда расступится земля, случайно попадут мама и он сам, Никита?

— Мамо! Мамочка! — просит он, гладя рукой мокрые мамины щеки. — Не надо. Не надо плакать. То татко так. Шуткуют. Пугают дурной голос деда.

— А шо ж! — со всхлипом соглашается мама, глядя заплаканными глазами куда-то за окно. — Шуткуе...

Однажды, придя домой крепко пьяным, отец снова решил попугать «дурной голос» не ко времени расходившегося деда Саввы. Да, видно, перестарался. Дед быстро затих и на этот раз навсегда.

В гробу, обитом черной материей, дед лежал спокойный и как будто обиженный. Отец ни на шаг не отходил от него. Он часто и громко сморкался, приговаривая:

— От так, люди. Такая жисть. И воров не было, а батька вкрали. Нема. Нема больше нашего папашки.

Похоронили деда Савву на старом кладбище, у самого берега Днепра, недалеко от той горы, с которой так и не отважился спуститься на санках Никита. С Казацкой могилы (так звался у них кладбищенский холм) все село, как на ладони. Да что там село! Считай, вся степь видна. Ну, может, не совсем вся, а только, когда отец с базара домой возвращается, он замечает его ого-го где. Правда, ходить на Казацкую могилу после смерти деда Никита не любил. Пока был маленьким, от одного вида ее страх одолевал: все казалось, что дед Савва проснулся и, выбравшись из-под земли, прячется за кустом и только выбирает подходящий момент, чтобы испугать кого-то своим страшным смехом. С годами Никита стал меньше бояться. Некогда леденящее детскую душу чувство страха отступало перед желанием послушать разные истории про поганского бога Перуна, что стоял когда-то в самом Киеве. Петро Задорожний, знавший множество таких историй, рассказывал, будто киевский князь, приняв святой закон Христа, свалил того бога на землю, оттащил к Днепру и столкнул в воду. Долго плыл тот бог, пока оказался между порогами и где-то за Лишним порогом превратился в высокий и скалистый остров, похожий на страшного змея. И зовется остров, как и бог тот поганский, Перуном. Кто его знает, брехал Петро или на самом деле такое когда-то было, но слушали его мальчишки с интересом.

Однажды, когда, заигравшись в казаков, оказались они вдвоем в засаде, поведал Петро историю про Казацкую могилу.

— На той самой могиле, — рассказывал, почему-то приглушив голос, Петро Задорожний, — с давних-давен казацкая варта стояла. Землю нашу от турок и татар берегла. Только порохнет в степу пылюка под копытами коней, а вартовой, шо на вышке высокой сидит, кресалом р-р-раз-раз и сигнал-огонь зажигает. Шоб за Днепром видать было и шоб люди ворога встречать готовились по хуторам и селам. Не знаю, правда то чи не, а токо люди говорили, шо тот сигнал-огонь аж на Сечи видно было. А там знали, как ворога встретить и как друга приветить. Немало ворогов было у казаков — и турки, и татары, и ляхи. Но и друзья верные были, а наипервейшими серед них браты с Дону. Сколько раз запорожцы и донцы один одного из беды выручали, сколько раз друг другу на помощь приходили, то только небу известно. Небу и святой земле нашей. Рассказывал мне дедуня, будто слышал он, еще когда сам малым был, как одного разу подъехали на коне до варты Кондрат Булава, друг его Гнат-казак и другие братки с Дону. Приветил их,

как положено, старшой варты Андрей и говорит: «Дорога дальняя у вас была, браты. Слезайте с коней та перепочиньте трохи разом с нами». А Кондрат Булава ему: «Эх, хлопче! Сели б мы с тобою та с твоими казаками. Выпили б по чарке, а то й по две. Може б, и песню сыграли. Но только спешим мы на Сечь за подмогою. Царь войной на нас идет, извести грозится.»

Уехали браты, а через несколько дней назад с подмогой вертаются. Только видит Андрей, шо мало ее, подмоги, значит. «Що ж так мало вас, хлопцы?» — спрашивает он запорожцев. А те плюются и ругаются, аж трава пригинается. Старшина наша, как сбесилась, кажут. Не хочет пускать казаков на Дон. Не хочет и все.

Такое, значит, дело. А почему не пускает их старшина? Шо там на Сечи вышло? Кто его знает. Вздохнул Андрей, утер шапкой выступившие от обиды слезы и говорит тем братам: «Ну что же, очень мне жаль, что так плохо вышло. Поехал бы и я с вами на Дон, да нельзя мне варту бросить. Так что не обижайтесь на меня.» Загудели казаки: «Не сумуй, Андрею. Неси спокойно свою варту, а мы как-нибудь сами повоюем царя.»

Сказали так и поскакали. Только пылюка за ними клубами пошла. Так и котится, так и котится. Будто след казацкий заметает. «Ой, не к добру это! — подумалось Андрею. — Как бы беды с казаками не приключилось». Но тут же прогнал страшную мысль. Головой чубатой тряхнул, три раза через левое плечо плюнул и стал смотреть в степь, в сторону татарскую.

День минул. Засерело. А тут скоро и смена варте пришла. Можно бы и отдохнуть трошки, но только нет покоя хлопцу. Уже и ночь на землю черным кожухом упала. Спать пора. Прислонил он голову свою до седла, шо заместо подушки было ему. Очи закрыл. Но сон не идет. Не идет, хоч ты тресни. «А чи не махнуть до Ганнуси?» — приплыла думка. Тут нужно сказать, что была у того Андрея кароокая красуня-дивчина, дочка старого хорунжего с ближнего хутора на том берегу. Любила она Андрея сильно-пресильно. Могла и раны лечить, и сердце успокоить, и сум-печаль снять. Как подумал про нее он, враз повеселел. Вскочил и на берег подался, где каючок стоял, к вербе привязанный. Отвязал его и поплыл. Да-а-а... Видно, дуже добре им вдвоем было. До самого утра миловались. Вернулся Андрей от своей красуни под самое утро, когда нужно опять на варту заступать. Стал он до варты, но только чует, как сон к нему лисою крадется. Тряхнет Андрей чубом, вроде прогонит его, но не тут-то было. Сон опять к нему подбирается, слова ласковые шепчет. Как быть? Знает ведь Андрей, что нельзя вартовому спать. Знает, но только бороться просто никакой моченьки нет. Воевал-воевал и в конце концов не выдержал, сдался. «День уже, — подумал про себя, — не полезут сейчас ни турки, ни татары. А я только трошечки задремаю». Кинул под голову сухого сенца Андрей и заснул. На его беду, откуда ни возьмись — турки выскочили из степи. Видят казацкую варту, а подходить боятся. Пустили на разведку своего черного ворона. Он

у них ученый был. Подлетел, глядит — спит казак. Он и выклевал ему очи. Прокинулся Андрей, кликнул товарищей своих, но было поздно: турки, подкравшись, их своими кривыми саблями порубали и на вышку лезут. Схватил казак саблю и давай махать. Бьет по поганым головам и саблям кривым, аж искры сыпятся. Но много ли может сделать один незрячий? Чует он, что силы оставляют его. Обидно стало ему, что с ворогами не справился, товарищей не уберег и сечевиков предупредить не сумел. «Эх! — с болью крикнул казак. — Простите, люди, что так оплошал я. Что беду до вас страшную подпустил. Простите и прощайте». Махнул напоследок саблей, и тут, то ли повезло казаку, то ли бог над ним смилостивился, а только сверкнула вдруг искра и огонь лизнул сухую, как порох, солому. Пыхнул костер сигнальный. Увидели его на другом берегу и забили тревогу. Кинулись на подмогу варте казаки. Турок отогнали, но Андрея уже не спасли. Побачила своего коханого Ганнуся и, как подрубленное деревце, упала на него.

Пожурились казаки, да делать нечего. Рядом с вартовой вышкой и поховали тех хлопцев, чтоб несли они свою вечную варту. Вскоре в изголовьях пять молодых топольков поднялись — в аккурат столько, сколько было казаков. И будто бы каждой весной, стоит лишь прилететь молодому степнячку-ветру, зачинают они песню. Какие слова в той песне, никто сказать не может. Говорят, поется она до того жалобно, что слезы сами из глаз катятся. Девчата считают, что слова те про казацкое кохання. Про любовь, значит. Не раз видели люди, как на могилу орел садился и долго сидел, слушая те тополики. Дедуня говорил, что то совсем не орел...

— Не орел?! — изумляется Никита. — А кто же?

— Кто, кто! Ач, какой нетерплячий. Слухай себе мовчки, — Петро хмурит брови и через какое-то время продолжает:

— Так от... Побил, значит, царь войско Кондрата Булавы. Багато побил. Но не всех. Какие из запорожцев в живых остались, похватали раненых на коней и додому, на Украйну подалися. Только старшина их обратно на Сечь не пустила. «Идите, — сказала, — откуда пришли. Где вечеряли, там и спать лягайте». Так и бедовали они в степи с ранеными братами. Пещеры в земле рыли, курени ставили, чтобы от дождя и снега уберечься. Какие из донцов после ран на ноги смогли подняться, так и остались насовсем в наших краях. Шукал их царь, войско за ними посылал, а люди добрые не выказали. Нащадки ихние и доси разом с нами по этой земле ходят. А еще говорят, что многих казаков с Дону самый верный друг Булавы Игнат Некраса за синее море увел. Он сказал им, чтобы не вертались додому, аж пока буде царизма. От они и живут там. И каждый год одного гнат-казака орлом обряжают и через море посылают смотреть места родные. Он и летит на Дон, всякий раз сюда завертая, шоб привет братам своим передать. Так дедуля говорил и еще приказывал, шо видел сам, как сердились те тополи.

— А чего? — не выдержал долгого молчания Никита. — Чего они сердились?

— Ты слухай. Мовчки слухай, — остановил его Петро. — Вроде скоро после того, как поховали тех вартовых хлопцев, недалеко от могилы хатка появилась. А слепил ее старый хорунжий для своей дочки Ганны, которая не захотела жить далеко от коханого. Скоро у Ганнуси сынок нашелся. Тоже Андрей, как и батько его. Так и пошло село наше...

— А тополи?

— Шо тополи?

— Сердятся чего, спрашиваю?

— Так то ж, когда воронья зграя на Казацкую могилу садится. Бывает и такое. Говорил дедуня, шо стоит лишь опуститься тому воронью, как тополи враз начинают шуметь листочками. Гнутся аж до самой земли. Иной раз кажется, что вот-вот сорвутся они с мест и кинутся, полетят на поганых птиц. Почему, спрашиваешь? В том весь и секрет; чуют тополи того ворона-чаклуна, который очи поклевал Андрею. Чуют и людям сказать про то хотят. Хотят та не могут...

Долго тот рассказ Петра не давал Никите покоя. В свисте ветра слышались стоны умирающих от ран беглецов, прячущихся от царского войска по ярам и балкам. Их измученные страданиями лица являлись во сне, заставляли просыпаться с тревожно бьющимся сердцем и, спасаясь от страха, прятать голову под подушку. На улице он пристально вглядывался в лица односельчан, пытаясь угадать среди них потомков оставшихся в живых донских казаков. Ему казалось, что и сейчас, через много лет, узнай об этом царь, тем людям не сдобровать. Что с ними будет — побьют их, станут вешать или посадят в тюрьму, Никита не знал. Но в том, что беды им не миновать, нисколько не сомневался.

Не выдержав, поделился мучившими его мыслями с отцом. Тот, выслушав рассказ сына, долго смотрел на него выпученными глазами и вдруг захохотал, почище порога Вольного, брызжа во все стороны слюной и хлопая себя по бедрам руками, похожими на крылья ветряной мельницы. Потом, обозвав самыми последними словами Петра, приказал Никите выбросить всякие глупости из головы.

— Поменьше слушай тех голодранцев, дурне теля, — закончил он, выдав на прощанье подзатыльник сыну.

Обозленный Никита на следующий день решил отыграться на Задорожнем.

— Ох и брехун же ты, Петро! — затеял он разговор, когда сельские мальчишки собрались на очередное гульбище.

— Ты про шо это? — изумился Петро.

— А про то, шо нема никаких гнат-казаков. Я у батька спрашивал. Пойнял? Так он мне на то сказал, что Кондрат Булава всамделе был. Только он ни за какую волю не дрался, как ты гово-

ришь, а хотел царя убить и сам на его место сесть. А никакого гнат-казака не было и нету. И ворона того не было. Сам ты его придумал. Если б он был, то уже давно б здох и кости его погнили б. Он у нас дед Савва совсем недавно как помер, а батько говорит, что уже и косточки его погнили.

— Э-э-э! — многозначительно покачал головой Петро. — Не знаешь ты, Никита, тех птиц поганых. Они ж по столько живут, что тебе и присниться не может. И про деда Савву твой батько брешет.

— Как брешет?! — вскинулся Никита.

— Ну, може, и не брешет, — поправился Петро. — А токо неправду он говорит, это точно.

Петро хмурит лоб, видимо, соображая, стоит или не стоит все говорить Никите. Потом все же решается.

— То дядьке Оверку хочется скорее грех свой с себя скинуть.

— Какой грех?! — зеленеет Никита. — Какой грех?! Шо ты мелешь, дурень?

— Сам ты дурной! — не сдается Петро. — Все люди говорят, шо дядько Оверко задушил деда Савву. Задушил, а теперь дедов шкелет ночами за твоим батьком гоняется и дули ему сучит. От так.

Никита готов был броситься на Петра с кулаками и бить его, кусать, царапать, но удержался. Не сделал этого, потому что хорошо знал, что Петро гораздо сильнее и в обиду себя не даст.

Убедиться в этом у Никиты имелся случай. И не один. Сколько раз отчаянный сосед выручал его от расправы сельских мальчишек, которые намеревались «дать чосу Дуленяте»! Никита и сам толком не мог объяснить, почему так случалось, что он вечно оказывался один против всех. Вроде бы все понимал. Хорошо знал, что нельзя ему ввязываться в мальчишеские споры. В самый разгар спора, иногда по самому пустячному делу, внутри него вдруг что-то обрывалось, и он переставал быть самим собой. Обида на соседского хлопца, который почему-то не соглашался с ним, Никитой, начинала вдруг подниматься, расти, заполняя собой все вокруг, перехлестывая через край, постепенно переходила в злобу, которая лишала его всякой воли. Он готов был броситься на Тимку Пересунька или Яшку Стешенка, с которыми только что играл, ударить палкой, бросить первый попавшийся под руку камень или просто тыкать дули им в лица, наслаждаясь унижением и болью.

— А-ну, когутки, разлетелись! — слышался откуда-то издалека голос Петра. — Чего опять не поделили? Руки чешутся? Ой, горе-горечко, мое! Ну шо вы за отакие люди?

Никита знал, что эти слова предназначены в первую очередь ему. Но никогда не признался бы в этом никому. И к Петру он испытывал всегда двойственное чувство. В глубине души, конечно, был благодарен ему за то, что вступился, не дал свершиться расправе. Но в то же время злило, что сверху оказывается не он сам,

Никита Прудкосвист, а Петро. А может, не вмешайся Петро, он и сам бы справился с обидчиками. «И тогда, — думал он, — хлопцы сами бы признали за мной верх. Был бы серед них за атамана. Слухали б меня и следом ходили, он как за Петром».

А ведь за тем действительно ходили. Да что там ходили! К нему, как мухи на мед, летели сельские хлопцы. Стоило только Петру появиться из-за старенького тына, как он моментально обрастал «казачьим войском». Начиналась подготовка к походу «на турка».

— Петро! Петро! — слышались ребячьи голоса. — Можно сегодня я буду твоим джурой? Можно?

— Не, хлопцы, — крутил белой, как сметана, головой Петро. — У меня есть верный джура. Правда, Микитка?

Никите хотелось послать его подальше и, скрутив дулю, сунуть голодранцу под самый нос. Хотелось высказать все, что он думает об этом «батьке Сирко» в латаных-перелатаных штанах, на которых не поймешь, где их материя, а где латки. Высказать и, повернувшись, независимо и гордо уйти, оставив в растерянности всю эту шантрапу. Ну что за непонятная сила была у Петра? Чем подкупал он мальчишечьи души? Не убогой же хаткой, которая чуть больше будки их, Прудкосвистов, собаки. Не сиротской же нищетой, в которой всю жизнь бедовали они с калекой-матерью и сестрой Марийкой, давней и тайной любовью Никиты.

Почему он, Никита, как ни хотел сделать по-своему, сколько раз ни собирался отказаться от должности джуры, которая представлялась обидной и унизительной для него, сына первого сельского богатея, так и не смог. Вроде совсем уже собрался сказать ему:

— Пошел ты под три черта хвостатых, Петро, со своим джурством. Нема дурных.

Остается только рот открыть и языком повернуть. Так нет же. Язык, как от кислого крыжовника, сводит, крутит, вялым делается, и вдруг он совсем неожиданно для себя ляпает:

— Я согласный, Петро.

— Согласный? — подрагивают в улыбке губы «атамана», и Никите кажется, что он своими темно-серыми, как днепровская вода, очами видит и читает его мысли. Сейчас рассмеется и, плюнув ему в лицо, выпалит: «Ах ты, паскуда! Та какой же с тебя верный джура? Черный ворон ты, шо смерти ждет казацкой. Погибель ему вещует». Никите даже страшно становится, и он втягивает в плечи голову. Но Петро молчит. Молчит и смотрит на него совсем не сердито, а даже по-доброму. «Нет, — с облегчением думает Никита, — не знает он моих мыслей. И прочитать не может, бо неписьменный».

— Согласный! — глотая липкую слюну, повторяет Никита. — Согласный я.

— Ну, раз согласный, то добре, — кивает сметанно-белой головой Петро и командует:

— По коням, хлопцы! Гайда турку воевать!

Свистнул «атаман», и понеслись-помчались «казаки». Только пылюка из-под босых ног пыхкает и тут же полохливо на землю ложится. Следы заметает и мысли тайные «джуры».

Однажды в играх своих шумных и буйных горохом скатились они на берег Днепра. Скинул Никита штанцы и, отшвырнув их от себя, стрелой рванулся к воде. Первым хотел хоть здесь оказаться. Но опять не повезло. Прямо перед собой череп оскаленный увидел. Отшатнулся в испуге. Глянул по сторонам: справа кости лежат, а слева вроде еще один череп.

— Ма-мо-чка! — крикнул и назад побежал.

— Чего ты? — кинулся к нему Петро. — Чего ты, дурной?

— Там... та-а-м — задыхался Никита. — Там шкелет лежит.

Никита думал, что, едва увидев череп и кости, Петро кинется бежать. А тот подошел, стоит себе и смотрит. Потом в руки череп взял. Подержал и осторожно под куст положил. Туда и другие кости снес.

— И как тебе не страшно? — спросил кто-то из хлопцев дрожащим от испуга голосом.

— А чего бояться? — пожал плечами Петро. — Когда-то такие люди, как и мы с вами, были. Видно, поховали их здесь, а вода вымыла. Хай полежат трохи. Мы их потом на Казацкой могиле знов спать покладем. Хай отдыхают, отходили свой век. Ну, гайда купаться, хлопцы.

Сказал и первым к воде побежал. Хлопцы за ним. Такой крикгам подняли. Будто и не было только что страшной Никитиной находки. Никита тоже купаться пошел. Только не стал далеко плавать. Возле бережка окунулся, а сам глаз от куста того оторвать не может. В голову мысли всякие лезут. Шо то за люди были? Откуда они? Может, казаки какие полегли тут, порубанные турками или татарами? А может, то хлопцы, что ходили на подмогу Кондрату Булаве, про которых Петро рассказывал? Сильно много раненых у них было. Кто-то и тут мог богу душу отдать. «А может... то деда Саввы шкелет?» — Никита содрогнулся от ужаса.

— Чур его! Чур! — забормотал он, как показалось, тихо.

Только Петро все равно услышал, будь он неладный.

— Шо ты кажешь, Микитка? — спрашивает, приглаживая ладошкой мокрую голову.

— Та ничего. То я так.

— А ты часом не боишься тех костомах?

Никита молчит, искоса поглядывая на Петра. Ему кажется, что тот обязательно должен посмеяться над ним. Но на лице Петра ни тени насмешки.

— Если боишься, то не надо, — сочувственно продолжает он. — Костомахи уже ничего сделать не могут. Он видишь? Лежат себе, как каменюки и палки. Ну и хай себе лежат. Не бойся. От давай подойдем до них.

Никите совсем не хочется этого делать. Но он медленно плетется следом за Петром. И тут... Тут опять неожиданность. Из-под куста, где лежат черепа и кости, тяжело взлетает ворона. Отлетев на несколько шагов, ворона медленно, будто лениво опускается на песок и упирается взглядом в остановившегося Никиту. Какое-то время они молча смотрят друг на друга. Вглядываясь в птицу, Никита находит в ней сходство с дедом Саввой. Такие же выпученные глаза; хищный клюв напоминает дедов нос, выгнутый турецкой саблей, и вся она, нахохлившаяся — точный дед Савва. «Это душа... Душа деда Саввы, — в отчаянии думает Никита. — Сейчас она пойдет на меня... Будет клевать... Только бы не в очи... Не в очи...» В ужасе он закрывает глаза, не в силах пошевелиться. Проходит время, но ничего не случается. Только глазам становится невыносимо больно, и он осторожно разжимает веки. Вороны перед ним нет. Потеряв к нему всякий интерес, птица неторопливо вышагивает по песку, оставляя дорожку из крестиков.

— Ну что ж ты, Никита! — доносится голос Петра. — Иди сюда.

А он стоит и завороженно смотрит на крестики. Что-то удерживает, мешает переступить их. Наконец, сердито махнув рукой, кричит:

— Та ну тебя, Петро, с твоими шкелетами. Додому пора. Папашка ругаться будут.

И уходит подальше от смутивших его крестиков.

Вернувшись домой, Никита не переставал думать о своей странной находке. О ней и о той дорожке вороньей из проклятых крестиков. Мысли почему-то все время вертелись вокруг деда Саввы. Он хорошо помнит, как деда положили в гроб, как заколотили гвоздями, а потом опустили в глубокую яму и засыпали землей. На могиле до сих пор стоит большой деревянный крест. Правда, теперь он не белый, как тогда, а серый и слегка покосившийся. Но все равно стоит. Он сам это видел, потому что каждый год вместе с мамой весной на кладбище ходит. Мама могилки поправит, посидит, поплачет, а потом целый день по хате печальная ходит.

И ночью вздыхает. Да так же тяжко. Как-то сказал ей:

— Мамо, а давайте не пойдем на те самые гробки.

— Бог с тобой, сыночек! — всполошилась, испуганно замахала на него, будто хотела своими маленькими, сухими руками слова его греховные от себя прогнать. — Нельзя! Нельзя, сыночек. Там же корни наши.

— Чьи корни?

— И мои, и твои, и татковы.

Что там за корни? Какие они? Давным-давно дед Савва показывал ему корни вывернутого из земли засохшего дерева. Так то ж дерево. А тут их корни. И как это они всех держат? И маму, и могучего, как дуб, отца, и его, Никиту, получается. Держат, а он и не чувствует этого. Ходит, бегает по земле. Нет, тут что-то не так. Может, никаких корней и нету совсем? Правда, говорит же мама,

что забрала земля деда Савву. Наверное, теми самыми корнями. Он же помнит, какие корни были у дерева — как страшные клешни. Такие кого хочешь затянут под землю. Придет время, маму с батьком заберут. Потом и его самого. Тьфу ты! Страх какой в голову лезет. Вот возьмет он и в орла-птицу обернется. Будет себе летать. Высоко-высоко. Никакие корни не достанут. Поднимется в небо и оттуда на землю смотреть станет. Или в ворона превратится. Говорила мама, что они ой как долго живут. А что? Ходи себе по земле важно да по сторонам поглядывай. Только нет. Вороном он не будет. Что-то недоброе есть, пугающее в этих птицах...

Однажды не вытерпел он. Взял и рассказал Марийке Задорожней про тот случай на берегу. Никита и сам не знает, почему он к ней тянется. Девчонка как девчонка, как другие. Да чего там другие! Вон их сколько. И побогаче, и покрасивее. Так нет же. Не нужны они ему. А вот с Марийкой всегда интересно. И нет от неё никаких секретов. Иной раз злился на самого себя. Слово давал, что не подойдет больше к ней и ни о чем не расскажет. Но стоило появиться Марийке на улице, как обо всем забывал. Да-а... Слушает она его, а глазищи ее все больше и больше становятся. Будто заманивают, растворить в себе хотят. А он и вправду оторваться от них не может и все говорит-говорит, словно боится, что на самом донышке души что-то останется невысказанное, чего она, Марийка, знать не будет.

— Ой, Микитушка! — едва шевелит губами маленького рта Марийка. — Страх какой! Ты ж не стал на них? Не наступил на те крестики?

— Не! — трясет он головой, чувствуя, как ужас холодным льдом сковывает его ноги и руки. — А что? Нельзя?

— Никак нельзя. Говорила наша бабуся, что тот, кто наступит на воронячьи крестики, всю жизнь свою через кладбище ходить будет.

— Правда? — выталкивая застрявший вдруг в горле воздух, шепчет Никита. — Так я не... Я не наступал на те крестики. Не наступал.

— Слава богу! Слава богу! — по-взрослому отвечает Марийка.

Сейчас она чем-то похожа на его маму. Ее хочется слушать, ей хочется верить.

Из-за Марийки Никита даже готов простить Петра, которого ненавидит. Это, пожалуй, единственная тайна, которой он не может с ней поделиться. Он знает, что, ненавидя Петра, желая ему всяких бед, поступает плохо, но ничего с собой поделать не может. Это выше его сил. Иногда ему становится стыдно за свои недобрые чувства к Петру, который в общем-то ничего плохого ему не сделал. Наоборот, с Петром было связано много хорошего. Но главное — Марийка. Это ради нее он уговорил отца взять ее брата в работники.

— Та ты шо, сыну?! — изумился отец. — Так Петро больше съест, чем наработает. Они ж, голодранцы, до работы не приучены.

— Нет, — с удивительным даже для самого себя упрямством убеждал Никита. — Ты не знаешь Петра. Он сильный, работящий. Вот увидишь.

И отец согласился, к великой радости Петра, а главное Марийки. Был доволен и Никита. И не только потому, что сделал доброе дело для Марийки, в доме которой частенько не было и корочки хлеба. Была и другая, не менее важная причина. Теперь у Никиты появилась возможность командовать Петром на правах молодого хозяина. И этим своим правом он незамедлительно стал пользоваться. Следил буквально за каждым шагом нового батрака, не давал, что называется, минуты отдохнуть. Едва тот оканчивал работу, как Никита спешил к нему с новой.

— Слышь, Петро, — нарочито растягивая слова, начинал он:

— Наказали татко, шоб ты яму он ту загорнул.

— Так я только вчера ее выкопал, — недоумевал Петро. — Говорили ж, что погреб тут будет.

— Говорили, говорили, — супил брови Никита, подражая отцу. — Вчера думалось так, а сегодня переиначили. Понял?

— Та чего ж не понять? Все ясно. Раз треба, значит треба, — покорно соглашался Петро и брался за работу.

А тем временем Никита придумывал ему все новые «приказы», как он называл их про себя: то чистить у свиней или в конюшне, то перекапывать в очередной раз огород, то менять воду в кадушках, то подправлять только что поставленный забор. Ему хотелось дождаться, когда же Петро выдохнется, выбьется из сил и хоть словом или взглядом выдаст свою слабость. Но Петро держался и не подавал виду. «Что он, двужильный?! — начинал злиться Никита. — Неужели ему не хочется бросить все и отдохнуть. Вот так просто сесть на эту дубовую колоду или лечь в холодочке, раскинув руки на траве. Неужели не хочется? Ну, скажи, скажи, давай, мол, Никита, отдохнем трошки. Так нет же. Только сопит и желваками играет. Не хочешь просить, ну и черт с тобой». Он оставлял Петра одного, уходя вроде по своим делам, а сам прятался и наблюдал за ним. Больше всего Никиту удивляло, что при всем при том отношение Петра к нему совсем не менялось. Он попрежнему был с ним добрым и отзывчивым. Даже джурой своим оставлял в их мальчишеских забавах. Правда, участвовал сам в них, к великому огорчению босоногих сечевиков, значительно реже. До игры ли ему было, когда работы в их хозяйстве (и без его «приказов») все прибавлялось. Отец каждый год прикупал землю, росло число свиней, хрюкающих в новом свинарнике, появилась своя молотилка. Но самой большой гордостью Оверка Прудкосвиста была восьмерка коней. Где бы ни был он, в какую бы пору ни возвращался домой, обязательно заглянет в конюшню. Каждого обойдет, общупает, проверит, все ли делалось для его любимцев, и все разговаривает с ними:

— Ну шо, мои хорошие? Шо, мои милые? Чи нихто вас не зобижал? Не? Чи добре-хороше вам тут?

Если все в порядке, выходит из конюшни, как из церкви после причастия. И такое блаженство, такая благодать на его лице написаны, что даже трудно поверить, будто это тот самый Оверко Прудкосвист, который, как говорили, за собственную копейку готов горло рвать, убить кого угодно. Впрочем, вскоре Никита сам имел возможность в этом убедиться.

Однажды послал его отец с Петром коней купать на речку. По дороге хлопцы прицепились:

— Возьмите нас с собой на купание.

Петро едет себе молча, а ему, Никите, будто нечистый на ухо шепчет: «Возьми, возьми!» И думка шальная — скок в голову: «От тут мне и стать атаманом!» Враз какая-то чертячья сила выгнула грудь его колесом и голосом чужим команду подает:

— А ну, казаки, по коням! Сотня, за мной!

... Погуляли они тогда славно. Полдня по степи гасали. Потом со всего лета — в воду. Помнит Никита, что у него даже сердце остановилось. Конь сперва затрясся в ознобе, а потом вроде ничего, отошел. Только когда из речки выбирались, какой-то он не такой был. Прежней резвости в нем не чувствовалось, игривости, что ли. Подумал, что от усталости присмирел Гнедко.

А оно не тут-то было. Нельзя его было разгоряченным сразу в воду пускать. Вредно это, оказывается, для их конского здоровья. Только он-то, Никита, ничего этого не знал.

Привели они с Петром коней во двор, поставили на конюшню и другими делами занялись. Мало ли их у селянина в горячую летнюю пору? Помнит Никита, что устал тогда чертовски. Вроде не очень позднее время, но спать хочется просто спасу нет. Прилег на кровать свою, что стояла в коморе, где раньше дед Савва жил, и тут же задремал. Вдруг во дворе крик, гам. Его будто подбросил кто. Вылетел из хаты и остолбенел. Озверелый отец с налитыми кровью глазами свалил на землю Петра и месил его сапогами, хрипя перекошенным от слепой люти ртом:

— Не свое! Не-е-е сво-о-е губишь, быдло!

Увидев эту сцену, Никита сразу догадался, в чем дело, и задрожал от ужаса: «Сейчас кончит Петра и за меня возьмется. Треба бежать». Но страх сковал его, не давая сдвинуться с места. Из оцепенения вывел душераздирающий крик матери:

— Рятуйте, люди добрые! Убьет хлопца катюга проклятый! Маленькая, как воробышек, она вдруг, сжав кулаки, бросилась к отцу и тут же, от страшного удара, рухнула на землю.

— Та-а-тко!!! — придя наконец в себя, завопил Никита, все еще не двигаясь с места. То ли этот его крик, то ли вид матери, которая срубленной тополей лежала на земле, беспомощно раскинув неестественно маленькие, как у девчонки, руки, не подавая признаков жизни, заставили отца остановиться. Он медленно, будто после долгой и трудной работы, разогнул поясницу и, выпрямившись, удивленно огляделся вокруг. Замер. Только кроваво-

красные глаза продолжали вращаться, не в силах остановиться, успокоиться. Отец метнул взгляд на мать, резанул им Петра, который отползал, прикрывая рукою разбитое в кровь лицо, и уперся им в дверь конюшни. Всхлипнув с подвывом, он опустил плечи и косолапя побрел в глубь сада. Всем своим видом отец напоминал медведя, которого цыгане как-то водили на ярмарке, показывая его падкой до всяких диковин публике. Только цыганский медведь, хоть был огромным и сильным, никому зла не причинял, и никто его не боялся. Даже наоборот. Хотелось его погладить, почесать за ухом. Словом, никто его всерьез не воспринимал, считая просто смешной и неуклюжей игрушкой. Здесь же был настоящий зверь. Опасный и страшный.

Почти две недели мать не вставала с постели. Да и когда поправилась, до конца дней своих не смогла продохнуть мужнину «ласку». Раньше мать тоненькой былинкою при отце жила, любые обиды его сносила, каждое желание выполнить спешила. Гнулась-стелилась перед ним. И вот будто подменили ее. Куда только боязливость ее бабья делась. Слова, бывало, не смолчит отцу. Тот вроде и не замечал этих перемен. Больше того: Никите иногда казалось, что отец как будто радуется ее смелости, нарочно подыгрывает матери своими грубоватыми шуточками.

— Шо в мене за жинка? — затевал он, сидя за столом. — У людей жинки як жинки, хочь у плуг запрягай. А тут не поймешь, як и за шо твоя горобьяча душа держится.

— Сам выбирал! — резко бросает мать, даже не взглянув в его сторону.

— Та сам же, сам, — пытаясь удержать тоненькую ниточку разговора, вздыхает отец. — Ото ж думал, шо легше тебе прокормить такую малую будет. А теперь, бач, приходится самому отакого хозяйского воза тянуть. Мо, када Микита подрастет, легше будет. Га?

— А то я уже не знаю. Отнесете мать на кладбище и делайте, что хотите. Без меня хозяйнуйте.

Такой поворот дела отцу не нравится. Он начинает хмуриться и замолкает. Только слышно, как со свистом всасывает в себя борщ, поднося ко рту переливающуюся яркими красками деревянную ложку. Окончив есть, он аккуратно вытирает ложку кусочком хлеба и бросает его в рот. Затем, положив ложку вверх дном рядом с миской, встает из-за стола. Молча одевается, сердито прикусив уголками губ кончик пожелтевшего от табачного дыма уса, и надолго уходит, неизвестно куда. Никита видит, что отец даже хозяйством стал меньше заниматься. Иногда зайдет на конюшню, походит вокруг своих любимцев, а остальное двум работникам доверяет. Вслушиваясь в тишину, которая давит его, перехватывает дыхание, Никита испытывает огромное желание пулей рвануться из ставшего вдруг тесным дома и, раскинув руки, упасть на землю. Упасть и лежать, упиваясь чистотою вечернего

воздуха, напоенного такими знакомыми запахами степных трав, возвращающего покой и силы свежестью Днепра, которая накатывается сюда, к их хате, аж с самого берега, что далеко внизу милуется с речкой.

И еще ему не хватало Петра. После того случая он только один раз и появился на их дворе — получить расчет. Отец, пряча глаза, предложил ему остаться работать, но Петро, едва шевеля распухшими, как переспелая груша, губами, ответил с улыбкой:

— Не, дядько Оверко. Хазяйнуйте уже сами.

Никите показалось, что и та Петрова улыбка, и эти слова, сказанные с каким-то обидным значением, предназначены не столько отцу, сколько ему самому. Чувство вины, которое он совсем недавно испытывал перед Петром, пострадавшим из-за него, мгновенно исчезло. На смену пришла злость. «Ах ты ж, голодранец! — криком кричала душа Никиты. — Вот так ты, значит, отблагодарил меня за мое добро? Хочешь, чтоб я повинился перед тобой? На колени стал? Не дождешься! Ось тебе. Ось!» Скрипя зубами, он до боли сжимал пальцы, скрученные в дули, которые потели в карманах штанов. Он злился на Петра, люто ненавидел и в то же время страстно желал помириться с ним. Ведь вместе с Петром от него отдалился, отвернулся весь мир. Все хлопцы, а главное — Марийка. Тихая и ласковая Марийка, которая одна на свете могла его понять. Понять и поддержать —когда словом, когда взглядом, а то и просто своим присутствием. Она даже не знала, не догадывалась, какая сила скрыта в ней.

Это было его и только его второй тайной, с которой он ни с кем не хотел делиться. В том числе и с Марийкой. Больше того, от нее Никита оберегал свой секрет в первую очередь. Ему казалось, что стоит только открыться, как Марийка потеряет к нему всякий интерес, и тогда пропадет, разрушится что-то очень важное, без чего он не только лишится покоя, необходимого его душе, как тенек в летний зной, но и не сможет оставаться самим собой.

«И чего оно так получается? — думает Никита. — Что за сила человека на человека наводит? Узнал же тот Андрей, про которого говорил Петро, шо десь там живет Ганнуся. А она про него. Ну нехай то давно было. Може, и збрехав чертов Петро. Только нет. А батько с мамой? Не. Шо не говори, а хтось-то сводит людей. Сводит и все. Може, и нас з Марийкой оно свело? Мы и знать ничего не знаем, а уже один без одного — никуда. От чудасия так чудасия. Выходит, хочешь — не хочешь, а быть нам рядом с Марийкой».

Но время шло, а прежние добрые отношения с Марийкой все не налаживались. Теперь и на Петра надежды не было. После того, когда Петро получил расчет у батька, он совсем исчез из села. Ходили слухи, что устроился хлопец на Брянском заводе учеником то ли литейщика, то ли слесаря. А, может быть, это люди только догадки свои высказывали. Свет вон какой широкий. Иди себе, куда захочешь. На все четыре стороны. Собрался и иди. Да и

что там тому Петру собираться? Как голому подперезаться. У Задорожних и хозяйства всего-ничего — клапоть огорода да пяток курок-замухрышек, что жались к старенькой, покосившейся хате. Будто стыдились в своем жалком виде на улице показаться. Ну, еще рыжий лохматый пес Турок, который неотступно следовал повсюду за Марийкой, демонстрируя всем видом неподкупную собачью преданность и готовность защитить хозяйку от любого обидчика. Провожая взглядом девчонку, Никита посылал самые страшные проклятья на несчастную голову пса, поскольку теперь считал Турка главным препятствием на пути их перемирия с Марийкой. Одно время даже собирался отравить ненавистного лохматого стража. Но его приготовления обнаружила мама.

Мама вообще умела угадывать настроение Никиты и, как ему порой казалось, даже читала его мысли. Вскоре после смерти деда Саввы затеял Никита войну против скворцов. Выменяв у кого-то из соседских хлопцев рогатку за грудку украденного дома сахара, он подстерегал птиц, радуясь каждому попаданию.

— Что ж ты делаешь, аспидов сын?! — поймала его однажды за руку мама, когда он целился в очередную жертву. — Зачем безвинных шпаков губишь?

— Чтоб воронами не стали, — насупился Никита.

— Какими воронами? — всплеснула руками мама и тут, видно догадавшись, о чем думал сын, улыбнулась. — Дурачок ты мой. Та разве вороны из шпаков вырастают?

— А из кого? Не из горобцов же. Они же серые.

— Совсем дурачок ты еще, — прижала к себе его голову мама. — Ну что мне с тобой делать? Как рассказать, чтобы понял ты? Что у каждой птицы свои детки есть — и у горобчиков, и у шпаков, и у ворон. И чтобы вороном стать, нужно вороненком народиться. Я тебя родила, чтобы человеком ты стал. Понимаешь? Правда, и по-другому бывает. Господи! Сохрани и помилуй.

Она еще сильнее прижала его к себе, продолжая что-то шептать...

В этот раз мать застала Никиту в сарае, где он с остервенением толок стекло — хотел завернуть его в хлебный мякиш и подбросить вечно голодному Турку.

— Для чего ты это делаешь, сынку? — каким-то незнакомым, чужим голосом спросила она, неотрывно глядя на Никиту полными ужаса глазами. — Может, матери своей? Ненужная вам с батьком стала?

— Вы что, мама! — вскрикнул пораженный Никита. — Я ж люблю вас! Люблю! Чуете?

Мать обессиленно присела на перевернутое вверх дном деревянное корыто, из которого кормили свиней. Закрыла лицо руками и беззвучно заплакала.

— Не нужно, мамо! — бубнил Никита, не решаясь приблизиться к ней. — Чуете? Не нужно. То я Турку. Собаке Задорожних.

— Собаке? — подняла заплаканные глаза мать. — А ей зачем? Ее за что изводишь?

— А чего она, как пришитая, коло Марийки? Чего?! — со злостью выпалил он.

Некоторое время мать молча смотрела на него. Выражение ее глаз несколько раз менялось. Вначале безысходно тоскливые, полные горючих слез, которые, казалось, вот-вот побегут, покатятся тоненькими шнурочками ручейков по щекам, они вдруг наполнились лютой злобой, невесть откуда взявшейся у всегда доброй и душевной мамы. У Никиты было такое ощущение, что сейчас эта злоба выскочит из маминых глаз и испепелит, уничтожит все вокруг, в том числе и его самого. Но больше всего Никиту поразил страх, который стоял в маминых глазах.

— Неужели? — еле слышно прошептала мама. — Неужели и ты пойдешь к своему счастью через горе людское, как батько твой? За шо ж мне кара такая, господи? За шо?

После этого невидимая ниточка, которая связывала Никиту с матерью, будто лопнула, оборвалась. Мать продолжала вести всю работу по дому — кормила скотину, доила коров, варила еду, стирала. Но их с отцом даже не замечала, как будто и не было их вовсе в доме. Молча поставит миски на стол и прячется за печку. Уберет и — опять на свое место. Словно не человек она, а мышь бессловесная, что ли.

Незаметно для себя Никита потянулся к отцу. Нельзя сказать, что в нем пробудились какие-то нежные чувства, любовь сыновья. Нет. Просто интересно стало, чем отец занимается. А отец как раз в силу входил. Земли у разорившихся соседей прикупил. Будто своей мало было. А однажды вечером совсем ошарашил его, заявив:

— Так от, Микита, порешил я мельницу ставить. Нам сгодится, и заработать на ней добряче можно. Думаю, шо и тебе пора за хозяйство браться. Твое оно будет. Пошлю тебя на мельника учиться. Пойнял?

Ничего не ответил отцу Никита. Только кивнул согласно и глаза опустил, пряча в них вспыхнувшую радость: «Хозяином буду! На Марийке женюсь!»

Неизвестно, как бы обернулось дело, если б не революция, которая напрочь выбила у них с отцом почву из-под ног. Выбила и понесла болтать по жизни, как щепку ревучая днепровская вода, так и не дав прибиться к своему берегу...

2

Никита любил ездить с отцом в Александровск. Потом, с годами, побывав во многих больших городах, он поймет, как был мал и незначителен этот захолустный городишко в сравнении с огромными каменными мирами. Тогда же Александровск казался чем-то необыкновенным. Идут, бывало, по городу, а отец шепчет с благоговением, вроде не на улице они вовсе, а в церкви святой во время службы:

— Смотри, смотри! Та вон замка, значится, что вылупилась на нас агромадными стеклами, самого Коппа.

— Это кто ж такой? — тоже почему-то шепотом спрашивает Никита.

— У-у-у! — делает трубочкой губы и закатывает под самый лоб глаза отец. — Это ж... Это ж самый что ни на есть первый богатырь на увесь Александровск. Та шо там Александровск! Такого и в губернии не найдешь. А той вон — господина Мензиса. Два пузатенькие — Фукса и Клейнера, а подале их — Леппа и Вельмана...

Говорит, а сам рукой за голову держится, будто невидимую шапку снимать собирается. От почтения, значит. Да-а!

— Видно, сильные они, тато!

— Кто? — растерянно лупает глазами отец, думавший о чем-то своем.

— Ну эти самые Каппы, Фуксы, Клейманы...

— Клейнер! Дурья башка, — беззвучно смеется отец. — Клейнер. Таких людей знать надо. Сильные, говоришь? Еще как! Только сила ихняя не в руках, значится, а в грошах. Слышишь? В грошах. Она любую силу перешибет. Кого хошь в дугу скрутит. Разве что царь один посильнее их будет.

— А они, видно, не из наших? Ну, эти самые богатыри.

— Не-е-е. Немцы! — решительно и коротко бросает отец, но тут же тень сомнения набегает на его лицо. Он погружает свою короткопалую пятерню в волосы, медленно шевелит толстыми мясистыми губами и роняет. — А може, и евреи. Бес их разберет. Токо все одно разумные люди. Разумные! Бо гроши и дурень любит, а плывут они до разумного. Пойнял?

Никита молча кивает. Он знает, что отец не любит много говорить. И то, что сегодня им сказано, связано с чем-то особым, важным, понятным только ему, до чего он, Никита, еще не дошел. И спрашивать не положено: можно рассердить отца, который не терпит недотеп. Ну, да ладно. Вокруг и без этого столько интересного; что глаза разбегаются.

Улица Соборная камнями выложена. Да не простыми, а ровненькими и гладенькими. Один к одному лежат, будто булки на ярмарке. Даже ступить на них боязно. Непонятно, как это могут люди ездить по ним бричками и тарантасами. Вдоль мощенки кир-

пичная дорожка праздничным рядном стелется; даже виноватым чувствуешь себя за то, что не разулся, а прямо в сапогах, поскрипывающих от новизны, пахнущих дегтем, топаешь по этой красотище. Идешь и с опаской поглядываешь на фонарные столбы которые важными городовыми по Соборной до самого храма выстроились. Стоят себе, и кажется, будто смотрят на тебя стекляшками своих будочек-фонариков. По вечерам те будочки светом наливаются, расплескивая его вокруг себя, высвечивая главную улицу Александровска. И тогда каменные булки блестят и играют. Чистый тебе Днепр лунною ночкой.

— Это ж сколько керосина зараз выпаливается! — не сдержал Никита однажды своего изумления.

— И-и-и! — скривился презрительно отец. — Керосина! Дурне теля! Электрика то. Он там, бачишь, фортечка из цеглы красная стоит? То станция. Электрику по улице и хатах гонит. Пойнял?

— Ага, — кивает Никита, зажимая в себе другие, рвущиеся наружу вопросы. А их у него много. Как, например, эта самая станция электрику гонит? Из чего та электрика сделана? Или, скажем, почему в одних хатах окна светятся, аж очам больно, а в других только чуть желтеют? Есть и совсем темные, как в их Андреевке.

В Александровске Никита впервые услышал, как ревут заводские гудки, надсадно, с хрипом и присвистом скликая рабочий люд. Здесь увидел первый в своей жизни паровоз, который легко, без натуги тащил за собой целую низку зеленых вагонов. Тогда родилась у него мечта выучиться на машиниста и однажды из будочки дышащей паром машины, чем-то похожей на черный от ваксы сапог, глянуть свысока на изумленно стоящего где-то внизу Петра Задорожнего. Глянуть и отвернуться, чувствуя затылком, с какой завистью смотрит на него Петро, признавая наконец первенство за ним. Именно поэтому Никита так обрадовался, когда отец предложил ему ехать в город на мельника учиться. «Черт с ним. Дай только до города добраться, а там видно будет. Найду, где на машинистов учатся. Выучусь, а потом Марийку заберу. Вместе будем». Так думалось, а вышло совсем по-другому.

... В тот зимний вечер отец вернулся из города какой-то странный. Молча кинул коней работникам и, сердито сопя, направился в хату. К еде, которая дожидалась его на столе, накрытая рушником, даже не притронулся. Только хлопнув ладонью со злостью о донышко бутылки, влил в себя один за другим два полных до краев стакана казенки. Поставил стакан и с силой отшвырнул его от себя. Стакан отлетел на краешек стола и, не удержавшись, хлопнулся на пол.

— На счастье! — хихикнул Никита, пытаясь подладиться к отцу. Но тот даже бровью не повел. Спрятав лицо в короткопалые волосатые руки, он долго сидел молча и тяжело дышал. Казалось, вот-вот отец зайдется горьким плачем. Но что-то ему мешало и всякий раз вместо плача он только всхлипывал и начинал поску-

ливать. Будто маленький обиженный щенок. Никите вначале было чудно слушать эти странные звуки, и он едва не засмеялся. Потом стало жаль отца. Захотелось утешить его, и Никита вопросительно взглянул на мать. А ее, казалось, совсем не интересовало то, что происходило в хате. Она неторопливо двигалась по комнате, будто плыла в тихой воде, неслышно обходя их обоих. Молча убрала со стола хлеб, глухо стукнувшиеся одна о другую миски, противно взвизгнувшую кружку, из которой отец обычно пил молоко, всякий раз завершая вечерю, а сегодня так и не притронулся. Ловким, едва уловимым движением, похожим на то, каким пытаются поймать пристроившуюся на недозволенном месте муху, смахнула хлебные крошки в ладошку и отправила в рот. Сделала свое и исчезла в углу за печкой. «Ну, почему так? — с застрявшей в горле обидой думал Никита. — Неужели... неужели ей совсем не жалко татка? Ведь еще недавно она была такая добрая. Нехай татко грех совершил, только ж и она его на душу берет.»

Никита собрался было окликнуть отца и даже рот приоткрыл. Но в это время отец поднял голову. Тяжелый взгляд упрямым плугом скребнул по печке, слепо натыкаясь на чугунки и миски, груженым возом прокатился по стене, скользнул по иконам и остановился на портрете. Бородатый мужчина в парадном военном мундире с какой-то растерянностью взирал на происходившее в хате. Никиту давно смущала эта самая растерянность. Всякий раз при взгляде на портрет возникали вопросы: что таится за ней? что прячется? Думалось по-разному. Один раз Никита готов был поклясться, что бородач чувствует себя неуютно по соседству с суровыми ликами святых, которые гордо и важно расположились в своем углу. Ну как можно, скажите на милость, спокойно находиться рядом со святыми, перед которыми мама подолгу выстаивает на коленях, на что-то жалуясь, что-то выпрашивая обиженным шепотом. Да это ведь нехорошо, стыдно подслушивать других. Никита тогда начинал злиться и готов был тут же снять портрет, упрятать его подальше. Может быть, и поступил бы так, не знай, что на портрете изображен царь, а он, как не раз втолковывал ему отец, наместник самого господа бога на грешной земле, где сильнее его никого нет.

Правда, как-то не чувствовалось у царя-батюшки этой самой силы. Да и откуда она в нем возьмется? Вот если отец сильный, так сразу видно. Без всяких мундиров. Силища прямо прет из него наружу. Стоит только глянуть на короткую жилистую шею, почти сросшуюся с покатыми плечами, на грудь, колесом распирающую сорочку, увидеть ручищи, похожие на лопаты-грабарки... Да что там говорить! А у царя? Где она у него эта самая сила? В другой раз к нему приходила иная мысль. А что если царь и сам хорошо знает, что никакой он не силач, никакой не богатырь? Могло ведь такое случиться, что генералы с кого-то другого мундир сняли и на него напялили, чтобы, значит, важности и грозности ему приба-

вить. Надели и сказали: «Будешь над всеми нами царем». Бородачу неловко, стыдно за этот обман перед людьми. Вот он и смотрит так на них, думает: «Ну зачем все это вам, да и мне? Зачем?»

— Царя... царя скинули! — послышалось в глухой тишине. Никита удивленно заморгал глазами, вначале даже не поняв, на самом деле он слышал этот свистящий шепот, то ли просто почудилось.

— Нема больше царя, — уже своим, хорошо знакомым глуховатым голосом прогудел отец. — Нема. Чуете?

Мать вообще не отозвалась на это известие. По крайней мере, даже вздоха не послышалось из ее закутка. Будто каменною стала. Никита же сидел, широко раскрыв глаза, и переводил взгляд то на портрет, то на отца. В голове назойливо, будто осенняя муха, жужжало: «Как же так? Как же скинули, когда вот он, пожалуйста, висит себе спокойненько. Висит, и все». Отец, перехватив взгляд сына, по-своему понял его замешательство и скомандовал:

— Сними!

Никита еще больше растерялся. До него никак не могло дойти, как это отец, который совсем недавно почти одинаково относился к иконам и к царскому портрету, даже к последнему с большим почтением, вдруг решился сказать такое. Сам же рассказывал ему, какие людские и господние кары ожидают тех, кто вздумает покуситься на помазанника божьего. Сам! А теперь... Может, спьяна он? Или заболел? Никита тревожно вглядывался в лицо отца, стараясь увидеть его глаза.

— Патрета, кажу, сними, дурне теля! — рявкнул отец, и Никита пулей рванулся с лавки. Дрожащими руками с трудом снял запутавшуюся за шляпку гвоздя веревку и в нерешительности остановился возле отца с портретом в руках.

— Сховай! — буркнул отец, все еще неотрывно глядя на то место, где только что висел портрет. — Токо... Токо шоб найти можно было. Чуешь?

— Ага! — затряс головой Никита. — Чую, татко. Чую.

Держа перед собой портрет, рама которого, казалось, нестерпимо жгла руки, Никита без шапки выскочил на улицу. Глотнул морозного воздуха и, немножко придя в себя, направился к деревянной стремянке, которая вела на чердак. Там, добравшись в вороньей черноте до кучи старого тряпья, он и спрятал царя. Царя, а с ним и прежнюю, привычную для себя жизнь.

... С той поры все переменилось в их Андреевке. Будто пробудившись от долгого сна, она ожила, заходила, задвигалась. Чистый тебе улей, где каждая пчела свое выводит, о своем гудит потихоньку, а гул такой идет, что, кажется, вот-вот домик деревянный от земли оторвется и полетит. Или разлетится на маленькие щепочки.

В самом селе и во всей его теперешней жизни постоянно чувствовалась праздничность. Люди с раннего утра спешили на улицу, расцвеченную красными флагами, и сами старались одеться во все лучшее. Чуть не каждый день сельская площадь бурлила

митингами и сходами. Каждый, кто поднимался на бричку, вывезенную на середину площади, горячо и до хрипоты в голосе старался поделиться с сельчанами открывшейся ему правдой. Нередко случалось и так, что отчаявшиеся убедить словами, пускались доказывать свою правоту на кулаках, наделяя неверующих добрыми синяками.

— Ах, мать твою! — слышался над людской толпой чей-то голос:

— Так ты кажешь брешу я, шо в Михайловке землю панскую поделили? Я брешу, шоб тебя разорвало? Я тебя...

— Не лякай, Гнате! Не лякай. Знаем мы вас таких. И батько, и дед твой...

— Не замай батька, подлюка! Воны святи. Та у него с...а чище, чем твоя пыка.

— Ш-о-о?!

— То шо чув, куркульска морда.

— Та я тебя...

— А ну спробуй, спробуй...

Бурный день вместе с солнцем откатывался за реку, гася в ней недавние страсти. А души людские не могли угомониться даже ночью, тревожась о том, что будет дальше. Одни, в первую очередь доведенная до отчаяния голота, откровенно радовались ожидаемым переменам. Они наверняка знали, что хуже все равно не будет. Другие жалели теперь уже бывшего царя и с ужасом ждали конца света. Разве господь бог потерпит, что кто-то там на грешной земле посмел спихнуть его помазанника? Да никогда! Значит, нужно молиться и со смирением ожидать неминуемой кары. Среди этих ожидалыщиков оказалась и мать Никиты. Она каждый день неслышно исчезала со двора, прикипев к сельской церквушке, где вот уже второй год правил высоченный и худой, как жердь, отец Василий, присланный в их приход после смерти старенького священника. Никита, бывая первое время на службе вместе с матерью, всякий раз поражался игре голоса отца Василия. Мягкий и задушевный, он неожиданно становился тревожным или обиженно звенел на высокой ноте, готовый скандально сорваться и опозорить батюшку. Боясь, чтобы этого не случилось, Никита вжимал голову в плечи и неотрывно следил за меняющими свое выражение в такт голосу цыганскими глазами отца Василия. Он не разбирал слов, с которыми обращался к своей пастве священник, а слышал только его голос и видел его глаза, которые всецело владели им и предназначались только ему одному. Конечно, это только так казалось. И, как вскоре выяснилось, не только Никите. Но тогда он чувствовал себя просто околдованным неведомой силой, которая исходила от отца Василия, и после каждого посещения церкви долго не мог успокоиться.

— Микитушка! — испуганно глядя на Никиту, высказала однажды догадку Марийка, с которой он поделился своими чувствами. — А может, и вправду отец Василий чаклун?

— Скажешь такое! — неуверенно возразил Никита. — Как можно? Батюшка и вдруг...

— Нет, нет! — сдавленным от волнения голосом продолжала Марийка, и глаза ее наполнились тревогой предгрозового Днепра. — Ты не кажи так. Говорили покойная бабуся, что у тех чаклунов заместь сердца нечистая сила, як у кузне по наковальне стукае и у что хочешь любого переделать может. А ну, как возьмет тебя и вороном обернет! Как я тогда буду? Маманька хворые. От-от помрут. Петра немае. Пропаду я сама. Пропаду...

Марийка заплакала, закрыв лицо ладошками. И такой она маленькой, слабой и беззащитной казалась Никите, такой несчастной.

Он почувствовал, как тугой комок подкатил к горлу, а слезы подступили к самым краешкам глаз, готовые вот-вот хлынуть наружу.

— Не плачь, Маруся, — погладил ее по белой, как у Петра, голове. — Я тебя ни в жисть не кину. Чуешь?

— Угу! Чую! — закивала Марийка, вытирая слезы. — Я знаю, Микитушка, ты добрый, хороший. И матуся твои хорошие. Не такие, как дядько Оверко...

Никите становится обидно за отца, и он, сердито хмуря брови, молча сопит. Потом не выдерживает:

— Слухай, Маруся. Ну, чего это все так на мого татка злые? Кому, скажи мне, они дорогу перебежали? И ты он тоже погано кажешь...

— Та нет, Микитушка, — засмущалась Марийка. — Я совсем не хотела обидеть твого батька. И что там люди говорят, не знаю. Только... только я чего-то боюсь его. Сама не знаю, чего, а боюсь.

— От тебе и раз! — через силу усмехается Никита, стараясь поскорее уйти от неприятного разговора. — Сама ж говоришь, что не знаешь, а боишься. Та мои татко совсем не такие, как про них кажуть. Они, знаешь, какие сильные. А то, что сердятся какой раз, так то ж со всеми бывает. Он и со мной, и с Петром вашим. Не веришь?

— Верю, Микитушка, — быстро соглашается Марийка. — Верю.

— Слухай, а где это Петро пропал? Может, совсем вас покинул? — переводит разговор Никита.

— Петро? — переспрашивает Марийка, и глаза ее светлеют, становятся похожими на два голубеньких цветочка, умытые дождем.

— Петро наш на шахте устроился. Коногоном. Неделю тому приятель его заезжал. Грошей трохи нам с матусей передал. Казал, что живой-здоровый мой братик и в гости собирается заехать. От так. Ой! Побегу я, а то матуся там совсем одни.

— Постой, Марусенька! — пытается удержать ее Никита. — Еще трохи побудь.

— Не! — трясет косами Марийка. — Не можу. Матуся одни. Завтра стренемся, Микитушка. Завтра.

Марийка поднимается со скамеечки, на которой они сидели, и неслышно, будто тень, растворяется в ночи.

Темень, вокруг ничего не видно. Будто и нет ни хат, ни людей, ни села. И на душе становится так одиноко и тоскливо, что хочется волком выть. Вот так взять и завыть... Громко, во весь голос, чтобы вскинулись полусонные собаки и, выкатываясь из конур, разорвали ночную тишину лютым и хриплым со сна брехом. Тогда повскакивают со своих лавок перепуганные дядьки и, приникая носами к окнам, будут тревожно вглядываться в черноту, думая: «Кого это нелегкая носит в такой поздний час?» Потом прошлепают босыми ногами и, матерясь на чем свет стоит, еще долго будут ворочаться под сердитое ворчанье баб, молящих о покое. Только кто ж услышит их, эти самые молитвы, когда тонут и пропадают они среди несчетного множества перьев, которыми набиты мятые-перемятые не только ими, но и дедами-прадедами подушки? Глухо там... Так и в хате у них. Кричи — не кричи, проси — не проси, никто тебя не услышит. Каждый сам по себе.

«Э-э-хе! Хоть бы татко на мамку грымнул, — думает Никита, — Не, не бился и не кричал, а только трошечки пугнул бы. Может, проснется мама от сна своего чудного. Ходит по двору и по хате, все вроде делает, а сама спит. Чудно... Чудно и страшно». Страшно не только Никите. Отцу — тоже. Сколько раз он видел, как тень непривычной боязливости, испуга пробегала по его лицу. Как же так? Отец, который самого черта не боится, и вдруг — такое. Узнать хочется, но спрашивать, опять же, боязно. А ну как рассердится он? Тогда в хате всем места мало будет.

Пусть лучше будет, как есть. Может, потом как-нибудь изменится все. Помирятся отец с мамой. Только когда? И что из этого получится? О-хо-хо! Беда да и только. Вроде все у него, Никиты, есть. Вон какая хата! Считай, самая лучшая на всю Андреевку. Одна под железной крышей. Стекла в рамах узорчатых на солнце выблескивают, аж зажмуриться хочется. На самом видном месте, как церковь, стоит. Да и в хате всего хватает. Только идти туда совсем не хочется. Пусто там. И холодно, как на кладбище. Вот и спешат они один перед другим удрать из того рая, будь он неладный. Только на ночь и сходятся вместе. Мама из церкви, сам он от Марийки, а отец — из волостного совета.

Как уже там получилось, а только выбрали отца в тот самый совет. Такая власть тогда у них стала. Перед этим отец черный ходил и все с другими богатырями шептался. Кто ж знал, куда повернет дело. А когда выбрали в совет, сразу изменился. Опять в нем сила почувствовалась, уверенность. Красный бант нацепил и даже походка другою стала. То была осторожная, тихая, как у кота. Не всегда и услышишь, когда идет. Теперь же куда и подевалась та тихость. Ломит напрямую. Ну, прямо тот паровоз! Попадешь ему на дороге — раздавит и мокрого места не останется.

— Ну, Микитка, — подмигивая и похохатывая, делится с сыном Оверко Саввич, — наше зараз времячко настало. Не упустить бы. Не промахнуться. Опасался я, шо голодранцы в совете верх

возьмут. Тогда, кто его знает, куда б колесо закрутилось. Може, графовскую земельку поделили б, а там и до нашей свои пазури простягнули. Могло и такое приключиться. Уполне могло. А зараз хай сидят у совете крикуны голозадые. Не страшно: правило у нас. И голова совета — добрый хозяин, и заступничек его, батько твой, тож не без головы. Да и не только мы. Есть и другие люди, которые заодно с нами думают. И тут, и те, что повыше сидят.

С утра до вечера Оверко Саввич пропадал в совете. А Никита пристрастился бегать в сельский банк, который оборудовал под свои нужды местный осередок «Просвиты», возглавляемый директором школы. Сам школьный директор Микола Минович, который раньше казался робким, теперь ходил в белой вышитой сорочке и шароварах, с горделиво откинутой назад головой и говорил исключительно на украинском языке. В банке просвитовцы открыли библиотеку, оборудовали сцену, на которой шли репетиции пьесы Ивана Котляревского «Наталка Полтавка». Ее ставил тот же Микола Минович, игравший Возного. Он же читал стихи Тараса Шевченко и поэта Сидора Воробкевича, с чувством выговаривая каждое слово:

Мова рідна, слово рідне!
Хто все забуває,
Той у грудях не серденько,
А лиш камінь має ..

Но больше всего Никите нравилось слушать песни хора, которым руководил, наезжая из волости, начальник почты.

Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі
Було видно, було чути,
Як реве ревучий.
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу... отойді я
І лани і гори —
Все покину і полину
До самого бога...

Широкополые ланы, ревущий Днепр с его кручами. Да это же о знакомых и родных местах! О его Андреевке, мимо которой сердито гонит воду, превращая в шипящую пену, древний Славутич. Гонит аж в синее море. Далекое и таинственное, за которое когда-то давно уплыли казаки, не пожелавшие расстаться со своей волей... И что она за воля такая? Какие кайданы нужно рвать? Все

это было мало понятно Никите. Да он и не старался вникнуть в смысл слов песни. Зачем? Важно, что она трогает, берет за сердце, делает его сильнее, решительнее, призывает действовать. Во имя кого? Ну, мало ли... вот хотя бы во имя той же Марийки. Такой маленькой, беззащитной, как та Катерина. «Хай спробує! Тильки посмие хто! — сжимая кулаки и зубы, думал Никита. — Кровью... Кровью своею злой умыеться. И захлинеться». Он думал и говорил теперь так, как Микола Минович. Даже шаровары и сорочку себе точно такие же выговорил у отца.

— Ну шо ж! — усмехнулся отец, поглаживая усы, кошачьими хвостами свисающие аж до самой бороды. — Казакуй на здоровьечко. Казакуй.

И Никита действительно ощущал себя лихим и бесстрашным запорожцем, радуясь неожиданному возврату давно минувших, неведомых времен.

Безмятежная радость и сказочность неожиданно нарушились, когда до села докатилась весть о том, что в Петрограде произошла новая революция. Она была совсем не такая, как первая. Казалось, что после того, как скинули царя, уже ничем удивить людей нельзя. Но оказалось, что это совсем не так. Занятый делами в осередке Миколы Миновича, Никита не сразу заметил перемену, которая произошла в настроении отца.

— Кажут люди, шо у Петрограде знов революция скоилась, — затеял он как-то разговор во время вечери.

— Кажут, — нехотя буркнул отец, явно показывая полное нежелание распространяться на эту тему. Буркнул и замолчал надолго. Молчал и Никита, уткнувшись в миску. Не хочет говорить и не надо. Он к этому приучен с малых лет. Но продолжение разговора все же последовало.

— Кажут, — повторил отец то ли с возмущением, то ли с насмешкой. — А шо они понимают те самые, шо кажут? Шо розбираются у тех революциях? Им бы только языками ляпать без всякого толку. А того не знают, шо може быть в аккурат сейчас светопреставление начинается. Голота, байстрюки замаслени с заводов воли захотели. До власти потянулись.

Никита хотел было спросить, что же в том плохого. Вон и в «Заповіте» у Шевченко про то же самое говорится, и всем это нравилось — и ему самому, и Миколе Миновичу. Да и сам отец недавно со слезами в очах гудел, заглушая другие голоса в хоре, «кайданы порвіте...» Что изменилось? Пусть там, далеко чего-то хотят рабочие. Никита видел этих людей в Александровске, когда они, не успев отдохнуть за короткую ночь, спешили по требовательным сигналам гудков на свои заводы и фабрики. Многие из них шли, низко опустив головы, никого не замечая вокруг. Чистые тебе арестанты, которых гонят на каторгу. Ну что они могут? И какое отношение та рабочая революция в Петербурге имеет к ним?

— Да-а-а. Теперь, видать, не скоро вгомоняться. Не скоро спокоя на земле дождемся.

Отцовская тревога была не напрасной. Его самого скоро с треском выкинули из совета, а созданный в селе ревком на полном серьезе порешил урезать землю у таких, как они, заможных хозяев, чтобы, значит, наделить ею голоту. Отец аж зеленел от злости, когда начинали говорить про то. Бант свой красный на пол бросил и, топча его ногами, приговаривал со всхлипом:

— Кровью... Кровью вашей поганой землю ту поливать буду! Мором для вас засею.

Никита молча слушал те отцовские слова, но прежнего страха перед ним не испытывал. Когда он пропал, Никита точно сказать не мог, но только не стало его, и все тут. Отец по-черному ругался, а он думал о своем. «А что, если татку самому взять и отдать клапоть земли Задорожним? Беднее их никого в селе нету. Нехай у них она будет». Не насовсем. Пока он, Никита, вырастет. Станет самостоятельным и на Марийке женится. Тогда будет у него самая красивая жена, и земля, опять же, возвратится. Чем плохо?

Как-то не удержался и поделился с отцом той мыслью. Отец ложку до рта донести не успел и будто каменным сделался. Только очами лупает, как спросонья. Чудно! Потом, видно, немного с духом собрался и тихо так, печально говорит:

— От воно, значит, как выходит. Жениться надумал?

— Так не зараз же, тато! — сдвинул плечами Никита. — Не зараз. Через время. Мне шестнадцать уже. Та й Марийке от-от пятнадцать стукнет. Через годик-другой и сватов засылать можно.

— Та оно, конешно, так, — вроде согласился отец и опять както растерянно и даже жалобно глянул на Никиту. — А чи ты чуешь, маты? Чи бачишь, який сынок у нас подрос? Га?

Но мать ничего не ответила. Только глубоко вздохнула за печкой своей и затихла. Как будто совсем ее не было в хате.

Разве мог он, Никита, знать, что она там задумала? А если б и знал, то вряд ли смог что-нибудь изменить.

... Время неспокойное было. Не успеют люди к одной власти привыкнуть, глядь — а ее и след простыл. Вот только вчера в село залетела сотня гайдамаков. Ожил отец, приглашая на постой бравого сотника в широченных малиновых шароварах. Такое разудалое гульбище идет в их хате, что ничего вокруг не слышно. Даже страшный крик жены и детей председателя ревкома, чье истерзанное тело волокут по улице два гайдамака, тонет в залихватских песнях и топоте танца. «Гу-у-ляй, хлопцы! — размазывая по лицу слезы умиления, надрывается разошедшийся не в меру Микола Минович. — Гу-у-ляй!». Но едва ночка успела посереть, а бледный, как после недуга, луч солнца только собрался лизнуть израненную землю, как уже гайдамаки спешат унести ноги. С ними, зло закусив зубами усы, бежит и Микола Минович. Ему иначе нельзя: все село знает, что это директор школы, просвитовец, ука-

зал сотнику, где спрятался председатель ревкома, который лежит теперь с простреленной грудью на берегу Днепра. Не успел цокот копыт шароварников раствориться в звонком морозном воздухе, а с другого конца в село заступают красногвардейцы. Теперь уже для отца и других сельских тузов наступает пора страха и тревожного ожидания. Узнают или не узнают красные, как они привечали недавно малиновоштанного сотника и его гайдамаков? Только изредка под вечер рыпнут боязливо двери, впуская в неосвещенную хату кого-нибудь из отцовских товарищей. Сядут настороженно, как сычи, друг против друга и молча смалят одну за другой вонючие цигарки. Никто не решается заговорить первым, высказаться. Как оно потом обернется? Может, и следующего дня увидеть не придется. Заберут тебя комиссары, а ты проклясть не успеешь того, кому доверил свои тайные мысли. Лучше помолчать, послушать, что другие скажут, а там видно будет. Вот и сидят, ждут, кто же первым отважится, изредка вгоняя в плотную то ли от табачного дыма, то ли от тревоги тишину глубокие многозначительные вздохи и ничего не значащие слова.

— Господи, твоя воля! — тяжело, с натугой, как шмель, гудит отец. — Када ж оно спокой будет?

— Не кажите, Саввичу! — откликается отец Миколы Миновича, высокий, с хищным ястребиным носом старик. — Не кажите. И чего тем людям треба?

— Про шо то вы, дядько Мина?

— Та то я так. Вопще, — обрывает свою думку тот и тянется к кисету за очередной щепоткой табака. — То я так...

— Ага, — соглашается отец. — Оно, конешно...

Наговорившись таким манером вдосталь, расходятся, страстно желая скорейшего прихода завтрашнего дня и одновременно боясь того, что таит и несет он в себе.

Была их Андреевка и у петлюровцев, и у белых, и у красных. Видела она и австро-германских солдат. Когда подкатывались кайзеровские войска, опять ожил отец.

— Ну, теперь, думаю, будет порядок, — откровенничал он с Никитой. — Германцы — хлопцы серьезные. Теперь будет дело.

Только очень скоро развеялась и эта его надежда. Германцы начали с того, что повесили на площади двух красногвардейцев, которых поймали в степи. Как сказал на ломаном-переломаном языке офицер в островерхом железном шлеме, это были разведчики красных. Может, оно и так, а может, и нет. Марийка убеждала Никиту, что никакие это не разведчики, даже не красногвардейцы, а самые обыкновенные хлопцы из соседнего села. Что будто одного из них она даже встречала в том селе, когда ходила туда с братом.

— Хай не швендают там, где не треба, — по-своему оценил это отец. — Германец порядок любит.

Никите было жалко тех повешенных, и он испытывал недобрые чувства к германцам, как их называл отец. За свою короткую жизнь он не однажды встречался с холодным дыханием смерти. В том коловращении, которое крутило светом, уже не один из их сельчан перебрался на Казацкую могилу. Рядом с ними угомонились навеки и те, кто пришел из других мест, из краев, о которых Никита раньше даже не слыхал. И всякий раз, провожая очередного переселенца к месту его вечного покоя, Никита не мог заставить себя оставаться спокойным и равнодушным к чужому горю. Каким-то краешком, пусть даже самым маленьким, оно касалось и его, обжигая печалью, тревожа грустью. Правда, все это скоро закрывалось другими событиями, на которые была богата и щедра, как весенней водой Днепр, тогдашняя быстротечная жизнь. А здесь он встретился с чем-то иным. Непонятным и страшным. Ему приходилось видеть, как, будто споткнувшись, падали люди, сраженные невидимыми пулями. Но что бы вот так, у всех на виду, неторопливо и спокойно ставить столбы, чем-то похожие на веселые качели, а потом сгонять все село и заставлять его смотреть, как дергаются в предсмертных муках несчастные...

Казненные потом не раз являлись во сне к Никите, пугая своими распахнутыми в предсмертном ужасе глазами. Он боялся и смертельно ненавидел германцев, стараясь обходить их стороной. В те дни даже из хаты носа высовывать не хотелось. И они с отцом почти все время проводили во дворе. Только мать не меняла своей привычки, уходя с раннего утра и до позднего вечера в церковь.

Однажды мать совсем не вернулась домой. И раньше иногда бывало, что она оставалась ночевать у какой-то из подруг. Но каждый раз утром возвращалась. Кормила их с отцом завтраком, молча прибиралась в хате и снова исчезала на целый день... Но в тот раз она не пришла и утром.

— Загуляла наша мать, — прогудел отец, нарезая сало. — Ничего. Як-то перебьемся сами. Чи мы с тобой не казаки?

— Та казаки, — согласился Никита. Ему было явно не по себе, как и отцу. Только виду не хотелось показывать. Хитрили, хорохорились друг перед другом. Потом каждый отправился по своим делам.

Мать не вернулась в хату ни в тот, ни на следующий день. А вскоре по селу пополз слух, что ушла она... Совсем ушла вместе с отцом Василием. Никита от обиды даже заплакал, чего давно с ним не бывало. Он думал, что отец, придя в ярость, станет крушить все в хате и во дворе, а потом, вскочив на коня, помчится догонять мать и ее длинногривого соблазнителя. Ему виделось, как отец мотузит своими кулачищами-гирями тщедушного попа, как тот извивается и просит пощады. Но вышло совсем иначе. Услышав известие о бегстве матери, отец какое-то время неподвижно сидел за столом, дымя самосадом и задумчиво глядя за окно. Его нахмуренный лоб покрыли глубокие борозды морщин, прорезанные невидимым плугом, а широченные черные брови сошлись к

переносице и походили на крылья падающей с высоты птицы. Никите даже показалось, что он слышит свист воздуха, разрываемого во время стремительного падения, и он на мгновение зажмурил глаза. Когда же открыл — лицо отца преобразилось. Исчезли морщины, лоб стал чистым и ровным, как весеннее поле, обласканное молодым, отдохнувшим за зиму солнцем.

— Ну, шо ж, — вздохнул отец. — Хай идет... Хай идет себе, раз душа ее от нас отвернулась. Бог ей судья...

Вскоре красные выбили германцев из села. Никита видел через окно, как отступали они, полохливыми окриками и кнутами торопя лошадей, то и дело прислушиваясь к нарастающей откуда-то из степи стрельбе, боязливо и зло оглядываясь. Их бегству радовался и отец. Незадолго перед этим германцы забрали из хлева трех громадных свиней, которые почти не вставали из-за собственной тяжести. Отец уже даже сговорился с резником. Но оккупационные власти распорядились по-своему. И Прудкосвистам осталось только облизнуться. Пришлось расстаться и с парой лучших лошадей. Правда, в первый вечер после прихода красных они с отцом привели на конюшню здоровенного германского битюга, которого нашли у разбитой снарядом фуры. Лошадь стояла, понурив косматую голову, и терпеливо дожидалась, когда поднимется ее хозяин. А тот лежал, широко раскинув руки, будто хотел побольше захватить разбухшего от дождя чернозема.

— Ну, шо? — будто с живым, заговорил отец с германцем, пытаясь освободить вожжи из зажатой в кулак руки ездового. — Нажерся? Все вам мало. Все мало, а шоб вы повыздыхали змалку. И чего вас нечистый по билому свиту носить? Чего?

Убитых германцев селяне не стали хоронить на Казацкой могиле. Их стащили в ярок и закопали прямо в степи, даже могильным холмиком не обозначили то место, а выпавший вскоре снег и совсем растворил его, смахнул из памяти людской. Будто и не было тех серо-зеленых солдат на этом свете. Не ходили они по земле, не гоготали, не горланили свои непонятные песни. А может, ему только так казалось от обиды на чужаков? Может, были те германцы такими людьми, как он сам, как его отец и другие сельчане и песни их были самыми обыкновенными. Только зачем они сюда приходили?

А посему пусть себе лежат в степи, где нашлось уже место и татарам, и туркам. Пусть лежат и не тревожат корней андреевцев. Ни своими песнями, ни своим присутствием.

... Минула зима. Пришла пора, и из ворот бывшей панской экономии, где разместилась коммуна, потянулась вереница бричек, украшенных кумачовыми флагами. Коммунары ехали весело, с песнями, как на праздник

— Ач, голозадые, как вырядились! — произнес отец, провожая взглядом коммунаров. — Думають, якшо голи с... и докупы стулить, то теплый кожух получиться.

Сказал в расчете на то, что его услышат соседи, которые обычно всегда прислушивались к голосу Оверка Саввича. Собственная шутка понравилась ему, и он рассмеялся. Громко, раскатисто. Его поддержали два-три соседа, но и те, едва хохотнув, тут же умолкли. Улица молчала. А вскоре следом за коммунарами потянулись в степь и другие сельчане.

В тот раз они с отцом отсеялись немного позже обычного. К радости Никиты, отец согласился-таки отдать Задорожним клапоть земли, правда, не самой лучшей, а той, что была далеко за селом. Он даже разрешил сыну взять трофейного коня, названного Германом, чтобы помочь безмерно счастливой Марийке в работе.

— Ой спасибо вам, Микитушка! — щебетала девушка. — И мама просили передать, и я, и Петрусь вам с дядьком Оверком в ножки поклонится за доброе сердце ваше.

— Та хватит уже тебе, — отмахивался Никита. — Хватит. Пользуйтесь на здоровьечко. Мо, када и нам придется, так не забудешь.

— Господь с тобой, Микитушка!

Весна силу набирала быстро. Казалось, еще только вчера зерно в землю бросали, а сегодня оно уже зеленым рядном ее укрыло, обещая людям добрый урожай. Живи и радуйся. Но поползли по селу слухи.

— Говорять люди, шо не будем мы бачить того хлеба, як своих вух, — шмелем гудел отец, делясь своим секретом с братом, заглянувшим к ним в гости из Орехова. — Навроде идут до нас москали с торбами. Все подгребуть, до зернышка.

— Так, так — поддакивал дядька Иван. — И у нас про то самое чутка идет. Видать, правду люди кажуть.

— И шо оно будет теперь? — вздохнул отец.

— А то, шо те рабочие с России потрусят нас, як грушу, та й кинут. От то тебе и вся революция. Продразверсткой называется.

— Що ж робить, Иване? Куда подеться?

— Куда? — переходит на шепот дядька. — Есть. Есть такие хлопцы, шо горою за селянина стоять. Не дают его кривдить.

— Где ж такие есть?

— Кажуть, у Дибровском лесе их немало вже сгуртовалося. И германцев лупцевали, аж гуло навкруги, и красных та белых ловко перекрашують. Словом, наши там люди собираются, брате. Правду тебе говорю.

— Ну, а якой власти те хлопцы держатся?

— А ниякой.

— Як же так? — растерянно заморгал отец.

— От так. Кажу — ниякой. Вот истинный тебе хрест. Для убедительности дядька Иван встал, с грохотом двинул тяжелой лавой, повернулся к иконам и широко перекрестился.

— Та й нашо она нужна, ота самая власть? — спросил, сплюнув.

— Шо ты говоришь такое, Иване! — всплеснул руками отец. — Власть, она всегда од самого господа бога...

— Брешуть! — оборвал отца младший брат. — Брешуть те, шо так кажуть. Никому ту власть господь не давал. Только батьку с матерью. А в нас батько есть...

Он запнулся. Даже слегка присел от растерянности, спешно втянув голову в плечи и широко раскрыв свои заплывшие от жиру глазки. Но замешательство длилось недолго. Дядька Иван быстро справился с ним и снова решительно повел наступление на отца.

— Так от, кажуть, шо у тех хлопцев дибровских есть батько. Он для их и брат, и кум, а если треба, то власть и судья. И пожалеет деточек своих, и покарает. Ну, словом, батько як батько. Он хоть и не старый, а жизню знает. Давно за народ страждания несет, за революцию. И по тюрьмах сидел, и с германцем воевал, и аж у Москве был. С самым главным большевиком Лениным говорил. Каже, ничего себе чоловик, обходительный. Токо все-таки не совсем он революционный, тот Ленин. Хоче встановить власть советов, шоб, значить, комунию сотворить. А нашо она нужна? Нестор Иванович уже пробовали ту комунию. Посмотрели, а воно не те. Не подходит, значить, для нас. От и решили свою революцию зробыть для украинцев со... социальную. Шоб, значить, ниякой власти над селянином. Живи, як сам хочешь.

— А ты откуда про те знаешь? — с прищуром глядя на брата, спросил отец. — Может, и сам от тех хлопцев з лесу прибег до нас? Га? Кажи правду!

— Може так, а може и не так, — стал вьюном выкручиваться дядька Иван. — Кажи ему правду! Ач, какой! А де ж я тебе возьму ее, ту самую правду? Де? Он у царя своя была, у германцев своя, у красных своя и у белых тож своя. А де ж тая наша с тобою, селянская правда? Хто его знает. Краще, чем лясы точить, языком тренькать, оседлать бы коников вороных та податься в поле. Погулять как след (де наша не пропадала!) та пошукать нашу правду. Може, й откроется она нам. Га?

— Ох, и мудруешь ты шось, Иван! — покачал головой отец. — Не пойму тебя: де ты шутки шуткуешь, а де сурьезно говоришь. Чистый тебе лис.

Никита слушал разговор и все больше принимал сторону дядьки Ивана. Мысленно он видел себя лихим казаком, который седлает коня, собираясь в дальнюю дорогу. Вот к нему подбегает Марийка, с глазами, полными слез. «Ми... Микитушка! — шепчет, едва сдерживая крик отчаяния. — Куда ж ты, миленький мой? А я. С кем же я останусь...» Ему тоже жаль Марийку, но (что тут поделаешь?!) кличут поле широкое, далекий и таинственный Дибровский лес, где собрались лихие хлопцы со своим батьком-атаманом.

Он, этот самый батько, представлялся могучим, как Тарас Бульба, про которого читал в классе Микола Минович, или таким, как отец. Только усы у него должны быть не скрученные и похо-

жие на кошачьи хвосты, как у отца, а пушистые, наподобие тех, которые видел в книжке.

— А шо, тато, — неожиданно для самого себя предложил Никита. — Мо, й нам спробовать?

— Шо-о?! — аж подпрыгнул на скамейке отец, смешно выпучив глаза и став очень похожим на перепуганного кота. — Шо ты сказал, дурне теля? Та як можно? А хата? А хозяйство?

— До жнив ще далеко, — стоял на своем Никита. — На хозяйстве батраки побудут, а за хатой Марийка приглянет.

— От тебе й на! — обрадованно хлопнул в ладони дядька Иван. — Оце так племянничек!

Отец тогда раскричался, обругал их с дядькой. Но спустя некоторое время все-таки вышло по-ихнему.

3

Осенним вечером посыльный из сельсовета принес распоряжение: отцу назавтра быть готовым ехать с обозом красных.

— Куда? — зло закусив кончик уса, промычал отец. — Куда ехать, трясця вашей матери?

— А кто ж его знает? — развел руками посыльный. — Сказали токо, шоб харчей взял денечка на три. А про остальное завтра тебе, Оверко Саввич, у сельсовете все разобъяснять. Так что бувай здоровый.

Сказал и, рыпнув дверью, исчез. А отец суматошно забегал по хате, то и дело, будто слепой, натыкаясь на массивный стол, покрытый скатертью, которая не менялась после загадочного исчезновения матери и успела расцветиться грязными узорами и пятнами. Сделав очередной круг, отец остановился посреди комнаты и, тяжело, со всхлипами дыша, долго смотрел в окно. Его мясистые губы беззвучно шевелились, посылая проклятия вдогонку посыльному. Потом опять рванулся и, опрокинув грохнувшую на пол табуретку, выскочил из хаты. Никита слышал, как отец возился во дворе, отдавая какие-то распоряжения батракам. Когда совсем стемнело, он показался на пороге.

— Идем, поможешь, — коротко бросил сыну и снова исчез в черном проеме дверей.

До глубокой ночи они перетаскивали из коморы мешки с зерном, пряча их в тайник на чердаке. О существовании этого тайника Никита даже не подозревал — вход в него был тщательно завален обрезками досок, соломой и старым тряпьем. Расчищая вход, отец наткнулся на спрятанный Никитой портрет царя. Вначале, грязно ругнувшись, хотел было отшвырнуть его, но потом передумал.

— Нехай будет тут коло добра нашего! За сторожа, мать его... Окончив носить зерно, тщательно укрыли его мешками и соломой. Заложили досками вход в тайник и, замаскировав его, спустились вниз. Для большей надежности отец даже лестницу убрал в конюшню.

— Так оно спокойнее будет, — пояснил он, вытирая рукавом рубахи пот со лба. — Теперь сбираться треба. Скоро вырушаем.

— Куда? — вырвалось у Никиты.

— Куда? Та уже ж не с теми голозадыми. До дядька Ивана поедем. Пойнял?

— Ага! — обрадовался Никита.

— От и добре. Пока я харчи наготовлю, сбегай до своей красуни. Хай доглянет за хатой, доки мы... гостевать будем. Только про то Маруське ни слова. Скажи с обозом идем. Пойнял?

Никита долго стучал в крохотное окошечко хаты Задорожних; наконец заспанная Марийка вышла к нему в накинутой на плечи фуфайке.

— Ну, чого ты стукаешь? — спросила с ласковым укором. — Уже ж и месяц, он поглянь, куняе. От-от заснет.

— То я только проститься, — прошептал Никита сдавленным от волнения голосом.

— Ой, мамочка! — всполошилась Марийка и, метнувшись птицей, прижалась к нему. Так близко с ней Никита еще никогда не был. Сквозь сорочку он чувствовал волнующее тепло ее тела, которое переходило к нему, наполняя силой и нежностью. Пьянящий запах рассыпавшихся по плечам Марийки волос, щекотавших его лицо, сбивал дыхание, кружил голову. Казалось, он плывет с ней в сказочном сне и хотелось, чтобы этот сон длился вечно.

— Куда? Куда ты едешь, Микитушка? — откуда-то издалека доносился голос Марийки, а он все сильнее прижимал ее к себе, боясь расстаться с ней, не в силах вымолвить ни слова.

— Микитушка! Дурной! Ты ж задушишь меня.

Немного придя в себя, он слегка расслабил руки и, стараясь скрыть смущение, как можно более равнодушно буркнул:

— Та в обоз же... В обоз нас с татком мобилизуют... Зараз и ехать будем. А ты за хатой нашей поглянешь. Добре?

Никита устроился на дне брички, запряженной парой лошадей, и попытался уснуть. Как-никак, а за целую ночь глаз не сомкнул. Но сон, как назло, долго не приходил к нему. Он лежал, укрывшись старым кожушком, и всматривался в звезды, которые тускнели и растворялись в темно-серой бездне. Казалось, они умирали, отдавая свой свет наступающему дню, а тот все никак не мог набраться силы и вытолкнуть цепко державшуюся за землю темень. Наконец далеко на востоке, будто кто подрезал краешек неба, и заглянувшее в прорезь солнце осторожно, с опаской лизнуло землю лучом — как проснувшаяся сука прикорнувшего подле нее щенка. Раз, потом другой. И побежали, полились потоки света, спеша проверить, все ли здесь так, как было вчера, и поделиться со степью теплом.

Никита прикрыл глаза рукой и не заметил, как задремал. Во сне к нему явилась Марийка. Она горько плакала, прижималась к нему и горячие слезы капали ему на щеки, обжигали шею, щекотали грудь. Марийка плакала, а он смотрел на нее, не в силах пошевелиться и только тихо улыбался. Неожиданно кто-то сильно дернул его за плечо и он, испуганно вскочив, недоуменно огляделся. Прогоняя сон, провел по лицу ладонями, ощутив на них влагу. «То Марийкины слезы», — мелькнула мысль, и Никита радостно улыбнулся.

— Шо ты лыбишься, наче котяра? — прогудел над ним отец. — На от краще вожки, а я полежу трохи. Спина совсем сомлела. Увидишь кого — буди. Пойнял?

За Александровском пошла пустынная и унылая степь. Лошади неторопливо, с явной неохотой тянули бричку, размеренно выбивая копытами пыль, которая зависала в воздухе узким и длинным шлейфом.

К вечеру добрались до Орехова.

— Здоров, здоров, Фекла, — с явным удовольствием целуя в пухлые щеки братову жену, басил отец. — От, прибыли до вас у гости. Принимайте. А де ж Иван?

— Нема, — замешкалась раскрасневшаяся тетка. — Нема... Поехав кудысь. Та вы сидайте. Сидайте, Саввичу. И ты сидай, Микита. Ой, який же ты здоровый вымахав! Справжний парубок.

Отец стоял, растерянно покручивая ус. Его явно огорчило известие об отсутствии брата.

— Выходит, добрые гости та в середу трапились...

— Ну шо вы такое кажете, Саввичу! — всплеснула полными загорелыми руками тетка. — Чи мы вам чужие?! Ви ж наша, можно сказать, найридниша ридня.

Тетка Фекла одарила отца игривым взглядом, который совсем не понравился Никите.

— Та хиба можно так довго не родичаться? — тараторила она писклявым, явно не подходящим к ее дородной фигуре голосом. — Хиба ж можно? А Иван...

Она неторопливо огляделась, стрельнув по сторонам своими черными, с желтизной на белках, цыганскими глазами; потом, понизив голос почти до шепота, призналась:

— Иван десь тута. Чуете, Саввичу? Недалеко, кажу. Чуете? Може, й сегодня додому наведается. Може...

Устроившись на сеновале, куда его определила говорливая тетка, Никита лежал, прикрывшись рядном, и вслушивался в разговор, который доносился со двора. Собственно разговором это вряд ли можно было назвать, так как говорила в основном тетка. Она без устали жужжала надоедливой мухой, изредка прерывая жужжание деланными охами и ахами. Казалось, вся речь тетки состоит из сплошных вопросов, которыми она так и сыпала, не дожидаясь ответов собеседника. Будто отбиваясь от нее, сердитым шмелем гудел отец, изредка врезаясь в сплошной поток слов.

«Ей бы не девкой, а хлопцем родиться, — усмехнулся в темноту Никита. — И как это батько выносит ее бестолковщину? Вот и пойми его: то слова лишнего не переносит, а тут такое пустобрехство вон сколько слушает. Та хай уже як знает, а я спать буду. От и все». Сердито посапывая, Никита еще какое-то время слышал жужжание тетки, а потом будто провалился. Но теткино улыбающееся лицо с черными шнурочками усиков не отступало. «И чего вам треба, тетка Фекла? — хотелось спросить. — Чего это вам так весело?» Он вроде и говорил эти самые слова, но только их совсем не было слышно. А тетка все улыбалась и улыбалась. А потом вдруг, откинув назад голову, зажмурив глаза, стала смеяться. И смех у нее, не как у всех людей, — чудной. Больше на ржание похожий. Ну, да! Точно лошадь ржет и даже всхрапывает, как Герман. Никита от изумления даже сплюнул во сне и тут же прокинулся. «Это ж надо приви-

деться такому!» — подумал, и вдруг буквально рядом послышалось лошадиное ржание. Громкое, заливистое.

— Та чего ты? Чего, Орлику? А шоб тебе! — уговаривал его знакомый голос.

«Дядька, дядька Иван приехал!» — обрадовался Никита и, сбросив с себя рядно, скользнул по деревянной лесенке вниз.

— Здоров, здоров, племянничек! — прижал его к себе дядька. — Разбудил тебя мой Орлик. От бисовой веры коник. Як почуе кобылу, ну прямо чертом робиться. И шо оно за зверюка?

— А сам не такий?! — уела его тетка Фекла. — Вы вирете, Саввичу, толыки Ганна, сусидка через дорогу, спидныцею вийне, як мого Ивана аж пидкидае. Наче скаженый робыться.

— Та ну тебя, дурна баба! — гоготнув, отмахнулся дядька. — Хлопця хоча б постиснялась.

— Ач-ач, загыгыкав! Шо? Правда коле?

— Ну, годи! Годи тебе, — приструнил жену дядька Иван. — Люди головы, понимаешь, за свободу отдают. Жисти своей не жалеют, потому как революция по земле гуляе. А для ней весь свет чиясь спидныця закрыла. Тьху на тебя!

— Та я... — пойманной мухой пискнула тетка.

— Цыть, я тебе сказал, дурна баба! — прикрикнул не на шутку рассерженный дядька. — Краще б собрала нас с братом у дорогу. Он уже сереть починае.

— Так мы едем куда-то? — встрепенулся молча слушавший перепалку Никита. — Сейчас едем?

Наступила долгая пауза. Дядька Иван, крякнув, отвернулся и занялся самокруткой, а отец просто опустил долу очи. Никита непонимающе переводил взгляд с отца на дядьку и с дядьки на отца. «В чем дело? Чего они молчат? — забилась тревожная мысль, отгоняя еще цепляющийся за очи сон. — Сами едут? Не хотят, чтоб и я с ними?»

— Так мы едем чи не? — с зазвеневшей в голосе обидой переспросил Никита.

— Як бы тоби оце пояснить, сынку, — забубнил себе под нос отец, не поднимая головы. — Воно така справа сотворилася, шо я не знаю, як и пояснить тебе...

— Та шо там довго балакать, — пришел ему на помощь младший брат, — Микита вже дорослый парубок и понятие имеет не хуже нашего. Не дуже воно спокойно, чуешь, там, де мы едем. Стреляють, чуешь, бувае поранить, а то и убить могут насовсем, значить. Ото и решили мы с твоим батьком, шо краще тебе тут, у нас перебуть. Пока, конешно.

Никита на миг представил, что он остается один с болтливой теткой, которая с утра до вечера будет засыпать его дурацкими вопросами, и пришел в ужас.

— Не хочу! — отрезал он.

— Як так? — опешил батько.

— А так! Якшо меня может убить, то и вас також. Отож и я буду з вами у той лес ехать.

— У якой лес? — деланно удивился дядько. — Про шо ты говоришь?

— А тот самый. Дибровский.

Братья переглянулись.

— От тебе й на! — почесал затылок отец. — Ну, раз так уже выйшло, то поедем все разом. Хай уже буде, як буде.

— Добре, хлопцы! — ляснул ладонью по колену дядька. — Значит нема чего говорить. По конях.

Выехали затемно. Пропетляв кривыми и разбитыми улочками Орехова, выбрались из города. Дорога сразу же круто взяла вверх и долго стелилась под колеса жалобно поскрипывающей брички, которую легко тащили отдохнувшие лошади. Дядька Иван вместе с двумя своими товарищами, что присоединились к ним за городом и, по-видимому, дожидались его, ускакали вперед.

Крохотными точками возникали они на вершинах холмов, а потом снова исчезали, прячась по другую, невидимую пока сторону. Никиту обрадовало, что и дядька Иван, и его спутники были вооружены винтовками: «При такой страже сам черт не страшный». То ли поэтому, то ли потому, что удалось настоять на своем, но настроение у Никиты было доброе и даже веселое. Он сидел рядом с отцом и с интересом смотрел перед собой. Степь уже не казалась унылой и однообразной, она напоминала бескрайний разноцветный ковер, по которому резвилась лента дороги.

То пыхтя и посапывая, она тяжело взбирается на очередной горб, то передохнув на его гребне, снова стремительно бросается вниз, стелясь по низине, куда умчались верховые, за которыми она никак не может угнаться. «Ишь, как разгулялась! — усмехнувшись, подумал про себя Никита. — Будто речка. И куда она ведет? Куда вынесет?»

Не заезжая, миновали несколько сел. Потом снова долго ехали пустынной степью; наконец впереди замаячили строения. «Как пристань», — мелькнула мысль. И действительно, открывшийся вид очень напоминал пристань, которую однажды видел Никита, когда ездил на пароходе с отцом в город Никополь.

— Гуляйполе! — крикнул, подскакав к ним, дядька Иван. — Тут гартуеться ветер безмежной свободы и своих сынив колысает матинька-анархия.

Откуда-то из-за строений вылетела группа всадников и понеслась им навстречу. Осадив на всем скаку коня перед самой телегой, передний, рослый верховой с полным лицом и непокрытой кучерявой головой, окинул приезжих цепким взглядом. Увидел дядьку Ивана и приветливо махнул рукой, обнажив в улыбке белые зубы:

— Приветствую тебя, Свист.

— Здоров будь, Лева, — откликнулся дядька Иван, приподняв в знак уважения мерлушковую шапку, которая до этого была по-казацки лихо заломлена набок и сдвинута почти на самый затылок. — Ну як вы тут? Чи здоровый батько?

— А шо ему сделается? — повел плечами кучерявый. — Нестор Иванович имеет железное здоровье и ничего не боится. Пусть враги революции и свободы его боятся.

— Ну, и слава богу. Слава богу, — перекрестился дядька Иван, и Никита, с интересом наблюдавший за кучерявым, заметил, как у того презрительно дернулись губы.

— А мы вот с хлопцами пополнение для нашего славного воинства ведем. Брата с племянничком, значится. Под святые знамена матери-анархии. Не с пустыми руками вертаемось, Лева. Так шо приймайте.

— Езжай до места, Свист. А принимать чи нет — то вже дело батьки. Он один все решает.

— Оно, конешно, — согласно закивал дядька Иван. — Як токо прибудем, так зразу й на поклон до Нестора Ивановича. Аякже. Батько вин и есть батько.

— Давай, давай, Свист! — оскалил в улыбке зубы кучерявый, и пришпорив вздыбившегося под ним коня, поскакал в степь. За ним с гиком и свистом устремились остальные всадники.

— Хто ж ото такий опудалистый? — спросил отец, когда поднятая ними дорожная пыль немного улеглась.

— Но-но! — остановил его брат, с опаской поглядывая на своих путников. — Опудалистый! Обережнише. То ж Лева Задов, батькова права рука. Сурьезный чоловик, я тоби скажу. Дуже сурьезный. Ему пальца в рота не клади. Разом с головою откусит. Запамьятай.

— Тю! — почесал затылок отец. — Якись люди у вас химерни. И одежа на них, наче в цыган на базари: той у кожухе, той зовсим без сорочки, а один (срамота одна!) у подштаниках, чи шо...

— Ось шо, Оверко, я тебе скажу, — рассердился дядька Иван. — Ты хоть и старший, а таке мелешь, шо аж вуха вьянуть. Слобода у нас, понимать надо. Шо хочешь, то и носи. Хочешь свитку — носи, хочешь седло заместо нее — одевай, а наравится тебе — голяком ходи. Никому до тебя ниякого дела нема. Шо хочешь ешь, пей досхочу, с ким хочешь гуляй, спи — твое дело. Сам ты себе голова и начальник, и власть что ни на есть всякая. Анархия, словом! Во!

Оверко Саввич, пожав плечами, ничего не ответил и молча двинулся следом за братом.

В хате, где они остановились на ночлег, целую ночь шло веселье. Один за другим опустошались бутыли с самогоном, тут же откуда-то появлялись новые. Спившиеся вояки засыпали прямо за столом или на полу, где нередко попадали под каблуки танцую-

щих. Вскакивая с воплями, они дико вращали налитыми кровью и лютой ненавистью глазами, готовые разорвать в клочья обидчика. Некоторые хватались за винтовки и шашки, сваленные в соседней комнате на кровати, но всегда кто-то из присутствующих вовремя оказывался на месте драки и приводил в чувство особенно буйных. Их выволакивали на улицу и окатывали из ведра водой.

Вообще Никита заметил, что бесшабашный разгул только на первый взгляд кажется таким. На самом деле пили и веселились до одури далеко не все. В хате были люди, которые только делали вид, что пьют и гуляют, забыв обо всем на свете; они зорко следили за тем, чтобы соблюдался определенный порядок, если, конечно, его можно было так назвать. Нежелательными считались не только слишком опьяневшие, но и те, кто хотел оставаться трезвым. Никита с печки видел сквозь прищуренные глаза, как к таким подсаживались один, а то и два человека и накачивали хитреца до нужного состояния. Далеко за полночь веселье начало спадать и наконец утихло совсем. В душной и тесной хате сгустился противный до тошноты запах самогона. По уснувшей светлице гуляли перепуганные и пугающие друг друга храпы. В потемках они гонялись один за другим, цеплялись за руки и ноги, носы и губы бормочущих во сне гуляк, шарахаясь с перепугу, ударялись о вздрагивающие стены, поднимали ветхий потолок и, отыскав дверь, со свистом вырывались на волю. Чувствуя, что от запаха самогона, от сотрясающего хату храпа он вот-вот задохнется, Никита потихоньку слез с печки и, стараясь не потревожить спящих, выбрался во двор.

— Ты куда, хлопчику? — окликнули его, едва он переступил порог хаты.

— Та я так... — промямлил он. — До ветру.

— А чей же ты будешь? — допытывался тот же голос.

— Микола! — послышался рядом другой, глуховатый голос. — Та то ж Свистов племянничек.

Подошли двое с винтовками за плечами. Одного из них Никита сразу узнал: тот обхаживал за столом отца, который теперь храпит без задних ног, свалившись на пол вместе с другими. А этот, видишь, ходит себе, как ни в чем не бывало. Видать, добрый лис.

— А чего это тебе не спится, хлопче? — ехидненько так усмехаясь, поинтересовался лис. — Чи може не пригостили тебя? Не напоили, не накормили?

— Та я не пью, — неосторожно вырвалось у Никиты, и он тут же пожалел о сказанном.

— Пхе! — откопылил презрительно губу лис. — Не пьет! Шо ж ты за казак? Чи може мамка не разрешает? Од титьки одрываться не хочешь?

Двое с винтовками рассмеялись, а Никите стало обидно до слез. «Подумаешь, великое дело — стакан самогонки. Он уже не раз пробовал это вонючее пойло. Противно, но терпеть можно».

— Тебя, мабуть, самого до титьки потянуло? — огрызнулся Никита. — Снится она тебе, видать.

— Ты бач, який хлопець! — изумился лис. — Он и кусаться умеет. То добре. А чого ж за столом я тебя не видел?

— А того, шо не приглашал.

— От тебе й раз! А ну, Семен, поднеси хлопцу кухлика.

Тот, которого назвали Семеном, метнулся в хату и вскоре возвратился с полной кружкой самогона и краюхой хлеба.

— Держи, хлопче. Вдарь, шоб беда нас боялась.

Никита взял кружку и (будь, что будет!) единым махом выдудлил до дна. Проклятая самогонка жгла горло, забивала дыхание, но он все же выдержал марку. Крякнул, как это делал отец, и стал закусывать хлебом.

— Молодец! — похвалил его лис. — Зразу видно справжнего казака. От такие и нужны батьке, шоб за волю биться. Таким сам чорт брат и ведьма сестричка.

Теперь он уже не казался Никите ехидным и хитрым, а представлялся простым и свойским, с которым было легко и весело. Все время хотелось говорить, рассказывать этим хлопцам, чем-то похожим на Петра Задорожнего, самое тайное, сокровенное. Но вдруг в голове все смешалось; деревья, тын и сама хата закружились, стали переворачиваться, убегать от него. Потом все куда-то пропало.

...Ночь. Посреди Таврической степи, что бескрайней периною выстелилась под лениво бредущим по небу месяцем, спит, вцепившись руками-улицами в матушку-землю, слегка прикрытое гулкой тишиною Гуляйполе. Дивное то покрывало. Легче самой малой пушинки и боязливей сна молодой грешницы, которая, утомленная жаркими ласками своего милого, прикорнула в объятиях ворованного счастья. Любое случайно набежавшее из степных глубин дуновение воздуха кажется предвестником жестокой бури, каждый нечаянный звук — знаком неминуемой беды. Тишина скорее чуткий страж, что охраняет выбившиеся за день из сил селянские тревоги. Теми взрывными, будто динамит, тревогами натыкана каждая хата небольшого южноукраинского местечка. Кажется, больше некуда, а они все текут и текут сюда, сливаясь едва заметными ручейками в набирающий силу поток, который, того и гляди, вдруг взломает сдерживающие его преграды, разольется морем отчаяния, круша все на своем пути.

Мало кто из бородатых дядек и безусых хлопцев, сваленных крепостью сивухи, которая одолев их тела, не смогла лишить права высвистывать и выхрапывать во сне обиды и боли, чувствует эту опасность. Да им и ни к чему. Знать, что ожидает их завтра — дело того, кому доверили они судьбу, кого назвали батькой своим. Не потому ли и сам он, их батька Нестор Иванович Махно, не спит в редкий час дарованного истерзанной земле отдыха? Откинувшись на спину, буравит он лишенными сна очами непроглядную и липкую, как деготь, черноту наглухо задраенной спальни. Словно

желает в глубинах бездонной тьмы высмотреть ответы на вопросы, раздирающие его буйную голову. Сколько их свалилось на нее! Откуда берутся они?

Когда-то подслушал он ненароком гомон тревог селянских. Еще тихий и робкий, как шелест тополя, едва успевшего одеться зеленой листвой. Услышав, кликнул к себе гостей. Те дружно пришли на вечеринку и, загулявшись, никак не разойдутся. Не найдут дороги к родному порогу? Может, и так. Только не очень и стараются искать чертовы дети! Зачем, когда есть он? Не зря же господь и имя ему такое дал — Нестор, что значит «возвращающийся домой». Наверняка думают: «С нашим батькой-атаманом как-нибудь не пропадем. Доберемся куда следует». Ой, так ли оно будет? Доведется ли им вообще увидеть родные хаты? Про то, видать, один хозяин небесный знает. Ну а сам он, Нестор Махно, за которым идут, на которого молятся бородатые дядьки, величая батькой, какими видит их судьбы? Лишь одно известно наверняка: не каждому посчастливится открыть дверь своей хаты. Разве может он сказать, где его собственная жизнь оборвется? Хоть и имя ему особенное всевышним препожаловано.

Всевышним... Ну, положим, не сам он то сотворил, а гуляйпольский батюшка, к которому когда-то понесли родители очередное прибавление многочисленного семейства.

Чудно думать о том времени безвременном. Уже есть, живет человек — кричит, пеленки мочит, грудь мамкину сосет и вроде нет его. Нет и все тут, потому как ни хрена не знает про себя малого и голопузого. А оно, конечно, интересно бы глянуть, каким ты появился в этой жизни, как встретили тебя. Чувствовал ли, к примеру, бедолага-отец, кого произвел на свет? Гордость испытывал или уже тогда боялся за лихую долю своей кровинушки? Вот он, его батько. Семенит по улице следом за широко, по-мужски шагающей матерью, вобрав голову в плечи и до смерти опасаясь не заметить и (не доведи господи!) не приветить кого-то из соседей.

— Добрыдень, добродию! — спешит он первым раскланяться, едва заметив идущего навстречу знакомого.

— Здоров будь, Иване, — поравнявшись, степенно кивает тот. — С дочкой тебя, чи шо?

— Не-е-е! — застенчиво улыбаясь, трясет головой отец. — Сыночек! Сыночка нам с жиночкой бог послал. Помощничка.

— Казака, значит? — слегка замедляя шаг, уточняет сосед, зная, что Иван Махно никак не мог расстараться на дочку.

— Ага ж! Казака, казака...

— Ну, шо ж, хай растет себе дужим та счастливым. Может, и, правда, полегчает тебе, — и уже на ходу бросает, сдвинув плечами:

— И как ты с той оравой справляешься?

— Та ничего! — то ли похохатывая, то ли покашливая, отвечает отец. — Котим беду поперед себя потихеньку...

Он, Нестор, точно знает, что и отец, и мать хотели, чтобы батюшка дал ему другое имя. Знакомое и привычное для слуха. Но тот решил по-своему. Кто знает, почему, а только не понравился младенец длинногривому и все тут. Оттого, говорят, и нарек так. Какое, казалось бы, значение имеет имя человека? Чем Иван, Павло или Петро лучше Нестора? Так нет же, соседским хлопцам почудилось, будто есть в звучании его что-то от псовьей клички. Сколько раз он, будучи мальцом, слышал, как, посвистывая, горланили они на всю улицу:

— Нестор, Нестор! На-на-на!

Обида жгучим огнем враз вспыхивала под сердцем, застилала глаза; ничего не соображая, он хватал все, что попадалось под руку, и гнался за обидчиками что было сил. Настигнув кого-нибудь, бил, не разбирая чем и куда, вкладывая в каждый удар накопившуюся ненависть, наслаждаясь чувством свершившейся расплаты. Боже, что это за счастье, когда твоя берет! Правда, чаще доставалось ему самому. Не любившая его уличная шпана, объединившись, налетала целой оравой и молотила кто кулаками, а кто и ногами. Сколько раз приходил он домой, весь избитый, в крови, в изодранной на клочки сорочке. Давясь слезами, молил бога лишь об одном — о скорой мести. И, нужно сказать, те молитвы доходили до ушей всевышнего. По крайней мере, так ему казалось. Взяв для себя за правило не оставаться в долгу перед своим обидчиком, он никогда не изменил ему и тем едва ли не больше всего гордился. Это хорошо усвоили домашние и старались все дела улаживать с ним миром.

Не изменял он своему правилу и в двухклассном училище, куда девятилетним отдала его набираться ума мать. После одного из «боев» вышедший из себя директор, с одобрения других учителей, турнул его из гуляйпольского храма науки. Так и не довелось закончить второго класса. По правде говоря, само училище, с зубрежкой и вечными понуканиями, его мало интересовало. Но было очень обидно, когда местный здоровило Кирик Васецкий выплевывал вместе с шелухой от семечек ехидные слова:

— Шо, голубе, не знайшлы вчителя дирки у твоей дурний голови, куда розуму напхаты? А, мо, ии зовсим нема? Кхе-кхе-кхе.

— Не там шукали, Кирику. И не так, — лыбился дружок его Серега Мартыненко

— Треба матери штаны знять и ременякою добре зад сынку розграфить. Та не один раз. Може б оце кошеня и вчилось, а не сичало гадюкою на людей.

Вначале Нестору хотелось ответить, что он не дурнее их и, если бы захотел, мог быть самым первым учеником. Однако что-то удержало его. Опустив голову и стиснув зубы, он молча прошел мимо насмешников, поклявшись рассчитаться за обиду. Пришло время, и он в долгу не остался. Тогда же были другие дела...

Хорошо помнит, как со звоном разлетелось одно из самых больших стекол в окне училища. Он вначале испугался и быстрее брошеного камня рванулся прочь. Пробравшись огородами, юркнул под рядно в своем углу и затих.

— Сынку, — допытывалась на следующий день мать, — то бува, не ты...?

— А вы... вы бачили?! — бросился в атаку он. — Бачили?

— Та люди кажуть...

— Ага! Ага! — глотая спасительные слезы, не давал ей опомниться сын. — На кого бог, на того й люди.

— Так-то оно так, — почесывая затылок, вздыхала мать. — Оно конечно... И шо нам робить з тобою?

Сколько помнит себя, все его кто-то старался учить, гнуть. Заставляли делать то, чего как раз и не хотелось. Взять того же хозяина магазина, куда пристроила родительница учиться торговому делу. Тот не только глотку драл, хорек поганый, но и аршином по плечам, а то и по голове прохаживался. Пришлось пообещать ему спалить лавку со всеми тряпками. И поверил, падлюка. Потому что бить не стал. Но на следующий день, пригласив мать, сказал:

— Забирай свое «щастя»! Не идет ему наша наука! Не идет, хоть ты лусни.

Мать, конечно, опять за голову схватилась: «Ой, лышенько!», но что тут поделаешь? Не его, видать, дело купеческое. От одной мысли, что всю жизнь придется за прилавком дурнем простоять, выдавливая для каждого улыбочку и уговаривая, как девку на любовь: «Пасматрите, какой матерьяльчик, любезный! Это же ваш цвет. Не хотите? Тада примерьте кустюмчик...» — становилось тошно.

Тьфу, зараза! До сих пор при виде лавочной витрины скулы сводит...

Не вышел из него и маляр. Мастер, взявший в обучение, почему-то решил, что получил и право воспитывать известными ему способами. Однажды, добре нализавшись горилки, которая водила его из стороны в сторону, как язык церковного колокола во время звона, он решил преподать свой «урок». Что-то невнятно бормоча, маляр несколько раз достал-таки ремнем до спины ученика. Ну, как можно было остаться должным «хорошему человеку»?

Вспомнив, с каким азартом он вскрывал банки с красками, выливая их содержимое на растянувшегося на полу храпящего мастера, стены, оборудование, Махно тихо засмеялся: «Помалювали трохи!»

Не-е-ет! Не того желала его пацанячья душа. Не для нее ремни, аршины и палки. Она уже тогда рвалась к воле.

Эх, воля-волюшка! И что за такая сила таится в тебе? Скольких людей ты заманила в эти места, основав за седыми порогами царство свое казацкое? Опьяненные близостью счастья, они глохли и слепли от его яркого сияния и, спеша к тебе, сами не замеча-

ли, как из гордо парящих орлов превращались в слабых и бездумных мошек, стаями несущихся прямо на пожирающий их огонь. Великое множество их, промелькнув на земле, навеки исчезли, растворились в ней. Может, оттого земля здесь такая родючая, что замешана на большой крови волелюбцев?

Ища свою стежку к воле, он и повстречался с анархистами из Союза незаможних хлеборобов. Верховодили там гуляйполец Александр Семенюта и молодой чех Вольдемар Антони, приехавший из Екатеринослава. Они называли себя не иначе, как братьями. Только он-то видел, что равенства между ними не было, и последнее слово всегда оставалось за Антони, имевшим загадочную кличку «Заратустра». Он атаманил у незаможников, по-разному относясь к ним: одни только присутствовали на собраниях, другие занимались чем-то еще. Вот только чем именно, долгое время узнать не удавалось.

— Гроши ховае падлюка Заратустра, — думалось ему. — Нам языком ляпае про волю, а сам пье-гуляе з старшиною... ну, ничого, ничого! Розколем вас, хитрунив.

И однажды он-таки подстерег самых близких дружков Антони, когда те собрались по своему тайному делу.

— Одчепись, хлопче, — посоветовали ему.

— И не думайте! — засмеялся он, сжимая в кармане нож.

— Там кровь будет.

— От и добре! Давно не пробовал.

Думал, пугают его. Но оказалось, говорили правду: группа боевиков шла на экспроприацию — так называли они свое тайное дело. Когда понял это, немного растерялся. Однако виду не подал, решив, что авторитет свой завоюет или сейчас, или никогда. Им не повезло: в помещении банка, куда проникли без особого труда, наткнулись на полицейского. Пришлось убирать. Не мог же он в стороне оставаться, тем более, что думать было некогда: или ты его, или он тебя порешит. Потом до-о-бре гульнули в Александровске. Надеялись, что игравшая той ночью метелица все следы их замела. Да, видать, не все. Забрали боевиков. Кого дома, а кого аж в Екатеринославе. Его с пивной бочки чуть тепленького снимали.

Заратустра с Семенютой, почуяв, что пахнет смаженым, так дреманули, что и конем не догнать. А их судили. Когда услышал, что к повешенью приговорили, весь каменным сделался и в голове — звон. Тут где-то далеко-далеко мать вскрикнула: «Сы-ы-н-о-очек!» Жалобно так, будто ножом ее по горлу полоснули. Душа к ней рванулась, а сил никаких нет даже пальцем шевельнуть. Вот зараза какая! Никогда такого за собой ни до того дня, ни после не помнит. Что с ним было? Испугался? Нет. Тогда этого не было. Потом, правда...

Вспомнив время, которое пришлось провести в камере смертников, Махно дернулся всем телом, словно желая сбросить с себя

неприятный груз. Но облегчение не наступило. Ночной мрак, казалось, спеленал, скрутил его своими невидимыми нитями и, сжимая неторопливо, высасывал все силы.

— Дурни проклятые! — ругнул шепотом охрану. — Позакрывали ставни. Ни зироньки, ни месяца не видно. И сами, мабуть, хропуть.

Ему захотелось разорвать темень, встать и пойти проверить, исправно ли несут службу часовые. Сунул руку под подушку — за маузером, с которым никогда теперь не расставался, и тут же услышал за окном негромкое покашливание часового. «Стоит-таки! — успокаиваясь, усмехнулся про себя. — Ач, кахикает как: заснуть боится, сам себя будит». Так и он делал, когда исполнения приговора ждал. Да какое там ждал! Пусть его вражина последний ждет. Жизнь свою, денечки последние на этом свете допивал. Сколько ему тогда было? Каких-то семнадцать годков. Что он видел? Что знал? Ни одну девку не целовал, не говоря уж о большем. А тут все! Конец! Из камеры не вырваться. Сюда не то что мышь — муха не проберется. Один на один со страхом, который ползет и ползет откуда-то. Как дым едучий в уши, в нос, в рот наплывает, а ты ничего поделать не можешь. Заснуть бы хоть на немного, чтобы оторваться, отрешиться от него. Но нельзя. Ты только сделаешь это, а тут как раз и придут по жизнь твою. Не успеешь и к смертному часу подготовиться.

До невозможности хотелось дома побывать. Ну, хоть на самую малость к своим вернуться. Лишь на порог взойти, увидеть их, матусе поклониться, а там пусть будет, чему суждено. О том у Бога и неба просил. Никогда и ни перед кем так не унижался. И что вы думаете? Сжалилась над ним его доля. Дозволила на этом свете погулять, потоптать грешную землю.

Когда узнал, что смертную казнь ему заменили на двадцать лет каторги, как кутенок, слабый сделался. Плачем зашелся. Трясло его, что ту бабу мокрослезую. Еле-еле успокоился. Потом месяц целый, как суслик, спал. Понемногу в себя приходить стал, и однажды впервые за долгое время Гуляйполе ему приснилось. И матуся. Стоит в огороде и говорит, говорит. Губы ее шевелятся, а о чем она, не слышно. «Мамо! Мамо! — кричит он ей. — Дужче кажить. Не чую». И тут проснулся. Петр Аршинов, сосед по камере, тоже анархист, разбудил его:

— Ты что, парень? Успокойся.

Рассердился на него за то, что с матусей поговорить не дал.

Это ж она его отмолила у смерти. До самой царицы добралась, ноги ей целовала...

— Э-эх! — скрипнул зубами Махно. — Не мне та дамочка попалась. Та еще б не сама, а з усем выводком. Може б, и я им должок отдал, явил свою милость. Разве мы хуже? «Живите себе на здоровьечко. Нам не жалко,» — так и сказал бы. А шо? Только не сразу. Сначала б полюбовался ими. Насмотрелся б досхочу на это падлючее кодло. Не поленился б до каждого подойти, в очи ихние

булькатые од переляку заглянуть. Побачить, шо оно там робиться, як ужасть их сучьи души вывертает. Нехай бы из смертью своей поздоровкались, глянули, шо она за такая, та повсцыкались. От тада и отпустить можно было. На все четыре стороны... Да-а-а! Не повезло. Не довелось порадоваться.

Сердито засопев, Махно откинулся на спину и, подложив под голову руки, некоторое время лежал, стараясь ни о чем не думать. Спать... Нужно немного отдохнуть, оторваться от мира, в котором все смешалось, все перепуталось. И несущиеся куда-то кони, и орущие, стреляющие друг в друга люди. Мир перевернулся. А кто это сотворил? Господь Бог? Нет! Дети его — люди-человеки. Сидя в московской Бутырке, он часто думал: «И что оно за штуковина такая — человек? Что в нем главное?» Аршинов говорит, что воля. Петро — головастый мужик, и он ему верит. Без воли, и правда, нет человека. Он, в лучшем случае, что тот кобель, на цепь посаженный. Жрать дают ему, чтоб не сдох, и от дождя со снегом есть где спрятаться, а только радости — никакой. Оттого и брешет на всех, из себя выходит. Разве в тюрьме не такое? Сколько там собак двуногих, готовых друг другу в глотку из-за ничего вцепиться и грызть, пока чей-нибудь дух не выскочит. А сам он иным был? За те семь годков с гаком, что просидел в каменном мешке, злости в нем поднакипело. С этим «богатством» он и на волю вышел после февральской революции. Покупать тот товар охотников не было. Зато поделиться кое с кем пришлось.

Домой летел, как на крыльях. Только размахнуться им не давали. На железной дороге порядка никакого. Все куда-то спешат, всем некогда, а ехать не на чем. До Гуляйполя целый месяц добирался. Грязный, как сатанюка. Зато встретили его, как героя. А как же?! За народ, за волю пострадал. Тот же Кирик Васецкий со своим дружком Сережкой Мартыненко, который успел в урядники выбиться, первыми к нему руки тянули.

— Драстуйте, Несторе Ивановичу! — выставляя напоказ деланную радость, приветствовали его. — С поверненням вас до дому, до хаты.

«И чего это они так?» — вначале удивлялся он, хотя и гордился новым к себе отношением. Нравилось ему и на митингах речь держать, призывая земляков отомстить сатрапам, душителям воли и палачам. После каждой речи добрым словом вспоминал Петра Аршинова — своего тюремного учителя, который сумел хоть немного просветить его в теории анархизма. Конечно, когда бросал в толпу горячие как угли слова о борцах за свободу, какой-то червячок вначале точил его изнутри, нет-нет и напоминая про ту муху, что, сидя на рогах у вола, жужжала: «И мы пахали!» Но цыкал на него, заставляя замолчать, не лезть со своими дурацкими намеками. Кто знает, что пришел он к незаможникам, ища волю не для кого-нибудь другого, а для себя? Да и, в конце концов, еще

не вечер, как говорил допровский кореш Левка Задов, тоже борец за анархистскую идею. Будет время о других порадеть. Разве не так? Пока же нужно добрых хлопцев-однодумцев подобрать, кто бы не боялся в огонь и в воду за ним пойти. Долго искать не пришлось. И загуляли орлики, аж земля загудела, ходуном заходила!

Так случилось, что попали ему в руки следственные дела боевиков-незаможников. Из них и узнал, что выдали их Кирька Васецкий с Сережкой Мартыненко и еще батюшка гуляйпольский, отец Дмитрий. Кликнул хлопцев, и все дела враз порешили. Кирьку, тайную суку полицейскую, добре отмотузив, за ноги из хаты вытащили и посреди улицы из винта положили. А Серега за обедом и не заметил, как пулю вместе с галушкой глотнул. Очень обозлило его орликов, что в ту паскудную компанию батюшка затесался. Патлатый про их дело на исповеди у одного дурня дознался и полиции настучал. Хотели прямо в церкви его и кончить, но Нестор не разрешил: матуся очень уважительно о нем говорила — не хотелось расстраивать. Но и прощать батюшке такой грех нельзя было. Ночью его дома взяли и, накинув на голову мешок, вывезли в карьер. Там и на тот свет благословили.

Словом, расходились орлики. Видит он, что той самой воли они уже через край хильнули. «Треба шось робыть, — забеспокоился. — Одной воли, видно, мало для человека». Тут как раз и в земство его выбрали. Да не абы кем, а заместителем председателя. Во какая штукенция получилась. Тогда и подумалось, что пришло время о других людях порадеть. И порешил он прорастить идейные зерна анархизма, подаренные ему Заратустрой, а больше всего Аршиновым, на земле его родной Таврии. «А шо вы думаете, хлопцы! — делился мыслями со своими орликами. — Сотворим анархистскую республику-коммунию по усей Таврии. Га? Гроши свои робить будем, а столицу тут, у Гуляйполе откроем. Не хуже Москвы или того же Питера будет. Ну як?» Орлики смотрели на него широко открытыми очами и потылицы чухали: «Ну, Нестор Иванович! Ну батька! Скаже, так скаже. Як припечатае».

Как-то между Гуляйполем и Пологами повстречался им помещик Классен. Тут революция, воля гуляет, а ему хоть бы хны: развалился в фаэтоне, как в царское время, и — кум королю.

— Что за люди? — спрашивает нахально. — Кто такие?

— Та це ж Нестор Иванович! — отвечают, предчувствуя потеху, орлики и один другому подмигивают. — Сам Махно. Чулы про такого?

— Слыхал, слыхал, — важно так головой кивает. — Вы, кажись разбойников ловите?

Злость взяла тогда.

— Ах ты, шкура! — кинул ему. — Так мы, выходит, за то боролись, за то революцию творили, шоб тебя, селянского кровососа и контрика, оберегать? Роздягнить его, хлопцы.

А тем по два раза говорить не надо. Мигом из шубы и другой одежды вытряхнули. Стоит он, в чем мамка родила, посреди дороги и трясется то ли от холода, то ли от страха.

— Свяжите ему копыта и нехай скачет. Добежит до Гуляйполя — жить будет, а нет — то побачим.

Эх, и скакал Классен! Как добрый конь. Только скоро потным сделался. Пар от него, как дым из трубы, валит. Вот-вот огнем возьмется.

— Нашо бидолази мучиться, батька? — гогоча вместе со всеми, предложил Иван Прудкосвист. — Хай уже його доля вкраде.

Пришлось «пожалеть». На фаэтон потом пулемет пристроили. Добрая тачанка получилась. А имение экспроприировали именем революции и порешили, что будет в нем образцовая коммуна анархистов. Про себя подумал: «Теперь орликов до дела пристрою. Погуляли и годи». Только где там! Привыкли над землей летать, а опускаться на нее для работы нет охоты. Больше того, обижаться на него стали, губы дуть и между собою шушукаться.

— Шо ж мы, заради того у революцию поприходили, шоб у земле колупаться? А хто ж волю захищать будет? Так и ее вкрадут.

Понял он тогда, что одной воли, видно, мало для человека. Дай ее орликам без меры, так они не только других, а самих себя перегрызут-перебьют и до него, чего доброго, доберутся. Какая ж это в черта воля? Нет, видать, не все ему растолковал Аршинов, обучая в тюрьме анархистской грамоте. Чего-то в ней сильно не хватало. Но чего? Получить ответ на этот вопрос он не смог тогда. В аккурат австро-германцы на Украину поперли. Нужно было их как следует приветить, и для этого охотники собрались в Дибровском лесу. Добре попугали-таки чужаков. И вопрос тот, как болючий нарыв, мучил его, не давал покоя.

Ища на него ответ, махнул он на Волгу, по которой некогда атаманы донские гуляли. Думал, может там воля подольше задержалась, чем у них на Днепре и, глядишь, чего-нибудь узнает. Нет, не узнал. В Москву добрался, искал анархистов, а тех по тюрьмам Советская власть рассадила. Как же так? За что боролись? Сказали люди, что живет в Москве бог анархии князь Кропоткин. Он — к нему:

— Поясни, Петро Алексеевич, шо оно происходит на белом свете?

Только что мог ему объяснить немощный старец? Сильно он тогда злой был на большевиков. А наибольше всего на их Ленина. «Шо он за человек такой? И как бы до его подступиться? — бродили мысли в голове.

Нашел он в Кремль дорожку. Повидался и с Лениным. Думал встретить дядьку здорового, наподобие циркового борца, а тот оказался совсем невысокий, почти его роста. И говорил с ним как с добрым знакомым.

Говорили про волю, и все вроде понятно было. «Нужно народ поднимать», — говорил Ленин, и он с ним соглашался, потому что и его это мысли были. А когда прощались, подумал: «Розумный дядько. Не мешало б еще з ним якось побалакать».

Однако вскоре выяснилось, что ответа на свой главный вопрос так и не получил. Стал ругать себя, и Ленин уже не казался ему таким все знающим и понимающим. Говорил про волю. Так и анархисты вроде за нее борются. Чего ж он их в тюрьмы попрятал? Зря тогда не спросил. И еще очень не понравилось, что Ленин со Свердловым все на рабочих напирали, на их роль в революции. А селяне, что? Кто кого кормит? Н-е-е! Может, по ихней бумажной революции оно и так, а у нас тут совсем по-другому. Селянин — наипервый человек. Хлеба не даст — и всем гегемонам конец. Потому спасибо, граждане большевики, за то, что справные документы сделали, помогли добраться до Украины, а тут сами разберемся. С кем идти? А ни с кем. Своя у нас дорога, своя революция будет. Не бумажная, а настоящая — социальная. Вот так!

А воля? И про нее не забыли. Не сразу он дошурупал, что не может быть воля как та прорва, без конца и краю. Что-то же Должно ее удерживать, не давать разгуляться. Может, совесть? О ней он много слышал. Только говорят и пишут про нее чаще всего те, кто сам мало что знает. А то и вовсе совести не имеет. Нет. И воля, и совесть — девки-подружки: загуляла одна — поведет за собой другую. На совесть надеяться нечего. Тут совсем другое нужно — чтоб ту самую волю в нужный момент останавливало: «Стой, стерва! Куда прешь? Не можна ж туда!» Вот Галина, баба его венчанная. Чем ей не воля? Гуляй себе, делай, что хочешь, но не забывай, что батько все знает и враз тебя может за косу добре смыкнуть, а то и по пыке съездить. Может. Хоть и любит тебя.

Страх — вот что каждого держит. Каждого! Орлики думают, будто ему не известно, что это за штука. Нехай думают: батька ничего не боится, ему никогда не бывает страшно. Сам-то он знает, что это не так. Добывал себе волю, наступая на собственный страх. С боем отбивал у него позицию за позицией. Воля — то его территория, отвоеванная у страха, который чуть-чуть отступил... Разве сейчас не боится он сгинуть в этой свалке, которую сам же затеял? Эге, еще как боится. Бросил бы все и завеялся с жинкой своею куда глаза глядят. Галина — в школе, а он... Черт его знает, чем бы он занимался. Есть у него документ, удостоверяющий, что никакой он не Махно, а учитель семинарии Шепель Иван Яковлевич. Так то ж хлопцы в Москве ему выправили. Спасибо им. Теперь и его люди не хуже могут сотворить. Хоть на самого царя бумажку нарисуют. Носи на здоровье. ...Ну не был бы он учителем, так другое какое-нибудь дело нашлось. Не в том вопрос. Деток бы заимели двойко-тройко. Что они — не люди? Хуже других?

Вот только как бросить все? Ведь разорвут хлопцы на малюсенькие шматочки, узнав о слабости батьки. По ветру пустят и никто следа не найдет, куда делся. Нет! Про то и думать нельзя. Это — только его и ничье больше. Тайна души, дверь, которую он никому не открывал и вряд ли когда откроет.

Никому... Так ли? А Петру Аршинову? А Левке Задову? Да, эти знают о нем больше других. Может, слишком открылся он им и пожалеет об этом? Взять того же Левку. Хитрый жид Только какое дело без жида делается? Хлопцы его боятся. Все — от рядового повстанца до самого высокого командира. Боятся потому что знают: шепнет Лева, и нет тебя — «украли»! А кто и как — то и богу не всегда известно. «Та й нашо ему усе знать?» -так шутит Задов, неторопливо, будто нехотя выталкивая из себя слова. Перед ним дрожат, а сам он перед батькой травою мягкой стелется: «Верь мне, батька! Других таких нема — шоб мы так с братом жили, как жилаем тебе».

Во стерва! Словом, «швой в доску». Вернее, за собаку кажется. Когда появился он, могучий и кудлатый, не сразу ему поверил. Думал: «Може, колеса крутить гад? Прикидывается таким хорошим та ласковым: мягко стелет, стишками своими паскудными сыплет, шуткует, а сам момент выбирает, шоб покрепче пазурями своими в горлянку батькову вчепиться. Кто его знает, какие думки гуляют под теми баранячими кучерями Левки?»

Долго к нему приглядывался. Проверяя, многим не раз рисковал. В самое пекло его посылал, откуда не всякий черт мог выбраться. А Задов выбирался. И всякий раз, как ни в чем не бывало, к нему возвращался. Не-е-е! Левка не продаст. Ему незачем к его голове примеряться. Он добре знает, что батьки из него не выйдет. Бояться его будут, слушать будут, а любить, почитать за батька — ни в жисть. Холодный он до людей. Как гадюка, холодный. Чужой им.

Зачем же тогда открылся ему? Так надо было, чтобы в груди волосатой Задова огонек веры засветился. Она, вера, что то дитя. Воля — мамка его, страх — батько родный. Вместе — семья целая, что живет себе в душе человеческой, как в селянской хате. Ладят они, в согласии живут, и человеку добре на свете. Врозь рассыпались — не видать ему покоя. Будет крутиться как та собака заблошенная, напрасно силясь достать зубами свой искусанный зад...

Разный люд к нему идет. Кто по волю — бери, хапай жменями, ешь ее, пей, сколько хочешь.

Нужно только, чтоб в него, в батьку Махно верили, в анархию, что несет он Таврии на знаменах социальной революции. Они ему — веру, а он им — покой в душах и хатах селянских. Когда и как то свершится? Нестор Иванович — не цыганка, гадать не умеет. Их дело — ждать. Ждать и верить. А кто теряет ту веру, тому в повстанческой армии делать нечего. И на этом свете тоже...

Объятия ночи слабеют. К дальней околице Гуляйполя неслышно крадется рассвет. Уставшие буравить темень очи смыкаются, и батька погружается в тревожный сон.

...Утром отец с дядькой Иваном еле добудились Никиту.

— Скорише умывайся, гультяю, — буркнул отец. — Треба йти.

— Куда? — с трудом поднимаясь на ноги, которые никак не хотели его держать, спросил Никита.

— Як-то, куда?! — изумился дядька Иван. — До батька нашего. До самого Нестора Ивановича.

Никита с трудом перевел взгляд на отца и по его виду понял, что и тому не сладко.

— Может, трошечки того... здоровье подправить, — жалобно прогундосил отец.

— Бог с тобою, Оверко! — замахал руками дядька Иван. — Та батько за такое шкуру с меня живого сдерет. Держитесь уже як-то...

В полутемной комнате хаты, куда привели их с отцом, ничего, кроме длинной лавки и стола, не было. К ним спиной, у окна, стоял, скрестив на груди руки, невысокого роста сухощавый человек. Длинные темные волосы закрывали шею и часть плеч, и Никита вначале подумал, что это может быть батькова дочка. Потом перевел взгляд на галифе и сапоги и засомневался — хлопец это или девка.

— Здравствуйте вам у хате! — прогудел отец и остановился у порога, дожидаясь, когда же появится сам батько. Ответа на приветствие не последовало. Единственный человек, который был в комнате, продолжал неподвижно стоять, разглядывая что-то за окном. Никита потихоньку оглядел комнату, стараясь угадать, откуда выйдет таинственный батька Махно.

Отец переваливался с ноги на нагу, сопя, как наштопанный гусак, и, покашляв в кулак, уже собирался что-то спросить. Неожиданно стоящий у окна человек резко обернулся. Лицо его перекосила лютая злоба, зубы были сжаты плотно, а глаза, казалось, готовы испепелить всех, на кого падал их взгляд. Выбросив вперед руку с револьвером, человек что-то крикнул и выстрелил — раз, потом еще и еще. Все произошло так быстро, что Никита не успел ничего сообразить и только, непроизвольно сделав шаг назад, удивленно и испуганно моргал глазами.

— Ой, ненько! — прикрывая ладонью лицо, словно надеясь защититься от просвистевших рядом пуль, запричитал отец. — А шоб ты сказывся, дурне хлопья. Та хиба ж можно леворвертом баловаться. Шоб тебе...

В хату вбежал дядька Иван и еще кто-то с ним, бросились к отцу, и в это время в комнате раздался смех. Он был необычным и напоминал крик чем-то напуганной курицы. Человек вскрикнул несколько раз, а потом беззвучно затрясся, судорожно глотая ртом воздух. Будто собирался с силами, чтобы огласить хату новой порцией диких вскриков. И они действительно вскоре последовали, пугая своей неопределенностью и резкостью.

Пронзительно, по-жеребиному заржал дядька Иван, хватаясь за бока и откинув назад лохматую, давно нечесанную голову; совой заохал его спутник. Даже отец не выдержал и тоже пхыкнул себе под нос. Правда, как-то нерешительно, робко, словно опасаясь, как бы этот незнакомый маленький человек не выбросил вдруг новую штуку.

Смех прекратился так же неожиданно, как и начался. Первым затих длинноволосый, презрительно поджав тонкие губы; за ним — остальные. Дядька Иван вытирал выступившие от смеха слезы и все приговаривал скороговоркой:

— Ну, батько! Ну, Нестор Иванович! Врежить, так врежить! Ой, не можу! Не можу, хлопцы.

— Шэ, голубы, — послышался скрипучий голос Махно (а в том, что это был он, Никита уже не сомневался), — радуетесь жизни? Мабуть, у штанах ваших полно? Га? Признавайтесь.

— И чого б это так? — обиделся отец.

— Нет? — расплылся в улыбке Махно. — Тогда добре. Терпеть не могу боягузов. Любого предадут гады. А у тебя добрый брат, Свист. И пацан ничего. Толк будет. Пиши до своей сотни. Хай воюют за волю.

4

С того дня закружила, завертела Никиту махновская метелица. Умел батька создавать видимость разудалой вольницы. Пропагандистская машина работала вовсю; «за волю» агитировали батькины командиры, культпросветотдел выпускал газету «Голос махновца» и листовки, постоянно проводились митинги с селянами, где обязательно должны были присутствовать и те, кто уже встал под черное знамя батьки. На одном из таких митингов в селе Конские Раздоры Никита встретился с бывшим директором своей школы Миколой Миновичем, хотя и не сразу признал его в очередном ораторе, поднявшемся на тачанку посреди церковной площади. Был Микола Минович в шароварах, подпоясанных широким ремнем, на котором болтался маузер, в украинской сорочке, поверх которой змеями крест-накрест улеглись пулеметные ленты, без усов, но с длинными, правда, много короче, чем у Махно, волосами.

— Браты! — привычно крикнул в толпу Микола Минович, комкая в руках знакомую Никите папаху. — Счастье пришло на нашу светлую украинскую землю. Счастье справжней свободы. Его несут храбрые воины, шо стали под наше знамено. Мы бьемся за волю, за советы только без власти. Нашо она? Всякая власть есть насильство. А мы против насильства, против всякой власти. Наша деятельность — только агитация и пропаганда. Народ сделает все сам. Сам совершит справжнюю социальную революцию и добьется абсолютной свободы для неньки Украины и для всех. Мы — сами себе власть. Такого ж придерживаемся и в военном деле: сама армия собою управляется.

— От чеше наш Микола Минович! — с явной гордостью шепнул отец.— О, чеше!

А Микола Минович, все больше распаляясь, входил в раж. Волосы его рассыпались, закрывали лицо? и он все время сердито отбрасывал их назад, продолжая ораторствовать.

— Говорят, шо у нас есть батько. Он для нас власть. Нет, браты, батько Махно для нас только любимый военный командир, а не царь и не власть. Он сам честный революционер-безвластник. Он сам селянин. Он власти над нами брать не собирается. Он хочет только помочь нам защититься от врагов народа, от врагов неньки Украины. Хочет спасти революцию и добиться истинной свободы. Вступайте под наше светлое знамя. Ставайте до лав воинов свободы. Хай живе украинская социальная революция! Да здравствуют свободные безвластные советы! Да здравствует анархия!

— У-р-ра! — первым загудел отец.

— У-р-ра! — подхватил Никита. Ему хотелось хватать за руки всех стоящих рядом и спрашивать: «Вы слышали? Слышали, как добре говорил тот человек? То ж наш, наш Микола Минович!

Смутило, что их с отцом голоса одиноко прозвучали в наступившей вдруг тишине, и Никите стало обидно за своего директора.

— У-р-ра! — разозлившись на толпу, крикнул он изо всей силы и, услышав, как поддержали его другие из их сотни, а следом за ними и селяне, правда, без особого восторга, успокоился и стал пробиваться к тачанке.

— Здравствуйте, Микола Минович! — поздоровался с бывшим директором, по привычке сняв шапку и кланяясь.

— О! — сделал большие глаза Микола Минович. — И ты тут, Прудкосвист?

— Ага, разом с батьком, — ответил Никита, стараясь показать, что помнит просвитовские уроки Миколы Миновича.

— Я рад, что ты здесь, Никита, — словно не замечая стараний своего ученика, продолжал почему-то по-русски тот. — Сегодня все лучшие люди должны быть здесь. Ну, мы с тобой еще поговорим, а пока я спешу. Не обижайся. Революция — прежде всего.

Может быть, правду говорил Микола Минович, а может и хитрил. Только показалось Никите, что не сильно обрадовался бывший директор, встретив его и особенно услышав, что и отец здесь. Все прояснилось, когда поделился он своими сомнениями с отцом и дядькой Иваном.

— Не любит твой Микола Минович, когда про гетмановские дела ему нагадуют. Ой, не любит, бо батька ругают Петлюру шовинистом.

Никите нравилось чувствовать себя равным среди взрослых. Вместе с отцом он участвовал в строевой подготовке, учился стрелять из винтовки, ездить верхом на лошади и рубить шашкой лозу, воображая себя лихим казаком, дерущимся за Украину и любимую Марийку с врагами. Правда, кто эти самые враги, представлял смутно, и они виделись ему то турками с кривыми ятаганами, то коварными и злыми татарами, то жестокими германцами. Командовал учебой дядька Иван. В русско-японскую войну он служил в кавалерии и домой, к удивлению деда Саввы и другой родни, вернулся без единой царапины, зато с двумя Георгиями и ефрейторскими лычками. Никому в сотне дядька поблажек не давал. Не составляли исключения и старший брат с племянником. Однажды отец плохо почистил винтовку, и дядька Иван на полном серьезе так отбандерил брата перед строем, что отец готов был сквозь землю провалиться. А сотник вдобавок пообещал в следующий раз отделать виновного нагайкой так, что шкура на спине полопается.

Этот случай привел Никиту в великое смущение. «Как же так? — думал он — Все говорят о полной свободе, воюют против всякой власти, а тут...» Никита готов был возненавидеть своего недавнего кумира. Здорово обиделся и отец; после той нахлобучки перед строем он всячески старался обходить младшего брательника, ругая про себя, а иногда и вслух «сопливого сотника» всякими словами. Конец ссоре положил дядька Иван, вызвав вскоре отца к себе на правах командира. Да не одного, а вместе с Никитой.

В хате, где квартировал сотник Свист, при закрытых дверях и состоялся разговор.

— Ну чого пыку отвертаешь? — беззлобно улыбаясь, спросил дядька.

— А шо ты хотел, шоб я целовался с тобою, падлюкою, после той ганьбы перед усим строем, — взвился, играя ноздрями, отец.

— Э-э-э, брате! — осуждающе покачал головой дядька Иван.

— И то мое замечание называешь ганьбою? Видать, шо ничего ты доси ще не пойнял.

— Шо не пойнял?

— А то, шо не доведи боже почуты и побачить тебе, як с нами говорит батька.

— Шо, може и нагая перепадает, якого ты мне, своему старшему брату, обещал, бессовестный?

— Пхе! Нагай — то ще ничого. Можуть,.. — дядька с опаской огляделся вокруг, хотя хорошо знал, что в хате никого, кроме, них нет, и понизил голос почти до шепота:

— Можуть и вкрасты.

— То ж как? — открыл рот отец. — Кого вкрасты? Хто?

— А тебя чи меня. Любого.

— Як же?

— А от так. Был себе. Ходил, ел та пил. И от не стало.

— Ну, й шо?! — сдвинул плечами отец. — Может, плюнул на вас и додому подался. От как я, скажем, заберу Микиту и — гайда в Андреевку. Воля ж у нас.

— Ты шо! — аж подскочил дядька. — Никому про то и не заикайся. Бо всем нам буде конец. Сразу й вкрадуть. Убьют, значит, по-нашому.

Отец растерянно заморгал.

— Свои свого? — подал голос Никита.

— Ну, да! Батька каже, шо свои коней крадут. И наибольший злодий той, шо живет серед нас. Есть у батьки верные люди. Ты про них ничего не знаешь, а они про тебя все. То хлопцы Задова. От ты надумал тикать или какое другое зло, а им уже все известно стало. Вже тебя вороны стережут. Вкрадут, и никто знать не будет. Ни одна душа слезу не прольет, не спросит, где ты пропал-подевался. Не положено то, бо им оно не треба — чужое горе. Он так, хлопцы. И вас христом-богом молю: не мелите своими языками шо попало, не кличте лихо — оно само нас знайдет.

— Ну, и воля! — почесал затылок, немного приходя в себя, отец.

— Как же теперь нам быть? Га?

— А дуже просто: слухайте, шо я вам буду казать и у точносте сполняйте. Люди кажуть, шо у сотника Свиста на плечах не макитра, а голова розумна. А хто розум мае — в того гроши будуть. З ними ж завсегда жить можно, як у бога за пазухой.

— Що правда, то правда, — вздохнул отец. — От только, де их наберешься?

— Де? — хитро прищурился дядька Иван. — Батька говорит, шо треба эк—экспроприировать тих, экс... экспроприаторов. Тьху ты! Хай воны сказяться, ти слова гавкучие, що их усякие германцы понапрыдумалы.

Какой смысл вкладывал дядька Иван в эти мудреные слова, Никита вскоре узнал...

Махно как раз замирился с красными и шел брать Бердянск, занятый деникинцами. По дороге на город их сотня наткнулась на обоз красных, который вез продовольствие для коммунистического полка, дравшегося где-то неподалеку.

— Кто такие? — крикнул командир обозников, одетый в черную кожанку, подступившим махновцам. — К подводам не приближаться.

Остренький пятачок пулемета красных зыркнул из стороны в сторону, выискивая, куда бы плюнуть свинцом.

— Та чи ты здурел, хлопец?! — возмутился дядька Иван. — Мы ж воины уславленного революционера батьки Махна. Разом з вами бьемося с белым генералом Деникиным. Я ж сам ездил укладать договор з вашим Дыбенком у Екатеринослави. Не слыхал?

Обозники посовещались, а потом все-таки поверили словам дядьки Ивана. А тот, будто братьев родных, встретил. Чуть ни с половиной обозников перецеловался и все подшучивал над излишней осторожностью командира.

— Да черт его знает, кого в степи встретишь, — смущаясь, оправдывался тот, — говорили, бандиты шалят в этих местах.

— Та де там те бандиты! — вовсю заливался дядька Иван. — Батька усех их повыводил, як сусликов. Наш теперь степ. Чуешь? Наш. Мы тут полные хозяины. С нами никого не бойся.

Дядька обернулся к ехавшей следом сотне и скомандовал:

— А ну-мо, хлопцы, заграймо для людей песню нашу украинську. Та так, щоб аж у Бердянську здригнулись.

И взвилась над весенней степью лихая песня «Засвистали козаченьки». Не жалея горла, выводил волнующие душу слова Никита. Рядом гудел бас отца, выделяясь своей силой из общего хора. И на сердце было так хорошо и радостно, что хотелось, чтобы и песня, и сама дорога эта, на которой повстречались хорошие люди, никогда не кончались.

Вместе въехали в село, в котором решили заночевать. Командир обозников, оказавшийся орловским рабочим, все норовил разместить своих красноармейцев рядышком.

— Так быстрее соберемся, чтобы пораньше выйти. Нас же ждут в полку.

— Чего ты переживаешь? — сорокой трещал дядька Иван. — Хай твои хлопцы рядом с моими будут. Салом их пригостимо, чарчину знайдемо. А завтра вранци разом дали пойдем.

И таки уговорил обозника дядька Иван. Никита, определенный на ночлег в одну хату с отцом и дядькой, после ужина отпра-

вился спать. А братья еще долго сидели, угощая гостя самогоном и салом с чесноком. Вдыхая эти запахи, Никита и заснул. Ночью вскочил, услышав выстрелы. В темноте с трудом отыскал свою винтовку и уже собирался выяснить, в чем дело, когда в хату вошел дядька Иван, а за ним отец.

— Шо, налякався? — спросил дядька.

— Трохи. А шо там такое?

— Та ерунда. Хлопцы кобелюку скаженого подстрелили. З цепу сорвался, проклятый. Лягай, спи.

И Никита снова уснул. Рано утром его разбудили.

— Скорише сбирайся. Рушаем, — буркнул отец.

Сердито сопя, Никита собирался, про себя поругивая дядьку Ивана и отца, которые подняли ни свет ни заря и главное — черт его знает, зачем. Ведь вчера же он сам слышал, как дядька договаривался с командиром обозников дать людям и лошадям добрый отдых. И вот тебе на. «Ну, ничего, — решил Никита, — додремлю в седле». Он уже научился это делать во время спокойной езды и надеялся, что ничто не помешает и в этот раз. Едва выехали за село, стал выбирать поудобнее положение и тут увидел гарцевавшего впереди дядьку. Что-то необычное, новое было в его облике. Недовольство дядькой (не дал как следует отдохнуть!) помешало сразу понять, в чем дело. Никита ругнулся про себя и опустил долу очи, чтобы не смотреть на «задрипанного сотника». Ну его к бесу! Он постарался переключиться на что-то более приятное. Вспомнилась Марийка, ее недавний привет, который передал Никите батрак Семен, привозивший незадолго перед походом на Бердянск муку и сало в счет «налога на оборону», установленного Махно. На душе тепло стало, когда услышал от Семена, что ждет его Марийка. Только вместе с добрыми вестями привез Степан и плохие: Марийка тоскует совсем одна, потому как мать ее в самом конце зимы померла. Семен как раз и отвез старушку к Казацкой могиле.

До чего же захотелось бросить все это батьково войско, вскочить на коня и лететь без роздыха к Марийке. Конечно, ничего этого ни Семену, никому другому Никита не сказал. Только поклон передал. Но после того не однажды видел Марийку во сне, и всякий раз плакала она горько, вся слезами обливалась. Просыпался в тревоге, и потом долго на душе кошки скребли. Ложась спать, молил бога, чтобы приснилась Марийка веселой и радостной, с глазами, как чистое летнее небо. Думалось, что тогда ей и взаправду лучше будет. Вот и сейчас Никита уже и глаза закрыл, покачиваясь в седле, но сон почему-то не шел. Тихо в колонне. Никто не разговаривает, не шутит. Видно, все недоспали в эту ночь. «От чертов дядька! — с новой силой залютовал Никита. — И чего это ему вздумалось будить людей в такую рань? Видно, засвербило в каком-то месте. Так почухайся добре, попей водички и спи себе на здоровье. Нет же, не спится ему. Все выслуживается перед батькой».

Откуда-то из-за спины ветер донес едва слышный шепот.

— Подушкой... придавил, а Свист сверху топором жахнул...

— Да... Все было б тихо, если б не ихний комиссар. Такой гвалт учинил...

«О чем это они? — насторожился Никита. — При чем тут какая-то подушка и дядька?» Он поднял голову и прямо перед собой увидел дядьку Ивана, который первым поднялся на бугор. Кожанка! Черная кожанка, которая была на дядьке, беспокоила его. Точно такую же Никита видел вчера на командире обозников. «А может, это та самая? — возникла страшная догадка. — Отец подушкой, а дядька Иван топором...» Никите сделалось жарко. Даже пот на лбу выступил. Он бросил взгляд на отца, ехавшего от него справа. Тот свесил на грудь тяжелую голову и усиленно боролся со сном, который, видимо, одолевал его. «Не может быть! — немного успокоился Никита. — Если б ... если б такое было, разве он мог ехать спокойно?». Никита облегченно вздохнул и на время выбросил из головы неприятные мысли. Но Дядька Иван снова замаячил впереди, и проклятая кожанка опять вывела Никиту из себя. «И далась она мне! — думал он. — Но даже, если действительно кожанка того командира. Что из того? Он мог поменяться с дядькой или просто подарить ему. Вон ведь как дружно говорили они вечером. Дядька никогда так с братом своим не разговаривал...»

— Ху ты, нечистый! — тряхнул головой отец, борясь с сонливостью. — Зовсим меня заколыхало. Як ты тут, сыну?

— Я-то ничого. От только на дядьку Ивана смотрю...

— А чего на него смотреть? — зевнул отец. — Иван як Иван...

— Смотрю и думаю, а чи не замала на него он та черная кожанка, — сердито прошипел Никита и уставился на отца, чтобы видеть, как тот поведет себя.

Отец как раз смачно зевнул с подвывом да так и замер с открытым ртом. Потом медленно, словно это стоило ему больших усилий, свел челюсти и, скрипнув зубами, бросил:

— Ты от шо, сыну... Помовчи. Не твое то свыняче дело. Пойнял?

Никита промолчал, с трудом сдерживая кипевшую внутри лють. Он готов был вот-вот сорваться и высказать отцу все, что о нем думает. В памяти черным конем пролетели уже немного призабытые случаи, которые тревожили и пугали Никиту в детстве, когда отец «приводил в чувство» деда Савву, зажимая лицо подушкой, как, напившись вусмерть, гонял вокруг хаты их с матерью. Хотелось наговорить едких и обидных слов, напомнить, что мать не захотела с ним жить и ушла от такого скаженого зверюки... Никита скосил глаз и в страхе замер: отцовский лоб наискосок пересекла знакомая кроваво-черная жила. Никита знал, что она всегда предвещала безудержную лють — состояние, в котором отец мог сотворить все, что угодно, убить любого, кто попадется под руку. Никита сжался в комок. Захотелось пришпорить

лошадь и бежать подальше от этого страшного человека, которого он сейчас ненавидел, а еще больше боялся. Нет, даже не боялся, а испытывал животный страх. Вот сейчас он выхватит саблю и разрубит его до седла надвое или даже просто махнет своей рукой-грабларкой, и нет тебя. Никита инстинктивно схватился за лимонку, которая висела на поясе.

— Ты шо! Не балуйся! — неожиданно вскинулся отец, схватив его за руку своей лапищей. — От дурне теля!

Никита все еще со страхом, растерянно моргая, смотрел на отца.

— Разве ж можно бомбами граться?

До Никиты стал доходить смысл отцовских слов. «Так отец сам боится! — догадался он. — Меня боится!» Медленно разжал ставшие мокрыми от пота пальцы и, дождавшись, когда немного уляжется бившая его дрожь, коснулся тыльной стороной ладони пылающей щеки.

— Вона ж як жахнет, так и воронам на обед мало будет, — бубнил отец.

«Вы и сами, как вороны», — мысленно ответил ему Никита.

— Тебе не понравилось, шо дядько Иван кожанку одел. Не понравилось? Мовчишь? Я ж бачу, шо так. А чи ж знаешь ты, шо ее лютый ворог наш носил? Може, те обозники и в Андреевке побували, наш хлеб до останнього зернятки выгребли.

«Неужели всех порешили?» — прозрел вдруг Никита и оглянулся, уже не сомневаясь, что увидит подводы обоза. Только теперь на них сидели не вчерашние красноармейцы, а хлопцы из их сотни.

— От тебе и пригостили гостей, — криво усмехнувшись, выдавил из себя Никита.

— А хто их сюда звал?! — вскинулся отец. — Сами прийшли на эту землю. Вона их и прийняла.

Отец продолжал о чем-то рассуждать, оправдывая то, что произошло ночью. Но Никита уже не слушал его. «Ну какие ж это у беса казаки? Нелюди то. Вороны! Вороны! — стучало в висках. — И знает ли про это батька? Ведь вокруг него самая настоящая воронья стая. Они вроде держатся вместе, вместе едят и пьют. Но каждый сам по себе. Думает, как бы ухватить кусок побольше, а до других, даже если эти другие их родные дети, им дела нет. И живут они не как люди, а как те паскудные птицы в степи, кружась и каркая в ожидании смерти. Но тогда кто же он сам? Если человек, то почему не бросит эту стаю? Почему не бежит от нее, как это сделала мама, уйдя от них. Может, и он ничем не лучший, такой же, как и они? Нет! Он не хочет быть вороном, который хватает и жрет всякую падаль. Не хочет и не будет. У него есть Марийка. Вот только бы добраться до нее. Перелететь через эти версты, увидеть ее глаза, и тогда все будет по-другому. Но ведь нужно решиться на то, чтобы бежать. А если поймают? Тогда конец, крышка»...

Никита живо представил себе Махно, которого не раз доводилось видеть во время дежурства при штабе. Вот батька глядит на

тебя пристально своими темными очами, будто прицеливается. И это не просто очи, а стволы направленных на тебя пистолей. Кажется, сейчас вылетят оттуда пули и свинцовыми шмелями вопьются в твое съежившееся тело, а то и проткнут насквозь. Бес его знает, что за нечистая сила во взгляде батьки. Глянет, а ты уже думаешь, что конец тебе сейчас будет. Крышка с барабаном. Прощаешься со светом белым. Но вдруг улыбка засветилась в тех очах и пошла растапливать их смертельный холод. И перед тобой уже не грозный батька, который минуту назад держал в своей маленькой руке жизнь твою никчемную, а что ни на есть разлюбезный друг твой, а может, и брат. Ты опять ожил, на свет народился. Всю обиду ему простить готов. Готов улыбнуться радостно, засмеяться с облегчением, плакать умиленно и тихо, как в детстве, прижавшись к мамке — самому лучшему и близкому человеку. Все готов сделать. А как же! Сам батька тебе улыбается. Вот оно счастье-то какое! Но не слишком поспешай! Не забывай, что настроение Нестора Ивановича переменчиво, как солнышко в осенний день. В момент будто ветром сгонит улыбку, и теперь — берегись. В ниточку сойдутся тонкие губы, становясь белее бумажного листа. Холодными дырочками смерти глянут готовые плюнуть огнем глаза, только что сиявшие добротой.

— Шо, сука! Прэдаешь батьку?! Прэдаешь?! Га? У-у-бью! — У-у-бью!!! — оглашает все вокруг визгливо-надтреснутый голос, а лютью скрюченные пальцы судорожно ищут неразлучный с батькой маузер. Вот теперь берегись!

И откуда появляется эта батькина лють? Может, он и родился не человеком, а чертом. Вон дядька Иван рассказывал:

— Кажуть люди, шо батько наш усигда булы не такие, як усе. Народыла маты вроди дытыну як дытыну та й до попа понесла разом з чоловиком, щоб охрестив, значить. Заходився пип хрестыты немовля и только вынял з святой водички, як воно сцыкануло батюшци прямо в очи. Той аж пидскочив. Хотив кинуть малого та пожалив и отдав матери. Тольки сказав при цьому: «Це не к добру. Хлопья ще накоить нам лиха». Може, так воно було, а може, и не так. Тольки ж люди кажуть. А що не любит Нестор Иванович попив, то це истинная правда. От хрест тебе святой...

Всякое говорят между собой люди. Только не каждому можно довериться. Не со всеми можно поделиться. Боятся того борова Левки Задова и его ушей. Даже близких своих не щадит Махно. Узнает что плохое — конец. Подаст сигнал Задову: «Раби гразь». Тот подстережет несчастного и за горло своими ручищами — хвать. Пикнуть не успеет человек, как душа из него вон. Боятся люди батьку, и никто ему не перечит. А он же хитрющий, как лис. Самого командующего Всеукраинским фронтом красных обдурил. Тот с инспекцией приехал, так батька такую комедь сотворил, что куда там. Даже большевистский «Интернационал» музыканты играли. Сам батька вместе с Маруськой Никифоровой ужа-

ми вокруг того командующего ходили. А проводили его — ржали, как жеребцы, показывая, как перед высоким гостем щелкали каблуками и козыряли.

Надоело все это. Бежать хочется. Но как? Об этом ни с отцом, ни тем более с дядькой Иваном не посоветуешься.

...В атаку на деникинцев под Бердянском Никита летел, почему-то не чувствуя страха. Злость на целый свет оказалась сильнее страха смерти. В отступающих беляках виделась главная причина его бед. На одной из улиц города он кого-то догнал и с силой полоснул шашкой голову, втянутую в плечи. Истошный крик, раздавшийся из-за спины, заставил опомниться. Захотелось остановить коня и оглянуться, увидеть человека, которого только что срубил, даже помочь ему. Но ужас перед тем, что он мог увидеть, толкал его все дальше вперед. После боя батька отдал приказ: Бердянск наш и все в нем наше. Все кинулись шастать по хатам и лавкам. А Никита долго не мог прийти в себя. Дрожа всем телом, на непослушных, будто не своих ногах он все кружил возле того места, боясь приблизиться. Наконец решился и, закрыв глаза, свернул за угол. Вот сейчас он глянет и в пяти шагах от себя увидит убитого. Даже представил, как лежит этот солдат, его первый грех, упав на колени и обхватив руками шею, стараясь защитить ее то ли от удара шашки, то ли от воронья, . которое, видно, уже ведет свою паскудную вечерю. Может быть, даже люди, которые видели это, сейчас стоят там и с укором будут глядеть на него...

Никита раскрыл глаза, продолжая шагать, и тут же в растерянности остановился. На всей улице, сколько охватывал взор, не было ни единой души. Огляделся. Может, ошибся местом? Так нет же. Вот красного кирпича дом, где он срубил беляка. Никита потоптался на месте, пытаясь что-либо понять. Увидел темное пятно на земле, присмотрелся и догадался: кровь. Может, успели унести? «А если я его не убил?» — мелькнула мысль. — Конечно, не убил! Только ранил. Там впереди еще пятно и дальше, поменьше... Значит, солдат не упал, а продолжал бежать».

Фу-у-у! Никита облегченно вздохнул, сбросив шапку, он вытер рукавом пиджака пот и перекрестился: «Слава тебе, господи, что не дал совершить мне греха тяжкого!»

Чувство огромной радости захлестнуло Никиту. Закинув винтовку за спину, он шел по прямой, как стрела улице, сам не зная, куда. Все нравилось ему: и теплое весеннее солнце, золотившее похрустывавший под ногами песок с ракушками, и дома нежно-голубого цвета, и немногие деревца, одетые молодой зеленой листвой. «А у нас, мабуть, вишня вовсю цветет», — подумал Никита и почти явственно ощутил ни с чем не сравнимый, пьянящий аромат. Он даже приостановился, чтобы подольше сохранить это ощущение. Вернуться бы в свою Андреевку, пройтись по улице, похожей на разодетую к свадьбе невесту, спуститься к рокочущему Днепру и слушать, слушать нарочито сердитый говор воды.

Пусть себе сердится та вода. Никита знает, что то она понарошку, как его Марийка, которая вроде недовольна, надула губы, но глаза улыбаются и вот-вот брызнут веселым смехом.

Он не помнит, сколько так шел, задумавшись о доме, забыв обо всем другом на свете. Очнулся, когда яркий солнечный луч, отразившись от чего-то, больно хлестнул по глазам. Никита зажмурился. Так бывало в детстве, когда кто-нибудь из хлопцев баловался с кусочком стекла, пуская зайчиков в глаза товарищам. А сейчас, кто это надумал с ним играться? Он прикрылся рукой и окинул взглядом улицу. Вроде никого. Только далеко впереди улица как будто обрывается, превращаясь в голубую ленту, и сливается с синим небом. Такого он еще не видел. Никита зашагал быстрее и, сделав несколько шагов, едва не вскрикнул от изумления. Прямо перед ним, разметнувшись во всю ширь, лежало небо. Да, да! Именно лежало. По крайней мере, так ему показалось вначале. Он даже поднял голову, подумав, что оно упало. Но нет, небо было на месте. По его голубой глади неторопливо плыли облака, провожаемые ласковой солнечной улыбкой. Тогда что же это такое? «Ти-ше. Ти-ше!» — послышалось совсем рядом. Никита вплотную приблизился к невысокому заборчику, которым заканчивалась улица, и глянул вниз... Догоняя одна другую, будто играя, на берег накатывались небольшие волны, шурша прибрежным песком. «Это ж надо, сколько водищи! — усмехнулся про себя Никита. — Прямо целое море разливанное... Море... Может, это и есть море? То самое, к которому катится наш Днепро?»

Никита оперся грудью о каменный заборчик и замер, любуясь водной гладью. Откуда-то справа послышались голоса. Никита поднял голову и увидел людей, которые шли вдоль берега. Впереди шагал высокий человек в штатском, подпоясанный ремнем, на котором болталась деревянная кобура маузера. Следом за ним с винтовками за плечами двигались матрос и два солдата. «Вроде не наши», — подумал Никита, рассматривая ту четверку. Почему-то взгляд его, едва скользнув по солдатам и матросу, сразу прикипел к гражданскому. Будто заколдовали Никиту: смотрит и глаз отвести не может. А тот с маузером идет, что-то выговаривает спутникам через плечо и рукой, как шашкой, воздух рубит. И сама фигура штатского, и его манера разговаривать, помогая себе руками, были очень знакомы. Подошли они ближе, и тут Никита заорал не своим голосом:

— Пе-е-тро! Задорожний! — и со всех ног к нему бросился. Петро вначале растерялся, стоит и глазами лупает. Потом и он Никиту узнал все-таки. Обнялись они, тискают один другого. Никита чувствует, что ему уже невмоготу, совсем дышать нечем, а сдаваться не хочет. Наконец Петро разнял свои медвежьи лапищи, окинул с ног до головы придирчивым взглядом своего давнего «джуру» и, видимо, остался доволен.

— Ну, здоров, козарлюга! — усмехнулся, тронув кончиками пальцев белые, как и волосы на голове, усики, стрелочками торча-

щие под носом. — Справжний козарлюга. — А повернувшись к спутникам,пояснил:

— Земляка, хлопцы, встретил. Соседи мы, с одного села. И как ты здесь оказался?

— А я Днепром приплыл, Петро, — пошутил Никита.

— Брешет он, браток командир, — подал голос матрос, и Никита вспомнил, что видел его среди артиллеристов батьки. — Днепро у Черное море течеть, а здеся Азов.

— Ишь, разбирается! — кивнул солдатам Петро. — А того понять не хочет, что не можно мирных людей обижать.

— Ну, опять ты за свое! — всплеснул руками матрос. — Я ж токо трошечки жидов бомбочкой пугнул, шоб золотишком поделились. Оно ж их у тревогу уводит. Мешает, значит.

— Ладно, ладно! — махнул рукой Петро. — Отведите этого мародера до штаба батьки Махно. Он тут недалеко в готеле «Метрополь». Нехай с ним сам разбирается. А я трохи с земляком побалакаю.

Петро проводил взглядом матроса, бросив во след ему со злостью:

— Бандюги! От уже правду люди кажут: для кого война, а для махновцев — маты ридна.

Он сплюнул в сердцах и присел рядом с Никитой на каменный заборчик.

— Ну, давай рассказывай, як ты и шо ты. Выходит, разом воюем, а только зараз стренулись?

Никита молчал, стараясь не встречаться глазами с Петром. Он знал, что слова, которыми наградил махновцев Задорожний, имеют под собой основание. Сам не раз убеждался, что такое «экспроприация экспроприаторов» по-махновски. Вот и сегодня видел собственными глазами, как, оттолкнув то ли хозяина, то ли приказчика, отец вместе с дядькой Иваном влетели в мануфактурную лавку. Как самые последние бандюги. Ему было стыдно и противно смотреть на это. Потому и ушел подальше. Петро, конечно, прав, и с этим нужно согласиться, хотя и не хотелось. Радость встречи стала потихоньку гаснуть, а вместо нее внутри зашевелился противный червячок. «Ты только поглянь, как раскомандовался! — молча сопел Никита. — Тоже, видать, гусак добрый. Може, такой самый сотник, как наш дядька...»

— Ну, чего молчишь? — теребил его Петро.

— А шо говорить? — сдвинул плечами Никита, искоса бросил взгляд на Петра. — Может, про то, как мать твою хоронили, которая не дождалась сыночка родненького? Чи про то, как сестра твоя сама побивается без защиты, без помощи? Говорить про то?

Никита видел, как будто от удара вздрогнул Петро, опуская голову. На какое-то мгновение стало жаль Задорожнего, но он уже не мог остановиться.

— От ты сейчас того морячка ругал, всех нас бандитами называл. А кто тебе такое право дал? Кто? Шо ты знаешь про батька

Махна? Та, может, он самый шо ни на есть первый революционер и герой серед героев...

Никита чувствовал, что говорит сейчас словами Миколы Миновича и еще больше распалялся. Словно перед ним был не давний товарищ детства, а много-много людей, как тогда на митинге.

— Бандиты, кажешь? — чуть не задыхаясь от злобы, выговаривал он. — А ты кто? Твои красные, кто такие? Хиба не вы по хатах та коморах селян нышпорите и хлеб выгребаете? Не вы?

Петро молчал. Лицо его то хмурилось, и тогда казалось, что даже волосы на голове и усы темнели, то вновь светлело. Только почему молчит Петро? Выходит, прав он, Никита, и ему нечего ответить? Никита почувствовал было свой верх над Петром. «Вот и пришел мой черед!» — пулей пронеслась злорадная мысль. Пронеслась и пропала. Радости, той желанной радости, о которой тайно мечтал не один год, не было...

— От, значит, как мы с тобою стрелись, Микита Оверкович, — тихо, как бы размышляя вслух, произнес Петро. — Казали мне люди в Андреевке, когда на могилку мамину заезжал, шо вы с Оверком Саввичем до батьки Махна подались. Токо не верил я, що в тебя душа черная. Не верил. Думал, не может Марусино сердце неправду говорить. Выходит, ошибались мы с сестрою. Ну шо ж... так нам и треба...

Он тряхнул своей сметанно-белой головой, и Никита вдруг заметил, что рядом с ним сидит совсем другой человек. Тот был задумчив, печален, почти раздавлен, а этот — уверенный в себе, сильный.

— Так кажешь, шо и мы людей грабим, як и батькова шантропа? Не-е-е, хлопче! Разные мы. Совсем разные. Вы забираете у людей все, шоб набить свои торбы, шоб разжиреть, разбогатеть на чужом горе...

— А вы не так?

— Нет. Мы тож вынуждены брать у людей и хлеб, и коней. Та не у всех одинаково. У таких, как вы, кто имеет больше, чем ему треба, больше берем, а у кого дети голодные по углах сидят, крошки не тронем и еще тем, шо имеем, поделимся. Заради них и революцию делали. Заради них и воюем сегодня со всякой белой сволотой та теми, хто ей помогает...

Петро говорил, а в памяти Никиты всплывала бедняцкая хата и двор с поваленным тыном, куда недавно отвозил убитого в бою батькиного адъютанта. Голос Задорожнего вытеснил душераздирающий крик матери погибшего, которую пытался утешить в ее страшном горе Махно.

— Ну, не треба... Не треба, мамо! — приговаривал Нестор Иванович, обнимая за плечи женщину. Не треба... За селян, за землю, за волю загинув ваш Иван. Мы все теперь сыночки ваши. Все...

Разве мало голоты сегодня воюет в повстанческой армии батьки? За кого ж они бьются? За себя! И за других, конечно, что-

бы всем было хорошо. На митингах про это Нестор Иванович не один раз говорил. Он и наказывает одинаково всех виноватых — богатые они или бедные. Неделю назад у одного гладкого дядьки в бричке ящик спичек припрятанный нашли. Батька его кнутом так отделал, что кожа полопалась. А спички селянам раздал.

Правда, есть и такие, что грабят людей и не попадаются. Вон как отец его со своим братцем-сотником, например.

Он их давно раскусил и с каждым днем все больше ненавидит. Сколько их, тех и других: совестливых, честных и людей без бога в душе, без совести? А разве не так у красных? Ведь сейчас все перемешалось, перепуталось. Отец на сына, брат на брата идут, и никто их остановить не может. Иной раз кажется, что господь отвернулся от этой грешной земли или крепко спит на своих небесах и не видит того ужаса, который творится под ним. Людей вокруг вроде много, а прислониться не к кому. Не с кем словом добрым обмолвиться, болью своей поделиться. Сколько раз по ночам думал он о встрече с Петром, мысленно говорил с ним, и тот, казалось, понимал его. Что же сейчас выходит? Эх, Петро, Петро... А может, не Петро в том виноват, а сам он, его гонор? И то, конечно, правда.

Стремясь остановить поток вопросов, от которых гудела голова, Никита сжал ладонями виски и зажмурил глаза. Вот сейчас он отбросит свою гордость и обо всем расскажет Петру.

— Петро... — наконец через силу выговорил Никита.

— Не, хлопче! — остановил его тот. — Не затуляй вуха. Я тебя слухал. Теперь послухай меня. От так. Маму свою и сестричку дорогую я всегда помнил. Из шкуры лез, когда коногонил на шахте, шоб было им на кусок хлеба. Бо знал, шо больше им никто не поможет.

Никита многозначительно хмыкнул.

— Шо, хиба не так? Та й не жебраки они, шоб дожидаться чьей-то милостыни при живом сыне и брате. А в том, шо не смог проститься с ненькой своей, не моя вина. И тот горбочек на Казацкой могиле, где поховали ее, для меня найдорожчее место, святее за все алтари церковные. От так! А чи ты знаешь, где твоя мама?

Никита вскинул голову и, встретив полный гнева потемневший взгляд Петра, отвернулся.

— Не знаешь? — вел свое Задорожний. — Так я тебе скажу. Ты только послухай, послухай...

Начав свой рассказ издалека, он поведал о том, как несколько месяцев тому назад на станцию Орехов прибыл пассажирский поезд. Он еще и остановиться не успел, как его окружили батькины хлопцы. Стали проверять документы, выяснять, кто и куда едет, ну и, драгоценности забирать у пассажиров, вещички, какие получше. Плач, крик в каждом вагоне. А «проверялыцикам» хоть бы что. Трясут каждого без разбору, «экспроприируют». Тем, кто норов пытается показать, — револьвер или обрез под нос суют: молчи, мол, коли жить хочешь. Ехал в том поезде священник один. Красавец с бородищей черной, в рясе. Чистый тебе апостол. Не

выдержал он безобразий, из вагона вышел и давай налетчиков молитвой вразумлять. Голосище у батюшки оказался силы необыкновенной. Казалось, будто не он сам, а силы небесные разговаривают. Уж на что батькины хлопцы отчаюги: ни в бога, ни в черта не верят, а и те подрастерялись. Смотрят на батюшку, рты разинув, словно к ним сам Иисус Христос препожаловал и проповедь свою ведет. Стоят, слушают, уши развесив до самых плеч. А батюшка тот силу свою почувствовал, еще больше в раж вошел.

— Дети мои! — гремит на весь перрон. — Одумайтесь! Покайтесь в грехах своих тяжких да возлюбите ближнего своя. Не искушайте господа бога, ибо ждет вас страшная кара небесная...

Много еще всякого говорил батюшка. Припугнул, как водится, грешников геенной огненной, а под конец велел на колени стать и помолиться. Неизвестно, чем бы все кончилось, но только доложили про батюшку самому Нестору Ивановичу. А тот, говорят, с детства священников видеть не может. Аж подскочил с лавки. Кричит:

— Выходит, у меня под носом попы наших людей разлагают, контрреволюцию разводят? А ну, гайда на станцию. Заткнем пельку тому долгогривому.

Охране по два раза говорить не нужно. Батька еще и в себя прийти не успел, как она уже на станцию прискакала и держала попа за бороду. Женщина, что с ним была, — то ли попадья, то ли просто прихожанка — на махновца с кулаками кинулась. Пока тот с ней возился, попу голову шашкой отсекли, тут же осмолили и давай по перрону катать. Все люди в ужасе были, а живодеры гогочут, чисто в цирке на базаре...

— Ну, и для чего ты мне все это рассказываешь? — предчувствуя недоброе, спросил Никита, стараясь отдалить то самое страшное, что должен был сообщить ему Петро. — И при чем тут...

— А при том, шо поп тот самый — батюшка наш Андреевский, Василий, а жинка, что ехала с ним — мамка твоя.

— Бр... брешешь ты, Петро! — прохрипел Никита. — Ненавижу тебя! Скажи, шо брешешь!

— Нет, Микита! — не отводя глаз, покачал головой Петро. — На жаль, правду тебе сказал. Страшную, какой страшнее быть не может, но правду... Та правда мне и зараз спать спокойно не дает. Только очи закрою, как передо мной та голова обшмаленная и тетка Приська убитая. Сам я ее и поховал...

— А ты... ты, шо там на станции той делал? Чего ж... чего ж ты не рятувал мамку?

Петро опустил глаза.

— А шо один зробишь? Разве шо и меня б там поклали те хлопцы. Ото и все...

— Все одно не верю тебе! — глотая слезы, выкрикнул Никита. — Как хочешь, а не верю.

— Ну, шо ж. Дело твое. Решай, как сам знаешь. А надумаешь меня знайти, спроси командира пулеметной роты в нашем коммунистическом полку. То как раз я и буду...

Будто и свыкся Никита с тем, что нет у них матери. Переболел, перемучился после ее загадочного ухода. И все-таки рассказ Задорожнего застал его врасплох. Вроде и не было той горькой обиды, которую мать причинила, покинув их, не было долгих месяцев скитаний с батькой Махно, когда человеческая жизнь ценилась не дороже щепотки махорки. Было такое чувство, что мать умерла не тогда, на вокзальном перроне, а только сейчас.

Разыскав отца, который вернулся в «Метрополь» с мешком, набитым всякой всячиной, и очень довольный собой, Никита, едва сдерживая слезы, путано пересказал то, что узнал от Петра. Отец же, к его удивлению и возмущению, встретил известие почти равнодушно.

— Ну шо ж! — деланно, как показалось Никите, вздохнул он. — Бог дав. Бог и взяв. Мабуть, шо хотила, то й получила. Царство ей небесное.

Сказал и вроде сразу забыл о страшной новости; кинулся навстречу дядьке Ивану, который вынырнул из какой-то двери, и начал с жаром с ним говорить.

Чувствуя себя покинутым и никому не нужным, Никита слонялся из угла в угол. На сердце была невыносимая тоска. Перед глазами стоял образ матери. Она вспоминалась доброй и ласковой, готовой во всем понять его и пожалеть. Почему-то совсем забылась та мать, которая немой тенью жила в доме, бесшумно и безразлично делая домашние дела, а затем надолго исчезая к отцу Василию. Может быть, обижаемая отцом, она искала защиты у красивого батюшки. Наверняка нашла ее и, обретя душевный покой, пошла вслед за ним. Иначе зачем ей бросать хату, семью и идти свет за очи, а потом умереть? Такая маленькая, тихая, как мышка-норушка, и не побоялась. А он сам? Ведь в детстве боялся с горы на санках съехать, а теперь бесстрашно летит в атаку. Уж не оттого ли, что почувствовал безразличие отца и дядьки, свою ненужность? Ну, зачем, скажите на милость, жить, когда всем все равно, есть ты или нет тебя, хорошо тебе или плохо? Таких, видать, и пули облетают стороной. Вот и его так же. Слышал ведь, как недавно у самого уха две пропели, а достались кому-то из тех, кто скакал за ним.

Почему ему так плохо? Кого винить? Отца, который своими кулачищами истолок всю мамину душу, всю ее сердечность и тепло? А может, их батьку Махна с очами, как у деда Саввы. Это ж батька заварил кашу, которую никакой ложкой не размешаешь. Он, бросив малопонятные кличи — грабь награбленное, борись за какую-то социальную революцию — заставил тысячи селян черными воронами рыскать по степи, оставляя после себя кресты и кости с черепами. И сам как смерть ходячая, чтоб ты провалился. Только как же! Жди! Разве что случайная пуля укусит. «А что, как помогти? — подумалось зло. — Не я один этого хочу». Никита представил, как будет стрелять в батьку из своего обреза, и у него

даже ладони вспотели. «Ну добре, — рассуждал он сам с собой. — Кончу я, значит, батьку. А дальше? Левкины хлопцы меня ж на шматочки раздерут и по тынах развешают. Та й при чем тут батька? Петро говорит, что он бандит. А кто он такой, тот самый Петро? Голодранец несчастный! Все он знает и все ему понятно...»

Злость, которая только что клокотала против батьки, перекинулась на Петра.

Он сам себе удивлялся, думая не раз, как могут в нем уживаться нежная любовь к Марийке и лютая ненависть к ее родному брату. И все-таки тянуло его к Петру. Помимо своей воли он кружил в расположении коммунистического полка. Утешал себя тем, что был не один. Многие из батькиных хлопцев проявляли интерес к красноармейцам. Немало было и таких, которые уходили с красными. У него пока такого намерения не было. Хотелось только еще раз встретить Задорожнего, поговорить по-людски. Несколько раз ему казалось, что видит впереди широкую спину Петра или его фуражку, прикрывающую неповторимые сметанно-белые волосы.

— Петро! — окликал сдавленным от волнения голосом, ожидая, что вот сейчас человек обернется и он снова увидит лицо с такой родной и знакомой Марийкиной улыбкой. Однако всякий раз с досадой опускал глаза, встречая недоуменный взгляд.

Тогда в Бердянске они с Петром так больше и не встретились.

5

Сколько помнил себя Задорожний, удача и радость были редкими попутчицами в его сиротской жизни. Встречались они ему, казалось, только затем, чтобы напомнить, что не пропали совсем и, мелькнув на какой-то миг сказочными золотыми рыбками перед его очами, снова надолго исчезнуть в бушующем житейском море. Что поделаешь? Ждать, когда приплывут они снова? Нет, Петро был не из тех, кому это подходит.

— Мы, хлопцы, не рыбацкого, а чумацкого роду, — шутил он с друзьями. — Добре знаем, шо счастье наше не приплынет до нас само. Оно десь блукает степовыми дорогами, ховается по ярочках. Хочет, шоб выходили, вышукали его.

В поисках своего счастья подался он после расчета у Оверка Саввича на Брянский завод, куда пригласил его незадолго перед тем уехавший сосед и верный друг Федот Юнацкий. Но тот и сам недолго задержался среди грохочущего металла. Забрали Федота служить на флот, а затосковавшего и не успевшего нагреть себе места Петра сманили новые приятели, такие же, как и он, горемыки с Орловщины, на шахты.

— Айда, Петька, с нами в шахтеры, — сверкая глазами и тряся черными как у цыгана кудрями, уговаривал его одногодок Ефим Аникишин. — Там, говорят, мужики под землей в тепле завсегда сидят. Стукают себе обушками потихоньку и деньгу шапками гребут. Айда, а то мы поглохнем тут усе и песен твоих слыхать не будем.

«Постукать» обушками хлопцам в самом деле пришлось. И «постукать» добре, обливаясь густым и липким как клей потом. Петру же судилось узнать, что оно за штука такая труд коногонов, о которых чаще всего пели шахтеры в дни получки, размягчая каменеющие под землей сердца скаженой крепости горилкой. Из-за нее шахтерские деньги ни в шапках, ни в карманах не задерживались. Петро компании добрых друзей не чурался. Любил посидеть и, опрокинув чарку-другую, людей знающих послушать, своими думками поделиться, песню украинскую затянуть из тех, что особенно нравились орловским друзьям. Только ума, как некоторые, никогда не пропивал. Всегда умел вовремя остановиться и не поддавался ни на какие уговоры.

— Ну, Петь, ишо по одной, — тянулся к нему с бутылкой в тот последний раз разгулявшийся Ефим.

— Не, не буду.

— Так за маманю твою, за сестричку твою дорогую! Ну?!

— Не, все! — ставя стакан вверх дном, отрезал Петро.

— Ты гля, Тарас Василич! — призывал Ефим на помощь пожилого усатого забойщика Ломова. — Видать, Катерина ждет...

— То ты вже лишнее говоришь, Юхим, — нахмурился Петро. — А лишнее, як у нас кажуть, и свиньи не едят.

— Дык, шо я... свинья? — завелся Ефим. — Свинья? Да?

— Сиди, сиди, земляк, — положил ему руку на плечо Ломов. — Сам успел семейного счастья отхватить, а другим мешаешь. Вот я Любе твоей расскажу. Она тебя в хату не пустит.

— Что?! — изумился Ефим, моментально позабыв о Петре. — Ну... Ну ты даешь, Василич! Та меня Любка знаешь как любит? Знаешь?

Он пустился расхваливать достоинства своей молодой жены. Затем перешел на ее замечательных родственников, которые, по его словам, души не чаяли в нем, Ефиме.

Поняв, что Аникишин сел на любимого конька и теперь долго никому не даст слова сказать, Петро незаметно покинул компанию. Пробираясь изрытыми дождями улочками уснувшей шахтерской окраины Юзовки, он жалел, что резковато обошелся с Ефимом. Что ни говори, а за три годочка они крепко успели подружиться. Никаких секретов между ними не было. Не раз говорили и о Кате. Но зачем же сегодня, при всех этот ненужный пьяный разговор?

Эх, Катя, Катя! Боль его сладкая, радость, на тоске замешанная.

Разве знал он тогда, в разгар знойного лета 1916 года, отправляясь с Ефимом окунуться в ставке после смены, что суждено ему повстречать свою любовь? Едва успев на берегу разуться, друзья услышали девичий визг, а следом душераздирающий крик:

— Помогите! Тону!

Посреди ставка покачивалось, поблескивая в лучах заходящего солнца, днище лодки, вокруг которой барахтались две девушки в соломенных шляпках.

— Балуют барышни от неча делать, — проворчал Ефим.

— Ой, шось не похоже! — возразил ему Петро и, с силой оттолкнувшись от берега, бросился в воду.

Он подоспел в самый раз. Одна из девушек уже наглоталась воды, беспорядочно взмахивала руками, а другая, поднырнув под подругу, изо всех сил старалась подтолкнуть ее к опрокинутой лодке.

— Слева, слева заходите! — скомандовал Петро, отметив про себя, как ловко действовала спасавшая. — От так! Добре!

Вдвоем они подогнали к берегу лодку вместе с судорожно вцепившейся в ее борт девушкой.

— Ну, вот и все, Верунька, — обняла за плечи спасительница не отпускавшую лодку подругу. — Здесь — дно. Становись на ноги.

Выбравшись из воды, они какое-то время стояли обнявшись.

— Ка-а-тька! — всхлипнула спасенная. — Как же так, Кать? Что же это?

— Ничего, — поглаживая ее по спине, успокаивала подруга. — Ничего.

Теперь Петро мог хорошо разглядеть девушек. Та, которую звали Катей, была много ниже своей рослой подруги, напоминавшей сейчас перепуганную утку. Обнимая рыдающую навзрыд Веру, она время от времени пыталась убрать рукой наползавщие на глаза огненно-рыжие волосы, смешно морща курносый, в мелких веснушках носик и быстро вертя головой.

«Чисто тебе горобчик», — подумал Петро и улыбнулся.

— Не вижу ничего смешного! — заметив улыбку, сердито бросила Катя.

— Та я..., — покраснев от смущения, выдавал из себя Петро.

— Дак то ж он от радости! — пришел ему на помощь Ефим. — Со спасеньицем вас, барышни.

Ефим слегка приподнял видавшую виды засаленную фуражку и, озорно подморгнув, раскланялся с девушками.

— Ишь, спасатель нашелся! — одернула его рыженькая. — Хорош! Даже ног не замочил, пока мы с водяным обнимались. Со спасеньицем! Видали такого?

— Он же плавать не умеет, — вступился за друга Петро.

— Не умеет? — смутилась рыженькая, удивленно распахнув свои серые глаза. — Ну... ну, тогда другое дело. Тогда простительно. А вам, — она испытывающе взглянула на Петра, видно, решая для себя, что он за человек и как с ним следует вести. Потом, задорно тряхнув огненно-рыжей головой, протарахтела:

— Вам спасибо. Большое спасибо за помощь.

«Горобчик! — не в силах оторвать взгляда от маленькой ладной фигурки, думал Петро. — Бачь, как цвиринькает. Справжний горобчик!»

Поняв его по-своему, рыженькая покраснела и, нахмурившись, стала быстро одергивать прилипшее к телу платье.

— Идем, идем скорее, Верунька, — быстро проговорила она, то ли обнимая подругу, то ли прячась за нее. — Нам нужно срочно переодеться...

На ходу отжимая подолы мокрых платьев, девушки поднялись на бугор и вскоре скрылись из виду.

— Уплыли твои русалочки, Петь, — подначивая глядящего вослед им Задорожнего, пропел Ефим. — Ищи-свищи их теперича.

— Уплыли... — вздохнул Петро, но тут же, словно чего-то испугавшись, возразил:

— Мои? Какие они мои, Фима? У них свои рыбалочки. Грамотные, благородные. Не то что наш брат чумазый.

Ему вдруг очень захотелось, чтобы Ефим не согласился с ним, как это часто бывало, чтобы сказал: «Нечего, мол, прибедняться такому казаку». Но тот не уловил душевного состояния друга.

— И то правда, — швырнув попавшийся под руку камень, откликнулся он. — Нехань плывуть себе барыньки, куда знают.

Они помолчали, провожая взглядами золотистых зайчиков, которые торопливо сползали с темнеющей на глазах водной глади, будто боясь отстать от уплывающего за горизонт солнца. «Може, то братки Катины? — подумал Петро и усмехнулся. — А шо? Такие ж самые рыжики. Чудно!» Купаться больше не хотелось.

— Ну шо? — нарушил он молчание. — Будем двигать?

— Пошли, — поднялся Ефим.

Весь следующий день Петро был сам не свой. Работа не ладилась. Да и какая там работа, когда мысли его скачут как кони разгоряченные: вот они только что были в родной Андреевке, что отдыхает, небось, сейчас в тени садочков, спрятавшись от пышущего жаром летнего дня, а тут уже несут его пыльными степными дорогами к юзовскому ставку, где ведет он с теми девчатами развеселый разговор. О чем он? Кто его знает. А только интересно им, потому как девушки заливисто смеются. Вернее, смеется одна — рыженькая Катя. Да так хорошо, так звонко...

— Ты че, Петь, спишь на ходу? — доносится до него голос Ефима.

— Та от, бач, — смущенно улыбается Петро. — Задумався...

— Говорю, говорю ему, а он — как стенка, — продолжает беззлобно ворчать Ефим.

— Ну, прости, прости меня, братику.

— Прости, прости... Люба, говорю, зовет тебя сегодня на вареники. С вишнями. — Ефим, предчувствуя удовольствие, жмурит глаза и трясет головой. — М-м-м! Вкусность какая. Пойдем?

— Не... не могу сегодня, — мнется Петро. — Не сердись, Юхим. Чуешь? И Любе своей скажи, шоб не обижалась! Другим разом как-нибудь. Добре?

Махнув на него рукой, Ефим подался домой, видимо, не очень опечаленный его отказом. «Нехай помилуются голубочки, — подумал Петро. — А я побуду трохи один. Чегось-то кисло на душе стало».

Такое и раньше с ним бывало. Тоска, как хвороба какая, часто терзала душу, хоть криком кричи. Тогда обычно он уходил в степь и мысленно переносился в родные края. Пролетал над чернеющими внизу пиками терриконов, над желтеющими клаптиками зреющей пшеницы. С замиранием сердца подлетал к празднично-голубой ленте Днепра, встречавшего его грохочущим хохотом порога, опускался на Казацкую могилу. Пошептавшись со своими давними друзьями-тополями, он скользил над до боли знакомыми соломенными стрихами, зелеными латочками садов к той, единственной в целом свете хатке с посеревшими и впалыми, как у покойной бабуси щеки, боками, и стенами, присевшими от тяжести лет. Миновав тоскливо покосившийся тын и едва переступив порог, он опускался на колени перед матусей и, пряча неудержимые слезы, целовал ее шершавые натруженные руки, гладил белокосую, пахнущую сеном головку Марийки, шепча: «Простить, простить свого Петра, ридненьки мои. Простить!» В свой барак воз-

вращался умиротворенным. «Степь мне заместо церкви, — думал про себя. — Тут батюшке-ветру все можно рассказать, у всех грехах покаяться. Он тебя поймет и никому на свете не скажет».

В тот раз почему-то в степь Петро не пошел. Ноги сами привели его к ставку, и он сразу же увидел Катю. Она сидела в тени вербы и читала книгу. Петро остановился, не решаясь подойти. Почувствовав его взгляд, девушка подняла голову.

— Здравствуйте, — улыбнулась она. — Идите сюда. Не бойтесь.

— А я и не боюсь, — медленно, стараясь успокоить гулко стучавшее сердце, Петро направился к ней. — Сонце таке пекуче... Дай, думаю, коло водички посижу...

— Вот и прекрасно! — Катя закрыла книгу и, положив ее на колени. бросила на него такой же, как в прошлый раз, быстрый, проверяющий взгляд. — Я... я вас жду.

— Меня?!

— Ну, да! Вас как зовут?

— Петром.

— А я Катя.

— Та я знаю...

— Знаете? — сделала она удивленные глаза. — Откуда?

— Так вчора ж барышня... ну, Вера, кажись, вас так называла.

— Ах, да! — рассмеялась Катя, прикрыв лицо руками. — Вы знаете, Петр, мы вчера так испугались, что просто жуть.

— Ну вы, Катя, мабуть все ж таки не дуже... А от Веруся ваша...

— Я? — Катя сощурила глаза. — Да я ужасная трусиха. Это Веруська у нас храбрая. Ей, понимаете, пить вчера во время прогулки захотелось. Так она решила через борт перегнуться и хлебнуть. Ну, лодка и не выдержала. А Верунька моя плавает, как топор. Вот так. Не подоспей вы, и я не знаю, чем бы закончились эти объятия с водяным.

— Да, — почесал затылок Петро. — Добряче вы с ним почоломкались. Добряче!

Как-то незаметно робость прошла, и он почувствовал себя с девушкой легко и свободно. Было такое ощущение, что они знакомы очень давно. В самом деле: разве будешь со случайным человеком так запросто говорить, рассказывать о себе то, чего другому никогда и не решишься?

Узнал Петро тогда, что отец Кати служит маркшейдером на шахте, а мама «ведет дом». Сама же Катя, их единственная дочь, учится вместе с Верой в Полтавском институте благородных девиц.

— Вот видишь, — Катя незаметно перешла на «ты», — приехала Верунька погостить к нам на каникулы и такое приключение.

— Та ничего страшного не случилось, — пытался успокоить Петро. — Покупалась трохи и все. Скорише плавать навчиться ваша Веруня.

— Ой! Ты, кажется, прав, — коснулась его руки Катя. — Я думала, что теперь она близко к воде не подойдет. Ан — нет. Сегодня утром Верунька мне знаешь что сказала? Ты, говорит, Катя, должна меня научить плавать. Это, говорит, должен уметь каждый культурный человек. Поможешь?

— Я?!

— Конечно! — рассмеялась Катя. — Ты же прирожденный пловец.

Петр хотел отказаться, сказать, что никогда не учил плавать девчонок, даже сестру свою, Марийку. А тут — на тебе, учи барышню. Этого еще не хватало! Он обиженно засопел и готовился сообщить свое окончательное решение, но глянул на Катю, увидел ее прикушенный язычок, смеющиеся глаза с прыгающими чертиками, которые, казалось, поддразнивали его, и... согласился.

— Давай спробуем...

— Вот и отлично! — захлопала в ладоши Катя. — Я знала, знала, что ты согласишься. Завтра же и начнем. Хорошо?

Нелегким для него оказалось это обучение. Первое время очень смущал необычный вид девушек. Яркая ткань их купальных костюмов, казалось, не только не скрывала таинственно-волнующие части девичьих тел, а, наоборот, магнитом притягивала к ним взор. Воображение рисовало картины, от которых Петра бросало в жар.

«Гад я распоследний! Кобелюка паршивый! — на чем свет стоит ругал он себя, сердито хмуря брови и стыдливо отводя от девушки глаза. — Людям помогти треба, а ему черти-шо у голову лезет».

Он пытался объяснять Вере, как нужно держаться на воде, и она вроде все понимала. Но, как только пыталась самостоятельно плыть, ничего не получалось.

— Фу, какая я неумеха! — сердилась она. — Как же я детей учить буду?

— Ничего, Веруня, ничего, — успокаивала ее Катя. — Древние говорили, что нельзя научиться плавать, не войдя в воду. Это правда. Но я не знаю ни одного человека, который бы, войдя в воду, сразу поплыл. Правда ведь, Петя?

— А то нет, — стараясь быть солидным, поддерживал ее Задорожний. — Трошки перепочили. Теперь давайте ще разок спробуем.

К концу лета Вера начала немножко плавать.

— Ой, ребята! — светилась неподдельной радостью девушка. — Миленькие мои. Я же плаваю.

— Ще токо по-собачому и то поганенько, — усмехался Петро, в душе радуясь успеху своей ученицы.

— Ничего, — озорно подморгнула ему Вера. — Я поняла главное, а теперь тренировка и еще раз тренировка.

— Правда, правда, — щебетала Катя. — Если уж Веруня что-то решила, то обязательно добьется. Сегодня у нее первая маленькая победа, и ее нужно обязательно отметить...

Петро вспомнил, как первый раз переступил порог ее дома, и усмехнулся. Боже мой, как он боялся, когда шел туда! Сколько всяких причин придумывал, чтобы отказаться от приглашения. Только Катя, видно, чувствуя, что творится у него на душе, всю дорогу говорила и говорила, не дав ему открыть рта.

Опомнился лишь у какой-то калитки. За зеленым заборчиком увидел инженера их рудника Ивана Карловича Шмидта, поливающего цветы. «Вот, оказывается, где живет наш Карлович», — поздоровавшись, отметил про себя. Он миновал было калитку, когда услышал за спиной смех девушек. Растерянно оглянулся.

— Куда же ты, Петя? — улыбнулась Катя. — Мы уже пришли.

— Пришли?

— Ну, конечно! Знакомься: это — мой папа, Иван Карлович...

— Я знаю...

— Знаешь? Вот и хорошо. А это — моя мама, Анна Генриховна...

С первых минут знакомства с родителями Кати появилось такое чувство, будто он в этом доме, среди этих людей не первый раз. Раньше, встречаясь с незнакомыми, Петро всегда чувствовал себя неловко. Боясь не то сказать, со всех сторон обкатывал в голове каждое слово. Будто советовался с кем-то невидимым, который сидел внутри, контролируя все, что он делает и говорит. А тут вдруг исчез, понимаешь ты, тот самый внутренний контролер. На душе светло, радостно стало. Видел он и сердцем чувствовал, что говорили с ним, как с ровней, и слушали с интересом...

С того дня начался праздник его любви. Каждый вечер, едва успев помыться и переодеться, спешил он к своей Катрусе. И не было милее музыки, чем ее щебетанье. Расставались, когда звезды дремать начинали и месяц на покой отправлялся. Спал всего ничего, а усталости не чувствовал. Все, казалось, сделать бы мог, любую гору своротить.

Только длилось то счастье безоблачное недолго. Петро помнит вечер, как повстречали они с Катрусей Левку Зиньковского.

— Здравствуйте, соседушка, — приветствовал великан, склонив в игривом, как показалось Петру, поклоне кудрявую голову.

— Ой, Лева, вечер добрый! — как-то чересчур приветливо отозвалась Катя. — А мы вот погулять с Петей решили.

— Погулять — то добре, — буравя своими глазищами Катю, усмехнулся великан. — Вечерний моцион, говорят, пользительный для здоровьица молоденьких барышень.

На Петра великан не обращал никакого внимания. Будто его и не было вовсе. «Ты ба, какой бурмыло! — начиная злиться, подумал Петро. — Ач, красуется перед дивчиной туз юзовский».

— Петя, а разве не знакомы вы с Левой? — всплеснула руками Катя.

— Представьте, не имел такого счастья! — засмеялся парень, обнажая полоски белых зубов. — Сделайте милость.

Он всем корпусом повернулся к Петру и, оглянув того с ног до головы, неторопливо протянул огромную, как совковая лопата, руку.

— Левкой меня кличут. Львом, то есть.

— Петро, — нехотя ткнул ему свою Задорожний.

— Может, с нами пойдете, — неожиданно предложила Катя. Петра даже в жар бросило. «Що ж ты робишь, Катруся? Хиба ж так можно?!» — вскрикнула его душа. А Левка, словно услышав ее, хитровато подморгнул Кате и прогудел:

— Как скажете, соседушка.

Куда они шли, о чем говорили тогда, Петро толком и вспомнить потом не мог. Одна злость на проклятого Левку, невесть откуда свалившегося на него, да обида горькая на Катю остались от того вечера. Не в силах одолеть их, вскоре попрощался, с трудом сдерживая дрожь в голосе, и, спотыкаясь, почти бегом бросился прочь.

После того вечера несколько дней они не виделись с Катей. Лежа на койке и уперев глаза в потолок, Петро с тоской думал о том, что для Кати он ничего не значит, что встречалась она с ним, видно, от нечего делать. А как же иначе можно объяснить ее поведение? Стоило только появиться этому бурмиле Левке, как о нем, Петре, тут же забыли. Нет, видать, не его то доля, не для него золотоволосая инженерова дочка.

Думал так, а сердце кричало совсем иное. И таки докричалось. Все через того же Левку Зиньковского, с которым встретились однажды после работы.

— Те-те-те! — загрохотал тот. — Кого мы видим!

— Привет! — буркнул Петро, не собираясь задерживаться. Но не тут-то было.

— Погодь, погодь! — растопырил свои ручищи Левка. — Разговор имею.

Петро остановился.

— Ну, слухаю.

— Штой-то ты, здается, не дуже радый, хлопче.

— А чего ж бы то мне радоваться?

Петро усилием воли заставил себя посмотреть в глаза Левке. Тот улыбался, вороша рукой свои кудри.

— С чего бы это я лыбился?

— Смотрю на тебя и думаю: хлопец как хлопец. Но откуда в тебе такая ревность? Я ж токо поздоровкался с соседкою. А ты сразу губы на бороду. Никакой в тебе пролетарской солидарности. Одна сущая враждебность классовая.

— Вы ж погляньте на него! — глядя с вызовом на Зиньковского, всплеснул руками Задорожний — Друг, товарищ и брат всем бедным и обиженным. Мне твоей солидарности не треба, как-нибудь обойдусь.

— Та не про меня разговор...

— Тогда про кого?

— Про Катю. На нее зачем дуешься? Зачем хорошую девушку обижаешь?

— Ты, глянь, защитник...

— Не треба, Петро, — коснулся его руки Левка. — Завтра уезжает Катя. Тебя просила найти. Видеть тебя хочет.

«Уезжает?! Как уезжает? Куда? Зачем?» — застучало в висках.

— Так придешь? — гудел между тем Зиньковский.

— Приду, — не сразу ответил Петро.

— Сейчас иди. У ставка тебя ждет.

Пулею летел он к тому ставку, ругая себя последними словами. Катю нашел у той же знакомой вербы. Девушка подняла голову, отвела огненные кудряшки и, бросив на него виноватый взгляд, отвернулась.

— Что, Петя, проститься пришел? — обронила тихо, почти шепотом. — Спасибо тебе...

— За что, Катя? — облизнув сухие и шерсткие, как наждак, губы, выдавил Петро. — За что спасибо?

— А за все. За Веруську... За вечера наши звездные. За все...

Он молча присел рядом. Обиды на Катю как не бывало. Ее сменила злость на самого себя, на свою безъязыкость, которая, казалось, суровыми нитками сшила его губы, не давая слова сказать в оправдание, объяснить Кате, что творилось на душе.

— Эх, Петя, Петя! — глядя в сторону ставка, вздохнула девушка. — Я ж так тебе поверила! Думала: «Вот и я друга встретила. Настоящего... На всю жизнь...».

— Не треба, Катя... — Петро неожиданно для себя самого сидя обнял девушку за плечи и она, сжавшись в комочек, затихла у него на груди.

— Не треба... Прости меня, дурня. Ты ж найкраща у свити, мий горобчику, сонечко мое... Я ж думав, шо Левка...

— Ой, дурной! — встрепенулась Катя. — К Леве меня приревновал? Да он же о Вере мне все уши прожужжал!

— Вера? — растерянно заморгал Петро. — А при чем тут Вера?

— Ну глупенький ты! — прижалась к нему Катя. — Она же нравится ему. Понимаешь? Давно нравится.

— От тебе й раз! А Вера?

— Так она ничего не знает. Лева сказал мне об этом, когда Веруська уехала. «Подруга ваша, — говорил, — чистая тебе царица. Никогда таких девушек не встречал». Вот. А ей самой — ни слова. Даже глянуть на нее боялся. А с виду — куда тебе. Эх вы, герои!

— Ты не смейся... Не надо, — вступился за Зиньковского Петро. — Так бывает. Есть хлопцы, для которых девчата, шо трава у степу. Наступит на нее, зимьял и идет себе дальше, как ни в чем не бывало. А другие бачать красу кожной дивчины-квитоньки, милуються тем даром, шо сотворила людям природа чи сам Господь Бог. Радуются, у виршах и песнях их славят, а шукают свою, яка на

свет заради одного хлопця появилась, щоб запалить його серце огнем любви, огнем самой жизни.

— Петрусик, — запустив ладошку в его волосы, засмеялась Катя. — Я и не знала, что ты у меня философ.

— Та ну тебя, — сконфузился Петро. — Нема в тебе никакой сурьезности.

— Не сердись, — припала к нему Катя. — Не обижайся, милый...

С того вечера по-другому смотрел Петр на Зиньковского. Нельзя сказать, что тот как-то изменился. Нет. Был Лева таким же насмешником, заводилой у хлопцев их края Юзовки, которые иной раз такое могли отчебучить, что нормальному человеку и понять невозможно. Не одно проклятие юзовчан посылалось на его голову, и за дело. Но знал Петро, сердцем чувствовал, что во всей той шкоде, парубоцких затеях не весь Зиньковский, что лучшая часть души его хоронится до поры до времени. Может ждет, когда Веруська поймет его, осветит светом своих карих глаз? Тогда-то, наверное, и явится свету настоящий Лева Зиньковский. Явится, радуя добрыми делами своими.

Зиньковский тоже изменил свое отношение к Задорожнему Нет, тогда они не стали друзьями. Слишком разными были людьми, да и времени отпущено было мало. Только невидимая ниточка взаимопонимания, уважительного отношения все же возникла между ними. Позднее, накрепко связав свою долю с большевиками, Петро с интересом присматривался к Зиньковскому, тянувшему руку за анархистов. «Черти шо получается! — думал. — Мы — большевики за рабочих и селян, за коммунизм, значит. Это факт. А анархисты ж за кого? Они вроди тож за революцию и не враги наши. Чего ж мы не разом? Гуртом, як кажуть, и батька легше бить». От дум тех голова кругом ходила, а вот поговорить на этот счет с Левкой так и не пришлось. Того унесла революционная буря куда-то к Волге вместе с отрядом анархистов, а его, Задорожнего, с первых дней революции вступившего в Красную гвардию, швыряла по знакомым с детства местам, так и не дав хотя бы на минуточку заглянуть в родную Андреевку.

Увидеться им пришлось лишь в конце гражданской войны в Бердянске, оказавшемся богатым на встречи со старыми знакомыми. Петро едва успел немного отойти после разговора с Никитой, как его вызвали к командиру полка.

— Познакомься, товарищ Задорожний, — кивнул тот на плотного мужчину в черной тужурке, сидевшего спиной к двери.

Скрипнув ремнями, мужчина поднялся и повернулся к Задорожнему лицом.

— Тарас Васильевич! — вскрикнул Петро. — Яким ветром?

— Попутным, Петро. Попутным, — усмехнулся Ломов.

— По твою душу пришел, — с явным неудовольствием бросил командир полка.

Петро недоуменно глянул на Ломова.

— Так, Петро, — кивнул Тарас Васильевич. — Командир говорит правду. Ты же знаешь, что создана Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, со всякой сволочью. Туда партия подбирает надежных людей.

— Ну, да, — вздохнул комполка. — Как будто они здесь не нужны, на фронте.

— Нужны, товарищ, — кивнул головой Ломов. — Нужны. Только у ЧК особый фронт. Чрезвычайный! Понимать надо.

— Понимать-то понимаю, — почесал затылок комполка. — Но скажи, товарищ Ломов, где я командира пулеметчикам сейчас найду? Тут ведь тоже не только руки, а и голова требуется. А? Однако делать нечего. Бери, коль полномочия такие.

Он безнадежно махнул рукой и тут, вспомнив о Петре, который молча слушал их разговор, спросил:

— Ну, а ты, товарищ Задорожний? Как сам ты, согласен?

— А что я? — пожал плечами Петро. — Раз треба, значит треба.

— Треба... Ишь какой! — надулся комполка, но потом, немного смягчившись, усмехнулся. — Ладно. Пусть будет так. Сдашь роту командиру первого взвода.

— И я так думал.

— Вот и хорошо. Когда выезжаете?

— Завтра с рассветом на Мариуполь тронемся. Так что не теряй времени, Петро.

Покончив с делами в роте, Петро решил перед отъездом сходить к морю: когда увидеть доведется и доведется ли вообще. Вечерело. Едва различимые в сумерках одинокие прохожие спешили до появления темноты покинуть неспокойные улицы города. Нарочито замедляя шаг, чутко вслушиваясь в нередко обманчивую вечернюю тишину, навстречу ему выплыл красноармейский патруль.

«Мои! — усмехнулся Задорожний, узнав в старшем патруля одного из своих пулеметчиков, но вмиг опомнился, — теперь уже бывшие». На душе стало тоскливо. Ну как он мог так легко согласиться на предложение Ломова?! Ведь можно было отказаться, сказать: «Спасибо тебе, Васильевич, за доверие, за честь такую, но не могу хлопцев своих оставить. Не могу, и все тут». Так нет, дернуло за язык: «Треба, значит, треба». А что за штуковина такая — та самая ЧК? Чего это она важнее боевого командира? И в самом ли деле он там так нужен? Видать, нужен, раз такой уважаемый человек, как Тарас Васильевич, за ним послан. Может он там у них, чрезвычайщиков, и за командира правит? А что вы думали, вполне может такое быть. Э-хе-хе. Вот история выходит, братцы, каковская. А раз так, то нечего слюни распускать. Держись, козаче!

Петро собирался уже выйти на главную улицу Бердянска, которая вела прямиком к морю, как услышал цокот копыт. Буквально через мгновение мимо промчался фаэтон. Провожая его взгля-

дом, Петро едва не вскрикнул от изумления: важно развалившись, в нем восседал Левка Зиньковский, а рядом с ним — Катя...

Петра бросило в жар. Несколько минут он стоял, ничего не соображая. Потом развернулся и побежал следом за фаэтоном. «Как же так?! — стучало в виски. — За шо она так меня?»

— Ты что, Петро?! — схватил его за руку невесть откуда появившийся Ломов. — Разве за Задовым угонишься? Да и зачем он тебе нужен?

— Каким Задовым? — растерянно заморгал Задорожный. То ж Левка Зиньковский. Наш, юзовский...

— Эге! Отстал ты от жизни, Задорожний. Был Зиньковским, а теперь стал Левой Задовым. Главный разведчик у Махно, его глаза и уши. Приятель твой, значит?

— Да какой приятель...

Немного поколебавшись, Петро рассказал Тарасу Васильевичу историю своего знакомства с Левкой.

— Так что, как видишь, Васильич, никакой он мне не приятель, а лис хитрющий и гад распоследний. Ни его, ни ее я знать теперь не хочу. От так!

— Ну, ты даешь, браток! — усмехнулся в усы Ломов. — Что-то увидел, нарисовал себе черт знает какую картину и все, точка.

— А что? Тут все понятно...

— Понятно да не все, — вел свое Ломов. — Разобраться нужно. Только не сейчас. Сперва тебе нужно остыть. Головой поработать, а не одно сердце слушать. Оно, брат, иногда и подвести может.

— И все ж, Тарас Васильевич, пойду я. Найти мне их треба и в очи поглядеть.

— Нет, товарищ Задорожний. Никуда ты не пойдешь. Такой мой партийный приказ. Понятно?

— Как же так, Васильич?!

— Так, браток. Так.

Всю ночь не спал тогда Петро. Обида на Катю чугунной гирей давила грудь, хитрой лисой путала мысли. Ну как могла она, его горобчик, дивчина с добрым и ласковым сердцем, связаться с махновцами? Там же каждый второй если не отпетый бандюга, так урка или пьяница. А Левка — начальник разведки, глаза и уши... Где Левка этому обучался? В тюремной каталажке? Правда, и сам он вроде тоже не учился разведке, а пришлось. О господи! Весь свет прямо перевернулся.

Под самое утро Петро едва задремал, как его разбудил Ломов:

— Вставай, браток, нам пора.

Какое-то время ехали молча. Изредка Тарас Васильевич пытался что-то мурлыкать себе под нос, хитровато, как казалось Петру, поглядывая в его сторону. «Чего й то Васильич хитрунов пускает?» — хмурился Петро, но рта не раскрывал. Захочет, сам скажет.

— Так вот, браток, — заговорил наконец Ломов, когда Бердянск остался далеко позади. — В последнее время сильно закру-

тил хвостом Махно. Хлопцы его агитацию среди красноармейцев ведут. В махновию переманывают. Говорят, у вас-де снова царская дисциплина, а у нас — свобода. Делай, мол, что хочешь.

— А раньше этого не было? Урки — они ведь завсегда урки, — откликнулся Петро.

— Было, но не так. Раньше хоть и вели агитацию, но осторожно, с опаской. Сейчас совсем распоясались. Боюсь, затевает что-то батько Нестор. Удобный момент выбирает, чтобы ударить в спину. Смотреть за ним нужно во все глаза. Для этого наш отдел специально создали.

— Ну, так зачем мы уезжаем отсюда? Треба ж поближе быть...

— Кому нужно, тот и есть поближе, в самом кубле ихнем, — усмехнулся Ломов. — У нас же с тобой задача другая. В Мариуполе уголь скопился. Деникин его французам продал. Вот-вот батькины части город возьмут. Нужно сделать все, чтобы уголек тот в Москву и Питер пошел. Вот, брат, какие дела....

Уже много позже узнал Петро, что чекисты их отдела, которым руководил молодой парень Дмитрий Медведев, вышли на связь с Левой Задовым. Но каково же было его удивление, когда стало известно, что связь осуществляется через Катю. Сообщив ему такую новость, Ломов добавил с усмешкой:

— Так что зря ты на девушку злился. Хорошая у тебя подружка.

— Да как же так, Тарас Васильевич! — вскочил со стула Петро. — Разве бабское это, девчоночье дело?

— Ну, ты это брось, товарищ Задорожний! — нахмурился Ломов и даже усами сердито зашевелил. — Иногда девушка такое может сделать, что и мужику агромадному не под силу. Вот и Катя твоя такая. Ответственное задание ей партия доверила. И она его выполняет достойно. Бесценный товарищ, и всем нам ее беречь нужно. Потому про разговор наш никому ни слова. Понял?

«А Левка? Левка кто при ей?» — хотел было спросить Петро и даже рот открыл, но сдержался. Понял, что Тарас Васильевич сказал ему все, что мог, и может даже больше.

Сердце его вначале будто немного успокоилось, а потом растревожилось еще сильнее. «Как же она там одна? — думал он, — среди этого всегда полупьяного воронья. А вдруг провалится сама по неосторожности или ненароком кто-то из наших подведет ее. Замордуют же горобчика. В порошок сотрут». Ему рисовались картины, одна страшнее другой. Тогда хотелось все бросить и лететь на выручку к Кате.

— Тарас Васильич! — не выдержал однажды. — Вот Ефим, другие хлопцы ходят на связь, а меня не посылаете. Чего так? Мне б хоть один разочек. Только увидеть и все...

— Ты что? Совсем сдурел! — рассердился Ломов. И не думай девку тревожить, из равновесия выводить. Будет случай, скоро сам от тебя весточку передам.

И вот вчера Тарас Васильевич вместе с Ефимом отправился в Дибровку — одно из самых что ни на есть махновских сел, где должна была состояться встреча с Левой Задовым. Весь день у Петра на душе, что называется, кошки скребли. Места себе не находил, ожидая их возвращения. «Что случилось? Может, Левка какого конька выкинул? — думал Петро. — Хто его знает, шо за думки у того бурмилы Зиньковского чи то Задова, куда его понесет».

Причиной задержки связных чекистов и в самом деле был начальник махновской разведки. Но не потому, что Лева вздумал выкинуть очередной номер. А потому, что лежал он в батькиной столице Гуляйполе, прикованный к кровати шальной пулей, которая два дня назад ужалила его в руку во время погони за деникинским разъездом. Вначале думал — чепуха: перевязали хлопцы и все обойдется. Но к вечеру рука вспухла, его бросало то в жар, то в холод. Встать с кровати не было сил. Зашедший проведать раненого Махно строго приказал:

— Лежать, пока сам не разрешу. Я твой доктор сегодня, Задов. Хто с медиков разрешит встать, запорю.

Легко сказать — лежи. Ведь там, в Дибровке, за каких-нибудь сорок верст от Гуляйполя его ждут товарищи, от встречи с которыми зависит судьба тысяч людей. Но что он может сделать, когда рука огнем горит, а перед глазами пелена красная? Что же это? Пламя... пламя в домне... Да, гудит, рвется на волю из металлической камеры, куда затолкали его люди в широкополых шляпах. То дико хохочет, будто упившийся мужик, то стонет... Стонет домна... Отчего она стонет? И почему здесь домна? Разве он на заводе? Ведь домна была на металлоделательном заводе в Юзовке, куда он, сын юзовского извозчика Николая Зиньковского, пришел после того, как, окончив два класса еврейского хедера, успел познать труд чернорабочего на мельнице. О! Это было совсем непросто — мальчишке таскать лантухи с зерном и мукой. Иной раз так накувыркаешься, что еле домой доползешь. А что делать? У отца с мамой кроме него еще трое сыновей — Исаак, Наум, Данька и пять дочерей — Фира, Люба, Сара, Катя, Цива. Разве такую ораву легко прокормить? Вот и приучали к труду Николай и Ева Зиньковские детей с раннего детства. И он, Лева, слава богу, эту науку прошел. Здоровьем и силушкой отец с мамой, спасибо им, не обидели. Они — дороже всякого богатства. Не один раз успел в этом убедиться, когда приходилось решать спорные вопросы с уличными мальчишками и когда по тюрьмам его прятали. Здесь тоже отцовское наследство сказалось. Старик Зиньковский, наделивший сына богатырским ростом и черным, как деготь чубом, любил повторять: «Моги-моги за правду-матку постоять до конца. Не боись ни пыхатого пана, ни лютого цыгана».

Резким был папаша, пухом ему земля, и им, пацанам, нередко от него доставалось. Но всегда за дело. По справедливости. А чего

ж? Он, Лева, и сам такой. Любовь к справедливости, к правде и привела его к анархистам, в которых виделись ему бесстрашные богатыри, борцы за бедный люд. После нескольких «эксов» пришлось познакомиться с жизнью царских тюрем и каторги. Узнал, где тот самый Макар телят пасет. Узнать-узнал, жил среди отъявленных урок, но душу свою им не продал. Самим собой остался.

Вспоминал мамины советы, которая учила:

— Левчик, сынуля, будь себе смелым, как папа. Но зачем мерзавцу говорить, кто он есть. Так делают только дураки, а ты у меня умный мальчик. Держи свои знания при себе и силы твои удвоятся.

Мудрая была мама Ева! Пригодились ее советы; сын нашел для себя правильную линию поведения. Вся жизнь, решил он, — простая игра в кошки-мышки. Разве не так? Всегда одни от кого-то убегают, прячутся, а другие — выжидают и ловят добычу. Сам себе выбирай, кем ты хочешь быть: хочешь мышкой — убегай и прячься, а хочешь кошкой — наберись терпения и думай, как поймать свою мышку, свою удачу. Только крепко думай. Не забывай, что кроме мышек есть и крысы. Тех давить надо. Но и в мышках разбираться надо. Не за каждой гонись и не думай, что можешь всех слопать. Так делают только жлобы, бездомные голодные коты, которые живут на вонючих помойках. Интеллигентный, уважающий себя котик выберет себе нужную мышку, с которой и поиграть интересно, и кушать приятно.

Раз и навсегда решив, что роль мышки ему не подходит, Лева безжалостно давил гадов-крыс, падлюк всякого рода, которые встречались ему на пути. А надо сказать, недостатка в них не было. В том числе и среди анархистов. А он так им верил!

Взять тот же отряд Черняка. Не его хлопцы грабили еврейские дома и насиловали девчонок? Разве он может забыть тот случай, когда застал за этим скотским делом прежних боевых товарищей? Увидев их, он просто ошалел, сам не свой сделался. Какая-то неведомая сила швырнула его руку на рукоять, маузера и дальше он уже ничего не соображал... Пришел в себя, когда увидел снежинки. Они кружились в комнате, медленно оседая на пол, залитый кровью, на распростертые тела.

«Снег? — первое, что пришло в голову. — Откуда он летом?»

Окинув взглядом комнату, Лева увидел вспоротую перину. «Черт возьми, да это же пух!» — дошло наконец. Пух из перины. Угол ее неожиданно приподнялся, и ему показалось, что он сходит с ума. Тряхнув головой, снова уставился в тот угол и наткнулся на полный ужаса взгляд.

— Не надо! — прошептала девушка. — Прошу вас...

— Дура!! — неожиданно обозлившись, рявкнул Лева. — Телка нечесаная! Морду умой...

Плюнув в сердцах, толкнул дверь; жалобно пискнув, дверь распахнулась, и он бросился вон из дома.

Об этом случае Лева никому не сказал, но и в отряде оставаться не мог. Нашел подходящий предлог и подался на южный фронт. Здесь прибился к большевикам. Раньше знал, что среди них тоже далеко не все ангелы. Но подкупало то, что там вроде больше справедливости. Почему? А хотя бы потому, что антисемитов они не жалуют.

— Они у нас, Лева, — усмехнулся в усы бывший юзовский забойщик Ломов, с которым пришлось работать во фронтовой разведке, — чужие. Понимаешь, вне закона, что ли.

— Ага, — подумал тогда он. — Это уже интересно. Просто интересно.

Когда же встретил Катюшу Шмидт и узнал, что она в партии Ленина состоит, чаша весов его души еще больше в эту сторону склонилась.

«Их буду держаться», — решил про себя. Не сразу, конечно. Много думал перед тем. Над собой издевался: «Вот, Левка, и ты мышкой стал! И на тебя киска нашлась. Попался, попался.»

Поразмыслив, возражал себе: «Не всех, фрайер, людей можно на кошек и мышек разделить».

— Не всех, — думал он. — Разве нет людей-кошек и людей-мышек? Есть. Но ведь есть же и другие. Просто люди.

Просто люди... Вот Вера, к примеру. Разве можно ее просто мышкой считать? Она никогда не будет убегать и прятаться. Скорее умрет, а не побежит ни за что. Тогда чуть не утонула в ставке. Испугалась страшно. Другая после такого от воды подальше старалась бы держаться, а Веруся нет: плавать решила научиться. И научилась-таки! Нет, не мышка она. Но и не кошка.

Не кошка? Нет, нет. Ведь видела, что прикипел он к ней. Могла бы поиграть на чувствах, подразнить, подурачить его. А она не стала этого делать. «Славный, — сказала, — ты, Лева, парень. Ты даже не знаешь, какой ты хороший. Но я другого люблю». Вот так. Замужем теперь. Ребенка ждет. Иной раз чертовски обидно сделается. «Ну почему так? — спрашиваешь себя. — Почему не со мной она?» Только кто ж тебе на это ответит? Катя?.. Она тоже ничем ему помочь не может. Правда, утешает его, как маленького:

— Не знаю, почему, Лева, но верю я, что вы с Веруськой вместе все равно будете. Сердце мне так подсказывает. Нужны вы друг другу.

Сердце! Вот чудачка. А все равно приятно. Приятно знать, что ты нужен хорошему человеку. Поэтому и согласился он пойти к батьке Махно. Сама же Катя, этот маленький чертенок, предложила, сообщив, что партия ее туда посылает.

— Понимаешь, Лева, — говорила ему, — сейчас революция разлилась, как река в половодье. Управлять ею нужно, помогать людям правильное русло находить, а где и плотины ставить. Иначе вместо радости и счастья на пути ее горе и слезы взойдут.

Разве мог он ее туда одну отпустить? Тем более, что знал Нестора Махно еще по Бутырке. Было это, правда, не слишком близкое знакомство. После того столько о нем наслышался. И зверь он страшный, и одни бандюги с урками вокруг него, которые только и делают, что самогон жрут и убивают ни за что. Люди любят страшные сказки рассказывать и слушать. Теперь он сам убедился, что все так и не так. Пришлось побывать и в рядовых, и адъютантом батьки, и в разведке его. Всякого довелось насмотреться. Разный люд сюда плывет. Есть, конечно, и крысы. И немало. Те норовят поближе к батьке пристроиться, побольше себе хапнуть. Друг друга грызут, с грязью мешают. Тут ясность полная: давить гадов, грязь с них делать. Но такие же не все! Большинство из тех, кто пристали к батькиному берегу, обыкновенные селяне. Трудяги с мозолистыми руками. Их же дома жены, детки ждут. Они по работе тоскуют, по земле-матушке, а воюют, убивают таких же трудяг, сами не зная, за что и почему.

Как помочь этим людям? Как дать им мир и вернуть к работе? Раньше думалось, что во всем виноват один батька: задурил людям головы хитрый черт, а они ему поверили и чудят под его гармошку. Ох, не так это все просто. И самого батьку Махна нелегко понять. Временами зверь зверем, а иной раз... Вот хотя бы, когда предала его еврейская рота, пустив в Гуляйполе гайдамаков и немцев. Батька рвал и метал. Сколько голов тогда предательских полетело. Хоть и евреи, а все равно крысы. Нет к ним, Иудиным детям жалости. Да... Но был же и другой факт.

Лева, как сейчас, помнит то утро. Выскочили они на бугор возле Новозлатополя. Видят — низинкой три брички ползут.

— Батька! — крикнул кто-то. — Жиды тикают! Скорее.

Разве могли убежать те брички от конников? В мгновение ока настигли их. Окружили, а там детлашни полные короба. Возниц тут же положили. Кое-кто из хлопцев и за детей приняться собирался. Батька не дал.

— Не трожь, падлюки! — закричал на всю степь. — Не займай, кажу...

— То ж Иудино семя, батько! — попытался возразить Иван Прудкосвист.

— То дети! — гаркнул на него батька, оперезав что есть силы нагайкой. — Дети, кажу вам. Понятно?

— Ой, та понятно! — схватился за спину ретивый Прудкосвист. — Понятно, батьку.

От тех слов Махно горло перехватило. Слезы на глаза навернулись. Смахнув их незаметно рукавом, он, Лева Зиньковский, поклялся жизнью своею, что не даст в обиду батьку, защитит от всякой подлой крысы. Клятве той ни разу не изменил, хоть и всякий бывал батька.

А как же большевики? Катя как? Не предаст ли ее он? Нет, нет. Чтоб он так жил, чтоб ему было такое счастье, если брешет.

Есть у Левы немало тайн. Одну из них он даже от себя прячет. Чтоб, не дай бог, во сне или по пьянке не ляпнуть лишнего. А задумал он Нестора Ивановича к большевикам подвинуть. Сумасшедший? Нехай так. Только треба. Разве не видно, что оно за война? Вначале вроде поднялись бедняки за свою долю биться. Все разом. Стали до счастья своего добираться, а тут — на тебе! — растащили их по разным дорогам: большевики, меньшевики, эсеры, анархисты. Каждый к себе тянет, друг на дружку натравляет. Чистое тебе вавилонское столпотворение! Только тогда господь Бог языки перемешал, а зараз разум покрутил. Не одолеть буржуя и помещика бедноте, пока не соберется она под одно праведное знамя. И таким знаменем ему, Леве, видится красное.

Под него и батьке стать нужно. Он же сам бедняк из бедняков. Только тащат его куда-то в сторону анархисты. Да и не только они — большевики некоторые, мать их так, помогают. Взять того же Полонского. Командир лучшего в батькиной бригаде полка, авторитетный человек. Люди к нему прислушивались. Сам батька уважал. Уважал... до поры до времени. Пока певичка, что сначала к батьке льнула в Бердянске, к Полонскому не переметнулась. Махно тогда только зубами скрипнул и бросил в сердцах:

— Шо поделаешь? Певичка она и есть певичка. Нехай спивает.

С тех пор не вспоминал о ней. А там такая любовь, такая любовь! Поженились. Воркуют, как голубочки. Куда он, туда и она. Чистые тебе Адам и Ева. Думали, батька забыл про них, и давай себе рай строить среди грязи и крови. Чудаки! Нестор Иванович не фрайер: он никому не прощает. Полонский из Никополя, где полк его стоял, в Екатеринослав на совещание приехал и певичку с собой притащил. Ну, и милуйся с нею потихоньку. Нет, надо, чтобы знали, какой счастливый он. Батьку в гости к себе позвал.

— Будем, — говорит, — рады, Нестор Иванович, встретиться с вами за чашкой чая.

Тот и пришел вместе с Каретниковым и Чубенко, а через час, хлопцы видели, вывели связанного Полонского и тут же возле дома застрелили. Вскоре рядком и жену его, певичку положили. Батька потом делился с ним:

— Угостить хотела вином с синильной кислотой. Вот сука какая!

Кто знает, как оно там было. Только случай с Полонским батьку здорово от красных отпугнул.

Теперь вот Троцкий. Ну, поругались они с Нестором Ивановичем. Батька раскипятился и в сердцах послал его по маршруту, который ни на одной карте не обозначенный.

— Ты ж понимаешь! — бушевал потом у телеграфного аппарата. — Напольон новый выискался. У гузне твоем еще не кругло, падлюка. Жиды паскудные обсели Ленина з усех боков. Продадут революцию, суки.

Потом опомнился и вроде даже виноватым себя почувствовал.

— Не всех евреев имею в виду, — забубнил себе под нос. — Среди них, как и среди других, разные есть. Найпаскуднишие, найехиднейшие — то й есть те самые жиды.

Сейчас батька на пределе. А тут его со всех сторон обхаживают — и белые, и атаман Григорьев. Может, в скрытую против Советской власти пойти. Тогда не удержать его, бешеного. Предупредить товарищей надо, чтобы умерили пыл ретивым писакам и трепачам неразумным, какие и среди комиссаров есть. Больше головой думать нужно. Терпения больше иметь. Для того и встречу с чекистами в Дибровке назначил. Конечно, есть кое-что и другое сказать. Но это главное... Только такая беда с ним стряслась. Пришлось Катю одну посылать. Опасно? А где сейчас не опасно? Главное, чтоб Ивана Свиста обмануть сумела, чтоб поверил он, что в самом деле посмотреть раненых она приехала. Их много в Дибровке у верных людей на излечении находится. Поспеет ли вовремя Катюша? Господи, хотя бы поспела!

...Дибровский лес. Сколько слышать о нем доводилось Никите: и когда ехать они с отцом и дядькой Иваном решили к Махно, и когда охранял Миколу Миновича, который вел переговоры с Петлюрой, подбивая на союз в борьбе против Советов.

— Зараз Петлюра еще силу имеет, — откровенничал при нем с отцом дядька Иван. — Дуже он батьке может знадобиться, шоб красным ежака у штаны пустить. Проженем их с Украины, а там видно будет. У Чорному лесе и на Симона гилок хватит.

Теперь наконец Никита увидит этот самый Дибровский лес. В аккурат послал батька сотню дядьки Ивана посмотреть, как идет мобилизация в армию. Пока гасали по селам Крымци, Темиров, поднимая сознательность селян — где крепким словом, где нагайкой, а где и клацая затвором, не заметили, как и день пролетел.

Солнце уже стало садиться, когда взобрались на очередной горб. Никита поднял голову и даже присвистнул от изумления. Далеко внизу, у самой подошвы круто обрывавшегося холма блестела речка. Она чем-то походила на змею, которая, извиваясь, нежилась на солнце, подставляя под ласковые лучи бока своего гибкого тела. За речкой, подступая к ее крутым берегам, виднелся лес. Простираясь, насколько охватывал взгляд, он казался необычно нежным среди пыльной, прокаленной солнцем и иссушенной лихими ветрами степи. Никите нестерпимо захотелось слезть с коня, разуться, сбросить рубаху и упасть взопревшим телом на этот ласковый ковер.

— Может, передых время сделать? — буркнул он отцу. — От-от огнем спина пыхнет.

— Потерпи трохи. Иван знает, коли и шо робить треба. Зараз коло Щусевой криницы будем.

В Дибровке сделали короткую остановку. Даже с коней не слезли. Только дядька Иван у самого края села остановил своего Орлика, бросив ординарцу:

— Чекайте. Пойду, погомоню с людьми. Пробыв совсем мало в хате, он вышел оттуда и, подойдя к отцу, скомандовал:

— Каже Свиридович, що зранку в Дибровке якие-то люди объявились. Говорят, з Юзовки сами. Вроде по хлеб приехали. Токо шось не то. Може, белых разведка, а мо, и червони до нас прислали. Бери, Оверко, четырех хлопцев та привези тех людей. Побалакаем.

Двое мужчин действительно были похожи на рабочих. И не только по одежде, но и по лицам, в которые въелась несмываемая копоть, по большим натруженным рукам.

— Кто такие будете? — спросил дядька, пристально, с прищуром рассматривая мужчин.

— Из Юзовки мы. Шахтеры. Жрать там нечего, — неторопливо, как бы подыскивая нужные слова, ответил постарше, с усами.

— Вот приехали к тетке Ефима. Думали, харчишек для ребят раздобудем. А она месяц как померла, тетка-то.

— Голодуете, значиться? — уточнил дядька как будто с пониманием, даже сочувствием. Но что-то в его голосе Никите не понравилось. Он уловил знакомые нотки наигранной доброты, какие всегда бывали у батьки Махна перед вспышкой безудержного и лютого бешенства.

— По нескольку дней бывает крошки хлеба во рту не держим. На ребятишек просто смотреть жалко.

— Ну шо ж, хлопцы, може, и правду вы кажете, а може, и брешете. Гайда с нами до дуба. Там и послухаем вас.

Миновав село, въехали в лес. Здесь сразу же почувствовалось наступление вечера. Ветки высоких деревьев, словно специально, сомкнулись над дорогой, делая ее неприветливой и мрачной. Ехали, как показалось Никите, довольно долго. Наконец выбрались на большую поляну, посреди которой стояло кряжистое дерево. Это был дуб. В полумраке дуб походил на громадного человека, чем-то очень рассерженного, поднявшего в неудержимом гневе руки над головой. Вот сейчас дерево оживет и, взмахнув руками-ветками, враз смахнет весь их отряд. Жутковато стало.

— Ну, от и приехали, гости дорогие, — когда все спешились, протарахтел дядька. — Так расскажите нам, хто вы такие будете и чого вы до нас пришли-приехали.

— Так вроде бы все сказано, — ответил мужчина помоложе. — Тарас Васильевич все разобъяснил...

— Нет, не все! — взвизгнул дядька Иван, со всей силой ударив усатого кулаком в лицо. — Говори, сука, хто ты такий и чего пришел? Только не здумай брехать. Бо, хто Свиста схочет дурить, и дня не проживет.

— Что ж ты руки распускаешь, бандит?! — прикрывая лицо, глухо вскрикнул усатый.

— А-а-а! Бандит, кажешь? — обрадовался дядька. — Я тебя зразу, большевичок, раскусил. Ану, Чуб, обсмоли товарищу вуса.

Чуб, низкорослый кривоногий толстяк, всегда отличался поражавшей Никиту жестокостью. Переваливаясь с ноги на ногу, как раскормленный гусак, он неторопливо подошел к костру, выбрал горящую головешку и направился к усатому. Никита не успел опомниться, как послышался сдавленный крик и в нос ударил запах жженой кожи. Чувствуя, как противный комок подкатывается к горлу, Никита закрыл рот и бросился, не разбирая дороги, в кусты. Его стошнило. Он рвал долго, готовый вывернуться наизнанку, чтобы избавиться от этого противного, дурманящего запаха, который, казалось, исходил из него самого. Придя немного в себя, он стоял, обхватив рукой шершавый ствол дерева.

— Так ты не хочешь?! — доносился издали визгливый голос дядьки Ивана. — Не хочешь, собака, говорить правду? Ану, хлопцы, роздягните их та надерите ремней из спины.

Никита закрыл ладонями уши, чтоб не слышать страшного, нечеловеческого крика, который должен был сейчас огласить лес. И он его таки не услышал.

— Держись, Ефим! — донесся до него глуховатый голос старшего. — Держись, сынок, хай махновские бандюги не увидят нашей слабости.

— Годи, Иване! — прогудел, видно, не выдержав, отец. — Пора кончать.

— Черт з ними! — вскрикнул дядька. — Давай.

Отец и еще несколько человек из их сотни углубились в лес, волоча под руки тех двоих. Вскоре оттуда послышались выстрелы, гулко, будто удары кнутом, прозвучавшие в ночной тиши.

— Ну, шо, хлопцы, — как ни в чем не бывало проговорил дядька Иван, — час уже и повечерять.

Рассевшись вокруг костра, отряд принялся за еду. Никита слышал, как гремели кружки, как булькала разливаемая в них самогонка, но не подходил.

— Микита! — окликнул его отец. — А ты ж чого не сидаешь?

— Та, — отмахнулся Никита. — Живот... живот чегось болит.

— От лихо! — вздохнул отец, но настаивать не стал. Никита молил бога лишь о том, чтобы его оставили в покое. Ему казалось: появись он сейчас, и все увидят, как он ненавидит дядьку Ивана и отца. «Как же так? — думал он, глотая бегущие по щекам слезы. — Как могут они так поступать с живыми людьми? Бандиты... справжние бандиты... Нелюди... Треба тикать...».

Неожиданно со стороны села послышался стук колес, и вскоре мимо куста, за которым прятался Никита, промчалась бричка.

— Ой боже! — зашумели у костра. — Обережно! Людей подушит, чертяка.

— Вечер добрый, Свист, — откликнулся женский голос. «Медичка! — узнал приехавшую Никита. — Рыжая медичка Катька. Левки Задова шалава».

— Хо-хо-хо! Людоньки добри! — заворковал дядька Иван. — Ану место дайте нашей дорогой медицине. Ось сюда, сюда сидайте.

— Как вы тут? Раненые есть?

— Та немае, сестричко. Усе, слава богу, здоровые. На той свет токо шо двоих чекистов проводили. Мабуть, уже у казанах из смолою кипят зараз. А мы от вечеряем. Пригощайтесь, будь ласка.

«Бандиты! — глотая злые слезы, думал Никита. — Справжние бандиты... нелюди... Треба тикать...».

6

Мысль о том, чтобы бежать от батьки, не раз возникала у Никиты. После случая в Дибровском лесу она вспыхнула в нем с особенной силой и с тех пор не давала ни минуты покоя. Он действительно стал готовиться к побегу. Ждал только удобного случая. Он уже представлял, как ночью потихоньку постучится к Марийке, как прижмет ее к своему сердцу и будет стоять так долго-долго, ощущая, как девичьи чистые слезы капают на грудь, а он наконец почувствует (о боже!), как начинает оттаивать страшный лед, который сковал все у него в груди, как снова становится нормальным человеком и нет вокруг этих нелюдей с глазами деда Саввы. Изредка тревожной искоркой вспыхивала мысль о том, что его могут найти хлопцы Левки Задова, но гнал ее прочь. Он будет прятаться, сидеть безвылазно в погребе или на горище, будет голодать и ждать, молиться и ждать, когда утихнет эта кровавая круговерть, которая, словно в страшном сне, бросает людей друг на друга. Ведь должно когда-нибудь все это кончиться! Обязан же прийти покой?!

Душою Никита был в Андреевке со своей Марийкой. Но тело его, усталое, разбитое седлом и степными дорогами, оставалось среди опротивевших и ненавистных ему людей. Неуловимыми птицами пролетали дни, быстрыми каючками проплывали недели, а он не мог отважиться на решительный шаг. Как весенний снег, таяли отряды и сотни батьки. Уставшие и обозленные селяне все чаще стали задумываться над тем, куда же несут их выбившиеся из сил кони, сеющие огонь и смерть махновские тачанки, какие всходы дает этот свинцовый посев. Одни из них покидали под разными предлогами воинство батьки и, добравшись до родных хат, считали, что для них война закончилась. Правда, на всякий случай (чем черт не шутит, когда бог спит), прятали винтовки под соломенными крышами и в погребах, смазав их смальцем и тщательно укутав, как любимое дитя. Их место было здесь, на истосковавшейся по плугу земле. Другие считали, что самый короткий путь домой лежит по дорогам, которыми шли полки красных, громившие беляков по всей Украине.

А батька Махно выжидал своего часа, люто карая тех, кто предавал его. Правда, оказавшись в тылу у деникинцев, он иногда решался нападать на их потрепанные части. Но и к красным примкнуть не спешил, а при удобном случае громил их зазевавшиеся обозы. В январе 1920 года командование красных предложило батьке перебросить свои отряды под Ковель, чтобы защитить Украину от белополяков. Махно ответил отказом.

— Шо мы будем ихать кудысь свит за очи?! — возмущался дядька Иван. — Хиба тут не Украина? Хто ж ии тут захистыть? Зима, он скоко хворых...

Махновские части косил тиф-сыпняк. Неожиданно для себя заболел и Никита. Почувствовав недомогание, он еще два дня крепился, пытаясь не показать своей слабости перед отцом. Но однажды утром уже не смог подняться. Голова раскалывалась от боли, его трясло так, что просто не было спасу.

— Невжели тиф?! — как сквозь сон услышал он испуганный голос отца и стал куда-то проваливаться.

Во второй половине января тиф одолел и Махно. Бросив Гуляйполе, он уехал в Дибровку. Оттуда батьку перевезли для лечения на хутор Белый, находившийся в пяти верстах. Здесь при нем неотлучно находились десять охранников, готовые в любой момент пустить в дело свои льюисы, пожертвовать собой, чтобы спасти батьку.

Прошло две трудные недели, и кризис миновал, а через месяц Махно уже был на ногах.

— Ну шо, хлопцы, — подмигивал он Леве, — може, пора вже запрягать коней? Зальем белякам и комиссарам сала за шкуру. Шоб не замерзали! Га?

— Не спеши, батька, — сдерживал его Лева. — Ты еще не окреп. Да и ситуация сейчас непростая. Крепко думать надо, кого бить и как.

Думать, и правда, было над чем. Клокотание гигантского котла гражданской войны, превратившей огромные просторы бывшей Российской империи в сплошной ад, постепенно стихало. Разгром армий Колчака, Юденича, Деникина основательно надломил боевой дух сторонников белого движения. Казалось, красным нужно самую малость поднатужиться, чтобы выплеснуть из «Крымской бутылки» перебродившие остатки белого вина в Черное море. Однако, победно шедшая ранее, их 13-я армия никак не могла ее откупорить. Несколько месяцев она беспомощно топталась перед Турецким валом, теряя терпение, а главное — людей.

В начале апреля верховным главнокомандующим белогвардейскими войсками был назначен барон Врангель. Он сразу же предпринял попытку реорганизации разрозненных сил. Тяжело пыхтя, английские пароходы переправили с Северного Кавказа около сорока тысяч скопившихся там деникинских солдат, многократно увеличив крымскую группировку белых. Антанта лелеяла надежду на военно-политическое единство антибольшевистских сил. Но великодержавной политике Врангеля упорно противостояли украинские националисты, не оставляющие надежду на создание самостоятельной державы, и правящие круги Польши, мечтающие о расширении ее территории «от моря до моря».

Видя серьезность намерений гонористого панства, командование красных решило основательно топнуть ногой. 23 апреля с Северного Кавказа на Юго-Западный фронт двинулась конная армия Семена Буденного. Держа курс на Умань, буденновцы имели еще одно важное задание Москвы: ликвидировать основательно поднадоевшую махновскую вольницу.

— Хай идут! — сверкал глазами батька. — Мы их так через наше гуляйпольское сито просеем, что дальше скакать будут только Семен разом с Климом. Все другие тут с нами будут.

Он направил навстречу Первой конной своих агитаторов. Но те не вернулись. Вскоре разведка донесла, что они арестованы и расстреляны вместе с несколькими жителями, заподозренными в поддержке махновцев.

— Ну, шо ж, — скрипнул зубами Махно. — Так, то й так. Побачим, кто кого. Хлопцам своим, Лева, скажи, шоб добре смотрели за красными. Поскубем их трохи.

Вскоре такой случай представился. Разведка донесла, что в двадцати километрах от Гуляйполя расположился на постой штаб одной из дивизий красных.

— Может, не стоит? — попытался предотвратить стычку Лева. — Большую беду накличем.

— Ничего, — отмахнулся батька. — Почоломкаемся с гостями разок.

Ночью неслышно подкрались к селу. Бесшумно сняли задремавших часовых и в предрассветный час ворвались в село. Казалось, все шло хорошо. Но едва взошло солнце, лизнув лучами крыши селянских хат, как их атаковали лавы красных конников, появившихся неизвестно откуда.

— Отходим, хлопцы! — скомандовал батька. — Отходим! Заметались по селу всадники и тачанки. Не выбирая дороги, топча огороды, рвались из окружения, боясь потерять из виду батьку, в которого верили, как в бога. С большими потерями, но выскочили. Две тысячи повстанцев попали в руки красных и все полегли, обагрив землю родной Таврии своей кровью.

А полки и дивизии красных конников продолжали с остервенением утюжить территорию непокорной Махновии, стараясь напрочь изгнать сам дух сидевшего в их печенках батьки. Временами казалось, что вот-вот достигнут цели: 14-я кавдивизия Александра Пархоменко стремительной атакой выбила махновцев из их столицы, а в екатеринославской газете «Известия» даже появилась заметка под заголовком «Махно взят в плен».

— Писаки чертовые! — кривился батька, читая доставленную ему Левой газету. — Сраку мою поцеловали, а пишут, шо поймали. Пишите, пишите. Бумага все стерпит. А мы еще погуляем трошки, пока вы с ляхами копырсаться будете.

И действительно. Едва успел стихнуть топот копыт красной конницы, спешащей скрестить свои сабли с польскими жолнерами, как по дорогам Таврии вновь застучали колеса быстрых махновских тачанок.

Батька безжалостно громил вырастающие, как грибы, комитеты незаможних селян, справедливо видя в них опору Советской власти и угрозу своей мечте — махновской республике, независимой от московского комиссародержавия, петлюровцев и вообще от кого бы то ни было.

Предав анафеме Махно, военное руководство красных склонно было считать, что для его ликвидации все средства хороши. В середине июня, когда штаб повстанцев стоял в селе Тургеневка, что в пятнадцати верстах от Гуляйполя, к батьке подбежал выскочивший откуда-то человек. Узнав в нем Федора Глущенко, Лева обмер.

Глущенко около года тому назад был взят в батькину контрразведку по рекомендации Кати.

— Федор — хороший парень, — утверждала Катя. — Андрей давно с ним работает и достаточно успел проверить его.

— Ну что ж, — ответил он тогда. — Пусть будет так.

На словах согласился, а сам потом еще долго присматривался к парню. Что-то смущало его, сдерживало. Он так и не подпустил Глущенко близко к себе. И Кате не разрешил с ним сближаться. Несколько месяцев тому назад Федор ушел на связь в Александровск и не вернулся. «Кто он? С чем пришел? Как себя вести?» — лихорадочно соображал Лева. Почуяв недоброе, он собрался было выхватить маузер и застрелить его, но...

Федора заслонял Махно. Стараясь унять волнение, медленно приблизился к ним.

— Батька, — тяжело дыша, заговорил Федор. — Я имею вам очень важное сообщить.

— Ну, говори, говори быстрее, — недовольно хмурился Махно.

— Убить нас послали. Убить.

— Кого убить? — подал голос Лева.

— Та Нестора Ивановича. Батьку нашего дорогого.

— Кто тебя послал?

— Главный чекист, Манцев.

— От так штука! — сдвинув на затылок папаху, изумился Махно. — Такого ще не було. А ну разберись из ним, Лева.

— Так они ж... — продолжал лепетать Глущенко. Но Лева, поняв, что медлить нельзя, рванул его на себя и скомандовал своим:

— Возьмите! Та гляньте, чи немає дружков его поблизости.

Когда он, оставив батьку, пришел в хату, где размещалась его разведка, туда, кроме Глущенко, доставили еще одного.

— Лев Николаевич! — усмехнулся один из контрразведчиков по кличке Грамотей. — Я и прогуляться по его харе не успел, а он уже мне начал петь. Вы только послушайте.

Задержанный назвался Яковом Костюхиным. Затравленно озираясь, он рассказал, что действительно вместе с Федором Глущенко получил задание убить Махно.

— Федька мне и деньги за то отвалил. Вона тринадцать тыщ «николаевскими» и советских бамажек куча. Обещали еще. После того. У него и на Задова вашего гроши есть.

— Ах ты, шкура! — разъярился Лева. — Купить, значит, меня хотели? Купить?

Он изо всех сил молотил задержанных, пока те не свалились на пол.

— Глаз не спускать! — бросил, играя желваками, и вышел на улицу.

Почти бегом добрался до штаба и, выложив на стол маузер, браунинг, две бомбы, пачки денег, завернутые в тряпку, доложил с усмешкой:

— Вот, батька, гостинчики. То тебе Манцев передал.

— Ач, как любят меня! — всплеснул руками Махно. — Шо ж тебе рассказал тот байстрюк, Лева?

— А он не один, Нестор Иванович.

— Отак?

— Да. Первый, что к тебе кинулся, наш бывший повстанец Федор Глущенко, предатель. А второй — известный налетчик Яков Костюхин, по кличке «Яшка дурной». За деньги чекистские продались.

— От босяки бессовестные!

— И меня хотели купить, — расплылся в улыбке Лева.

Сказал и мгновенно уловил взгляд батьки. Настороженный, цепкий, проникающий, казалось, в самый мозг. Но Лева выдержал этот взгляд.

— Ах ты ж, сучьи дети! — сжал губы батька. — Кончай их падлюк, Лева. Кончай та будем обедать, нехай те чекисты показятся.

Поняв, что беда миновала, Лева выскочил из штаба. К хате разведки шел нарочито медленно, стараясь унять нервную дрожь. Он был потрясен действиями Манцева: «Что они там? Совсем подурели. Как можно так своих подставлять? А может, не верят мне? Не верят... Тогда хреново...».

Обострением взаимоотношений махновцев и красных не замедлил воспользоваться Врангель, начавший в первых числах июня наступление на юге Украины.

Жарким июльским днем батька проводил совещание командного состава в селе Времьевке Мариупольского уезда. В хате было душно, но окон не открывали из осторожности. По той же причине у двери постоянно находились Левины хлопцы. Неожиданно дверь скрипнула, и в комнату просунулась голова Воробьева, заместителя Задова. Батька недовольно нахмурился.

— А ну поглянь, Лева, шо там такое.

Задов вышел.

— Лев Николаевич, ребята гостя доставили.

— Кто такой?

— Говорит, адъютант генерала Слащева.

— Ого! И чего же ему нужно от нас?

— Письмо от барона Врангеля привез.

— Давай его.

— Отдать письмо отказался. Велено лично Нестору Ивановичу вручить.

— Фу-ты, ну-ты! Ладно, сейчас доложу батьке. Лева вернулся в комнату и, обойдя стол, за которым сидели командиры, шепнул на ухо Махно:

— Врангель письмо тебе любовное прислал.

— Шо? Шо ты сказал, Лева? — сделал большие глаза Махно.

Задов развел руками: мол, что есть то есть.

— А ну давай его сюда! — скомандовал батька.

В комнату ввели одетого по-селянски молодого мужчину. «Селянин! — презрительно усмехнулся Задов. — А рученьки, как у барышни. Беленькие. Небось и за соху не держался».

— Ну, шо скажешь, голубе? — буравя глазами «селянина», спросил Махно.

Гость обвел собравшихся глазами и, уставившись на батьку, молчал.

— Стесняешься? — засмеялся Махно. — А ты не стесняйся. Тут усе свои. Кажи, хто ты и шо тебе треба.

— Иван Михайлов! — кашлянув, нерешительно начал тот. — Поручик Михайлов. Адъютант генерала Слащева с письмом от барона Врангеля к вам, господин атаман.

— Давай письмо.

Михайлов подал пакет.

— Прочитаем, шо ж нам барон сочинил, — разворачивая письмо, усмехнулся Махно. — Ага. Слухайте, хлопцы:

«Атаману повстанческих войск Махно. Русская армия идет исключительно против коммунистов с целью помочь народу избавиться от коммуны и комиссаров и закрепить за трудовым крестьянством земли государственные, помещичьи и другие частновладельческие. Последнее уже проводится в жизнь.

Русские солдаты и офицеры борются за народ и его благополучие. Каждый, кто идет за народ, должен идти рука об руку с ним. Поэтому теперь усильте работу по борьбе с коммунистами, нападая на их тыл, разрушая транспорт и всемерно содействуя нам в окончательном разгроме войск Троцкого. Главное командование будет посильно помогать Вам вооружением, снаряжением, а также специалистами. Пошлите своего доверенного в штаб со сведениями, что Вам особенно необходимо, и для согласования боевых действий.

Главнокомандующий вооруженными силами юга России барон Врангель».

Махно прищурился и, глядя на своих соратников сквозь узенькие щелочки глаз, бросил:

— От так, дорогие мои! Сватает нас барон. Шо ж делать будем? Может, пойдем за него?

В комнате воцарилось молчание.

— Мне приказано... — подал голос посланец. — Приказано ждать ответ.

— Ага! — понимающе кивнул Махно. — Ответ, кажешь?

— Так точно.

Лева видел, как у батьки заиграли желваки.

— Будет, будет тебе ответ, буржуйская стерва. Сверкая глазами, Махно вскочил со своего места и, упершись кулаками в стол, отчеканил:

— Единственный ответ, который мы можем дать на подобные гнусные письма — это постановить одно: какой бы делегат ни был послан от Врангеля и вообще справа, должен быть казнен нами и никаких ответов не может быть дано. Повесить эту падлу.

Упирающегося и что-то пытающегося объяснить Михайлова потащили во двор.

— С бароном, с бароном сперва нам разделаться нужно, — проводив его взглядом, проговорил Махно.

— Ну, а после? — подал голос Куриленко, один из батькиных любимцев.

— После? — вскинулся Махно. — После подумаем, шо и с красными робить.

Командиры вышли. В комнате остались лишь Махно и Задов. Махно сидел задумчивый, подперев рукой подбородок.

— Ты правильно сказал. Нестор Иванович, что главный враг наш сегодня — Врангель! И для красных он добрая заноза. Может, разом бы и потянуть ее? Глядишь, и после говорить с ними будет легче.

— Думаешь?

— А что? — стараясь говорить как можно спокойнее, продолжал Задов. — Вместе расколошматим барона, а потом вместе о будущем поговорим. Как... как союзники.

Он помолчал, угловым зрением наблюдая за выражением батькиного лица. Тот молчал, хмуря лоб и уставившись в дальний угол комнаты. Словно там высматривал ответы на вопросы, которые мучили его.

— Не, Лева! — заговорил наконец Махно. — Не время. Спугался батька, подумают комиссары. Слабость свою почуял и мира запросил. Надо, шоб они силу нашу побачили. Зауважали нас. От тогда и говорить с ними можно будет. Зараз же треба печенку у Врангеля пощупать, по тылам его прогуляться. Будем готовить рейд. И красных пока займать не будем. Пойдет?

— Ну, что ж, — согласился Лева. — Тебе видней. Махно и в самом деле стал готовиться к рейду по врангелевским тылам. Накануне его отряд в составе 800 человек сосредоточился у села Успеновки. Все делалось в глубокой тайне: красные части, которые стояли в селе, даже не подозревали о близости махновцев. Но всему помешал Иван Прудкосвист.

— Батька! — прибежал он, запыхавшись. — Тут как раз с самого краю Успеновки полевые кассы красных. Грошей повно. И, хлопцы мои кажут, золотишко тож имеется. Мо, спробуем? Га?

— Стоит ли рисковать? — матеря в душе проклятого Свиста, спросил Лева.

— Та какой риск, Лев Николаевич! — всплеснул руками Иван. -Возьмем грошики и гайда гулять по бароновой спине.

И батька сдался.

— Хай будет так. Готовтесь.

Застав врасплох красноармейцев, сотня Свиста захватила кассы и быстро начала отступать под прикрытием пулеметов. Казалось, дело сделано. Но не тут-то было. Перегруппировав свои силы, красные обошли их по балочкам и оврагам и так ударили, что тошно стало. Из 800 человек едва полсотни осталось. Сам батька чуть в плен не попал. Не окажись рядом Лева с пулеметчиками, пропал бы Нестор Иванович.

Ни о каком рейде теперь и думать не приходилось. Больше того, неудачи одна за другой стали преследовать батьку. Он метался между напирающими с Юга белыми, которые захватили практически всю северную Таврию, и отступающими красными войсками. В конце августа батька был ранен. Пуля прошла ниже колена. Несколько дней Лева возил его, разыскивая лучшего лекаря. Наконец в Старобельске местный хирург прооперировал батьку, сказав:

— Жить будет. Только хромым останется.

— А на коня? На коня когда сесть он сможет? — поинтересовался Лева.

— На коня? — переспросил лекарь. — Не знаю, не знаю. Во всяком случае, не скоро. Да-с, не скоро, молодой человек.

Почуяв слабость Махно, всполошились анархисты. Их лидер, председатель Реввоенсовета повстанческой армии Барон попытался перехватить у батьки военную и политическую власть.

— Реввоенсовет должен всецело контролировать военные действия, утверждать планы проведения операций, — поддержал Барона его друг Волин.

— Шо? — вскипел Махно, когда ему Лева доложил о заседании. — Ач, суки чертовые! И там барон, и тут Барон. Совсем обложили. Планы ему подавай. А хрена в зубы горького не хочет он? От заразы! Может, и правильно Ленин их позакрывал тогда? Га? Побачил их паскудство, усю грязь их и покидал у каталажки. Не-е-е! Шо не кажи, а Ленин таки разумная голова.

— Может, зараз как раз время, Нестор Иванович, с красными переговорить?

— Думаешь пора? Та-а-к, та-а-к. А шо? Может, ты и прав, Лева. Может, и прав...

— Письмецо б сочинить не мешало. Поручить, что ли? С верным человеком послать, а?

— Не, — покачал головой Махно. — Письмо я сам напишу. А ты человека шукай. Та надежного!

— Есть такой человек, — усмехнулся Лева.

— Кто?

— Катьку, медичку пошлем.

— Зазнобу твою?! — изумился батька. — Ну ты даешь, Лева!

— Тут самый надежный человек нужен. Нельзя рисковать. А Катька — баба, что надо. Все сделает.

— А если пропадет по дороге? Это ж тебе не в театр идти. Напудрила себе носа и гайда. Тут же и белые, и красные та й наши шастают. Хлопнут и будь здоров. Не жалко?

— Верю в нее. Только для дела и себя не пожалею. Чтоб я так жил, батька!

— Ну, делай, как знаешь... Ухлопают Катьку, мы тебе новую найдем.

В то время Южный фронт, под командованием Михаила Фрунзе, все больше превращался в поле битвы, где окончательно должна была решиться судьба Советской власти. С тревогой следя за развитием событий, Москва бросала туда все новые и новые силы. Поезда мчали на Украину полки молчаливых латышских стрелков, не раз доказавших свою преданность революции, части эстонцев и венгров. По приказу Ленина были подняты кремлевские пулеметные курсы и школы красных командиров. Между тем крымское вино, настоянное Врангелем по английским рецептам, продолжало играть, веселя белую гвардию, вновь обретшую былую уверенность. Войска белых заняли Бердянск, Мелитополь и вплотную подошли к Александровску.

Сюда, в Александровск, и держала путь Катя Шмидт. Если бы несколько лет назад ей предсказали такую судьбу, она бы умерла со страху. Можно ли было предположить, что она, считавшая себя всегда неженкой и трусихой, будет жить среди грязных мужиков, сидеть на пирушках махновских командиров, без меры хлещущих самогон и непрестанно чадящих цыгарками, сносить вульгарные остроты батькиной жены Галины и ее неразлучной подружки Феньки? Да ни за что на свете! Ведь в своей семье она слова грубого не слышала. Вот и сейчас явственно звучат голоса родителей.

— Милый мой, Ванечка, что тебе приготовить к ужину?

— Дорогая Аннушка! Что приготовишь: у тебя ведь всегда все вкусно получается. Ты ведь у меня кудесница.

Родные старички! В их отношениях не было ничего похожего на слюнявое сюсюканье, за которым обычно прячется давняя неприязнь. Они по-настоящему любили и уважали друг друга, разделяя все горести и печали. Катя была совсем маленькой девочкой, когда пришла весть о расстреле папиного дальнего родственника Петра Петровича Шмидта. Давно-давно их семьи жили вместе в Бердянске; подружившись мальчишками, Иван с Петром потом редко встречались, но все время поддерживали связь, обмениваясь письмами.

— Петр восстал против подлости, — взволнованно шагая по комнате, говорил отец. — У него чистая душа. Он не может быть преступником. Не может! Коль уж он на это решился, значит, так было надо. Иначе он не мог поступить.

— Конечно, Ванечка, конечно! — успокаивала его мама. — Преступники — те, кто казнил его, кто лишил жизни этого человека с душой ребенка.

Слушая, их. Катя не могла себе представить взрослого дядю Петю с душой ребенка. Но ей до слез было жаль его. Даже во сне однажды привиделось, как бородатые чудовища целились из огромных страшных ружей в красавца принца из книжки с картинками, которую не раз читала мама. Он гордо стоял, презрительно глядя на палачей, а с какой-то высокой горы к нему бежал папа и почему-то кричал ее голосом:

— Палачи! Не стреляйте! Не смейте убивать душу ребенка. Проснувшись, вся в слезах, Катя потом долго не могла уснуть. Тогда она дала себе слово, что обязательно найдет и накажет убийц Петра Петровича. Как? Она еще не знала. Вначале мечтала, чтоб ей встретился храбрый принц, который пойдет за нею на край света, и там они найдут палачей. Потом думала просто о хорошем друге. Неважно, кем он будет и каким. Лишь бы был верным, понимал и можно было говорить с ним о самом сокровенном. Такими качествами обладала Вера. Но Вера — подруга. Когда же появился Петя Задорожний, Катя сразу решила, что это тот самый человек — послан ей судьбой. Разве были у кого-нибудь еще такие красивые, белые, как первый снежок, волосы? А синие-синие глаза? Боже мой, казалось, в них можно смотреть и смотреть, не отрываясь, целыми днями. Тут и говорить ничего не нужно: они сами расскажут, что на сердце у ее Петруся. Правда, она немного боялась, что мама скажет:

— Ох, доченька, а пара ли он тебе?

В папе была уверена, знала, что он сразу ее поймет. А вот в мамочке почему-то сомневалась. Немножко. Самую-самую малость. Оказалось, совсем напрасно. Когда мама первый раз Петю увидела, она ничего не сказала. Лишь улыбнулась ей ласково. А он, ее Петрусь? Тоже, видно, почувствовал доброе к себе отношение. Сразу оттаял. Настороженность, с которой шел к ним, куда только и подевалась. Ну, свой, родной человек и все тут. Она в те дни, как на крыльях, летала. Все у нее получалось, все делала легко. Люди вокруг казались такими добрыми и хорошими, что каждого хотелось обнять и поцеловать.

Петя ее в рабочий кружок пригласил. Там как раз о революции 1905 года говорили. И о Петре Шмидте тоже.

— Вот человек! — восторгался Петрусь, когда провожал ее домой. — Не побоялся за бедный люд жизнь отдать. Настоящий герой...

Потом остановился вдруг посреди улицы и на нее смотрит. Внимательно так.

— Что с тобой? — спросила его.

— Катрусь, а Петро Петрович чи не твой родыч? Ты ж тоже Шмидт.

— Родственник, Петя. Только дальний.

— Вот это да! — выдохнул из себя Петрусь. — Ты мне про него расскажешь?

— Что рассказать?

— Ну, все-все.

— Так я же ни разу даже не видела его. Вот разве папа...

Она до сих пор помнит, как слушал Петрусь неторопливый рассказ папы о детстве, учебе в гимназии юного Петра Петровича. Боялся слово пропустить. Весь вечер задумчивый был и молчал. Только, прощаясь с ней у калитки, тихо обронил:

— Интересная штука жизнь. Бегает обыкновенный хлопец. Ничем не приметный. А потом раз — и герой. Как это получается? Есть такие книжки, шоб почитать про то?

— Не знаю, — кутаясь в мамину шаль, ответила тогда.

— Не знаешь? — переспросил он. — Жалко. Ну, добре. Холодно уже. Иди в хату, Катруся. До завтра.

Поцеловал ее и ушел. А она долго потом не могла уснуть. Все думала, думала о Петрусе, о себе. Как сложится их судьба, их жизнь, которая только начинается? Смогут ли они выполнить свои клятвы, данные в детстве? Вот, скажем, поклялась она отыскать палачей Петра Петровича Шмидта. Может быть, вместе с Петрусем они и найдут их когда-нибудь. Она ему об этом скажет...

А на следующий день — его неожиданная ревность. И к кому? К Леве! Нет, нет. Она уже тогда знала, что Лева хороший парень. Но при чем здесь он и она, Катя? Ведь Лева любит Верусю и больше никого любить не сможет. Так же, как и она своего Петруся. Никто другой ей не нужен. Она и на фронт с красноармейцами ушла, чтобы очиститься от мещанства и стать с ним вровень. Мечтала, что встретит его в бою. И тогда пойдут они рядом, не разлучаясь до конца жизни. Однажды даже приснилось, что Петрусь лежит в степи раненый. Просит потрескавшимися губами пить, и она находит его беспомощным и умирающим. Проснувшись с тревожно бьющимся сердцем, молилась за него. Позабыв о своем атеистическом безверии, просила у Бога, если он есть, сохранить ей Петруся, уберечь от смертельной пули и иной напасти.

После, терзаясь своей минутной слабостью, придумывала для себя различные наказания. Тогда-то она и оказалась в разведке.

— Хочу быть там, где опаснее всего, — сказала комиссару полка. — Где больше всего нужна революции.

Вначале были разовые задания. Ходила в тыл к деникинцам. Как будто с поручениями справлялась успешно. Даже хвалили ее. Лева, с которым неожиданно встретилась во фронтовой разведке, куда перевели ее, смеясь говорил:

— Катюша! Да о тебе тут легенды рассказывают. Считают, что ты прирожденная разведчица.

Потом Лева куда-то исчез. Долго о нем ничего слышно не было. Ее же снова к белым в тыл забросили. На этот раз в Бер-

дянск. Устроившись сестрой милосердия в военный госпиталь, много интересного о передвижении белых узнала от офицеров, которые на излечении после ранений находились здесь или проведать товарищей захаживали. Эти сведения бердянские подпольщики морем переправляли в штаб. Когда улыбалась ухажерам, приглашавшим на пикник ее вместе с другими сестричками, чувствовала, что ходит по лезвию бритвы. А ну как не удастся вывернуться, не сможет себя уберечь?

После освобождения Бердянска вздохнула с облегчением. Думала, придет к своим и честно скажет: «Все! Устала я, товарищи. Больше не могу».

Но ничего не получилось.

— Понимаю, что устали вы, Екатерина Ивановна, — говорил, усадив ее рядом с собой в кресло, начальник особого отдела Манцев. — Но просил бы, очень просил бы вас собраться с силами и выполнить еще одно поручение. Очень важное. От которого зависит судьба тысяч товарищей красноармейцев и не только их.

Боже мой! Что творилось тогда у нее в душе. Ведь предстояло проникнуть в штаб самого батьки Махно, жить вместе с его отпетыми головорезами.

— Сейчас, когда и махновцы, и наши части в Бердянске, — не сводил с нее глаз начальник особого отдела, — самый подходящий момент незаметно внедриться. Как, Екатерина Ивановна?

Господи, как у нее сердце тогда ныло! Будто сигнал подавало, что Петрусь где-то рядом. Как бы сложилась ее судьба, повстречай она его? По крайней мере, на нынешнюю роль она ни за что бы не согласилась. Ведь для махновцев да и для других людей она — любовница самого начальника махновской разведки Задова, перед которым дрожат все. Откуда им знать, что творится у него на душе. Да и сама она думала, что Лева Зиньковский, который и был тем самым грозным Задовым, человек без нервов. Иначе как можно выдержать весь тот ад? Видеть, как пытают твоих товарищей, убивают дорогих людей и делать вид, что одобряешь это. Казаться веселым, когда все нутро твое восстает против творящегося кошмара. Сколько раз ей приходилось видеть его обессиленным. Придет к ней, сядет, обхватив голову руками и молчит. Только желваки играют. Чтобы как-то вывести его из такого состояния, она начинала разговор о Верусе. Вспоминала, как тонули они, как учили Веру плавать. Лева оттаивал немного, на лице его появлялась по-настоящему добрая улыбка и печальная.

— Спасибо тебе, Катя, — сказал ей однажды. — А ты знаешь, что Вера замуж вышла, что у нее дочь родилась?

Она обмерла.

— Неправда это! Врут люди...

— Нет, — покачал головой Лева. — Все правда. Только знаешь, я все равно верю, что мы будем с нею вместе. Я люблю ее. Понимаешь? Люблю!

— А ребенок? — сорвалось у нее с языка. — Ребенок же, Лева?

— Ребенок? Это же ее ребенок. Ее частица. А для меня она вся святая. Значит, и дочка ее тоже. Вот так-то.

И откуда только силы берутся у этого человека? Правда, если нужно, она тоже находит их в себе. Взять хотя бы тот случай в Дибровском лесу, когда пришлось выполнять задание вместо раненого Левы. Она опоздала на явку буквально на полчаса. Вернее, не она опоздала, а Свист со своей сотней раньше нее въехал в Дибровку и накрыл связных чекистов. Что они вдвоем с одним ездовым могли сделать?

— Ай-яй-яй! — закусил губу Андрей. — Пропали хлопцы!

И тогда она приняла решение:

— Едем в лес. К дубу.

Место знакомое. Не раз приходилось бывать там с Левой. Но ночь. Темень сплошная. И все-таки добрались. Однако опять не повезло. Свистовы хлопцы уже расправились со связными. Посидели немного с теми головорезами для отвода глаз и засобирались.

— Та шо ж вы, Катерино Ивановна, — уговаривал Иван Свист. — Оставайтесь с нами до ранку. Разом и в Гуляйполе доберемся.

— Нет, Свист, будем ехать. Там Задов раненый, да и другие. Едем, Андрей!

— Провожатых дам. Хоть из лесу выведут.

— Не нужно. Мы с Андреем дорогу не хуже твоих хлопцев знаем. Трогаем.

— От чертяка рудая! — услышала вослед. — Ничего не боится Левкина сука.

Отъехав от костра, погрузились во тьму непроглядную. Где дорога, где лес, ничего не видно. Хоть глаз выколи.

— Ну, коники, на вас вся надежда, — вздохнул Андрей, и вдруг справа из чащи леса послышался стон. Тихий, едва различимый.

— Стой, Андрюша! — схватила она за руку возницу. — Слышишь?

— Вроде стонет кто-то.

Стон повторился.

— Может... может хлопцы, Катерина Ивановна?

— Может... — ответила тихо, сжимая в кармане кожанки револьвер. — Посмотреть... посмотреть нужно.

Привязав коней к дереву, пошли на стон, который повторялся снова и снова. Вскоре наткнулись на прикрытые ветками тела чекистов. Катя склонилась к тому, кто еще дышал, нащупала рану на голове и быстро сделала перевязку.

— Поднимаем! — скомандовала Андрею, но коснувшись спины раненого, тотчас отдернула руку. — Го-о-споди! Нелюди! Звери дикие!

— Что, что там, Катерина Ивановна? — допытывался Андрей.

— Ничего, Андрей. Ничего. Под грудь бери. Осторожнее. Уложив на бричку раненого, рванули в Дибровку. На их счастье, добрались до села без приключений. Когда внесли раненого в хату верно-

го человека и, плотно завесив окна, зажгли каганец, Катя едва не вскрикнула: на кровати лежал истерзанный Ефим Аникишин...

Сколько страху натерпелась, пока выхаживала Ефима! Ведь Дибровка та, считай, почти вся махновской была. Могли и обнаружить Ефима, и выдать. И тогда... Тогда пропал бы не только он сам и приютившие его хозяева, но и им с Андреем не сдобровать.

Беда походила, погуляла рядом и миновала их. Удалось Ефима на ноги поднять. А месяц тому и к своим в Александровск его переправили.

— Я тебя, Катерина, — всхлипнул Ефим, прощаясь, — никогда не забуду. Фотку твою заместо иконы на стену повешу. Нехань женка и детки молются. И Петьке твоему обскажу. Какая ты, Кать. Красивая. И человек... нашенский. Пролетарский, значит.

Уехал Ефим. А на сердце неспокойно. Как добрался? И добрался ли вообще? Встретился ли с Петрусем? О чем говорили? Вот бы услышать! Эх, если бы ветер донес до нее голос Петруся! Хотя бы несколько слов. Да где тот ветер? Вон жара какая стоит.

Катя старается найти хоть маленькую тень. Прикрыв голову краешком брезентового плаща Андрея, она калачиком сворачивается на соломе, постеленной на дне брички заботливым возницей, и затихает. Ей удается даже задремать, как вдруг:

— Катерина Ивановна! Катерина Ивановна! — зовет ее Андрей.

— Разъезд впереди.

— Где? Кто? Чьи? — вскакивает Катя, машинально поправляя огненные кудри.

— Кажись, наши, — неуверенно роняет возница, всматриваясь в группу всадников, маячащих на холме.

Катя до боли сжимает кулаки, успокаивая себя: ей нечего бояться.

— Кто такие? — подскакав к бричке, спрашивает старший, и Катя узнает голос Ефима.

— Катерина! Вот так стреча! — смеется Ефим. — Эх, знал бы Петро.

«Где он? — хочет спросить Ефима. — Жив? Здоров?» Но не осмеливается. А Ефим все говорит и говорит:

— Вот судьба-злодейка! Ты, значится, сюда, а он отсюда ускакал. Катя почувствовала, как при этих словах сердце с силой сжалось и замерло в груди.

— Куда? Куда уехал? — наконец выдавила она из себя.

— Да недалеко тут! — зачастил Ефим, заметив ее состояние.

— Рядышком тута. На станцию Плавни. Латышских стрелков стречать. Скоро здеся будет. Ты не боись, Кать. Не боись...

Потом Ефим окидывает взглядом своих спутников, которые, сдерживая коней, терпеливо дожидаются командира, и меняет тон.

— Так куда ж путь держите, Катерина Ивановна? — почти строго спрашивает он.

— Мне в особый отдел... В особый отдел дивизии, Ефим, нужно.

— Ага! — пожевывая многозначительно губами, кивает Ефим.

— Доставишь?

— А как же? — подморгнув красноармейцам, снова улыбается Ефим. — Эт мы могем! Могем, Катерина Ивановна.

...После упорных боев части генерала Слащева потеснили красных и, заняв села Балки, Орлянское и Васильевку, вплотную приблизились к Александровску. Изрядно потрепанные полки латышских дивизий, заброшенные взбесившимися ветрами гражданской войны за многие сотни километров от родных мест, медленно откатывались старым чумацким шляхом. Загребая дорожную пыль стоптанными сапогами, латыши с тоской окидывали взором бескрайние степи, надеясь хоть где-нибудь отыскать милую сердцу синеву леса, в котором можно было бы отдохнуть от многократно проклятой войны и безжалостного солнца. А солнце, будто обидевшись за подслушанные мечты молчаливых прибалтов, все сильнее пропекало землю, выжимало пот из усталых солдатских тел, обильно проступающий на выгоревших гимнастерках и нахмуренных лбах.

После перегруппировки сил части красных, прикрывавшие Александровск с юга, перешли в контрнаступление. 23 июня к середине дня они отбили Васильевку, но к вечеру белые, введя свежие силы, фланговыми ударами не только восстановили положение, но вновь значительно потеснили красных.

В самый разгар боя к станции Плавни подходил эшелон дважды краснознаменного 5-го особого латышского полка. До прибытия на Украину этот снискавший высокое доверие молодой Советской власти полк находился в распоряжении главнокомандующего и Реввоенсовета республики, неся охрану важнейших государственных учреждений.

Вслушиваясь в гул незатихающей канонады, Петро Задорожний нетерпеливо мерял шагами захламленный перрон станции. Два дня назад его вызвали в особый отдел армии и приказали, сдав эскадрон, отбыть в распоряжение штаба латышской дивизии.

— Будете обеспечивать связь с местным населением, — объяснил начальник отдела.

— Так я ж... я ж мовы их не знаю, — заморгал глазами изумленный Петро.

— Ничего. Зато знаете край и в ситуации нашей полумахновской и еще черт его знает какой разберетесь, товарищ Задорожний. Война, понимаете, народ нервный, продовольствие и фураж не всегда вовремя доставляются. Всякое может быть. Кто-то из латышей крестьянина обидит — вот вам и причина для конфликта. Ведь люди с оружием. Подобные случаи бывали... А язык? По-русски большинство из них понимает. Поймете друг друга. Поладите.

Прибыв в штаб дивизии, Петро попал в водоворот: раненых полно, лекарств не хватает, подвод и лошадей селяне не дают. Хоть караул кричи. Латыши в глаза не смотрят. Только сердито

сопят и желваками играют. «На меня сердятся, чи шо? — недоумевал поначалу Петро. — Чи ж я виноватый, шо доля сюда закинула, де мы грызьма грызем один одного, как те вовкулаки голодные? От времечко бог послал, бодай его!»

В самом деле. Люди, которые недавно рядом жили, а то и родственники, теперь врагами стали. Разве может он, Петро Задорожний, когда-нибудь простить Ивана Прудкосвиста? Да и дядька Оверка с Никитой. Ведь наверняка и они были в том Дибровском лесу, где замучили Васильевича. Ефим сам еле живым остался и мало что помнит из страшной той ночи, но теперь он злой на всю махновию вместе с чертовым батькой и готов всех их стрелять и рубить без разбору. А разве он один такой?

Перед глазами Петра вновь встала страшная картина, свидетелем которой ему довелось быть месяц тому назад. Дивизия красных конников наткнулась на махновский отряд в засаде. Немало полегло хлопцев-дончаков. Только батьке в тот раз не повезло. Конармейцы быстро оправились, да и помощь подошла. Так долбанули, что сам Махно едва ноги унес, многих своих оставив здесь навеки пришитыми к земле. Больше тысячи их в плен попали.

Похоронили красных конников в центре большого села. Митинг был. Жалко, конечно, хлопцев. Большинство — молодые, безусые. Солнцу, жизни еще не успели нарадоваться, а их уже в землю зарыли. Салют дали, а потом комдив скомандовал:

— Убрать падаль с полей!

Петро вначале не понял, а когда пленных в степь за село погнали, решил: чтоб побитых своих захоронили. Так оно и было вначале. Снесли мертвых в овраг, а потом... потом по команде комдива живых махновцев туда загонять стали и из пулемета по ним. Пленные в кучу сбились.

— Братцы! Родненькие! За шо ж вы нас?! — кричат. — Деточек наших пожалейте.

А комдив, говорят, в том бою сына его убили, весь трясется, слезы по лицу размазывает и одно твердит:

— Нет вам, гады, пощады! Смерть, смерть махновскому кодлу.

Так всех и положили. Жуть одна. Показалось тогда Петру, что в овраге том смертном сельчан своих он видел — Ивана Дрота и Грицька Михайленко. Может, только показалось, а может...

Послышался гудок приближающегося поезда. Печальный, тревожный.

«Ач, как жалостливо кричит! — подумал Петро и тут же мысленно обругал себя. — Чего это я так? Може, й повезет тем хлопцам.»

Он хорошо знал, что едва подойдет полк, бойцы его и оглядеться не успеют, как им придется вступать в бой. Эх, латыши, латыши... Что он знает о них? Почти ничего. Где она, эта самая их Латвия? Какая она из себя? Правда, сюда, на Украину кое-кого из тех краев и раньше доля заносила. Ну, да! Даже присказка есть такая: «Як у того латыша — тильки свытка та душа». Бедные, зна-

чит люди. Может, не все, конечно, а только те, которые в эти места попадали. Которых нужда и горе по белому свету гнали, как перекати-поле.

Сбавив скорость, поезд остановился. С подножки вагона легко спрыгнул невысокий плотный брюнет.

— Задорожний, — бросив руку к козырьку фуражки, представился Петро. — Из штаба дивизии.

— Шмит — командир первого батальона пятого латышского полка, — старательно чеканя каждое слово, ответил приехавший.

«А казали, шо латыши все чисто белявые», — подумал Петро, с интересом рассматривая командира батальона.

— Жарко... Жарко здесь у вас, — вытирая носовым платком пот, поморщился латыш.

— Так лето, лето ж у нас, товарищ Шмидт, — усмехнулся Петро. Он уже собирался спросить, нет ли у командира батальона родственников в здешних краях, но тот его опередил:

— Моя фамилия Шмит, товарищ Задорожний. Не Шмидт, а Шмит. Понимаете?

— Пойнял! — смутился Петро. — Пойнял, товарищ Шмит.

— Правильно, — подморгнул, улыбнувшись, латыш. — А теперь обозначьте нашу задачу.

— Приказано занять оборону на левом фланге седьмой кавалерийской бригады. Ось тут, коло того ветряка.

— По-нят-но, — протянул командир батальона и подал команду на латышском языке.

Неторопливо, по-деловому латыши приступили к разгрузке и вскоре начали движение к указанному месту.

— Пока, — козырнул Шмит.

— До стречи, — помахал в ответ Задорожний: он оставался встречать остальные батальоны латышей.

Выгрузка продолжалась весь день. Только к ночи последние роты заняли отведенные им позиции. Измученные люди отдыхали, улегшись на прожаренную солнцем землю. Подложив под голову шинельные скатки, они молча всматривались в непривычно черное звездное южное небо, словно пытаясь в мерцании далеких огоньков подсмотреть свой завтрашний день.

Тишина ночной степи, будто оглохшей от долгой канонады, ласковые прикосновения ветерка, играющего в прятки с невидимыми кузнечиками и мотыльками, навевали на Петра щемящую тоску.

Этот покой, дарованный войной ему и его новым знакомым, кратковремен и обманчив. За противоположным бугром сейчас спят наверняка такие же усталые и измученные люди. Зачем ему их жизни? И свою он отдавать не хочет. С какой стати? Только что он мог поделать, когда какая-то другая, огромная сила правит его жизнью? Она выхватила его из дома, из родного села и понесла по белу свету. На миг улыбнулось ему счастье глазами Кати... Что с ней теперь? Правда, рядом с ней Левка. Почему так? Что он

для Катюши? Просто товарищ, который поможет и защитит? А если... Нет-нет, такого не может быть. Не может!

Рядом глубоко, со всхлипом вздохнул командир взвода латышей юный Ян Грудулс.

— Чего не спишь, товарищ? — тихо спросил Петро.

— Дома был, — зевнув, ответил Ян.

— Во сне?

— Ага.

— В Риге, значится?

— Нет. В Мадоне. Есть такое местечко в Латгалии.

— Так ты не латыш?

— Латыш, конечно. А Латгалия — земля такая. Место такое в Латвии.

— Уезд, выходит?

— Ну, что-то такое...

Помолчали.

— А кого бачил, ну видел у сне? Маму?

— И ее. Провожала нас с отцом и братьями в церковь. Мы на хуторе жили, и отец мечтал заработать денег на велосипеды.

— Велосипеды? Зачем они селянину? На них ни пахать, ни косить. Баловство одно.

— Почему баловство? Мадона далеко от нас. Ногами, пешком долго идти, а на велосипеде быстро. Говорил отец: «Оденем, дети, с вами белые рубашки, сядем на велосипеды и поедем в церковь на праздник».

— А ты у бога, Ян, веришь?

— Гм... В бога?

— Ну, да. Как думаешь, есть он чи нема?

— Не знаю.

— А мне сдается, шо нема. Абы он був, то навряд чи разрешил ото паскудство, шо у свити робыться.

— Кто его знает, Петро. Иногда и я так думаю, как ты, а иногда сомневаюсь. Стоишь в церкви, красиво так, и все к одному, к богу обращаются. Выходит, они дураки, ничего не понимают, а я один умный. Нехорошо как-то... Неправильно.

На левом фланге полка вдруг хлопнул выстрел, за ним второй и, словно разбуженный ими, скороговоркой коротких очередей откликнулся пулемет.

— Почалось, — поднимаясь, бросил Петро.

— Да, не спится кому-то, — откликнулся латыш. Стряхивая с себя остатки сна, полк оживал, приходил в движение, готовясь к отражению атаки. Однако противник вел себя странно: бой как будто не приближался к насторожившимся цепям латышей, а удалялся от них.

— Белые отступают, что ли, — вглядываясь в едва начавшую светлеть темень, высказал догадку Грудулс.

— Не похоже, — возразил Петро. — Скорее хтось пробивается до нас по Ореховскому шляху.

— Думаешь? Тогда не мешало бы помочь им с этой стороны. Будто услышав слова Яна, ударила полковая артиллерия латышей. Прошелестев над позициями полка, снаряды легли за бугром, на котором расположилась врангелевская пехота. Толчки далеких взрывов, тревожа пробуждающийся день, спугнули проплывающую в полудреме лохматую тучку, и та, задержав свой бег по небесной глади, окропила землю дождем.

— Ну вот, Петр, даже небо против войны, — усмехнулся Ян, набрасывая на плечи шинель.

— То оно белякам знак подает: чего лезете сюда?

— Не нам, значит?

— Буржуям. Ач, як капельки выстукуют: мотайте за море, на хрена вы сдались трудовому люду.

Между тем бой на левом фланге разгорался. Строчили несколько пулеметов латышей, слышалась частая ружейная стрельба.

— Ну, Ян, держись, а я побиг до Шмита, — бросил Задорожний и, придерживая кобуру, спустился в балочку.

Пока он добирался до командного пункта батальона, стрельба несколько утихла. Слышались лишь отдельные винтовочные выстрелы.

Петро уже видел плотную фигуру командира батальона, рассматривавшего что-то в бинокль, когда неожиданно ударила артиллерия белых. Разрывы шрапнельных снарядов заставили Петра плюхнуться на землю. Рядом дико заржали кони и, рванув с места, понесли подпрыгивающую бричку, не разбирая дороги, грозя в любой момент опрокинуть. Слышались стоны раненых, ругань латышей: отборный русский мат без акцента.

Артналет прекратился так же неожиданно, как и начался. Петро неторопливо поднялся с земли. Попытался сбросить налипшую грязь. Потом безнадежно махнул рукой и направился к командному пункту.

— Где товарищ Шмит? — спросил у бойца, перевязывавшего раненого.

Тот молча показал в сторону густого кустарника. Скользя по грязи, Петро наконец отыскал командира батальона. Держась одной рукой за борт тачанки, тот сердито разговаривал с огромным мужчиной, стоящим спиной к Петру. В фигуре собеседника комбата, в манере держаться с нарочитой небрежностью Петру показалось что-то очень знакомое: «Неужели Левка? Не может быть! Откуда ему здесь взяться? И все-таки...» Петро замедлил шаг, стараясь унять внутреннюю дрожь.

— С чего это меня трясет? — сжимая зубы, думал он, не в силах оторвать взгляда от великана, его могучего затылка и рук, которыми тот разводил картинно, с эдакой ленцой, будто пытаясь показать: «Вот, смотрите, какой я есть. Кто из вас может со мной тягаться, шпана мелкая?» — Он! Точно Левка. Ну и что? Левка так Левка.

— О-о-о! Земляче дорогой! — обернувшись, расплылся в улыбке великан. — Такая встреча при картечи!

— Здоров, здоров, — усмехнулся Петро, протягивая руку Леве. Но тот, не замечая ее, сграбастал Задорожнего своими лапищами, прижал к себе так, что у Петра затрещали кости, и закружил его на глазах у изумленных латышей.

— Дорогой ты мой земляче! — громыхал он. — От так встреча, братцы мои!

— Стреча как стреча, — с трудом освобождаясь из железных объятий великана, недовольно бурчал Петро.

— Выходит, дружок тебе этот гражданин — товарищ? — глядя на Петра с Левой, поинтересовался Шмит.

— Та вроде того, — не совсем уверенно ответил Петро. — Знакомый.

— И давно знакомы?

— Ну, как тебе сказать, товарищ Шмит... Давненько. А в чем дело?

— Да дело есть, — поджал губы командир батальона. — Дело есть, товарищ Задорожний. Отойдем немного в сторону. А вы простите нас, гражданин.

— О чем разговор! — снова развел свои лапищи Лева. — Дело есть дело, товарищи.

Едва они успели отойти от брички, как Задорожнего кто-то окликнул.

— Петро! Ты чи не ты?

Обернувшись, Петро растерянно заморгал: буквально в нескольких шагах от него стояли два его соседа из Андреевки — Тимофей Пересунько и Яков Стешенко.

— Петро! — хлопнул по спине Якова Тимофей. — Шоб я пропав, наш Петро Задорожний.

— Ну и ну! — покачал головой Шмит, углубляясь в кустарник.

— Так у чем дело? — останавливаясь, спросил Петро.

— Это я тебя обязан спросить, товарищ Задорожний, — чеканя каждое слово, ответил командир батальона. — Только что в расположение полка прибыла группа махновцев, среди которых оказались твои друзья или знакомые. Как это следует понимать?

— От тебе й раз! — сплюнув в сердцах, поморщился Петро. — То ж хлопцы з нашего села. Сусиды мои бедолашние. Пораскидала нас доля по свету белому.

— А тот? — Шмит мотнул головой в сторону Левки.

— Ну, шо тебе сказать, товарищ Шмит? То другой разговор. Левка, как мне известно, разведкой у батьки Махна командует.

Латыш от удивления даже присвистнул.

— Ничего себе дружок! Сволочь бандитская. Арестовать его надо.

— Та ты не спеши, — сдвинул фуражку на затылок Петро. — Тут не все так просто, як тебе сдается. Краще нехай особый отдел армии разбирается. Так мне думается.

— Может, разоружить?

— Может, й так, — все еще колеблясь, ответил Петро. В это время врангелевская артиллерия снова стала обстреливать позиции латышей. Пришлось залечь, чтобы не попасть под шрапнель. Лежа на земле, которая начала подсыхать под лучами солнца, Петро все время видел голову Левки. Тот по очереди разговаривал то с латышскими стрелками, то с андреевскими хлопцами.

— Глаз не спускай с него, — тихо сказал Шмит. — Уйти может.

— Уйти? — удивленно посмотрел на него Петро. — Чего ж он тогда сюда шел?

— А черт его знает!

Петро собрался подползти поближе к Левке, когда вдруг белые пошли в атаку. Ожили цепи латышей, пытаясь отогнать их пулеметным огнем и ружейными залпами, но белые продолжали упорно двигаться вперед. Расстояние между противниками неумолимо сокращалось. Было ясно, что рукопашной не избежать. Петро видел суровые лица стрелков, готовых рвануться вперед и нетерпеливо ожидающих команды.

— Господи! — подумалось Петру. — Та мы ж, як собаки. Чистые тебе собаки, що чекають, колы з цепу зирвуться.

А у самого сердца гулко стучало и, казалось, выговаривало:

«Вот сейчас! Ну, же! Чего ж они не идут?»

Петро вскочил одновременно с командой, поданной Шмитом. Что-то крича, он бежал, отталкиваясь от все еще скользкой земли, боясь упасть и стремясь скорее столкнуться с орущей, воющей массой, которая неслась ему навстречу. Ударившись, две волны озверевших двуногих разлились по полю, закружились, изрыгая охрипшими глотками матюки и страшные проклятия, деловито, как на привычной работе, стараясь продырявить друг друга штыком или пулей.

Сжимая спусковой крючок своего маузера, Петро обнаружил, что не стреляет. Он растерянно остановился, и едва не был проткнут штыком.

— Дур-р-ра! — дико вращая глазами, заорал на него свалившийврангелевца Левка. — Раззява!

Подхватив винтовку врангелевского офицера, Петро снова бросился в гущу сражающихся.

Схватка продолжалась всего несколько минут, но казалось, целую вечность. Наконец белые не выдержали и побежали. Кое-кто из латышей пытался их преследовать, но заработавшие пулеметы прикрытия и усталость заставили отказаться от этого.

Тяжело дыша и с трудом переставляя ноги, Петро медленно поднимался на бугор.

— Давай быстрей, а то клюнет какая пуля-дура ненароком, — догнав его, проговорил Левка. — Я тогда перед Катей и не отчитаюсь.

— А где ж она?

— Катя, што ли?

— Ну, да.

— Да здесь, недалечко. Может, в Александровске, а может, и еще где-то...

— Ой, шось ты крутишь, хлопче, — вытирая фуражкой пот со лба, вздохнул Петро и опустился на валявшееся колесо от брички.

— Опять не веришь? — всплеснул руками Зиньковский. — Ну шо мне с тобой робить?!

Некоторое время они изучающе смотрели в глаза друг другу.

— Ревнуешь? — усмехнулся, подморгнув, Левка.

— Та иди ты!

— А ты не гарчи на меня. Не гарчи. Жива и здорова твоя Катюша. И любит тебя. Жизнью своей клянусь. Обо всем другом она сама скажет. Вот так.

Помолчали, каждый думая о своем.

— Смотрю я на тебя, Левка, — первым нарушил молчание Петро, — смотрю и думаю: кто ты такой?

— Здра-а-авствуйте! Ты ж меня знаешь, Петро.

— И знаю, и не знаю.

— Так и я так само. Сегодня я один, а завтра — совсем другой.

— Во-во! Ну хто ты зараз? С кем ты?

— О! А ты разве там, в бою не понял?

— Та вроде понял. А токо хочу тебя спытать...

— Ну, пытай.

— Чи довго вы будете своим бандитством землю нашу паскудить, кровью поливать?

Зиньковский нахмурился.

— Эх, Петро, Петро! — вздохнул, помолчав, Левка. — Если бы можно было перемерить ту самую кровушку какою цеберкою, то не известно, кто ее больше пролил — белые, красные, серо-буро-малиновые или еще какие. У всех руки в ей по самые плечи. Не отмыть их до скончания дней. Не этим заниматься зараз нам треба.

— Так чем же?

— Чем? Думать, как скорее этот скаженый пожар потушить.

— А тут и думать долго не треба. Скорее всех гадов-контриков к ногтю. И белых, и батек бандитских всяких. От и все. Може, не так? Може, ты шось другое знаешь?

— Да-а-а! Знать-то знаю, а вот стоит ли говорить, сомневаюсь.

— Та чего ж, кажи.

— Ну, што ж. Слухай. И тут, у вас красных, и там у нас нет ни панов, ни буржуев. Есть трудари — селяне и рабочие. Чего им делить? От и треба разом вдарить толстопузых, шоб потом за дело мирное взяться та жизнь красивую сотворить. Ить за нее же, за красивую жизнь, хлопцы наши на смерть идут. А разве латыши не ее хотят? А те хлопцы-курсанты из Москвы и Питера, которых мы под Ореховом от смерти верной спасли, прикрыв пулеметами от конницы Врангеля? Пойди спроси их. Вот они.

Лева остановил, взяв за руку, молодого высокого парня:

— Как тебя?

— Ну, Мащенко.

— Во, Борис Мащенко. Наш, что ли? Земляк?

— Из-под Полтавы я. Глобинский уезд.

— А ты? — кивнул он второму, стройному, как тополь, курсанту.

— Питерский я. Булычев Алексей.

— Вот за шо вы воюете?

— За что? — переспросил Булычев, глянув на своего товарища.

— А за счастье народное. Так, Борис?

— Точно!

— Так. Ладно, — не сдавался Левка. — Согласный. За счастье. А шо оно такое, это самое народное счастье? Он победно обвел взглядом собеседников.

— Не знаете? Это ж то самое, что и красивая жизнь. Вот. Ить не может быть некрасивого счастья. Не может, хоть ты тресни.

— Ладно тебе, агитатор! — засмеялся Мащенко. — Заговорил ты нас. К Георгию Гамарину сходим. Контузило нашего товарища здорово. Проведать надо.

В тот день белые еще дважды атаковали позицию полка, но латыши успешно отбились. Пытались контратаковать, но безуспешно и с большими потерями. Были ранены командиры первого и второго батальонов Шмит и Суйтынь, начальник полковой пулеметной команды Стангут, четыре ротных командира. Сильно поредели ряды курсантской роты и отряда махновцев, вырвавшихся утром из окружения белых.

К вечеру Задорожний и Грудулс, принявший основательно потрепанную роту, отправились проведать Шмита. С трудом отыскали его на одной из сбившихся в кучу подвод. Шмит был без сознания и бредил, метаясь в жару. Молча постояли, вглядываясь в бледное лицо командира батальона.

— Ничего, — послышалось рядом. — Он поднимется. Петро и Ян одновременно оглянулись. Рядом стоял командир полка Повар и двое знакомых курсантов.

— Нужно вывозить раненых, товарищ командир полка, — видимо, продолжая разговор, тихо обронил один из курсантов. — Багато тяжелых. Не выдержат они в духоте такой. А ненароком белые прорвутся...

— Без паники, курсант Мащенко! — оборвал его командир полка. — Без паники.

— Какая паника! — возмутился курсант. — Я отвечаю за роту и каждого бойца перед... перед командиром сводной бригады и... и товарищем Лениным.

Петро вспомнил теперь имя и фамилию курсанта — Борис Мащенко.

— Успокойтесь, товарищ, — уже мягче продолжал командир латышей. — Я не хотел вас обидеть. Видел сам, как сегодня дрались ваши ребята.

— И наши хлопцы не хуже, — подал голос Лева. — Чи не так?

— Так, так, — в знак согласия кивнул командир. — Хорошо дрались. Только сегодня, к сожалению, барон Врангель еще сильный. Ну, ничего... А раненых эвакуируем. Пусть только стемнеет. Вот только куда, нужно решить. Что скажут местные товарищи? — Он повернулся к Задорожнему.

— Треба везти на Александровск. Там надежнее и врачи, — отозвался Петро.

— Правильно, — поддержал его Лева. — Хай только ночка упадет. Дадим добрых провожатых, и самым коротким шляхом — на Александровск. Завтра на месте будут.

Ночью подводы с ранеными в сопровождении немногочисленной охраны, которую возглавил по предложению Задорожнего Лева,тронулись в путь.

— Ну, держитесь тут, — прощаясь с Петром, прогудел Левка. — Доставим раненых и с подмогой вернусь.

— Давай! — коротко ответил Задорожний. Он до сих пор не мог определить свое отношение к Левке. Попробуй определить, когда тот, как черт крученый. Не поймешь, где он сам собой, а где ваньку валяет. В одном Петро не сомневался: лучше Левки с доставкой раненых никто не справится. Тот, где угодно, пройдет и из любой ситуации выпутается. «Вот только бы наши хлопцы, признав его, не хлопнули б сгоряча, — мелькнула мысль, но он ее отогнал. — Выберется, чертяка. Та й Катя там. Сам же казал».

Добившись значительных успехов, Врангель хорошо понимал, что ему все же не удалось решить стратегической задачи — разгромить 13-ю армию красных и добиться поддержки населения. Его злил категорический отказ Махно от сотрудничества. Неудачной оказалась попытка поднять очередное восстание донского казачества. В конце июля барон попытался расширить свой плацдарм в Северной Таврии на ореховском направлении. 25 июля крупные силы пехоты и кавалерии белых, обрушившись на стык 3-й и 15-й дивизий красных, прорвали их фронт.

Истрепанный 5-й особый латышский полк, вошедший вместе с мадьярским полком в 124-ю сводную бригаду, держал оборону у села Янчекрак. К середине дня Повар получил сведения, что сводная бригада обойдена белыми слева и справа.

— Что будем делать? — хмуря белесые брови, спросил он у Задорожнего.

— А лях его знает! — сдвинул плечами Петро. — Треба связных до командира бригады, до Булочкина, послать и прорываться до своих.

— Хорошо. Кто пойдет к Булочкину?

— Давай я пойду.

— Согласен. Только возьми стрелка с собой.

— Не треба.

— Возьми, сказал тебе! — рассердился Повар.

— Добре. Зараз зайду до Грудулса.

К полуночи Задорожний был у командира бригады.

— Вы что там, с ума сошли?! — еще не отойдя от сна, озлился Булочкин. — Стоять до конца. Вторая конная армия на подходе. Вот-вот будет здесь. Кто позиции оставит, расстреляю к чертовой матери. Понятно?

Перед самым рассветом Задорожний возвратился в расположение полка. Выслушав сообщение Петра, Повар выругался:

— Бардак получается. Третий полк бригады ушел на прорыв. Русским, значит, можно, а нам с мадьярами обороняться.

— Ну, ты это брось, товарищ Повар! — остановил его Задорожний. — Мы усе братья по классу и не хрена распихивать по национальных хатах.

— Эх, ладно! — махнул рукой Повар. — Приказано стоять — будем стоять. Латыши революцию не предавали.

Бой разгорелся вместе с рассветом. Латышские стрелки и мадьяры отбивали одну атаку белых за другой. Не раз приходилось сходиться с противником в рукопашную, оставляя на поле боя мертвых товарищей. Лишенные артиллерии, откомандированной в другие части, полки таяли буквально на глазах. Повар вторично запросил у командира бригады разрешение на прорыв, но Булочкин отдал приказ о наступлении.

— Яке наступление, мать его так! — сплюнув в сердцах, лютовал Задорожний. — Зовсим здурел той Булочкин.

Повар молчал, плотно сжав губы. Он понимал, что близится конец.

— Будем прорываться! — принял решение он. — Передайте мадьярам, чтобы подтянули сюда раненых.

Однако первая же попытка прорваться из окружения показала, что уже поздно. Кольцо атакующих белых сжималось неумолимой удавкой.

Петро видел: вот-вот должно произойти что-то страшное. И это случилось. Разъяренная долгим упорством, конница белых наконец ворвалась в расположение полков. Единый организм, изо всех сил боровшийся за свою жизнь, перестал существовать. Началась безумная охота за беспомощными людьми. Озлобленные всадники, с налитыми кровью глазами, перекошенными от злобы лицами рубили шашками, топтали конями тех, кто еще был жив, вымещая свою ненависть за все прежние обиды на совершенно незнакомых мужчинах, вставших на их пути. Дважды краснознаменный 5-й особый латышский и мадьярский полки погибли.

Судьбе было угодно, чтобы этот кусочек Таврической степи, зажатый между двух холмов, разрезанный надвое речкой Янчекрак, который не раз служил ареной боев славян с татарами, запорожских казаков против турецко-татарских людоловов, пропитался кровью веселых, певучих мадьяр с Дуная и молчаливых прибалтов. Зачем, с какой целью творился этот замес? Только тем ук-

раинским женщинам и старикам, которым пришлось стать очевидцами того дьявольского творения, а затем хоронить тела павших, он всю жизнь потом внушал ужас, казался богом проклятым местом, и пройти его нельзя было иначе, как осеняя себя крестом и творя душеспасительную молитву.

Около двухсот чудом уцелевших бойцов оказались в плену.

— Комиссары и мадьяры, три шага вперед! — скомандовал офицер, выстроив пленных.

«Ну от и настал мой последний час», — подумал Петро. На душе у него стало удивительно покойно. Уже ничего не боясь, он собрался было сделать эти три шага, когда стоящий рядом Тимофей Пересунько, коснувшись руки, остановил его.

— Выходит, нет таких? — дернул сердито усом офицер. — Может, кто поможет нам?

Строй молчал.

— Ну, что ж, казачки, отбирайте по мордам жидовским и цыганским — не ошибетесь.

Из строя отделили всех смуглых, около полсотни человек, и тут же расстреляли. Остальных загнали в клуню, что стояла ближе других к старому чумацкому шляху. Прислонившись к стене, Петро прикрыл глаза и словно провалился в бездонную пропасть. Ему приснилось, что он сорвался с их андреевской кручи и камнем падает вниз. Еще мгновение, и он грохнется о камни распластавшегося поперек Днепра порога. Но вдруг кто-то ловит его за руку, и он повисает в воздухе.

— Петро, Петро! — услышал он голос Тимофея Пересунько.

— Га? Шо? — вскинулся он.

— Тихо, ты! — зажал ему рот Тимофей. — Слухай меня уважно. Зараз нас кудысь потягнуть.

— Хто сказал?

— Яков слыхал, как охранники говорили. Так от. За клуней кущи. Бежите разом с командиром роты, а мы с Яковом — в другую сторону. Може, комусь и повезет. А то все одно кончат нас казачки. Как пить дать, кончат.

Вскоре и в самом деле последовала команда выходить из клуни. А Петра, как назло, стала бить нервная дрожь. До крови закусив губу, он шагнул в темноту. Едва глаза стали различать окружающие предметы, прыгнул на часового и, швырнув его на землю, что есть мочи рванулся к кустам.

Что было дальше, Петро плохо помнит. Последнее, что он услышал, были выстрелы и свист пуль. Потом вдруг все пропало. Очнулся он в плавнях у партизан, куда дотащил его, раненного в спину, Ян Грудулс.

— Ты был весь в крови, — рассказывал Ян. — Я думал, умрешь. Дедушка старый лодку дал. Так что живы с тобой. Может, еще и доберусь я до своей Латгалии когда-нибудь.

— Доберешься, Ян. Доберешься, брате...

...Врангель продолжал теснить красных, но синяя птица удачи готовилась покинуть барона. 9 августа его десант под командованием полковника Назарова высадился на азовском побережье между Мариуполем и Таганрогом с целью поднять очередное восстание на Дону. Получив об этом известие от Задова, тоже выбравшегося из пекла, находящийся на излечении Махно обрадовался.

— Добре, ох и добре, Лева! — воскликнул он. Тут нам и карты в руки. Долбанем барона на Азове так, шо он аж у Крыму зачухается. Та и Фрунзе покажем, как надо белого гуся потрошить.

Лева, получивший одобрение своих планов от Кати, что недавно вернулась с задания, с трудом сдерживал улыбку. Еще бы, лучшего момента для начала совместных действий повстанцев и частей Красной Армии против белых не придумать.

Буквально через несколько часов батькины отряды двинулись в поход. Однако им опять не повезло. Достигнув реки Чир, они попали под жестокий удар красных частей, только что завершивших разгром белого десанта и принявших махновцев за врагов. Будто кипятком ошпаренные сваты, рванулись махновцы от строптивой красной невесты. А в Старобельске, куда занесли их быстрые кони и нелегкая доля, как видно, подгоняемые нечистой силой, лежал все еще прикованный к постели Махно.

— Э-э-э-х! — скрипел он зубами, услышав печальную новость. — Загубили людей и революцию. Треба щось робить...

— Что, батько? Что нужно? — допытывался начальник штаба Виктор Белаш.

— Шо? — Махно пристально посмотрел на Задова. Тот, выдержав его взгляд, едва заметно кивнул. — Шо? Белаш и Задов, дуйте на телеграф и от моего имени предлагайте красным перемирие и совместные действия против белогвардейской сволоты. Ясно?

— Ясно.

27 сентября из Беловодска Виктор Белаш по телеграфу вызвал начальника особого отдела Южного фронта и передал предложение Махно. Томительно долго ждали ответа из Харькова, где шло заседание политбюро ЦК КП(б)У. Наконец в два часа ночи было получено положительное решение. Прочитав его, батька бессильно откинулся на подушки. Помолчал, комкая телеграфную ленту и прикрыв глаза. Потом нахмурился и, смахнув наползающие на лоб волосы, бросил:

— Пиши приказ, Виктор. Всякие враждебные действия против частей Красной Армии прекратить. У нас теперь враг общий — польские паны и Врангель. Записал? Остальное добавишь, шо положено. А теперь для вас и командиров полков.

Он оглядел собравшихся вокруг членов штаба и, чеканя каждое слово, отрубил:

— Каждая часть Революционной повстанческой армии Украины (махновцев) должна всегда быть при полной боевой готовности и во все глаза следить за передвижениями красных.

Искоса, как-то виновато посмотрел на Задова и, вздохнув, закончил:

— Хай мене красные простят, но, як кажуть люди, береженого и бог бережет.

Задов усмехнулся.

— Чего ты хихикаешь, Лева?

— Думаю, батька, чи не завести нам попа.

— А шоб ты сказился, Лева, разом з усеми попами.

Дом задрожал от хохота.

Вскоре, выстроив свою сотню, Иван Прудкосвист читал батькино обращение, в котором говорилось:

«Товарищи повстанцы!

Тяжелый час настал на родной Украине. Обратно на измученную родину надвигаются грозные тучи. С запада идет ненавистный каждому украинцу исторический враг — польская шляхта. С юга неудержимо врезается все глубже и глубже в сердце Украины душитель народа немецкий барон Врангель. Зарвавшиеся было коммунисты и комиссары получили снова хороший урок. Пришлось им признать, что без украинского народа и вольного повстанчества они что-нибудь сделать бессильны. С другой стороны, Совет Революционной Повстанческой Армии Украины /махновцев/ пришел к заключению, что, оставаясь в настоящее время безучастным зрителем, украинские повстанцы помогли бы воцарению на Украине либо исторического врага — польского пана, либо опять царской власти, возглавляемой германским бароном. Как одно, так и другое — смерти подобно для селянства Украины. Учитывая вышесказанное, Совет Революционной Повстанческой Армии Украины (махновцев) принял решение временно, до разгрома наседающих внешних врагов и панских наймитов идти в союзе и рука об руку с Советской Красной Армией. Для исполнения этого постановления Совет Революционных Повстанцев Украины (махновцев) предлагает всем без исключения отдельным группам и отрядам (повстанцев), действующим на Украине:

1. Прекратить (всякие) враждебные действия против Советской Красной Армии, а также против каких бы то ни было советских учреждений и их работников.

2. Все живые и здоровые силы вольного повстанчества должны влиться в ряды Красной Армии, войдя в подчинение и под командование командиров последней.

Соглашение на этой почве Совета Революционных Повстанцев Украины /махновцев/ с Реввоенсоветом Украинской республики достигнуто.

На основании этого соглашения все раненые и больные, имеющиеся при отдельных повстанческих отрядах, поступают на обеспечение и лечение советских лазаретов. Весь личный состав повстанческих групп и отрядов, а также командиры при поступлении в Красную Армию (условно до 1 ноября 1920 г.) никаким реп-

рессиям, наказаниям или преследованиям за их прошлые деяния не подлежат. Переход повстанческих групп и отдельных отрядов в ряды Красной Армии должен произойти организованно через местных, уездных или губернских начтылов или специальных уполномоченных Реввоенсовета Республики.

Совет Революционной Повстанческой Армии Украины (махновцев), признав, что повстанцы, оставшиеся после прочтения настоящего извещения пассивными или продолжающими враждебные действия или нападения на советских работников и чинов Красной Армии, будут считаться как изменники повстанческому делу и враги повстанческого движения. С такими, как борющимися против своих братьев-повстанцев (махновцев), находящихся в рядах Красной Армии, Совет Революционной Повстанческой Армии Украины /махновцев/ будут расправляться, как с простыми бандитами.

Совет Революционных Повстанцев Украины твердо уверен, что вольное повстанчество Украины не пойдет по двум разным дорогам, но сплоченно, как в 1918—1919 гг., последует на зов испытанных революционных вождей батьки Махно и Совета Революционных Повстанцев Украины (махновцев).

Председатель Революционной Повстанческой Армии Украины (махновцев) батько Махно. Командарм С. Каретников.

Измученный долгим и непривычным для себя чтением, Иван Прудкосвист глубоко вздохнул и, смахнув рукавом пот со лба, спросил:

— Усе ясно чи есть вопросы, товарищи повстанцы?

— Нема! Усе понятно! — послышались голоса.

— Тада разойдись.

Проходя мимо нервно покручивающего ус брата, Иван задержался.

— Чего це ты вуса накручуешь, Оверко?

— А хиба нема чого? Такое сотворилось...

— Тихо, ты! — оборвал брата Иван.

— Ладно, Ванька. Токо ты скажи, шо оно будет? Выходит, усе буденовки со звездами понаденем и марш-марш у комунию с голозадыми?

— Пхе! — скривился Иван. — Ты ж розумный хлопец, Оверко. Понимать должен, шо то такой маневр у батьки. Хитрость такая.

— Ой, боюсь, шоб не перехитрили мы сами себе...

— А ты не бойся. Нестор Иванович не дурниший за нас с тобою. Пойнял?

— Та пойнял, — махнул рукой Оверко Саввич.

Между тем Советская власть, понимая важность момента, собирала силы для решительного удара по Врангелю. Заканчивалось формирование под Александровском Второй конной, которую возглавил мечущийся в поисках правды и справедливости Филипп Миронов, снискавший любовь донских казаков и ненависть

завистливых соперников. Ощетинилась 13-я армия, познавшая и радость побед, и горечь неудач. Ожидала команды и Крымская армия махновцев во главе с Семеном Каретниковым.

— Ну, Лева, — прощаясь с Задовым, вздохнул Махно. — Погулял бы и я с вами, абы не рана проклятая.

— Лечись, батька. Все зробим, как надо.

— Надеюсь на тебя. Ты — мои глаза и уши.

Говоря так, батька хитрил. Были у него и другие доверенные люди в армии Каретникова. Но про то не делился он даже с Левой.

25 октября все армии Южного фронта под командованием Михаила Фрунзе перешли в общее наступление.

7

Никита очнулся не скоро. Придя в себя, глазам не поверил: вроде родная хата, а рядом Марийка сидит. Сидит и слезы вытирает. Вначале подумал — привиделось. Посильнее глаза закрыл, чтобы, значит, не пропала Марийка. Слышит, рука ее на лоб легла, и так ему хорошо стало, что даже улыбнулся.

— Микитушка! — вскрикнула обрадованно Марийка. — Ожил, родной мой. Ожил!

— Здравствуй, Марийка! — прошептал сухими губами. — Здравствуй...

Болезнь расставалась с ним трудно и долго. После того, как он впервые пришел в себя, прошло больше месяца, прежде чем смог подняться на ноги. Сознание еще не раз обрывалось, а жизнь держалась на тонюсеньком волоске.

Невидимыми когтями тиф безжалостно высасывал из тела силы. Иной раз их не хватало даже на то, чтобы пошевелить рукой или сказать слово. И какое счастье, что с ним Марийка. Временами казалось, что девушка читает его мысли. Стоило подумать о чем-то, как она рядом. Сияет своими глазищами и щебечет ласковой птичкой:

— Что, Микитушка? Чего тебе, миленький мой?

От этих слов, от самой близости Марийки у Никиты кружилась голова сильнее, чем когда-то от первой кружки самогона. Та что там самогон! О нем и вспоминать противно: враз наворачивается тошнота, и дышать невозможно. Потом наваливаются картинки из «веселенькой» жизни у батьки Махно, от которых весь Никита покрывался холодным липким потом. «А ну, как Марийке привидятся эти мои думки? — пришла однажды мысль. — Она ж зненавидит меня и больше не переступит порога хаты.» Он дал себе слово больше не думать о прошлом, но оно нет-нет и напоминало о себе то во сне, а то и наяву врываясь в его новую жизнь вслед за неосторожно сказанным словом или за взглядом, упавшим на какую-то вещь отца или матери.

Начав понемногу поправляться, Никита вдруг обнаружил, что не помнит, как попал в свою хату.

— Так батько ж тебя привезли, — ответила на его вопрос Марийка.

— Батько?! — переспросил с удивлением Никита.

— Ну, да! Оверко Саввич! — Марийка понизила голос, словно боясь, что ее еще кто-то может услышать, кроме него, и добавила. — Они еще и пистоля тебе оставили, и грошей. Я их за иконою сховала.

— Пистоля выкинь в нужник! — приказал он. — Зразу ж и выкинь.

Марийка вскочила на лавку и вытащила из-за иконы сверток.

— Ось погляди, — протянула ему.

Никита развернул тряпку. Развязал первый тяжелый узелок — револьвер и запасные к нему патроны. Он положил их рядом с собой. Второй узелок был полегче, но стянут так туго, что пришлось помогать себе зубами. Даже вспотел, пока развязал и глаза прикрыл от усталости. Когда же снова их открыл, не поверил себе: перед ним лежала целая куча туго скрученных ассигнаций и десятка полтора золотых и серебряных монет. Были здесь и катеринки, и керенки, и советские деньги. Не было только ассигнаций, выпущенных казначеями батьки. Никита видел эти деньги с намалеванным на них казаком, выплясывающим на бочке и приговаривающим: «Гоп, куме, не журися, в Махна гроши завелися...» Как же так? У отца были такие. Почему же он не оставил их ему? Может, не верит? Ну, конечно! Не верит в то, что на эти гроши можно будет что-нибудь купить. Вот так-так. Но ведь тогда он и в республику батькину не верит. И в самого батьку...

— Микитушка, — напомнила о себе Марийка. — Так давай же я отнесу.

— Шо отнесешь?

— Та пистоля того. Сам же казал, чтоб кинула его в нужник. Та и то правда, бо чегось я его боюсь.

Никита взял револьвер, подержал его в руке и снова завязал в узелок.

— Нехай полежит. Только сховай краще, а то сегодня и на Богородицу мало надежды.

Выздоравливая, он все больше и больше чувствовал интерес к хозяйству. Вначале, будто случайно, заглянул на конюшню. Обрадовался, увидев хрустящего сеном Германа. Потом ноги сами повели его в коровник. И там был полный порядок; коровы стояли сытые и ухоженные. Все было, как раньше, когда в их хате царили мир и порядок.

— Кто ж помогал тебе по хозяйству? — спросил, возвратившись в хату.

— А с Семеном удвох справлялись, — беспечно ответила Марийка, возясь у плиты.

Теплая волна нежности к девушке захлестнула Никиту. В горле запершило и в глаза будто дымом кто пахнул. Даже слезы выступили. Отвернувшись, незаметно смахнул их висевшим на гвоздике рушником, а потом подошел к Марийке.

— Спасибо тебе, хозяечка моя дорогая, — прошептал на ухо, обняв девушку сзади за плечи.

— Ой, господи! — ударила руками о подол Марийка. — Та за шо ж спасибо? Ну, такое придумал! Хозяйка...

И она засмеялась. Тихо так, будто для себя, прикрывая кончиком платка смешинки, которые веселыми мотыльками слетали с подрагивающих губ. Так смеялась его мать, радуясь какой-нибудь выходке единственного сына.

— Нет, Марусенька, — касаясь губами ее щеки, продолжал Никита. — То я правду кажу... Хозяйка ты тут... Женою мне будь и хозяйкой в хате.

— Невенчанная жена.

— Сама доля нас повенчала...

И Марийка совсем перебралась к Никите. Махнула рукой на соседок, которые с осуждением глядели ей вслед, пугливо косясь на церковь, откуда должна была грянуть неизбежная кара господняя. Только зря. Церковь после таинственного исчезновения отца Василия словно враз ослепла, онемела, оглохла и теперь сиротливо и жалобно взирала на село. Весь мир перестал для молодых существовать, затих у порога их хаты. Ни пьяный от счастья Никита, ни утренней зорькой сияющая Марийка и знать не хотели о том, что творилось вокруг. Будто и не было солдат барона Врангеля, которые, выплеснувшись, словно перебродившее вино из крымской бутылки, неудержимо разлились по всей Таврии. Тесня отступающие красные части, они без особого труда вышибли терзаемые тифом махновские отряды, и те остановили свой бег аж на Харьковщине. Здесь с помощью Красной Армии махновцы восстанавливали силы, а затем вместе со Второй конной гнали барона, освобождали Таврию, форсировали Сиваш и штурмовали Перекоп.

Ноябрьским днем у озера Безымянного командарм Второй конной Филипп Миронов блестящим маневром выманил конницу генерала Бартовича в открытое поле. Две лавы всадников неудержимо неслись навстречу друг другу.

Вдруг лава Второй конной стала делиться надвое, образовав пустое пространство. Сюда устремилась конница белых, готовая разорвать противника. Казалось, сейчас все будет кончено и белым удастся сбросить в Сиваш уцепившихся за берег красных. Но что это? Выгнувшись дугой, на пути белых конников встали двести тачанок пулеметного полка махновцев.

— Хло-о-опцы! Робы грязь! — что есть мочи прокричал командир полка Фома Кожин, и голос его потонул в хохоте смертоносных стволов. Ошпаренные свинцовым ливнем конники заметались, натыкаясь друг на друга, спотыкаясь о падающие тела лошадей и всадников. В считанные минуты лучший корпус барона Врангеля перестал существовать.

Филипп Миронов был награжден золотым оружием с орденом Красного Знамени, впаянным в эфес шашки. Среди награжденных этим орденом значился и Нестор Махно.

Обозленные на барона батькины хлопцы, дорвавшись до Крыма, трясли его, как перину, не разбирая ни правого, ни виноватого, хватали все, что попадало под руку, заполняя под завязку мешки и сумки. Их не могли остановить грозные предупреждения, с которыми обращались к Махно представители командования Красной Армии в письмах и телеграммах. Махновцы, отко-

ловшись от анархистов, успели насквозь пропитаться духом «матери порядка» и вовсю гуляли.

Очнулись от хмельного угара и запаха крови, одурманившего головы, лишь когда были окружены плотным кольцом красных. Все еще плохо соображая, кинулись, куда смотрели одуревшие от страха очи, надеясь, что вынесут быстрые кони. Но не тут-то было. Горячие пулеметные струи безжалостно хлестали редеющие ряды вчерашних героев. В той гонке навеки угомонился и Иван Прудкосвист. Только нескольким десяткам насмерть перепуганных конников удалось вырваться из огненных объятий. Пришпоривая коней, они мчались к Гуляйполю, к батьке — за спасением и защитой.

Возглавив горсточку оставшихся от Ивановой сотни, уносил ноги и Оверко Саввич. Рядом с его кобылицей скакал осиротевший Иванов Орлик. Прежде брат не однажды подтрунивал над Оверком Саввичем.

— Поглянь, Оверко, как мой Орлик до твоей Вишни залицяется. От тварюка! И шо они понимают у том коханни? А туда ж тебе! Ходит коло нее все одно, шо я коло бабы. Та и то. У Вишни зад такой же смачный, как у Феклы. Стережись, брате, застругае тебе лоша мой сатанюка. Будешь пеши бегать.

И правда, Орлик ни на шаг не отходил от Вишни. Зливший ся Оверко Саввич старался подальше уводить кобылицу, но это редко удавалось. Орлик, обнаружив отсутствие подруги, начинал обиженно ржать, зло бил копытом землю, остервенело грыз уздечку. Он бесился до тех пор, пока они снова не оказывались вместе. Лишь тогда успокаивался и хитровато поглядывал на людей, как бы говоря: «Ну, что, взяли? Не бывать по-вашему». Да и Вишня при нем преображалась. Всегда спокойная и покорная, она вдруг обретала незнакомую игривость, то и дело встряхивала головой, потрясая своей шелковой гривой и брезгливо пофыркивая. Будто хотела без остатка завладеть вниманием и Орлика, и всех, кто был рядом с ними. Весь ее вид говорил: «Вот смотрите, смотрите же на меня, какая я красивая».

— От курва! — кипел от злости Оверко Саввич. — Разве ж я за тобой не так смотрю? Чи ж погано тебе? Ну, чего еще треба? Чего?

Оверко Саввич испытывал к Вишне такие же чувства, как к жене, когда та закрутила с батюшкой шашни. Временами он просто готов был застрелить Вишню и Орлика, которого люто ненавидел — от вызывающе торчащих кончиками стрел ушей до раздражающе цокающих копыт и распущенного, как ведьмино помело, хвоста. Но больше всего на свете он боялся лишиться Вишни, в ней он видел живой талисман. Ему почему-то казалось: случись что с лошадью, и сразу все беды обрушатся на него.

После гибели брата Оверко Саввич подобрел к Орлику, и не только потому, что конь был частицей убитого брата. Орлик как будто понимал всю сложность положения, в которое попали Виш-

ня и ее хозяин, и всячески старался помочь им выбраться из него. Он несся чуточку впереди, увлекая за собой Вишню, угадывая любую команду, которую подавал прильнувший к самой гриве лошади верховой. И на коротких стоянках он уже не вел себя так норовисто, как раньше, а молча стоял, понурив голову, терпеливо ожидая, когда ему дадут поесть.

Во время очередного привала Оверко Саввич, дождавшись, когда у коней никого не было, подошел к Вишне и, потрепав ее по липкой от пота гриве, сунул в рот кусочек сахара.

— Ешь, ешь, моя хорошая, — прошептал он. — Стомилась ты, бедолашненька? Ну, ничего, скоро будем на месте.

Его взгляд, скользнув по лошади, неожиданно встретился со взглядом Орлика и застыл. Такая боль, такая тоска стояла в глазах животного, такое невыразимое горе, что у Оверка Саввича даже слезы навернулись на глаза.

— Ну, чего? Чего ты, дурненький? — дружески подморгнул он коню, разламывая пополам оставшийся кусочек сахара. — Ешь. Ешь на здоровьечко.

Орлик осторожно взял мягкими губами сахар и благодарно заржал. Оверко Саввич погладил его по голове и уже собирался направиться в балочку, где отдыхали остальные, когда взгляд упал на переметную сумку брата. Он почти машинально запустил в нее руку. Пальцы коснулись чего-то твердого. Оверко Саввич вытащил увесистый узелок, туго перетянутый веревкой. Повертел, рассматривая его с разных сторон, а затем быстро развязал. На старой, видавшей виды тряпочке, цвет которой невозможно было определить, лежала добрая жменя золотых монет вперемешку с кольцами, сережками и другими женскими побрякушками.

— Го-о-споди! — изумился Оверко Саввич, не в силах оторвать глаз от неожиданно свалившегося на него богатства. — Так от чего Иван носился со своим седлом как с писаной торбой... Ач, хитрун какой!

Он воровато огляделся по сторонам и, убедившись, что никто за ним не смотрит, снова завязал узелок. Хотел было положить его на прежнее место, но поколебавшись, бросил себе за пазуху. Решил, что так будет надежнее.

Лишь на шестые сутки они добрались до Гуляйполя. Но долгожданного покоя и отдыха так и не удалось получить. Разведка донесла, что к махновской столице направляются большие силы красных.

— Ше! Задушить? Кончить меня захотели?! — лютовал батька, носясь на костылях из угла в угол комнаты, где заседал штаб. — Со свету сжить решили?!

Немного успокоившись, окинул взглядом штабистов. У Оверка Саввича было такое чувство, словно ножом полоснули по лицу. Он даже поежился. А Махно /как нарочно/ уставился на него и буравил, буравил своими проклятыми очами.

— Може, серед нас есть такие суки, что продать мене желают? — проскрипел каждое слово Махно. Как будто вынимал ржавые гвозди. У Оверка Саввича даже подошвы покрылись потом от страха, а сердце оторвалось и стало медленно сползать куда-то вниз. За все это время Оверко Саввич ни разу не пожалел о том, что связал свою долю с батькой. Ему нравился и сам Махно, и то, что он, говоря о своей любви к селянам, по-настоящему поддерживал и опирался на богатых — кого Оверко Саввич считал законными хозяевами степей Таврии. Лишь совсем недавно, чувствуя за плечами жаркое дыхание смерти, допустил тайную думку — спрятаться, отсидеться со своим богатством, переждать, пока угомонится вся эта канитель. Никому и не заикался об этом, а тут (надо ж случиться!) батька такие слова говорит. «Справжний чертяка! — мелькнуло в голове Оверка Саввича. — Может, думки мои он бачит? Тогда все. Погибель моя пришла». Он с ужасом почувствовал, что неведомая сила приподнимает, толкает его со скамейки, и с огромным трудом удерживал себя, чтобы не грохнуться на колени перед этим маленьким человеком, моля о пощаде.

— Таких тут нема, батька, — послышался мурлыкающий голос Левы Задова. — Хлопцы ж знають, шо за это бывает: мы ж эту падлу так разделаем, шо его вороны будут брезговать кушать...

Глаза Махно, которые только что жгли Прудкосвиста, начали блекнуть и вскоре потухли. Оверко Саввич почувствовал облегчение.

На том совете батька решил не сдаваться. Только тактику изменил. Всю армию он разделил на отряды, которые действовали вроде бы самостоятельно, но о каждом их шаге Махно знал задолго до того, как его собирались сделать.

Одним из отрядов, костяк которого составляли остатки Ивановой сотни, стал командовать Оверко Саввич. Голодным и злым волком метался он по хуторам и селам, расправляясь с советскими активистами и партийцами, подстерегая в степи продотряды, которые по крохам собирали хлеб для республики, сжимаемой костлявой рукою голода почище всякой контрреволюции. Старший Прудкосвист будто расплачивался за свой страх перед батькой, кровавыми делами доказывая ему свою верность. Не один продотрядец остался навеки лежать в степи под застывшим в немом ужасе украинским небом от боли за те черные дела, которые совершались на доброй и ласковой земле. Разная братия слеталась в стаю Оверка Саввича. Но в основном это были зажиточные селяне, готовые за свое добро перегрызть горло отцу родному. Они люто ненавидели всех, кто отважился покуситься на привычные для них порядки и обычаи, которые складывались десятками лет и считались вечными. От дедов-прадедов достались, а им, может, и от самого господа бога. Так что все, что до хаты и в торбу — хорошо, а оттуда — плохо, грех великий, за который карать треба.

И карали. Еще как! Другой раз сам Оверко Саввич, ставший батьком Свистом, холодным потом обливался, думая про себя:

«Господи! Та чи ж люди они, эти мои хлопцы? А может, сам нечистый с нами рядом в образе человеческом верхи скачет? Не зря ж от нас даже кони жахаются.»

Думать-то думал, а только думки свои никому не доверял. Почует братия сомнения или слабость какую, пиши пропало. Нет, пусть лучше они видят в нем силу и сами боятся. Так спокойнее. Поэтому он смеялся, когда жадный до крови Чуб выпускал кишки у пленных продотрядовцев, набивая затем желудки зерном и жирным черноземом. Он одобрительно кивал головой, когда дурноватый поповский сынок, прозванный Грамотеем, шмыгая вечно мокрым и грязным, как у свиньи, носом, крепил к истерзанному телу свою «расписку», нацарапанную пьяными буквами: «Прадразвертку спольнил». Он до скрипа сжимал зубы, чувствуя за спиной горячее дыхание красных конников, которые шли за ними по пятам, не давая остынуть следам от подков, стертых и сбитых на степных дорогах. Казалось, чуть задержись они в том маленьком селе, которое замерло в немом ужасе, пряча и детей, и собак от непрошеных гостей, и будет конец. Но невидимый хранитель спасал батьку Свиста. Он нашептывал ему о близкой беде, заставлял по тревоге поднимать стаю, обрывая ее сатанинские игры и уводя от крадущейся за ним кары.

Однажды они задержались в одном из глухих сел неподалеку от Александровска. То ли красные, запутавшись в кругах и петлях, которые накручивал Оверко Саввич, потеряли их след, то ли сами выдохлись и теперь набирались сил, но только не было их здесь. «Отстали!» — облегченно вздохнув, подумал он и решил дать отдых своим.

— Токо шоб и одна живая душа с села не выслизнула, — наказал Оверко Саввич. — Тебе говорю, Чуб, и хлопцам скажи, нехай с бабами той, аккуратнише. Почую гвалт их курячий — прибью. Пойнял?

— Авжеж! — кивнул головой Чуб, кося глазами на пышнотелую хозяйку хаты, которая ставила на стол сковороду с яичницей. — Усе, як вы казали, у точности спольним.

— Ну, иди вже. Иди! — нахмурился Свист. — Чего блимаешь своими масными? Ниякой у тебе сурьезности. Справжний котяра.

Оверко Саввич, конечно, кривил душой перед Чубом. Хозяйка с самого начала приглянулась ему. Правда, встретила она его, нужно сказать, не очень приветливо, но Оверко Саввич не расстраивался. Он надеялся, что к ночи все переменится. Так не раз бывало. «Не дастся сама — силою возьму», — решил он, наблюдая за полными руками хозяйки, подрагивающими при работе, как сдобное тесто. Ему показалось, что он слышит пьянящий запах ее тела, и от вспыхнувшего желания перехватило дыхание. Оверко Саввич с трудом сдержал себя. В последнее время приходилось покорять женщин только силой. Сам себе становился противен после всего. А тут вдруг захотелось обыкновенной человеческой

ласки, о которой давным-давно забыл. Оверко Саввич решил не торопить события. Справившись с едой, вытер губы и подбородок полотенцем, встал из-за стола и поклонился хозяйке:

— Спасибочки вам. Такой яешеньки сроду не ел. Дай вам бог здоровьячка, серденько.

— Может, еще чего? — зардевшись, робко спросила женщина.

— Господь с вами! — испуганно прижал руки к груди Оверко Саввич. Редкие для последних лет покой и добродушие вселились в него. Окинув глазами хату, отмечая про себя чистоту и аккуратность во всем, повернулся к иконам, широко и размашисто перекрестился, чего давно не делал.

— Выйду подыхаю, — сдерживая волнение, промурлыкал он и накинул на плечи противно отдающий потом кожух.

Серело. Крупные хлопья снега выписывали в тугом и звонком от мороза воздухе причудливые коленца, и было просто удивительно, почему не слышно, как они, падая, барабанят о смерзшуюся землю, выстукивая свою дробь. Оверко Саввич со смаком зевнул и от удовольствия закрыл глаза. Он так и стоял, наслаждаясь ласковыми прикосновениями снежинок, блаженствуя в полной тишине, которая будила в нем воспоминания об ушедшей молодости. «Десь там мой Микита, — подумал с неожиданной теплотой. — Як он? Чи поправился? Ох-хо-хо! Доля ты наша, доля! Куда несешь, куда катишь нас?»

Его размышления прервал цокот копыт. Ехали трое. Оверко Саввич отчетливо слышал сиплый голос Чуба и чей-то быстрый говорок, показавшийся ему знакомым. «Микита! — встрепенулся он. — Невжели Микита?!» С радостно бьющимся сердцем он поспешил навстречу верховым. Но едва взглянул на них, как вспыхнувшая вдруг теплота радости стала стынуть, уступая место злости на Чуба и его спутников, которые испортили ему настроение.

— Ось, гостя до вас привел, — просипел Чуб, криво улыбаясь. — От батьки...

— Бачу, — буркнул Оверко Саввич и, обращаясь к знакомому молодому хлопцу, который обычно привозил приказы Махно, добавил:

— Проходь до хаты.

Пропустив связного вперед, он повернулся к Чубу с Грамотеем, сказав:

— Зачекайте тут трохи.

— Казали батько, щоб сегодня опивночи вы с хлопцами были коло моста, шо за Александровском. Поезд стречайте.

— Тю! — вскинулся Оверко Саввич. — Так мы з ж того моста позавчера рванули так, шо аж в Харкове подстрибнули.

— У Харкове, може, и було про то чуть, а в Александровску не дуже. Сегодня поезд комиссарский сбирается бегти як раз до того мосту.

— Так треба перехопить?

— Та не. Хай себе катится.

— А хиба они там у Александровску совсем дурные, шоб туда поезд гнать? Чи ж они не знают про той мост?

— Наши люди зроблять так, шо не будут про то знать, кому не треба.

— Ага. Теперь пойнял.

— Значит, як упадет той поезд, вы з хлопцами зразу и рушайте до него. Там у вагонах комиссары золото везут.

— Та-а-ак!

— Возьмете его и гайда на Софиевку. Батько вас стренет. Токо казали батько, шоб, боронь боже, хтось с хлопцев чогось себе не потяг.

— А мы им про золото и говорить не будем. Скажем — зброя у ящиках. Так и передай батьку.

— Ну, вам збираться пора. Та й и мне час рушать.

— С богом.

— И вам хай щастить.

Подняв по тревоге недовольно сопящую братию, Оверко Саввич вел ее хорошо знакомыми степными шляхами. Он торопился, боясь, что в пути могут быть снежные заносы. Но опасался напрасно. Дорога была лишь слегка припорошена снежком, и отдохнувшие кони бежали легко и быстро.

У взорванного моста они были задолго до назначенного времени. Пока ждали поезд, успели порядком промерзнуть, и до слуха Оверка Саввича то и дело доносились матюки злых, как цепные псы, хлопцев. Да и сам он был, как черт, которого нечистая сила иного пола выманила прогуляться в непогоду, а потом вдруг взяла и спряталась, посмеиваясь над тем, как хлещет его по щекам колючий ветер и жалят надоедливые снежные пчелы. «А шоб тебя так трясло всю жизнь, как меня зараз! — кастрычил он про себя Махно. — Батька! Чуешь? Та какой же ты батько, когда живых людей у такую погибель посылаешь. Поганый хозяин собаку за порог не выпустит у эту пору. Ей-бо, не выпустит! За шо ж нам отакое мучение? Хай ты сказишься из своим поездом. Он у хлопцев уже не разберешь чи то вуса, чи сопляки аж до самых плеч понамерзали. А кони? Чи ж они виноваты, шо нас носит по белому свету нелегкая? Вишня — уже с лошонком бегает. Ее поберечь треба. А как? Где ее поденешь? Хата родная совсем недалечко. Только как до нее добраться?» Оверко Саввич вздохнул. Стараясь согреть коченеющие руки, снял рукавицы и стал хукать на задубевшие пальцы. «И дули як след не скрутишь, -вспомнил он обидное прозвище. — И чего ото люди дурницами займаються? На якого беса клички дають один одному? Ну, от меня, чуешь, Дулей обзывали. У очи ни-ни, а так, за спиною. Теперича усе Свистом зовуть. И привык. Откликаюсь на того Свиста, будь он неладный. Навроде кобелюка какой. А хиба мы краще собак? Токо собака и костомахой довольна, а нам усе мало. Гребем под себя тряпки уся-

кие, каменьца, золото... Золото... Хм. Золото. Это ж хлопцы не знают, що у том поезде. Сказать им чи не сказать? Нестор Иванович чекает на него дуже. Мабуть, знов десь закопает, як того раза у Дибровском лесу...»

Оверко Саввич поежился, вспомнив, как несколько месяцев назад ездил батька в Дибровский лес свое богатство прятать. Говорили, много у него всякой всячины собралось. Еще бы! Закон такой у них — все лучшее в батькину казну. Поймают кого, кто затаить что надумает, считай — пропал. Скажут, у революции украл.

Говорят, тогда десяток хлопцев поехали с ним, а назад только четверо вернулись. Вроде на разъезд красных нарвались. А может, сами «покрали» тех хлопцев, и дело с концом. Кто ж признается. «Да-а-а! Запасливый Нестор Иванович! — с недоброй завистью подумал Прудкосвист. — На черный день откладывает. А може, и себе так? Заграбастаем золотишко и — гайда. Токо... токо ж найдет ота патлатая гадюка. С-под самой земли достанет и прибьет. Как пить дать, прибьет. А перед тем тот клятый Лева со спины твоей ременюк нарежет, шо черту станет гидко и страшно. Нее—е. Краще вже хай будет как будет...»

Издалека послышался похожий на детский плач гудок паровоза.

— А ну, по местам! — бросил привычно Оверко Саввич. Братия торопливо выстроилась полукольцом в двухстах метрах от зияющего в мертвенно-бледном лунном свете провала с уткнувшейся в землю фермой. Выскочив из-за поворота, паровоз лениво, будто спросонок лизнул перед собой слабым лучом фонаря и даже не сбавил скорости. Заметив наконец опасность, машинист попытался остановить поезд. Оверко Саввич слышал, как завизжали тормоза, вгрызаясь в рельсы, но железная громада продолжала неудержимо нестись вперед. Споткнувшись на полном ходу, паровоз клюнул носом и повалился вниз, увлекая за собой вагоны. Вначале стоял сплошной грохот, перемежаемый скрежетом ломающегося и гнущегося железа. Потом все стихло, и из темноты, перекрывая тяжелые всхлипы поверженного паровоза, послышались стоны раненых.

— Ну, хлопцы, поможем комиссарам и жидам заспокоиться та посмотрим, шо они там везли! — противным самому себе, каким-то фальшивым голосом крикнул Оверко Саввич. — Па-а-шел!

Орлик, на котором он ездил уже несколько дней, успел сделать всего пять-шесть шагов, когда со стороны лежащей груды вагонов послышались хлопки выстрелов. Вначале редкие, нерешительные. Потом к ним добавился стук пулемета. Его очередь врезалась в самую гущу атакующих, сбивая передних, валя их под копыта несущихся следом. Свинцовый дождь прошелся по сгрудившейся братии раз, потом еще и еще раз.

— А-а-а! — дико заорал Грамотей. — На-а-зад!

Он вырвался из общей массы и, пришпорив коня, рванулся в степь.

— Стой, мать твою...! — рявкнул Оверко Саввич. — Стой, падлюка губатая! Стой.

Он выхватил маузер и трижды выстрелил, стараясь поймать на прыгающую мушку кожух Грамотея.

— Постреляю, падлюки. Усем спешиться! Ложись! — Они несколько раз пытались подойти к вагонам, но свинец пулемета, за которым лежал, видно, опытный стрелок, снова и снова бросал их на снег. Поняв, что прямо в лоб ничего не добиться, Оверко Саввич послал Чуба с тремя хлопцами в обход. Но те, едва перебравшись через насыпь, вскоре прибежали назад.

— Тикаймо, Свисте! — тяжело дыша, выпалил Чуб. — Там червоные скачут. Тикаймо швыдше!

— Брешешь! — схватил его за воротник кожуха Оверко Саввич. — Брешешь, падлюка! Злякался, стерво!? Кажи, злякався? Застрелю!

— Стреляй, Свист! — рванулся к нему Чуб. — Ты чи большевики — все одно помирать. Стреляй!

Оверко Саввич и сам понимал, что напал зря: Чуб говорил правду.

— По конях! — гаркнул, оттолкнув от себя Чуба. — Будем отходить.

Оставив на снегу большую половину отряда, Оверко Саввич увел остальных. Перед самым рассветом они добрались до Андреевки...

— Ты чего? — сонно проворчал Никита, стараясь дотянуться рукой до поднявшейся с кровати Марийки. — Чего встала?

— Хтось стукает.

— Де? Хто?

— Та в окно. Хиба не чуешь?

Никита прислушался. Действительно, кто-то не сильно, но настойчиво стучал в окно. Стряхнув остатки сна, он сунул ноги в стоящие возле кровати валенки и осторожно подошел к окну. Отодвинув уголок занавески, выглянул. Сквозь грязно-серую пелену едва пробудившегося рассвета с трудом разглядел фигуру мужчины.

— Господи Исусе! — испуганно отпрянул от окна. — Батько!

— Ой, мамочки! — зашлепала по полу босыми ногами Марийка.

— Шо ж робить? Шо робить? Сховай же! Сховай кудысь меня.

— Цыть! — прикрикнул на нее, немного приходя в себя Никита.

— Нема чого бояться нам. Накинь токо шо-нибудь на себя.

Все еще испытывая колотившую его дрожь, Никита направился к двери.

— Шо, сынок? — гуднул Оверко Саввич, заполняя своим голосом всю хату. — Заворковались? Уже и батька родного пускать не хочешь?

— Та рази ж я знал про то? — Никита покосился на Марийку, которая успела накинуть платье и теперь стояла в углу, опустив глаза. — Я и не думал, шо сегодня повернетесь вы. Не думал...

— Ладно уже тебе, — махнул рукой Оверко Саввич, окидывая цепким взглядом хату. — И я не думал, а от бачиш... Значить, побрались-таки? Без батькового благословения?

— Та мы...

— Ладно. Хай уже будет, как вышло. Може, и не нужно оно, то самое благословение. Нема часу про то говорить. Нема. Живите, как знаете.

Оверко Саввич тяжело опустился на лавку под образами и, прикрыв глаза, некоторое время сидел молча.

— Може, поснидаете? — подала голос Марийка.

Оверко Саввич удивленно поднял бровь и глянул на Марийку долгим изучающим взглядом. Будто чувствуя прикосновение этого тяжелого, давящего взгляда, Марийка вся сжалась.

— Ач! Ач, какая стала! — усмехнулся Оверко Саввич, не отводя от Марийки взгляда. — Красуня. И де еще тая весна, а ты уже начебто квитка распустилась. Смотри за ней, Микитка. Ой, смотри! Бо до такой очи сами липнут. Та-а-к! Ну, добре. Сготов шо-нибудь перекусить, а мы с Микитой выйдем. Побалакаем трохи.

Он поднялся и, опустив голову, набычившись, двинулся к двери. Сунув руки в кожух и нахлобучив на голову шапку, Никита последовал за отцом. У конюшни Оверко Саввич остановился.

— Собаки не бачу, — буркнул недовольно, не поворачивая головы.

— А нашо он, той собака? Только ест та брешет.

— Не брешет, а тебе дурню говорит, шоб за добром глядел. Пойнял?

— Пойнял.

— А раз так, то зразу ж и заведи.

— Добре.

Они зашли в конюшню, где рядом с Германом стояли еще двое лошадей.

— Вишня! Хорошая ты моя! — обрадовался Никита. — И Орлик тут! А де ж дядько Иван?

— Нема Ивана...

— Где?..

— В Крыму... А де и сам не знаю. Орлик один прибег. Помолчали, слушая, как пофыркивают лошади.

— Ну, от шо, — вздохнув, нарушил молчание Оверко Саввич. — Оставляю тебе Вишню. Лоша у нее будет. Береги ее. Чуешь? И ось тебе гроши.

— Та у нас же есть, — попытался возразить Никита.

— Мовчи! — с прежней суровостью цыкнул на него отец. — Сам знаю, шо роблю. Бери. Хозяйство держи. Повернусь, ще знайду... Я знаю, де шукать... Один знаю. Так шо чекай батька. Пойнял?

— Угу.

— От и добре. Теперь корми, бо час рушать.

— Так вы ж и не отдохнули с дороги.

— Э-э-э! Хиба до того? Ледве червоных с хвоста скинул. Думал, конец настал. Та бог миловал.

Наскоро поев, Оверко Саввич торопливо простился.

— Хозяйнуйте! — бросил от порога.

Утро медленно, как бы нехотя, сонно вползало в село. Рассвет едва пробился до Казацкой могилы, а переступить ее так и не смог. Грязно-серая пелена весь день висела над хатами, которые пугливо жались к земле, покрытой толстым слоем снега. К обеду в село вступил полк красных конников.

— Ой, Микита! То ж Петрусь наш идет! — всплеснула руками Марийка и метнулась к двери.

— Зачекай трошки! — остановил ее Никита. — Ты от шо... Той... Про батька Петру не вздумай сказать.

Марийка открыла рот, растерянно заморгала и, так ничего ему не ответив, выскочила на улицу. Опершись спиной о стенку и прикрыв глаза, Никита слышал, как всхлипывала она, здороваясь с братом, как успокаивал ее знакомый, слегка надтреснутый басок.

— Ну чего? Чего ж ты, дурненькая? Заспокойся... Заспокойся, сестричка моя дорогая.

Никите совсем не хотелось встречаться с Петром, но он хорошо понимал, что этого не избежать. В душе впервые шевельнулось недоброе чувство к Марийке. «Ишь расхнюпалась, стерва! — зло подумал он. — Видно, плохо ей тут. Не нравится. Не хватало. чтобы Петро подумал, что я ее обижаю». Он слышал, как скрипел снег под ногами Марийки и Петра, как гулко отзванивала каждая ступенька, когда они поднимались на крыльцо, но так и не сдвинулся с места.

— Микитушка! — влетела в хату Марийка, одновременно смеясь и плача. — Поглянь, кто приехал. Это ж Петрусь! Братик мой родненький.

Усилием воли Никита заставил себя улыбнуться и поднял руку, приветствуя гостя.

— Ну, здравствуй, зятек, — комкая в руках островерхую шапку, произнес Петро.

— Здоров, — ответил Никита и, дерзко, с вызовом глядя в глаза гостю, двинулся ему навстречу. Не отводя взгляда, он поздоровался с Петром, стараясь как можно крепче сжать его руку. Решил, что будет вести себя, как настоящий хозяин, свободно и независимо, и даст это почувствовать Петру.

— Вот оно как, значит, выходит, — обронил Петро, внимательно разглядывая зятя. «Чего это он меня щупает своими синими буркалами. Вроде я баба какая, — недовольно подумал Никита и уже хотел сказать об этом Петру, как вдруг его бросило в жар. — А что если Марийка не послушала меня и успела шепнуть ему про батька?» Чувствуя, как пот выступил на ладонях, он торопливо выдернул руку.

— Та и то ж это... Шо ж мы стоим?! — каким-то не своим голосом, натянутым, как согнутая до предела ветка, вскрикнул он и отвернулся, делая вид, что ищет, куда бы получше усадить дорогого гостя.

Схватив висевший на гвоздике рушник, Никита принялся изо всех сил тереть широкую лавку, что стояла вдоль стены. Будто хотел в ее гладкую поверхность вдавить весь свой страх, все сомнения, которые рвали на куски его душу.

— Ось... Ось сюда садись, — наконец отшвырнул рушник и искоса глянул на Петра. Тот стоял в прежней позе. Только загнутое кверху полуколечко сметанно-белого уса слегка подрагивало вместе с уголками верхней губы.

— Погодь, Микита, — остановил его Петро. — Ты сперва скажи, кто ты такой есть для меня?

— Ты шо, Петро?! — попробовал увернуться Никита. — Сам же сказал, зять. А то шо невенчанные мы, так это в момент справим. У нас же в Андреевке и доси батюшки нема...

— Не в батюшке дело, зятек! Ты скажи, якому богу молишься. Тогда и попа шукать будем.

— Один у нас бог...

— Ой, неправда твоя! Мои хоругвы червоного колера, бо от крови людской, честных трударей. Тех, шо всю жизнь горба гнули на панов и буржуев. А твои черные, как души ваши махновские.

— Я давно ушел от Махна.

— Знаю. А батько? Батько твой где? Не он ночью разом со своими бандюгами черной гадюкою ползал тут?

Никита бросил косяк на Марийку, которая застыла у порога, испуганно прикрыв ладошкой рот. «Неужели сказала-таки?» — сверлила голову мысль, а в душу закрадывалось, вползало подозрение. Марийка, совсем недавно самая близкая и желанная, теперь как бы отдалилась, стала единым целым с ненавистным Петром, от которого зависела жизнь Никиты.

— Не знаю, — сглотнул он комом застрявшую в горле липкую слюну. — Я за батька не в ответе.

— Ничего, — играя желваками, продолжал сверлить его потемневшими от гнева глазами Петро. — Советская власть найдет виноватых. И тех, кто поезд под откос кинул, и тех, кто активистов на воротах сельрады вешал, кто животы продотрядовцам резал и детей голодных сиротил. За все она, наша родная народная власть спросит. А только скажу тебе, Микита, и тебе, сестричка моя дорогая, шо у этой бандитской хате ноги моей больше не будет. Живите, как знаете.

— Братику! — Марийка бросилась к Петру. Но тот отстранил ее рукой и, наклонив голову, почти бегом выскочил со двора. Сестра метнулась вслед за ним.

Никита долго стоял неподвижно, сжав зубы и прикрыв глаза. Установившуюся плотную тишину нарушала только снежная кру-

па, которая назойливой мошкарой билась в окно, да противное поскрипывание неприкрытой двери, что сопротивлялась напору стужи. «Эт, стерва», — немного приходя в себя, ругнулся Никита. — Совсем хата выстынет». Он решил, что обязательно отругает Марийку и, взвинчивая себя, стал мерять шагами комнату, поглядывая в окно. Но она все не шла. Основательно продрогнув, он не выдержал и сам прикрыл дверь. Накинул кожух на плечи и, зябко кутаясь в мягкий ворот, присел на лавку у окна. «А вдруг она совсем не придет? — екнуло сердце. — Возьмет и бросит меня...» На душе было скверно. Надвигающийся вечер заползал сквозь потускневшие стекла в хату, заполняя ее плотной и липкой теменью. Никите показалось, что и сам он тонет, растворяется в этой черноте. Стало страшно, и он выставив перед собой подрагивающие от волнения руки, словно надеясь заслониться ими от окружающей его со всех сторон неизвестности, полной необъяснимого ужаса, выскочил во двор. Холодный ветер больно хлестнул по лицу колючим снегом, ослепив на мгновение. Никита зажмурился. Когда же снова открыл глаза, то сразу увидел Марийку. Она стояла, прислонившись к столбу ворот. «Вернулась!» — обрадовался Никита, но злость за пережитый страх пересилила радость.

— Чего стоишь, как сирота?

Марийка жалобно всхлипнула.

— Ага! Ага! Поплачь, может, кто пожалеет несчастную. Попривыкали, шоб вас усе жалели: ах вы бедненькие, нема кому согреть вас, нема кому пригорнуть. Пройшло уже тое время...

Он старался найти слова пообиднее, сделать ей побольнее.

— Чего на люди вылезла, стерва?! Шоб братик твой почул, как ты убиваешься? Шоб усе знали, как тебе погано? Кричи, кричи, мать твою... — Поняв, что никто, кроме ветра, его не слышит, Никита затих. Молчала и Марийка, продолжая стоять в той же позе. Вобрав голову в плечи, он сделал к ней несколько шагов.

— Чего стоишь, кажу? Иди в хату.

Оторвавшись от столба. Марийка медленно побрела по улице, потом свернула к своей хате.

— Мария! — прохрипел он яростно. — Стой! Чуешь, кажу, стой...

Но она даже не обернулась.

После того Никита всего дважды видел Марийку. Первый раз, когда провожала она Петра, уходившего с полком из села. Заметив их со своего порога, Никита поспешно скрылся в хате, сердито хлопнув дверью. Потом они нос к носу столкнулись с Марийкой, поднимавшейся от Днепра с ворохом лозы для топки. Никита успел заметить, как огонек радости вспыхнул в ее глазах и тут же исчез, прикрытый сомкнувшимися сабельками ресниц.

— Добрый вечер, Микито Оверковичу, — тихо обронила она. Первым желанием Никиты было подбежать к Марийке и прижаться к ней, как раньше, нашептывая ласковые слова: «Здравствуй, серденько мое, горличка моя сизокрылая, единая у целом

свете!». Но он только криво усмехнулся и прошел мимо. Будто то была вовсе не она, его Марийка, а бесчувственно спавшее взимку дерево или давно омертвевший столб.

По вечерам Никита подолгу стоял во дворе, с тоской глядя на бледно-желтый огонек каганца, что светился в оконце ее хаты. Хотелось плакать от обиды на свое одиночество. Кому об этом скажешь? С кем поделишься? Не с дурноватым же батраком Семеном, который днюет и ночует на конюшне? Да для него лошади и свиньи, наверное, ближе и понятнее, чем любой из людей. Ходит себе вокруг Вишни, холит ее, лелеет. Лучший корм — ей, воду — тоже перво-наперво ей. И говорит, говорит с ней, что с живым человеком. А услышит, что не один он, враз замолкает и только сопит сердито. С соседями другими тоже не разговоришься. Не любят его на селе. Стороной обходят. Почему? Вроде раньше этого не было. Или просто не замечал?

А прозвище обидное — забыл? Отец говорил: «Завидуют нашему богатству, потому и дразнятся.» Так то ж деду Савве, потом отцу завидовали. Им было чего завидовать. Было да сплыло. На конюшне только брюхатая Вишня и ленивый Герман, а в свинарнике — шестеро поросят. Правда, есть у него деньги: и золотые, и серебряные. Только никто из соседей про то не знает. Затихнет эта буря, угомонятся люди, и тогда он покажет себя. И коней прикупит, и свиней, сколько нужно, заведет, и мельницу поставит. Заживут они с батьком, когда тот вернется. А если не вернется? Ну, что ж, и тогда не пропадет. Вот только нужно как следует поискать то богатство, о котором говорил отец. Он, чертяка упрямый, так и не сказал ему, где спрятал. Ну, ничего. Пока хватит и того, что есть. А там видно будет. И Марийка вернется. Сама ж говорила, что, кажись, дитя у них будет. Пусть подуется. Долго не выдержит. Прибежит, как миленькая.

Но время шло, а Марийка, похоже, и не думала возвращаться. Последние несколько дней Никита вообще ее не видел. Оконце, которое раньше светилось бледно-желтым пятном, сохраняя надежду на примирение, потухло и оставалось неприветливо темным. «Неужели ушла? — тоскливо думал, не решаясь приблизиться к хате Задорожних. Ведь как было у нас хорошо. Жили себе тихо-мирно, лучше и не надо. Так на ж тебе! Пришел скаженый собака, Петро этот, все порушил. А шоб тебе! Свет ему, бач, не понравился. Перевернуть, переделать захотелось. Шоб тебя в могиле чорты ворочали...» К Марийке уже не было злости. О ней думалось, как о бедной, несчастной, которая страдает, мучается вместе с ним. Сидит там в своей нетопленой хате холодная и голодная. Может, и корочки хлеба у нее нет. Или хвороба какая приключилась. Люди сейчас от голода и хвороб мрут, как мухи.

«Схожу все же проведаю, — наконец решился он. — Она ж меня выходила, на ноги поставила». Довольный принятым решением, он оделся и, боясь передумать, выскочил из хаты. Вскоре стоял у обвалившегося заборчика Задорожних. Не открывая ка-

литки, переступил во двор и, проваливаясь в глубокий снег, направился к оконцу. Чувствуя, как его колотит озноб, постучал по стеклу плохо гнущимся пальцем и замер. Вот сейчас, сейчас колыхнется занавеска, и он услышит ее голос. Никита немного подождал, а потом постучал сильнее еще и еще раз. Но никто не ответил. С гулко бьющимся сердцем он бросился к двери. Толкнул ее и вошел в хату, дохнувшую на него холодом и пустотой.

— Марийка! — сдавленным голосом позвал он. — Чуешь? Ты тут, Марийка?

Никита окинул тоскливым взглядом пустую хату, из которой успел выветриться жилой дух, и бессильно опустился на жалобно скрипнувшую под ним скамейку.

— Эх, Марийка, Марийка! Что же ты... Что же мы наделали? — прошептал и, закрыв лицо ладонями, заплакал.

8

Волны Черного моря слизывали последние следы белой гвардии, разгромленной в боях, но оставшейся верной присяге. Народ праздновал победу и, ликуя, не замечал, что разгулявшаяся революция приступила к пожиранию собственных детей. По приказу РВС из Крыма был отозван Филипп Миронов. Накануне командарм Второй конной обратился с гневным письмом к главе Советского правительства, в котором резко протестовал против огульного применения репрессивных мер к донскому казачеству. Путь в столицу командарма пролег через родные края; здесь он хотел сам разобраться в обстановке. Героя гражданской войны, прибывшего на Дон с молодой красавицей женой, встречали торжественно и пышно. В его честь земляки организовали парад Михайловского гарнизона. Игристое донское вино лилось рекой. Кажется, впервые за последние годы спокойным сном уснул Филипп Козьмич.

Но страшным было его пробуждение. Мутным, ничего не понимающим взглядом обводил он незнакомых людей, перепуганное лицо жены, пытающейся протиснуться к нему, и белый листок бумаги, уткнувшись в который старший из чекистов считывал беспощадные слова ордера на арест. Не помня себя, рванулся Миронов навстречу своей Надежде, и тот же миг что-то тяжелое обрушилось на его буйную голову. Очнулся в каземате Бутырской тюрьмы — той же, в которой некогда томился бунтарь с левобережного Приднепровья Нестор Махно, приговоренный царским судом к смертной казни. Миронов готов был взорвать свою темницу, грызть ее зубами, но немые камни крепко держали донского казака. Отчаявшись вырваться на волю, Миронов объявил голодовку. В короткие минуты прогулок он с тоской всматривался в сереющую над ним полоску неба, надеясь увидеть хотя бы птицу, весточку с воли. Но птицы, будто нарочно, облетали стороной это мрачное место.

Апрельским утром его, разуверившегося во всем, измученного, в очередной раз вывели в тюремный дворик на прогулку. Вывели одного. Ласковое весеннее солнце обняло узника теплыми, как материнские руки, лучами.

«Господи! — подумал Миронов, чуть замедлив шаг и прикрыв глаза. — Хо-рошо-то как! Будто дома...»

В тот же миг раздался выстрел часового. Как тогда говорили, «случайный». Пуля угодила почему-то прямо в сердце...

А в то же время бунтарская душа Нестора Махно носила его украинскими шляхами. На первый взгляд казалось, что батька просто мечется из стороны в сторону, стараясь вырваться из железных тисков, в которые зажали его брошенные на азартную охоту красноармейские части. С середины января 1921 года буквально по пя-

там махновцев двигался летучий корпус Нестеровича. Его бойцы в сутки проходили по 80 верст, отдыхая три — четыре часа. За месяц копыта коней отстучали почти полторы тысячи верст. Казалось, еще немного, и батька со своими чертовыми сыночками затрепещет в искусно расставленных для него сетях. Но он всякий раз выскальзывал, оставляя с носом, продолжая дурачить покрывших себя славой в боях с белогвардейцами красных полководцев, вызывая возмущение вождей победившей революции.

6 февраля 1921 года В. И. Ленин направил заместителю председателя РВС полную гнева записку:

«Т. Склянский!

Прилагаю еще одно «предупреждение».

Наше военное командование позорно провалилось, выпустив Махно (несмотря на гигантский перевес и строгие приказы поймать), и теперь еще более позорно проваливается, не умея раздавить горсток бандитов.

Закажите мне краткий доклад Главкома (с краткой схемой размещения банд и войск) о том, что делается.

Как используется вполне надежная конница?

— бронепоезда? (Рационально ли они размещены? Не курсируют ли зря, отнимая хлеб?)

— броневики?

— аэропланы?

Как и сколько их используется?

И хлеб и дрова, все гибнет из-за банд, а мы имеем миллионную армию. Надо подтянуть главкома изо всех сил.

Ленин».

Уставший от бешеной, а главное бесполезной по сути, скачки, корпус Нестеровича был заменен другими частями. Среди них оказалась и сотня Петра Задорожнего.

Носясь за неуловимым батькой, Петро во время коротких стоянок видел исхудавшие хмурые лица селян, голодные глазенки детей, жадно глядящие на небогатый харч, который выкладывали из своих мешков бойцы, и в груди его клокотала злость. Во всех людских бедах он винил гуляйпольского батьку.

— В самом деле, — говорил он бойцам, — хиба б ото мы з вами гасали счас по степах, абы не батька з его сыночками-бандитами? Та мы давно б порались коло земли, коло худобы. И детям було б шо поесть. И хлеба уволю, и до хлеба.

В глубине души Петро сознавал, что не за все следует винить батьку, но старался гнать эту мысль, убеждая себя: «Не он виноват? А кто же? Да покорись Махно с самого начала Советской власти, от беляков два года назад только б перья полетели. Уже наверняка коммунизм построили бы... Может, не совсем, не до конца, а все же порядочную часть работы успели бы сделать». Он, Петро, пока плохо себе представляет, что такое коммунизм. Но знает твердо, что при нем будет хорошо и рабочим, и крестьянам, всем

трудящимся. Хорошим и честным людям, а значит, и им с Марийкой и Катей. Марийка... Единственная родная душа на целом свете. А ведь говорила бабуся, что был их род когда-то большим и славным. Ходили его предки с Богданом ляхов воевать и на Хортицу, и под Желтые Воды. Тлеют их казацкие косточки и под Берестечком, где предали и обдурили Хмеля проклятые татары. И вот теперь след его так обидно может затеряться. Может! И не имеет значения, что Марийка с Никитой живут и дети у них родятся. То уже не Задорожних, а совсем другие корни будут — Прудкосвистовские, Дулины.

— А бодай тоби! — сердится Петро. — Та чи ж думав я, шо отак все повернется? Шо родненькая сестричка з ворогом моим под одним одеялом греться будет...

В том, что Никита враг ему, Петро ни минуты не сомневался. И причиной тому были многочисленные примеры коварства и предательства махновцев. Сколько раз, попадая в плен к красным, они клялись, что навеки порвали с бандитским прошлым и трижды прокляли батьку, обещавшего им какую-то социальную революцию и безграничную сладкую волю. А при первой возможности были рады переметнуться к нему опять. Ведь знают, что за измену карает батька смертью лютою. Знают, а все равно возвращаются. Больше, чем в плен сдаются. Говорят, чортов батька специальное задание своим хлопцам дает, чтобы они понарошку в плен сдавались и потом в красных частях агитацию вели: «Так мол и так, Нестор Иванович воюет только с комиссарами и большевиками. Против рядовых бойцов и вообще трудящихся он ничего не имеет. Кто к нему приходит, тот и гроши получает, ест и пьет не так, как у красных, и воли от пуза имеет. Батька и в самом деле несколько раз пленных красноармейцев отпускал с миром. Никитка от него, говорит, ушел. А чи можно ему верить? Ушел, а сам тихонько выведывает, где там красные, сколько их и что делают, чтобы потом батьке передать или кому-нибудь из его дружков. И в семью он их бедняцкую залез неслучайно».

Когда Петро, заскочив в родную хату, застал ее пустой и холодной, что-то оборвалось в его груди. Картины, одна страшнее другой, представились ему: то его дорогую сестричку тащат на расстрел, то издевается над беззащитной девушкой махновский бандюга, мстя за брата — красного командира и еще вдобавок чекиста, то... Да мало чего пронеслось тогда в его разгоряченной голове. К Прудкосвистам шел без всякой надежды и даже со злостью. Думал: «А чи не соседушки паскудные из свету сжили Марийку? Чи не Дулины поганые руки хату нашу выхолонулы?»

Когда ж увидел ее живую-здоровую, радостно бегущую ему навстречу, глазам не поверил. Машинально шел за нею следом. Как в тумане, слушал слова Никиты, что живут они с Марийкой как муж с женой. И каждое его слово отзывалось горечью: «Все пропало! Нема у меня сестрички. Нема Марийки!» Похоронил он тогда ее для себя.

Думал, навсегда. Но не так-то просто отказаться от единственной сестренки. В последнее время все чаще стала она являться Петру во сне. Стоит на коленях, плачет горючими слезами, рученьки к нему тянет и просит: «Петрику, братику, рятуй мене, мою бидну головоньку». С чего бы это? Хоть и стыдно ему, члену партии, самому себе признаться, а только верить стал во сны и приметы разные. Он должен помочь сестренке. Защитить ее. От кого? Ну, от Никиты же, наверное. Видать, обижает ее махнюка поганый. Да и не может быть по-другому у этих бандюг. Какой бы хороший ни был человек, а побывав с ними, будто перерождается.

Взять того же Левку. Говорил Петру Ломов, что специально Левку к батьке послали: задание дали. Так и он думал. Вон тогда под Янчекраком Левка от смерти, можно сказать, его спас. Но все равно нет ему веры у Петра. Если свой он человек, то почему же красные никак батьку поймать не могут? Почему махновцы удирают из-под самого носа? Кажется, все известно про батьку: и куда направляется, и где на отдых собирается стать, и даже в какой хате ночевать будет. Приходи и бери голыми руками. Но не тут-то было. Следы его и вправду находят, а вот где следы теряются, никак понять не могут. Вот и пойми, на кого работает Задов. Да что Задов? А Катя, его воробышек? Его ли еще? Помнит ли хоть о нем?

— Товарищ командир! — трясет его за плечо боец. — Товарищ командир!..

— Чего тебе? — хмурит брови Петро, с трудом возвращаясь к действительности.

— Командир полка кличет.

— Иду, — вскакивает со скамьи Петро, поправляя на ходу ремень.

... В хате, где расположился штаб, серо от табачного дыма. Командиры, сгрудившиеся вокруг стола, едва различимы. Каждый сосет свою «козью ножку» и раз за разом пускает дым, будто прячась от соседей.

— Заходь, заходь, товарищ Задорожний, — стараясь раздвинуть рукой клубы дыма, приглашает командир полка. Сощурившись, он окидывает собравшихся взглядом.

— Кажись, все тут. Будем начинать, товарищи. Тут вот какая штукенция получается. Бандитский батька, который завсегда был и есть теперь лютейший ворог нашей дорогой Советской власти, нас долго водил за нос, заметаючи свои паскудные следы, как хитрый лис. Разведка установила, шо он не просто скачет абы куда, из стороны в сторону. У него есть свои села, где дружки собирают для него оружие, провизию, а главное — свежих лошадей, создают такие депо.

— Навроде паровозных? — подал голос Петро.

— Во-во! Только конские. Мечется батька, накручивает версты, а в депо все одно забегает. Поменяет коней, и на свежих — дальше. Зараз он десь тут недалечко гасает: в селе Новоспасовка как раз и находится одно из таких депо. От так. А раз так, то нам с

вами, товарищи красные командиры, и задача соответственно поставлена комдивом: будь шо, а бандитского батьку Махна перехватить тут и уничтожить. Ясно?

— Ясно! — загудели командиры. Чего там! Только бы вышел на нас бандюга. Не выпустим.

— Ну, шо ж. Раз ясно, получайте задания у начальника штаба и — по местам. Глядеть в оба!

...Командир полка был недалек от истины. 14 марта махновцы неожиданно столкнулись с отрядом красных конников. Схватка была короткой, но шальная пуля в очередной раз ужалила батьку.

— За-а р-р-аза! — сцепив зубы, выругался Нестор Иванович, отвалившись от пулемета.

— Батька, ты шо? — кинулся к нему Лева. — Ранен?

— Пошли, пошли, хлопцы! — махнул рукой Махно. — Красные на хвосте.

Кони, как будто чуя опасность, которая угрожала седокам, мчали тачанку с такой скоростью, что временами казалось: колеса вот-вот оторвутся от земли... Двенадцать верст смерть гналась за батькой. Истекая кровью, он лежал, свернувшись калачиком на дне грохочущей тачанки. Лева не заметил, когда им удалось оторваться от красных. Почувствовал это, лишь уловив перемену в звуках: привычный дробный стук копыт и жалобное повизгивание колес — вместо сплошного пугающего гула погони. Тачанка свернула к посадке и остановилась.

— Фу-у-у! — с трудом оторвав руки от пулемета, выдохнул Лева. — Ушли-таки. Слышь, Нестор Иванович?

Махно не ответил.

— Батька! — крикнул Лева. — Ты что? Слышишь? Он кинулся к Махно, стараясь приподнять его со дна тачанки, но тут же отдернул руку. Рука была красной от крови.

— Нестор? Не-не-стор Иванович! — прошептал он. — Что же ты?

Махно слабо застонал.

— Гос-по-ди! — вытирая фуражкой пот со лба, вскрикнул Лева. — Живой!

— Та живой, живой... — откликнулся Махно, пытаясь подняться.

— Лежи, лежи! Сейчас я тебя перевяжу...

Поздним вечером махновские командиры собрались в условленном месте у постели раненого батьки.

— От шо, хлопцы, — тихо звучал его голос. — Мне все понятно. Красные решили загонять нас по степи, как того зайца. Замотать, а тогда кончить совсем.

— Шо ж робыть, батька? — прогудел Оверко Саввич.

— Шо? Разделиться треба и рвануть у разные стороны. Нехай шукають.

Было принято решение отправить один отряд в Дибровку, второй — в район Юзовки, а третий, в котором оставался штаб и реввоенсовет повстанцев, двинуть в Новоспасовку, где батьку уже давно ждали.

... 17 марта отряд под командованием одного из батькиных любимцев Петренко приближался к Новоспасовке. Перед тем, как войти в село, остановились в балочке и выслали разведку.

— Вроде спокойно, — доложили Леве вернувшиеся вскоре разведчики.

— Шось дуже скоро вы, — проворчал недоверчиво Махно, зябко кутаясь в бурку.

— Хорошо смотрели? — хмуря брови, уточнил Лева.

— А як же, Лев Миколаевич! — изумился Оверко Саввич. — Мы ж усе понимаем.

— Тогда трогаем, — скомандовал Петренко.

Отряд неторопливо стал выбираться из балочки. Едва выехали на бугор, как заметили группу всадников, скакавших со стороны села к ним.

— Удовиченко стречает, — усмехнулся Петренко, радуясь предстоящей встрече с давним другом.

— Слава богу! — заговорили вокруг. — Заморим червячка, браты. Може, хоч трохи костям спокий дамо.

Но Лева не разделял общей радости. С тревожным чувством он всматривался в маячащих впереди всадников. Те, похоже, не очень спешили к ним. Вот и вообще остановились. Оглядываются, будто ждут чего-то. Поднес к глазам бинокль, и сердце екнуло: в окулярах четко обозначилось лицо белобрысого Петра Задорожнего. Показывая в сторону махновцев, Петро что-то говорил своим спутникам, а те согласно кивали головами в островерхих буденовках. Сегодня встреча с давним знакомым совсем не радовала Леву. Нужно было уходить.

— Батько, красные! — бросил отрывисто, опустив бинокль.

— Шо?! — взвизгнул Махно. — Откуда?

— Черт их знает!

— Тикаем, хлопцы!

Они рванули в сторону от села, но буквально через минуту заметили мчащуюся им наперерез конную лаву.

— О-кру-жа-ют! — пронеслось по рядам.

— Хлопцы, без паники! — гаркнул Петренко. — Батьку, батьку рятуйте!

Свернув с дороги, отряд устремился в степь. Лева видел, как спрыгнули с тачанки трое молодых хлопцев — из батькиной железной охраны. Почти сразу же сзади послышался стук пулеметов.

— Только бы продержались! — подумал, вовсю нахлестывая и без того несущихся во весь опор коней. Для него не существовало сейчас ни батьки, трясущегося в тачанке, ни Кати, которую он потерял из виду. Была только собственная жизнь, над которой нависла тень смерти. Лева не боялся ее. Нужно было просто убежать, вырваться из грохочущего ужаса, ощутить тишину и покой. Хотя бы на мгновение. А потом... потом... Эх, потом — будь что будет.

Они выскочили и на этот раз. Какая волшебная сила их охраняла? Никто ответить не мог. Только каждый считал, что сила эта

таится в Несторе Ивановиче. Пока жив он, и они целы будут. А случись что с ним, и им погибель.

Несколько дней мотались по степи, сторонясь больших селений, пока не добрались до немецкой колонии неподалеку от села Заливного Александровского уезда.

... Спавший, как убитый, Лева проснулся среди ночи от странных звуков. В комнате, где остановились они с Катей, кто-то говорил. Зажав в руке рукоятку маузера, Лева вскочил с кровати и замер. Звуки доносились из угла, где на сундуке спала Катя. Он подошел к ней. Девушка тяжело дышала и отрывисто бросала невнятные слова.

— Катя! — прошептал он. — Что с тобой, Катя?

— Что? Кто вы? Уйдите! Стреляю!

Осмотревший девушку утром фельдшер из колонии обнаружил у нее воспаление легких. В отряде, кроме батьки, было несколько раненых. Отдых требовался жене Нестора Ивановича Галине: она хоть и не жаловалась, но по-видимому, была на пределе. Нужно было принимать решение.

— Ладно, — решился Махно. — Замрем тут. Токо шоб и одна живая душа с колонии не выскочила. Слыхал, Лева?

— Слыхал, слыхал, батька.

Целыми днями хлопцы то отсыпались, то слонялись по хатам из угла в угол, дымили цыгарками и травили всякие были-небылицы. Лева, слушая их в пол-уха, думал свою нелегкую думу, от которой голова шла кругом. Ему было над чем задуматься. Кто он такой сегодня? Скажи, что ты красный боец, тебя же засмеют: Левка Задов, начальник махновской разведки, глаза и уши ненавистного большевикам батьки, и вдруг — красный.

— Легендарный борец за Советскую власть! — подтрунивая над собой, криво улыбнулся. — Кто в это поверит? Да меня, попади я им в руки, первый же красный командир к стенке поставит и разбираться не будет.

Да, он знает, какая слава о нем ходила: Левка безжалостный, Левка кровавый, Левка неумолимый. А разве не сам он старался создать о себе такую славу? Так нужно было. Чтобы ни у кого, в том числе у батьки, не возникло никаких сомнений в Левкиной верности. Между прочим, Лева искренне верил, что видит в Несторе Ивановиче то, чего никто не видит, что обязательно должно привести его к крепкому союзу с большевиками. Эх, как бы от этого выиграло дело революции, дело всех трудящихся! Сколько раз он спорил с Катей, убеждая ее в своей правоте, упрашивая передать в центр просьбу повременить с оценкой Махно, позаботиться, чтобы рядом с ним появились надежные, умные люди. Сколько раз ругался с ней, посылая проклятия чекистским начальникам, требующим его физического уничтожения.

— Ну, разве это не бандитский прием? — спрашивал он.

— Товарищи говорят: с волками жить — по-волчьи выть, — отвечала Катя.

— Тогда и сами волками станем, — не сдавался Лева. — Сплошной вой на Земле стоять будет. Ничего себе счастьечко приготовили людям!

— Но что же делать, Лева? Ведь товарищи в центре перестают нам верить. Понимаешь ты, что это значит?

— Понимать-то понимаю, уважаемая мадам, — отшучивался он. — А вот что делать нужно, пока не знаю. Пусть в центре товарищи лучше подумают. Их там вон сколько, а нас только двое. Двое!

Их и в самом деле было двое. Раненого Андрея пришлось оставить недавно в Бердянске. Связного не было больше месяца. Теперь вот и Катя... Единственный человек, который может подтвердить, что не сам он влез в эту мясорубку батькину, что хотел совсем другого.

Судить-то будут не по хотениям твоим, а по деяниям. А получалось пока хреновато. Да чего там хреновато: совсем хреново. К красным идти не с чем. Нельзя идти. По крайней мере, одному.

— Э-эх! Подвела ты меня, Катюша, — со вздохом поправил одеяло, которым была укрыта все еще бредящая девушка.

Лева старался ухаживать за Катей сам. Правда, изредка забегала к ним батькина жена Галина.

— Давай помогу, — предлагала.

— Не треба, Галя. Я сам.

— У-у-у какой! — качала изумленно головой. — Не думала, что такая любовь есть.

Он сдвигал плечами:

— Какая уж есть.

А сам ждал, чтобы побыстрее шла от них Галина. Не дай бог Катюша в бреду не то скажет. Тогда, считай, сразу им обоим крышка. Батька тут же порешит их. Правда, случись беда с самим батькой, ему тоже не сдобровать. Лева знает, как относятся к нему махновские командиры. Боятся, как кролики удава, в рот заглядывают. Как же! «Любят», заразы. Сколько он за эти годы объяснений их выслушал любовных. Мастера! Поэты чертовы! Но сколько же помоев, гадости они друг на друга вылили. Жуть одна!

— Сор-р-атнички! — скрипнул зубами Лева. — Один Свист чего стоит. Перед батькой стелется, куда там. Вернее его нет. Только Левку хрен обдуришь. Я вас, падлюки, насквозь вижу. Суки продажные.

Лева хмурит лоб и, бросив взгляд на затихшую в своем углу Катю, выходит из хаты. Нужно к Нестору Ивановичу заглянуть. Доложить о данных разведки.

— Можна до вас, люди добрые? — постучав, спросил.

— Заходь, заходь, Лева, — обрадовался Махно. — Расскажи, шо оно там робиться.

— Мы ж тебя, Лев Николаевич, ждем, как птаха весеннего.

— Ну, да? Скажешь тоже, мама Галя.

— Сидай до столу. Жинка борщ сегодня варила. М-м-м! Сидай та рассказывай.

— Та ничего особенного, батька. Потеряли нас красные. Теперь носятся по степи, как шальные.

— Ага-ага. Нехай пошукають трохи. Шо ще?

— Та от хлопцы газету принесли. ВУЦИК, пишут, указ принял: переименовать Александровск на Запорожье. И губерния теперь Запорожской зваться будет.

— Отак, значит?

— Ага. По просьбе трудящихся, пишут.

— Запорожье кажешь?

— Да.

— За-по-рожье, — раздельно произнес батька, словно пробуя новое название города на слух. — За-по-рожье... Слышь, Лева, а де оте книжки про запорожцев, шо дед ученый у Екатеринославе дал?

— Яворницкий, что ли?

— Ага. Он самый.

— В обозе лежат, кажись.

— А ты их найди мне. Добре? Зараз все одно делать нечего. Почитаем с Галиной.

— Найду, батька.

Несколько дней Нестор Иванович добросовестно грыз «Историю Запорожских казаков». Охрана старалась, чтобы ему не мешали:

— Батька наукою занимается, люди добрые. Это ж понятие иметь надо. Дайте спокой.

Наконец все три тома были прочитаны, и Махно сам затеял разговор с начальником разведки.

— Много мудрости, Лева. И пыли всякой много, — многозначительно качая головой, рассуждал он. — Ну, шо поробишь? История она и есть история. Без пыли тут не обойдешься. Но интересная ж штукенция, скажу тебе. Я и не думал, шо так мало мы знаем про казаков. А знать треба, бо усе ж мы ихние онуки и правнуки. Ну, от ты, Лева, шо можешь сказать про свои корни?

— Я?

— Ну, да.

— Знаю, что батько мой извозчик бедный. У мамы одно богатство — детей куча. Кое-что про дедушек и бабушек сказать могу. Но мало, очень мало. А дальше... дальше совсем ничего не знаю.

— Во-во! — вскинулся Махно. — Так и я, и другие. По земле ходим, топчем, паскудим по-всякому, а про тех, что в нее ушли, кто перед нами жили, ни хрена не знаем. Память у нас куцая. Так шо правильно большевики сделали, раз Александровск Запорожьем назвали. Нехай про Сечь казацкую нагадует то название. И от про шо я подумал, Лева, дорогой ты мой товарищ. Слухали мы с тобой Петра Аршинова, других наших ученых анархистов, под знаменами их в бой ходили, социальную революцию творили. А

шо оно такое — счастье людское на самом деле, так толком и не знаем. От, скажем, шо человеку треба? Якась же сила и при Дорошенке, и при Сагайдачном, и при Сирко, и при Богдане вела людей не куда-нибудь, а на Сечь. Шо то за сила? Кажуть, воля. А теперь? Хиба не она до нас людей вела у Гуляйполе? Шо не кажи, а мы теми самыми казацкими шляхами и стежками с хлопцами все эти годы ходили и бегали. Чи не так?

— Так, батька. Так.

— А раз так, то може и не треба было нам ото чудернацкое слово «анархизм» у жизнь пускать?

— Ну, как же?

— А от так. Сказали б: «Хлопцы! Люди добрые, идите до нас вольницу казацкую вертать. Сечь Запорожскую строить. Ту, шо царица Катька порушила когдась. Прочитал я у Яворницкого, как бежали от нее казаки за Дунай. Там за Днепром, за степом скучали. И таки повернулись оттуда. Новую Сечь хотели строить. Азовскую. Та не дали им. На Кубань казаков доля занесла. От оно штука какая, Лева. Придет время, может, и про нас кто-нибудь напишет. А?

— Может...

— А то, как останемся живыми, и сами шось надряпаем. Га? Мы ж не совсем дурные люди. Як ты думаешь, Галочка?

— Ой, писатель! — рассмеявшись, махнула рукой жена батьки. — Замучил ты меня своей историей, а теперь и Леву кончаешь. Нехай до Кати своей бежит.

Махно ничего не ответил. Только плечами повел, нахмурившись, опустил голову. Это было что-то новое. Раньше Галина не позволяла себе так вольно обращаться с мужем. Он и для нее оставался батькой, в присутствии которого она больше молчала, старалась во всем ему угождать. Хлопцы называли ее «мамой Галей» не потому, что за нею стоит какая-то сила, а потому только, что она жена Нестора Ивановича, частица его самого. Не понравилась сегодня Леве Галина, обидно стало за батьку.

— Может и правда, Лева? — глухо обронил Махно, покашливая в кулак. — Заговорил я тебя совсем. Наверное, до Кати идти треба. Как там она?

— Да лучше трошки, батька. Спасибо тебе за внимание. — Лева специально нажал на слове «тебе», чтобы задеть за живое Галину. Чтоб не задавалась, не высовывалась, а знала свое место и батьку уважала как следует.

— Эх, и бабы! — выйдя на улицу, ругался он про себя. — Ну, только дай им волю, покажи свои чувства. Враз на шею тебе залезут и погонять будут, губы надувать за то, что медленно везешь, мало даешь. Неужели они все такие? И Вера?

Лева даже шаг замедлил. Вера... Он по-прежнему ее любил. Даже нет, не по-прежнему: он с каждым днем любил все сильнее. Вокруг вовсю пылал пожар войны, а у него весна в сердце. Не его она, чужая, а он и думать о том не хочет. Такое чувство, будто ос-

тавил Веруську на время, уехав по неотложным делам, и она его ждет. И ведь ждет... Ждет, черт побери! Что бы ни говорили. Правда, говорит с ним о Вере только Катя. И эти самые разговоры поддерживают чувство, что Веруська где-то рядом и они обязательно встретятся. И не просто, как знакомые, а как два близких, родных человека, которые друг без друга не могут жить.

— Скорее бы, — то ли прошептал, то ли подумал Лева и, испугавшись, даже оглянулся: не дай бог кто заметит.

Вот только бы Катюша быстрее поправлялась. Два дня назад она перестала бредить, но слабость не давала ей подняться с постели. И кашель нехороший какой-то...

На следующий день Лева застал батьку одного. Галина куда-то отлучилась.

— Слухай сюда, Лева, — сходу заговорил Махно. — Скоро месяц, как мы тут спины греем. Пора в дорогу собираться.

— Слаб ты еще. Да и другие...

— Я уже казак. Пока посыльные добегут до отрядов, а те соберутся до купы, совсем поправлюсь. Так шо готов хлопцев. Будем задачу ставить. Ну, а раненых, хворых, как твоя Катюша, придется пока тут сховать. Место хорошее, и люди надежные.

Не доверяя никому, Махно лично инструктировал связных, которые отправлялись по месту дислокации других отрядов. Сам же вручал приказы собраться на Полтавщине. Отправив связных, батько зачастил по утрам в степь. Оглядывал аккуратные поля колонистов и, мурлыча себе под нос любимую «Розпрягайте, хлопцы, коней», что-то прикидывал в уме.

Крестьянские работы подходили к концу. Весеннее солнце высвечивало поле, приглашая на свидание пробивающиеся из земли росточки и просушивая дороги.

— Ну, шо ж, Лева, — заявил наконец. — Завтра рушаем.

— Куда?

— Куда? — переспросил Махно и, прищурив глаз, усмехнулся. Пока гайнем через эту самую Запорожскую губернию. А там... Там видно будет.

Батько рассчитал верно. Отсеявшиеся селяне могли теперь на время оставить свои хозяйства. Правда, не все хотели этого. Объявленная накануне Советской властью амнистия заставила крепко призадуматься вчерашних махновцев. Многие из них решили навсегда порвать с батькой. Рейдируя по губернии, Махно жестоко карал отступников, надеясь нагнать страх на остальных. Страх заставлял хмурых дядек, цыкнув на ревущих баб, седлать коней. Тем не менее армия махновцев, слетевшихся на Полтавщину по зову неугомонного батьки, едва дотягивала до двух тысяч.

— Ничего! — сквозь зубы процедил Махно. — Хтось сидит зараз по хатах и смеется. Добре. Буде им смех. Токо смех на кутные зубы. От так. Трохи позже разберемся. А пока на Харьков рванем.

— На Харьков?! — изумился Куриленко, один из батькиных любимцев.

— А шо ты думал, Виктор? — засмеялся Махно. — Они ж нас там не ждут. Десь тут шукают. А мы как раз у самую столицу ускочим. Поразгоняем земных владык из партии большевиков. Ну, шо?

— Ну, батька! — зашумели командиры. — От дает! Сотворим шухер красным!

Глядя на веселившихся людей, разогретых самогоном, Лева подумал: «Это конец!» Он улыбался кому-то, чокался с Махно, с кем-то еще, что-то отвечал, а в неподдающемся хмелю мозгу выстукивало: «Что делать? Что же делать?» Оставив за несколько сотен верст Катю, единственную ниточку, связывающую его с иным миром, он чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Может быть, в открытую поговорить с Махно? Показать ему всю ненужность дальнейшей борьбы, убедить сдаться. Нет, не просто сдаться, а под гарантии. Гарантии... Кто их даст сейчас, когда пролито столько крови, столько беды наделано? Кончат батьку с его башибузуками, и дело с концом. А как же сам он, Лева? Ну, положим, оставят его в живых, скажем, за особые заслуги перед чекистами. Только как он сам после этого жить сможет? Он ведь не Иуда, христопродавец. Да и тот со своими тридцатью сребрениками не жил, а мучился, пока не удавился на осине, швырнув их под ноги римлянам. Может, не дожидаясь позора, и себе так? Ну, не вешаться же, конечно. Этого еще не хватало: он, Левка Зиньковский, болтается между небом и землей, как мешок с дерьмом, высунув синий язык. Фу, гадость какая! Будто нет другого способа: приставил маузер к виску и нажал курок. Просто и культурно.

Терзаясь невеселыми думами, Лева продолжал выполнять обязанности начальника разведки. Допрашивал пленных, выслушивал донесения, просматривал газеты, доставленные разведчиками. Словом, делал все, что и раньше. Но как бы механически, не проигрывая, как бывало раньше, десятки ситуаций, не просчитывая наперед несколько ходов в той сложной и тонкой игре, которую они с Катей вели. Теперь Кати не было. Да и не было, по сути дела, больше никакой игры. Вместе с убегающими на Запад махновцами он давно превратился в мышку, подчиняясь в своих действиях инстинкту самосохранения. Фрунзе и Эйдеман наступают на пятки. Батька хоть и хорохорился, обещая, добравшись до Галичины, сотворить там революцию, поднять селян на борьбу за волю, но хорошо понимает, что это только мечты. С кем он собирается это делать? В непрерывных боях батька потерял лучших соратников: нет Куриленко, Щуся, Петренко, Удовиченко. А как меняется отношение к ним по мере удаления от родных мест! Совсем недавно люди охотно помогали его разведчикам, сигнализируя о каждом шаге красных. Теперь в любом селе можно ожидать подвоха. Вот, например, Мишурино. Вроде и разведку тщательно провели, и люди встретили их по-доброму. Разместили по хатам, накормили, напоили, а ночью напали на спящих. Еле ноги унесли. Батьку шесть пуль ужалили. Правда, не сильно, только слегка задели. А недавно Махно сно-

ва на волосок от смерти был. Попав ниже затылка, пуля добре-таки посверлила батькино тело и вырвалась наружу через правую щеку. Шутка сказать: одиннадцатое ранение!

... Повинуясь законам природы, земной шар монотонно накручивал свои обороты. Как обычно, день-хлопотун сменялся усталостью вечера, и тот, растворяясь в волшебных объятиях ночи, выманивал у небесного светила утро. Невидимый счетчик времени неумолимо отсчитывал дни, отпущенные для властвования 1921 года, на суровом лике которого обозначились краски подкрадывающейся осени. И ничто — ни отчаянный стук копыт, барабанящих шкуру планеты, ни сердитый храп обгоняющих ветер коней — не в силах были остановить или хотя бы задержать ее приход. Осень неудержимо вползала в Приднестровье, трогая желтым колером полотна лесов.

27-е августа остатки истерзанной армии Нестора Махно во главе с раненым батькой встретили неподалеку от села Каменка. Надежды на то, что и теперь удастся обмануть красных, отсиживаясь в лесу, не было никакой. Не сегодня, так завтра их обнаружат. Разделиться, как бывало не раз, и рвануть в обратном направлении, путая карты погоне? Не те силы, да и красные наверняка готовы к такому маневру и свой шанс не упустят. Что делать?

... Нестерпимая боль пронизывает израненное тело, но Махно меряет взглядом поляну, отделяющую приютивший их лес от голубой ленты Днестра. За рекой — Румыния.

— Будем рвать границу, — тихо роняет он.

Лева молчит.

— Чуешь, Лева?

— Чую.

— Шо на то скажешь?

Лева хмурит брови. Делает вид, что внимательно рассматривает что-то вдали. Он чувствует, что батька сейчас ищет его взгляд, хочет заглянуть в глаза — по ним узнать, что у него на душе. А там скверно.

Махно принял решение уходить в Румынию. Может, и правильно. Только что их ждет там? Ясно одно: прощай, родина. Согласиться с батькой, а самому остаться? Сдаться пограничникам и потребовать встречи с Медведевым, которого он и в глаза не видел, хоть и все уши ему о нем Катя прожужжала? Или с тем же Манцевым? Но что он им скажет? Так мол и так, соскочил успешно с брички, которая покатилась в пропасть, и таким образом спас себя от смерти? Ты ж понимаешь, какое счастье людям принес! А революции какая польза от этой драгоценности? Правда, он может кое-что сообщить о кладе, который известен лишь ему и батьке...

— Молчишь? — вздыхает Махно.

— А шо казать, батька? — Лева поворачивает голову и встречается со взглядом батьки, каким-то потухшим и жалобным. — Шо казать? Ты верно решил. Другого выхода нет. Вот только когда и как это лучше сделать...

Батькины глаза теплеют, оживают.

— Ночью пойдем, Лева. Ночью. Разом рванем через поле.

— А речка?

— Ну то ж не Днепр тебе! Якось переберемся. Га?

— И то правда...

— Я токо от шо тебя попрошу, Лева... — Махно замялся и, опустив голову, смущенно глянул на начальника разведки снизу вверх. — Галина... Галина моя, кажись, дитя ждет. Так ты, случай чего со мной станется, присмотри за ней. Добре?

— Та об чем разговор! Ты и не думай только про это, батька. Не бери в голову.

— Ну, не буду. Не буду. То я так. На всякий случай...

Ночью густой туман затянул ленту Днестра. Приготовившись к броску, махновцы ждали сигнала.

— Па-а-шел! — скомандовал батька, и тачанки рванули из леса. Обгоняя их, неслись всадники.

Сбив пограничный наряд, они бросились в воду. ... Прибыв на следующий день на заставу, Фрунзе долго стоял на берегу, всматриваясь в дали боярской Румынии, словно желая узнать, куда ведут следы вновь ускользнувшего от него батьки.

КНИГА ВТОРАЯ

ПОРОГИ

Матери моей
Ксении Степановне
посвящаю

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Без особого труда прорвав прозрачную, как худое решето, советско-румынскую границу и едва успокоив нервы в прохладной днестровской воде, махновцы двинулись в глубь румынской территории, соблюдая все правила военного искусства. Высланная вперед конная разведка под командованием Левиного брата Даниила тщательно прощупывала чуть ли не каждый метр дороги, по которой следовал батька с остатками основательно потрепанного в последних боях отряда. Задача, поставленная Махно, была предельно четкой: во что бы то ни стало избежать вооруженного столкновения с румынскими пограничниками и спокойно сдаться властям, сохранив по возможности оружие, а самое главное — драгоценности.

— Будуть гроши, мы шо хочешь купим, — говорил, поеживаясь от холодной купели батька. — И винты, и пулеметы, и коней.

— Ой! Та годи тоби вже воювати! — подала голос Галина.

— А то уже не твое бабскос дело, — нахмурился Нестор Иванович.

— Та чи й не вояка! — огрызнулась жена. — Он з тачанки сам устать не можешь, а туда...

— Цыть, кажу тебе! — взвизгнул Махно, и Галина Андреевна поняла, что дальше спорить с мужем опасно. Замолчала, обиженно прикусив губу.

— Батька! — подъехал к притормозившей у лесочка тачанке Даниил. — Чудесия какаясь выходит. Сколько едем и не то шо румынских пограничников, а ни одной тебе живой души.

— Не каркай, Данька! — остановил брата Лева. — Он лучше за дорогой смотри. Прозеваете — шкуру спущу.

Батька промолчал, хмуро поглядывая на братьев.

— Дальше трогаемся, батька? — спросил Лева, отправив вперед брата.

— Давай! — буркнул Махно, кутаясь в бурку.

Без всяких происшествий добрались до первого городка.

— Бельцы, — доложил Данька. — Город Бельцы.

— Ну от, батька, первый город румынский. Будем брать? — пошутил Лева.

— Ты, Левка, шуткуешь, а оно и правда якась хреновина выходит, — ответил, помолчав, Махно. — Шось мне не наравится такой наш марш. Те чертовы румыны чи й справди про нас ни хрена не знают, чи момент, падлюки, выбирают, шоб какоесь паскудство сотворить. Га?

— А черт их знает. Это ж цыгане!

— Во-во. Черт, он точно знает, а я хочу, шоб знал мой начальник разведки та й я разом с ним.

— Та я ж,.. — обиделся Лева.

— Ладно, ладно. То я так. Шуткую. А то вам усе можно, — батька бросил примиряющий взгляд на Галину, которая, надувшись, сидела в углу тачанки. — Вам усе, чуешь, можна, а батька, значится, молчи та дыш. Га, Галочка?

— Ну, тебе, — отмахнулась та. — Робы, як знаешь.

— От спасибочки вам, Галина Андреевна, за то, шо разрешаете, — дернул усом Махно и тут же будто забыл о жене. — Слухай сюда, Лева. Думаю, шо отаким табором у эти самые Бельцы заходить не можно. Токо шухеру наробим та беду накличем на свою голову. Якшо мамалыжники и справди про нас не знают, то оно, может, и лучше. Спробуем раствориться серед энтих цыган, як цукор у стакане, и поглядим, шо она собой представляет энта самая Румуния. Може, оно и нам тут местечко отшукается. На какое-то время. А там побачим. Га?

— Ну, шо ж... — попытался включиться в разговор Лева.

— Так ото я и говорю, — будто не заметив его попытки, продолжал Махно, — раствориться. На время. А тада водичку с себя обтрусим и знов грудочкой станем. Такою, шо й по голове когось можна будет луснуть. Га?

— Правда твоя, Нестор Иванович, — согласился Лева. — Только как это сделать?

— А от как. Зараз поклич до меня Сергиенку.

Лева метнулся выполнять приказ и через минуту начальник снабжения повстанческой армии уже стоял перед батькой.

— От шо, Гриша, — обратился к нему Махно. — Соберите усех верховых коней и гайда с хлопцами у те самые Бельцы на базар.

— Чого це, батька? — изумился Сергиенко. — А як же мы?

— А ты бачишь, Гриша, як румуны ездят? Чи хто с них верхи скачет?

— Та есть, стречали. Но мало.

— То ж то й оно, шо мало. Бричками тут ездят. От и мы так будем. Оставим тачанки, а верховых коней продамо. На те грошики папах хлопцам отаких, как у здешних людей, купим и харчишек. Ести ж треба. Сядете на свои брычки и паняй вперед. Га?

— От теперь понятно, батька! — оскалился Сергиенко. — И гроши будут, и фуража не треба столько. Так я пошел?

— Давай, Гриша.

Отпустив начальника снабжения, Махно достал из полевой сумки карту Румынии и, обернувшись к Задову, скомандовал:

— Смотри сюда, Лева. Ось Бельцы, ось Теленики, а ось Овсяны. Тут будуть места сбора наших хлопцев.

— Так они же все тут.

— Не спеши! Не про них кажу, а про тех, шо за кордоном остались. Привести их сюда якось треба. Для того пошлешь Даньку назад. Теперь он дорогу знает. Пойнял?

— Понял, батька, — уловив мысль Махно, оживился Лева. — Теперь понял.

— А дальше зробим так: хай себе хлопцы едут тачанками потихоньку, навроде цыганы чи бессарабы, та на Румунию добре смотрят. Пока такая возможность есть. За старших Сергиенко со Свистом останутся. От так.

Он сделал паузу. Потом, впившись взглядом в глаза Левы, продолжал:

— Мы с Галиной и тобой утрех на Бухарест двинем. Поглянем, шо оно за столица у них. Лучше чи хуже за наше Гуляйполе.

Он заговорщически подмигнул Леве и рассмеялся. Заливисто, громко. Галина, осуждающе глянув на мужа, недоуменно передернула плечами...

Поселившись в Бухаресте, Махно какими-то неведомыми Леве путями отыскал анархистов, которые и сообщили батьке, что хлопцы его недолго путешествовали по Румынии и теперь интернированы в городе Брошеве.

— Ничего, — делился с Задовым Нестор Иванович. — Хай трошки отдохнут хлопцы. Стомились же. Он какое путешествие пришлось сотворить. Казали мне, шо зобижать их там нихто не будет. Теперь нас советы не достанут. Так шо нехай свои локти кусают...

Улизнувший за пределы советских республик Махно и впрямь не давал покоя правительствам России и Украины. И немудрено: разгромленный, казалось бы, окончательно поверженный батька вновь пытался восстановить свои силы. Какими-то тайными тропами на территорию Бессарабии, находившейся теперь под властью Румынии, в одиночку и группами из-за Днестра стекались на зов своего батьки его сторонники, уверовавшие в его правду и неуловимость. Ведь так уже было не один раз. Потрепанный, полуживой Махно вновь и вновь восставал, клича своих «орликов». И они приходили. Шли они и сейчас, прорываясь сквозь неокрепшие советские кордоны, мимо смотревших на них сквозь пальцы, а нередко и помогающих им румынских пограничников.

— Чрезвычайная Комиссия, — докладывал Ленину Феликс Дзержинский, — располагает агентурными данными, что только в районе городов Бельцы, Теленики, Овсяны находятся три отряда махновцев общей численностью до семисот человек.

— М-м-да! — в сердцах хлопнул ладошкой по столу Ленин. — Упустили-таки мерзавца. Просто позор и нашим военным во главе с Фрунзе, и вашим работникам, Феликс Эдмундович. Позор!

— Не хочу оправдываться, Владимир Ильич. Хотя...

— И не стоит, не стоит оправдываться, Феликс Эдмундович. Да-да. Лучше подумайте, как заполучить этого бандитского батьку из Румынии, не дать, чтобы их сигуранца использовала его для

своих чертовских игр. Здесь нужно нажимать на бояр по дипломатическим каналам прежде всего.

— Мы тоже кое над чем работаем, Владимир Ильич.

— Вот-вот! Думайте, как исправить свои промахи. Я имею в виду не только Махно, но и Скоропадского, Петлюру, Тютюнника, Врангеля, Кутепова, Савенкова да и других закоренелых преступников, непримиримых врагов рабочих и крестьян. Они должны знать, что от справедливого наказания им не уйти и не спрятаться.

20 сентября 1921 года правительства РСФСР и УССР направили правительству Румынии совместную ноту следующего содержания:

«Известный бандит Махно перешел 28 августа бессарабскую границу у Монастыржевки с шайкой приверженцев, ища убежища на территории, которая фактически находится под властью Румынии. Этот разбойник в качестве главаря преступных банд совершил на территории России и Украины бесчисленные преступления, сжигая и разграбляя деревни, избивая мирное население и пытками вымогая у него имущество.

Ввиду этого Российское и Украинское правительства обращаются к Румынскому правительству с формальной просьбой выдать им, как обыкновенных уголовных преступников, упомянутого главаря шаек вместе с его соучастниками.

Народный Комиссар по иностранным делам РСФСР Чичерин.

Председатель Совета Народных Комиссаров и Народный Комиссар по иностранным делам УССР Раковский».

На столь бесхитростное требование Президент Румынского Совета Министров ответил нотой, опирающейся на возможности международной юриспруденции и делающей практически невозможным для своих российского и украинского коллег сколь-нибудь законное решение вопроса. Дабы удовлетворить просьбу русской и украинской сторон, говорилось в ноте, необходимо действовать в согласии с нормами международного права, то есть послать приказ об аресте, исходящий от надлежащего судебного учреждения, со ссылкой на статьи уголовного кодекса, применяемые к преступникам. Необходимо, кроме того, указание на приметы преступников. Так как в Румынии смертной казни не существует, то вместе с тем необходимо, чтобы российская и украинская стороны приняли на себя формальное обязательство не применять смертной казни к выданным. Когда же эти условия будут выполнены, Румынское правительство обещало рассмотреть дело о бандите Махно и его сообщниках и решить, надлежит ли дать ход требованию о выдаче.

Проглотив пилюлю от поднаторевших в юриспруденции коллег, Советские правительства вновь обратились к Румынии с предложением выдать уголовного преступника Махно и дать реальные доказательства того, что ее территории перестанут служить базой для организации враждебных действий против Советских республик, в качестве предварительного условия о нормали-

зации отношений. Считая, что время в данном случае лучший судья, румынская сторона дипломатически промолчала.

Но это не означало, что румынам вообще были безразличны Махно и его сторонники. Совсем нет. Интернировав батькиных хлопцев, сигуранца внимательно следила за международным резонансом, изучала потенциальные возможности интернированных, не упуская из своего поля зрения самого Нестора Ивановича. А кипучая натура Махно, впервые за последние годы изнывающего от безделия, требовала совсем другого. Чего? Батька и сам не знал. Оттого и нервничал. Много пил и во хмелю буйствовал. Часто ссорился с женой, ревнуя ее, правда, не всегда без причины.

— Я от шо тебе хотел сказать, — затеял он однажды разговор с Левой, опустив голову. — Ты, Лева, поглядывай иногда за ней.

— За кем, батька? — Лева сделал вид, что не понял Нестора Ивановича, хотя знал, что в последнее время «мать» Галина немножко начала чудить. Лева сам видел ее, как ему казалось, слишком веселой в компании молодого чернявого мужчины. Вначале думал, что это кто-то из новых знакомых батьки, а оно вышло совсем иначе: Галина Андреевна завязала дружбу с петлюровским сотником. Дурацкая ситуация! Галина паскудно делает не только потому, что на сторону смотрит, а и оттого, что знает же, как батька относится к Петлюре, ко всем «украинским шовинистам» — так он называет петлюровцев.

— За кем, за кем! — недовольно проворчал Махно и, подняв голову, опять вонзил в Леву свой страшный взгляд. — За Галиной! От за кем. Тут усяких падлюк хватает, которые зараз бы мне у глотку вцепились. Та стежки не находят. Через бабу, через Галину кое-кто и может спробовать.

«Ну, дает Нестор Иванович! — подумал про себя Лева. — Это ж надо какое движение мысли сотворил. Хи-и-итрый чертяка!» А батьке совсем другое ответил:

— Понял, Нестор Иванович. Политика, она и есть завсегда политика. Она ж чистой никогда не бывает. Завсегда говном пахнет.

— Во-во! — обрадовался батька. — Так шо гляди, абы мы у том самом говне не вымазались.

— Будь спокоен, батька. В случае чего враз грязь зробим. Будь спокоен.

Немного помолчали, ни слова не говоря, Махно взял бутылку и плеснул в стаканы водки.

— Давай, Лева, выпьем, шоб дома не журились.

Пить совершенно не хотелось, но и злить Махно также не было никакого резона. Теперь он заводился буквально в одно мгновение, и Лева стал замечать, что порой, находясь с ним рядом, начинает сам нервничать, теряет уверенность. Отчего это? Ведь такого же с ним раньше не бывало. Он умел держать себя даже тогда, когда было чего бояться, когда порой висел на волоске. Разве не ясно было ему, что узнай батька о его связях с чекистами, не

миновать беды. Вчерашние подчиненные с живого содрали бы шкуру и еще бы приговаривали, что так ему, без шкуры, то есть, даже идет. Да, умеют «шутить» его паразиты. И им дела нет до того, что от этих самых шуточек у людей мурашки по телу бегают и волосы дыбом поднимаются. Попадись он, кому объяснишь, что хотел добра людям и того же батьку спасал. Сколько раз передавал Медведев через Катю, что пора кончать его. Даже ему, Леве, угрожали. «Кто ты? — спрашивали и намеками, и прямо. — С кем ты? Не выполнишь задания, пеняй на себя. Мы тебя, товарищ Зиньковский, достанем. Достанем, где бы ты ни был, и будем судить по всей строгости революционного времени». А на самом деле, кто же он? Господин, пан или товарищ? Ну, положим, паном он никогда не был. Про таких, как его отец, да и он с Данькой, не зря говорят: «Паны, паны. На двох одни штаны».

Сколько золота, грошей и всяких драгоценных побрякушек держал он в руках за свою жизнь, а особенно в эти годы, когда сблизился с Махно. Но ничего к рукам не прилипло. Прятали вместе с батькой и без него, знает, где и что лежит зарытое, но никогда его собственным не станет. Да и на хрена оно ему? Ведь от этого дерьма с лукавым блеском одни неприятности, одни беды. Правда, есть у него мечта, одно сокровенное желание. Хочется, очень хочется достать те два ведра золотых червонцев и блестящих камешков, что зарыли когда-то в Дибровском лесу, и отдать на строительство новой больницы или школы, в которой бы Вера директором была. Так просто принести ей и сказать: «Бери. Мне не жалко, пусть дети учатся». Отдать и уйти... Уйти... Уйти и жить таким гордым, но одиноким и грустным фрайером? Ничего себе перспектива! Конечно, и такую радость так просто никто не подарит. Туда, домой, к родному порогу, еще добраться нужно. Но и это еще не все. Разве теми двумя ведрами откупишься? На тебя же столько дохлых кошек навешают, и своих, и чужих, что только держись. А скорее всего и разбираться никто не будет: поставят к стенке и шлепнут за милую душу. Какой спрос может быть за бандита Задова? Кончат тебя, и дело с концом. Еще и благодарность какую-нибудь объявят. А как же, обезвредил опасного гада.

— Смотрю я на тебя, Лева, — доносится до него голос Махно, -смотрю и вдивляюсь: как ты, ты такой здоровый, представительный мужчина, а без бабы обходишься. Невжели тебя так приворожила твоя рыженькая Катька?

— Не знаю, Нестор Иванович, — сдвинул плечами Лева. — Не знаю...

— Она ж, как мышка, перед тобой.

— Разве в этом дело?

— Та и то правда. Не зря же люди говорят, шо мышь скирды не боится.

Лева нахмурился. Он не любил такие разговоры на скользкие темы. Рассказы подвыпивших батькиных соратников о связях с

женщинами всегда вызывали в нем если не брезгливость, то неуважительное отношение к «героям». Они виделись ему или законченными падлюками или просто брехунами, которые придумывали свои несуществующие подвиги. Таких он относил к паскудным крысам и, как правило, со временем убеждался в их никчемности, несостоятельности.

Бросил взгляд на батьку. Тот сидел с посоловевшими глазами и рассуждал:

— От ты знаешь сам, сколько я мог иметь тех самых баб. Только моргни, и — на тебе. Не, не могу сказать, шо я совсем святой. Шо не кажи, а кажный з нас мужиков — котяра. Один больший, другой трохи меньший. Только любил я по-справжнему двох. Одна — землячка Настенька. Найпервая моя любовь. Сыночек у нас был. Помер он токо, когда от австро-германцев мы тикали. Я его и не бачил. А ей сказали, шо убили меня. Она вскорости опять замуж вышла. Эх! Переживал же я тогда. Думал, когда стрену, постреляю и ее, и брехунов тех паскудных. Да-а-а... Потом отошел. Но все одно отого хлопчика, сыночка своего, мне зараз жалко. Был бы он живой, то, может, и я трошки другим стал. Га? Як ты думаешь?

— Может быть, Нестор Иванович.

— Ото ж то и оно! Когда Галина сказала мне, шо дите у нас будет, я такой радый сделался. Ты знаешь, даже про то думать стал, как жить мирно, не воюя. Это ж впервые за сколько лет! И от тебе опять невдача...

Махно вздохнул. Глубоко, со всхлипом.

— Ну, ничего, Нестор Иванович, — попытался утешить его Лева. — Утрясутся как-нибудь наши дела с румынами, и все у вас будет хорошо.

— А бодай им, тем румынам. Наливай, Лева.

— Может, хватит?

— Наливай, наливай еще по одной. Як там хлопцы спивалы: «Махно — цар, Махно — бог з Гуляйполя до Полог». От и доцарювалысь. Наливай. Чи в тебе руки поотсыхали?

На следующий день батька проснулся поздно. Зашел к Леве в номер и, потирая, видимо, разламывающуюся на похмелье голову, виновато бросил:

— Перебрал трохи. Галина моя знов десь ушилась. Може, и мы прогуляемся, Лева? Га?

— Пошли, Нестор Иванович.

Они вошли в парк. Осень успела не только выкрасить деревья и кустарники в желтый цвет, но и основательно оборвать листву, которую свежий ветер безжалостно гонял по, видно, давно не убираемым дорожкам. Махно сильно хромал, припадая на раненую ногу, и Леве приходилось сдерживать шаг.

— Давай трохи передохнем, — предложил Нестор Иванович, когда они поравнялись с очередной лавочкой, — шось я стомывся.

Вроди такого раньше не было, хоч кой-когда сутками по степу гасали. Мабуть, засиделись мы тут без усякого дела. Га? Як ты думаешь, Лева?

— Та, может, и так, батька, — согласился Задов. — А может, время пришло...

— Шо? Старость? — вскинулся Махно.

— Да нет, — отмахнулся Лева, как бы прогоняя саму эту неприятную для батьки мысль. — Осень кончается. Скоро зима. Даже медведи устают и на зиму в берлогу ложатся. А ты ж, Нестор Иванович, он сколько накатался, верхи та на тачанках за этот год. Другому и за всю жизнь столько не наездить. Теперь раны...

— Ну, це ты, Лева, зараз меня совсем калекой немочным зробишь!

— Нет. Только отдохнуть и подлечиться тебе трошки треба.

— Тут твоя правда, — согласился Махно. — Только и засиживаться довго тож не треба. Оно, понимаешь, вредно без дела сидеть. Кровь киснет и мысли дурные в голову лезут.

Он замолчал и расслабленно откинулся на спинку скамейки. Прикрытые глаза давали основание сделать вывод, что батька дремлет, но крылышки его носа нервно подрагивали, как у застоявшегося коня, готового по первому сигналу рвануться вперед. Батька о чем-то думал.

— Слухай, Лева, — врастяжку, с нарочитой ленцой наконец проговорил он. — А чи не пора нам когось из твоих хлопцев на гуляйпольщину послать?

— Прямо зараз?

— А чего ж? Твои ж дирки у кордони целые?

— Та наведуются хлопцы потихоньку. И назад же кой-кого из наших оттуда приводят, — усмехнулся Лева.

— Ну, може, пора б уже и Катюшу твою пошукать? Бо шось ты мне не наравишься. Навроди сонный. Га?

Батько рывком оторвался от спинки скамейки и снизу с прищуром глянул на Леву, пытаясь поймать его взгляд. От неожиданности вопроса Лева растерялся.

— Та разве ж у мне дело? — усмехнулся смущенно. — Я уже как-нибудь пока...

— Ач, как зашарился! — засмеялся Махно. — Чисто тебе жених стеснительный. Токо стесняться тут не треба. Все мы люди. Обыкновенные люди. Так шо готов хлопцев за кордон. Найдем твою Катрусю, нехай она з тебя лишний жир вытрясет. А пока хлопцы будут додому добираться, хай посмотрят, чем там люди живут на Украине, чи ж не забыли нас. Може, ждут — не дождутся, а мы тут байдыки бьем.

— Опять гулять будем? — весь напрягшись, но ровным и спокойным голосом спросил Лева. — Старых друзей проведаем?

— От тебе зразу все возьми и скажи! Таким нетерпеливым без Катьки стал.

— Та то тебе кажется, Нестор Иванович. Я такой же, как и был.

— Ой, нет, Лева. Другой ты. И я другой, и все мы поменялись. Бо далеко забегли от родных хат, от родного порога. У чужом краю и сам чужиешь. А додому... Додому ж хочется, аж душа кричит! Ты знаешь про шо я подумал?

— Ну?

— Та не ну. Подумал я про отых запорожцев, що за Дунай пошли, когда царица Катька Сечь Запорожскую поруйнувала. То ж десь они тут, недалечко были.

— Так они ж в Турцию ушли.

— Знаю, шо у ту самую Турцию. Только, кажу тебе, десь недалечко. По карте, ну совсем близехонько.

— То ж по карте, Нестор Иванович.

— А ну тебя, Лева. Так от. Згадал я чегось про них и думаю, яка тоска их грызла, раз не смогли они за тем Дунаем жить. Время прошло, а они все одно додому вернулись. Як оте птицы. И мы не сможем тут жить. Чи сможем? Га?

— Бачу, батька, шо затеваешь ты пройтись старыми стежечками.

— Признаюсь, была такая думка. Даже до Петлюры подбирался. Письмо ему писал: давай, чуешь, рванем рейдом на Киев.

— А он что же?

— Что же он? А не схотел атаман Петлюра с нами знаться. Обиделся, видишь ли, шо я его когдась надурил. Та то ж когда было! Ситуация ж другая была.

— Та й не мы ж то были, — подмигнул ему Лева.

— Ага! Не мы , — согласился Махно, и они весело рассмеялись.

— Ну не хочет с нами знаться Петлюра и не треба. Черт с ним, с шовинистом проклятым. Сами з вусами, — он подкрутил острую стрелку уса и, заговорщически подмигнув Леве, продолжал:

— Щось придумаем. Га?

— Так уже ж, наверное, придумал, Нестор Иванович?

— Откуда знаешь?

— По тебе видно. Ожил. Совсем другой человек.

— Ну, ты даешь, Лева! По правде сказать, есть у меня одна думка. Не знаю, добра чи поганая, а есть. Слухай сюда. Сегодня и дурню понятно, що советы мы не скинем...

«Вот оно! — подумал Лева, весь подобравшись. — Сейчас может появиться на свет новый Махно».

— Ну, рванем мы, припустим, на тот же Киев. Шкоды наробим, хлопцев покладем. А дальше? Дальше шо робить? Не будешь же век по лесах ховаться. Назад у эту самую Румунию вертаться? Та кому мы тут нужны?

— Так нам же и сейчас сигуренца намекает, что не возражала, если бы мы покинули просторы Румынии и перебрались куда-нибудь в другую страну.

— Во-во! Даже выдать советской власти грозились. Падлюки! Мы й без них сможем сами сдаться, наробив шухеру боярам. Так

шо толку? Придем додому, а там нас на суд и до стенки. На шо ж это похоже? От я и подумал: а шо, если геройски прийти до советской власти?

— Это ж как? — изумился Лева.

— О! Слухай сюда. Ты ж знаешь, шо наши украинские братья на Галичине стогнут у неволе от ляхов польских. Сколько ж там слез их пролито, сколько людей полягло! Де ж справедливость? Как же можно терпеть такую ганьбу, позор такой. Лева, дорогой мой ты товарищ? Там же спичку только поднеси, и такое вогнище займется, шо не только у Киеве, а й у самой Москве видно будет. От и подумал я: «А чи ж мы не запорожцы? Не казаки? Чи ж у нас доброго серничка не знайдется, щоб это зробить?» Га? Как ты думаешь, Лева?

— Ого!

— Ага! Сотворим революцию и телеграфом у Киев: так, мол, и так, желаем воссоединиться с братьями своими украинцами для совместного проживания навеки. От так. Такой подарочек сделаем. Невжели после этого мы не заслужим прощения у «дорогой» советской власти? Га? Кажуть же, шо героев не судят. Вернемся додому, земле своей родненькой, могилкам дорогим уклонимся. Поживем трошки, а там... Там видно будет.

— Да-а-а! Аж дух захватывает.

— А шо ж ты думал? Батька совсем дурной, раз голову ему пробили? Не-е-е! Шось у этой макитре и осталось же. Так шо готовь разведку дальнюю. Хай Катюшу твою найдут и заодно посмотрят, шо оно у той Галичине за люди и как живут. Готовь маршрут.

— Понял, Нестор Иванович.

— А раз понял, гайда за дело.

И началась подготовка глубокой разведки. Сама идея батьки Леве очень понравилась. Правда, были моменты, которые смущали. Конечно, поднять восстание в Галичине они смогут, но вот удержаться долго вряд ли сумеют. Здесь помощь нужна и Киева, и Москвы. Без этого ничего не выйдет. А раз так, то уже заранее нужно выходить на связь с чекистами. Что это нужно, ясно как божий день. Но вот как на это посмотрит Махно? Наверняка пошлет к едреной бабушке, а то и подальше. Скажет: «Ты что, Левка, совсем здурел? Тут же мировым скандалом пахнет. Ни Ленин, ни Дзержинский, ни Раковский на такие игры не пойдут». А связь нужна. Ой, как нужна! Рядом же никого нет. Сколько раз он, Лева, собирался откровенно переговорить с братом Данькой. Собирался и все откладывал. Нет, не потому, что не верил в Даньку. Данька за ним везде пойдет. В этом он не сомневался. Ведь брат не потому у махновцев оказался, что разделяет идеи батьки, а потому, что любит его, Леву. Страшно только за него, а ну как попадется. Ведь не простит он себе потом всю жизнь Данькину гибель. Правда, и сам он, Лева, тоже может попасться и тогда Даньке также не сдобровать. Кто ему поверит, что ничего не знал? Да, видно, выхода нет. К тому же Катя... Батька команду дает разыскать ее.

«Положим, находят. Но где? Вот в чем вопрос. Наверняка ведь и сейчас она в ЧК работает. Узнают разведчики и сюда эту весть принесут. Что тогда делать? Как Махно эту новость объяснить? Или может же и по-другому обернуться: узнают хлопцы, что Катя — чекистка, и кончат там, на месте, не разбираясь долго.

Душевные муки Задова были прекращены самым неожиданным образом. Однажды в том же парке, где разговаривали они с Махно, к Леве подошел невысокий, но плотный усач с волосами, которые едва не касались плеч.

— День добрый, уважаемый, — поздоровался, низко кланяясь.

— Бувай здоровый, хлопче, — буркнул и зашагал дальше, стараясь не связываться, как ему показалось, с одним из нищих. Но парень не отставал.

— Чего тебе, хлопец? — спросил строго и вдруг услышал в ответ:

— Катерина Ивановна кланяться велят вам.

— Что? Что ты сказал, хлопче?

— Катерина Ивановна кланяться велят вам, — четко повторил пароль парень — Не узнаете, Лев Николаевич?

Задорно тряхнув кудрями, парень улыбнулся, и только тогда Лева узнал бывшего возницу.

— Андрюшка! — обрадованно пожал руку хлопцу. — Откуда?

Парень молчал, будто ожидая чего-то.

— Да, да! — догадался Лева. — Как там она? Здорова?

— Уже поправилась, но еще очень слаба, — окончил пароль Андрей и снова улыбнулся. — Ну все, Лев Николаевич, теперь полный порядок.

Они выбрали лавочку, стоящую среди кустов и присели.

— Ну, давай рассказывай, — сгорая от нетерпения, скомандовал Лева. — Как там у вас?

— У нас, — Андрей специально нажал на этом «у нас», — пока все нормально. Начинаем наводить порядок: ведь разруха после войны какая. И о вас, как видите, не забыли. Дмитрий Николаевич вам привет шлет. Обещает, может быть, скоро увидитесь с ним.

— Вот как?

— Ага.

— Это за что же мне, грешному, честь такая высокая?

— Ну, видать, дело есть, Лев Николаевич, — усмехнулся Андрей, доставая из кармана брюк конверт. — И вот еще вам весточка.

Лева извлек из конверта листок. Это было письмо от Кати. Он сразу узнал ее почерк — ровный, красивый, с аккуратно выписанной каждой буковкой. Собственно говоря, это было не письмо, а небольшая записка всего в несколько строк. Катя сообщала, что чувствует себя сносно, надеется на встречу и в самом конце передавала привет от... от Веры. «Верочка, — писала Катя, — год назад потеряла мужа и теперь живет вдвоем с дочечкой. Аллочка ее — просто прелесть. Ну, вот и все. Скучаем по тебе и надеемся на встречу». Буквы прыгали перед его глазами. Он прочитал письмо

раз, потом еще раз, не спеша, вчитываясь в каждое слово, чтобы не упустить тот тайный смысл, который вкладывала в него Катя и который, по ее мнению, он должен был разгадать.

Так. С самой Катей все понятно. После той жестокой болезни, пневмонии, которую она перенесла, хорошим самочувствие никак не может быть. Дай бог, чтобы все обошлось благополучно. Ей бы сейчас хорошее питание. Но где его возьмешь, когда голодают там люди. А помочь? Ну как он поможет? Остается, как говорится, уповать на бога да на Катюшину молодость. «Ах, Катя, Катечка, сестренка ты моя дорогая!» — подумал он с теплотой и, почувствовав, что глаза сделались влажными, бросил осторожный взгляд на Андрея. Не заметил ли? Нет, Андрей сидел, откинувшись на спинку скамейки и глядя куда-то в сторону. Лева коснулся глаз, делая вид, что убирает попавшую случайно соринку, и снова переводит взгляд на письмо. «Значит, теперь Вера одна, без мужа. Тяжело ей, бедняжке, с дочкой», — думал он, но ощущения этой самой тяжести не было. Больше того, на сердце была радость. Она переполняла всего его, распирала грудь, пела внутри него, рвалась наружу. Вера... Верочка помнит о нем, скучает... Правда, Катя не пишет так прямо, что «Верочка скучает», но ведь «скучаем». Выходит, «мы скучаем», а значит и она, Верочка. Боже мой, он нужен этой красивой, этой замечательной женщине! Он, Лева Зиньковский нужен. О нем думают! Скучают! Ждут!

Лева оторвал взгляд от письма, и мир вокруг показался ему не таким уж скучным и безрадостным, как это было несколько минут назад, когда он входил в убаюкиваемый осенью парк. Выглянувшее из-за туч солнце лизнуло своими лучами поредевшие кроны деревьев, и они будто ожили, заулыбались.

— Спасибо тебе, Андрей.

— За что?

— За добрую весточку с родины спасибо.

— А! Это всегда пожалуйста. Может, и вы черкнете пару слов. Я передам.

— Можно? — изумился Лева.

— Ну, конечно. Только то письмо, что принес я вам, нужно уничтожить.

— Да, да. Я понимаю.

Лева взял протянутый ему Андреем спичечный коробок. Достал спичку и чиркнул. Коричневая серная головка, сердито фыркнув, вспыхнула и он поднес к ней письмо. Огонь осторожно лизнул бумагу и пополз по листу. «У, бандит коварный!» — ругнул его Лева, глядя, как кусочки пепла, подхваченные ветром, улетают куда-то прочь вместе с желтыми листьями. Он достал записную книжку и, немного подумав, стал быстро писать: «Спасибо. Скучаю. Обнимаю вас всех. С нетерпением жду встречи.» Вырвав листок из записной книжки, он сложил его вдвое и протянул Андрею.

— Ну что ж, Лев Николаевич, — поднялся со скамейки Андрей, — мне пора.

— А как же...

— Мы найдем вас. Пароль тот же.

Глядя во след уходящему быстро связному, Лева чувствовал, что сонливость, усталость, которые он ощущал все эти дни пребывания в Румынии, куда-то исчезли. Тело вновь налилось могучей силой. Он снова чувствовал себя молодым, готовым сокрушить горы.

...Предложение Махно об операции в Галиции вызвало у руководства румынской разведки двойственное чувство. С одной стороны, появлялась возможность избавиться, наконец, от беспокойного гостя, который и так уже вызвал много нареканий в советской прессе да и в печатных органах левых партий некоторых западных стран. А с другой стороны, отряды махновцев позволяли тревожить украинский кордон, держа в тревоге и беспокойстве всю приграничную территорию, где начиналось социалистическое строительство, в успехе которого совсем не было заинтересовано румынское правительство. Несколько месяцев назад сотня батьки Свиста хорошо-таки погуляла по селам на той стороне Днестра. Там, говорят, и сейчас его именем пугают детей, которые не слушают родителей.

— Предложение ваше, господин Махно, интересное, — сказал ему инспектор сигуранцы. — Но его нужно как следует обдумать и обсудить.

— И долго будет то думание?

— Мы вас пригласим и сообщим.

Ожидая решение, которое зрело в кабинетах инспектуры сигуранцы, батька не терял времени даром. За кордон ушли разведчики для выяснения ситуации в Галиции и гонцы на Украину. Нужны были оружие, боеприпасы, военное снаряжение, а рассчитывать на то, что им все это дадут румыны, не приходилось.

— Они ж сами, как те цыганы: вроде вся земля ихняя, а своего ни черта немае. Може, шмат сыру та кукурудзы на мамалыгу дадут, и на том спасибо. Самым, самым думать треба.

...О намерениях Махно стало известно и на советской стороне Днестра. Только там не было никаких сомнений в отношении того, кто такой батька и чего от него следует ждать. Бандит, он и есть бандит. А раз так, то и всякие сомнения относительно каких-то добрых намерений должны быть отброшены в сторону.

«Коль румынское правительство отказывается выдать бандита Махно для рабоче-крестьянского суда над ним, — рассудили в ЧК, — значит, нам остается один выход: самим уничтожить бандита».

В пограничный отряд, где служил командиром эскадрона Петро Задорожний, прибыл выпускник кремлевских пулеметных курсов Борис Мащенко.

— Десь я тебя, хлопче, бачив, — просмотрев документы, обронил Петро. — А чи не разом Врангеля воевали.

— Было, товарищ комэск, — улыбнулся Мащенко. — У села Янчекрак мы на вас вышли. Помните?

— Так ты з махновцев чи шо?

— Да нет. Нашу сводную бригаду московских и петроградских курсантов здорово потрепали под городом Ореховом, и мы оттуда из окружения выходили. Правда, вместе с каким-то отрядом махновцев. Там еще командир у них был такой здоровенный. Левой, кажись, звали.

— Точно. Он самый, Лева Задов. Зараз они на той стороне, падлюки, сидят. Недавно выползли з-за Днестра разом з моим старым знаемым батьком Свистом. Такого лиха той Свист натворил, шо не дай бог. И людей побил, и хлеб попалил. Мы его в одном месте ждали, а он, гад, обдурил нас и втик.

— Поймается. Не сейчас, так позже.

— Наша задача была поймать его вчора, а токо, бач, не справились с ней. Ну, добре. Принимай пулеметный взвод и будем разом тех бандюг ловить.

Несколько дней Петро присматривался к новому командиру взвода пулеметчиков. Будто невзначай заходил к нему во время занятий. Парень не терялся. Толково и доходчиво объяснял бойцам устройство оружия, систему организации пулеметного огня в различных боевых условиях. И в свободное время находил чем заняться: то в футбол с бойцами гоняет, то книжку читает, то о Москве рассказывает. Слушают его хлопцы с интересом. Чистый тебе комиссар. А что? Почему бы и нет? Вон у них в эскадроне уже скоро месяц как нет комиссара. Может, поговорить с комиссаром отряда? Пусть к Мащенко присмотрится. Все же свой человек. А то пришлют чужого. Может, и хороший будет, а все же — кот в мешке.

— Обязательно поговорю с комиссаром, — решил Задорожний. — Буду в штабе отряда и обязательно до комиссара загляну.

Вскоре такой случай Петру представился: его вызвали в штаб отряда. Но разговора, о котором думал он, не получилось. В кабинете у командира, кроме его самого, комиссара и одного из начальников заставы, сидели еще трое военных. Двое постарше и совсем молоденький. Одного из тех, что постарше, Петро сразу узнал. Это был Дмитрий Медведев, его знакомый чекист, с которым не раз пришлось встречаться, когда за батькой Махно гонялись, считай, по всей Украине. Что-то знакомое показалось и в молоденьком. Где-то и с ним видиться доводилось. Только вот когда и где, вспомнить пока не мог.

— Ну что, товарищи, будем начинать? — спросил командир отряда, вопросительно глядя на сидящего с ним рядом незнакомого военного, видимо, старшего.

— Да-да. Начинайте.

— Губернская чрезвычайная комиссия обратилась к нам с просьбой помочь переправить на ту сторону двух товарищей для выполнения ответственного задания Центра. Переход через границу должен произойти тихо. Но в этих условиях всякое может случиться. Поэтому необходимо обеспечить надежное прикрытие. Эта задача поручается вашему эскадрону, товарищ Задорожний.

— Ясно, — кивнул головой Петро — Зробим.

— Переход планируется осуществить сегодня ночью вот в этом месте, — командир отряда указал на карте, что лежала перед ним на столе, точку. — Просил бы начальника заставы товарища Петренка и вас, товарищ Задорожний, высказаться по поводу места переправы.

Вначале говорил начальник заставы, убеждая, что место это самое подходящее. Им не раз уже приходилось пользоваться, встречая курьеров с той стороны и провожая обратно. Одним словом, лучше и не придумаешь.

— А ты что скажешь, товарищ Задорожний? — обратился к Петру Медведев.

— Место надежное, и мы, товарищ Медведев, постараемся тебя как следует прикрыть, когда туда пойдешь. Ну и стретить, конешно...

— Ага! — обрадовался командир отряда. — Так вы, оказывается, знакомы.

— Доводилось вместе батьку пасти, — усмехнулся чекист, подмигнув Петру.

— Ну, что ж, — отозвался начальник губчека, которого сейчас Петро тоже узнал, — старым товарищам и дело общее легче вершить.

...Ночью неподалеку от села Маринешты двое в мундирах румынских офицеров были благополучно переправлены на румынскую сторону.

— Товарищ комэск! — прошептал Мащенко, когда Медведев и его спутник миновали пулеметный взвод, находящийся в засаде. — А тот второй, пониже чистый тебе Алешка Булычев. Это ж надо!

— Тихо ты! — осадил его Задорожний.

...Лева ждал гостей с той стороны и в то же время очень хотел, чтобы их встреча состоялась как можно позже. Он почти был спокоен за то, что Медведев или какие-то другие люди с его поручением благополучно пересекут границу, что их встретит на этой стороне теперь уже все знающий Данька и доставит, куда нужно. А вот что будет дальше? Здесь он ничего сказать не мог. Вернее, он знал, что в Бендерах должно состояться совещание крупных чинов сигуранцы с Махно, на котором будет обсуждаться батькино предложение. Знал, что на этом совещании будет присутствовать и Дмитрий Медведев: ведь несколько дней назад он сам с таким трудом раздобыл ему пропуск на это совещание. Но он знал и другое: на этом самом совещании Махно должен быть убит. Убит чекистом Медведевым, но с его, Левкиной, подачи. Выходит, он предавал батьку? Впервые предавал. Нет, конечно, он и раньше был связан с чекистами, на них ведь они с Катей работали против той гадости, той подлости, которая творилась вокруг Махно. Но не против батьки, а за него. Теперь ситуация изменилась. Он должен помочь в убийстве. Пусть даже освященном и одобренном самыми высокими идеями и революционными авторитетами, но все же

в убийстве. Другого названия нет. А Григорьев? Да, атаман был убит махновскими командирами. Убит за дело, убит жестоко. И батька откровенно и вслух одобрял это убийство. Пусть. Но он, Левка, не хочет того, что должно произойти в ближайшее время. Не хочет убивать того, в ком видит не бандита, а человека. Пусть порой жестокого, с руками, запачканными кровью (у кого они сейчас после этой гражданской бойни чистые?!), но человека, человека с которым столько лет он жил и который ему верил. Да, да верил и продолжает верить. Может быть, даже единственному в целом мире, включая и собственную жену. Нет, он не может так коварно предать его. Как же жить? Как же он жить после этого сможет? Как сможет в глаза смотреть той же Кате, Веруське? Нет! Он не может этого допустить. Он должен, обязан что-нибудь придумать. Должен...

— Ну шо, Лева? — выйдя на крыльцо гостиницы, в одном из номеров которой они вчера поселились вдвоем, окликнул его Махно. — Будем трогать?

Лева поднял ставшую вдруг тяжелой руку. Стараясь унять дрожь в пальцах, достал часы-луковицу и долго всматривался в циферблат.

— Шо ты там разглядаешь? — буркнул Махно. — Сидай он на козлы та едем.

— Куда спешить, батька? — рассмеялся Лева, и смех его показался ему каким-то не его, козлиным, деланным. — Хай трошки подождут бояре. Никуда не денутся.

— Ты бач какой? — покрутил головой Махно. — И черт ему не брат, и ведьма не сестричка. Чи не рано храбришься?

Они тронулись. Ехали не спеша. Махно молчал, видно, обдумывал, как вести себя на том совещании. А Лева лихорадочно соображал, что ему делать, как поступить с батькой. «А что как сказать ему прямо: не ходи туда, там смерть тебя ждет?» — мелькнула мысль. Нет, не поверит и еще рассердится или поиздевается. Скажет: «Совсем ты, Лева, боягузом стал». Но что же, что делать? Вот сейчас они поднимутся на этот бугор с церквушкой, и дальше останется совсем немного. Всего несколько кварталов. «Если батьку убьют, — неожиданно пришла мысль, — я тоже не должен жить. Застрелюсь!» Он почувствовал, что ладони его стали мокрыми от волнения и, чтобы успокоиться, вытер о рубашку на животе, коснувшись сначала одной, а потом другой рукой спрятанного маузера. Да, так и будет. Другого выхода нет.

Лошади натужно тащили фаэтон, медленно взбираясь на гору. Преодолев подъем, они совсем остановились.

— Ой, лишенько! — вздохнул Махно. — Де ты таких дохлых коняг достал, Лева? Мабуть, у цыган купил? Га?

— Так гора ж... Гора ж он какая крутая, — оправдываясь, пробубнил Лева и в сердцах хлестнул кнутом по лошадям.

Стоявшие только что лошади рванулись вперед, увлекая за собою фаэтон по столь же крутому, как и подъем, спуску. Пытаясь сдержать прыть своих перепуганных коняг, Лева изо всех сил потянул на себя вожжи.

— Эт, за-ра-зы! — гаркнул он и в тот же миг услышал, как что-то под ним треснуло. Фаэтон резко клюнул передком, и Лева рухнул на землю. Он и сам не знал, как ему удалось в таком состоянии не выпустить вожжи из рук. Протащившись несколько метров по земле, он таки остановил тех проклятых коней и, поднявшись на ноги, увидел, что Махно в фаэтоне нет. Оглянулся назад и обмер: безжизненно раскинув руки, батька лежал посреди мощеной дороги. Выпустив из рук вожжи, бросился к лежащему.

— Нестор Иванович!

Батька слегка приоткрыл глаза и, коснувшись сочащейся кровью щеки, попытался приподняться.

— Лежи, лежи, Нестор Иванович! Я сейчас... Сейчас.

— Приехали, мать твою! — морщась от боли, выдавил из себя Махно. — Та пусти ты меня! Не лапай. Живой я. Бачиш, живой.

— Перевязать... Перевязать тебя надо, батька, — бормотал Лева.

— Ага, ага! Пожалел волк кобылу.

— Подсунули гады брычку...

— Подсунули, подсунули, — прикладывая к щеке носовой платок и играя желваками, вычитывал Леву Махно. — Разведка засратая! Будьте вы неладны...

А в это время в двухэтажном коттедже, что стоял за высоким забором, все было готово к совещанию. Давно прибыли представители центральной инспектуры, приехавшие из Бухареста. Накануне их старательно обхаживали руководители инспектуры города Бендеры, угощая лучшими коньяками и винами. Расстались со своими шефами далеко за полночь, оставив на попечение хорошеньких девушек. Теперь столичные гости имели слегка помятый вид, хотя хозяева и попытались поправить их здоровье понравившимся коньяком и крепким кофе. Среди собравшихся находился и Дмитрий Медведев. Имея документы на имя представителя разведки корпуса, дислоцировавшегося на территории оккупированной Бессарабии, он скромно устроился у окна. Приняв вид скучающего человека, которого непонятно зачем оторвали от очень важного дела, Медведев внимательно изучал собравшихся и еще раз проигрывал в голове ситуацию, которая вскоре должна была разыграться в этом зале. У стола, как раз напротив представителя центральной инспектуры пустовали два стула. «Видно, для Махно и Задова или кого-либо из его окружения'', — решил Медведев, осторожно поправляя на коленях папку, в которой среди бумаг был спрятан маузер. Батька опаздывал и опаздывал довольно прилично, что начинало раздражать высоких чинов сигуранцы. Наконец, старший из них не выдержал.

— Мне непонятно поведение Махно. Собрались, кажется, по его просьбе, а теперь приходится ждать. Может быть, этот сельский

парень заблудился в вашем городе, господин инспектор? — прищурив один глаз, спросил он у руководителя местной инспектуры.

Собравшиеся засмеялись и задвигали стульями. Лишь Медведев сидел в той же позе. В зале заседаний собрались высокие чины вражеской разведки, которая вдохновляла и поддерживала не только Махно, но и других атаманов и батек, которые, сумев унести ноги с родной земли, обильно обагренной кровью, нашли приют в боярской Румынии. Они должны были умереть вместе с Махно. Но раз того нет по какой-то причине, то это не означает, что он должен отпустить и этих подонков, этих бандитов, не меньших, чем сам батька. Возмездие должно состояться.

— Господин майор, — донеслось до него. — Вы там не уснули случайно?

В зале снова засмеялись.

— Нет, нет, господа, — Медведев четко произнес заученную фразу по-румынски, — я хотел бы доложить...

Он раскрыл папку и, выхватив маузер, выстрелил в представителя центральной инспектуры. Потом, методично расстреляв и остальных собравшихся, шагнул к двери. Всадив по пуле в бросившихся ему навстречу часовых, выскочил на крыльцо. В три прыжка преодолел двор и, упав на сидение пофыркивающего автомобиля, бросил:

— Вперед, Алешка!

Автомобиль рванул с места и понесся, петляя по улицам Бендер.

...Обескураженный Лева плелся следом за кипевшим от злости батькой, который шкандыбал, припадая на раненую ногу и в то же время не забывая награждать матюгами своего оскандалившегося начальника разведки. За квартал до особняка, в котором назначено было совещание, их остановил Данька.

— Шось там не тое, — прошептал он, испуганно моргая глазами.

— Какое? — скривил рожу, передразнивая его Махно. И в тот же миг из ворот особняка выскочили, стреляя на ходу, двое всадников, а следом за ними промчался автомобиль, полный румынских солдат.

— Тю! — изумился Махно. — И, действительно, шось не то.

— Та кажу ж вам, батька...

— Шо ты кажешь?

— Пострелялись там румыны, хай им грець. Не ходить туда.

— Отето да! — изумился Махно и даже присвистнул тихонько. — Шо ж оно теперь?

— Уходить надо! — понявший все, подсказал Лева. — Быстро уходить.

Они свернули за угол и, петляя по улицам, зашагали прочь от места, к которому со всех сторон спешили автомобили, скакали всадники.

...Глубокой ночью где-то вдали послышалось кряканье утки.

— Тихо! — прислушиваясь, насторожился начальник заставы. Кряканье повторилось снова и снова.

— Кажется, наши! — облегченно вздохнул начальник заставы. — Возвращаются.

Вскоре они увидели идущего с берега человека. Он шагал осторожно, тяжело передвигая ноги.

— Дмитрий! — тихо окликнул Задорожний.

— Я, я, — отозвался Медведев — Возьмите Лешку. Петро шагнул ему навстречу, но его обогнал Мащенко.

— Алешка! Булычев! — сдавленно вскрикнул он — Убит?

— Тихо, товарищ! — остановил его Медведев. — Ранен он. Осторожнее несите. Еле вырвались...

2

Весна в Нижнее Приднепровье обычно приходит не сразу. Она вначале будто чего-то выжидает, присматривается: «А как там? Все ли готово для моей встречи?» Бывает среди зимней, морозно-колючей стужи, что лютует накануне ее прихода, вдруг блеснет теплый солнечный денек, а потом опять захолодит, завьюжит. Так и знай — ее, весны-красавицы разведчик побывал. Огляделся вокруг да, видать, что-то не понравилось ему. Не по душе пришлось. Оттого и присоветовал хозяюшке своей не спешить с приходом. Вот она и не спешит. А куда ей? Зачем торопиться? Придет время — позовут ее, попросят. Весна же того, послеголодного года была на удивление дружной, без обычной неторопливой подготовки, эдакой ленивой, полусонной раскачки, свойственных, к слову сказать, и всему обитающему в этих краях люду. Как никогда ранее, вовремя оросили андреевские земли обильные дожди, сменяемые ласковыми объятиями нежаркого солнца. Легкий ветерок, озоруя, шевелил зеленые кудри озимых, словно торопя их быстрее пойти в рост, набраться силы. Казалось, сама природа чувствовала свою вину перед людьми за те страдания и муки, которым подверглись неизвестно за какие грехи больше всего те, кто творил самое что ни на есть богоугодное, святое дело — растил хлеб насущный. Земля, судя по набирающим силу хлебам, обещала, наконец, принести в селянские хаты долгожданный достаток, который мог возродить давно утерянное, забытое в большинстве хлеборобских семей ощущение сытости и хоть как-то ослабить, приглушить неутихающую боль, тоску по родным и близким, унесенным то ли прожорливым пламенем войны, то ли проклятым удавом — голодом. Много их, ох, много обрело вечный покой на Казацкой могиле. Но еще больше остались безымянными лежать вдали от родимых порогов, обагрив своей разгоряченной взбунтовавшимся духом кровью чужие, незнакомые им поля. Уцелевшие же, избежавшие роковых взмахов косы костлявой смерти, теперь низко склоняли головы над своими полями и, поливая родную землю слезами и потом, трудом вымаливали ее прощения.

С утра до позднего вечера трудился и Никита. Нет, ему не пришлось испытать мук голода, думать о том, где бы достать хоть горсточку зерна для какого ни на есть супа или завалявшуюся корочку хлеба. Не пришлось хоронить родных и близких. Но он постоянно видел страдания односельчан, встречал полные голодной тоски глаза угасающих детей, и собственный кусок хлеба, в достатке водившийся в его хате, просто не лез в горло. Это была настоящая болезнь. Вначале Никита не придал ей значения. Подумаешь, не хочется есть. Придет время и он с таким еще аппетитом навернет кусок душистого, пахнущего чесночком с мясными прожилками сала, что будь здоров. Слава богу, на горище его хватит.

Есть и хлеб, и сало, и до сала: в погребе до сих пор стоят не тронутые батькины сулеи с самогоном, есть там и капусточка соленая, и огурчики. Никита даже глаза зажмурил, ожидая, что вот-вот придет аппетит. Но это не помогло. Память упрямо возвращала его к событиям того злосчастного вечера.

После таинственного исчезновения Марийки Никиту одолела тоска. Сам себе он казался всеми забытым, маленьким и беспомощным. Такое с ним бывало, но уже очень давно, где-то в далеком-далеком детстве. Тогда он спешил в хату, чтобы прижаться лицом к маминой груди, ощутить, как нежно поглаживает его волосы ее такая теплая рука, услышать ее ласковый шепоток:

— Ну, чого? Чого ты, мий дурненький? Хто обидыв мое сонечко, мое дитятко? Ось мы йому зараз поганому...

Под это волшебное прикосновение материнских рук, ее шепоток выливались вместе со слезами те детские обиды.

Но ведь то было тогда. Теперь уже давно нет мамы, которая, не выдержав свирепости отца, сатаневшего в гневе, ушла куда-то за своим духовным пастырем, осиротившим Никиту и весь Андреевский приход. Ушла и, если верить Петру Задорожнему, погибла от руки какого-то бесшабашного махновца. Так ли, а может иначе, но только нет уже его маманьки. Где-то нелегкая носит и папашку, если удалось ему, ставшему лихим и лютым атаманом Свистом, избежать красноармейской пули. Да и он совсем не тот, что был. Помнится, в детстве причину каждой своей обиды он всегда искал в ком-то другом. Сейчас же все чаще стал копаться в самом себе, решая одну за другой возникающие задачи: «Що ж я не так зробыв? А може, треба було якось инакше?» Вот и теперь, после ухода Марийки Никита мучился сознанием собственной вины. Оно не давало ему покоя ни днем, когда он думал о ней, ни ночью, когда он обижал ее во сне, обзывая самыми последними словами. Просыпаясь, он злился на себя. Как бы защищаясь от этой злости, начинал искать недостатки у Марийки, ее вину в их разрыве. В один из таких часов тревожной бессонницы он вспомнил об оставленном за иконой пакете. Вспомнил и вскочил с постели: «Украла! Марийка украла гроши и втекла».

Никита кинулся к иконе. Нет. Пакет лежал на том же самом месте нетронутый, только пылью припал. Размотав стягивающую его бечевку, Никита достал револьвер и, подержав его в руке, осторожно положил на стол. Все еще не желая расставаться с придуманной им причиной ухода Марийки, которая, как показалось вначале, снимала или уменьшала его собственную вину, тщательно пересчитал деньги, прощупывая пальцами каждую бумажку. Пересчитал кольца, выстроив их в длинный ряд на столе. Все было на месте.

— Ну и хрен с ней! — сердито буркнул себе под нос.

— Що кажете, Микита Оверкович? — послышался из кухни голос батрака Семена.

— Ничого, ничого! — торопливо пряча за пазуху пакет и его содержимое, отозвался Никита. — То я так. Сам з собою. А ты, Семен, робы свое дило.

— Ага! — стоя в дверях, улыбался по-кошачьи Семен. — Бачите, сами з собою говорите. Чого це?

— Ну а с ким же? — буркнул Никита, разглядывая чудакуватого батрака. — Може, з тобою?

— Скажете! Чи ж у мене час есть?

— Так с ким же?

— А чи дивчат красивых мало? Он Ганка Дротова, дочка убитого дядька Ивана. Чом не красуня? И все коло ваших ворит ходыть та ходыть.

— И правда! — обрадовался Никита. — Скажу, шоб заходыла до нас. Хоч поприбырае та борщу нам з тобою наварыть.

— Та борщу мы б и сами...

— Так чого ж тоби?

— Гы-гы, — покрутил головой батрак.

— Чого ты? — насупил брови Никита.

— Ще й пытаете, хазяин! — оскалился Семен.

— Э-э-э! Дурне ты теля, — рассердился Никита. — Иды вже соби. До роботы берысь. Он скотына ревмы реве.

После того разговора он таки пригласил Ганку к себе.

— Будешь варить нам и прибырать, — разглядывая красную от смущения девушку, бубнил Никита. — А я тебе не обижу. Платить буду. Чи грошима, чи хлебом...

— Отакое кажите, Микита Оверкович, — отмахнулась Ганка. — Я й так прибирать буду и готуватыму, що треба.

— Чого там так? Робота и есть робота. Вона дарма не робыться. За все платить треба.

Он хорошо знал, что старая Дротиха, оставшись с кучей малых детей одна после смерти мужа, ушедшего в армию батьки Махно и где-то в Донецком краю сложившего голову, испытывает большую нужду. И раньше приходилось понемногу делиться с ней зерном, которое она просила в долг. Давал ведь, заранее зная, что вряд ли получит обратно. При этом сам удивлялся, что не испытывает никакого сожаления. Как-то даже приятно было, что к тебе в хату заходят люди и ты можешь чем-то помочь. Такого с ним раньше не бывало. Теперь он тоже будет помогать, но уже расплачиваясь за Ганкину работу. Хотя какая там работа! Что же касается тех намеков, которые делал придурковатый Семен, то Никите и в голову такое паскудство не приходило. Правда, ему нравилась Ганна, но он также хорошо знал, что по вечерам она встречается с соседским Николаем Михайленко, а чужая девушка для Никиты теряла всякий интерес.

С приходом Ганки в хате стало чище и уютней и еда была получше. Но все это мало радовало Никиту. Он чувствовал себя, как на базаре, где всего много, но все это не твое, чужое. Ты можешь

купить все, что захочешь, если у тебя есть деньги. Но, имея их, то же может сделать и любой другой. А ему так хотелось, чтобы и уборка в хате, и борщ, и все-все делалось для него, с мыслями о нем и ни о ком больше. В хате по-прежнему не было родной души, которая смогла бы вдохнуть в нее жизнь, как это сделала когда-то Марийка. Никита пытался забыть ее, найти себе другую. Он ломал в себе стыдливого и застенчивого человека, тайно жившего в нем все это время, который боялся подойти к девушке, а тем более заговорить с ней. Решал, что будет смотреть на них, как на обычный товар, выставляемый для обозрения на базаре, считая главным для себя выбрать то, что получше. Но время шло, а нужного выбора сделать так и не удавалось. Марийка, с детства полонившая его сердце, никак не хотела расставаться с ним.

Где она была, куда подевалась, никто не знал. Он искал ее и в ближних селах, и в Александровске, который теперь назывался Запорожьем. Спрашивал у людей. Но никто толком ничего сказать не мог. Одни говорили, что ее уже нет на белом свете, и черные вороны давно разнесли по степи ее косточки. Другие считали, что Марийка живет где-нибудь в Киеве, Харькове, а то и в самой Москве вместе со своим братом. Петро же, как думали многие в селе, если остался жив, гоняясь со своим отрядом за махновскими хлопцами, определенно должен был выйти в большие начальники. А уж он-то для своей сестрички на хорошего жениха как-нибудь расстарается.

— Видать, плюнула девка на Микиту и на увесь чудернацкий род Дулин, — услышал однажды, как делился своими мыслями Тимофей Пересунько с Яковом Стешенко.

— А шо ж! — согласился его дружок. — Найшла соби дивка доброго хлопця, та й живе из ним припеваючи.

От этих слов Никиту в жар бросило. Хотелось обложить матом болтливых дядек. Но сдержался. Отошел молча, скрипнув зубами и проклиная в который раз Петра Задорожнего, разрушившего так безжалостно своим приездом их с Марийкой счастье.

И потом много разного говорили о ней люди. Только ничему этому не верил Никита. Знал он, ноющим сердцем чуял, что жива его Марийка, что любит его и где-то страдает, как и он сам. А чтобы укрепиться в этом своем чувстве, порешил затеять он ремонт сиротливо стоящей и давно пустующей хаты Задорожних. Благо материала для такого дела на дворе было достаточно: еще покойный дед Савва натащил всяких бревен и досок, да и отец его кое-что добавил, готовясь к постройке мельницы.

Вначале, выбросив давно лежавший на земле тын, поставил забор-штакетник, такой же каким был огорожен и их двор. Подумывал уже и о том, чтобы сломать старые глинобитные стены и выстроить совсем новую хату, но потом все же решил этого не делать.

— Имение розширяешь, Оверкович? — поинтересовался както долго наблюдавший за работой Никиты Тимофей Пересунько.

— Яке там розширение, дядьку Тимофей! — поправив наползающий на глаза картуз, сдвинул плечами Никита. — Бачте, хата пропадае сусидска. Шкода. А в мене он усяка всячина без дила лежить. От и взявся...

— Ну да, ну да, — согласно покивал головой Пересунько.

— Воно, канешно, так, — отозвался подошедший к ним Пересунькин сосед Яков Стешенко. — Стоить соби ця имения, наче самотний мертвый серед хаты.

— Та шо ты такое кажешь, Якове! — замахал на него руками Пересунько

— А шо? — сдвинул плечами Стешенко. — И помогты немае чим и вынесты никому. Чи не так? Авжеж. Ну кому вона, скажить на мылость, потрибна зараз оця сама имения? Та на неи ж горобци навить и ти бояться сидати: от-от стина впаде.

— Ну да, ну да, — вздохнув, согласился Пересунько. — Мабуть, нову дешевше було б поставыть, аниж цю до ладу довесты.

— Не, дядько Тымофий, — покачал головой Никита. — Хай нову соби хазяины ставлять, як повернуться, а я цю трохы пидликую.

— А чи ж повернуться, скажи на мылисть?

Никита немного помолчал, хмуря широкие, кустистые, как у отца, брови. Потом, неопределенно сдвинул плечами.

— Хто ж его знае? Токо хай стоить соби и нагадуе, шо когдась тут жили люди.

— Хорошие люди, — добавил Стешенко.

— Ну да, ну да, — поддержал его сосед.

Забор Никита ставил сам. Когда же подошла очередь крыши, опять появились Пересунько и Стешенко.

— А чи ж вона, така робота, скажи на мылисть, одным робиться? — обращаясь как-будто к своему дружку, но так, чтобы слышал его и Никита, спросил Стешенко.

— Ни-ка-да! — откликнулся Пересунько — Завсигда гуртом хаты ставились. И батько казалы, и дед згадував...

Никита усмехнулся про себя, слушая разговор двух дружков. Ему было приятно, что соседи перестали сторониться его. Такого он раньше не помнит. Обычно в их дворе редко скрипела калитка. Чего греха таить, в селе не любили ни покойного деда Савву, ни его сына, а Никитиного отца Оверка. Не зря и прозвище им такое обидное дали — Дули. И не потому ли всякие были и небылицы о них рассказывали. Взять, скажем, смерть деда Саввы. Кто знает, как ушел он из жизни, как покинула небезгрешное тело его душа? Может, сама выпорхнула старой, посеревшей от возраста вороной, уставшей от бормотания выжившего из ума скупердяя, как казалось в детстве Никите, а может, сынок родненький помогал вознестись на небеси своему папашке. Больно и обидно такое признавать. Но куда денешься? Ведь душил же батько деда подушкой, когда тот начинал смеяться своим страшным безумным смехом. А разве не отец его, Оверко Саввич, вместе с дядькой Иваном

порешили того красноармейского командира, когда махновцы вместе с красными шли брать Бердянск? Не они были в Дибровском лесу, когда с чекистов живых шкуру сдирали? А те гроши и кольца, которые папашка ему привез и в пакете за иконой оставил, где-нибудь по дороге случайно найдены?

Нет, что ни говори, а у людей, видно, были причины сторониться Прудкосвистов, обходить их дом стороной. Только он-то, Никита, чем виноват? Его вина какая? Правда, говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Так. Но бывает же и по-другому. Иной раз так оно закотится, так его занесет, что и не разберешь, чье оно, с какого дерева сорвано. А у людей разве не так? Разве не бывает такого, чтобы в хороших семьях выродок родился? Ого! Сколько хочешь. Вон хотя бы в их Андреевке можно таких немало найти. Тот же дядька Сидор Чуб и жена его Федора — мухи бывало не обидят. Всегда приветливые, обходительные. А сын их Кирило разве такой же? Да он же аспид из аспидов, душегуб, каких свет не видел. Даже Левки Задова живодеры и те про Кирьку и его «геройства» громко говорить боялись — только шепотом. Да и то не каждому. Говорят, дядька Сидор с теткой Федорой оттого и на тот свет рано отправились, что сыночек таким у них удался.

— Люди добрые, — говорил будто бы старый Чуб перед смертью, — одного прошу у вас. Не ховайте мене на Козацкий могыли. Не достойный я того места святого, бо ирода на свет пустил.

Такое дело. А Кирьке хоть бы что. Где его сейчас нечистая сила носит, никто не знает. Только добра от него ждать никому не следует. Раз руки свои кровью чужой запачкал, до конца жизни не отмоет. Грех тот до самой могилы за ним ходить будет и проклятьем на весь род его ляжет.

Проклятьем ляжет... Выходит, и на нем, на Никите, отцовские грехи сказываться будут? Может, и уже они сказываются? Вот мамка тогда ушла от них, а теперь Марийка от него... «Гос-по-ди! — вздохнув тяжело, подумал про себя. — За шо ж это на меня такая кара господня? Я ж не то людыны, а твари живой не зобидел. Не зобидел... Правда, по шпакам з рогатки стреляв. И стекло толок. Хотив из свету звести Турка, собаку Задорожних, щоб не бигав за Марийкою, не мишав удвох нам з нею побуты... То ж было, але давно, ще в дытынстви...» Да, и он не безгрешный. Но не зря же говорят, что один бог без греха, а все люди грешные. Грешные, но счастья их бог не лишает. Каются, видать, и грехи им прощаются. Вот! Каются. Так и он... и он готов каяться. И уже не раз каялся в том, что обижал Петра Задорожнего, который таки по-доброму относился к нему. Заступался за него не раз. А его, Никиту, злило, что не он первый, не он верховодит хлопцами, не к нему они льнут. А разве не каялся он в том, что подался в повстанческую армию батьки Махно? Ого! Еще как. Просил у господа, чтобы вернул его в родную Андреевку. Клялся-божился, что больше ни к белым, ни к красным, ни к батьке, да и ни к кому другому не пристанет и смертоубийное оружие в руки не

возьмет. Может, тогда, во время болезни, когда свалил Никиту тиф, косивший батькино войско, и простил его господь, послав для спасения грешной души Марийку? Она его у смерти отняла и выходила. А Марийка не знаком ли божеского прощения была? Вот она штукенция какая! И сама она обликом своим чистым и глазами печальными — одна святость, и имя ее библейское. Как же... как же он раньше не догадался? Почему своей дурной головой не подумал, что то знак ему был небесный? Прогавил! Поверил ему всевышний, и он, про все забыв, уши развесил. Ну, а нечистый не спит, не зевает. Он тут как тут со своими искушениями: и наган, и гроши отцовскими руками подсунул. И он, дурень, попался. Попался... Опять попался! Нет, какая-то вражья сила определенно водит им. У Никиты мурашки пробежали по спине от страха.

— Цур, цур, цур мене! — прошептал он, бросив настороженный взгляд на Пересунько и Стешенко. Но те, будто Никиты вовсе и не было рядом, вели спор о том, как лучше крышу крыть.

— Шо ж робыть? — задавался он вопросом, лихорадочно обдумывая, как обойти, казалось, неминуемо надвигающуюся погибель? Как избавиться от мук, которые рвут на части, терзают его душу, наверняка ставшую похожей на старую, растрепанную и грязную ворону?

— Выкину... зараз же выкину того нагана паскудного к хренам собачьим. Зараз же пиду и кину у нужник. Нехай у говно стреляет. И гроши туда ж. Будь они неладные.

Он почти бегом бросился к хате и, схватив пакет, направился к стоявшему в глубине сада нужнику. Не раздумывая, швырнул наган, который, булькнув, погрузился в нечистоты. Собрался то же самое сделать и с остальным содержимым отцовского пакета, но передумал:

— Нагану, хай ему грець, туда и дорога. А гроши (нашо ж им пропадать?) краще людям за роботу отдам. Он же прийшлы дядьки. Сами прийшлы... Сами? А може, то мени знов знак господний? Бо-о-о-жже мылостывый! Хвала тоби, царю небесный! Сохраны мене й помылуй.

Он просветленным взглядом окинул продолжавших о чем-то спорить Пересунько и Стешенко и предложил:

— Мо, разом давайте спробуем, сусиды? Харчи мои.

— А чого ж, скажить на мылисть, не спробовать? — тут же отозвался Стешенко. — Та ще й з харчамы. Як ты, Тымко?

— Ну да, ну да, — закивал Пересунько. — Канешно, спробуем. Та и харчишки лышнимы не будуть. Он зима ще токо на пориг ступае, а в коморах уже пусто. Бида, хлопцы, буде.

Беда и вправду тогда приближалась. Реквизиции и продразверстка до предела истощили все резервы, в том числе и неприкосновенные запасы «на черный день», которые всегда ранее оставлялись осмотрительными селянами. Те же минимальные посевы, которые все же удалось сделать между непрерывно гремевши-

ми боями, угнетенные засухой, не в состоянии были восполнить потери. Хлебные закрома быстро пустели. Бескормица понуждала селян к массовому убою скота. Но и это не спасало положение дел. Неотвратимо надвигался голод. Его первые приметы обнаружились в потухших, стыдливо опущенных глазах односельчан. Тогда, увлекшись ремонтом хаты Задорожних, Никита, казалось, позабыл все свои душевные тревоги. Хотелось до морозов побольше сделать, и он спешил сам и торопил своих помощников. В самый разгар работы Ганка позвала их обедать.

— Ну шо ж, люди добрые, обид так обид, — бросил он и, спустившись по деревянной лестнице вниз, смахнул рукавом старенькой фуфайки капельки пота со лба. — Гайда до столу.

Сказал и направился к своей хате. Дойдя почти до самого крыльца, замедлил шаг и оглянулся. Пересунько и Стешенко, которые обычно резво поспешали за ним к столу, теперь топтались на месте, о чем-то перешептываясь.

— Чого ж вы, дядько Тымофий?

— Та шось сьодни не того, — почесывая затылок, промямлил Пересунько. — Не того, значится...

— Не голодные мы покедова, — пришел ему на помощь Стешенко.

— Ну да, ну да. Вы вже идить, Оверковычу, а мы якось той... пизнише. Чи, мо, краще додому з собою визьмемо.

— Ага! — обрадованно поддержал друга Стешенко. — И чого ото, скажить на мылисть, мы будемо коло столу тертыся? От-от мороз ударыть. Идить, идить соби, Оверковычу, а мы з Тымофием вже цей край закрыемо.

Недоуменно сдвинув плечами, Никита вошел в хату и, сполоснув руки, сел к столу.

— О! А ты чего не сидаешь? — спросил он Ганку, которая продолжала возиться у печки.

— Та нехай я вже потим, дома пообидаю, як прыберусь, — откликнулась девушка.

— Вы шо зговорылыся сьогодни?

— Чого це? — убирая миску из-под борща, спросила Ганка.

— Токо шо дядьки Тымофий и Яков одмовылысь обидать, а тепер от и ты. Мо, обидылысь?

— И таке вы скажите, Оверковычу!

Никита поднял голову и, успев заметить Ганкин голодный взгляд, который она никак не могла оторвать от надрезанной хлебины, что красовалась посреди стола, положил ложку. Боже! Как изменилась девушка: одна кожа и кости, щеки запали, под глазами большие синие круги. А сами глаза — раньше всегда веселые, смеющиеся, теперь будто потухли, перестали светиться изнутри и все время опущены вниз. Как же так? Когда это случилось? Как же за своими заботами он не заметил этих перемен, которые происходят с близкими ему людьми?

Никита молча встал из-за стола, взял чистую миску, наполнил ее борщом, стараясь ополоником зачерпнуть погуще, отрезал кусок хлеба и, положив рядом с тарелкой деревянную, расписную ложку, бросил:

— Сидай и беры ложку.

Ганка продолжала стоять, опустив голову.

— Сидай, кажу тоби! — рассердился Никита. Ганка медленно опустилась на лавку, стараясь не глядеть на еду.

— Беры ложку, я тоби сказав! — все больше обозляясь на себя, приказал Никита.

Ганка послушно взяла в руку ложку, но, не донеся ее до миски, выронила и, закрыв лицо руками, разрыдалась. Никита носился по хате, предлагая девушке то кружку с водой, то рушник, но ничего не помогало.

— Ну, чого ты? Чого? — бормотал он, ругая на чем свет стоит и ревущую Ганку, которая, как ему казалось, ни с того, ни с сего расплакалась, и себя за то, что прицепился к девушке и, видимо, чем-то все же ее обидел.

Откуда было знать Никите, что последняя горсть зерна была брошена Дротихой в суп уже больше месяца тому назад вместе с мясом, а вернее шкурой старой дворовой собаки? Мог ли он догадываться, как несколько раз старательно вываривала, присоливая собственными слезами, Ганкина старуха-мать кости своего недавнего сторожа, напрасно надеясь получить хотя бы какое-то подобие бульона, чтобы обмануть обложивший со всех сторон их убогую хату голод и немного поддержать начавших пухнуть своих голопузых несмышленышей? Зато это хорошо было известно самой Ганке. Каждый раз, возвращаясь от Прудкосвиста, она буквально с порога чувствовала на себе голодные взгляды своих сестренок и братишки. Вытягивая свои тоненькие утиные шейки, они, казалось, ощупывали каждую ниточку потертой, стираной-перестираной маминой кофты, в которую наряжалась старшая сестра, отправляясь «на добычу» — так называла ее работу у Никиты мама.

— Добытчица наша присла! — слышался слабенький голосок трехлетнего Василька. Малыш еще плохо выговаривал некоторые слова, а это самое «добытчица» произносил на удивление четко и ясно. Другие, старшенькие, были сдержаннее. Они молча наблюдали за сестрой, приподнявшись над соломенным ложем в дальнем углу хаты. А Василек, ее, Ганкин, любимец так и рвался к ней.

— Добытчица присла! — протягивая к ней ручонки, лепетал малыш. — Чуете, мамо? Добытчица...

— Та чую, чую, верескун, — откликалась мать, которая вот уже неделю из-за слабости почти не вставала с кровати. — Дай хоч руки сестричке помыть...

Ганка хорошо понимала, чего ждут от нее в хате. Раньше она действительно могла кое-чем порадовать семью, принося то торбиночку зерна кукурузы, то кусок гарбуза, оставшихся от корма

свиньям, то краюху хлеба, то полдюжины картофелин. Но то было раньше. А неделю назад Никита заколол кабана и свинью, оставив в свинарнике лишь трех поросят, сказал:

— Нема чим годувать.

Ну, разве Ганка могла сказать своему хозяину, что вместе с прожорливыми свиньями она хоть немного подкармливала и всю сидящую на ее шее кагалу? Теперь же удавалось приносить домой разве что кусок хлеба. Да и то не всегда. А что он, этот самый кусок? Только раздразнит малышню, которой после тех крох еще больше есть хочется. О маме и говорить нечего: она и свои крошки норовит детям отдать. Совсем обессилила их мамка. Ганка еду готовит Прудкосвисту и его работникам, а у самой голова кругом идет. За стол ее со всеми Никита садит, да все ее борщ и жаркое нахваливает. Она и сама знает, что это самое куховарство неплохо у нее получается. Любит она готовку всякую. И сама бы ела за милую душу. Только не идет ей та еда. Не идет, и все тут. Как вспомнит, что в хате ребятня с голодухи пухнет, а мама уже и подняться не может, каждая ложка поперек горла встает. А вчера ночью, когда голопузые поснули и ее, Ганку, в сон клонить стало, услышала она, что мама ее зовет. Вначале подумала, что показалось, что это ветер дверью скрипнул или во сне привиделось. Но нет, и вправду маманя кличут. И голос вроде не хворый, не слабый, а, как раньше, строгий, которому и папаня покойный перечить не решались.

— Ганнуся! Чуеш, Ганнусю!

Подхватилась с лавки и, прошлепав по холодному полу босыми ногами, присела на родительскую кровать.

— Чого вам, маманя? — спросила, поправляя одеяло. — Може, водычки?

— Не. Не треба. Уже ничого не треба...

— Та шо вы такое балакаете, ма!

— Годи, дочко, годи. Не будем про це. Инше у мене дило до тебе. Бильш сурьезне та й важке.

— Кажить, мамо, я не боюся.

— Не боишься? — глаза матери светились каким-то необычным светом. Будто она хотела видеть все, что делается у дочки на самом донышке ее души. — Не боишься, дочко?

— Не боюсь.

— И зробыш усе, як я скажу?

— Зроблю, — выдержав ее взгляд, ответила Ганка, чувствуя, как сердце ее стало стучать все быстрее и быстрее. — Кажить, мамо. Все зроблю.

Мать помолчала, как видно, собираясь с мыслями. Брови ее сошлись к переносице, губы сжались, отражая душевную борьбу, которую приходилось ей вести в эту минуту.

— Ты памьятаешь, як заходыв до нас Федот Юнацкий?

— Матрос, вы казали?

— Вин.

— Памьятаю.

— Так от. Розказував Федот, шо голод у городи вже давно людей косить. Теперь и наш час настав. Весны багато хто вже не побачить, та й до снигу, мабуть, не вси доживуть таки, як я...

— Та шо вы таке кажите, мамо!

— Мовчи! Я знаю, що кажу. Так от. Шоб врятувати найдорожче, люды на все йдуть. Навить на страшне. Голод, вин вбывае все людське. И люды, и звири однаковиють: хто кого поцюпыть, той и выживе. Он у Перуни, чи десь там у иншому сели, казалы, шо маты дытыну хвору жисти поришила, щоб нею инших голодных диток нагодуваты...

— О, боже праведный!

— Слухай, слухай! Ты слово мени дала...

— Ма-мо! — прошептала Ганнуся, чувствуя, как волосы на голове ее становятся дыбом и сердце останавливаетя. — Ма-моч-ко риднесенька!

Ей казалось, что сейчас маманя произнесет слова, после которых они уже перестанут быть дочкой и матерью, а станут кем-то или чем-то совсем иным, чужим и страшным, напрочь лишенными той родственной близости, которая доселе объединяла их, делала одним целым, живущим единым организмом под святым названием Семья. Что она может сказать? Что потребует от нее? Ганка не знала. Но почему-то ей казалось, что ей предстоит лишить жизни одну из сестренок. А может быть, Василька? Нет! Нет! Нет! Она этого никогда не сможет! Никогда не решится. Ганка чувствует, как ужас охватывает всю ее, сковывает холодеющее тело, а в душе зарождается неприязнь к этой женщине, которая только что была для нее самым родным человеком, а теперь вдруг стала отдаляться, превращаться в незнакомую и почти что чужую, изменяя, переворачивая с ног на голову весь мир, который жил в ее душе.

— Ни, мамо! — выдохнула она из себя, стараясь опередить, не дать вырваться, прозвучать тем роковым словам, которые, как казалось Ганке, вот-вот готовы были слететь с материнских уст. — Ни! Ни, мамочко! Краще мене,.. мене визмить, мене вбыйте. А Василько, дивчатка хай живуть. Чуете...

Выдохнув из себя эти слова, которые рождались где-то в глубине, на самом потаенном донышке ее юной души, Ганка в изнеможении упала на мать и замерла в ожидании своего приговора. Она сказала все, выговорила для себя все, что могла, а больше ее ничто не страшило. Теперь ей казалось, нет, она была полностью уверена, что готова на все, что прикажет ей мать. Не было ни страха, ни боли душевной. Только безразличие и слабость, немощность во всем теле, как во время той страшной болезни, которая приключилась с ней однажды и от которой она едва не умерла.

Мать молча лежала без движения. Даже как-будто дышать перестала. Ганка медленно приподнялась и боязливо прислушалась. Мать, не мигая, смотрела на дочь. Лицо ее, высушенное голодом, освещенное голубоватым лунным светом, который проникал

сквозь марлевую занавеску на окне, казалось безжизненным. Плотно сжатые губы, вытянутые в одну неподвижную линию и обтянутые дряблой, неестественно желтой кожей, резко выпирающие скулы делали ее похожей на давно умершую старую бабку, которую хоронили, когда Ганка была еще совсем маленькой. Но мама была жива. Об этом говорили ее глаза, внимательно глядевшие на Ганку. Вот они сузились, сощурились, уголки губ дрогнули, и мать, глубоко вздохнув, заговорила:

— Убить, кажешь? Ни, дочко! Я такого не зможу. Чуешь? Не зможу звиря у серце свое пустыть. Бог дав мени народыты вас, на землю пустыть, а вже з неи прибыраты, то комусь иншому доля выпаде. Таким уже Господь свит сотворыв для людей...

— А як же то у Перуни мати дитя свое...

— У Перуни? То не мати... Таку и сукою не назовеш. Вона просто нелюдь. Так, нелюдь и все... Себе ж за те кляну, шо на землю, у свит вас пустыла, а от на ноги поставить, до ладу довесты не змогла. Сылы, сылы мени бог не дав. Тоби це, дочко, тоби, Ганю, робыты, просты мене гришную...

— Та за шо?! За шо ж, мамо?! Вы ж ище поправытесь, устанете. Ось тильки снигом земля укрыеться, и вам зразу теплише, легше стане...

— Ни, доню, — вздохнув, покачала головой мать. — Скоро пиду од вас... Зовсим пиду...

— Мамо...

Ганка и сама не знает как и почему, а только рассказала про тот ночной разговор с матерью Никите. Выслушав девушку, он долго молчал. Знал, что старая Дротиха и вправду долго не протянет. Вон сколько людей голод уже забрал здоровых и сильных. А что говорить о таких хворых и немощных, как Ганкина мать и других, что лежат, не вставая, в своих хатах? Приберет их Господь. Как пить дать, приберет. И ничем здесь, видно, уже не поможешь. Но вот Дротова малеча... Как с нею быть? Ведь само собой понятно, что одной Ганке их не вытянуть. Что ни говори, а трое ртов. Хоть маленькие, а каждому дай.

«От тоби раз! — вертелось в голове. — Воно мени треба чуже горе?»

Барабаня пальцами по столу, он поднял глаза. Выплакавшись, Ганка сидела, закрыв лицо руками.

«А може, це мени знак? — мелькнула вдруг мысль у Никиты. Може, це мени Господь знак подае. Шоб испытать мене, проверить? Ой, лелечко!»

Он даже барабанить по столу перестал, вслушиваясь в тишину, наступившую в хате. Будто ожидал какого-то еще подтверждения правоты своей догадки. Медленно прошелся взглядом от окна в угол, где висела икона Пресвятой Богородицы. Долго всматривался в лик матери всевышнего. Было мгновение, когда ему показалось, что малеванные краской глаза ожили, засветились каким-

то особым светом. Никита крякнул и растерянно заморгал, переводя взгляд на Ганку: не заметила ли чего такого дивного и она. Нет. Девушка все так же сидела неподвижно, закрыв лицо руками, мокрыми от слез. Никита осторожно снова глянул на икону. Взгляд божьей матери был неподвижен и безмолвен. Показалось? А что если все же нет? Если еще раз ему Господь знак к спасению души подает. Может, в последний раз...

— Ну, ось шо, Ганка, — произнес он голосом, показавшимся ему неприятным и чужим. Он прокашлялся и вновь стал для успокоения барабанить пальцами по столу.

— Ось шо тебе скажу. Не треба плакать. Од того ани у Днипри, ани у мори воды не прыбавыться. Будем шось думать, а токо малечи твоей с голоду померты не дамо. От так.

С того дня Никита регулярно заставлял Ганку садиться за стол вместе с ним. Она вначале сопротивлялась, но он настоял на своем, объясняя ей:

— Сам лыше вовкулака исть та собака кистку гризе. Люды мають усе по-людськи робыты.

Он регулярно снабжал Ганку и продуктами для семьи. Правда, временами червячок жалости к своему добру начинал подтачивать его изнутри. Но он загонял его подальше. Хорошо, что сейчас он не испытывает нужды. Но ведь и хлеба, и других продуктов у него могло и не быть. Вот забрали же, все выгребли продразверстчики с комбедом у дядьки Шелеста. Его же потом еще и к стенке поставили, когда яму с зерном нашли. Махновским агентом назвали и хлопнули. Добре потрусили и отца их школьного учителя Миколы Миновича, да и других справных хозяев. «Добрые» люди подсказали, видать, где и что спрятано было. Разве в селе просто что-нибудь утаить друг от друга? Теперь многие богатеи вместе с голотой бедуют. А его, видишь, не тронули. Почему, спрашивается? Не знали, где они с папашкой зерно спрятали перед тем, как к батьке Махно податься? Может, и так. Только может и по-другому быть. Чего греха таить, разные в их Андреевке люди-человеки. Один, теряя по какой-то причине свою корову, молит бога, чтобы и соседская окочурилась. Другой чужую беду разделить старается, последним поделиться готов. К таким и тянутся сельчане. Идут, чтобы душу облегчить, когда накопилась там всякая всячина. А коль беда какая случается с человеком, то и ее разбирают по кусочкам. Какие у него соседи, сказать трудно. Но то, что не спадлючились, не скурвились — это факт. Как же им не помочь сейчас?

Так для себя решив, стал он потихоньку подкармливать и Пересунькину со Стешенковой семьи, приговаривая:

— Хоч потроху, та вже якось перебидуемо разом. Дасть бог, до весны дотягнем, а там — ось воно вже лито з житом.

И таки перебедовали. Правда, не все дожили до желанной весны. Вскоре после Рождества преставилась старая Дротиха. Уснула вечером, помолившись, как всегда, а утром Ганка мать уже

холодной нашла. Отнесли ее на Казацкую Могилу и недалеко от Задорожних похоронили. Пересунько со Стешенко гроб соорудили из досок, что Никита им дал. Подошли Федот Юнацкий, другие соседи. Вместе покойницу земле предали, помянули чем бог дал и сирот утешили.

Тогда-то у Никиты и думка зародилась; если люди собираются, когда беда, горе к кому-то приходит из соседей, то почему бы не быть им вместе, работая на земле, выращивая хлеб?

— А шо ты думаешь! — почесывая затылок, рассуждал Стешенко. — Коров поилы, коней теж майже всих переризалы. Чим орать, скажить на мылисть?

— Ну да, ну да! — согласно кивнул Пересунько. — Ты, Микита Оверкович, прыпустим, маешь и коныкив и насиння. Ну, мы з Яковом якось зберемося на клаптик земли. А решта? Прыпустим, та ж сама Ганка из своею малечею. Ну, шо ж воны зроблять? Заросте их дилянка бурьяном, а його й дурень не истыме.

— От-от, — обрадовался поддержке соседей Никита. — А так будем разом и орать, и сеять, и збырать. Впораемось у поли, а тоди вже й порахуемось.

— Э, нет, хлопцы! Так дило не пиде: тре зараз усе як след обмыкытить, — покрутил головой Стешенко. — Шоб знать же, шо оддать за роботу мушу, а шо мое буде.

Долго думали, какой порядок следует принять при расчете за работу. Помог присоединившийся к ним Федот Юнацкий.

— А чего голову ломать? По паре кило за коней да по паре за механику с пуда. Вот и весь сказ. Пойдет?

— Ну да, ну да, — закивал головой Пересунько, вроди бы соглашаясь. Но по его отведенному в сторону взгляду чувствовалось, что он все еще не решался, просчитывая и боясь упустить свою выгоду.

— Та шо там думать! — ударил шапкой о землю Стешенко. — Хай буде, як Федот каже. Вин же грамотниший за нас, Тымко, скажить на мылисть.

— Ну да, ну да! — более уверенно откликнулся тот. — Конешно, хай буде...

На том и порешили. Вместе подготовили почву, отсеялись и стали ждать урожая. Конечно, посевные клинья у всех были меньше, чем в обычные годы. Но все же их «экипаж», как его в шутку называл Федот Юнацкий, служивший срочную службу на Тихоокеанском флоте, успел гораздо больше остальных. Теперь все зависело от погоды. Если не задуют горячие южные ветры, нередко приносящие в эти края запал зерна как раз в период его налива, и не задождит, когда придет пора косить, весь «экипаж» будет с хлебом...

Такое настроение однако было не у всех в Андреевке. Да и не только в их родном селе. Об этом как раз и шла речь в справке, отражающей экономико-хозяйственную и политическую обстановку в недавно образовавшейся Запорожской губернии, которую заканчивала готовить Катя. Поручая ей эту работу как наиболее

грамотному сотруднику, начальник ГПУ, так теперь с недавнего времени именовалась чека, предупреждал ее:

— Товарищ Шмидт, документ особой ответственности. Пойдет высоко. Очень высоко. Так что учтите...

А зачем ее предупреждать, когда она к любому поручению привыкла относиться серьезно. Да, положение у них действительно серьезное и даже слишком. Вот и в справке говорится об этом:

«...Засеяно не более 60 процентов площади 1921 года. Опасаться за урожай пока нет причин. Для составления и проверок налоговых списков мобилизовано достаточное количество необходимых работников. Положение с сельскохозяйственным инвентарем катастрофическое, так как голодные крестьяне обменяли большую его часть на хлеб на Подолии.

Отсутствие рабочего скота — большое и достигает 70—80 процентов необходимого...

В губернии голодают свыше 430 тысяч душ. Помощь имеют 12 процентов. Помощь поступает из разных источников, в чрезвычайно малых размерах.

Весной, хотя состояние голодных значительно лучше, однако многие эпидемии дополняют страшное горе царя-голода, население питается суррогатами, нередко также бывают случаи людоедства. В результате голода распространяется уголовный бандитизм, с которым проводится соответствующая борьба.

Политического бандитизма нет».

Так. Кажется, все правильно. Вот только «царя-голода» лучше убрать. Пожалуй, ни к чему в таком документе крикливые газетные выражения. И вот о людоедстве: «Нередко бывают случаи...'' Может быть, просто написать: «бывают случаи...» Нет. Все же пусть останется так, как есть. Товарищи рассказывали, что этих самых случаев действительно было немало.

Катя отложила написанное и, откинувшись на спинку стула, задумалась. Ну, как же так? Почему к коммунизму, к счастью человеческому, к мечте вековечной приходится идти через смерть тысяч, а может быть, и миллионов людей? Ведь счастье это для всех. Почему же его прихода не все хотят? Почему к нему нужно подталкивать силой? Насильное счастье... Странно все это и непонятно. Пока непонятно.

«А пойму ли когда-нибудь?» — подумала, но тут же, оттолкнувшись от спинки стула, решительно поднялась и, взяв написанное, отправилась к машинистке.

Подобные вопросы тревожили не одну Катю. Во второй половине июня 1922 года в места массового голода, особенно поразившего юг Украины, выехали «всероссийский староста» Михаил Калинин и его украинский коллега, председатель ВУЦИК Григорий Петровский. Посетив Запорожье и Мелитополь, они были поражены размахом той беды, которая недавно свирепствовала в этом благодатном крае.

— Да, — провожая взглядом до боли знакомые места, мелькавшие за окошком вагона, обронил Петровский. — Стремительная революционная атака дала нам возможность завоевать власть. Победив многочисленных врагов в гражданской войне, мы удержали ее. Но долгожданное братство, равенство и счастье еще наступят не скоро...

— О каком счастье ты говоришь, Григорий Иванович? — сдвинул плечами Калинин. — Сейчас нужно думать о том, как спасать народ. Еще один такой голод, и здесь будет пустыня. Запорожской губернии необходимо выделить из наших скудных резервов минимум 2,5 тысячи пудов хлеба. Иначе загубим людей. Или... или получим нового батьку Махно.

Утро новой жизни было хмурым и безрадостным.

3

Кто-то огромный, лохматый, как медведь, которого заезжие цыгане когда-то водили по селу, возился у окна, пытаясь открыть ставню. Дернет и стонет, стонет. Да так жалобно. Чистый тебе их старый пес Турок перед смертью маминой. Только нет, не он это. Точно, не он. Марийка видит его зияющую, как бездонная прорва, пасть, кроваво-красный язык и кривые желтые зубы.

— Ну, чего ты? Чего? Чего тебе треба? — хочется крикнуть ей, но нет сил разжать губы. Страшно. Ой, как страшно! Однако почему, как она может видеть страшилище, когда ставни закрыты? Ставни... Откуда они взялись? Ведь у них в Андреевке сроду не было ставен. Ну да, не было! Да где же она? Что с ней такое? Сон... Конечно, сон.

— Господи милостивый! — шепчет она, облизывая сухие, как выжженная солнцем дорога, губы. — Наснится же такое человеку. То ж ветер лютует. Бач, какую чудесию выделывает. Чистый тебе чертяка... Прошептав последнее слово, Марийка испуганно прикрывает рот ладошкой. Шурочка! Ее дитя дорогое. Вот она, рядышком с нею лежит, а ее мамка такие слова произносит.

— Боже праведный! — заботливо укутывая крохотный комочек, страстно шепчет она. — Спаси и сохрани... спаси и сохрани мою кровинушку, душу ее безвинную и чистую...

Вот уже второй год, как ушла она из родной Андреевки! Горькая обида на брата, которого так ждала, которым так гордилась, острым ножом полосонула тогда по сердцу. Ну, за что? За что Петро ее так обидел? Бандитская хата... Выходит и она тоже бандитка? Выходит. Раз души их с Никитой встретились однажды, соединились, как те ручейки весенние, то и грехи их стали общими. Грехи... Какие они, те самые грехи? Никита ей про то ничегошеньки не сказал, а она не спрашивала. Да и до того ли ей было, когда любовь их колысала. Все вокруг казалось таким красивым, добрым и ласковым, что даже сердце заходилось. И соседи виделись ей совсем другими, обходительными и заботливыми, готовыми все для нее сделать, во всем помочь и всем поделиться. Правда, не все. Услышала однажды, как во след ей кинула Дуська Гнатенкова:

— Шлендра махновская!

«От дурная! — подумала про себя, даже не обернувшись. — Та чи ж винная я, шо батьку твоего махновские хлопцы за селом порубали разом з другими незаможниками? И хиба те порубанные святыми были? Хиба не они за хлеб, у землю закопаный, дядьку Шелеста до стенки ставили? Ой, шо там говорить! Свет чисто тебе перевернулся, ничего не разберешь. Души людские, как каюки. Хтось смолою их черною повымастил и турнул од берега. Теперь плывут они, куда ветер дует и вода несет. От и Дуськина така ж самая. Може, завидки тебя, Дуська, берут, шо не тебе Ми-

китка достался. Може! Я ж тебя знаю. Добре знаю, шо не токо мое, а й твое серденько по нему сохло. Ага, ага! По очах твоих цыганских бачила. Только не твои очи, не твою черную косу он выбрал, а меня. Чего? Хто ж его знает. Так, видно, богу было угодно. Так шо не сычи на меня, не кляни. Не винная я. Не винная? А грехи, Микитины грехи?»

Может, через них и наказал их Господь бог, покарал разлукою черною с самыми близкими людьми. Осталась же одна-одинешенька тогда, когда горькая обида острым ножом полосонула ей душу, погнав от родного порога.

В памяти всплыло, как шла она с узелком, поливая зимнюю дорогу горючими слезами. Куда шла? Зачем? Да разве ж она знала! После тех братовых слов и Никитиной «ласки» жить не хотелось. Кинулась птицей подстреленной куда глаза глядят. Ничего не видела, ничего не слышала. Не помнит, как шла и сколько. Плыла, как в тумане. Очнулась, когда Шурочка о себе знать дала. Остановилась и впервые поняла, что не сама уже она, что двое их: она, будущая мать, и дите ее, еще не рожденное, но уже существующее. Оно жило в ней, напоминало о своем существовании, требовало защиты. От кого? Да кто ж его знает. Целый мир, ревущий, стреляющий, изрыгающий злость, и ее кроха. Разве ж устоять ей, уберечься одной, без нее? Не-ет! Она не даст ее в обиду, собой закроет, убережет свою девочку. Девочку? Почему девочку? Так надо.

— Господи! Боже праведный, — шептала она, — прошу тебя, молю: пошли мне доченьку, голубоньку, ягодку. Я ж буду холить ее. От усякой беды, от грехов и напасти сохраню и закрою, Господи... Услыш меня, Господи.

Марийка остановилась. Огляделась вокруг. Степь. Голая степь, покрытая снежным одеялом, чью недавнюю белизну безжалостно пачкал надвигающийся вечер, пугала своим безмолвием. Только наезженная санными полозьями дорога, убегающая вдаль, напоминала о том, что здесь были люди. Но когда? Где они сейчас? А ну как ночь упадет на землю и она собьется с дороги?

«Пропадем! — подумала Марийка, и страх холодной змеюкой скользнул по ее телу. — Треба ити! Треба швидше йти до людей. Ни, треба бигты!''

Она сделала несколько быстрых шагов, но ноги, ее ноги отказывались слушать. Они стали почему-то тяжелыми и разъезжались в разные стороны.

— Боже праведный! — взмолилась Марийка. — Заступник ты наш, не дай пропасть сиротине. Не губи... не губи душу безвинную.

Слезы от собственного бессилия, забывчивости душили ее. Она искала в памяти слова, которые наверняка слышала от бабуси и мамы и которыми можно было достучаться до бога, снискать его милость. Искала и не находила. Будто в наказание за ее забывчивость откуда-то из степных глубин, как на сказочных конях, вылетел свирепый ветер. Он больно хлестнул ее по лицу и со зловещим хохотом запрыгал, заплясал вокруг, вздымая тучи снежной пыли.

— Люди! — вскрикнула Марийка. — Людоньки добрые! Рятуйте!

Она в отчаянии закрыла лицо руками и в тот же миг услышала далекое лошадиное ржание.

«Здалося?! — подумала, настороженно всматриваясь в почти непроглядную серость, которая окружала, окутывала ее со всех сторон. — Може, то нечистый зи мною граеться?»

Марийка сжалась в комок. Сердце билось в груди словно случайно залетевшая в хату птица, которая никак не могла найти спасительного выхода. Казалось, вот сейчас оно разорвется на части, и Марийка умрет.

— А дите, дите ж как?! — в ужасе прошептала она. Эта мысль заставила ее забыть о своем собственном страхе и снова двинуться вперед. Она успела сделать какой-нибудь десяток шагов, когда лошадиное ржание повторилось еще и еще раз. Марийка явственно слышала его сзади себя.

— Едет! Хтось таки едет. Спасибочки тебе, Господи, шо почув мене.

Теперь она различала приглушенный снегом стук копыт и поскрипывание полозьев саней. Резво сбежав с горы, сани поравнялись с Марийкой.

— Но, сивые! — гаркнул возница.

— Сто-о-йте! — вскрикнула не своим голосом Марийка. — Куда ж вы, дядечка миленький?

Немного отъехав, возница остановил коней.

— Хто ты? — спросил сердито. — Чего треба?

— Андреивска я. Замерзаю, дядечка. Поможите!

Она кинулась к саням, боясь, чтобы возница не передумал и не уехал.

— Чего ж тебя дурную носит у такое время? — ворчал возница, разглядывая Марийку. — Зараз же тут сами вовкулаки та злодии шастают...

— Недоля... недоля мене з хаты погнала, — тяжело дыша, выдавила Марийка. — Визмить... визмить мене, дядечку. Христом-богом молю.

— Ну, сидай уже, — буркнул возница и, едва она успела коснуться саней, гаркнул:

— Но-о-о, сивые!

Какое-то время ехали молча. Лежа на сене, которым были устланы сани, Марийка старалась согреться, кутаясь в свою старенькую фуфайчину. Но это мало помогало. Да и откуда тому теплу взяться, когда на той фуфайчинке латка на латке сидит. Не одежда для зимней стужи, а так — одно название.

— Чего ж ты раздетая у такую пору пошла? — кинул, полуобернувшись к ней, возница.

— Та от... Узяла то, шо было, — вздохнула Марийка, чувствуя, что зуб на зуб не попадает.

— На ось, прикройся трохи, протянул ей рядно возница. — Усе ж не так продувать будет. Та ноги, ноги загорни краще. Як там тебе кличуть?

— Мария, — она подумала, стоит ли называть фамилию и, решив, что все же стоит, добавила:

— Мария Задорожняя.

— Ага, — покивал головой возница. — Ну, а я оце Яков, Яков Иванович, значится. И куда ж ты направляешься, Мария Задорожняя? Дорога твоя какая?

— Та от, — замялась Марийка. — У город я, Яков Иванович.

— У Александровск? Чи то Запорожьем йон зараз зовется.

— Ага.

— Мабуть, до родичив?

Марийка промолчала. Да и что она могла сказать, когда и сама не знала, куда понесла ее доля. Когда выскочила из хаты, думала найдет Петра, посмотрит ему в очи и скажет: «За шо ж ты меня, братику родненький, так обидел? Як же жить мне зараз, до кого прихилиться?» Ну, а где он, тот Петро, даже не подумала. Для нее ведь Александровск целым миром был. Там его, видно, и искать следует.

— Чего ж мовчишь, Марийка? — допытывался настырный возница.

— Не знаю, — выдавила из себя — Ой, ничего я, дядечку, не знаю.

Сказала и заплакала.

— Тю на тебя! — растерялся возница. — Та чи ж я тебя обидел? Чи, може, шо такое не так сказал?

Как уже там получилось и почему, а только рассказала Марийка Якову Ивановичу всю свою историю. Говорила, глотая слезы, ничего не утаивая. Будто батюшке исповедовалась. Яков Иванович слушал ее, не перебивая. Только изредка покашливал, будто старался оттолкнуть, прогнать ее беды.

— Выходит, едешь ты и сама не знаешь куда?

— Выходит...

— Так, так. Ну шо ж, тогда поедем до нас.

— Куда? — насторожилась Марийка — Куда до вас?

— А у приют.

— Какой приют?

— А такой, самый обыкновенный, каких зараз скрозь повно. Де дети сиротские живут. Попрошу нашу директоршу Розалию Ивановну. Скажу, так, мол, и так, пропадает дивчина, рятувать треба.

— Та я ж уже взрослая, — растерялась Марийка.

— Ничего. Думаю, шо Розалия Ивановна меня поймет. Она у нас розумная и сердечная дамочка. Поймет. Так шо не журись, красуня. Не журись.

Укутавшись рядном, Марийка вскоре почувствовала, что начинает согреваться. Сама не заметила, как сон сморил ее.

Проснулась, когда уже въехали в город. Видимо, чувствуя скорый конец дороги, лошади бежали дружно. Да и возница повеселел.

— Ну шо, дивчинка Марийка, передремала трошки?

— Ага. И сама не знаю, как оно вышло.

— Скоро. Скоро вже на месте будем, дочка.

Марийка с интересом рассматривала дома, улицы, по которым они проезжали. Впервые попав в Александровск, она старалась угадать места, о которых ей рассказывал Никита. Но у нее ничего не получалось. Не видела она никакой брусчатки, никакой фортечки-электростанции, которая гонит свет по каким-то проводам.

«Може, дурил меня Никита, казочки казал? — подумала про себя. — А може, и не там, не тою дорогою едем».

Повернув в очередной раз, лошади остановились у высоких ворот большого дома.

— Ну, от и прибыли, — облегченно вздохнул возница, выбираясь из саней. Он подошел к воротам и постучал по ним кнутовищем. — Стречайте, люди добрые.

Ворота открыл невысокий подросток в длинном, как видно, с чужого плеча, пиджаке и шапке-ушанке, надвинутой на лоб.

— Здрав-ствуй-те, Якоф Иванович! — старательно выговаривая слова, приветствовал он возницу.

— Здоров, здоров, Илюшка! Выходит, ты сегодня дежурный.

— Да, — кивнул мальчик, с интересом разглядывая Марийку.

— От, бачиш, гостю до нас привез. Марией зовут.

— Здравствуй-те, Мария, — поклоном приветствовал гостью Илья. — Добро пожаловать.

— Спасибо. Спасибочки вам.

Въехали во двор дома, за хозяйскими постройками которого виделись деревья сада. Едва успели запереть ворота, как из дверей дома высыпали пятеро парней. Обгоняя их, с радостным лаем к Якову Ивановичу устремилась черная лохматая собака.

— Маврик! — прижимая к себе собаку, смеялся Яков Иванович. — Та шо ж ты робышь, дурненький? Ты ж мене звалишь.

Поприветствовав и обласкав хозяина, собака с интересом уставилась на Марийку.

— Ну, чого ты, чого? — обняв за плечи девушку, обратился к собаке Яков Иванович. — Наша она теперь. Пойняв? Наша. Так шо нема чого сомневаться.

Видимо, удовлетворившись объяснением Якова Ивановича, Маврик оставил в покое Марийку и переключился на мальчишек, которые сгружали с саней какие-то мешки. Делали они свою работу весело, с шутками, но о чем шутили, Марийка понять не могла, как ни старалась.

«Видать, не наши», — подумала она, поднимаясь на крыльцо.

Вошла в дом, пахнувший на нее столь желанным теплом, и остановилась у порога, опустив глаза под взглядом строго, как ей показалось, глядевшей на нее женщины.

— Вечер добрый, Розалия Ивановна, — сняв шапку, поклонился женщине возница.

— Здравствуй, Яков Иванович, — ответила она, продолжая разглядывать Марийку.

Подойдя к ней, Яков Иванович что-то долго объяснял шепотом.

«Проженет! — с отчаяньем подумала Марийка. — Як пить дать, проженет!»

Но, к ее радости, все обошлось. Выслушав Якова Ивановича, директриса покивала головой и скомандовала:

— Ну, что же, барышня, будем знакомы. Зовут меня Розалией Ивановной. О делах ваших поговорим завтра. А сейчас — поужинайте и отдыхайте...

Так и прибилась Марийка к приюту, где содержались еврейские дети-сироты. Уже потом, когда определили ее на кухню в помощницы тетке Матрене, узнала, сколько пришлось пережить той сотне мальчишек и девчонок, которые обитали теперь в приюте, разместившемся по улице Тургенева в доме бывшего помещика Тилентия. До 1914 года жили их семьи в небольшом белорусском местечке неподалеку от города Барановичи. Когда началась война, пришлось эвакуироваться. Занесла их судьба аж под Гуляйполе в село Новозлатополь. Трудно было вначале: ведь многие говорили только на своем языке. Ни местные украинцы, ни они их не понимали. Только обживаться стали, к земле приноровились, а тут — революция. Мужчины взрослые сперва Махно поддержали, а потом испугались угроз серожупанников и австро-германцев. К ним переметнулись, против махновцев пошли. Батькиным хлопцам такая штукенция совсем не понравилась. Разогнали они еврейскую роту. Кое-кого постреляли. Досталось и безвинным. Взрослые боялись, что Махно и детей убивать будет. Сажали их на брички и спешили отправить подальше от батькиных владений. Сколько семей тогда распалось, сколько детей сиротами стали. Вон только одних Эпштейнов в их приюте пятеро — Илья, который их с Яковом Ивановичем тогда встретил, Рива, Рахиль, Аня и Фрида. Хорошие, дружные ребята, а растут без отца, без матери. Те, может быть, и живы, деток своих ищут. А как их найдешь, когда разбросало их по белу свету? Жалко ребят.

Ближе всего Марийка сошлась с Фридой. Красивенькая, волосики кучерявенькие и глазенки черные. Со всеми она ладит, всех жалеет, каждому помочь готова. Когда родилась Шурочка, она от Марийки ни на шаг не отходила. И пеленки постирать поможет, и дите вместе с ней купает да приговаривает что-то, мешая русские и еврейские слова. А теперь вот с новым делом пришла к ней.

— Давай, Мария, ты меня будешь учить разговаривать и читать по-русски, а я тебя еврейскому научу.

— Ой, Фридочка! — всплеснула в ответ руками, — дивчинка ты моя золотая! Та чи ж есть у меня то времячко, щоб отою наукою заниматься.

— А мы с тобой, Маруся, ночью будем учить друг дружку, когда Шурочка уснет. Все твои дела сделаем и — за книжки.

Уже несколько раз пробовали. Только не идет у Марийки та наука. Не дается ей Фридин язык трудный. Да и учительница из нее тоже никудышняя. Вот если бы Никита за это взялся, тогда другое дело. Никита — головастый хлопец, до науки хваткий. Сколько книжек читал, сколько историй разных ей нарассказывал, когда выхаживала она его после тифа.

«Эх, Микитка, Микитка! — вздыхает Марийка. — Де ж ты зараз? И чи ж знаешь, шо дите у тебя есть, шо скоро годик, як ты батько? Батько... От доленька людская, батько есть, а дите сироткою растет. Пока еще куда ни шло. Шурочка малая. А станет большенькой, пытать начнет: «Матуся, а де ж мой тато?» Шо ж отвечать ей, шо казать? Усю правду обсказывать? Так де ж она? У Петра — своя, у Никиты — своя, а у меня самой — тож своя. Он сколько их, тех правд. И все разные. А была ж когда-то у нас з Микитою одна правда. Была, как любились мы. Любовь пропала, и правдоньки той не стало. Пропала... Назовсим, навек пропала? Може, пошукать ее, покликать ту правдоньку. Только де шукать, кого пытать про неи? И степ широкий мовчить, и тополи-подружки, що шепчуться у двори приютскому, теж не скажут. Одне серденько про те взнати може, коли друге, ридне, слухае. Так для того ж зийтысь воны мають. А як це зробить? Як допомогти своему серденьку, коли крычить воно и стогне вид болю. Може, так и Микита мий мучиться десь у Андриевци? Та ни, навряд чи. Забув уже. Он дивчат красивых скилько в сели. Выбирай, яку хочешь. А, мо, уже й выбрав? Выбрав... выбрав, а про мене й не згадуе. Ну що ж, якщо так, то бувай щаслывый. Бог з тобою. А мы з Шурочкою, з донечкою нашею, ни — моею! будем уже якось бидуваты. Тильки б до лита дожить, а там...»

Что будет там, летом, Марийка не знала, но эта зима была такой лютой. Правда, такого, как в 1921 году, не приведи Господи, не было. Такой голод был, такой голод. Люди, как мухи, падали. Сколько их умерло только в их Андреевке! Целыми семьями на тот свет уходили. Вечером выйдут, бывало, они с Никитой к церкви, а он ей и говорит:

— Он поглянь у Терентия Коваля уже викна темни и у бабы Юнацькой тож. Мабуть, все, вже отсвитылысь. Прибрав их Господь до себе.

— Може, зайти треба, Микитонько? — прижимаясь к нему, спрашивала несмело.

— А чего?! — начинал сердиться он.

— Помогти...

— Помогти? Як це ты мыслишь? Он усе нижнее село голодуе. Хиба накормишь усех?

— Та й то,.. — соглашалась она и старалась перевести разговор на что-то другое. А сама, бывало, на следующий день потихоньку вбросит несколько жменек пшеницы в торбинку и мотнется до хаты, у окон которой вчера беда сторожила.

— То вам, сусиды, од Микиты Оверковича. Зварить диткам супчику якогось. Токо ж йому, Миките, ничего не кажить. Бо, той, не любыть вин нияких благодарностей. Го-о-ордый вин у нас. Страшно як гордый.

— Спасыби тоби, донечко! — вытирая слезы, кланялись ей соседки. — Пошли тоби боже счастьечко.

Послал... А там, кто ж его знает, какое оно есть то самое девичье счастье. Всегда ведь чего-то нехватает, чего-то хочется человеку. С малых лет о любви мечтаешь, думаешь: «Ах, если бы пришла она и больше мне ничего не надо». И вот она приходит, но нарядами яркими подвенечными, шумными и веселыми свадьбами нередко и заканчивается. Вчерашний красавец-любимый, казавшийся таким хорошим и ласковым, назавтра оказывается совсем другим. Дети, рождаемые в муках, приносят не только и не столько радость, сколько печаль и тревогу. В стареющих и умирающих родителях видится скорое будущее твое. Милая, пока еще молодая и сильная. Работа и забота, работа и забота. Так и вся жизнь проходит. И все ж таки есть оно! Есть на свете счастье. И у нее оно есть. Пусть немного, самую малость, а есть. И любовь у нее есть, не пропала. Что ни говори, как ни обманывай себя, а любит она Никиту. Никого ей больше не нужно. Разве не она, уложив спать свою Шурочку, мечтает вечерами, как однажды встретит его, как обрадуется он своей Марийке и Шурочке, лучше которой нет на целом свете.

— А шо ж? — улыбается она, глядя на ребенка. — У кого ж еще есть такой кирпатенький носичек? А бровенятка. А ротичек губастенький, як у Микитки. Та й смиеться вона чисто, як батько. Шоб там не казалы, а мое дитя найкраще у свити. Ни в кого такой красунечки немае. От так!

Не потому ли она и внуку кочегара Степану отказала, что верит в счастье свое, в то, что встретятся они с Никитой и снова будут вместе. Будут вместе растить их ненаглядную Шурочку, а там, глядишь, и сыночка бог даст.

Степана ей, конечно, жалко. Хороший он человек. Детей приютских жалеет. Те раньше нос боялись высунуть за ворота: война у них с городскими мальчишками. Почему? И сама не знает. Только стоило детям на улицу выйти, а тем более на речку отправиться, как тут же появлялись оравы босоногих казаков-разбойников. И вот что удивительно: рядом через дорогу — другой приют, но тех приютских не трогают, а ихним прямо проходу не давали. Бегут следом, грудки земляные, а то и камни бросают и кричат во всю глотку:

— Приют, приют, за копейку в нос дадут!

Это ж надо такое придумать! Розалия Ивановна, бедная, с теми песыголовцами ничего не могла сделать. Уже и Якова Ивановича просила:

— Поймай ты хоть одного хулигана, Иванович, да надери уши и родителям отведи, чтобы наказали паршивца.

Тот и в самом деле отправился однажды сопровождать приютских детей на бухту, чтобы покупались, позагорали немного. Думали, что все обойдется. Но где там! На полпути до бухты подстерегли их разбойники и опять — за свое. Мальчишки приютские, правда, тоже в долгу не остались. Потом Илюшка с гордостью говорил, что сражение они хоть и не выиграли, но слободским хорошо поднадавали. Может быть, так оно и было. Марийка плохо разбирается в их мальчишеских делах, а только говорил Яков Иванович, что не мог разнять драчунов.

— Як собаки оти паскудные, повчиплялысь одын у одного и грызуть, грызуть. Не, Розалия Ивановна, вы як соби хочите, а я не здужаю за ними гоняться. Одбигав уже свое. Одказакував.

Кто его знает, чем бы все это закончилось, не появись однажды внук Якова Ивановича Степан. Розалия Ивановна как раз детей в бухту купаться собиралась вести и вместе с воспитателями переживала, когда появился этот высокий красавец с цыганскими глазами.

— Ось вам и охрана, Розалия Ивановна, — откровенно любуясь внуком, представил директрисе Яков Иванович. — Цей усе зробыть. Ось побачите.

И в самом деле Степан, о чем-то пошептавшись с мальчишками, организовал из них дружину самообороны, которая напрочь разгромила слободских «разбойников». Потом с его же участием был заключен мир, и с тех пор никаких притеснений приютские дети от местного босоногого воинства не знали. Больше того, местные ребята стали приходить в приют, где им было что посмотреть. Еще бы! Энергичная хозяйка Розалия Ивановна открыла для приютских вначале швейную мастерскую, а затем и столярную. Так что дети-сироты могли и специальность получить, нужному делу обучиться и помочь материально приюту. Особый интерес у вчерашних недругов приютских детей вызывала столярная мастерская. Там стояли станки, поработать на которых мечтал каждый мальчишка. Тем более, что каждый из тех, кто был допущен туда, имел возможность изготовить для себя какую-нибудь вещицу по своему выбору. Гости раздумывали недолго и покидали столярку, как правило, вооружившись деревянным пистолетом.

Кто его знает, откуда у этих хлопцев такая тяга ко всему военному, к дракам? Марийка, когда случалось видеть, как бросались один на другого, подобно молодым петушкам, их сельские мальчишки, прямо умирала от страха. Ей казалось, что вот сейчас должно случиться что-нибудь страшное. «А ну, як зараз отой здоровило Коваль скаличить чи убье Микитку?» — думалось ей.

— Дурненька! — подтрунивал над ней брат Петро. — Чого ты боишься? Ничего з твоим Микиткою не буде.

— Та ну тебе, Петре! — конфузилась она. — При чому тут Микитка?

— А то я не бачу, як вин биля тебе вьется. И нехай. Тильки ж я хочу, щоб поряд з моею красунею сестричкою був добрый козак.

А хиба ж може статы добрым козаком хлопець, якому хоча б раз-другий не розбылы носа?

— Ой, Петре! — обижалась она. — Ты завжды смиешься з мене. И от тепер... А матуся наша казалы, шо и татко, колы хлопцем був, теж воювали.

— Ну й шо?

— А те, що довоювались. На справжню вийну пишлы и японци их убылы у тому... порту. Чи як його?

— У Порт-Артури, — поправлял брат и уже больше не подшучивал над ней. После того, как погиб их отец, всем было тяжело, но и бабуся, и мама, и Петро считали, что больше всех пострадала она, Марийка. Когда отец уходил на войну, она была совсем маленькой и его почти не помнит. В памяти только и осталось, как держал ее на руках и, смеясь, щекотал острыми усами. Вот и все.

Кто ж его знает, может, и вправду те самые войны происходят от того, что мальчишки в них играют. Играют, играют и — вот тебе на. Разве с Никитой и Петром не так вышло? Не так?

Выходит же, что-то здесь есть такое, о чем мама говорила. Ну, Никита, слава богу, на землю сел. А Петро, тот и по сей день где-то воюет. Вскоре после того, как перебралась она в город, начала потихоньку спрашивать у людей, где же его можно найти. Никто ничего не знает. Правда, с месяц назад Петра Коваля встретила, их односельчанина. Разговорились. Он, оказывается, вместе с Петром за Махно гонялись.

— Под самой Уманью меня и пригостили батькины бандиты, — рассказывал Коваль. — На засаду ихнюю наша сотня наскочила. Петро хоч и молодший за меня, но разумный хлопчина, скажу тебе. Думали усех нас покладут махняки чертовые. Со всех боков обложили. А он таки вывел сотню и раненых забрали. Я в Умани потом лечился, а Петро с хлопцами дальше батьку погнали. Теперь от тут, на бухте, живу. Пока з жинкой на квартире стоим, та от-от в свою хату переберемся. Заходь у гости.

— Спасибочки, дядько Петро. Как-нибудь забегу. Только от, де ж тепер брата мени шукать?

— А ты от шо, Мария, — подсказал Коваль, — сходи у ЧК. Он при ей состоял. Може, шось и узнаешь.

Пошла. Не сразу только. Боязно как-то было. «А ну как они там про Микитку та про дядьку Оверка пытать будуть, — думала про себя. — Шо я им скажу?» Потом все-таки пошла, решив, что не ее спрашивать будут. В аккурат и знакомого Петра встретила, Ефима Аникушина.

— Вот, мать честная! — запуская руку в свои черные с белой проседью кудри, изумился Ефим. — Ты, значится, Марийка?

Молча кивнула в ответ головой, а сама за глазами его следит: не появится ли там знак какой про беду, что с Петром могла случиться, или про их ссору с братом тогда в хате Прудкосвистовой. Нет, вроде, ничего такого нет. Улыбается только Ефим, рад, что ее, Марийку, увидел.

— Вот, значится, как, — говорит. — Так мени ж про тебя, Марийка, Петро усе, усе обсказывал. И какая ты красивая, и как йон тебе любить. Усе, усе. Гето ж надо такому случиться, шо мы тольки счас с тобой стренулись...

— А де ж брат? Петро де? — сумела таки вставить свой вопрос Марийка, останавливая разговорившегося Ефима.

Он замолчал и какое-то время удивленно смотрел на нее, моргая глазами и шевеля пятерней свои кудри.

— Как где? — наконец переспросил, поведя недоуменно плечами. — Так бандитов же ловит. Десь под Каменец-Подольским. У Катюши Шмидт и адрес его должен быть. Как токо вернется она из поездки, я сразу же тебя с ней сведу.

— У Кати, значит? — переспросила Марийка. — А вона хто такая?

— Катюша? Дак невеста Петрова. Ну да! Девушка его. Тольки... Та нет! От вернется Катюша, и тогда уже вы с ней про все поговорите, порасскажите одна одной. Добре? Давай твой адрес запишу.

Долго пришлось ей ждать встречи с той самой Катей. Думала, что совсем не придет. Может, Петро рассказал ей про мужа сестры своей и Оверка Саввича, а может, еще что другое. Только, видно, не очень она спешила встретиться с ней. А недели две назад таки объявилась.

Едва они с тетей Матреной управились с обедом, как ее позвала к себе Розалия Ивановна. В кабинете директрисы сидела молодая женщина с копной огненно-рыжих волос и живыми серыми глазами.

— К вам гостья, Мария, — кивнула на незнакомку Розалия Ивановна.

— Гостья? — удивилась Марийка.

— Я от Ефима, от товарища Аникушина, — прощебетала рыжеволосая.

— Вы... вы Катя? — догадалась Марийка.

— Да, да.

— Ну, что ж, принимайте гостью, Мария, — усмехнулась Розалия Ивановна. — Угостите чайком. На дворе вон какая стужа.

Они устроились за одним из столов пустой столовой. Поставив перед гостьей стакан чаю, Марийка присела на краешек стула и, опустив глаза, молчала, собираясь с мыслями. Она чувствовала, что Катя изучающе смотрит на нее и от этого испытывала неловкость.

— Вот ты, значит, какая, Марийка, — обронила наконец Катя, помешивая ложечкой в стакане.

— Якая? — облизнув ставшие вдруг сухими от волнения губы, отозвалась Марийка.

— Красивая. И очень-очень на Петруся похожая. Если бы Розалия Ивановна не сказала, что это ты, я бы все равно догадалась. Правда-правда. И глаза, и волосы у вас одинаковые. Просто удивительно! Смотрю вот на тебя, а будто бы его, брата твоего, вижу.

— А вы давно с ним стречались?

— Давно. Ой, как давно. Два года назад.

— М-м-м. Я ж думала, шо вы того... справди наречена... Той... — Марийка почувствовала, что краснеет и еще ниже опустила голову.

— Наречена, — задумчиво повторила Катя. — Какое красивое слово. Красивое и ласковое. Мирное слишком. Не сегодняшнее.

— Чего ж? Чего ж не сегодняшнее? — Марийка подняла голову и впервые посмотрела на Катю. Девушка явно нравилась ей. «Шо ж это Петро? — ругнула про себя брата. — Куды ж вин дывиться? Така красуня и, видать, грамотная. Шо ж йому ще треба?»

— Да, да, — отозвалась Катя. — Это я так. Невесты всегда были, и женихи находились. Только вот война проклятая свадьбам мешает. Как ураган щепки, швыряет нас из стороны в сторону. Он в одном месте, а я в другом. Так и молодость пройдет. А кому же нужна старая невеста?

— Ну, ты такое скажешь! — Марийка неожиданно для себя перешла на «ты» и смутилась:

— Звиняйте...

— И в самом деле! — защебетала Катя. — Чего это ты развыкалась?

Она поправила рукой волосы, отводя их со лба и, заговорщически подморгнув Марийке, добавила:

— Ведь мы же свои люди. Правда?

Марийка молча кивнула, чувствуя, как невидимая преграда, разделяющая их с Катей, постепенно исчезает.

— Розкажи про себе, Катю, — попросила она.

— А что рассказывать? — нахмурила брови Катя. — Жила беззаботной барышней вместе с родителями. Училась в институте благородных девиц. Слышишь, название какое «институт благородных девиц»? Так нафталином и отдает. Старорежимщина. Где ты сейчас эту благородность найдешь? По колени в крови ходим. Не разговаривали, а рычали друг на друга. Как дикие звери. Разве это скоро пройдет?

— Так кончилась же война, Катя.

— Кончилась, говоришь? Нет, Марийка. Прекратились массовые убийства, открытая бойня. А война — нет. Война продолжается. И сколько она еще будет продолжаться, одному богу известно.

— Ну, а батьки твои, тато й мама, живые?

— Папа в 1921 году умер. От голода. А мамочка жива. В Юзовке она. Там мы и с Петрусем познакомились. Да-а-а! — вскинулась Катя. — Я ведь позавчера письмо от него получила. Жив-здоров. Их отряд сейчас на границе с Румынией стоит. Обещает приехать. Там и про тебя есть.

— Про мене!? — сердце Марийкино сжалось от волнения. — Шо... шо ж он пишет?

— Пишет, что обидел тебя когда-то. Просит найти и, если нужно, то помочь. Вот, слушай, — она достала письмо и, найдя нужное место, начала читать: «...а еще прошу тебя, Катерина Ивановна, разуз-

най, если только сможешь, як там сестричка моя, Марийка. Чи жива она? Чи здорова? Я ее крепко обидел. Стренемся — повинюсь. Как сумеешь, подмогни и поддержи, чем сможешь. На том остаюсь. Петро Задорожний». Вот так.

Слезы, теплые слезы душевного облегчения и радости текли по щекам Марийки. Она знала, знала, что у Петра доброе сердце, что он поймет ее. Поймет и простит. «Миленький, Петрусик, — думала, слушая Катю. — Братику мий риднесенький! Як я скучила за тобою!»

— Ну чего ж ты плачешь, Марийка? — спросила Катя и сама незаметно коснулась платочком глаз. — Ведь все у нас хорошо. Слышишь? Все у нас будет хорошо.

Пообещав проведать ее с дочкой, Катя ушла.

С того дня жизнь Марийки стала совсем иной. Как будто ничего в ней не изменилось, а вот на душе стало спокойнее. Исчезло чувство одиночества. Хоть и далеко был Петро и, кто его знает, когда он приедет, а все-таки приятно, что помнит о сестре, думает о том, как поддержать ее, помочь. И вот теперь появилась Катя, тоже вроде свой человек, какая-то частица Петра. Будет хоть кому душу излить. Нет, конечно, нельзя сказать, что раньше ей не с кем было поговорить. И Яков Иванович, и внук его Степан, и Фридочка Эпштейн. Они всегда о них с Шурочкой заботились и помогали. Хорошие, добрые люди. Только Якову Ивановичу всего не скажешь. Степану тоже. Ой, Степана она даже боится немного. Он славный, ласковый. С Шурочкой забавляется, и она к нему тянется. Стоит лишь появиться Степану, улыбается, что-то лепечет. Ни с кем так не ведет себя, как с ним. Чего, казалось бы, здесь плохого? А вот ей, Марийке, боязно. Особенно после того, как услышала она однажды слова Якова Ивановича:

— Добрый у меня внук. Дюже добрый. Та только холодно нам, двом чоловикам у хате. От бы была хозяечка. Такая, як ты, Марийка, тада б и у хате теплее стало.

Сказал Яков Иванович тогда вроде в шутку, а она насторожилась: «Ой, что-то тут не так!» Иначе, чем прежде, приходы Степана стала понимать: к ней, Марийке, он приходит, ухаживает за ней. А поняла это, и тогда впервые испугалась. Не его, Степана, а за себя, за свое сердце испугалась. Болело оно, жгла обида на Никиту, что так обошелся с ней. До сих пор в ушах стоит его какой-то чужой, злой голос:

— Поплачь, може, кто пожалеет несчастную. Попривыкали, шоб вас усе жалели...

Даже то слово «стерва», каким обозвал ее потом, не таким обидным показалось, как эти «попривыкали, шоб вас усе жалели». Это ж про кого он так? Их семья, бабуся, мама, Петро? Они привыкли, чтобы их жалели? Да кто же их жалел? Кого они просили? В горе, в бедности жили, но никогда и никому не жаловались, не плакали. Разве только подружкам своим. Так кто ж про это знал, кто слышал?

— Эх Микита, Микита! — тихо вздохнула. — Обпалыв ты мое серце. Чи видийде, загоиться колысь? И сама не знаю. А все ж для тебе воно стукае. Для тебе и нашой Шурочки...

Бушевавший за окном ветер к середине ночи утих. Тишина осторожно прокралась в хату, и сон незаметно сморил Марийку. Но был он неспокойным и тревожным. Судьба, будто готовя ее к новым испытаниям, на короткий час сжалилась над ней, дав расслабиться, немного отдохнуть, набраться сил, столь необходимых, чтобы встретить страшную беду, которая уже стояла на пороге.

Марийка проснулась, разбуженная стоном. «Знов наснилось?» — подумала, но тут же поняла, что на этот раз слышала стон наяву. Стонала Шурочка. Она кинулась к доченьке и, коснувшись лобика, тут же отдернула руку: девочка вся горела.

— Го-о-споди! Колы? Де ж я тебе застудила, дитятко мое? Что же делать?

Она разложила сухие пеленки. Перепеленала ребенка и, прижимая к себе, стала ходить по комнате. Сон как рукой сняло. Так, нужно срочно дать Шурочке теплого молочка. Бабуся всегда это делала, когда она или Петро простывали. Ничего страшного. Это пройдет. Все дети болеют и поправляются. Поправится и Шурочка. Сейчас она достанет кружку, нальет молока и поставит на печку. Только нужно потихоньку, чтобы не разбудить хозяйку: тетке Матрене и так скоро вставать на работу. Ой, мамочка! Куда ж это молоко подевалось? Ага, вот оно! И дверь противная так громко скрипит. Словно специально. Ну, вот и печка.

— Зараз, зараз, дитя мое! — шепчет Марийка, ставя кружку на печку, и тут же приходит в ужас: чугунная плита совсем холодная.

— Хто там? Це ты, Мария? — слышится недовольный голос хозяйки.

— Я... я, тетя Матрена. Шурочка... Шурочка заболела. Молочка хотела нагреть, а печка холодная.

— О, боже! — вздыхает хозяйка. — Так пиды он того запалы... Як його? Прымуса, хай йому.

— Зараз, зараз! — Марийка метнулась в сени, на чем свет ругая себя за то, что забыла о примусе и так рано потревожила хозяйку.

Сломав несколько спичек, наконец разожгла примус и, разогрев молоко и перелив его в бутылочку, дала Шурочке. Девочка вяло коснулась губками соски и, сделав несколько глотков, отвернулась.

— Доненька, моя ридненька! — глотая слезы, прошептала Марийка. — Ну шо ж ты, га? Пый, пый, мое серденько!

— Ну, як там, Мария? — заглянула в комнату тетка Матрена.

— Погано! — всхлипнула Марийка. — Вся горыть.

— Ой, лышенько! Що ж воно таке?

— Не знаю! Ничего я не знаю.

— От шо, дочко! — она впервые назвала ее так. — Ты залышайся з дитиною, а я вже сама як-небудь. И подружку твою, Фридку, пришлю.

Едва рассвело, на помощь к Марийке прибежала Фрида. Попеременно они не спускали Шурочку с рук. Заглянула Розалия Ивановна.

— Ну, как тут у нас дела? — спросила и, увидев заплаканное лицо Марийки, покачала головой:

— Это что же вы творите, барышня? Ведь слезы — слабость человеческая. Разве это сегодня нужно малютке? Эх мама, мама! Попробуйте компресик из тертого лука с медом на горлышко. Я своим как-то делала и, вы знаете, помогло.

Забегавшими соседками давались и другие советы, но ничего не помогало. Девочка вся горела и задыхалась. Чтобы сдержать слезы, Марийка кусала губы и молила Господа спасти невинную душу. К обеду Шурочке как будто стало немного легче, и она уснула. Рядом с ней прикорнула и Марийка. Ей показалось, что она едва успела закрыть глаза, когда услышала знакомый голос:

— Есть здесь кто-нибудь?

Марийка вздрогнула и испуганно уставилась на дверь: в комнату с какими-то свертками в руках входила Катя.

— Приглашаешь в гости, а сама молчишь... — защебетала было она, но увидев приставленный к губам палец Марийки, замолчала.

Положив свертки на стол, подошла на цыпочках к кровати, на которой спала Шурочка.

— Спит?

— Хворая, — всхлипнула Марийка.

— А доктор... доктор смотрел?

Марийка покачала головой.

— Ну что же ты так?! Нужно немедленно доктору показать девочку.

— Так де ж его,.. — начала было Марийка, но Катя не дала ей договорить.

— Я знаю замечательного доктора Савченко. Он как раз недалеко здесь живет. Сейчас сбегаю.

Через час действительно появился доктор. Внимательно осмотрев и выслушав Шурочку, он сокрушенно покачал головой.

— Ну, что? — спросила Катя

— Неважные дела, Екатерина Ивановна. Дифтерит. Я выпишу лекарство.

— Хорошо. Я сейчас же сбегаю в аптеку, — с готовностью вызвалась Катя. — Сколько мы вам должны, доктор?

— Ну, что вы, Екатерина Ивановна?! — отмахнулся он. — Потом, потом об этом поговорим. Сейчас малышку спасать нужно.

К вечеру у Шурочки снова поднялась температура. Марийка ни на минуту не спускала ее с рук. Она прижимала ее к своему гулко стучащему сердцу, повторяя про себя:

— Господи! Господи милостивый! Отец наш всевышний, возьми меня грешницу, якщо так треба. Токо оставь, сохрани дите мое, душу ее безвинную. Чуешь, Господи?

...Ночь медленно, будто нехотя, сползала с земли, гася уставшие светить звезды. Работающая без отдыха Вселенная творила новый зимний день. А в тот же предутренний час в одном из небольших домишек занесенного снегом Запорожья угасала жизнь крошечного человека, который, появившись для радости тех, кто произвел его на свет, так и не успел дать им ею насладиться.

4

— Ну, шо за люди у тех высоких штабах сидять! — возмущался Петро Задорожний, получив приказ откомандировать Бориса Мащенко в распоряжение республиканского штаба погранвойск. — Токо привыкнешь до человека, верить ему, как самому себе, починаешь, а тут на тебе — забирают его.

Борис и сам с сожалением расставался с отрядом, его красноармейцами и командирами, с которыми успел сдружиться. Особенно близко он сошелся с Задорожним. И не только потому, что когда-то довелось им встретиться в кровавом бою с отборными частями барона Врангеля. Это, конечно, тоже сыграло свою роль. Но не это явилось главным. Борису нравилась какая-то необыкновенная открытость комэска, его ровное обхождение как с подчиненными, с которыми он был всегда хоть и строг, но справедлив, так и с начальством, перед которым он никогда не заискивал.

— Не можна ховать правду-матку от начальников, Борисе, — шутил он. — Вона ж обижаться буде и все одно колысь штрыкне тебе у мьякое место.

Буквально три месяца назад Борис принял эскадрон у Задорожнего, который был назначен заместителем командира отряда. Только начал осваиваться с новой должностью. Готовился уже жену свою молодую Клаву забирать из Никополя, где жила она у своих родителей, ожидая пока муж устроится и ее позовет. Нашел квартиру и даже кое-какие из своих вещичек туда перенес. А тут — этот приказ.

— Як хочешь, хлопче, — сопел Задорожний, — а мени такое не наравится, дорогой ты наш товарищ Мащенко. Не наравится, и — точка. Эскадрон у прикордонному отряде, чуешь, то есть найголовнейшее звено. Отак часто командиров менять, шо поганые онучи, то значит великий вред делу робыть.

В эти минуты душевного волнения Петро по привычке смешно, будто понарошку, играя, хмурил свои белесые брови, взъерошивал сметанные кудри и тут же, словно пугаясь содеянного, старательно поправлял их, разглаживая ладонями. Потом, немного успокоившись, на какое-то время затих, пощипывая острую, как шило, стрелочку усов и вдруг выпалил:

— А як ты думаешь, Борис, мо, пойти мне до командира та попроситься опять на эскадрон?

— Да как же так? — изумился Мащенко.

— Ну, а шо тут такого? Не наравится мени отая штабная робота. Хоть ты лусни, а не наравится. Киснуть я тут почав. Понимаешь? Як отое самое вино, шо довго стоит. У эскадрони я себе почуваю, як у ридний хати. Мени тут усе ясно, усе понятно. Ты меня серед ночи розбуди, и я тебе про кожного человека, кожного коня, кожну гвинтовку чи там «Максима» повный отчет дам. И не ошибусь. А зараз я навроди у гостях. Шось зробить треба, а ты бо-

ишься: чи понаравится хозяевам. Просто протывный я сам соби делаюсь до невозможности. Шо ты на такое скажешь?

— Не знаю...просто не знаю, что тебе и ответить, товарищ Задорожний. Думаю, что раз партия, Советская власть тебе доверили,.. — чувствуя, что говорит казенным, противным всему его естеству языком, начал было Борис, но тут же остановился и, бросив взгляд на сердито сопевшего Петра, неожиданно для себя выпалил:

— А эскадрон наш, действительно, что надо. Таких поискать, так и во всех погранвойсках не сыщешь, Петро. Да и в целой Красной Армии.

— От и я так думаю! — обрадовался Задорожний. — А раз думка такая есть, то не след ее у голове держать. Треба, щоб про нее и начальство тож знало. Пойду до командира отряда. Шо он себе думает?

И таки пошел. О чем они там говорили и как, одним им известно. Только уговорил командира Петро. Потом довольный делился с Борисом:

— Люди, — говорит, — уверьх, угору стремятся, а ты, товарищ Задорожний, усе до земли тулишься.

— Нехай, — кажу ему, — угору тые самые орлы летять, которые пограмотней меня. А я обнаковенный что ни на есть хлопец селянский. Мене и туточки, на земле, добре.

— Ну, и что?

— Шо, шо! Матюкнулся, конешно, командир добряче. Грамотно матюкнулся. Я так не зумию. Думаю, зараз выгонит он меня из своего кабинета. А он — нет. Раз ты, каже, такой противный, то иди, чертяка, у свой эскадрон. От и усе.

Возвращение Задорожнего было встречено в эскадроне всеобщим ликованием. Мащенко даже обиделся немного: вроди бы радовались хлопцы, что он уезжает. Но обиду эту держал недолго. Проводили его тепло, по-братски, можно сказать. Все свободные в тот день на станцию железнодорожную пришли. Желали хорошей службы на новом месте и обещали писать, как только узнают его адрес.

И вот он уже полгода служит неподалеку от Каменца-Подольского на советско-польской границе. Тогда, в штабе погранвойск, услышав, что его собираются послать на политическую работу, он вначале растерялся.

— Это что же выходит? — спросил, пытаясь сдержать предательскую дрожь в голосе. — Не вышел, значит, из меня строевой командир? Не получился?

— Ты эти самые штучки брось, товарищ Мащенко! — сердито засопев, ответил кадровик. — Партии, понимаешь, грамотные кадры для работы с людьми нужны. Чтобы от ее имени политически грамотным языком, понимаешь, говорили, а не каким-нибудь матерным. Чтобы ее, понимаешь, линию гнули...

Ну, что ему оставалось тогда делать?

— Раз партия... Раз партия требует, — как сквозь вату услышал собственный глуховатый голос, — готов, значит, выполнять...

Тяжело поднялся со стула и замер, сжав кулаки.

— Вот и хорошо! — обрадовался кадровик. — И это правильно. А то, понимаешь, разводят тут антимонию всякую. Служба она порядок, дисциплину любит...

— Куда прикажете следовать?

— Пока в политуправление, — дружески улыбнулся кадровик. — Пока туда, а там определят.

Определили его на краткосрочные курсы политработников, куда собрали будущих курсантов со всей западной границы. Обучаясь, все думал, что рядом с домом, считай, он находится: Харьковская и Полтавская губернии ведь соседи, до его Опрышек всего-ничего. Думал, как бы выкроить несколько деньков и нагрянуть в село родное, в котором столько лет уже не был. С отцом и матерью только письмами разговаривал. Да, побросала его судьбинушка по белу свету: и на руднике марганцевом пришлось поработать, толкая вагонетки с рудой, и на заводе Михельсона в Москве. Там, в первопрестольной, и к учебе пристрастился в рабочем кружке, и с политикой подружился. Книжки разные, что приносил ему студент-большевик, глотал моментально. Они ему глаза на многое открывали, и тоска по дому вроде не так тревожила его душу. Нет, он никогда не забывал свое село, тот волшебный нежно белый яблоневый цвет, что весною обряжал деревья, прихорашивая их, словно сказочных невест, ожидающих своих суженых, чтобы идти с ними под венец; их двор, опоясанный тыном с красующимися на шестах глечиками; старенькую бабусю Евдоху, которая одна в целом мире могла так по-доброму улыбаться, смахивая с лица нагоняемые годами морщинки, могла делать такие обворожительные гречаники; братьев и товарищей, с которыми делил босоногое детство, и, конечно, своих родителей — единственных святых, которых он признавал и на которых молился. То была его малая родина. О ней он помнил всегда. Книги же, ставшие его верными друзьями, как бы расширяли родные просторы, знакомые и близкие ему с детства, открывая все новые и новые красоты, которые он тоже начинал любить, как свои. Казалось, еще совсем недавно, читая повесть Гоголя «Тарас Бульба», он узнавал о Запорожской Сечи, куда так долго добирался Тарас с сыновьями. В гражданскую войну ему самому пришлось драться в тех местах с беляками. Более того, в городе Никополе, на том самом месте, где шумела когда-то Никитинская сечь, избирая гетманом Украины Богдана Хмельницкого, повстречал он после жаркого боя свою любимую Клавушку, которая стала его женой.

И надо же такому случиться! Едва успев врангелевцев выбить из города, заскочили они в один из дворов, что по улице Нагорной, водицы испить. Жарища стояла страшная. Достали воды из колодца и только пить собрались из ведерка, как тут она появилась. Глазища карие и коса черная змеей по плечу вьется. Он остолбенел.

— Ой, какой ты смешной был! — вспоминал потом самый близкий дружок Алешка Булычев. — Рот открыл и не закрываешь. Я уже подумал, что пуля тебя шальная ужалила.

А его и вправду Клавушка своими глазищами подстрелила. Сколько девушек потом встречал, но так ни одна и не приглянулась. К ней сердце звало. Только, когда в Москву ее из Никополя привез, успокоилось. Теперь и здешние места ему, как родные. Да разве только они? А Москва, которую он также полюбил всем сердцем? А Каменец-Подольский, где сейчас он возглавляет комиссарскую работу в погранотряде? Здесь тоже его Родина, границы которой он охраняет и за которую готов жизнь свою отдать.

Все вроде бы ничего, но уж слишком долго их разлука с Клавой затянулась. Уже дважды подавал он рапорт с просьбой предоставить отпуск, но дела никак не позволяли: то обстановка на границе, то болезнь командира отряда. Теперь вот с молодыми, недавно начинающими служить, работать нужно.

Алешка Булычев в письмах над ним подшучивает:

«Смотри, — пишет, — не забывай, что дети из писем не рождаются. Их в капусте находят. Пора бы и вам с Клавдией в огород отправиться, а то состаритесь и без наследников останетесь».

Хорошо им с Полиной. Вместе живут в Москве. Растет у них карапуз Волька с такими же острыми и внимательными, как у отца, глазами. Правда, когда последний раз виделись во время Алешкиной командировки в Харьков, тот жаловался, что дел у них там в ГПУ по горло. Ну, это как кому. Один будет думать, какую бы полегче себе работу найти, а другим искать-то ее некогда — она их сама находит. Не замечаешь, как и время бежит. Кажется, совсем недавно они были курсантами кремлевских пулеметных курсов. Вместе с Алешей и Колей Даниловым на посту, охраняя кабинет и квартиру Владимира Ильича. Вместе потом и на Южном фронте по его заданию дрались с белым бароном. Казалось, это было только вчера, а на самом деле годы пролетели. И какие годы! Страна на ноги становится назло всяким гидрам мировой революции. Вот только жаль Ильича. Болезнь его одолела. Об этом под большим секретом Алеша Булычев сообщил при встрече в Харькове. Ну, еще бы! Такая жизнь у них с Надеждой Константиновной была трудная: то тюрьмы, то ссылки. А потом вот из голода, из нищеты и разрухи выходить пришлось. Попробуй быть здоровым. К тому же еще эти отравленные пули эсерки Каплан...

Эх, проглядела тогда охрана у завода Михельсона! Как можно было оставить одного Ильича? Правда, разве за всем уследишь? Вот они на границе стоят. Вроде бы все делают, чтобы ни один гад не прошел. И с пограничниками, и с комсомольцами-чоновцами работают, к бдительности призывают. А они, падлюки, нет-нет да и проскакивают. Да еще как! Остатки петлюровцев, махновцев, что теперь попрятались по городам и селам, помогают. К ним все нити из-за кордона, из Польши и Румынии тянутся. Может быть,

и их отряду придется встретиться с батькиными гонцами. А что? Разве не к кому? Вон в городе как уголовный элемент разгулялся.

Несколько дней назад сам он, Борис, шел из отряда на квартиру к себе. Темнело уже. Вдруг слышит за углом возня какая-то. Выглянул осторожно. Видит: четверо дюжих хлопцев на двоих, как тогда показалось, мальчишек наседают. Повалили на землю и толкут что есть мочи.

— Встать! — скомандовал. — Руки вверх. Стрелять буду. Кто такие?

Ребята с земли поднялись. Лица в кровь разбиты, дышат, как загнанные лошади.

— Курсанты мы, товарищу командир. Из совпартшколы, — ответил один из них.

— Что случилось?

— Та вот эти, — курсант бросил злобный взгляд в сторону жавшихся друг к другу обидчиков. — Москалями обзывалы. А яки мы, той, москали? Ну... мы их — петлюрамы...

— А дали шо? — переходя на украинский язык, спросил их.

— Дали? Мене заставляли спичкою вулыцю миряты, а Грицька — на паркан лизты и пивнем крычать. Колы видмовылысь, быты почалы...

Пришлось задержать тех четверых. Как потом выяснилось, у одного из них отец, владелец колбасной лавки, а у другого брат, студент из Киева, действительно вместе с атаманом Петлюрой за кордон ушли. У этих, конечно, была причина быть недовольными советской властью. Остальные просто на поводу у дружков своих шли. В благодарность за самогон, которым угощал сын колбасника перед тем, как идти «полюваты на москаля». Обыкновенные рабочие хлопцы из литейной мастерской. Да и брат студента тоже не буржуй какой-нибудь недорезанный, а сын учительницы и наборщика из местной типографии.

— Чого ж ты, Мыхайле, з тим ковбасныком злыгався? — спросил его перед тем, как отпустить.

— А вы не поймете.

— Як так?

— Та отак. Не поймете.

— Чому?

— Бо вам не болыть.

— Шо не болыть?

— Серце. Не ваша то земля. Чужа вона вам...

— Ни, хлопче, це моя земля. Моеи Украины. За народ мий мы и бьемося. За його щастя.

Хлопец презрительно скривил губы. Робость, сковавшая его в первые минуты задержания, уже прошла, и сейчас он держался свободно.

— А чого ж вы тоди сами, он як Устин Кармелюк, шо у пидвалах фортеци нашои сыдив, а тоди поныщеный був царем, чого сами не бьетесь за волю Украины? Нащо ж москалив клычите?

— Так то ж браты наши! Разом, бач, и перемогу здобулы.

— Браты? А пид Крутамы, биля Кыева, не браты студентов наших вбывалы? Мени ж брат розказував...

Мащенко видел, что хлопцу явно хотелось с ним схлеснуться, высказать какие-то свои, тревожившие его душу мысли. Но беседа затягивалась, а самого Бориса дома ждали дела, и он решил отложить разговор на другое время.

— Ну, от шо, Семчук, — предложил он. — Я не помилився? Правильно твое призвыще назвав?

— Та правильно...

— Так от. Бачу я, що нам е про що поговорыты. Тилькы зараз часу в мене немае. Прыходь сюда о девьятий у недилю, и мы продовжимо.

— А мене пустять?

— Пустять, пустять. Скажешь, шо ты до Мащенка.

— Добре. Прыйду...

Потом они не один раз встречались с Михаилом Семчуком и его друзьями — литейщиками Иваном Горбом и Дмитрием Коржом. Ему самому были нужны эти встречи и те беседы, которые они вели. По линии ГПУ уже несколько раз шли предупреждения о том, что среди новобранцев-украинцев, которые приходят в красноармейские части, много с петлюровским и махновским душком. Сам Борис среди своих молодых красноармейцев такого не замечал, и в душе у него начинала зреть обида.

Ну почему кто-то там наверху считает, что этим самым поганым духом пропитаны только украинцы? Спору нет, и Петлюра, и Махно, так сказать, явления, которые были. От них много вреда и партии, и советской власти. Но разве в других местах ничего подобного не было? Не было контрреволюционных выступлений на Дону и в Тамбовщнне? Ого! Еще как там полыхало. Почему же не возникало таких обидных кличек, как петлюровец и махновец? Были же и там свои поводыри, которые поднимали на кровавое дело десятки, а может быть, и сотни тысяч людей. Отчего же об одних так быстро забыли, а о других помнят?

Когда они еще учились на пулеметных курсах в Кремле, бывало только имя Махно прозвучит, Афанасий Грязнов тут как тут со своими шуточками:

— Видал, Мащенко, опять ваш батька-бандюга чудит.

— А какой он наш, Афанасий? Он такой мой, как и твой.

— Не скажи, Борис! Ваш он, ваш. Украинец.

— Так сидел-то он, Афанасий, у вас здесь, — вступался за товарища Алексей Булычев.

— Как у нас? — изумился Грязнов, удивленно моргая глазами. — Врешь ты все, питерец. Обидно, что столицу сюда перевели.

— У нас, у нас, — приходил на помощь Коля Данилов. — В первопрестольной нашей, в Бутырках за убийство сидел.

— Да ну вас! — отмахивался Афанасий. — Рос то этот бандит на Украине...

Так, как-будто бы обыкновенные шуточки, курсантские шпильки, но они почему-то были очень неприятны тогда. Неприятны, потому что задевали что-то очень сокровенное, неосторожное прикосновение к которому посторонних совсем нежелательно. Ведь, почитай, в каждой семье всякое есть: и хорошее, и плохое. Когда твои родные говорят о твоем плохом, то это тоже неприятно. Но куда от него денешься? Все понимают, что касаются его, чтобы как-то избавиться, избежать повторения в будущем. Когда же его начинают касаться чужие, это кажется бессердечным, жестоким, обидным. Напоминает ковыряние ржавым гвоздем в кровоточащей ране, порой выдаваемое за врачевание, когда так и хочется крикнуть:

— Не лезь! Не береди!

Хочется, да только гордость не позволяет.

Не в таких ли случаях, причиняя боль другому, вчерашний товарищ становится странным и непонятным? Не с них ли чаще всего начинает гаснуть доселе ровным пламенем горевший костер дружбы? Ведь настоящий друг никогда не позволит себе насмехаться над твоими недостатками, придумывать тебе по этому поводу обидные клички. Он твои изъяны либо просто не заметит, коль они не мешают вам делать общее дело, либо подставит плечо, облегчая тебе, а значит и себе, путь к намеченной цели.

Намеченная цель... Не она ли служит той самой вершиной, двигаясь к которой мы и обретаем друзей? Конечно! Но тогда почему друзьями мы считаем только тех, кто идет к ней лишь нами избранной дорогой. На ней могут подстерегать и обвалы, и пропасти, грозящие прервать путь, и тогда мы, идущие, потерпим неудачу. Разве не может стать другом тот, кто, избрав иную тропу, все же выйдет на одну с нами цель? Может. Им может стать и тот, кто сегодня движется к совсем иной цели, а завтра изберет с нами одну. Не сразу, не вдруг. Ведь нужно время, чтобы эта цель прояснилась. Чтобы вершина, которая едва видна в закрывающих ее облаках людской темноты и невежества, засияла, высвеченная лучами добываемого светлыми умами человечества знания, науки об обществе и его развитии. А она же, эта самая наука еще в пеленках, и лучики ее слабенькие пока не могут прорваться сквозь пелену сплошной безграмотности. Вот и попадаются рабочие и крестьяне вроде Михаила, Ивана, Дмитрия на удочку разным «правдолюбцам», радетелям за счастье народное вроде Махна и Петлюры. А те и сами толком не знают, чего хотят, какое оно на самом деле счастье народное, где оно и как до него добраться. Не знают, а зовут людей, ведут, как баранов на убой. Зовут потому, что, видать, нравится им во главе быть. Чтобы не со всеми вместе, а выделиться как-то, позаметнее стать. Здесь колесили-куролесили, по всей Украине следы кровавые оставили, а сейчас и за кордоном угомониться не могут...

А батька и в самом деле не мог угомониться. Вся его кипучая натура жаждала деятельности. Разочаровавшись в возможностях румынской сигуранцы, он обратил свой взор на Польшу.

— Шось тут дух, Лева, не той, — жаловался он.

— Дух, как дух, — хмурился Лева, чувствуя, что Махно затевает что-то новое. — Заграница, она и есть заграница. Откуда здесь духу нашему взяться.

— От и я кажу тебе, шо смердыть тут. Гнылякою тхне. Може, то вже мы сами гнить начали? Гнием и не знаем того. Га?

— Ну ты такое скажешь, Нестор Иванович!

— А шо ты думаешь! Такое бывает, Лева. Ей-бо, бывает. Перед смертью. Ходит себе дядько, жрет, горилку дудлит и не про шо не думает, а од него вже тхне. Бо там смерть поселилась, гнездо свое свила. Кажуть, од неробства такое бывает. Пойнял, Лева? Мы тут сыдьма сыдимо, а люды десь дило роблять, ежака у кальсоны советам пускают. Та ты ж сам мени казав про Польшу. Казав?

— Та казав...

— Ну от. Мо, рвонуть туда? Сказать мамалыжныкам адью, чи як там по-ихнему и податься до ляхив. Там же, я уверен, наших хлопцев хоч греблю гати. Свисну, и петлюровцы до нас прыйдут. Ты ж помнишь, как мы под Уманью трохи в Симона хлопцив не выдурили. Заключи мы тогда союз, и они б Симона кинули. Га?

— Кто его знает, батька...

— Кинули б, кинули. Как пить дать, кинули б! От тада б мы погуляли. Да-а-а! Та шо теперь про то говорить. Шо було — загуло. Зараз про другое думать треба.

Махно замолчал. Только игра бровей да подергивание уголков губ выдавали работу его мысли.

«Зараз щось выкинет батька», — подумал про себя Лева, хорошо изучивший за эти годы Махно.

— Слухай сюда, Лева, — тут же обозвался тот. — Я таки надумал до ляхов податься. Спробую. Ну чем черт не шуткуе, када боготец спит? Може, и удастся оттуда раздмухать новый шухер. Га? Хто ж его знает? Дывысь, саме там и ховается та самая искра, из якои, як кажуть большевики, возгориться пламья. Румуны вже и согласные. Набрыд я им тут уже, шо та гирка редька.

— Выходит, едем?

— Ага... Токо не все. Ты, Лева, пока шо тут останешься.

— Так, значит? — изумился Лева.

— Так. Так треба, Лева. Ты мне тут нужен будешь. За хлопцами смотри. Разгуляться не давай. И, главное, проходы в кордони бережи. Думаю я, шо нужны они нам будут. Скоро чи не, сказать пока не берусь, но бережи их. И регулярно связь со мною держи. Як устроимся там, мой адъютант Ваня Лепетченко тебе зразу даст знать. Пойняв?

— Понял, но пока не дуже.

— Ну, шо ж...

— Выходит, расстаемся, батька?

— Пока, Лева. На время.

11 апреля 1922 года Махно с Галиной и семнадцатью повстанцами покинул боярскую Румынию и перебрался в Польшу. Вскоре Лепетченко и вправду дал о себе знать. Сообщил, что «приняли батьку добре», указал адрес, по которому его следует искать, и назвал пароль для связников.

Радушная встреча батьки поляками имела под собой достаточно веские основания. Разрабатывая планы реанимации антисоветского движения на Украине, которое после поражения Петлюры явно пошло на убыль, польский генштаб, рассчитывавший с его помощью погреть руки, прирастив свою территорию за счет западноукраинских земель, делал ставку на Махно. Что ни говори, а фигура Нестора Ивановича была достаточно колоритной, и память о нем жила не только в Гуляйполе и ближайших к нему Запорожской и Екатеринославской губерниях. Одни с ужасом вспоминали кровавое веселье батькиных хлопцев. Другие же ждали его возвращения, чтобы посчитаться со всякого рода обидчиками. Они-то и могли явиться тем источником, который питал бы батьку людскими ресурсами, явись он из-за кордона. Вот почему из Харькова да и из Москвы внимательно наблюдали за его перемещением.

Буквально на следующий день после прибытия батькиной компании в Польшу ВУЦИК объявил амнистию всем, кто воевал против Советской Украины. Прощая прегрешения многим тысячам вчерашних противников, амнистия однако не распространялась на ранее указанных семерых «заклятых преступников против свободы украинского трудового люда, непримиримых врагов рабочих и крестьян Украины». Среди них, конечно же, оказался и сидевший в печенках у советских вождей-победителей Нестор Махно.

19 мая 1922 года Верховный трибунал при Всеукраинском Центральном исполнительном Комитете объявляет батьку виновным «в совершении на территории УССР целого ряда грабежей и разбойничьих нападений», а 24 мая правительство Украины направляет властям Польши ноту с требованием выдать его для привлечения к ответственности как уголовного преступника.

— О! Це вже погано, Ваня! — узнав об этом, качал головою батька. — Бандюгою, бач, надумали меня сделать. То вже еврейски штучки Троцкого. Наши у Харькове до такого б не домыкытылы. Боится Левка за свою комиссародержавию. Боится!

Ругая на чем свет стоит непонятную осведомленность большевиков о, казалось бы, тайных перемещениях батьки, польские власти все же решили пока воздержаться от ответа сопредельному государству. Батьку же с Галиной Андреевной и всей их гопкомпанией на всякий случай поместили в концлагерь. Здесь, кроме жандармов, за ним постоянно следили двое часовых, которые менялись через каждые два часа, проверяли наличие батьки.

— Ач, як стережуть нас, Галочко! — делился он с женой. — Ну, ничего. Хоч Симонови хлопцы дошкулять не будуть.

— А таки е за шо! — не утерпела Галина Андреевна. — Таку сылу-сыленну вийска мав. Миг бы допомогты украинскому вызвольному руху.

— Отым шовинистам?! — вскипел Махно. — Ач, стервы. Безбатченком мене клычуть. Чуешь? Так. Их батьки панского роду. Пыхатого. И на ных я плювать хотив. А мои — козаки вольнии, шо усех на Сич клыкалы и украинця, и росиянына, и яврея, и латыша голозадого. Усих. Усих чисто. Пойняла?

— Та пойняла, пойняла! — махнула рукою Галина Андреевна. — Одчепись од мене, лишенько мое. А не ты сам казав, як тих евреив былы, що австро-германцям Гуляйполе здалы?

— От, дурная баба! — зло рассмеялся Махно. — То ж я иуд наказував. Зраду трощив. Сама ж знаеш, шо в армии моей усякие были. Он тот же Лева Задов, Волин... И я им верил. Бо то евреи как евреи, а не якись там иуды. Пойняла? Га?

— Ну годи, годи вже тоби читать мени политграмоту, — сдалась Галина Андреевна. Она не разделяла этих взглядов своего мужа, считая, что он должен был воевать за «неньку Украину» вместе с Петлюрой. Вот только кто из них обязан был кому подчиняться, для нее самой оставалось неясным. Где-то в глубине души ей, конечно, хотелось, чтобы первым был Нестор Иванович. Тогда и она не была бы где-нибудь на втором месте. Что ни говори, а все-таки приятно сознавать себя первой, слышать, как то ли со страхом, то ли с завистью шепчут:

— Вон, вон она, мама Галя — жена самого батьки Махно.

Она-то за эти лихие годы узнала, что значит быть женой человека, наделенного такой властью, какая была у Нестора Ивановича. Узнала и что значит потерять эту власть. И сейчас ей очень хотелось, чтобы Махно стал таким же всесильным, как раньше. Это было просто необходимо, потому что Галина Андреевна ждала, в очередной раз ждала ребенка. Ради него, своего будущего дитя, его благополучия Галина Андреевна готова была пойти на все. И поэтому, когда неугомонный батька послал ее в посольство УССР, она вначале пришла в ужас, но, подумав, выполнила и это его требование. Конечно, ей больше бы подходило помирить их с Симоном, объединить. Но раз батька настаивал на другом, Галина Андреевна смирилась.

При встрече с одним из работников консульского отдела посольства УССР «мама Галина» старалась держаться с достоинством. Рассказала, что польские власти изолировали махновцев от петлюровцев.

— Та воно й краще! Навищо воны нам. Мы як булы за радянську владу, так и остались. Тилькы комусь дуже хочеться посварыть нас, пустыть промиж намы чорну кишку. Скажу по секрету, шо Нестор Иванович мриють про те, щоб организуваты по-

встання на Галычини и тоди вже повернутысь додому. От абы уряд Украины дав нам бодай невелычку допомогу гришмы и 6 — 8 револьверив, мы б выскочилы з того концтабору. А тоди уже на Украину. Звычайно, з дозволу Укруряду. Звычайно, з дозволу...

Собеседник Галину Андреевну ничем не обнадежил. Зато эта встреча польской дефензивой незамеченной не осталась. К тому же и среди батькиных хлопцев, лишенных бдительного Левиного ока, нашлись предатели. Спасая свою шкуру, Оверко Саввич Прудкосвист подробно проинформировал агентов дефензивы о батькиных планах. 25 сентября вся гопкомпания, именовавшаяся громко «штабом», была арестована и водворена в Варшавскую тюрьму. Здесь, находясь в заточении, Галина Андреевна и разрешилась от бремени, подарив Нестору Ивановичу дочь, которую по обоюдному согласию родителей назвали Еленой...

Расставшись с батькой в Румынии, Лева испытывал двойственное чувство. С одной стороны, он чувствовал себя необыкновенно легко, сбросив того одиозного, наводившего ужас на обывателя Задова, которого пришлось ему тащить на себе все эти огненно-кровавые годы. Не было ответственности перед товарищами за батькины выкрутасы, на которые тот всегда был горазд, нередко ставя как врагов, так и друзей своих в самые что ни на есть невероятные положения. Свалился и самый большой груз ответственности, который он постоянно чувствовал, пока был рядом с Махно, — ответственности за жизнь этого странного, загадочного человека, которого он, Лева (чего греха таить!) все же любил. Правда, и сейчас он переживал за батьку, его Галину, к которым уже привык, с которыми успел сжиться. Он часто думал о них, пытался представить, как они там в Польше устроились. Переживал, когда их переводили из лагеря в лагерь — из города Бучача, что на Тернопольщине, в Станислав, а оттуда в Щелков. Опасался, что кто-то из ЧК, которая теперь все равно будет «опекать» батьку, может быть, получив задание покончить с ним, выполнит, не мучаясь, как он сам, не ведя споры со своей совестью. И все же это было уже не то. Даже совсем не то. Махно, отдаленный волею судеб, а также собственной неукротимости, и он, Лева, существовали теперь сами по себе. Лева чувствовал, как в нем начинает жить новый человек. Нет, не то чтобы совершенно новый. Он уже знал его, этого бесшабашного, уверенного в себе Зиньковского, который когда-то давно-давно уснул в нем, а теперь вновь просыпался. Лева и радовался его пробуждению и удивлялся. Радовался потому, что с ним, с Зиньковским, было связано не только голодное детство, но что-то такое приятное, удивительно свежее и чистое, как весеннее утро, освещенное и согретое ласковым солнышком, которое еще не успело вдоволь наработаться и гневно раскалиться. Но он и удивлялся ему, ибо это был уже совсем другой Зиньковский. Чувствуя в себе прежнюю нерастраченную силу, он теперь не спешил как когда-то, сразу же пускать ее в дело, лезть, что называется, напролом. Этот, новый Зинь-

ковский сперва внимательно оглядывался, прикидывал, а потом уже решал: быть ему охотником-котом или же затихшей в своей норке маленькой мышкой.

Деньги, которые оставил им с Данькой Махно, быстро таяли. Из-за кордона тоже нужных средств не поступало. С переездом батьки в Польшу к нему интерес товарищей заметно поубавился. За целый год лишь однажды появился Андрей. Передал приказ внимательно наблюдать за контактами сигуранцы с политическими эмигрантами и куда-то исчез, пообещав доложить о «финансовых затруднениях».

Ох, уж эти словечки мудреные! И откуда они только берутся? Нет чтобы сказать просто:

— Братцы-товарищи! Нам с Данькой жрать иногда просто нечего. Каждый день, чтобы на кусок хлеба заработать, то на станцию, то на лесопилку ходим разгружать вагоны или таскать бревна, от которых не только у более слабого Даньки, но и у меня самого, при моей силушке глаза на лоб лезут. Если можете, то помогите.

Только такого Лева не скажет. Знает, что дома, на родине его сейчас трудно. Очень трудно! Он бы и сам себя мог обеспечить. Добраться бы только до Дибровского леса. До того места, о котором лишь он один знает. Того богатства, что когда-то зарыли они вдвоем — погибший армейский казначей и Лева. Хватило бы на целую дивизию и не на один год. Во время встречи с Андреем хотел было черкнуть записочку Кате: так мол и так, подскажи, чтобы вызвали от мамалыжников домой, а я вам цацки кое-какие покажу. Но так и не решился. Что-то остановило его тогда...

О кладе Лева снова вспомнил, когда в комнату, где жили они вместе с братом, ворвался запыхавшийся Данька.

— Лев! Слыхал, батьку в кутузку засадили, — выпалил, едва переступив порог.

— Чего, чего?

— Того. Батьку, кажу, с Галиной посадили у Варшаве. Судить будут.

— Може, брехня?

Нет, проверка показала, что это была правда. 23 мая 1923 года прокурор окружного суда Варшавы начал дело против Махно и его «штаба». Их обвиняли в связях с представительством Советской Украины в Варшаве и подготовке мятежа в Восточной Галиции.

Лева встревожился. Через анархистские связи удалось выйти на польскую прокуратуру. Там загадочно улыбались и успокаивали:

— Паны не мусять хвылюватысь.

— Як же не мусять?

— А так. Поверьте, что те какие-нибудь восемь лет тюрьмы, которые угрожают пану Махно, чепуха по сравнению с тем, что угрожало бы ему дома в случае выдачи советам.

— Как же можно было бы помочь пану Махно? — поинтересовались Левины посланцы под конец короткой беседы с представителем польской прокуратуры.

— Ну, я думаю, что только хороший адвокат, — ответил тот. — Не помешает и парочку. Я мог бы порекомендовать панам файных адвокатов.

Лева снова нажал через каналы анархистов, и они опять сработали. Ведь батька был единственным, кто пытался воплотить в жизнь теоретические построения анархистов. Деньги были найдены. Махно и попавших на скамью подсудимых его друзей отстаивали трое защитников.

— Панове судьи! — смешно копировал потом одного из защитников Ваня Лепетченко. — Та шо вы хочете? Украина ж усигда была колыскою усяких атаманов и гайдамаков.

Насмеявшись вместе с Левой и Данькой, Ваня начинал изображать другого защитника. Разводя недоуменно руками и моргая глазами он вопрошал:

— Мине не понятно, панове, какое ж, собственно говоря, преступление перед Польшей совершили эти люди?

Хлопцы снова покатывались от смеха.

— А батька! Люды добрые! — хватался за голову Ваня. — Вы б бачили его. Це ж орел. Дывыться на ных гордо. Наче то не судьи, а якись там катерынославськи буржуи перед ным. Я, каже, за народ трудовый гныв на каторзи у холодному Сыбиру. Чуете? Яка там Умань? Я там, каже, не був и не знаю, де вона есть. Преступления? Про шо вы говорыте? Я, каже, чесно воював за народное дело. Ага! И, головне, чеше по-российскому, та не просто, а як з кныжкы читае.

Нестор Иванович действительно хорошо понимал, где он, кто он и как себя следует вести. Он был столь возбужден и красноречив, что даже Галина Андреевна не узнавала своего мужа. Батька быстро уловил, что обвинения его в попытках установить связь с посольством Советской Украины не имеют под собой надежного доказательства и, решительно атаковав выдвигаемую версию, умело ее опрокинул.

— Что же касается стремления некоторых личностей бросить темную тень на все махновское движение, — звучал его звонкий, как до предела натянутая струна голос, — то это есть самые настоящие ложь и обман. Махновское движение ничего общего с так называемым бандитизмом не имеет. Это самое что ни на есть народное освободительное движение, есть непримиримая и героическая борьба против навязываемой народу всякого рода коварными поработителями власти... Теперь, что касается попыток со стороны меня и моих товарищей установить связь с большевиками, якобы с целью злых умыслов против Польши. Ложь и еще раз ложь! Панове судьи! Скажите на милость, мог ли я, человек, который весной 1920 года своей героической борьбой разом со своими героическими товарищами-повстанцами на две недели задержал 1-ю Конную армию Семена Буденного, которая была брошена на Польшу, мог ли я хотеть сотворить ей какой-нибудь вред? Нет, никогда! Вспомните, уважаемые судьи, шо тогда была спасена Варшава от захвата боль-

шевистскими войсками. И то сделали мы, героически сражаясь в тылу красных. Могу ли я, отказавшись в 1920 году вести свою 57-тысячную армию на советско-польский фронт, сегодня желать чегось поганого стране, шо приютила меня и моих товарищей?! Никогда! То все ложь, повторяю, ложь бессовестная и дурная...

30 ноября в 9 часов утра суд удалился на совещание. Стараясь держаться достойно, Махно шутил с сидевшими с ним на скамье подсудимых товарищами, подмигивал Галине Андреевне. Весь его внешний вид свидетельствовал об уверенности и спокойствии. Но Галина Андреевна знала, что Нестор Иванович волнуется. Об этом говорили и слегка подрагивающие пальцы, которые он то сжимал в кулак, то разжимал снова, нервное подергивание щеки, а главное — лихорадочный блеск батькиных глаз. И беспокоиться было отчего: суд заседал уже свыше часа. Что там? О чем говорят судьи? Куда клонится чаша весов этой чертовой Фемиды?

Наконец зал встал, приветствуя появление суда. Председатель огласил приговор Варшавского окружного суда. Галина Андреевна видела, как только что слушавший слова приговора Нестор Иванович, облегченно вздохнул: их оправдали. Ей даже показалось, что, прикрыв ресницами глаза, он пошатнулся. Но эта слабость, длившаяся какое-то мгновение, тут же исчезла. Теперь он снова был тем самым батькой, который заражал других своей энергией, неукротимой жаждой движения, порыва.

Многочисленные журналисты рванулись к нему, стремясь быстрее взять у него интервью. Однако охрана вывела подсудимых через специальную дверь во дворе суда. Журналисты смогли с ним встретиться лишь на следующий день.

— Все добре. Спасибо. Все в порядке. Де буду жить? — возбужденно отвечал он на сыпавшиеся отовсюду вопросы. — Поедем с Галиной Андреевной и донькою у город Торунь. Там будем жить.

— А друзья ваши с вами тоже едут в Торунь?

— Не, — слегка нахмурившись, покачал головой батька. — С ними мы расстаться вынуждены... Пока расстаться. Суд определил им место жительства в других городах...

— Довольны ли вы решением суда?

— Приговор, мне думается, справедливый. Главное, шо, немае больше отой кроваво-брехливой легенды, которая гуляла вокруг меня. От шо главное.

— Что думаете дальше делать?

— Шо делать? — Махно хитро подмигнул. — Поживем-побачим...

5

1924 год, едва перешагнув порог недавно родившегося Советского Союза, сердито дохнул лютой стужей. Будто проверял, пробовал на крепость младенца, зачатого на одной шестой части планеты дерзкими большевиками. Злобные ветры с леденящим душу хохотом бешенно носились по территориям всех четырех республик, пугая своим разбойничьим свистом робкие снежинки, вспарывая сотканное их сестрами белое одеяло для скованной морозом матушки-земли. Привыкший к невзгодам трудовой люд стойко держался, согреваемый зажженным в сердцах огоньком веры в неприменный приход еще неясного, туманного, но такого желанного счастья. Не небесного библейского, не сказочного, подаренного золотой рыбкой или еще каким-нибудь чудом, а обыкновенного, человеческого, которое, оказывается, можно самим сотворить. Уж если не для себя лично, то, по крайней мере, для своих детей. Ничего, что холод насквозь пронизывает ветхие шинели, видавшие виды кожушки и свитки. Это пройдет. Ведь пережили же они тот ужасный голодный год. Теперь тоже негусто. Не ломятся амбары, но дети не пухнут от голода. Есть что пожевать и старому, и малому. Не успеешь оглянуться, как минует зима, а там уже и солнышко на помощь придет. Да и ждать-то всего-ничего осталось — месяц с небольшим. Старались не стонать, не охать.

Но все же не удержались. 21 января в завьюженных подмосковных Горках скончался Ленин. Катя хорошо помнит тот день, когда телеграф принес эту печальную весть в ставшее окружным центром Запорожье. Казалось, плакали все вокруг. Плакала и она сама. Словно покойник был не где-то там в далекой столице, а здесь в Запорожье, в ее собственном доме. Словно ушел из жизни очень-очень близкий родной человек. Да, наверное, так оно и было. И неважно, что Ленина не видели ни разу ни она, ни большинство из ее товарищей, рабочих и крестьян их огромной страны. Но они поверили ему, пошли за ним, полюбили Ильича, ставшего для них святым, а может быть,.. может быть даже богом. Конечно, об этом Катя ни с кем не говорила. Еще бы! Ведь всем известно, что Ленин был не просто неверующим человеком, а воинствующим атеистом. И сравнение его с богом могло показаться даже оскорбительным. Бросить на нее тень как на члена партии, воюющей со всякими господами и божествами на земле и на небе. Она была бойцом этой сражающейся партии и, кажется, неплохим бойцом. Ведь, выполняя ее боевые задания, она ходила в самое пекло — и в тыл дышащей ненавистью к большевикам белой армии Антона Деникина, и к непредсказуемому в своих действиях батьке Махно. Там, где гуляли лихие батькины хлопцы, где смерть караулила на каждом шагу, дожидаясь ее неосторожного, неверного шага, она заглушила в себе все самое нежное, самое сокро-

венное, что настукивало и нашептывало ее девичье сердце. Заставила себя не думать о Петре, своей первой, а возможно, и последней любви, так неожиданно ворвавшейся в ее жизнь. О! Это было непросто. Совсем непросто. Но она справилась с этим не вовремя вспыхнувшем в ней чувством.

Как ей иногда хотелось почувствовать себя слабой, беззащитным «горобчиком», как называл ее Петро, прижаться к его груди и затихнуть. Порой ей казалось, что она чувствует на своих плечах его руки, осторожно, робко поглаживающие ее, ощущает шероховатость их огрубевших от шахтерского труда ладоней, исходящее от них тепло. Ругая себя последними словами, Катя гнала прочь это чувство, заталкивая далеко-далеко, на самое донышко души мысли о любимом, приказывая самой себе даже не вспоминать его имя. В минуты слабости нарочно начинала думать о Софье Перовской, о Петре Петровиче Шмидте, других революционерах, на долю которых выпали тяжкие испытания и физические муки.

Им неоткуда было ждать пощады и помощи. Выстоять, не уронить своего достоинства они могли только мобилизовав все свои внутренние силы, весь запас, который у них имелся. Такое сразу, вдруг не приходит. К нему нужно готовиться. Готовиться ежедневно, ежечасно. Всю жизнь, вплоть до того рокового, последнего часа, к которому подведет ее судьба, связавшая с партией.

Ломая себя, свою прежнюю девичью стыдливость, Катя научилась оставаться безразличной среди похабных мужиков, отпускающих порой такие шуточки, от которых раньше она, если бы не умерла, то наверняка лишилась бы чувств или, по крайней мере, пришла в ужас. Она преспокойно ложилась в постель с мужчиной, потому что так было нужно. Этого требовало дело. Правда, этим мужчиной был Лева Зиньковский, ее верный товарищ и надежный друг. Нет, даже больше, чем друг — ее ангел-хранитель. Лева, при одном имени которого дрожала вся махновия, тайно влюбленный в Веруську, на виду у батьки и его штаба изображал себя рыцарем Кати. И как изображал! Ни хитрющему батьке, ни его проныре Галине и в голову не пришло, что самый надежный человек, грозный и беспощадный Задов самым настоящим образом валяет дурака, водит их за нос. Надо же, какой талант!

Одно непонятно ей: почему Лева, неоднократно получая команду от Манцева, от Медведева уничтожить Махно, так и не выполнил ее? А ведь она подавалась не раз и не два. Что удерживало Леву? Страх? Нет, страха он не знает. Катя в этом могла убедиться. Ведь Лева, спасая батьку, сам не один раз попадал в такие переделки, что, казалось, выйти из них живым ему не удастся. Отчего так? Что двигало им? Конечно, поднять руку на живого человека, а тем более твоего близкого, это не то же самое, что подать, протянуть ее в трудную минуту. Здесь нужны какие-то очень веские причины. Да и при них не всякий отважится на такое. По крайней мере, сама она на это никогда бы не решилась.

«Не решилась?» — Катя окинула взглядом стол, на котором лежали донесения и акты политических контролеров, и нахмурилась.

Совсем недавно она стала заведовать политическим контролем их окружного отдела ГПУ.

— Вы — грамотный товарищ, Екатерина Ивановна, — убеждал ее их новый начальник Кравчевский. — Уверен, что с этой задачей сладите.

Он, видите ли, был уверен. А ее спросили? Ее мнением поинтересовался кто-нибудь? Ни тогда, ни после об этом с ней и словом никто не обмолвился. А ведь ей за несколько месяцев командования уже тошнит от этих дурацких бумажек. Вот хотя бы эта: «...Я, политконтролер Запорожского отдела ГПУ Литовцев, во время очередного просмотра поставленной группой гражданина Терещенка пьесы «Украденное щастье» в 5 действиях Товгобочного выявил, что за вышеупомянутым названием ставится пьеса «Душегубы» в шести действиях, которая значится в списке запрещенных пьес, вследствие чего мною и составлен данный акт в двух экземплярах. Прошу Вашего разрешения на оштрафование Терещенко в административном порядке на сумму «—» рублей золотом и привлечение к ответственности в соответствии со ст. 187 УПК УССР. Политинформатор Литовцев». Ей значит, Екатерине Ивановне Шмидт, предстоит утвердить этот акт, определить сумму штрафа и дать разрешение на привлечение какого-то там Терещенко, которого она и в глаза не видела. И почему это, собственно говоря, нужно решать, что можно, а что нельзя ставить творческим группам?

Теперь вот и до развлекательных вечеров они должны добираться. Сегодня как раз один из работников принес ей циркуляр губернского ГПУ, который гласит, что «...в последнее время одним из распространеннейших номеров эстрады является исполнение танцев... фокстрот, джазбанд и др. Как порождение западноевропейского ресторана, эти танцы направлены, безусловно, на самые низкие инстинкты. При бедности и однообразии движений они, по сути, являют собой «салонную» имитацию полового акта и всякого рода физиологических развратов. На рынке наслаждений растерянного американо-европейского буржуа, который отдыхает от событий в остроте похотливых движений, фокстроты, естественно, должны занять почетное место.

Но в трудовой атмосфере советских республик, которые перестраивают жизнь и отбрасывают стиль мещанского упадничества, танец должен быть иным — бодрым, радостным, светлым... Отдельно ни фокстроты, ни иные эксцентрические варианты для публичного исполнения допущены быть не могут.

...Также необходимо избегать их в оперетте и других сценических произведениях, кроме тех случаев, когда они органически введены в музыкальную партитуру или необходимы как элементы действия...»

Чушь какая-то! Неужели это одобрил бы Ленин? А ведь на него ссылаются! Сколько раз на совещаниях Кравчевский повторял:

— Товарищи! После ухода из жизни дорогого Владимира Ильича враги революции, мировая гидра лезет из кожи, чтобы задушить нас, не дать выполнить его дорогие нам заветы. Не выйдет. Но все рабочие и крестьяне, все трудящиеся и особливо мы с вами должны сорвать ту паскудную шкуру и обнажить перед мировым пролетариатом их вонючие внутренности. Наши сердца должны гореть горючей ненавистью до всего буржуйского.

Ну, чем не лозунги Пролеткульта? А ведь против них, говорят, так выступал Ильич. Но не может же быть, чтобы все из культуры буржуазного общества было опасным и вредным для пролетариата. Не может! Выходит, Ленин лежит себе в Мавзолее, а от его имени кто-то другой свою линию гнет. Чем тебе не Иисус Христос дореволюционного хитрюги батюшки?

«Не-е-е-т! — тряхнув огненно-рыжими кудрями, подумала Катя. — Что-то здесь не так. Не туда загибают товарищи, как сказал бы Лева. Да, он бы не спешил, как Ефим и некоторые другие у них в окружном ГПУ, так легко решать судьбу человека. Не один бы раз отмерял прежде, чем отрезать, принять решение. Правда, бывало и такое, что тот же Лева, не задумываясь, бросался спасать и Махно, рискуя при этом собственной жизнью. Не каждый на это отважится. И не всегда. Не всегда... Но все-таки иногда отваживаются. Когда же? Только... только, когда любят. Ну вот тебе на! Приехала».

Катя поднялась со стула и, сделав несколько шагов по своему крохотному кабинетику, подошла к окну. Солнце было уже в самом зените, залив своим светом все вокруг: и двор окружного отдела ГПУ, и отделенный от него высоким кирпичным забором соседний сад, буяющий свежей зеленью листвы, сквозь которую проглядывали кое-где начавшие желтеть ранние абрикосы. Расположившись на верхушке забора, о чем-то спорили воробьи, агрессивно наскакивая друг на друга.

— Бо-ж-же! — грустно усмехнулась Катя. — И у птиц мира нет. Видать, и их Господь наделил не только любовью, но и ненавистью. Так и ходят неразлучные подружки эти, обрекая на вечное беспокойство и тревогу все живое на земле.

Любовь... А что она о ней знает? Где эта самая любовь начинается и где кончается? Говорят, бывает так, что, возненавидев любимого человека, другой не то что руки ему не подаст, а смотреть в его сторону не захочет и иного, кроме страшных проклятий, ничего желать не может. Может быть, и бывает. Ей самой, к счастью, такое неведомо. Но чаще случается другое: вспыхнувшая ярким весенним солнышком любовь, озаряя все вокруг, вдруг начинает тускнеть, вянуть и, в конце концов, теряется где-то, уходит вместе с вечерними закатами. Не такое ли с их любовью происходит? Отчего к ней с Петром столь немилостива судьба? Не дав окреп-

нуть их чувству, разлучила их, расшвыряла по сторонам. Уж который год они не виделись. Только приветы товарищей, которые встречались с Петром на военных дорогах, да короткие письма, скорее похожие на записки или военные донесения — вот, пожалуй, и все, что связывает их. С некоторых пор Катя стала замечать, что забывает его лицо. Нет, не то, чтобы совсем перестает его помнить. Оно и сейчас перед ней. Но не такое, как ей хотелось бы — живое, весело смеющееся со смешными ямочками на щеках и широко открытыми, брызжащими неподдельным весельем голубыми, как небо в ясный день, глазами или обиженное с подпрыгивающими белесыми усиками и плотно сжатыми губами, которые, казалось, сдерживают, не желая выпустить на свет гневные обидные слова. Таким был Петро в Юзовке, когда они каждый вечер проводили вместе, убегая к ставку, где однажды познакомились, спасая ее тонущую подружку Веру. Таким он являлся к ней в тревожных снах, когда носились они с Левой вместе с лихими батькиными хлопцами, чудом ускользая от смерти, которая подстерегала их на каждом шагу. И каждая такая встреча то ли наяву, то ли во сне наполняла ее какой-то необыкновенной легкостью, уверенностью в себе, в том, что она делает все именно так, как нужно, как должно быть.

Теперь же ей виделось лицо застывшим, как на неудачной фотографии, чем-то недовольным и даже отталкивающе злым. Отчего так? Может быть, сказывается ее собственное настроение, неудовлетворенность работой? Может быть...

Дверь с шумом распахнулась, и Катя, от неожиданности вздрогнув, резко обернулась. На пороге стоял улыбающийся Ефим Аникишин.

— Дозвольте войтить, Екатерин Иванна? — играя широкими черными бровями, спросил он.

— Чего это ты так официально? — сдвинула плечами Катя.

— Начальство вы тепереча! — усевшись на скрипнувший под ним стул, Ефим многозначительно поднял указательный палец. — Начальство! А ево надать уважать.

— Вот как? — сощурилась Катя. — И с каких же это пор...

— Завсегда так было, Катерин Иванна, — не дав ей договорить, зачастил Ефим. — Завсегда было и будет. Тольки начальство меняется, а уважение завсегда должно оставаться.

— Да ну тебя, Аникишин, — отмахнулась Катя. — Чудной ты сегодня. Говори, зачем пришел.

Ефим помолчал. Достал папиросу из портсигара, помял се пальцами, но, бросив взгляд на Катю, закурить все же не решился. Старательно уложил ее на место и, щелкнув портсигаром, спрятал его в карман.

— А пришел я к тебе, Катя,.. Катерина Иванна, по делу, — глухо проговорил он. — Можно сказать по наиважнейшему делу, дорогой ты наш товарищ Шмидт...

— Ну, ну!

— Ты уж не торопи меня... Не торопи меня, Катерина Иванна, а то я собьюсь. Совсем собьюсь... Дак вот, значится, порешил я поступать в партию нашу. В партию Ленина, значится... Как теперича нет дорогого нашего Ильича и гидра, контрики скрозь лезут на нас, порешил я, значится, на подмогу идтить, закрепить ее... партию, значится.

— Та-а-ак! — кивнула Катя. — Понимаю тебя, товарищ Аникишин.

— Ну, вот! — обрадованно зачастил Ефим. — А раз понимаешь, значит одобряешь, поддерживаешь? Выходит и это... поручательство дать согласная?

— Рекомендацию?

— Ага, ага, — закивал головой Ефим. — Ее самую.

Катя растерялась. Буквально недавно к ней с такой же просьбой обратился ее связной Андрей. Она, не долго думая, написала ему рекомендацию. Еще бы! Этого парня она знала хорошо и была уверена, что он не подведет ни ее, ни партию. Написать-то написала, но неожиданно для себя получила замечание от партийного секретаря и начальника окружного отдела ГПУ.

— Вы — молодой руководитель, Екатерина Ивановна, и член партийного бюро, — выговаривал ей Кравчевский. — Поэтому нужно быть особенно осмотрительной и не раздавать рекомендации налево и направо.

— Так я же...

— Товарищ Кравчевский прав, — перебил ее секретарь партбюро. — Нужно быть осторожнее...

Промолчав тогда, Катя не знала, как поступить сейчас. Слишком самоуверенный и, как ей казалось, даже нагловатый Ефим не очень нравился Кате, а иногда, чего греха таить, просто раздражал ее. Но он был товарищем Петра и, как не раз сам подчеркивал, ее, Катиным крестником.

— Катюш мене с таво свету достала, понимаешь, — рассказывал он товарищам. — Махняки весь дух из нас с Ломовым тады выпустили. Стоим себе перед чистилищем в очередь, а тут она назад кличет. Тарас Васильевич не схотел вертаться. Там, у Дибровском лесе навеки остался, а я послухал Катюшу и от серед вас, хлопцы.

Что делать с ним? Откажи — навеки обидится Ефим. И выполнить его просьбу нельзя.

— Понимаешь, Ефим, — растягивая слова, заговорила Катя. — Большое дело ты задумал. И хорошее...

— Ну, вот!

— Только и ответственность на себя берешь немалую.

— Дык, что же...

— Нет, нет! Ты не спеши. Это тебе даже не то, что под венец стать решиться.

— Тоже мне сравнила партию и ехинею поповскую, — начиная сердиться, буркнул Ефим. — Я, понимаш, не маленький...

— Постой, товарищ Аникишин! — уже приняв для себя решение, остановила его Катя.— Здесь не только тебя касается...

— Па-нят-но! — побагровев, вскочил со стула Ефим. — Выходит, рожей не вышел Аникишин. Как к черту в зубы идти, так годился, а теперь — не подхожу...

— Ефим! — поднявшись, попыталась остановить его Катя. Но Аникишин распалялся все сильнее и сильнее.

— За беспокойствие просим прощеньица, Катерин Иванна, — он изобразил поклон, по-медвежьи смешно растопырив руки. — Наше вам с кисточкой.

Выпалив эту тираду, злобно вращая цыганскими глазами, Ефим, как ошпаренный, выскочил из кабинета, громко хлопнув дверью. Прикусив губу, Катя продолжала какое-то время стоять, чувствуя, как ее всю трясет.

«Спокойно! — приказала она себе — Спокойно, товарищ Шмидт».

Она заставила себя медленно подойти к столику, на котором стоял графин с водой. Наполнила стакан и неторопливо, глоток за глотком осушила его до дна.

«Вот тебе и Ефим! — подумала, вновь возвращаясь к письменному столу. — Только что ручейком ласковым журчал, соловьем разливался и вдруг закипел, забулькал, чистый тебе самовар. Выплескивает из себя, не думая, всякую чушь. И откуда в нем эта взрывоопасность? Ну прямо, как батька Махно. Тому ведь тоже под горячую руку не попадай. Сколько людей загубил в ярости дикой. Ведь не раз говорил Лева, да и сама она видела, как мучился потом батька, казня себя. А что от этого? Жизни-то загубленные не вернешь. Ефим, конечно, не батька, да и рядом с ним люди совсем иные. Но ведь и ему приходится с судьбами людскими дело иметь. Сможет ли этот, безусловно, храбрый, беззаветно преданный революции парень вовремя взять себя в руки, удержать от рокового шага? Вот в чем вопрос».

Вопрос... А может, и нет здесь вовсе никакого вопроса? Обиделся человек, и все тут. А она, виновница этой обиды, судит его. Ищет и находит всякие недостатки вместо того, чтобы на себя взглянуть, свою вину признать.

«Докатилась! — возмущенно билась в мозгу мысль. — Неужели это я, Катя? Как бы презирал меня Петр Петрович Шмидт, будь он жив сегодня. А он, Петрусь Задорожний? Ведь он наверняка и знаться со мной такой не захочет...»

Дверь без стука отворилась, и Катя, прервав самобичевание, подняла голову.

— Екатерина Ивановна! — по-военному чеканя каждое слово, провозгласила курьер. — Вас вызывает товарищ Кравчевский.

Объявила и тут же исчезла. Катя, глянув в крохотное зеркальце, поправила свои огненно-рыжие кудри и поднялась из-за стола.

Кабинет начальника окружного отдела ГПУ находился на втором этаже, и она, направляясь туда, умышленно замедляла шаг, чтобы внутренне подготовиться к разговору, который обычно оставлял у нее неприятный осадок на душе. Отчего так бывало, Катя и сама затруднялась объяснить. Вначале ей казалось, что виноват в этом не сам Кравчевский, а его предшественник Леппик.

Сын далекой Эстляндии Иоганнес Теннович был направлен в эти края большевистской партией для организации пропагандистской работы еще накануне революционных событий 1905 года. О его инородстве говорили и внешняя суровость, застывшая на лице, лишь изредка озаряемом слегка иронической улыбкой, и чересчур внимательный, кажущийся настороженным взгляд сталисто-серых глаз, и свойственное прибалтам немногословие, а главное — старательно скрываемый, а потому видимо особенно заметный акцент. Разговаривая с Леппиком, Катя не раз ловила себя на желании помочь ему в произношении, исправить ошибки, которые то и дело врывались в его речь. Они, эти ошибки, возникали самым неожиданным образом и, как назло, в самые неподходящие моменты. Как правило, это случалось тогда, когда Иоганнес Теннович вдохновенно говорил о серьезных вещах, выступая на совещаниях или отчитывая кого-либо из работников. Но самым удивительным было то, что при всех этих качествах, явных внешних отличиях Леппик умел, как никто другой, быть своим среди местных рабочих и, живя их бедами и заботами, ненавязчиво выявляя мнения и советуясь, находить правильное решение, направлять их совместные усилия в нужное русло. Поработав совсем немного под началом Иоганнеса Тенновича, Катя все же смогла ощутить и его теплую, почти нежную заботу о вверенных ему людях и такт отца, руководящего своим непростым и разношерстным семейством не силой грозного приказа, а просто мудрыми словами, которые чаще всего облекались в форму просьбы.

Помнится, в ту первую встречу Леппик молча слушал ее доклад о положении в повстанческой армии Махно. За все время ни разу не перебил. Лишь изредка едва заметно кивал головой, то ли соглашаясь, то ли подбадривая ее. В самом конце, глубоко вздохнув, обронил:

— Сумасшедший время, дочка!

Сказал и, подперев голову рукой, вновь замолчал, о чем-то думая. Потом глянул на нее как-то виновато и негромко, будто для себя, произнес:

— Прапатают люти. Спасать нато. А как? Отин Леф не спрафится. Помощник нужен...

— Так я... я готова! Готова опять пойти туда...

Знала, что потом не раз пожалеет об этом, но тогда не смогла удержать себя. Зато как оживился Иоганнес Теннович! Как изме-

нились его глаза. Исчез сталисто-серый цвет суровой Балтики, вытесненный голубизной весеннего южного моря, излучающей такую неподдельную радость, какую Кате доводилось видеть лишь на лице уже покойного отца, что она едва не заплакала.

— Точенька ты моя ротная! — между тем говорил Иоганнес Теннович. — Спасибо... спасибо тепе. Толко нет, не моху я тебя послать: ты и так намучилась.

— Нет. Я пойду. Должна пойти. Лучше меня это никто не сделает, — настаивала она, зная, что и в самом деле так.

Внимательные серые глаза с нависшими над ними дугами белесых бровей, едва заметная загадочная улыбка, застывшая на губах Иоганнеса Тенновича, да и весь он такой домашний, всегда невозмутимо спокойный и обстоятельный, очень напоминали Кате отца. Она даже игру для себя такую придумала, представляя, как эти двое мужчин, казавшееся ей необыкновенно красивыми и сильными, сидят на скамейке их юзовского дворика, ведя неторопливый разговор. И не беда, что речь их не так легка и плавна, как у местных жителей, прочно связанных с этим краем судьбами не одного поколения, что кто-то из них то и дело хмурит лоб, подбирая нужное слово. Край этот с его степями, с печально вглядывающимися в даль териконами и коптящими небесную синь заводскими трубами тоже стал для них родным. Они полюбили его всем сердцем. Здесь родились и росли их дети. С ним связана их будущая жизнь и столь желанное счастье. Поэтому и обустраивать эту землю нужно так, чтобы радовала она глаз красотой зеленолистых садов и парков, золотом пшеничных полей, приветливыми улыбками пребывающих в достатке людей. Представляя их рядом, Катя как бы приобщалась к их компании и, постепенно успокаиваясь, обретала необходимую уверенность, становилась сильнее.

Совсем иначе обстояло дело с Кравчевским. Всегда гладко выбритый, с туго затянутой широким офицерским ремнем осиной талией, в до зеркального блеска начищенных хромовых сапогах, которые угрожающе поскрипывали в такт шагам хозяина, Павел Васильевич слыл у немногочисленных представительниц их окружного отдела ГПУ красавцем.

— Мир-р-ровой мужик! — томно закатывая глазки и покачивая стриженной кудрявой головкой на тонкой лебединой шее, вздыхала их курьер Лидочка Швыдкая. Она ревновала Кравчевского ко всем и вся. А с каждой женщиной, которая задерживалась в его кабинете, как ей казалось, дольше положенного, потом по нескольку дней не здоровалась, сердито надувая губки, и демонстративно отворачивалась при встрече. Ее испепеляющие взгляды едва ли не чаще других ловила на себе Катя, которой приходилось довольно часто являться по вызову к Кравчевскому.

Вначале эти вызовы тревожили ее своей неожиданностью и неизвестностью. Они заставляли, что называется, брать себя в руки, собираться с мыслями, прокручивая в памяти возможные

промахи свои и подчиненных, за которые ее мог бы отчитывать начальник. Не обнаруживая промахов, Катя пыталась предугадать новые задания, над выполнением которых ей предстоит работать. Привыкшая с детства работать самостоятельно и отвечать только за себя, Катя тяготилась свалившейся на нее вдруг ответственностью за других людей. Она на чем свет стоит ругала свою нерешительность, проявленную при назначении на новую должность.

«Ну какой из меня начальник, когда я и сама не знаю, нужна ли наша служба? — думала не раз. — Встречать сотрудников, которые невесть чем занимаются, выслушивать с умным видом их мелочные донесения, выдумывать какие-то советы и указания. Зачем? Бороться с врагами? А где они?»

Да, недавно их было много: белые, зеленые, интервенты, всякие батьки и мамки. Тогда все было ясно: есть друзья, товарищи по партии, по совместной борьбе за счастье народное и есть их враги, которых нужно обезвредить или, по крайней мере, ослабить. Теперь же они разбили своих врагов. Кто не захотел сложить оружие, удрал за границу. Правда, есть еще и такие, которые прячутся по плавням и хуторам, совершая бандитские налеты. С этими все ясно: если не хотят сдаваться, пусть пеняют на себя. Но ведь сколько таких людей среди интеллигенции, офицеров, служащих, которые признали свое поражение и готовы включиться в строительство новой жизни. Как быть с ними? Неужели, как говорит Ефим, всех к ногтю, всех уничтожить ? Да разве так думает только Ефим? А сам Кравчевский не такого ли мнения? Она хорошо помнит, с каким восторгом Павел Васильевич говорил о расстреле «белой сволочи» в Крыму. Это о сдавшихся в плен офицерах-белогвардейцах. Может быть, среди них был и тот, кто тогда расстреливал Петра Петровича Шмидта и его товарищей с крейсера «Очаков». Может быть. И те, чьи руки обагрены кровью борцов-революционеров, должны понести кару. Даже очень жестокую кару. Но зачем же карать всю «белую кость»? Зачем же в каждом, чьи руки не знают мозолей, видеть врага? Ведь подозрительностью, неверием можно любого сделать врагом. Отчаявшийся человек способен на всякое нехорошее дело пойти. Вот какая штука. Разве этого не понимает Кравчевский? Ведь он же и сам далеко не пролетарского происхождения.

Поговаривали, что Павел Васильевич родом из мелкопоместных дворян, которые некогда владели небольшим имением где-то за Каменцем-Подольским. Кто-то из соседей, воспользовавшись то ли болезнью, то ли слабостью характера деда, отхватил у него самый лучший участок земли, испокон веков принадлежавший их роду. С тех пор дела Кравчевских, и до того не блиставшие, расстроились окончательно. Издерганный судовыми процессами дед вскоре умер, так и не дождавшись справедливого решения своего вопроса. Отец же, продав дом и остаток земли, перебрался в Москву. В первопрестольной он женился на дочери врача, которая,

родив ему сына, вскоре померла от какой-то хвори. Недолго пережил ее и горемыка Василий Кравчевский. Воспитанием же Павла Васильевича занималась овдовевшая бабушка. Окончив с блеском гимназию, Павел Васильевич поступил на медицинский факультет и, нужно сказать, успешно начал осваивать специальность. Бабушка не могла нарадоваться внуком, видя в нем продолжателя дела своего мужа, некогда приносившего их семье заслуженный авторитет и вполне приличный достаток. Но неожиданно все сломалось. Павел, связавшийся с революционерами, был арестован и осужден. После этого знакомство с казенными домами и ссылки повторялись еще и еще, вплоть до эмиграции в Германию, из которой он возвратился перед самой февральской революцией. Не застав в живых бабушки — своей единственной родственницы, Кравчевский поочередно жил то у одного, то у другого товарища по партии большевиков, к которым не без колебаний окончательно примкнул еще до своего выезда за границу. Во время восстания участвовал во взятии Кремля. Потом судьба бросала его то на Дон, то на Украину. Долго колесил по южным землям в поезде Сталина, пребывая в составе его охраны, пока, наконец, не оказался в политсекции Александровского уезда. Политсекция, созданная по решению ЦК КП(б)У, имела задачу восстановления советской власти в районах, которые долгое время считались оплотом батьки Махно. Наряду с агитационно-пропагандистской работой приходилось принимать и жесткие, репрессивные меры к тем из махновских активистов, которые не желали забыть былую вольницу. «Успокоением» их и занимался Кравчевский. Он сменил после расформирования политсекции Леппика, который из-за нервного истощения и болезни сердца вынужден был уйти на другую, более спокойную работу. Кравчевский, едва заняв пост, сразу же заявил на совещании:

— Так, как работали раньше, сейчас не годится. Центральный Комитет партии, советское правительство требуют от нас, чекистов, новых подходов. У врагов пролетариата, трудового народа должна земля гореть под ногами.

Потом Павел Васильевич еще не раз подчеркивал свою верность революции, пролетарскому делу.

«Зачем он так? — недоумевала Катя. — Будто оправдаться в чем-то хочет. Неужто происхождением так своим тяготится, чудак?

Так разве же есть его вина в том, что родился он в дворянской семье, или от меня зависело выбирать родителей, свою национальность? Чепуха какая! Другое дело, какой путь сам для себя человек избрал, каким делом занялся. Сейчас, когда пролетариат взял власть, начинает строить новую жизнь, ему грамотные, образованные люди, ой, как нужны. И нам не стесняться, не подлаживаться под неграмотного рабочего или крестьянина нужно, а делиться с ними своими знаниями, которые удалось приобрести, поднимать хотя бы до своего уровня культуры. Станем подлажи-

ваться, поддакивать, то такого натворим, что куры смеяться будут, а люди слезами горючими обольются. Это должен понимать каждый честный человек, который встал под знамена большевиков.

Каждый честный... Но разве все такие в партии, в рядах ее вооруженного отряда, то есть чекистов? Разве нет тех, кто примазался, просто прилип к броским лозунгам? Есть. И немало. Но как их распознать? Как заглянуть в душу человека, который бьет кулаком себя в грудь и кричит что есть мочи:

— Я — р-р-революционер! Я — бор-р-рец!

Что если самые яростные крикуны и есть те самые примазавшиеся, от которых и нужно в первую очередь спасать революцию? Спасать, пока своим подлаживанием под всякую дурь не натворили они беды».

Сколько раз Катя думала об этом, засиживаясь допоздна в своем кабинетике или лежа бессонными ночами в холодной постели нетопленной квартиры, которую снимала неподалеку от места работы. Тревожные мысли не давали ей покоя, рвались наружу. Она должна была с кем-то поделиться. И этим человеком наверняка стал бы ее непосредственный начальник, если бы им был Леппик. Если бы... Но сегодня на его месте находился другой. Совсем другой.

Что определенное могла сказать она о Кравчевском? Он изо всех сил старался завоевать ее доверие, приблизить к себе. Всегда вежливый, предельно внимательный и предупредительный, Павел Васильевич, по правде говоря, вначале даже понравился Кате. Приглашая ее по какому-либо вопросу, он обычно поднимался ей навстречу и, заботливо усаживая в мягкое кресло напротив себя, непременно угощал чаем с печеньем. Но с некоторых пор эти самые внимательность и заботливость как раз и настораживали Катю. Ей было неприятно чувствовать на себе острый и быстрый взгляд его светло-зеленых глаз, который успевал за короткое время, пока она шла от двери ковровой дорожкой, проскользить по ее телу от чуть выглядывающих из-под юбки коленок до обтянутой гимнастеркой груди. Ощущая его на себе, Катя начинала нервничать и, краснея, старалась не встречаться с глазами Кравчевского, напоминающими ей кошачьи. Каждая встреча с начальником заставляла напрягать нервную систему, настолько утомляла ее, что после нее она еще долго чувствовала головокружение и усталость. Такого с ней не было даже тогда, когда она находилась в деникинском тылу или среди махновцев. Поэтому Катя всячески старалась пореже встречаться с Кравчевским или, по крайней мере, избегать оставаться с ним наедине.

Сейчас она шла к нему, настраивая себя на то, чтобы не выдать с каждым днем растущую неприязнь: ведь (это она понимала хорошо) ей предстояло работать и дальше под его началом.

«Ну-ка брось нервничать! — убеждала она себя. — Ты же чекист, а не какая-нибудь мамина доця. Возьми себя в руки. Подумаешь, какого-то кота зеленоглазого испугалась».

Это неожиданно пришедшее на ум сравнение рассмешило ее, и Катя улыбнулась. Чувствуя, что обретает нужный ей покой и уверенность в себе, она несколько раз с силой сжала в кулак и разжала пальцы.

«Вот так. Умница», — похвалила себя и решительно взялась за ручку двери приемной. Кивнув секретарю и настороженно провожающей ее взглядом Лидочке, направилась в кабинет.

— Здравствуйте, здравствуйте, уважаемая Екатерина Ивановна! — улыбаясь, поднялся ей навстречу Кравчевский. — Сюда, сюда пожалуйста садитесь. Здесь вам будет удобней.

Он усадил ее в кресло, обтянутое черной, уже кое-где основательно вытертой кожей, нажал кнопку звонка.

— Будьте добры, Василий Петрович, сообразите-ка нам с Екатериной Ивановной по стаканчику чая, — попросил вошедшего секретаря.

— Слушаюсь, — кивнул тот и тут же исчез. Устроившись в кресле напротив, Кравчевский некоторое время молча разглядывал Катю, улыбаясь каким-то своим мыслям.

— Ну-с,.. — наконец заговорил он, когда секретарь поставил перед ними стаканы чая в потемневших от времени серебряных подстаканниках и быстро удалился. — Как же нам работается, Екатерина Ивановна?

— Работа, как работа, — сдвинула плечами Катя. Теперь она была совершенно спокойна и прямо, не мигая, смотрела в глаза Кравчевскому.

— Так-так, — будто соглашаясь с нею, покивал головой Павел Васильевич. — И все-таки, как вам работается у нас, Екатерина Ивановна? Довольны ли службой? Что нравится, а что не по душе?

— Да как вам сказать, — нахмурилась Катя, обдумывая, что ответить Кравчевскому. — Положение в стране трудное, трудовому люду непросто живется. Оттого и у меня, как наверное у каждого большевика, на душе неспокойно. Видно, и я не все делаю, чтобы достаток и радость к людям пришли...

— Вот-вот, Екатерина Ивановна! — подхватил Кравчевский и, встав с кресла, прошелся по ковровой дорожке туда и обратно. — Достаток и радость людей труда и в первую очередь рабочих — вот критерий оценки деятельности всех чекистов, а значит, и нашей с вами деятельности. Пока им живется туго, мы плохо работаем...

Павел Васильевич ходил по кабинету и, заложив руки за спину, рассуждал о мировой контрреволюции, которая во всю старается задушить страну Советов костлявой рукой голода, о бдительности и высоком долге чекиста. Увлекшись, он, казалось, совсем забыл о Кате.

«Чего это он развыступался? — хмуря лоб, подумала она. — Перед кем митингует? Для кого говорит? Уж не для сапог ли своих блестящих? Ишь, как они у него выскрипывают в такт каждому слову. Будто одобряют...»

Пришедшая в голову мысль рассмешила Катю, и она, прикрыв лицо ладошкой, усмехнулась про себя. Но Кравчевский, видно, наблюдавший за ней, заметил это.

— Я что-то не так сказал, Екатерина Ивановна? — сощурив глаза, спросил он.

— Нет, нет — смутилась Катя. — Просто случай один вспомнился... Там, у батьки Махно...

— Ага, — видимо удовлетворенный ее ответом, кивнул Кравчевский и тут же огорошил ее новостью, которая заставила забыть обо всем. — А знаете ли вы, Екатерина Ивановна, что вашего батьки уже нет.

— Как нет?!

— А вот так, — довольный произведенным эффектом, Кравчевский усмехнулся. — По имеющимся у нас данным, Махно, который в последнее время находился в польском городке Торунь, покончил с собой, перерезав бритвой горло. Выходит доигрался бандит.

— Вот это новость! — выдохнула Катя.

— А вы сожалеете по этому поводу?

— Да нет! Просто... просто все это так неожиданно...

— Ну, вот. Неожиданно! Собаке — собачья смерть. Одним бандитом, одним врагом меньше стало — значит, еще одна победа советской власти.

— Так сам же он себя, говорите. При чем же здесь наша победа?

— Ну... я, может быть, не совсем точно выразился. Только... только со смертью каждого нашего врага мы, революционный пролетариат и партия, его авангард, сильнее становимся. Так ведь?

«Опять оправдывается», — подумала Катя. Но промолчала, неопределенно сдвинув плечами.

— Ну, вот! — довольно улыбнулся Кравчевский, видимо, приняв Катин жест за согласие с ним. Поскрипывая сапогами, он неторопливо подошел к свободному креслу и, поднося ко рту полупустой стакан с давно остывшим чаем, как бы между прочим обронил:

— Да, Екатерина Ивановна! У меня ведь для вас еще одна новость есть: нам расстаться предстоит.

Помолчал, очевидно, ожидая, какой будет ее реакция. Сказанное и в самом деле не могло оставить Катю равнодушной. Но она уже полностью овладела собой и была готова ко всяким неожиданностям.

— Что же вы молчите, Екатерина Ивановна? — нарушил молчание Кравчевский, и Катя уловила в его голосе плохо скрываемое недовольство.

— А что я должна сказать, Павел Васильевич? — сделав удивленные глаза, отозвалась она. — Вы говорите какими-то намеками, а я должна догадываться, что меня ожидает, в чем моя вина...

— Ах, что вы, Екатерина Ивановна! — взмахнул руками Кравчевский. — Никакой вины за вами нет. Вы прекрасный работник...

— Тогда в чем же дело?

— Дело в том, что вами заинтересовалось столичное начальство, которое, к моему огорчению, отзывает вас в Харьков.

— Вот как! Зачем?

— А вот этого как раз никто не сообщает. Приказано откомандировать немедленно. Так что передайте дела Верченко и собирайтесь.

Возвратившись к себе в кабинет, Катя достала папки с документами и стала их перебирать. Механически листая всякого рода акты и справки, ломала голову над тем, кому и зачем понадобилась она в Харькове. Окончив просматривать свое небольшое хозяйство, сложила папки ровной стопочкой посреди стола и позвала Верченко, самого молодого, но наиболее грамотного из своих сотрудников.

— Принимай хозяйство, Федор.

— Да! — почесывая затылок, вздохнул тот. — Достался мне участочек.

Сказал вроде бы с недовольством, но сияющие глаза Федора, плохо скрываемая улыбка, игравшая в уголках полных, казавшихся припухшими губ выдавали удовлетворение и радость от нового назначения.

— Участок, как участок. А ты у нас, Феденька, грамотный и... шустренький. Справишься.

— Скажешь тоже, Катерина Ивановна! Шустренький... Да я...

— Ладно, ладно тебе, Федя! — не дав вспыхнуть новому разговору, который совсем не хотелось начинать, улыбнулась Катя. — Желаю успеха и... будь здоров.

Пожав руку Верченко и простившись с другими коллегами, она направилась к выходу. У самой двери нос к носу столкнулась с Ефимом. Тот, набычившись, торопливо прошмыгнул мимо нее. Катя хотела было окликнуть его, как-то объясниться, но тут же передумала и, махнув в сердцах рукой, вышла из здания.

На квартиру идти не хотелось, и она медленно пошла вниз. Перешла сквер у Народного дома, прошла вдоль недавно побеленного забора парка и вышла к пристани. Днепр величаво и гордо катил свои воды, лаская выблескивающую золотистыми песчаными берегами Хортицу, откуда-то справа слышался грозный рев. Будто дикий зверь, могучий и страшный, рвался сквозь какую-то невидимую преграду, нанося себе кровавые раны, пугая своими то ли жалобами, то ли угрозами все живое.

«Пороги! — подумала Катя. — Это пороги ревут, как батькина конница, летящая в атаку. Батька, значит, отвоевался, успокоился. Скоро, скоро угомонятся и пороги...»

Она знала о том, что здесь, у Запорожья принято решение строить невиданную ранее гидроэлектростанцию и, как и другие работники отдела, с нетерпением ждала начала работ. Теперь, очевидно, все это будет происходить без нее. А она так надеялась увидеть, как начнется это мирное, а потому и желанное ей наступление в продол-

жающейся битве за волю и счастье народное. Надеялась, что здесь, в водах покоренного и тихого Днепра, исчезнет клокочущая вот уже сколько лет людская ненависть и вместе с ярким электрическим светом родится великая любовь, которая оживит и украсит все вокруг, что, может быть, и к ней она, наконец, придет белозубой улыбкой ее Петруся, жаркими объятиями его сильных рук.

— Ну вот, — прошептала Катя. — Он приедет, а меня здесь нет. Опять не встретимся...

Ей очень захотелось увидеть его сестру. Катя знала, что Марийка ушла из детского дома и теперь работает уборщицей в одной из фотографий неподалеку от базара, и направилась туда.

— Марию? — спросил ее средних лет невысокий мужчина с умными темно-коричневыми глазами. — Одну минуточку.

Слегка прихрамывая, он исчез за ширмой и вскоре оттуда появился вместе с Марийкой.

— Ой, Катинька! — обрадовалась Марийка и, обняв гостью, виновато глянула на фотографа.

— Я трошки поговорю... з сестричкою. Трошки, Юлий Липович.

— Пожалуйста, пожалуйста, Мария, — успокоил ее фотограф. — Не волнуйтесь. Яков и Фрида управятся сами. Беседуйте сколько вам нужно. А может... может сфотографировать вас с сестрою? На память.

— Як, Кать? — растерялась Марийка.

— Давай! — засмеялась Катя. — Пусть будет память.

— И Петрусю пошлем. Эге ж?

— Пошлем.

Во время съемки фотографу помогал довольно молодой человек.

— Новый работник ваш? — спросила Катя, когда они устроились неподалеку от фотографии на скамейке.

— Не! — тряхнула своей белой головкой Марийка. — То ж сын нашего фотографа Липовича.

— Симпатичный парень.

— Хто? Яшка? Та ничего...

— Чем тебе не жених?

Марийка опустила глаза.

— Обиделась?

— За шо?

— Ну, знаешь...

— Не, не обиделась. А тильки нареченый у мене вже був. Бильше не буде... Та годи про це. Краще розкажи, як ты живешь?

— А я, Марийка, прощаться к тебе пришла.

— Отакое! — всплеснула та руками. — Як прощаться? Чого?

— В Харьков вызывают.

— Так Петрусь, Петрусь же обицяв скоро приихать! От, лышенько!

— Ну, что же. Видно, опять не встретимся.

— От невезучи вы люди! И чого воно так бувае? Одни, як голуб з голубкою, все життя не розлучаються, другим зустричи лише сняться.

— Видать, такие мы люди. Невезучие.

— Ни, Катрусь! Вы стренетесь! Ей-бо, стренетесь. И любовь ваша буде довгою и сыльною. Так серце мое говорыть.

— Спасибо тебе, Марийка, будь и ты счастливой...

На следующий день Катя отбыла в Харьков.

6

Слухи о покушении Махно на самоубийство, распространившиеся весной 1924 года, были небезосновательны. Направляясь на жительство в Торунь, Нестор Иванович для себя уже твердо решил, что задерживаться там долго не станет.

— Хай трошечки вгомонится газетный галас, та и мы разберемся, шо оно до чого, Галочка, а там побачим, — говорил он не раз жене.

— Ой, та перестань уже и мне, и себе голову морочить! — сердито отмахивалась та.

Их отношения в последнее время основательно испортились. Галина стала раздражительной и дерзкой, все более отдаляясь от мужа. Стремясь поправить свой пошатнувшийся авторитет, батька большие надежды возлагал на рождение ребенка.

«Будет лялька, и заспокоится моя Галочка, — думал он. — Бабы, они ж без детей скаженеют. Дурнее за тех курок безмозглых стают. А станет дитем забавляться, и все по-другому пойдет».

Однако рождение дочери, которую назвали Еленой, положение дел не изменило. Галина замыкалась в себе и на Нестора Ивановича почти не обращала внимания. А ему, выхваченному из гущи событий, где он всегда был всем нужен, где его, если не уважали, то боялись, ой как сейчас нужны были ее внимание и поддержка. Он впервые за годы их совместной жизни критически оценивал ее и себя.

«Ну, хто я такой есть? — думал, рассматривая себя в зеркало, чего раньше никогда не делал. — Пацан — не пацан, а и на мужика не дуже схожий: полтора метра разом с шапкой. Пыка подряпана, шо у того котяры шкодливого. Гыдко плюнуть! Одни очи светятся».

Недовольный своим видом, батька сердито сжал губы. Да, ростом он не вышел. Тут никуда не денешься. Так таким же он всегда был. И в детстве, когда никому спуску не давал, бросаясь на любого здоровилу, который отваживался взять над ним верх, побоговать, и в Бутырках, и потом. Разве не за ним шли десятки тысяч селян? Да и не только их! Не он водил полки своей Повстанческой армии? И они шли за ним, верили ему. Эх, да что там верили — молились на него, как на бога. Молились... А ведь, действительно, молились! Но когда? Когда молились? Когда было дело.

— Ось у чем штука! — подморгнув своему изображению в зеркале, прошептал Махно. — Маешь дело — ты бог, без нього — гивно, шо його усе обходять стороной. Выходит, треба дело, и все будет по-другому...

И батька искренне верил, что это самое дело будет. Оно обязательно появится. Только, конечно, не здесь, не среди этих пыхатых поляков, которые с гордостью заявляют:

— Ходим голи, ходим босы, але курим папиросы.

Ты ж посмотри на них! И откуда такая пыхатость берется у людей? Здесь они дома и чувствуют себя хозяевами на своей земле. На украинцев смотрят свысока. Наверное, и сейчас считают их быдлом. Правда, Семен Буденный наделал в их курятнике шуму. Почитай, до самой Варшавы дошел. Помнят его! Но для него, Нестора Махно, здесь дела нет.

— Туда, за кордон треба. Там мое дило, — вздыхает батька. — Доберусь туда, сяду в седло, от тогда побачим, хто мы и шо мы. Не одна красуня за стремена хвататься будет, щоб хоч глянул на нее...

В том, что рано или поздно батька вновь окажется на Украине, не сомневались и польские власти. И тогда,.. тогда жди большого пожара. «Не подлежит сомнению, — писал Поморский воевода министру иностранных дел Польши, — что если Махно удастся поднять на Украине хотя бы небольшое восстание, то его отряд пополнится остатками добровольческих и монархических организаций. В Гданьске находятся несколько офицеров и солдат из бывших банд Махно. Можно предположить, что весной следующего года Махно попробует удрать из Торуни в Россию».

Стараясь получить политическую и финансовую поддержку, в конце декабря 1923 года батька выступил с открытым заявлением продолжать борьбу против большевиков, которое было опубликовано во многих европейских газетах. Однако денежного дождя это не вызвало. Мало что изменилось и тогда, когда пришло сообщение о смерти Ленина.

— Э-э-х! — скрипел зубами батька. — Сейчас бы и вдарить как раз. Ленин же у них одна розумна людына. Там же нема больше никого. Та большевики разбегуться, как те рудые мыши, хто куда.

Батька сгорал от нетерпения, ожидая, когда за ним придут, чтобы позвать на дело. Он даже представлял, как будет прощаться с Галиной, которая наверняка пожалеет о своих женских кознях. «Я ей, стерве, згадаю ее вытребеньки. Не раз спомнит'', — думал он. Но время шло, а за ним никто не приходил. Минула зима, была в самом разгаре весна, а батька по-прежнему был один. Более того, Галина старалась всячески выказать не только равнодушие к мужу, но свое полное презрение.

— Шо ты все товчешься посеред хаты?! — лютовала она. — Тоби, шо мисця немае иншого, як стоять на дорози? Го-о-споды! Боже праведный, и за шо ж мени кара отакая?

— Но чого, чого кричишь? — пытался успокоить ее Нестор Иванович. — Шо тебе треба? Шо зробыть?

— Шо зробыть! Шо зробыть?! — кричала Галина.

— Та замолчи ты, дурная! — выходил из себя батька. — Люди ж чуют...

— Ага! Ага! Людей, людей он боится!

Он хлопал дверью и уходил из дома. Бродил подолгу, возвращаясь к самой ночи. Помнил, что совсем недавно ночь, жаркие объятия снимали все обиды, заставляли забывать любые невзго-

ды. Постояв над колыской причмокивающей во сне Лены, присаживался на край кровати, нежно касаясь рукой плеча жены.

— Галочка! Сонечко мое...

— О, боже! Та чи дасы ты мени спокою?

— Та я...

— Не займай мене! Бо визьму дытя и пиду геть серед ночи...

После одной из таких сцен Нестор Иванович всю ночь пролежал в своем углу с открытыми глазами. В окно осторожно вползал серый рассвет. Мелкий дождь нахлестывал стекла, навевая тоску. Батька попытался заснуть, но сон не шел. Кряхтя, поднялся с кровати и, припадая на раненую ногу, пошел на кухню. Зажег свечку и, подперев голову руками, опустился на лавку. Ладони ощутили отросшую щетину на щеках.

«Третий день не брился, — вспомнил Нестор Иванович. — Скоро совсем свинюкою стану».

Достал бритву и, направив ее о ремень, обмакнул помазок в воду, что с вечера стояла в кружке. Намылившись, осторожно коснулся щеки бритвой. В зеркале отразилась серая дорожка, оставленная лезвием. Брился, аккуратно убирая белую, как снег, мыльную пену, а в голове билась мысль: «Нашо это я роблю? Кому я нужный?» Он, хмурясь, гнал ее от себя, а она снова и снова возвращалась, назойливо напоминая о себе. «Может, и правда это? И в самом деле никакой заразе я не треба?» — спросил себя. Взгляд его скользнул по зеркалу и, наткнувшись на два жалобно глядящих глаза, остановился. «Ач! Шо той пес старый и бездомный. Токо тот, бедолага, куска хлеба ждет чи костомаху, а я — любови та ласки прошу. И у кого? У своей жиночки, мать ее так. От доля мне выпала. Шо ж, выходит, конец батьке Махно? Га? Конец?»

Сжав кулаки, Нестор Иванович почувствовал, как что-то хруснуло у него в правой руке. Разжав пальцы, он недоуменно уставился на сломанную ручку бритвы. Это остановило грызущую его душу тоску. Зарождающаяся где-то на самом донышке желудка злость вновь вернула волю на утраченные ею позиции. Махно скрипнул зубами и вновь глянул в зеркало. Теперь уже дерзко, с вызовом. Оттуда на него смотрели уже совсем другие глаза: они снова напоминали дула пистолетов, готовые выплюнуть смертоносный свинец.

— Ки-ну-ли, значит? — играя желваками, прошептал он. — Залякать решили? Над страхом моим посмеяться решили, сучьи дети?

Он весь дрожал, как бывало не раз с ним перед атакой, когда смерть подступала совсем близко. В такие минуты он готов был на все. Какая-то неведомая сила вселялась в него и вела, вела за собой, заставляя повиноваться. Она помогала, сметая врагов, добывать победу или уходить от них, если те были сильнее. Теперь враг был внутри самого батьки. Враг страшный и коварный — слабость, переходящая в страх. Но он чувствовал, что под самым его сердцем уже зрела та, таинственная сила. Она крепла, станови-

лась неудержимой. Вот еще немного, и она остановит тот противный, сковывающий его страх. Еще чуть-чуть... Только он, он сам должен ей немного помочь. Самую малость. Ну же! Сжав зубы, Махно впился взглядом в зеркало. Ему показалось, что оттуда на него, бешенно вращаясь, несутся чьи-то страшные глаза. Сейчас-...сейчас они столкнутся и разлетятся вдребезги. Стараясь защитить себя от этих сумасшедших глаз, прикрыться, он поднял руку, и тотчас это же сделал тот, другой!

— А-а-а! Су-у-к-ки! — взвизгнул Махно и наотмашь, будто шашкой в конной атаке, полосонул себя по горлу...

14 апреля 1924 года Литовское телеграфное агентство сообщило: «Махно, который последнее время находился в Торуне, покончил с собой, перерезав себе бритвой горло». Однако уже на следующий день появилось опровержение, в котором говорилось, что батька, действительно, предпринял попытку самоубийства, но был спасен пришедшей ему на помощь медициной. Причины, побудившие Махно пойти на такой шаг, объяснялись довольно туманно: говорилось о разных побуждениях политического характера.

О батькиных «чудесиях» Лева узнал месяц спустя, когда Махно, оправившись после ранения, с помощью друзей-анархистов перебрался в Германию. Куда именно, пока никто сказать не мог.

Эта весть вызвала у Льва двойственное чувство. С одной стороны, он испытывал сожаление оттого, что не был рядом и не смог помешать батьке сделать тот страшный шаг. Ведь сколько раз он буквально выхватывал Махно из пасти смерти, казалось, в тот самый момент, когда она готова была вот-вот захлопнуться. Причем, нередко батька сам туда лез. Будто специально испытывал судьбу, играя в какую-то идиотскую, никому не нужную игру.

— Чистый тебе пацан малый! — выговаривал Нестору Ивановичу, когда опасность была уже позади.

— А шо, Левка! — смеялся батька. — От бач, мы знов обдурили оту заразу с косою. От уже зараза, так зараза! Чем махать ею без толку та людям паскудство робить, головы знимать, краще б помогла сино косыть чи то жито.

— Тебе все хихоньки да хахоньки, батька! — продолжал ворчать Лева, сознавая в душе, что за бесшабашность и безумную удаль, какую-то мальчишескую непредсказуемость и непосредственность он, пожалуй, больше всего и любит этого человека. Он и оберегал его, как старший брат младшего, стараясь увести от тех грехов и соблазнов, которые отведал сам, мечтая помочь ему стать умнее и лучше.

— Эх, не оставь меня он здесь, все было бы иначе! — сокрушался Лева, снова и снова возвращаясь к батькиной беде. — А все Галина. Она. Как пить дать, она, чертова баба виновата. Наверняка опять юбкой затрусила, паскуда. А батьке много ли надо? Что-нибудь стервозное за ней заметил или выбрик какой бабский сотворила, и — все. Нестор же ревнивый до дури. В таком дурном

состоянии он в своем воображении, что было и чего не было, нарисует и такое может сотворить, что только держись. Как это он еще ее не прикончил? А что? Вполне могло и такое случиться. Сколько раз бывало, как он в бешенстве и рядовых повстанцев, и соратничков своих из маузера кончал или шашкой рубил. Э-э-х! Дура баба. Ей, Галке, понимать же его состояние теперешнее надо, чувствовать настроение, а не на нервах, как на поганой гитаре, бренькать. Так нет же, себя показать хочет, власть свою проявить. Вот и допрыгалась.

Но, с другой стороны, Лева чувствовал и некоторое облегчение. С того момента, как расстались они с батькой, будто гора у него с плеч свалилась. Махно сам отказался от Левиной опеки. Чего греха таить, хоть и назначил его батька начальником разведки, а от обязанностей своего адъютанта не освободил. Был, конечно, у него новый адъютант Ваня Лепетченко, но основная ответственность за жизнь батькину, его благополучие по-прежнему лежала на Леве. Он ее чувствовал всегда — и когда они носились по Украине, и в эмиграции. А как ее обеспечишь при скаженном характере Нестора Ивановича? К тому же от чекистского начальства не раз поступали команды о его ликвидации. Вот и попробуй тут, будь честным. Не перед начальством, а перед своей собственной совестью. Лева знал, всем сердцем чувствовал, что той операцией Медведева дело не окончится. Чекисты и дальше будут стремиться убрать Махно. Зачем им такая заноза за границей? А коль так, то его, Леву, в покое не оставят. Рано или поздно он непременно получит приказ либо лично кончить батьку, либо принять участие в операции по его ликвидации. Что ему останется делать? Как поступить? Снова придумывать какие-то поломанные брички? Эге! Там, в ЧК, то есть теперь в ГПУ, не дураки. Еще неизвестно, насколько поверили ему в этот раз. Нет, что ни говори, а решение батьки ехать в Польщу без него было лучшим выходом из сложного положения, в котором так долго находился Лева. Теперь, говорят, что батька в Германии, но и там долго задерживаться не собирается. Пусть! Пусть будет подальше от советской границы, которая его, как магнитом притягивает.

«Да, я теперь как вольный сокол. Сам себе голова и начальник», — подумал про себя Лева и, радостно улыбнулся собственным мыслям.

— Ты чего, братка? — услышал он голос Даниила.

— Да так просто. Красота какая вокруг.

— Ага, — поддакнул младший брат, недоуменно оглядываясь: где это он красоту увидел в полупустой и ободранной комнатке. — Шо ж робить теперь будем, Лев?

— Шо робить? — переспросил тот, хмуря высокий лоб. — Додому, брат, до родного порога треба пробираться.

— Ты шо!? Прямо зараз?

— Зараз — не зараз, а собираться треба. Будет момент подходящий, и гайнем.

Тот самый подходящий момент, о котором говорил Лева, и вправду скоро подоспел. Неподалеку от дома, где квартировали братья, Лева буквально нос к носу встретился с петлюровским сотником, с которым некогда водила шашни Галина.

— Здоровый будь, парубче, — широко улыбаясь, поздоровался тот.

— Наше вам с кисточкой, пан Гулий, — церемонно раскланялся Лева.

— Ты ба! — изумился сотник. — Выходыть и знайомытысь нам не треба?

— Нашо время тратить, Евграф? — пророкотал Лева. — Я ж тебя знаю, как облупленного.

— Та я ж, навроди, не такий уже й героичный, шоб сам начальник махновской разведки особысто интересувався.

— Э-э-э, голуба-душа! Герои они ведь разные бывают: одному сам черт не страшен, а мимо другого ни одна баба не пролетит.

— Ну, ты даешь! — хохотнул Гулий. — Дило нибыто вдвох робылось, а выходит хтось третий бачив.

— Выходит, выходит, пане сотнику. Такая служба у нас: всех насквозь видеть.

— А бодай тоби!

— Ну, звиняйте, звиняйте, пане сотнику, — дурачился Лева, видя, как тушуется Гулий. — Может, то одни слова. Набрешут на человека люди, а та самая брехня и липнет, как глина до невинного. Плюнь на то, Евграф.

— Та й то правда. Нашо дарма языками ляпать. Чи в нас дила другого немае?

— Люблю деловых людей! Так у чем твое дело?

— Ну, не так же на ходу про це балакать. Дило сурйозне. Може, пидем кудысь посыдым, вынця доброго покуштуемо, а тоди й поговорымо?

— Принимается.

Они опустились в один из винных подвальчиков, где за третьим стаканом вина Гулий и предложил:

— Шо ж ото мы бидуемо тут? Скоро зовсим жебраками постаем и з рукою протянутою пид церкву пидемо. А гроши ж можна маты добри...

— Какое ж твое предложение?

— Зибрать добрых хлопцив и погулять трохи по Вкраини.

— И кто ж тебя туда пустит? — прищурившись, процедил Лева. — Та нам же румыны и границы перейти не дадут: всех, как курей, перехлопают.

— Э-э-э не! — замотал головой Гулий. — Есть таки люды, шо очи закрыють и не побачать, колы через кордон пидем. Тильки не задарма, конешно: воны теж исты хочуть. Треба буде подилытысь з ными.

— По-нят-но!

Тогда и договорились, что первую группу через кордон поведет Лева. Он и подбирать ее будет.

— Токо ж и моих хлопцев возьмешь, — настоял Гулий.

— Кого?

— Ивана Запорожченка и Омеляна Бойченка. Услышав фамилию Бойченко, Лева обрадовался: с ним уже давно установил контакт Данька.

— Омелько, — говорит брат, — давно домой рвется, но сам идти через кордон не решается. Лева же, разговаривая с Гулием, о том, что знает Бойченко, ни словом не обмолвился. Наоборот, сделал вид, что предложение сотника его очень смутило.

— Шо за хлопцы? — спросил, хмуря лоб.

— Надийные.

— Не подведут?

— Головою ручаюсь.

— Смотри, Евграф! Там ведь не твоя, а моя голова будет. Подставишь — так я ж тебя и на том свете знайду. Грязь сделаю.

— Та шо ты такое говоришь?! Я, бач, свой интерес у гетом деле маю.

— Ладно. Договорились.

Кроме Левы, Даниила, Запорожченко и Бойченко, в отряд вошли двое молодых хлопцев Андрей Скомский и Андрей Шанкала, уже добре вкусившие «мамалыжного рая», которых не раз братья спасали от голода, хоть и сами не жировали.

— Ну шо, Андрей, — подмигнул хлопцам Лева, когда те, проведав братьев в очередной голодный день, опустошили тарелки с кашей, — куда ж оно теперь ветер дует?

— Так оно, той, куда скажете, Лев Миколаевич, — отозвался, поблагодарив за угощение, Скомский. — Як душа не хоче, а за раз до ридной хаты не доскоче.

— Не доскоче, говоришь?

— Так далеко ж забиглы, — поддержал друга Шанкал.

— А шо как стрыбнуть добряче, хлопцы? — вел свое Лева.

— З вамы — хоч до чорта.

— Не-е-е, — засмеявшись, отмахнулся Лева. — Рогатого тут оставим. Нехай кукурузку грызет. А мы до сала ближче посунемся. Згода?

— Згода, Лев Миколаевич! Ведить.

Июльской ночью отряд, вооруженный с помощью сигуранцы, успешно перешел румынско-советскую границу. Миновав незамеченными прикордонные села, с восходом солнца устроились на отдых в лесочке. Молча, не сговариваясь, достали из холщовых мешков консервы и хлеб. Ели, не торопясь, изредка перебрасываясь незначительными фразами.

— Тыхо як! — откинувшись на спину, вздохнул Бойченко.

— А ты думал, шо тебя оркестром встречать будут? — откликнулся Данька, поднимаясь с земли.

— Не треба нам, хлопцы, ани оркестру, ани кулемета, — пробубнил Запорожченко. — Оце б зараз водычки колодязной холодненькой кухлык выпыты и хропака вдарыты. Тоди вже хоч до самой Полтавы иты можна.

— Шось тебя, Иван, так далеко повело — аж до Полтавы? — прищурился Лева.

— Та то я так, — отмахнулся Запорожченко и, подложив под голову картуз, прикрыл глаза. — То я так, чуеш...

— Д-а-а! — протянул Лева — А водички оно и в самом деле не мешало бы попить. Пойди, Данька, глянь, шо оно тут робиться навкруг. Може, какойсь струмочок близенько надыбаешь нам на радость.

— Зробим, — откликнулся брат и тут же исчез за деревьями. Прислонившись спиной к стволу старой смереки, Лева прикрыл глаза.

«Ну, вот я и дома», — подумал, но радости, такой желанной радости, не ощутил. Да и откуда ей взяться? Во-первых, неясно, как поведет себя Запорожченко. Да и Бойченко тоже. А ну как задурят хлопцы, бунт поднимут. Они же таким образом и Андреев могут взбаламутить. Что тогда делать? Нет, этого допустить нельзя. Никак нельзя. Иначе им с Данькой трудновато придется. Еще, чего доброго, кровь прольется.

Кровь... Сколько ее в землю-матушку ушло, той самой крови. А зачем? Разве, проливая ее, кто-то добился счастья? Достучался до него? Какое там! Ведь кто хоть раз обагрил свои руки, пусть даже за правое дело, чужою кровью, навек покоя лишится. Из схватки смертельной выходишь, когда на волоске жизнь твоя висит, и то радуешься только первое время. Радуешься, потому как не твоя, а его кровь в землю ушла, не ты, а он на ней навек лежать остался. Но потом... потом каждый убитый тобою будто следом ходит. Во сне является, чтобы ответ с тебя получить на тот сумасшедший вопрос: «За что? За что меня жизни лишил?» А что ответить? Может так: «Не я — тебя, так ты — меня?» Но почему? Почему этот идиотский выбор нужно делать? Зачем? Разве нельзя, чтобы и ты, и он просто жили, хлеб растили, металл варили или еще каким другим нормальным делом занимались? И по какому такому праву ты себя считаешь правым, а его, того, которого порешил, виноватым? Как самому себе объяснить? Где ответы искать на эти чертовы вопросы? Чертовы... именно чертовы, потому что не божье дело других жизни лишать. Не божье, хоть и благословенье на то дают слуги господни, а вернее те, кто таковыми себя называют. Вопросы, вопросы... И главное — не уйти от них! Не избежать, потому как после схватки той зверской в тебя опять дух человеческий вселяется. Думая о них, ломая себе голову, начинаешь сознавать, что, взводя курок, занося штык или нож над кем-либо, ты ведь и себя убиваешь. Убиваешь в себе человека.

— Нет! — зреет решение. — Без крови. Только без крови...

— Вы шо? — доносится до Левы голос Даньки. — Поснули тут чи шо?

— Чего галасуешь? — обрывает он брата. — Бачишь, хлопцы отдыхают.

— Так я ж воды... водички вам принес.

— Дай, Ивану, — командует Лева, — у него совсем сухо в горле. Даже во сне пить просил.

— Та ну тебе! Таке придумал, — смущается Запорожченко, но все же берет котелок из рук и жадно делает несколько глотков. — Ох и смачна, хлопцы! Як у нас дома. Тильки малувато.

— Так ее ж тут сколько хош! — смеется довольный Данька. — Пей — не хочу.

— Далеко? — интересуется Лева.

— Туточки рядом хата. Видать, лесника. И коло нее колодязь з лелекой.

— Тебя видели?! — настораживается Лева.

— Шо я совсем дурной? — обиженно надувает губы брат. — Я ж усе обсмотрел. Бачу, никого нема. Заглянул у хату — пусто. Десь ходит хозяин чи хозяева. И собака разом, бо у дворе будка стоит.

— Ну и как? — окинув взглядом своих спутников, спросил Лева. — Наведаемся?

— Давайте спробуем, — прогудел Запорожченко. — Чого боятысь? Тут же он лис кругом. Случай чого, дременем и тилькы нас бачитимуть. А ни, то й одибьемось. Хиба нема чим?

— Добре, — кивнул Лева. — Рискнем. Только без шухера. Не треба он нам. Зараз не треба.

Вытянувшись цепочкой, двинулись следом за Данькой, шагавшим впереди. Замыкая свое немногочисленное воинство, Лева ломал голову над тем, как ему следует предложить давно созревший у них с Данькой план. Решил, что сделает это на следующем привале.

Утолив жажду и наполнив про запас фляги водой, двинулись дорогой, которая углублялась в лес.

— Чи не заведет она нас чорту в зубы? — через какое-то время с тревогой обронил Бойченко.

— У черта своих до черта, — откликнулся Лева. — К нему дурелом ведет такой, шо ноги выкрутишь. А тут дороженька вона какая накатанная стелится. Как пить дать, в большое село идет.

Часа через два лес начал редеть, и впереди показалось село.

— Привал, — скомандовал Лева.

Утомленные бессонной ночью и непривычно долгой ходьбой, путники опустились на землю.

— Тут и объяснимся, — улучив момент, шепнул Лева брату.

— Ага.

— Ты за Бойченком поглянь, а я Ивана на себя возьму.

— Понял.

Подойдя к лежавшему на спине Запорожченко, Лева с хрустом потянулся.

— Ох, и стомился я, хлопцы!

— А мы хиба не так? — буркнул Запорожченко. — Ноги, як деревьяни. На ных не то воювать, а й козу пасты не можна.

— Во-во! — подхватил Лева. — Може, кинуть нам воевать и до хат, до порогов родных добираться?

— Шо такое? — насторожился Иван и потянулся к своему мешку, где лежал револьвер.

— Не замай, Ваня, свою тряпку, — остановил его Лева, перехватывая мешок. — Я ж тебе не фраер какой-нибудь. На дурах говорить тоже умею. Но зачем, когда есть язык? И ты, Емеля, не дергайся. Это вредно. Отдай свою пушку Даньке. Она у него целее будет.

— Т-а-а-к! — закусил губу Запорожченко. — Обдурили, значит?

— Чудак ты, Ваня! Как раз от дури тебя спасаем. От беды.

— Спасители! Мать вашу... Ну шо ж, твоя взяла...

— Та ты не гарячись. Не гарячись, а лучше послухай. Я ж пропозицию маю.

— Говори, — облизывая губы, выдавил Бойченко.

— Это другое дело. Так от. Как мудро сказал Ваня Запорожченко, вояки с нас зараз никудышние. Можно сказать, хреновые. Та й сама война усем уже в печенках сидит. Чи не так?

— Так, так, — почти одновременно поддержали своего командира оба Андрея.

— Ну раз так, то треба нам ее кончать. Окончательно и бесповоротно.

— И як же? Шо мы маемо зробыты для цього?

— Сдаваться. Мы ту войну проиграли разом з нашим батькой и вашим атаманом Симоном Петлюрой. А раз так, то треба идти сдаваться.

— Постриляють же! — простонал Запорожченко. — Як малых курчат, постриляють Советы.

— Насколько мне известно, Ваня, на тебе большой крови нема. Нема ее и на других. Все дрались там, куда доля кого закинула. Зараз тут, кажуть, усем амнистия вышла. Так шо самое время за хвост эту самую птицу ухопить и крепко за ее держаться. А бояться стенки, если и треба комусь, то самому первому мне: какникак начальник разведки самого батьки Махно. Ну, то мое дело, и мне об нем голову сушить. От и вся сказка. Наравится?

— Мы... мы согласные, — откликнулись Андреи.

— Та и я, навроди, теж, — вздохнул Бойченко.

— А ты, Иван? — прищурился Лева.

— Хрен з вами! — махнул рукой Запорожченко.— Хай буде так.

— О-о-о! — засмеялся Лева. — Все — за. Выходит, единогласное решение высокого собрания. Тогда пошли сдаваться.

...Уже вечерело, когда Петра Задорожнего, который завершал ежедневный осмотр оружия и лошадей эскадрона, неожиданно вызвали к командиру отряда.

— Зараз буду, — ответил Петро.

— Сказали сей момент прибыть, — настаивал связной.

— О боже! Шо воно там горыть?! Иду!

Едва Петро успел войти в кабинет командира отряда, как тот сразу же огорошил его:

— Задержан начальник махновской разведки.

— Задов?

— Во-во. Знакомый твой?

— Та доводилось стречаться...

— Ну, так бери отделение красноармейцев и скачите в село Баштанку. Там он сейчас.

— Есть! — козырнул Петро и бросился к выходу.

— Посыльного из сельсовета захватите, — крикнул вдогонку командир отряда.

Через несколько минут отделение красноармейцев поскакало в Баштанку. Плотно сжав губы, Петро пытался понять, каким образом Лева оказался здесь. Посвященный в числе очень немногих в его тайну, Петро знал, что Лева ушел с остатками махновского отряда в Румынию. Но ведь не стал же он за это время врагом? Вчера работал по заданию чекистов, а сегодня уже против них? Нет, так не должно быть. Вроде бы не должно. А там кто ж его разберется у этих разведчиков. Вон тот же Медведев: гонялся за махновцами, а недавно к ним за кордон ходил с дружком Бориса Мащенко Алешкой Булычевым. Да еще и мундиры румынские на себя напялили. Умора! А Задов или Зиньковский (черт его там разберет!) тоже ведь может сегодня одним быть, а завтра — другим. Может, и в самом деле гад он распоследний. Сказал же командир, что задержанный. Своих, наших зачем задерживать? А как же Катя? Катя как же? Кто она есть тогда, если с Левкой они заодно?

— Да-а-а! История! — протянул Петро, мотнув, как норовистый конь, головой.

— Шо кажете, товаришу комеск? — спросил скакавший с ним рядом красноармеец.

— Та то я так! — отмахнулся Петро. — То так...

В Баштанку прискакали, когда совсем стемнело.

— Де арестованные? — Спешившись, спросил у вышедшего на крыльцо председателя сельсовета.

— Так нема их, — развел тот руками.

— Як нема?!

— А не арестовывали мы их. Сами сдались.

— Отак?

— Ага. Сами пришли и кажуть, шо мы, той, сопротивление прекращаем. Сдаемся, значит.

— До-о-обре! И де ж они у тебя?

— У клуне их запер, товарищ командир.

— Таки запер?

— Ну, да. Для обнадежности, значит.

Сняв деревянный засов, которым были закрыты двери, вошли в клуню, освещая дорогу фонарем.

— Задержанных прошу выходить по одному.

— Здравствуй, Петро, — поздоровался, поравнявшись с Задорожним, высоченный и могучий детина.

— Здоров, здоров, Лева, — ответил тот.

— Узнал таки?

— А як же! Память у меня добрая. Та й ты не такий уже неприметный, шоб не узнать.

— Рад тебя видеть.

— Ну, то ще побачим, як воно буде: чи радитемемо, чи плакать почнемо.

— И то правда, — согласился Лева, криво усмехнувшись.

После предварительного допроса их несколько дней держали в расположении отряда под стражей. Ждали представителей из Одессы и Харькова. Прибывший из Одессы Медведев и представитель из ГПУ, появившийся вместе с вызванным из Москвы Алексеем Булычевым, долго беседовали с членами Левиной группы. Выясняли подробности жизни в Румынии, перехода кордона, интересовались местонахождением батьки и его окружения, занятиями оказавшихся за кордоном петлюровцев. Лева терпеливо отвечал на все вопросы, стараясь быть как можно более сдержанным. Хотя не раз хотелось крикнуть:

— Да что же это, братцы! Пока в котле горячем был, мне доверяли, а домой, к своим вернулся, и уже доверия нет. Как же так можно?

Хотел, но сдержался. Понимал, что для тех, кто с ним беседовал, не все так просто. Медведев с Булычевым особенно допытывались, почему Махно не явился на то самое совещание. Вроди бы поверили, убедил их, что во всем виновата проклятая бричка. Про свои сомнения, муки, что терзали его, когда ехали они с батькой, конечно, не сказал. Зачем? Это его. Личное. Про то и батюшке бы на исповеди не признался, будь он верующим. Господь, коли есть он, и сам все знает. А другим не обязательно: лишние хлопоты, от которых голова болит и уши вянут.

Держали их всех порознь. Видимо, сопоставляли показания, проверяли. Ну, что ж, все, как и положено.

— Какие же ваши дальнейшие планы? — спросил однажды Медведев во время очередного допроса.

— Планы? — поднял на него глаза Лева. — Да вот бы с Данькой, с братом повидаться, а дальше — что начальство прикажет.

— Прикажет, — кивнул своей красивой головой Медведев и, думая о чем-то ведомом лишь ему, нахмурил брови. — Думаю, что прикажут.

Вот оно! Ему верят: коль обещают приказать что-то, значит, он нужен. Он будет жить и, может... может быть, увидит наконец Веру. Его Веруську. Теплая волна, зародившись где-то у самого сердца, захлестнула грудь. И в уголках глаз что-то защипало. Не хватало, чтобы его слезы они увидели.

— Товарищ Медведев! — пряча лицо в носовой платок и стараясь унять охватившее его волнение, неторопливо произнес Лева. — Еще я просил бы вас отвезти меня в Дибровку. Там драгоценности спрятаны. Золотишко и побрякушки разные. Много всякой всячины. Сейчас, думаю, это нужно. Для строительства новой жизни. Для революции.

Через день, после обещанного ему свидания с Данькой, Лева в сопровождении Петра Задорожнего и Алексея Булычева выехал в Харьков.

По прибытии в столицу Украины все началось сначала: долгие и нудные допросы, уточнение каких-то мелких и незначительных деталей, подозрительные взгляды работников, ведущих допросы, строгие предупреждения о недопустимости укрывать что-либо от следствия и о наказании за нарушение данного требования. В какое-то мгновение Лева почувствовал, что вот-вот не выдержит, сорвется и выскажет этим типам все, что он о них думает. Душа бушевала, как штормящее море, но мозг понимал, что выйти из себя он не должен. Просто не имеет права. Ведь там, среди чужих он выдерживал и не такое. Но это там, а не здесь. Не здесь, где свои, от которых он, в конце концов, вправе ожидать уж если не награды и благодарности, то, по крайней мере, доверия. Сдерживая себя, Лева нарочито медленно отвечал на каждый из поставленных вопросов, цедя слова сквозь сжатые зубы.

— А что вы нервничаете, гражданин Задов? — видимо заметив его состояние, усмехнулся один из следователей.

— То жлобы нервничают, уважаемый, — засопел Лева. — А я переживаю...

— Вот как! И почему?

— Потому шо у работника контрразведки такая хреновая память: моя фамилия Зиньковский. Понимаете? Зиньковский!

Следователь ничего не ответил, только сощурился. Но после этого допросы прекратились, и его снова куда-то повезли. Как выяснилось в вагоне, направлялись они на юг.

— Едем в места, вам знакомые, Лев Николаевич, — сообщил Алексей Булычев.

— Понятно...

— Ну, а куда и зачем, узнаете на месте.

Вышли в Запорожье.

— Екатерининский вокзал? — обронил Лева, когда они спустились по ступенькам вагона.

— Он самый, — буркнул Петро Задорожний.

— Места знакомые.

— Кому знакомые, а кому и родные.

— Вот и свидились.

— А як же! Бачитымешь! Какой год навколо хаты ридной кружляю, а токо раз привелось заглянуть. И то на трошечки, — он бросил сердитый взгляд на Леву и замолчал, подергивая стрелками усов.

За все время, пока они были вместе, Петро ни словом не обмолвился о Кате. Видно, к тому была у него какая-то причина. Сам толком ничего не зная о судьбе девушки, Лева тоже решил этой темы не касаться. К тому же с глазу на глаз с Петром им практически и не довелось побыть: всегда присутствовал кто-нибудь еще. Глядя, как Петро хмурит брови и делает строгое лицо, Лева не раз испытывал желание пошутить, поддеть его, сказать, что тому совсем не идет такой вид, что он очень напоминает смешного и важного индюка. Но помнил об обидчивости Задорожнего и дразнить его не стал.

Молча прошагали они от вокзала до здания, где размещался окружной отдел ГПУ, молча сидели и в приемной, пока Алексей Булычев о чем-то совещался с начальником. Потом их пригласили войти.

— Гражданин Зиньковский,.. — представившись, обратился к нему Кравчевский.

— На товарища, значит, еще не вытянул, — криво усмехнулся Лева. Кравчевский на какое-то мгновение стушевался. Даже рот открыл, собираясь что-то ответить. Потом быстро, словно опасаясь чего-то, скользнул языком по губам и как ни в чем не бывало продолжал.

— Так вот, гражданин Зиньковский — руководство поручило нам сопроводить вас к Дибровскому лесу, к месту, о котором упоминали вы на допросах.

— Понятно.

— Вы подтверждаете правдивость сказанного?

— Подтверждаю, подтверждаю, — махнул рукой Лева.

— Вынужден задать вам этот вопрос, поскольку недавно с одним из ваших знакомых уже искали махновские клады.

— Ого! И кто же это, если не секрет?

— Секрета нет. Вам фамилия Лепетченко что-нибудь говорит?

— Ваня Лепетченко?

— Он самый. Иван Савельевич Лепетченко. Так вот. Этот ваш знакомый месяц нас водил, обещая несметные сокровища, награбленные батькиными бандитами, найти.

— Ну и...

— И ничего. Не считая какого-то там тряпья.

— Ясно, — вздохнул облегченно Лева, поняв, что до места, которое он собирался указать, Ваня Лепетченко, посланный, видимо, по заданию самого Махно, не добрался. Да он и не мог этого сделать, поскольку знал о нем только он сам. Даже батька, которому были известны все места, где хранились какие-то ценности, об этом знал лишь, что оно есть и находится где-то в Дибровском лесу.

— Не будет ли ваша поездка пустой тратой времени? Оно ведь у нас дороже денег...

— Не будет траты. А деньги будут. И добрые деньги.

— Ну, что же, товарищи, — обращаясь уже к Булычеву, в котором признал старшего, и Задорожнему, подвел итог Кравчевский. — Тогда с вами отправляются трое наших сотрудников во главе с товарищем Аникишиным. Да вот и он сам.

Петро обернулся и, увидев входившего в кабинет Ефима, подмигнул ему. Но Ефим, никак не отреагировав, чеканным шагом подошел к столу.

— Младший уполномоченный Аникишин по вашему приказанию явился.

«Ты, ба, какой сурьезный! — подумал изумленный Петро. — Чистый тебе гусак. Ач як шию тягне! От-от голова одлетить».

— Будете сопровождать товарищей, Аникишин. В район Дибровского леса и обратно.

— Слушаюсь. Когда прикажите отправляться?

— Подготовьте транспорт и можете отправляться.

— Ясно, товарищ начальник.

Не меняя выражения лица, Ефим повернулся к Булычеву и Задорожнему. Скользнув по Петру безразлично-холодным взглядом, бросил:

— Прашу следовать за мной.

Сказал и вышел, ни на кого не глядя.

— Ты чего це такой? — улучив момент, когда они остались одни, спросил Петро.

— Какой такой? — отводя взгляд, буркнул Ефим.

— Як чужий, чи шо.

— А мы с вами, товарищ Задорожний, и не роднились никогда.

— Отакое! — сдвинул на затылок фуражку Петро. — Та чи ж я тебе чим зобидыв? Поясни.

Ефим молчал, покусывая свой цыганский черный ус.

— Мовчишь? Ну, то скажи мени хоч, де Катя.

— Нет ее.

— Як нема? Вона ж мени звидси, з Запорижжя письмо писала недавно.

— Была, а теперь нет. Отбыла.

— Куда?

— Не знаю и знать не хочу, куда отбывают твои барышни. А нам пора ехать, — он демонстративно отвернулся от Петра и, открыто подчеркивая свое нежелание продолжать эту тему, крикнул:

— Вас, товарищ Булычев, прошу со мной на первую тачанку.

Выехали тремя подводами: впереди Аникишин с Булычевым, за ними Петро с Левой, а замыкала подвода с двумя сотрудниками местного отдела ГПУ. Устроившись на соломе, прикрытой стареньким домотканным рядном, Лева какое-то время лежал, что-то мурлыча себе под нос. Потом совсем затих.

— Видать, заснул, — решил про себя Петро. Он был очень огорчен такой холодной и откровенно недружелюбной встречей с Аникишиным и не мог понять причины этого. Говорить ни с кем не хотелось, и Петро в душе был благодарен Леве за то. что тот не беспокоит его. Бескрайняя ширь степи, в которой, казалось, растворились раздражавшие суета и ненужный шум города, оставшегося где-то позади, успокаивающе действовали на Петра. Он

вдыхал полной грудью пьянящий своею чистотою воздух, прикрыв глаза. Снова в родных местах. Всего в каких-нибудь тридцати верстах отсюда его Андреевка, село, где жил его род от деда-прадеда, где он сам появился на свет. Здесь он рос, гонял с такими же, как сам, босоногими казачатами по Днепровским кручам. Здесь впервые услышал устрашающий хохот порога Вольного. И, может быть, от него... Нет, не может быть, а точно от него, от этого самого порога, что назло всем развалился посреди Днепра, как подгулявший козак посреди улицы, зародилась в его сердце неуемная воля-волюшка, желание перечить всем, кто вздумает ее попирать или, чего доброго, обуздать. Да разве только у него? У всех андреевцев, всех низовиков, что за порогами, тот дух скаженый в груди кипит и, не приведи Господи, вырваться ему наружу: опалит, сожгет до тла все, что встанет на пути. Но есть такие силы, перед которыми слабеет, которым покоряется тот дух. И имя тем самым силам Любовь и Ласка. Одни они могут его успокоить, заставить не жечь, не рушить, а согревать своим теплом, оберегать слабого и немощного, делиться с ним своей неукротимой энергией, щедро делиться несметными богатствами самой надежной верности, умением бескорыстно творить добро другим. Не зря же и обращаются они к людям по-особому: добродии. По-доброму, значит, действующий. Добро творящий. Вот оно штука какая.

— Слышишь, Петро! — будто издалека послышался негромкий голос Левы.

— Чего тебе? — недовольный, что нарушили ход его мыслей, сердито отозвался Петро.

— А тот хлопец... Ну, Ефим... Не наш, не юзовский? Сдается мне, что я его десь встречал.

— Може и стречал, — сдвинул плечами Петро. — Бывал там. Вместе у шахте работали.

— Ага! — обрадовался Лева. — То-то я смотрю, вроде видел же я его. А вот где именно, вспомнить не могу. Не могу, хоть ты убей.

— Ну, у него про вас добрая память. На усю жисть, чуешь. Батькины хлопцы из его спины ременяки резали свого часу.

— Вон оно как!

— Отак-то. И было то, кажись, акурат у тех самых местах, куда мы зараз едем.

— В Дибровке? — насторожился Лева.

— У ей, у Дибровке тада Иван Прудкосвист захватил Ломова и Аникишина. Ломова замордували паскуды, а Юхима Катя врятувала. Хиба она тебе про то не казала?

Петро спросил и тут же отругал себя. Не хотелось ему, ой как не хотелось раскрывать душу свою перед Левой. Не верил он этому человеку. Знал, что товарищи считали его своим, что работал он по заданию чекистского руководства, а вот не верил и все тут. Может быть, оттого и к Кате у него другое отношение появилось, что с Левкой она была. Нет, не то чтобы он ее разлюбил, но будто

бы отдалилась она от его сердца, отодвинулась, дальше стала. И оттого холодно ему стало на душе, неутно, как в дождливую осеннюю погоду, когда из хаты нос высунуть не хочется. А думки про теплое и ласковое солнышко, что, если не насовсем, то надолго закатилось-запряталось, так и лезут, так и лезут в голову.

— Да, — вздохнул Лева, — был у нас разговор про тот случай. Говорила Катюша...

Сказал и замолк. А Петра это самое его ласковое «Катюша» будто ножом по горлу полосонуло.

«Ну скажи, скажи, бугаяка чертовый, правду, — хотелось выпалить в лицо этому самому Левке. — Признайся, шо любишь ее. Признайся, шоб не мучился я, не страдал зазря».

Но Лева молчал. Как воды в рот набрал. И это еще более распаляло злость Петра к его соседу по бричке, который, как ему казалось, спокойненько себе лежал, как тот сытый боров и в ус не дул.

Откуда было знать Петру, какие мысли одолевали сейчас Леву? Разве мог он передать Петру свои чувства, которые испытывал тогда, лежа раненым, зная, что свои товарищи, ждущие встречи с ним, Задовым в Дибровке, рискуют попасть в руки Ивану Свисту? Да и зачем? Чтобы оправдаться в своей невиновности? Нет, он таки был виноват. Был, потому что полез тогда под пули, считая, что имеет право рисковать своей жизнью. А вышло, что рисковал не только своею, но и чужой. Да и не одной. Интересно, знает ли Ефим, с кем тогда они должны были встретиться в хате у бабки Матрены? Вряд ли. Ведь и ему самому Катя передала приметы Ломова. С ним и паролями они должны были обменяться. Теперь Ломова нет, и свою тайну он с собой на тот свет унес.

Заночевали в Покровском, куда добрались уже затемно. Рано утром отправились в путь и к обеду подъехали к Дибровке. С холма, на который не без усилий втащили их усталые кони, хорошо видны были люди, отчего-то вдруг забегавшие, засуетившиеся. Когда же въехали в село, улица была пустынна. Будто вымерла. Только одинокая старуха стояла, сурово глядя на путников выцветшими от времени глазами.

— Здравствуй, тетка Матрена, — поздоровался Лева, узнав ее.

— Здравствуй, соколе! — всматриваясь в него, отозвалась старуха.

— Не признала?

— Чого ж не признать? Ты ж який был, такий и зостался, Левко.

— А де ж люды ваши? — спросил, подходя к ним, Аникишин.

— Де? — переспросила Матрена. — Та от его, Левку, побачили и все повтикали. Думали, то батька Махно знов вертается.

Опустив голову, Лева отошел к своей бричке.

— Не, тетка Матрена, — засмеялся Аникишин, — уже не вернется. Никогда не вернется.

Перевалив мостик через речку Волчья, въехали в лес. Неожиданно Лева, сидевший до этого на краю короба, опустив на грудь голову, вскрикнул:

— Сто-о-ой!

Он сполз с брички и, шатаясь, побрел в лес. Сделав несколько шагов, застонал дико, протяжно и, закрыв лицо руками, рухнул на землю.

— Эй! Ты чего?! — всполошился Ефим, хватаясь за револьвер. Но его остановил Алексей Булычев, который, видимо, уловил душевное состояние Левы:

— Не надо! — положив руку на плечо Ефима, тихо сказал он. — Нервы. Это они так колотят. Не трогай его. Пусть поплачет.

— Гос-по-ди! — рыдая, выкрикивал Лева. — Га-а-ды! Какие же мы гады! Люди,.. как волков, нас боятся. Невжели мы такие звери?

Обессилев, он затих и какое-то время лежал, уткнувшись лицом в траву. Потом поднялся и, пошатываясь, побрел к бричке. Ни на кого не глядя, взобрался в короб и, всхлипнув, бросил:

— Едем!

Петляя между деревьями, дорога уходила все дальше и дальше в лес, который становился гуще, плотнее. Голые стволы лесных великанов с венчающими их островерхими шапками хвои чем-то походили на солдат, атакующих ленту дороги, что распорола надвое темно-зеленую чащу. Подступив к самой ее кромке, они, будто околдованные какой-то невидимой и неведомой силой, вдруг остановились, замерли, не решаясь преступить запретную черту, да так и застыли в изумлении. Юркнув в очередной раз в густые заросли молодого дубнячка, дорога неожиданно выстелила перед путниками сверкающий на солнце ковер довольно большой поляны. По краям ее могучей и грозной стражей стояли, подбоченясь, невесть как забравшиеся сюда дубы.

— Стой! — скомандовал Лева, спрыгнув на землю еще до того, как бричка остановилась.

— Что случилось? — недовольно спросил Ефим.

— Приехали, — ответил Лева, направляясь в дальний конец поляны.

— Та-а-ак! — оглядываясь вокруг, поджал губы Ефим. — Кажись, и вправду приехали. Сдается, гетое местечко и мне знакомо.

Он двинулся следом за Левой. Подойдя к старому кряжистому дубу, который, растопырив свои ветки, будто преграждал путь в лесную чащу, то ли моля о чем-то, то ли угрожая кому-то, остановился. Нахмурив лоб, долго смотрел на дерево, словно пытаясь выведать у него тщательно оберегаемую страшную тайну. Но древний великан молчал. Только поредевшая от времени листва о чем-то шептала, пугливо прячась друг за дружку от озорующего по поляне ветра.

— Тут... тут нас с Васильичем распинали махновские гады, — нервно поводя головой, выдавил из себя Ефим. — От коло гетого дуба, мать ихнюю так. Сначала тела наши жгли, а потом... потом ремни на спине резать стали. Один особенно старался. Грамотеем его кликали. Режет и спрашивает, как мне, не больно. Темно уже

было, а рожу его гадючую я, кажись, и сейчас перед собой бачу. Нехань хучь сто лет пройдет, а я ету падлу все одно узнаю. И за Васильича, и за себя рассчитаюсь. Сполна отдам. Ладно... А де ж наш Задов?

— Не бойсь, — успокоил его Петро. — З ным Булычев. Никуда он не денется. Вскоре из-за деревьев показались Лева и Булычев.

— Ну што, Задов, знайшол свое место? — спросил Аникишин.

Лева ничего ему не ответил. Только сердито глянул в его сторону.

— Не Задов он, — тихо обронил Задорожний. — Зиньковский, Зиньковский его хвамилия теперь.

— Э-э-э! Не один хрен, — махнул рукой Аникишин.

Лева, взяв с брички лопату, снова направился в лес. Следом за ним двинулись и остальные. Отыскав ему лишь известные приметы, Лева начал копать, сопя и сплевывая.

— Место точно знаешь? — пристраиваясь с ним рядом, уже более миролюбиво спросил Аникишин.

— Тебя не спросил, — сердито буркнул великан.

— Но-но! Обидчивый какой. На обиженных воду возят. Слыхал?

— На мне навозишься...

— Ладно, ладно вам, — вмешался Задорожний. — Чисто тебе когуты. Давай лопату, Юхим. Перепочинь трошки. Ач, зовсем захекався.

— Ничего! — возразил было тот, но лопату отдал. Какое-то время копали молча, периодически меняясь. Наконец лопата Булычева уперлась во что-то твердое.

— Кажись, она! — оживился Лева. — Пусти меня туда. Повозившись еще немного, он вскоре извлек из ямы большую металлическую кастрюлю, закутанную в просмоленный брезент. Сняв крышку, видавшие виды сотрудники ахнули: кастрюля была доверху наполнена золотыми монетами, кольцами и другими драгоценностями.

— Ни хрена себе, братцы! — изумлялся, тараторя без умолку, Аникишин. — Дык тут, почитай, поболе ведра будя. Поболе ведра... Штук сто коней на ето богатство купить можно.

— Коней! — хмыкнул Петро. — Та тут на завод целый хватит...

Довольный произведенным эффектом, Лева молча смотрел на чекистов, радовавшихся, как дети.

— Ну, шо? Не обдурил тебя, цыган? — подмигнув Петру, спросил он Аникишина. — Правду сказал?

— Правду, правду! — засмеялся тот, обнажив белые, как снег, зубы.

— Токо ж это еще не все! — прищурился Лева.

— Как не все?! — вскинулся Булычев. — Еще есть? Здесь или нужно ехать куда-то?

— Здесь, здесь, — отозвался Лева. — Вон коло того дубочка кривенького.

Позабыв об усталости, кинулись к указанному месту и вскоре действительно выкопали так же аккуратно упакованное в просмоленный брезент эмалированное ведро.

— Тут червонцы золотые и трохи серебра. Оно тож пойдет, — объяснял сияющий улыбкой Лева. — От теперь, братцы, все. Это... это подарок нашей революции.

— Спасибо! — держа обеими руками огромную лапищу великана, взволнованно произнес Булычев. — Огромное спасибо тебе, товарищ Зиньковский.

— Да, ладно, ладно вам, товарищи! — отмахивался смущенный Лева. — Не я ж это сотворил. У буржуев экспроприировалось...

Назад возвращались довольные и веселые. Разошедшийся не на шутку Ефим все время балагурил и рассказывал смешные истории. Он снова был тем добрым товарищем, которого знал Петро раньше.

— А помнишь, как мы тада барышень спасали? — подмигнул он Петру, перебравшись на его телегу. Спросил и заливисто засмеялся, откинув назад свою кучерявую, черную, как смоль, цыганскую голову. — Помнишь?

— Аякже? — улыбнулся Петро, чувствуя, как недавняя обида на невесть чего надувшегося Ефима куда-то уходит, покидая его душу. — Доброе было времячко. Доброе...

— Слыш, Петро, а ты и в самом деле ничего про Катерину не знаешь?

— Не знаю.

— От тебе и на. А я ж думал, что Катя тебе говорила...

— Шо говорила?

— Та ладно! — отмахнулся Ефим. — Нехань ему грец, как ты говоришь. Давай лучше про то поговорим, как клад гетой сдадим, што потом делать будем. Мо, какиесь гроши отседова попросим на памятник Васильичу?

— Та хиба одному ему?

— Ну да, канешно. И другим тож.

— Станцию электрическую, чув я, скоро тут сбираются ставить. Правда?

— И я тоже слыхал.

— Ото и будет для усех, хто полег тут, серед степив наших, коло Днепра Славуты, коло ричечок, кращим памьятником. Як ты вважаешь?

— А шо ж! Ты, думаю, правый, Петро. Нехань так оно и будет. Так и начальство попросим.

По приезду в Запорожье Петро отыскал Марийку.

— Братику! — кинулась она к нему на шею. — Петрусику дорогий. Прыихав! Прыихав!

Она радовалась так неподдельно, так по-детски, что Петро даже прослезился.

— Сестричка моя люба! — гладил он ее волосы, прижимая Марийку к груди. — От и стренулись! От и стренулись! Як ты тут живешь? Шо поробляешь?

Марийка щебетала, как птичка, торопясь обо всем поведать брату, перескакивая с одного на другое, стараясь ничего не забыть. А Петро все слушал и слушал журчание ее речи, мысленно переносясь туда, в Андреевку, в их теперь уже такое далекое детство.

— А як же там? У нас... у нашем селе? — решился наконец задать он мучивший его вопрос. Спросил и тут же пожалел об этом. Журчание Марийкиного голоса, будто споткнувшись о какую-то невидимую преграду, прекратилось. Нахмурившись, сестра отвернулась от него и затихла.

— Я виноватый перед тобой, сестричка! — вздохнул Петро. — Виноватый...

— Не треба, Петрусику...

— Ни, треба. Послухай меня, не мешай. Виноватый за то, шо наговорил и тебе, и Миките усякого... Наговорил, бо время такое было: больше пулями та саблями привыкли правду свою захищать. Зараз другое дело... Як там Микита? Шо он?

— Не знаю... Ничего я не знаю, — уткнувшись в плечо Петра, Марийка разрыдалась.

— Ну, заспокойся! — успокаивал он ее. — Чуешь? Заспокойся, сестричка. Все, все будет добре.

— О-о-х! — всхлипнув, вздохнула Марийка. — С чего ему добру буты?

— Зажды! Ось получу я отпуск и поедим мы с тобою разом у наше село. Видчинемо хату и пойду я до Микиты. Скажу ему: «Давай забудемо все погане. Спробуем наше поле добром засиваты».

— Ни, Петре! Шо було — загуло. Розийшлысь наши стежинкы. Не звесты их, не зъеднаты.

— Та шо ты такое говоришь?

— Все, братику. Все, — остановила его Марийка. — Давай не будемо про це. Наш час пробиг, и його не вернешь...

Вечером Марийка и Ефим с женой провожали Петра и Алексея Булычева, которые вместе ехали до Харькова. Шумной компанией ворвались в вагон.

— Тихо, товарищи! — остановила их молодая женщина с огромными темно-коричневыми глазами и черной косой, уложенной на голове аккуратным веночком. — Дите спит.

— Клава! — ахнул Булычев. — Это же Клава Мащенко! А Борис, Борис где?

— Вот он я, — пробасил Борис, появляясь из купе. — Расшумелись тут, понимаете. Мужчину нашего, Володьку, разбудите.

На носках, стараясь не шуметь, по очереди заглянули в купе, где, посасывая соску, спал крохотный человек.

— Ну вот и еще один гражданин, товарищи! — поднял палец Булычев. — Гражданин.

— В самом Никополе родился. На месте Никитинской Сечи, где Богдана Хмельницкого гетманом казаки избирали, — важно заявил Борис.

— Ух ты! — изумился Булычев. — Зато мой Волька постарше вашего Володьки.

— Сколько ему, Алеша? — спросила Клава.

— Год и четыре месяца, — с гордостью ответил Булычев.

— Ну, шо ж, — обняв друзей за плечи, улыбнулся Петро. — Нехай растут счастливыми.

— Ага! Пущань растут, — подхватил Ефим. — Ну, будем прощаться.

— Ты от шо, Юхим, — пощипывая ус, попросил Петро, — про Леву сообщишь... Шо воно и як...

— Добре! Добре!

Лев Зиньковский оставался в Запорожье. Как сообщил Кравчевский, для уточнения некоторых деталей. Предварительное следствие пока будто бы показывало его невиновность. Но как будет дальше? Какое решение примет харьковское, а возможно, и московское начальство? Ответить на эти вопросы пока никто из отъезжающих и провожающих не мог.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Старуха Европа, по которой некогда спокойно и чинно бродил призрак коммунизма, неожиданно для самой себя стала прибежищем тех, кто тщетно пытался остановить разыгравшийся на задворках континента коммунистический ураган. Сюда стеклись остатки разгромленных белых армий, дивизий и полков, некогда полнокровных и грозных, со страхом оглядываясь на рухнувшую империю, вспоминая так бездарно проигранные сражения, эхо которых все еще слышалось здесь, за много сотен километров от печальных и далеких полей России, являясь в тревожных снах, со страниц эмигрантских изданий, вчерашние полководцы и бойцы тоскливо вглядывались сквозь плотную пелену тумана времени, стараясь разглядеть уплывающие от них зыбкие берега своего будущего. Одни из них, менее родовитые и чинами поменьше, потеряв всякую надежду на перемену политической погоды, отчаявшись дождаться восхода некогда светившей им звезды, хватались за любую попадавшуюся под руку соломинку, становясь шоферами и официантами, швейцарами и сторожами, грузчиками и всем, чем угодно, что давало возможность иметь хлеб насущный и хоть какую-нибудь крышу над головой. Другие же, бывшие вожди и высокая знать, привыкнув купаться в лучах славы, все еще старались держать фасон, продолжая бороться, если не за безвозвратно утерянную любовь когда-то боготворившей их толпы, то, по крайней мере, за мерцающий огонек интереса к своим особам, который позволял надеяться на лучшие дни.

Эти некогда блиставшие тени прошлого почему-то сильнее всего притягивал к себе великолепный и загадочный Париж. Здесь в 1926 году встретились бывшие смертельные враги Махно — пребывающие здесь в качестве политических эмигрантов Деникин, Врангель, Петлюра и представляющий во Франци страну Советов дипломат Раковский. Сюда же, после долгих скитаний по Румынии, Польше и Германии, прибыл и сам Нестор Иванович.

Покинув Торунь, надломленный морально и физически, батька с большим трудом добрался до Данцига, надеясь, что здесь сможет наконец обрести покой его мятежная душа. Однако вскоре ему пришлось ощутить на себе внимательный и плотный контроль германской полиции, зорко следившей за каждым шагом беспокойного гостя. Несмотря на плотную опеку деликатных служб, Махно все же восстановил контакты с анархистами. Этим теоретизирующим борцам с государством позарез нужен был лидер,

который смог бы сплотить вокруг себя их разрозненные силы. И Нестор Иванович, по их мнению, лучше всего подходил для этой роли. Но вскоре его связи с анархистами вновь были нарушены: Махно был арестован и заключен в крепость. Правда, долго сидеть там ему не пришлось. Друзья-анархисты вызволили своего кумира и переправили во Францию.

Вместе с женой и дочкой они добрались до Парижа, поселившись в одной из гостиниц столичного пригорода Венсень.

— Не то шо Версаль, конешно, — почесал затылок Нестор Иванович. — Но жить можно. Так чи не так, Галочка?

Галина Андреевна, ничего не ответив, вздохнула.

— Так, так! — закивала по-птичьи головкой маленькая щебетуха Лена.

— Ах ты ж, мое пташеня голопузе! — засмеялся Нестор Иванович, подхватив на руки дочку. — Мамкина помощница!

Бросив взгляд на жену, он заметил, как она слегла усмехнулась. Едва заметно. Но и это его обрадовало, потому что не часто доводилось находить с ней контакты.

— Ничего, ничего! — прижимая к себе тельце дочери, приговаривал батька. — И до нас еще сонечко заглянет. Га, дочка?

Знакомые анархисты по мере своих возможностей поддерживали Махно материально. Он же, стараясь не остаться в долгу, включился в активную пропаганду анархизма. Ходил на многочисленные собрания, довольно часто публиковался в органе русских коммунистов-анархистов «Анархистский вестник», в «Деле труда», выходившем в Париже.

— Ну, от! — радовался он. — Начинают потрошки узнавать. Згадуют, шо Махно тож не какойсь там шалам-балам. Не раз доводилось пускать ежака у штаны и тому ж самому Антону Деникину и Петру Врангелю, чуешь. Та й Симон Петлюра об нас ноги не вытирал: повырывали б с корнями и сказали б, шо так и было. А тут (ты ж понимаешь!) индюками надутыми ходят. Вроди они той самый Париж узяли, а не побытыми собаками сюда прибегли.

И все-таки чувствовал себя Нестор Иванович одиноко и тоскливо. «Я обретаюсь ныне в Париже, — записал он в дневнике, который вел с некоторых пор, тщательно пряча от постороннего глаза, — среди чужого народа и среди политических врагов, с которыми так много ратовал». Он всем сердцем чувствовал, что они презирают его, считают безграмотным мужиком, выскочкой. Да и новые знакомые щедро делились с Нестором Ивановичем долетавшими до них из парижских ресторанов и кафе слухами о нелестных высказываниях в адрес гуляйпольского батьки пребывающей в эмиграции знати. Особенно преуспевал в этом бывший белый офицер Федор Карабань, оказавшийся земляком Галины Андреевны.

— Говорите, неуч, свинопас? — кипел батька, слушая неторопливую речь гостя. — А скажите на милость, как это вышло, что за мною, таким необразованным, прямо скажем, некультурным и никчемным человеком, пошли десятки тысяч людей?

Споря со своими невидимыми противниками, Нестор Иванович незаметно для себя говорил вычурно и страстно, вставляя то и дело «интеллигентные словечки». Со стороны казалось, что он произносит речь перед большой аудиторией, а не ведет беседу с кем-то одним.

— Ну, чего ты митингуешь, Нестор Иванович? — удивлялся Карабань, недоуменно разводя руками. — Тут же ни Деникина, ни Врангеля нет. А я тебя и так хорошо слышу.

— Та то он так, по привычке, — подавала голос жена. — Они ж все там подурели на тех митингах: дым столбом стоит от самокруток, а матюки чисто тебе пули свистят.

— Шо ты в политическом деле понимаешь? Ми-и-итинги! Матю-ки! — сердился Нестор Иванович! — Мы, между прочим, и полки в бой водили. Наша героическая повстанческая армия почти до ста тысяч доходила.

— Да, Нестор Иванович, ты настоящим полководцем, настоящим генералом был, — стараясь успокоить разбушевавшегося Махно, задабривал его Карабань.

— Ге-не-рал! — кривила губы Галина Андреевна. — Чи й не генерал?!

— А что вы думаете, Галина Андреевна, — защищал Махно от нападок жены Карабань. — Да, если бы Нестор Иванович послушался барона Врангеля, когда тот союз ему предлагал, может быть, сегодня он золотые эполеты на плечах носил и не в этой комнатенке, а в каком-нибудь дворце пребывал. Да! Думаю, что такая красавица, как вы, достойны лучшего гнездышка...

Увлекшись, он собрался было продолжить восхваление достоинств Галины Андреевны, но, уловив сердитый взгляд Махно, поспешил вернуться к более приятной для того теме:

— Да и Советы, пожалуй, достойно оценили бы Нестора Ивановича, будь он более покладистым. Чем он хуже тех же Ворошилова или Буденного? Такие же обыкновенные мужики...

— Сивоухие, как и я ? — прищурился Махно.

— Ну зачем ты так, Нестор Иванович? Сразу лезешь в бутылку. Я хотел сказать, что они такие же обыкновенные мужики, как и большинство генералов сегодняшней Советии.

— Да-а-а! Академиев мы не кончали. Это точно, — согласился батька, усмехнувшись. — А от лупцевали вас по-простому, по-мужицки, как ты говориш, Федор, не погано. Га?

— Ладно, ладно тебе.

— Ну, ладно так ладно. Только от шо я вам скажу, люди добрые. Видать, без тех самых золотых погон и академий и мы своими головами шось кумекали.

— Так разве ж я...

— И не только ты про то, Федя, знаешь, а и французский генеральный штаб.

— Боже! Чистый тебе Наполеон, — всплеснула руками Галина Андреевна.

— Наполеон не Наполеон, — сердито покручивая ус, отбивался Махно, — а только Деникиных, Врангелей, твоего любимчика Петлюру и еще каких битых дурней у золотых погонах чего-то не приглашают лекции читать.

— А тебя пригласили?

— Пригласили! — отчеканил Махно. — И кончай баламутить. Возьми Ленку та пойди погуляй с дитем. Мне готовиться к лекции треба.

Галина Андреевна обиженно сжала губы, но промолчала.

— И правда! — подхватился со своего жалобно скрипнувшего старенького стула Карабань. — Пойдите погуляйте с ребенком, Галина Андреевна. В лесу Венсенском нынче прелесть какая. Я вас с Леночкой провожу, а то засиделся нынче...

Нестор Иванович не лгал. Несколько дней назад представителем генерального штаба вооруженных сил Франции ему было сделано предложение выступить перед офицерами. Правда, тот самый представитель не называл эти выступления лекциями.

— Хотелось бы, чтобы вы, мсье Махно, — говорил он при встрече, — поделились воспоминаниями о своей тактике партизанской войны.

Нестор Иванович вначале смутился. Слишком уж непривычная аудитория. Это тебе не свои хлопцы -степняки с их мудростью, добытой не за учебной партой, а на крутых дорогах жизни. Потом подумал: «Ну, чего стесняться? Что было, про то и расскажу. Слава богу, при памяти еще. Вспомню как-нибудь».

Он уже несколько дней обдумывал, как построить свои воспоминания, которые только что назвал лекциями.

«Воспоминания чи лекции... — думал, сердито глядя на дверь, которая только что закрылась за Галиной с ребенком и Карабанем. — Та какое ваше свинячее дело, як отот разговор мой будет называться? Главное, шо дело у нас вроди непогано выходило, а значит и рассказать про него добре треба. А Галку,.. якшо з этим кобелем свяжется, убью. И его, и ее. От так!»

Выступления Нестора Ивановича действительно вызвали неподдельный интерес у французских офицеров. Аудитория слушала его внимательно. Было задано много вопросов, на которые он отвечал уверенно и со знанием дела. После завершения выступлений Махно с удовольствием расписался в получении денег.

— Это ваш гонорар, — сказал на прощание офицер, провожавший его.

— Как говорите? — переспросил думавший о чем-то своем Нестор Иванович.

— Деньги, франки, говорю, это плата за труд. Ваш гонорар.

— Ага. Понятно. Премного благодарен.

Возвратившись к себе в номер, Нестор Иванович положил на стол перед Галиной Андреевной, которая что-то шила, конверт и, мурлыча себе под нос любимую «Розпрягайте, хлопцы, коней'', отошел к окну.

— Шо то за письмо? — буркнула жена.

— Какое письмо? — обернулся Махно. — Де оно?

— Ну шо ото за бумажку ты поклал?

— А-а-а! — стараясь казаться как можно более равнодушным, протянул Нестор Иванович. — Гонорар. Гонорар за лекции в генеральном штабе.

— Так ты и правда лекции читал? — оживилась Галина Андреевна.

— Та когда ж я тебе брехал, Галочка?! — засмеялся батька, на душе которого сейчас было легко и весело.

— Ого сколько! — отложив шитье и пересчитав деньги, изумилась Галина Андреевна, и глаза ее засияли, как когда-то давно, в пору их первых месяцев любви. — Ах ты ж мой профессор!

— Профессор не профессор, а слухали твоего мужа добре. Муха б пролетела, так и ту было б слышно, — довольный произведенным эффектом, улыбнулся Нестор Иванович. — Токо какие там мухи? И не видно того паскудства. Аккуратный народ французы. Ничего не скажешь.

— Ну, и что ж ты там им говорил?

— Та про наши военные дела. Оно тебе и задарма не треба. Давай краще у лавку сходим та какогось гостинца Леночке купим.

— В лавку, так в лавку, — согласилась Галина Андреевна и стала собираться.

— Хорошая штука те самые лекции, — рассуждал, выпив чарку-другую водки, Нестор Иванович. — Поговорил, поговорил, и — на тебе гроши. Я казал, шоб еще звали, когда треба.

Но время шло, заработанные батькой деньги быстро таяли, а приглашений от французских военных больше не поступало.

— Шось ты засиделся, профессор, — ворчала Галина Андреевна, опять становясь злой и раздражительной. — Он смотри, как дите схудло. Та и самим же что-то есть нужно. На святом духе долго не продержимся. Враз загнемся. Глянь в зеркало, на кого ты похожим стал.

Махно молча сопел. Он чувствовал, что плохое питание подтачивает его и без того не слишком крепкий организм. Что ни говори, а одно легкое он еще в Бутырках оставил, когда туберкулез схватил и доктора его на операционный стол уложили. Да и потом не один раз смерть его на зуб пробовала. Правда, ни с чем и уходила, проклятая. Но раньше он все же помоложе, покрепче был. Сейчас дело совсем другое. Однако паниковать, а тем более сдаваться, не хотелось. Потому и в зеркало старался смотреть поменьше. Не только, конечно, по этой причине: слишком памятен был тот случай, что произошел с ним в Торуни тем страшным утром. И перед Галиной было стыдно.

— Раскис! Расслюнявился! — ругал себя не раз батька. — Как какой-нибудь студентик задрипанный. Сам себе противный.

Чтобы не раздражать лишний раз жену, Нестор Иванович уходил бродить то ли в Венсенский лес, то ли просто по улицам

города. Они не раз видели слегка хромающего, временами то ли тревожно, то ли удивленно озирающегося тщедушного человека, с глубоким шрамом, пересекавшим его лицо, в сером выцветшем костюме-тройке из дешевого универсального магазина, вишнево-красном галстуке, выглядывавшем из распахнутого пальто-дождевика и помятой фетровой шляпе.

— Шо ж делать? — задавал он себе снова и снова этот проклятый вопрос. И не находил на него ответа. Проходя мимо банков и красочных витрин богатых магазинов, Нестор Иванович замедлял шаг. Глаза его темнели, становились злыми, по лицу пробегала судорога, делая его неприятным и страшным.

— Су-у-ки! Су-у-ки буржуйские! — шептали батькины губы. — Насосались кровушки трудовой! Напились!

Он представлял, как его повстанческая армия врывается в это ненавистное ему буржуйское логово, вечно поющее и веселящееся, праздное и противное всему его естеству.

— Гу-ляй, хлопцы! — командует он, вытирая пот со лба. — Гу-ляй!

И, услышав батькину волю, его орлики несутся по улицам, пугая одуревших от страха багатеев, которым есть что прятать, и насмерть перепуганных мещан, которые и сами не знают, чего боятся. Да-а-а! Здесь было бы где погулять. Только давно уже стих цокот копыт его быстрой, как молния, конницы. Как дым, рассеялась и вся многотысячная повстанческая армия. Теперь иногда кажется, что всего этого и не было вовсе. А может, и вправду так? Может, и жизнь его, Нестора Ивановича, никакая не правда, а так, только сон? Накрутила, настроила всякой всячины какая-то нечистая сила, и вот теперь все пропало. Остался он один. Совсем один. Где-то исчез Левка Задов, как в воду канул Ваня Лепетченко.

— Де вы пропалы, хлопцы, друзьяки мои верные? — вздыхает Нестор Иванович, и слезы, такие редкие и терзающие душу слезы, крупными каплями катятся по худым и небритым щекам недавнего степного владыки. Но он не замечает этого. Нетвердыми ногами ступая по кем-то любовно вымощенной гладким булыжником, совершенно чужой ему земли, на которую забросила невесть как ставшая вдруг такой неласковой к нему доля, думает батька свою тяжелую думу: «Эх! Был бы хотя бы Левка! Тот чертяка не дал бы пропасть. Обязательно бы что-то придумал. Что? А хотя бы банк какой-нибудь взяли. Шо? Некрасиво? Погано? Ну и хрен з ним! Он их тут сколько. Никто б и не заметил. Только одному такое дело не поднять. Пока шо те писаки, чернильные души, хоть и щипают меня, но редко, потихоньку. А случись какая неудача, попадись я на деле не совсем чистом, так загрызут же, проклятые. Такого понапишут, шо и у думках не было, а не то шо взаправду».

Батька представил, как с возмущением плюется Деникин, узнав о его неудаче, как осуждающе качает головой барон Врангель, как презрительно кривятся губы Симона Петлюры. Представил, и возникшая вдруг в воображении картина настолько поразила и возмутила его, что Нестор Иванович даже остановился!

— Ты ба! — зло прошептал он. — Ач, как обрадовались, сучьи гузна! Дождались... Дождались беды моей? Горю моему порадоваться решили? Так не будет того! Не сотворю я вам такой радости. Не подарю! Сдохну голодный под забором, а не будет по-вашему. От так! Нехай грошей у меня зараз нема, зато шось то ж я можу робыты. Га? Руки мои не то шо в тех чистоплюев. Найду работу.

Через несколько дней Нестор Иванович устроился рабочим на киностудию. Вскоре подвернулась работа и для Галины Андреевны: ее взяли прачкой в богатый дом.

— Та-а-к! — усмехнулся Махно — Погулялы. Тепер и царювать можна.

— Шо ты мелешь? — вспыхнула Галина Андреевна. — О каком царстве ты языком ляпаешь?

— А про то самое, — подмигнул Махно, — про царство труда. Самое крепкое и надежное, чуешь. Чи, може, не так? Я буду царем, а ты — царицей. Га?

Он засмеялся и горделиво прошелся по комнате.

— Тю на тебя, Нестор! — сдвинула плечами Галина Андреевна. — И шо ты за человек такой... странный.

— Та кажи уже так, як думаешь, — дурной, — нахмурился Нестор Иванович. — Так?

— А, ну тебя! — махнула рукой жена и, хлопнув в сердцах дверью так, что задрожали стекла окна, готовые вот-вот вылететь из рамы.

— От дурна баба, мать твою так! — грохнул о стол кулаком Махно. — Слово не скажи ей. Сразу закипает, шо тот казан у самый огонь поставленный. От уже...

Помянув казан, Нестор Иванович вспомнил давний случай из своего теперь уже далекого детства. Нужда и бедность заедали их многодетную семью. На фоне их просто безбожным и недопустимым казалось богатство отдельных владельцев заводов, магазинов. Оно прямо-таки взывало к установлению справедливости, звало покарать кровососов, сидящих на теле трудового люда. И совсем еще юный Нестор решил, что именно его руке и следует быть карающей. С этой целью раздобыл взрывчатки, которую спрятал в один из маминых казанков. Как уже там случилось, одному Господу богу известно, а только в один момент очутился тот казанок наполненный водой на пылающей печке. Взрывчатка, разогретая кипятком, так рванула, что едва не разворотила печь, а главное — едва не до смерти напугала несчастную мать. К счастью, запас взрывчатки, спрятанный в том злополучном казанке, оказался незначительным, и хата осталась целой. Нестору в тот раз также удалось избежать расправы, прячась от справедливого гнева мамани, которая очень старалась добраться до убежища своего беспокойного и, как оказалось, небезопасного дитяти. Правда, наказание он все же получил. Но оно было уже не таким, каким могло быть, попадись он под горячую руку. Каким именно? Да сегодня об этом и не вспомнить. Разве мало ему тогда достава-

лось от мамани, его дорогой мамани, самого близкого человека? Но то было давно. И главное, что тогдашнего сорванца-сироту маманя не только наказывала, но и жалела. После маминых наказаний, ее самых сердитых слов почему-то очень скоро не оставалось и следа. Отчего же сейчас все совсем иначе? Почему каждое грубое слово Галины так больно жалит, словно пуля? Почему каждая ссора с женою оставляет на сердце новые и новые раны, которые, не заживая, щемят и щемят, взрывая будто динамитом его внутренний покой, уверенность в себе и своих силах? Господи! Неужели она не видит, не чувствует, как своим поведением, своими выбриками разрушает семью — последнюю линию обороны, занятой им в этом мире?

Ища душевный покой, Нестор Иванович, как проклятый, впрягся в работу. Стиснув зубы, он брался за любое дело, какое предлагалось ему на киностудии: таскал какие-то доски и ящики, орудовал пилой и с остервенением вколачивал гвозди в сооружаемые киношниками декорации. Но с особой охотой брался за малярные работы. Водя кисточкой по холсту или доске, он на какое-то время забывал о своих невзгодах, что-то насвистывал или мурлыкал себе под нос какую-нибудь из любимых народных песен.

«А и вправду говорят, шо умение за плечами не носить, — рассуждал про себя Нестор Иванович. — Сколько годов не держал в руках кисти, а, бачь, не забыл, как оно робиться. Видать, учение того мастера гуляйпольского, которому отдали меня у детстве маманя, не пропало даром. Ничего, шо тот бедолага частенько-таки самогоночкой баловался. Правда, и казенка иной раз в мастерской бывала. Но редко. Только по праздникам. А от самогонка, то у него как рабочий матерьял. На каждый день. Пьяный дурным бывал и злым, как чертяка. К людям приставал и драться лез. А так ничого. Тихий и смирный, мухи не обидит. И дело свое знал. Это никуда не денешь».

Бывая дома, Махно также старался чем-то себя занять. То сапожничал, ремонтируя отчего-то быстро рвущуюся обувь своих домашних и знакомых Галины Андреевны, то мастерил что-то, склонившись вместе со щебечущей дочкой над небольшим столиком. Вообще же оставаться в комнате вместе с женой старался поменьше. Чутко улавливая надвигающуюся очередную семейную ссору, быстро собирался и уходил куда-нибудь.

В то время в многочисленных кафе и клубах Парижа много велось дискуссий о революциях, их месте в истории стран и народов. На них нередко присутствовали Махно и Карабань.

— Ты же знаешь, Нестор Иванович, — убеждал Карабань, — что французы пережили не одну революцию. А послушай, что они говорят.

— Ну, и шо ж?

— А то, что каждая революция — это большое горе для народа. После нее необходимы целые столетия, чтобы наладить нор-

мальную жизнь. Революции ломают отношения между людьми, которые установлены природой и богом: брат стреляет в брата, сын убивает отца, отец — сына, за оружие берутся женщины, которые призваны продолжать род, а не уничтожать его.

— Э-э-э, голубе! Тут я с тобой согласиться не могу, — тряс головой Махно. — Все зависит от того, за какую справу берутся революционеры. Какое дело ими творится. Понял?

— То есть?

— А то, шо дело бывает правое, справедливое и неправое. Если оно неправое, вредное, понимаешь, то тогда и в семье никакого порядка нет: сын идет на отца, брат на брата. Чистый тебе бардак, понимаешь. А когда оно правое, то ничего этого нет.

— Ну, а свою революцию ты как считаешь? Наверное, самой правой.

— Конечно! У меня было четыре брата, и все, как один, пошли за мной. Отдали жизнь за мои идеи. От так.

— И все погибли?

— Все четверо. И каждый, понимаешь, погиб от разных врагов, с которыми я воевал. Карпа расстреляли белоказаки. Омельку — австро-германцы. Григорий в бою с вашими, с деникинцами, погиб, а Савку убили красные.

— Да-а-а! Дела, брат.

— Ото ж и оно. А раз так, то мое дело верное. Как низовое подлинно народное движение, революционная махновщина восстала за попранные права революции против германо-поляцкой контрреволюции. Как таковая, она встретила с оружием в руках и контрреволюцию белого Дона и деникинщины, и, как таковая, вона не потерпела и большевистской диктатуры и ее контрреволюции, несмотря на свою техническую слабость, которая лишила ее в известные моменты возможности снабжать трудовое население оружием и организационно дельным и р-р-революционно честным, преисполненным трудовой инициативы элементом...

— Ух, ты! — схватился за голову Карабань, прерывая страстную речь Махно. — Ты прямо, как на митинге. Шпаришь, как из книги или из газеты.

— Та при чем тут книги, газеты, понимаешь? — вспыхнул Нестор Иванович, сверкая глазами. — Тут что ни на есть жизнь. Голая правда, понимаешь. Того она и очи тебе колет. От так. И прекрати свои контр-р-революционные беляцкие штучки.

Они наскакивали друг на друга, как драчливые петухи. Расходились, давая себе обещание больше никогда не встречаться. Но что-то снова и снова влекло их друг к другу. Затихающий спор опять разгорался и, как всегда, прерывался очередной ссорой этих, таких непохожих, таких разных людей, так искренне верящих в свою и только в свою правду, что существование чьей-то другой, чужой правды казалось им просто немыслимым, невозможным.

После очередной ссоры, в ходе которой спорщики едва не дошли до рукопашной, они не встречались особенно долго. Махно уже было решил, что дружбе их пришел конец.

— Ну, и хрен с ним, с тем самым Федором, — успокаивал себя Нестор Иванович. — Подумаешь, цаца какая! Грамотный он. Та плевать я хотел на твою грамотность. Я, может, в Бутырках столько книжек прочитал, шо ты и не видел за всю свою жизнь. Не хочешь меня слухать, так иди пид три чорты чи еще куда-нибудь дальше. Иди!

Ругая в душе Карабаня, Махно это делал для того, чтобы отогнать неприятное чувство собственной вины. Ведь это он тогда первым не выдержал и, теряя терпение, наговорил Федору всяких любезностей с восклицательными и мягкими знаками. А взял бы себя в руки, говорил бы нормально и, глядишь, все было бы совсем иначе. Теперь вот приходится сопеть себе под нос или «любезничать» с Галиной, которая так и ждет, чтобы с ним сцепиться. «Да-а-а! Веселенькая жизнь», — думает Нестор Иванович, ремонтируя каблучок Леночкиной туфельки.

— Войдите! Там открыто, — прерывает ход его мыслей Галина Андреевна.

Нестор Иванович поднимает голову и удивленно смотрит на входящего в комнату Карабаня. Вот тебе раз! Но что это он такой хмурый? Что-то случилось. Наверняка что-то случилось. Иначе Федор первым не пришел бы к нему.

— Слыхали новость?

— Ты про шо?

— Сегодня прямо на улице у входа в кафе убит головной атаман Петлюра...

— Ой, мамочка! — вскрикнула Галина Андреевна, схватившись за голову.

— Кто убил? За шо? — подчеркнуто строго спросил Махно, поднимаясь с табуретки.

— Какой-то Самуил Шварцбард.

— Еврей? Местный?

— Французский подданный, но, говорят, выходец с Украины. Якобы за совершенные там Петлюрой еврейские погромы во время гражданской войны. Так, как будто, он сообщил журналистам, которые присутствовали во время его ареста.

— Сам то сотворил? Чи, может, кто послал?

— Вроди бы подозревают существование большевистской террористической группы, а там, кто же его знает, следствие покажет.

— Понятно.

— Боже! Я ж знала и не один раз говорила, шо не нужно трогать тех евреев.

— Цыть! — грохнул кулаком о стол Махно. — Расквохкалась, как та курка полохливая. Противно слухать.

— Та я ж за тебя! За тебя боюсь! — вскрикнула Галина Андреевна. Голос ее дрожал, и Нестор Иванович понял, что сейчас разразится новый скандал.

— А за меня бояться не треба. И за себя тож. Мои руки чистые, — уже более спокойно, медленно, словно выталкивая каждое слово из себя, произнес он. — Еврейской крови на мне нет. От так.

Но тревога Галины Андреевны все же была не напрасной. Среди некоторой части эмигрантов ходили слухи, что смерть Симона Петлюры это только начало, что такая же кара ожидает и других, повинных в еврейских погромах. Узнавая о них, Нестор Иванович не мог оставаться равнодушным.

— Сучьи дети! — злился он. — Еще чего доброго, подстрелит какая падлюка, как курча паршивое, и будь здоров, батька. Конец твоему царствию земному. И обиднее всего будет, шо кончат меня, как поганого антисемита. Ну нашо оно надо мне отакое звание? Не-е-е! Треба, шоб люди, усе еврейство знали, шо я не такой. От токо краще было б, шоб рассказал про это не я сам, не Галина моя, а хтось из ихнего брата, евреев. Ему больше поверят. Ага! А про шо рассказывать, мы того человека научим. Научим, чуешь!

Именно такого человека, как казалось Нестору Ивановичу, он нашел в лице молодой анархистски-еврейки Иды Метт. В свое время юная студентка, мечтавшая о героических подвигах и «сверхсвободе», была влюблена в Махно. Вернее влюблена не в самого Нестора Ивановича, а в того легендарного батьку, образ которого сформировался в ее сознании под воздействием многочисленных газетных материалов и легенд о нем. Не удивительно, что, оказавшись в эмиграции в Париже и узнав, что здесь же где-то рядом находится ее герой, Ида немедленно бросилась на его поиски. К сожалению, впервые увидев Махно, Ида испытала некоторое разочарование. Он оказался совсем иным, нежели она его себе представляла: небольшого роста, тщедушный, с обезображенным шрамом лицом. Словом, далеко не из тех богатырей и красавцев, на которых сразу обратишь внимание в толпе. И все же это был Махно. Тот самый грозный батька, степной Робин Гуд, за которым шли в бой, умирали многие и многие тысячи.

«Почему? — задавала себе вопрос Ида. — В чем притягательная сила этого человека?»

Задавшись целью разгадать батькину тайну, она стала бывать у него в гостях. Вместе часто гуляли в Венсенском лесу. Ей было интересно узнать о нем как можно больше. Иначе, как доберешься до тайны? Ему же нравилось, что молодая симпатичная девушка внимательно слушает его рассказ, восторженно глядя на него своими миндалевидными глазенками.

«Ты ж поглянь! — самодовольно рассуждал Нестор Иванович. — Не такие мы уже и противные, как считает Галина Андреевна. Да, да! От возьму и кину чертову бабу, шоб не крутила хвостом и нервы мои не рвала, как оту паскудную тряпку. Ач, как на меня смотрит эта девка! Вроди я какой Бова Королевич. Ну, дела!»

Увлеченность мужа, конечно, не осталась незамеченной для Галины Андреевны. Но она ей также была на руку. Именно в это время заканчивался их роман с Карабанем и завязывался роман с одним из анархистов-теоретиков Волиным.

Общаясь с Нестором Ивановичем, Ида все больше открывала для себя в нем типичные черты украинского селянина, который превосходно знал жизнь села и его обитателей, искренне желал им добра. В то время это был не простой мужик, а политический деятель с природным талантом. Он порой пускался в военные авантюры, которые, казалось бы, стояли выше и его политических познаний, и личных возможностей. Здесь как раз и поджидали самого батьку и тех, кого он вел за собой, разные неудачи, неприятности и беды.

Как-то в период особого душевного подъема Махно поведал Иде о своей заветной мечте:

— Я ж никогда не думал, шо взлечу так высоко. Честное слово! Зачем мне те города, де все кудась бегут, спешат, толкают один одного, как скаженные? Не-е-е! Совсем те муравейники каменные мне не треба. Другое дело — село. Тихо, спокойно. Каждый каждого знает и поважает. Ага! Саме поважает. Бо ты не какой-то там баламут или трутень никчемный, а трудовой человек. Думалось мне, шо кончится та скаженная жизнь, вернусь я у свое Гуляйполе... Обязательно вернусь, бо имя у меня такое — Нестор, шо значит той, хто вертается на родной порог, до своей хаты. Так от. Вертаюсь я, значит, додому, трохи перепочину и — за работу. Женюсь на красивой девчине-селяночке, нарожаем деточок и будем себе жить припеваючи. Эх, Идочка, абы вы знали, какие у нас вечера. Бож-ж-же мой! От, вроди, кажный раз приходит вечер, и ты привыкаешь до этого и не видишь его красоты. А от когда с самого раночку встаешь, запряжешь доброго коня и отвезешь на ярмарку то, шо ты вырастил своими руками, своим потом и кровью, продашь и довольный разом с жиночкой домой вертаешься, тогда и увидишь тот самый справжний вечер. И откроется он тебе у всей красе и ласковости. Тогда з усех подарков, шо накупил ты на свои грошики, этот будет самый дорогой...

— Так вы поэт, Нестор Иванович! — воскликнула изумленная Ида.

— Хто? Я? У нас там все поэты, Идочка. Чисто усе...

После убийства Симона Петлюры Махно все чаще и чаще затевал с нею разговоры о своем отношении к евреям.

— Разумные люди! — говорил он. — Я считаю, шо ни одно доброе дело без еврея не робится. Ни одно. Чуете? Говорю вам искренне и на полном серьезе. Та у меня в повстанческой армии евреев было хоч греблю гати. Так у нас кажуть. И Лева Задов, и Исаак Теппер, и Йоська Гутман, и ось тот же Волин. Словом, много было. Ну, конечно, разные люди и между ними попадались. Ось тот же Лева Задов. Та он же меня на руках готов был носить, дыхнуть на меня не давал, а не то шо там... Но и другие случались. Ну,

возьмем, к примеру, товарища Леву Шнайдера. Вроди хлопец как хлопец был. Мы ему у самый тяжелый момент, когда австро-венгерские и германские войска разом с нашими украинскими шовинистами-петлюровцами в наступление пошли, послали своим представителем в губернский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Но товарищ Лев Шнайдер не выполнил своих обязанностей. За то время, пока он у Екатеринославе был, успел заразиться разгильдяйством и безответственностью крайних элементов в городском нашем движении. Товарищи решили отозвать Шнайдера в Гуляйполе. А тот, понимаешь, отвечает нахально, шо вернуться туда не может. Он, понимаешь, завален работой губернского совета и предлагает назначить на его место другого. Мы ему тогда экстренную телеграмму отбили, чтобы немедленно приехал и полный отчет дал про свое поведение. Не приедешь, кажем, вышлем за тобой двух товарищей. Товарищ Лев Шнайдер понял, шо тут не пустая болтовня и ему грозит пуля, и через два дня после нашей лаконичной телеграммы, как миленький, был у Гуляйполе. Да-а-а! Так кого мы имели в данном случае? Еврея? Нет! Скажу со всей откровенностью, шо тут мы имели нахального и ленивого элемента. А они есть и серед украинцев, и серед русских, и серед евреев. В революционном, нашем героическом деле всем им места нет и быть не может.

— Я согласна с вами в данном случае, Нестор Иванович, — сказала Ида, глядя батьке в глаза. — Только ходят слухи о массовом гонении еврейского населения сел вашего уезда в апреле 1918 года и о других случаях, в которых повинны повстанцы.

— Брехня! Истинная и нахальная брехня, — взмахнув рукой, отрезал Махно. — Конечно, в то время, о котором вы, Идочка, напомнили, действительно имел место тревожный и позорный факт. Пользуясь гнусным обманом и неустойчивостью вооруженной силы, несущей охрану в то время, то есть, «еврейской роты», петлюровские шовинисты добились сдачи Гуляйполя. Они арестовали Революционный комитет, членов Совета рабочих и крестьянских депутатов и секретаря группы анархо-коммунистов. Ими был гнусно разгромлен клуб нашей группы, по-звериному уничтожена и растоптана литература. Помню, узнав об этом, я говорил тогда своим товарищам:

— Теперь можно ожидать со стороны крестьян нежелательной для дела революции, недостойной ненависти к евреям вообще. Сознательные и бессознательные враги революции могут эту ненависть использовать, как они захотят, и мы, так много потрудившиеся над тем, чтобы убедить тружеников нееврее в, что еврейские рабочие им братья, можем очутиться перед фактом еврейских погромов.

— Совершенно верно, ненависть крестьян и рабочих к евреям сегодня сильная, — отвечали мне друзья, — но не мы виноваты в этом... Евреи никогда в Гуляйполе не были изолированы от об-

щественной жизни нееврейского населения. И лишь акты «еврейской роты» в апреле поставили нееврейское население на путь ненависти к евреям. Не по нашей вине в Гуляйполе появился дух антисемитизма. Но нас там нет и что поделаешь?

— В том-то и дело, — настаивал я, — что с торжеством контрреволюции, и благодаря глупой выходке еврейской молодежи, над Гуляйполем веет дух антисемитизма. И наша прямая обязанность — не дать ему осесть, укрепиться. Гуляйполе — сердце нашей новой борьбы против контрреволюции. Мы должны возвратиться в него, чего бы это нам, как группе революционеров-анархистов, не стоило. Находясь в Гуляйполе, мы сможем, — и это прямая наша обязанность, — предупредить зло, нашедшее место в гуще рабочих и крестьян после действий «еврейской роты»... А предупредить его мы сможем тем, что своевременно разъясним революционным труженикам, хто виноватый у той подлости... Если мы не зробим так, то (попомните мое слово!) трудовое еврейское население будит избиваться... То, между прочим, были жаркие и непростые споры с товарищами, которых трудно было убедить. Но я шел на это...

Нестор Иванович, произнеся столь длинную речь в своем обычном митинговом стиле, устал. Тяжело дыша, он бросил взгляд на немного отставшую от него Иду.

— Я что-то не так сказал? — нахмурился он, заметив улыбку на ее губах.

— Нет, нет, Нестор Иванович! — замахала руками Ида. — Вас смутила моя улыбка? Напрасно. Я просто любовалась вами, вашей страстностью, представляя, каков вы бывали на митингах, среди толпы, где кипели страсти. А почему бы вам и сейчас не выступить по вопросу антисемитизма, высказать людям честно и прямо свою точку зрения?

— Чего ж? Можно и выступить, — согласился Махно. — Можно и высказаться...

Вскоре в один из летних вечеров Нестор Иванович и в самом деле выступил в парижском клубе «Фобур» на диспуте, который назывался: «Был ли «генерал» Махно другом евреев или он участвовал в убийстве их». С горящими глазами, демонстрируя свой незаурядный артистизм, он, то прося, то кому-то угрожая, призывал еврейскую общественность тщательно проверять «грязный материал», который пытаются подбросить ей его коварные враги.

— Я никогда, — слегка охрипшим голосом говорил он, — слышите, никогда не был ни антисемитом, ни еще каким-нибудь контрреволюционным гадом. Ни один еврей не пал жертвою смертельной пули моего маузера или острой сабли. Ни один! Вся моя жизнь была посвящена защите слабых и обиженных людей угнетателями, голодом и холодом, а серед них и трудового еврейства. Мы дрались с врагами революции и предателями. Их били решительно и без жалости... Если хотите, то одной из главных причин расстрела нашими героическими бойцами-повстанцами атамана Григорьева была организация им массовых еврейских погромов...

Услышав, как кто-то засмеялся, Нестор Иванович, сжав кулаки, бросил в зал:

— Гыгыкайте, гыгыкайте! Та смотрите, шоб потом не пришлось смеяться на кутные зубы...

В целом же своим выступлением и итогами диспута он остался доволен. Провожая Иду домой, много и громко говорил, шутил.

— Нестор Иванович, — спросила она его, — а вы не пробовали писать?

— Чего ж не пробовал? И письма писал, и листовки, и приказы. Только приказы больше писал Виктор Белаш, начальник штаба.

— Нет, нет! — засмеялась Ида. — Я говорю о книге.

— Та шось-то дряпаю потихоньку, — смущенно признался Махно.

— Так дайте же почитать! Дадите?

Махно почесал затылок и, какое-то время поколебавшись, ответил:

— Ну, шо ж. Можно дать, если интересуетесь. Он сдержал свое слово и вскоре передал Иде аккуратно завернутые в газету тетради.

— Читайте, а потом поговорим.

Несколько дней спустя, Ида возвратила Нестору Ивановичу его тетради.

— И шо ж оно за приговор будет? — покашливая, усмехнулся Махно. — Шо скажет мой грозный критик?

Не отличавшаяся большим дипломатическим талантом, Ида вздохнула.

— Дорогой Нестор Иванович! — стараясь найти нужные слова, ответила она. — Вы — герой! Вы — великий солдат, но не писатель... Попросите кого-нибудь из ваших друзей.,.. ну хотя бы ту же Марию Гольдшмидт, помочь вам написать ваши воспоминания... Это будет очень интересно...

— Угу... Ну, спасибо вам, — ответил Махно, отвернувшись.

— Обиделись?

— Та чего там! Спасибо. Бывайте.

Он, действительно, обиделся на Иду. Встречаясь с нею и после того разговора, Нестор Иванович больше ни разу не коснулся больной для него темы. Обходила ее и Ида. Правда, вскоре ей стало известно, что один из французских друзей Махно предложил ему материальную помощь, чтобы он смог завершить свои воспоминания. Но вскоре понял, что Нестор Иванович, который больше никому не рисковал доверять свои рукописи и корпел над ними сам, никогда эту работу не осилит и перестал давать Махно деньги.

— Ну и хрен с вами! — рассердился батька. — Без вас обойдусь, а книжка все одно будет. Будет, шоб я луснул!

Он уже не мог прекратить эту работу, потому что Галина Андреевна, однажды крепко поругавшись с ним по какому-то незначительному поводу, совсем ушла от него, забрав с собой Лену. У батьки, лишенного нормальной человеческой жизни в настоящем и не

видевшего надежд на лучшее будущее, оставалось только прошлое. Он уходил в него, как в манящий своей жизненной силой и свежестью лес, снова и снова окунаясь в те, уже далекие, но такие дорогие его сердцу события, воскрешая в памяти своих друзей и соратников, забираясь все дальше и дальше в дремучую чащу лет, что выстроились за его спиной. И писал, писал... Ему казалось, что стоит оставить эту работу, как все исчезнет. Исчезнут те, самые близкие, которые шли за ним, чьи имена высекали копытами, едва касаясь земли, неудержимо несущиеся кони, исчезнет и он сам.

«Нет! — сжимая зубы, думал он. — Того не может быть, шоб все пропало, шоб и следа не осталось от наших дел, от героев наших. Не может быть! Революция не кончилась. Она токо отдыхнуть трошки лягла. Проснется и спомнит, хто ее начинал, хто творил. И я должен ей помогти у этом трошки. Для памяти, для детей должен оставить имена хлопцев наших. Имена, дела и думки. Нехай про них знают и помнят. И тут, и там, за кордоном, дома. Хай помнят...»

Поскрипывая, перо Нестора Ивановича бежит по листу бумаги, оставляя за собой неровные и трудные, как сама батькина жизнь, строчки. Пусть слова в них и не такие красивые и интеллигентные, как хочется этой самой Иде. Ну где он такие возмет? Откуда? Но он старается... Очень старается! Потому что каждая страница должна стать памятником и его родному Гуляйполю, и тому времени, и тем хлопцам, что когда-то увел он от родимых порогов. И, конечно, ему, Нестору Ивановичу. Он так решил, и так должно быть.

2

Ночь. Темная, беспросветная. Без утра, без улыбки солнечного дня, без ласкового вечера, с его меняющимися красками. Сплошная ночь. Сплошная и потому страшная. Такое уже было с Петром. Только очень давно, в далеком, далеком детстве. Тогда он, играя с хлопцами в казаков и турок, нырнул и, ухватившись за какую-то корягу, что лежала на дне залива, замер, закусив зубами камышину для дыхания.

— Эге! — думалось ему. — Теперь нехай шукают мене хлопцы. Ни в жисть не знайдут.

Вот так, наверное, когда-то давным-давно прятались казаки Ивана Сирка, воевавшие с турками. Спрячутся хлопцы под воду и дышат себе через камышовую трубку. Ищи — не ищи, Славутич не выдаст, укроет братков от тех песиголовцев с кривыми саблями. Эх, жаль только, что тот Андрей, командир казацкой варты не смог спрятаться тогда. Да и как ему было то сделать, когда задача у него стояла совсем другая: глядеть во все глаза в степь широкую, и откуда в любой момент могли появиться извечные враги бесстрашных запорожцев, и, заметив, как взовьется, заклубится степная пыль, поднятая татарской конницей, зажечь сигнал-огонь. Андрей вартовал, а он, Петро, сидит в засаде, дожидается удобного момента, чтобы со своей босоногой ватагой ударить по команде Петра Коваля, которой на этот раз выпала доля быть татарами.

«Так! — думает Петро. — Зараз Коваль, облазивши все камыши, мабуть, решил, шо нас тут немае. Скоро набрыдне шукать. Хлопцы пойдут купаться, а тада полягають загорать. Тут мы их и вдарим. Може, уже пора? Он скоко я у воде кисну. Весь замерз. Ще, ще трошечки, и буду хлопцев своих кликать».

Петро представил, как он бесшумно поднимается со дна и, крякая по-утиному, подает сигнал своему залегшему на дне залива воинству. Да. Теперь пора. Он собрался было уже всплывать, когда камышина вдруг вылетела изо рта, и Петро задохнулся от хлынувшей в горло воды. Рванулся, чтобы выскочить наружу, но что-то не давало сделать этого, держа сзади. Попробовал еще раз, и опять ничего не получилось. Вот тогда он растерялся и, испугавшись, затрепетал, забился, как рыба, попавшая в сети, глотая наплывающую на него темную и страшную громаду воды. Потом все куда-то пропало... Он очнулся уже на песке, ощущая, как вода, тяжело и нехотя выходит из него.

— Живый! — откуда-то издалека доносится до Петра голос Никиты Прудкосвиста — Живый, хлопцы! Ей-богу живый!

— Пе-три-ку! Братику мий! — и смеясь, и плача суетится над ним Марийка. — Жи-вый!

Петро недоуменно обводит все еще мутными глазами окружавших его хлопцев.

— Расступись, братва! — командует Федот Юнацкий. — Дайте дышать человеку! Воздуха ему чистого сейчас нужно побольше.

— Де я, хлопцы? — тяжко ворочая языком, шепчет Петро. — Шо зо мною?

— С того света тебя достали, хлопче! — вздыхает Петро Коваль. — Скажи спасибочки он Федоту, шо у водяного отнял. Прямо из самисиньких пазурей выдрал...

Сознание медленно возвращалось к Петру, расставляя все на свои места. В чистом небе ярко светило солнце, окуная свои горячие лучи в освежающую воду Славутича. В подступающих к самой реке кустах о чем-то спорили птицы. Рядом с ним были его друзья, его босоногое казачество. Опершись на подставленное Никитой плечо, Петро поднялся на ноги, которые почему-то стали непослушными и слабыми.

— Трымайся дужче! Спырайся на мене! Чуешь? — суетился Никита.

— Не треба, — ответил Петро. — Я сам. Сделав несколько нетвердых шагов, он оглянулся и, словно оправдываясь, бросил:

— Стомывся... Трошки перепочину, а завтра довоюем...

Да, тогда противник по мальчишеским играм, его тезка Коваль, заметив торчащую посреди камышиных зарослей подозрительно ровно срезанную камышину, выхватил ее изо рта Задорожнего и едва не погубил своего друга, невесть как зацепившегося за корягу. Хорошо, что неподалеку рыбачил Федот Юнацкий. Он-то и достал со дна Петра и откачал его. Благодаря ему Петро ожил, вновь увидел солнце. А кто же спасет его сейчас?

Прошло несколько месяцев с тех пор, как Петро возвратился из Запорожья. Служба его шла своим чередом: не так чтобы совсем спокойно (какое уж тут спокойствие на границе?!), но и без особых происшествий, которые ломали бы привычный ритм жизни пограничников. Душа Петра, огрубевшая в непрерывных боях с белогвардейцами и петлюровцами, в изматывающей нервы погоне за хитрым, как лис, Махно и другими «батьками», после той поездки, примирения с Марийкой стала оттаивать. Казалось, где-то там, у самого сердца зажегся невидимый огонек. Постепенно разгораясь, он согревал заледеневшую душу Петра, вновь наполняя приятным и таким желанным теплом, что все вокруг виделось ему совсем иным, прекрасным и удивительным. Деревья, выстроившись вдоль тихих улочек, махали ему своими ветвями, словно приветствуя его появление в их краю, цветы, доверчиво поворачивая к нему свои нарядные, как девичьи платья в праздничные дни, головки, приветливо улыбались навстречу. Но главное — люди! Даже те, о существовании которых он раньше и не подозревал, теперь казались знакомыми и близкими, столь дружелюбно настроенными к нему, что Петру порой становилось просто неловко.

— От штукенсия так штукенсия! — изумлялся он. — Скильки людей красывых ходыть по билу свиту, а мы и не бачимо... Та и на себе не дуже часто дывымось...

Как-то незаметно для себя Петро стал более строго относиться к своему внешнему виду, не позволяя себе появиться на людях небритым, в нечищенных сапогах, не улыбнуться знакомому.

— Мы з вамы, хлопцы, не якись там босяки з вулыци, а красноармейцы. Такое высокое звание понимать и шануваты треба, — говорил он, беседуя с бойцами своего эскадрона. — И не просто красноармейцы, а героичне червоне козацтво. Он так! Идешь улицей, так красывым будь, шоб усе у тебе блыщало, тило грало, а дивчата шоб и очей не могли отвести. Увесь ваш вид героический должон не только говорить, а и спивать, шо саме вы и есть той самый женых, про якого воны мриють и вдень, и вночи, за якым готовые аж на самисенький край свита бигты...

— А можна пытаннячко, товарищ комэск? — хитровато улыбаясь, спрашивает совсем юный Василий Фоменко, прибывший с последним пополнением. Петро чувствует, что этот симпатичный его земляк готовит ему какую-то шпильку и, кажется, знает какую именно, но не сердится и не обижается на него.

— Ну, кажи, хлопче! — подбадривающе мигает он ему. — Давай свое пытаннячко.

— А вы жонати, товарищу комэск?

— Кхм! — кашляет в кулак Петро. — Пока шо холостяк. Так сказать, не довелось.

— Девушку красивую не встретили? — подает голос весельчак Борис Матвеев.

— Э-э-э, голубе! — качает головой Петро. — Красивых девчат багато. Токо не до каждой из них нас доля приводит. Моя, видать, усе еще в дорози. А може, и на дорогу тую не выйшла. Того и фамилия моя такая — Задорожний.

Он любил эти беседы на вольные темы со своими красноармейцами, к которым относился, как к своим младшим братьям, стараясь помочь в нелегкой пограничной службе, искренне радуясь их успехам и переживая за каждую неудачу. Эскадрон был его домом, его семьей, где он проводил большую часть своего времени, задерживаясь подолгу вечерами, а нередко и ночуя в казарме. Здесь у Петра была крохотная комнатенка, в которой стояли кровать, тумбочка, стул, а на стене красовалось купленное по случаю на базаре зеркало.

«Старию! — хмурился он, тщательно скобля бритвой щеки. — Аби не билявым був, мабуть, уже и волосся сыве повылазило. Э-э-эх, Катю, Катю! Де ты ходыш, де ты бродиш, моя доля, горобчику мий малесенький?»

В тот вечер Петро, задержавшись в эскадроне, решил заночевать в казарме. Снял гимнастерку и, потянувшись до хруста в суставах, решил было приниматься за сапоги. Но ему помешал дежурный Матвеев, неожиданно громко постучавший в дверь.

— Тревога, товарищ комэск! — приглушенным шепотом сообщил он. — Бандиты Тарасовку жгут.

— Поднимай эскадрон! — скомандовал Петро, чувствуя, как с него, словно ветром, сдуло усталость. Гудевшие только что ноги вновь обрели упругость. Движения были быстры и четки. Застегнув последнюю пуговицу, Петро перехватил талию ремнем и пружинящей походкой направился к конюшне, куда уже спешили бойцы его эскадрона.

...Банда невесть откуда взявшегося батьки Свиста, самая крупная за последние два года, проломав польско-советский кордон, двигалась от села к селу, освещая свой путь зловещим заревом пожаров. Посланный в погоню за бандитами Каменец-Подольский кавалерийский отряд настиг их в двухстах километрах от места перехода границы и, казалось, теперь лихому атаману настал конец. Но предусмотревший такое развитие событий Свист заранее подготовил выход. Разделив соратников надвое, он большей части приказал мчать во весь дух, уводя за собой преследователей, а сам с полусотней отчаюг юркнул в лесную чащу. Там, в затерявшемся хуторе Оверко Саввич дал отдохнуть коням и выбирал удобный момент, чтобы благополучно улизнуть за кордон.

— Трошки ще почекаем, пан поручик, — досадливо отмахнулся он от торопившего его возвращаться офицера дефензивы. — Може, все ж таки хлопцы вырвутся. Тада вже разом и двинем. И он таки дождался своих хлопцев. Но не всех: лишь третьей части их удалось избежать свинцового ливня, который обрушился на непрошенных гостей.

— Оце так почастувалы! — сокрушался Оверко Саввич. — Ну ничого, ничего. Мы тож свое виддамо.

Перед уходом за кордон он решил разгромить коммуну, которая завершила сельскохозяйственные работы в селе Тарасовка и теперь готовилась отметить это событие.

— Буде вам святечко, коммуняки! Потанцюете и поспиваете.

Они ворвались в село, когда праздник был в самом разгаре. Застрелив выскочившего навстречу им милиционера, окружили клуб.

— Шоб и одна живая душа не выскочила! — скрипнул зубами Оверко Саввич.

Он мстил. Мстил проклятым коммунистам, которые затеяли революцию, нарушившую его мирную жизнь, мстил советской власти, которая напрочь вычеркнула его из числа уважаемых людей, разлучила с единственным дорогим и близким ему человеком — сыном Никитой. И ничего, что он был так далеко от своей Андреевки, от родного порога, что рядом не было тех, кто причинил ему зло. Здесь, на этом селе, которое случайно оказалось на пути таких же, как и он сам, выброшенных из привычной жизненной колеи лихих хлопцев, сегодня сконцентрировалась ненависть ко всем их врагам. Она должна была выплеснуться наружу, и уже никакая сила не могла помешать этому.

— Дай, дай сюда! — крикнул Оверко Саввич, вырывая из рук своего адъютанта зажженный факел. Подойдя к подпертой колья-

ми двери клуба, он ткнул факелом в крытую соломой крышу. Раз, потом еще раз. Влажная от недавно прошедшего дождя солома не хотела загораться.

— Ах, мать твою! — выругался Оверко Саввич. — А ну хлюпнить цеберку керосину.

Услужливые хлопцы принесли откуда-то ведра, окатив крышу и дверь жидкостью. Лизнув свою жертву, огонь накинулся на солому и дерево, как изголодавшийся зверь. Опустевшее село огласилось стоном запертых в клубе людей. А в это время на околице села уже показался эскадрон Задорожнего.

— Тикаймо, хлопцы! — рявкнул Свист, прыгая в седло. — За мной!

Подскакав к клубу, Петро спрыгнул на землю и бросился к пылающей двери. Тут и сразила его пуля, угодив в голову. Он не видел, как бойцы его эскадрона вместе с подоспевшим отрядом Бориса Мащенко, окружив банду, почти полностью уничтожили ее, как гнались за атаманом Свистом, который с двумя своими дружками все же успел уйти за кордон, как бережно, боясь потревожить на неровной дороге, везли своего комэска бойцы, как боролись за его жизнь вызванные в отряд доктора. Многого не видел и не знал Петро. Будто кто-то, швырнув его тогда на землю, выхватил у него жизнь. Он исчез, куда-то пропал. Пропал сам для себя и пропало все вокруг — и деревья, и цветы, и люди, которые совсем недавно окружали и радовали его.

Потом... потом он, как будто бы появлялся снова, выплывая из каких-то неведомых глубин то ли воды, то ли густого-густого тумана. Появлялся на какое-то время и снова исчезал, растворяясь в чем-то противном и липком. Это повторялось с ним снова и снова, но Петро уже не боялся всех этих чудесий, которые творили с ним такие фокусы, оставаясь совершенно равнодушным к происходящему. Будто все это творилось не с ним самим, а с кем-то другим, совершенно ему неизвестным, а он наблюдал за ним откуда-то со стороны, никак не реагируя, с совсем не свойственными его натуре безразличием и скукой. Происходило это действо почему-то при полной тишине. Так, по крайней мере, ему казалось. Потом он выплыл окончательно и больше уже не исчезал. Только вот темень была вокруг. Непроглядная темень. Она не исчезла и тогда, когда до Петра постепенно стали доноситься различные звуки. Вроде бы знакомые, очень знакомые, не раз слышанные им, но забытые, которые он никак не мог себе объяснить. То что-то легкое, как порыв ласкового степного ветерка, пронесется мимо, обдав разгоряченное лицо бодрящей прохладой, то что-то зашелестит, захлопает, как заневестившаяся вишня, что надела свой красивый белый наряд. Зашелестит торопливо и робко и вновь затихнет.

— Ач, яка полохлыва красуня! — усмехается Петро. — Весни, весни радуеться...

Весна... Как же так? Почему весна? Откуда? Ведь тогда, когда они скакали в село, была осень. Да, да! Именно осень. А теперь вдруг весна... без зимы? Но такого не бывает. Не может быть. Но тогда что же это? Силясь вспомнить, Петро чувствует, как у него начинает болеть голова, на лбу проступает пот, а губы становятся сухими и горячими. Он чувствует, как они полыхают, как жгущий их огонь захватывает все большую часть рта, проникает в горло. Петро силится что-то крикнуть, позвать кого-нибудь на помощь, но у него ничего не получается.

— Что? Что тебе миленький? — откуда-то издалека доносится до него.

Показалось? Нет. Он в самом деле слышал чей-то голос. Вот только чей? Что-то прохладное касается его губ, и сжигающей их огонь куда-то исчезает. Дышать становится легче.

— Де я? — шепчет Петро.

— Миленький! — обрадованно вздыхает кто-то рядом. — Ожил! Доктор, доктор! Ожил, ожил он.

— Де я? — настойчиво повторяет Петро.

— Да у нас, в госпитале, миленький. Где же еще тебе быть.

— В гос-пи-та-ли? Чого? — хмурится Петро и пытается пошевелиться.

— Ой, молчи! — всполошилась находящаяся с ним рядом женщина. Да, именно женщина. Петро теперь твердо знает, что это она.

— Хто вы?

— Я — сестричка.

— А чого... чого я ничего не бачу?

— Ты ранен, миленький. Но молчи. Тебе нельзя говорить. Пока нельзя...

Ладно. Теперь он хоть знает, где он. Раз такое дело, раз от него требует эта женщина, он будет молчать. Вот так. Будет спать. Сколько же он недоспал за свою жизнь?! Ему все время было некогда поспать: сначала нужно было раненько выгнать скотину, а вечером погулять с хлопцами (какой же дурень заснет, когда хлопцы по улицам гасают, его казаки!), потом спешил в шахту, звавшую своим пронзительным гудком чумазую братию, носился, как бешеный, по степи, за кем-то гоняясь или от кого-то убегая. Не до сна было и на кордоне. Теперь же вот появилась такая возможность, и он ее не упустит. Сейчас закроет глаза и пусть, что бы там ни происходило, а он уснет. Закроет глаза... Зачем? Что из этого? Ведь от того — открыты они или закрыты — ничего не меняется: как была темнота, так и остается. Почему так? Что с ним?

«Треба спытать!» — думает Петро, но что-то останавливает, сдерживает его. Он хочет задать вопрос той, которая назвала себя таким хорошим и ласковым словом — «сестричка». Хочет и не решается.

«Хай трошки передохну, а тада вже и поспытаю, — пытается он объяснить самому себе свою нерешительность. — Сестричка ж казала, щоб я мовчав. Треба слухать. Треба...»

Он затихает, стараясь гнать от себя вопросы, которые нескончаемой чередою выстроились у него в голове, терзая и разрывая в клочья вновь воспаляющийся мозг, раздувая едва успевший потухнуть огонь, который так иссушает, так мучает его.

Память, словно преодолевающая бурную реку утлая лодченка, медленно, с трудом подводит Петра к тому самому месту, на котором оборвалась его связь с миром. Не нынешним, непонятным и пугающим своей чернотой, а тем, близким и привычным, в котором он чувствовал себя своим, уверенным в себе, сильным, который он мог не только слышать, ощутить, прикоснувшись, но и увидеть. Он с нетерпением измученного жаждой стремился поскорее снять бинты, сжимавшие его голову, убрать повязку, закрывающую глаза.

— Ну, шо, товарищ доктор, мабуть, уже пора? — в который раз спрашивал он во время обхода.

— Рановато, — покашливая, отзывался тот. — Пока рановато.

— Та вы ж казали! — нервно сжимая кулаки, вздыхал Петро. — Казали ж...

— Ну, что же, дорогой. Предполагал, что дело у нас быстрое, а оно выходит не так, как хотелось бы. Придется еще потерпеть.

— Та я ж и так уже... И так терплю...

Наконец, Петро дождался того дня, когда с его глаз должны были убрать повязку. Только теперь уже он испытывал не то жгущее его нетерпение, как раньше, а тревогу. Да, именно тревогу. Иначе это чувство не назовешь. Дело в том, что за неделю до того, как приступить к снятию повязки, доктор затеял с ним довольно странный, как тогда показалось Петру, разговор.

— Вот вы все спешите, товарищ Задорожний. Все торопитесь, — медленно, растягивая слова, выжимал он из себя. — Все торопитесь. А куда, спрашивается? Зачем? Ведь поспешишь, и беды можно наделать. С такой раной не то что глаз, а и жизни, жизни, слышите, можно было лишиться.

— Як, тоисть, глаз? — охрипшим от волнения голосом спросил Петро. — Шось мене, дорогой товарищ доктор, ваши слова непонятные...

— Ну, я не о вас конкретно,.. не о данном случае говорю, — начал оправдываться доктор.

— А я хочу, шоб про мене! Чуете? Шоб про мене вы сказали усю правду-матеньку...

— Да вы не волнуйтесь, товарищ Задорожний! — успокаивал Петра доктор. — Не волнуйтесь. Будем надеяться, что у вас все обойдется.

— Вы мени скажить... чесно скажить: буду я бачиты? Буду чи ни?

— Думаю, что будете. Только нужно набраться терпения. Процесс лечения предстоит еще долгий. Вы человек мужественный, и я в вас верю.

Разговор на эту тему возникал еще не один раз, волнуя Петра, заставляя нервничать. Правда, мысленно готовя себя к самому худшему исходу, он пытался все же не впадать в отчаяние.

«Выходыть, не буду бачить, — рассуждал Петро, мучаясь бессонницей — Так! Слипый козарлюга. Слипый... Никому не нужный... А революции? Я ж для неи, за неи бывся з тымы гадамы... Вона ж должна. Должна... Никому вона и ничего не должна. Он скильки хлопцив жизни свои отдалы, чуешь, а я тильки очи. Ничего! Раз мы царя, буржуив скынулы, то тепер дило пиде. Навчимося все ликувать, мертвых оживляты. А шо ж? Казки ж такие есть, де мертвых пиднимають живою водою. Раз у казци про це йдеться, мусыть буты и в житти. Ну, да! А зробыты очи здоровымы, змусыты знову бачиты, то, по-моему, не так уже и важко. Зроблять якусь-то операцию, пидключать электрику, и — усе в порядку. Хиба у нас таких докторив немае? Есть. Ось тут, у Одесси, кажуть, профессор Филатов такое выробляе, шо будь здоров: чие хочешь тоби око поставыть и дывысь. Хм! Чие хочишь... А чие б то хотилось? Визьме и ненароком впхне мени око якоись собаки чи свыни. Скажуть люды, шо Задорожний в Сирка очи позычив. Та и не то шо позычив, а забрав, назовсим забрав. А бодай тоби! Отакое наверзеться, накрутыть, шо и у голос сказаты соромно...»

Где-то в глубине души Петро еще таил слабую надежду на то, что все может обойтись и, когда снимут повязку с его глаз, он снова станет видеть. Он пытался даже представить, как все это произойдет, что он увидит первым, но тут же, боясь спугнуть возможное счастье, гнал от себя прочь лезущие в голову мысли.

«Тольки дурень думкой богатие, — рассуждал, готовя себя к худшему. — Такое ранение получить и выйти сухим з воды! Це ж токо у казочках бувает або насниться може. Нашо ж розпускать слюни?»

Так и вышло на самом деле. Уже была снята повязка, а он все сидел, не решаясь открыть глаза. Потом все же отважился. Слегка приоткрыл один, потом второй, страстно желая и в то же время страшась напора света. Но тот так и не появился. Даже слабенький лучик не мелькнул, как Петро ни старался увидеть. Сплошная чернота окружала его.

— Ну, что же... Ничего страшного, — стараясь поддержать своего пациента, заговорил доктор. — Ничего страшного, товарищ Задорожний. Обратимся в институт профессора Филатова. Там знаете какие кудесники? А если сам Владимир Петрович за дело возьмется, тогда и сомневаться в успехе не стоит. Завтра же,.. завтра и начнем с ним переговоры...

Кто его знает, как проходили эти самые переговоры, но только ждать своей встречи с одесскими кудесниками Петру пришлось довольно долго. Медицинский персонал и в особенности сестричка Людмила были с ним ласковы и внимательны.

— Вам опять письмо, товарищ Задорожний, — щебетала Людмила... — От сестрички. Прочитать?

— Не треба, — хмурился Петро.

Он считал, что в их отношения с сестрой больше никто не должен включаться. Да и что он может сказать Марийке? Что стал слепым и беспомощным, а значит, нуждается в посторонней помощи. В ее, то есть, помощи, своей сестры. Выходит, она, его Марийка, которая и так столько пережила, так настрадалась, теперь должна взвалить на себя и его беду. Нет! Такого он допустить не мог. Он сам, сам должен с нею совладать. Сам выберется из этого несчастья, в которое попал. А если нет? Ну что же, тогда,.. тогда придется ставить точку и уходить из жизни. У него хватит, слава богу, для этого и сил, и воли. Пока хватит.

— Может быть, все же пригласим сюда вашу сестричку? А? — подлаживалась Людмила. — Пусть приедет, проведает вас, погостит немного. И вам, и ей легче будет...

— Не! Не треба, кажу.

— Но почему?! Почему?!

— А то вже, выбачаюсь, мое дило...

Постепенно осваиваясь со своей слепотой, Петро стал выбираться из госпитального корпуса. Устроившись на скамейке в укромном месте, куда провожала его Людмила или кто-нибудь из больных, с замиранием сердца слушал, как где-то внизу шумит море. Он ни разу его не видел. Но раз назвали его Черным морем, значит не зря. Видно, были тому причины. То, однажды увиденное Петром Азовское море, которое помнилось ему по Бердянску, было голубым и спокойным, как матусин голос. А это, должно быть, совсем другое.

«Ач, как злобствует! — думал Петро. — Чисто тебе теща Юхимова, када сердится. Оно ж, это самое море, шо человек. Свою жисть имеет, по-своему смеется и плачет. Заблыщало сонечко, и оно довольное смеется. А плачет чего? Мабуть, тож обижают. Токо хто его может обидеть? Эге! Видать, есть такие. Э-э-э-х! Была б тут Катюша, она б усе объяснила...»

Вспомнив Катю, Петро грустно усмехается, но тут же испуганно гонит запретные мысли прочь. Он — калека и не хочет, чтобы она знала об этом. Зачем? Чтобы жалеть его? Чтобы плакать над его бедою, в которой помочь не в силах? Нет! Такого он не хочет и не допустит. Пусть лучше Катя думает, что он ее забыл или что пропал где-нибудь. А что? Разве так не бывает? Ого! Еще как бывает: был себе человек, и вдруг его не стало.

— Трясця взяла... — шепчет Петро, облизывая губы, ощущая их соленоватый привкус, и вдруг настораживается. Кто-то смотрит на него. Совсем рядом. Стоит и смотрит. Он чувствует на себе его взгляд.

— Хто тут? — спрашивает Петро, но неизвестный молчит. Смотрит и смотрит себе молча.

— Хто ты? — недовольно повторяет он.

Неизвестный делает несколько шагов к нему. По тому, как он тяжело ступает, Петро чувствует, что это не Людмила и не женщина, а мужчина и, наверняка, крупный.

— Ну, чого мовчишь?

— Задорожний? — глухо роняет тот. — Петро?

— Ну, Петро! Ну, Задорожний! — вслушиваясь в голос подошедшего, отозвался Петро. Он явно где-то слышал его. Только где?

— Здорово, земляче! — коснувшись его плеча, незнакомец грузно опускается на скамейку, которая жалобно поскрипывает под тяжестью тела. — От и знов стренулись...

Теперь Петро узнает и голос, и самого подошедшего. Конечно, это он!

— Лева?!

— Я! Я, друже.

— Чего ты тут? Як мене знайшов?

— Случайно увидел. Иду себе и вижу сидит вроди знакомый хлопец. Смотрю и думаю: он чи не он.

— А сам чего тут? — пытаясь убедиться, что перед ним действительно Лева Зиньковский, протягивает руку Петро.

— Ой! Ты же не так резко, хлопче!

— Шо з тобой? Раненый?

— Было дело! — хмыкает Лева. — Трошки шкрябнуло руку.

— Сильно?

— Та не! Скоро заживет, как на собаке.

— Де ж это тебя?

— А тебя?

— Ваш батька Свист... Его работа... Его память...

— Па-нят-но! Только он, тот самый Свист, такой же мой, как и твой.

— Ну да?

— Ага.

— Хто ж ты теперь?

— Оперативный уполномоченный ГПУ, — приглушенным голосом торжественно произносит Лева.

— Отето да! — изумляется Петро и уже замахивается, чтобы хлопнуть Леву по плечу, но вовремя вспоминает о его ране и опускает руку. — Значит, поверили тебе?

— Поверили! Вам спасибо с Алешей. И, главное, Медведев меня поддержал.

— Добре! Радый за тебя. Токо как же ты под пулю попал? Какая ж то падлюка, на тебя, здоровилу, наскочила?

— Э-э-э! Для этого много не надо, а тем более — здесь. Одесса, она и есть Одесса. Как-нибудь расскажу тебе. Здесь таких чудес насмотришься,.. — Лева бросил взгляд на Петра и, заметив пробежавшую по его лицу тень, тут же попытался исправиться:

— Таких чудес наслушаешься, понимаешь, шо токо держись. И тебе, хлопче, чудо зроблят. Такие глаза поставят, шо и не снились. Не веришь?

— Та хто его знает?

— Не! Вы послухайте его! Хто его знает! — возмущается Лева. — Это я тебе кажу. Слыхал? А Левка брехать не будет. Я ж и з доктором уже говорил.

— Ну?

— Вот тебе и ну! Оперировать тебя будут. Понял? Токо ты, брат, не дрефь.

— А ну тебе!

— Да, да! Я же сам знаю, шо оно не дуже приятно, када хтось другой железом у твоем теле ковыряется. Но раз треба, значит, треба. Раз шурупает тот профессор, так разреши ему. А чудо будет. Будет! Я тебе говорю...

В ту их встречу разговор велся вокруг ранения Петра, предстоящей ему операции у одесской знаменитости, профессора Филатова. Петро не решился спросить Леву о том, как сложилась его личная жизнь. А тот сам не стал делиться своими новостями, хотя рассказать ему было о чем. Ого! Такие перемены произошли у него, что даже не верится. Порой казалось, что все происходило с ним не наяву, а во сне. Да, именно только в чудесном сне он мог услышать такое:

— Ну, что же, товарищ Зиньковский, будем считать ваше задание выполненным. Поздравляю!

— Служу трудовому народу! — отвечает он, поднимаясь со стула и настороженно глядя на начальника республиканского управления ГПУ. Кто его знает, на самом деле поздравляют или так, ваньку валяют, издеваются над ним, как это не раз делал Кравчевский, да и не только он. Э, кто бы мог подумать, что эти пять месяцев, которые Лева находился под следствием, окажутся такими трудными. Ведь был среди своих, говорил правду, а ему не верили. Конечно, эту самую правду он не всю выкладывал, не целиком. Зачем кому-то знать о сомнениях, о душевных муках, которые он, Лева, испытывал, находясь у батьки Махно? Да, бывали случаи, когда не соглашался он с оценками, которые давались его далекими чекистскими начальниками, когда не спешил выполнять приказы, которые поступали от них. Но он же не бездумная машина, не какой-нибудь паровоз или автомобиль, которые прут вперед без удержу, стоит лишь повернуть рычаг. Он — человек. И на плечах у него не паровозная труба, которая только дым выпускает, а голова. А эта самая штукенция, голова то есть, думать должна, соображать, что хорошо, а что плохо, что принесет пользу революции, трудовому люду, а что во вред ему будет. Почему это нужно считать, будто там, далеко, все правильно видят и понимают, а он, находясь в гуще событий, ни хрена не смыслит в них и должен только курок маузера нажимать или гранаты швырять? Почему? Не-е-ет! Там, если, конечно, они люди при мозгах и при памяти, должны бы понимать, что перед тем, как выполнить их приказ и нажать этот самый курок, он должен будет подумать. Крепко по-

думать! А как же иначе? Ведь это тебе не грамматические ошибки делать, которые не раз исправляла в его письмах, подшучивая над ним, Вера. Такие ошибки уже не исправить. Те несчастные граммы свинца, которые вырвутся из ствола маузера, навсегда оборвут жизнь. Не твою, а чужую. Говорят, судьба — индейка, а жизнь — копейка. Это еще как посмотреть. Кто оценивать будет. Вот какая штукенция. Почему-то чаще всего в копейку оценивают именно чужую, а не свою жизнь. А по какому праву, позвольте узнать? Ты ж понимаешь, какая щедрость! Берите, не жалко. Кроме этой, еще много есть. Ну а все-таки, может, не так быстро стоит решать? Может быть, та жизнь, на которую ты поднимаешь свою лапу, во много раз дороже и нужнее людям, чем твоя и тех, кто тебе приказывает. Паскудная крыса и та, прежде чем что-то свое сотворить, если не подумает, то наверняка оглядится: где я и что делаю. А мы же люди! Тогда почему же поступаем часто хуже крыс? И почему человека, когда мучается он, решая свои дела человеческие или обходя их стороной, понять не можем? Хотя не все и не всегда. Ведь понимала же его, Леву, Катя, когда были они у батьки. Понимала. Не всегда говорила ему об этом, но он видел, что понимала. Потому и дела их вершились дружно.

— Это ж надо! — усмехается про себя Лева. — Столько времени пробыть с девушкой и остаться чистым, как ангел небесный.

Он вспомнил, как в Харькове устроили ему очную ставку с Катей.

— Подтверждаю, что здесь, на встрече со мной присутствует Лев Зиньковский, — глядя ему в глаза, четко произносила она. — Подтверждаю и со всей ответственностью заявляю, что товарищ Зиньковский, находясь в армии Нестора Махно, ничем не запятнал чести революционера, борца за дело трудового народа. В его честности и абсолютной преданности делу революции уверена полностью...

А Медведев с Алешкой Булычевым? Они ведь тоже поняли, что не гад он, не враг. Может, были у них сомнения... Да что там «может»! Наверняка были. Как же! Сорвалась операция за кордоном из-за какого-то колеса. Батька ушел от смерти. В который раз ушел! Ну, не чудесия? А вот поверили. И правильно сделали. Он же, Лева, не сбрехал им? Нет. Какие мысли вертелись тогда в его голове и что бы случилось, прибудь они к назначенному часу, это уже другое дело. Это его и с ним останется навсегда.

«Не, я не брехун, — подумал он про себя. — Всегда правду кажу... Только не всю чисто. А нашо она вся? Всю отдаш, а сам с чем останешься? Ото ж то и оно».

Разве не так? Ну, сказал бы он Петру, что здесь, в Одессе сейчас живет Катя. Как бы тот повел себя? Еще какую-нибудь дурь выкинул бы.

«Он же, чертяка белобрысый, до невозможности гордый. Какое завихрение у его голове сотворится от такого известия? Радый он ему будет чи еще больше обозлится. Подумает, на хрена я

ей нужен слепой. Лучше сам решу себя жизни, шоб других не мучить. Нет! Тут надо все добре обкумекать. С Веруськой посоветоваться, а потом... потом уже и с Катей можно говорить. Да! Теперь он счастлив. До невозможности счастлив: у него есть Веруська. А ведь все Катя! Это она сообщила Вере о том, где он. Вместе они и встретили его на вокзале в Одессе, куда направило его столичное начальство для дальнейшего прохождения службы. Помнится, тогда они затащили его к себе на квартиру».

— Оставишь вещи у нас, пока определишься с работой и жильем, — щебетала Катя. — Ты же не будешь повсюду со своим мешком ходить.

Он согласился. Вечером долго сидели. Пили молдавское вино и разговаривали, пока пристроившаяся у него на коленях Верина дочурка Аллочка не уснула.

— Ну, милые женщины, и мне пора, — вздохнув, засобирался Лева.

— Еще чего! — вскинулась Катя. — Никуда мы тебя не пустим. Не хватало еще в первую же ночь на шальную бандитскую пулю напороться. Оставайся у нас. В соседней комнате тебе уже на диване постелено.

Он не очень и возражал. С тех пор так и остался на той квартире. Было такое чувство, будто с Верой они никогда не разлучались. У него, наконец, был свой дом, своя семья, в которой его по-настоящему любили и ждали, о которой он постоянно помнил. И от всего этого Лева чувствовал себя необыкновенно богатым и сильным. Он с готовностью брался за любое дело, испытывая в душе чувство огромной радости, которая играла в нем молодым вином, наполняя тело легкостью и силой, способной, казалось, сокрушить любую гору, совершить невозможное. Он будто впервые увидел тот мир, который окружал его. Изумившись своим открытием, Лева вдруг неожиданно для себя обнаружил, что совершенно не знает жизни.

— Ты знаешь, Веруся, — как-то признался он. — У меня такое чувство, будто я долго-долго сидел в какой-то темной пещере. И вот теперь, выйдя из нее, просто слепну от света. Я... я, кажется, боюсь его.

— Это пройдет, милый, — гладя его волосы, прошептала Вера. — Обязательно пройдет. Я помогу разобраться во всем. А не смогу сама, обратимся к друзьям.

— Друзьям? Каким друзьям?

— Вон к этим, — кивнула Вера в сторону шкафа, в котором ровными рядами, будто солдаты в строю, выстроились книги.

— Милая моя учительница! — прижал ее к себе Лева. — Я готов за тобою идти куда угодно. Хоть на край света.

— Зачем так далеко? Нам и здесь будет хорошо. Только береги себя. Ведь нас... нас скоро будет четверо...

— Что?! Что ты сказала?!

— У нас будет маленький...

— Веруська!

Он подхватил ее на руки и закружил по комнате.

— Уррра! — радовался он. — Да здравствует Веруська!

— Вы чего кричите? — испуганно моргая глазенками, спросила, появившись из соседней комнаты, Аллочка.

— Мы не кричим, — опуская жену на пол, смутился Лева.

— А что вы делаете?

— Мы? Радуемся.

— Почему?

— Почему? Ну, потому, что... Потому что мы с мамой поступаем в пионеры. Вот.

— Нет, — покачала головой Аллочка — Вас не примут.

— Это ж почему?!

— А вы большие. А больших не принимают.

— Но мы попросимся. Очень попросимся. Скажем волшебное слово...

— Ладно! — Беря девочку на руки, прервала разговор Катя. — Хватит ребенку голову морочить. Тоже мне юная смена нашлась...

Через месяц Катя заявила, что покидает их.

— Это почему? — всполошилась Вера. — Да что у нас места мало?

— Левка мне изменил. Убежал к другой, — шутливо надула губки Катя.

Все рассмеялись.

— Нет, Катюш, а в чем дело серьезно? — допытывалась Вера.

— А в том, что мне руководство выделило отдельную квартиру. Вот! Теперь завидуйте мне, черти. Найду себе принца и пойду замуж.

— Ой, тетечка Катя, не спеши! — по-взрослому серьезно покачала головой Аллочка.

— Это почему же?

— Может, он нехороший... бармалеистый...

— Ах ты ж, моя подруженька! Моя красавица! Нет, за плохого не пойду...

Теперь Катя хотя и живет на той же, что и Зиньковские, улице, но встречаются они реже.

— Столько работы у нас, Верочка, что в гору глянуть некогда, — оправдывается перед подругой.

Так то оно так. Только знает Лева и другую причину, почему избегает Катюша частых посещений их дома. Да и кому непонятно то. Грустит человек, печалится, потому что года идут, а жизнь все никак не устроится. Ох, как злился он, Лева, на Петра Задорожнего, какими только словами не ругал его за бессердечность и черствость души. Даже письмо собирался ему написать. Но Вера отсоветовала.

— Такие вещи решают только двое. Третий человек только навредить может.

— Да что он себе думает, лопух белобрысый? — кипятился Лева. — Куда смотрит? Где он лучше Катюши девушку найдет? И красивая, и скромная, и умница...

— Ты посмотри, какой купец! — смеялась Вера. — Сам-то, сам-то куда раньше смотрел?

— У меня, Вера, свое солнышко было. Оно меня согревало...

Теперь вот стала наконец известна причина столь долгого молчания Петра. Только от этого легче не стало.

— Как Катюше про это сказать? — ломал голову Лева. — Что посоветуешь, Вера?

— Не знаю, — плача, отвечала жена. — Ничего не могу придумать, Левушка. А только и не сказать правды мы тоже не имеем права.

Думали-гадали, наконец, решились открыться Кате.

— Садись сюда, Катюш, — устраиваясь на диване, прижала к себе подругу Вера.

— Чего это ты ластишься ко мне, милая? Случилось что-нибудь? Ну, говорите.

— Видишь какое дело, Катя,.. — начал мямлить Лева, чувствуя, как тяжело ворочается во рту язык. Будто не свой он, чужой и тесно ему там.

— Не тяни, — скомандовала Катя. — С Петром что-то?

— С ним...

— Убили?

— Нет. Ранен.

Катя облегченно вздохнула, бессильно откинувшись на спинку дивана.

— Сильно ранен... Но ты не волнуйся... не волнуйся, Катюша...

Она молча выслушала несвязный сбивчивый рассказ Левы, нервно накручивая на палец огненно рыжий локон. Некоторое время неподвижно сидела. Будто окаменела от горя. Потом медленно поднялась и, слегка повернув голову, бросила через плечо:

— Едем!

— Куда, Катюша?! — всполошилась Вера. — Скоро ночь...

— Едем! Сейчас же.

— Так не пустят же... Не пустят в больницу...

— Пустят. Едем...

Добравшись пешком до железнодорожного вокзала, наняли пролетку. Извозчик попался веселый и по дороге балагурил. Рассказывал смешные одесские истории и заливисто смеялся. Потом, видно поняв, что его ездокам не до смеху, замолчал. К госпиталю подъехали уже в полной темноте.

— Рассчитаемся? — спросил извозчик. — Или, може, ждать прикажите?

— Подожди, шофер, — протягивая ему задаток, тихо попросил Лева. — Постой тут со своим автомобилем.

— Х-х-е! И долго?

— Не знаю. Потерпи. Я тебя не обижу.

— Лады.

Долго стучали, пока, наконец, не появилась дежурная медсестра.

— Долго гуляете, больной! — проворчала, пропуская мимо себя Леву.

— Дела, сестричка, дела, — изо всех сил стараясь подладиться к строгому стражу порядка, расплылся он в улыбке. — Начальство у нас, знаешь, какое строгое? У-у-у! Иди, говорит, товарищ Зиньковский, и любыми путями доставь сей же час гражданку Шмидт, ее то есть, в госпиталь.

— Как? — ахнула сестра, едва не уронив очки, которые чудом держались на самом кончике ее острого птичьего носика. — Не пущу!

— Дела же, говорю, дела, — тесня ее от двери, убеждал Лева.

— Только через дежурного врача!

— Зовите! — неожиданно решительно вмешалась молчавшая до сих пор Катя. — Немедленно зовите дежурного врача. Мы вас здесь подождем.

— Нет! — стояла на своем сестра. — Пусть вот они идут к нему, а мы с вами здесь пока будем. Порядок есть порядок.

— Ну хорошо, хорошо! Не треба токо шуметь. Я пошел. Ждите.

Тяжело, переваливаясь с боку на бок, Лева направился по коридору к кабинету дежурного врача. Ему повезло: в ту ночь как раз дежурил лечащий доктор Петра. Он сразу понял, что мог значить для его пациента этот поздний визит и, к радости Левы, быстро согласился.

— Пойдемте, пойдемте, товарищ Зиньковский... Так, кажется, ваша фамилия?

— Именно так, доктор. Я примного вам благодарный...

— Не стоит, не стоит, — отмахнулся доктор, семеня по-стариковски рядом с Левой.

Подойдя к дежурной сестре, он взял ее под локоток и распорядился:

— Пропустите товарища, Настасья Васильевна.

— Так ведь,.. — растерянно заморгала сестра.

— Пропустите, пропустите. Под мою ответственность.

Катя не помнит, как они шли госпитальным коридором, куда-то несколько раз поворачивая. Не слышала, что говорили ей доктор и Лева. Все, их шаги, другие звуки заглушало ее гулко стучавшее сердце. Казалось, вот-вот оно выскочит из груди и само полетит, помчится туда, в палату, где лежит он, ее Петрусь.

— Бож-же мой! Божж-е мой! — думала Катя. — Как же я могла не почувствовать, что с ним беда? Он здесь, а я... я...

— Подождите, гражданочка, — остановившись перед дверью палаты, прошептал доктор. — Сначала я войду...

— Нет, доктор! — встрепенулась Катя. — Я сама... сама.

— Ну, что же... может быть... Гм-гм... Может быть, — покачал головой старик, провожая взглядом Катю, уже переступившую порог, освещенный светом керосиновой лампы палаты.

Она прошла к окну и остановилась у койки, затаив дыхание. Петро лежал, подложив под голову руки, и как будто спал. Так, по крайней мере, ей показалось вначале, когда она его только увидела. Но вот он пошевелил головой. Потом, освободив правую руку, медленно провел ладонью по глазам. Раз, потом еще раз. Будто старался убрать пелену, мешающую ему видеть.

— Хто? Хто тут? — глухо спросил он.

— Петь.,.. — едва слышно прошептала Катя, опускаясь перед ним на колени.

— Катя?! Катруся?! — всхлипнул Петро, закрывая ладонью глаза. — Темно! Не бачу!

Он застонал, заметался на подушке, а она, прижимая его голову к своей груди, забилась в рыданиях, приговаривая:

— Мой! Родненький мой! Любимый! Никому тебя не отдам! Никому... Слышишь.

— Звидкиля ты? — немного успокоившись, прошептал Петро. — Як мене знайшла?

— Нашла... — несвязно вторила ему Катя. — Мой! Навеки мой...

Доктор тихо прикрыл дверь в палату и, взяв под руку Леву, повел его к выходу, приговаривая:

— Пусть поговорят. Пусть поговорят. Это лучшее лекарство. Да-с!

— Он будет видеть, профессор? — гудел Лева, незаметно смахивая тыльной стороной ладони предательские слезы. — Будет?

— Надеюсь... Очень надеюсь, молодой человек. Очень! Проводив доктора до его кабинета, Лева собрался было идти к себе в палату. Но тут вспомнил, что на улице его ждет извозчик и поспешил к нему.

— Держи, шофер! — протягивая деньги, улыбнулся он. — Спасибо тебе, друг.

— Ого! — изумился извозчик. — Усе мои?

— Твои,твои.

— Так будем трогать? Или ждем?

— Трогай! И выпей за здоровье людей хороших. Добре выпей!

— Сделаем! Будьте себе спокойны. Но-о-о, родимые!

3

Земля медленно приходила в себя, избавляясь от ужаса, в который ввергли ее обезумевшие от взаимной ненависти вчерашние сограждане Российской империи, старательно засевая руинами и смертью. Все еще не верилось, что тяжелые и страшные роды закончились, что наконец наступили тишина и покой, а к колыбели новорожденного социального младенца снизошел Дух созидания. Вначале робко, а потом все настойчивее он стал поворачивать разгулявшуюся человеческую волю с наезженной дороги разрушения на тропу, ведущую к новой жизни, искушая такими перспективами, от которых начинали гулко стучать сердца у самых больших невер. Тогда-то в одном из холодных и слабо освещенных кабинетов московского Кремля шло горячее обсуждение вопроса о строительстве гидроэлектрической станции на Днепре и комплекса заводов-гигантов, которые должны были питать своей энергией это мощное электрическое сердце.

— Думается, что металлургические заводы следует разместить вот здесь, на правом берегу Днепра, — доказывал один из авторов разложенного на длинном столе проекта. — Это обеспечит чистоту воздуха в жилых массивах металлургов и энергетиков. Что же касается подвоза рабочих, то здесь можно широко использовать возможности водного транспорта, плотины и моста, возведенного на месте старого, Кичкасского, который сжег в свое время Махно...

— А почему бы не разместить индустриальный комплекс на острове Хортица? — возразил кто-то из присутствующих. — Ведь, говорят, там еще в старину запорожские козаки железо плавили...

Каждый из выступающих внимательно следил за Сталиным, пытаясь уловить его реакцию, надеясь на поддержку. А тот неторопливо и чинно прохаживался по кабинету, попыхивая трубкой и думая о чем-то своем. О чем? Может быть, ему вспомнился доклад «Об электрификации», который еще в декабре 1920 года делал Глеб Кржижановский на VIII Всероссийском съезде Советов, чеканя врезавшиеся в память слова:

«...Особо важное значение приобретает для всего Южного района и для Донецкого бассейна гидроэлектрическая станция № 3 около Александровска. Сооружением мощной плотины на Днепре у Александровска мы можем достигнуть такого подъема воды, что он перекроет знаменитые Днепровские пороги, а получающийся при этом напор воды даст возможность создать здесь крупнейшую гидроэлектрическую станцию России, мощность которой будет постепенно подниматься с 200 тыс. л. с. до мощности свыше 800 тыс. л. с. С перекрытием порогов Днепр превратится в водную сверхмагистраль, и все движение грузов по Днепру приобретет необходимый плавный характер, тогда как в настоящее время этот грузовой поток у Екатеринослава резко прерывается

вследствие препятствия порогов. Наличие мощной гидроэлектрической станции около Александровска, где в сравнительной близости находятся известные криворожские руды, никопольский марганец, куда с верховьев Днепра будут поступать обильные лесные материалы, а из Донецкого бассейна — уголь, открывает перед нами громадные перспективы. Та же самая плотина даст возможность легкого орошения до 200 тысяч десятин прилегающих черноземных земель, в настоящее время чрезвычайно страдающих от засухи...»

Встав после смерти Ленина у руля государства, Сталин потом не раз возвращался к этому докладу, хорошо понимая значение будущей стройки у небольшого городка на Днепре, который теперь назывался не Александровском, а Запорожьем.

«Хорошее название! — подумал Сталин, приближаясь к столу, когда все выступили и ждали его слова. — Запорожские козаки были смелыми и умели защитить себя от врагов. У нас тоже есть и будут враги, которые рано или поздно захотят испытать нашу силу, напасть на нас. Кто это будет? Откуда следует ждать нападения? С юга? Нет. Турки на этот шаг не пойдут. По крайней мере, в ближайшее десятилетие. С востока также опасаться нечего. Как и с севера. Остается запад. Да, капиталистическая Европа не может смириться с существованием социалистического государства. И не скрывает своей враждебности к нам».

Какое-то время он молча смотрел на исчерченные линиями ватманские листы, на которых изображалась петляющая лента могучей реки с ее коварными и грозными порогами. Слегка щурил глаза, будто стараясь среди условных и, видимо, пока еще мало понятных ему чертежных знаков отыскать так необходимое и ему, и всем единственно правильное решение. Наконец, казавшиеся потухшими, дремлющими глаза его оживились, вспыхнули, засветились веселым блеском. Тронувшая лицо улыбка смахнула поселившуюся на нем тень тревоги и усталости. Сталин слегка коснулся нервно дернувшегося кончика уса, словно пытаясь успокоить его, и негромко произнес:

— Индустриальный комплекс должен быть за водной преградой. На левом берегу. Вот здесь.

Очертив трубкой место на чертеже, он медленно обвел своим острым, как игла, взглядом собравшихся, будто пришивая, привязывая их к своему решению, и довольно усмехнулся.

Все, как завороженные, молчали.

— А ведь .. А что... что вы думаете, товарищи! — первым пришел в себя кто-то из проектантов. — Это же правильно!

— Конечно же, правильно! — заговорили и другие. — Только здесь, товарищи! Здесь! Какие могут быть сомнения!

Оставшись один в кабинете, Сталин долго стоял у окна. Он рад был найденному решению, но в то же время хорошо понимал, что это пока лишь только идея. И прежде, чем она материализует-

ся, станет силой, ей суждено будет основательно потрудиться, прорываясь сквозь традиционные славянские неторопливость, раздражающую медлительность, сладостное ожидание чуда, которое невесть кем и почему-то должно быть подарено, изумляя всех и вся, делая богатыми и счастливыми терпеливо ждущих его мечтательных Иванушек и Аленушек, Емель и Елен.

— Чудеса нужно делать! — усмехнувшись про себя, прошептал Сталин. — Творить своими руками. Тогда... тогда они будут. Обязательно будут!

... В Запорожье давно поговаривали о каком-то невиданном чуде, которое должно будет появиться неподалеку, на месте, где ревут разрывающие в клочья могучий Днепр громады порогов. Ходили слухи, будто там собираются ученые поставить такую штукенцию, которая будет светить ярче тысячи Солнц.

— Ты представляешь, Марийка! — делилась со своей подругой Фрида Эпштейн. — Ярче тысячи Солнц. И главное — никакие ни дождь, ни ветер той гидравлической станции помешать не смогут. Что они ни делают, а она все светит и светит...

В последнее время Фрида очень изменилась. И не только потому, что повзрослела, на глазах превращаясь из девчушки с острыми лопатками в красивую девушку. Отыскалась ее мать, которая несколько лет ничего не знала о судьбе своих детей, а вскоре появился и отец. Теперь они снова живут все вместе. Фрида очень любит свою маму и может о ней говорить часами. А вот об отце говорит совсем мало.

— Ты, мабуть, матусю больше любишь? — как-то спросила Марийка и, заметив тень печали, набежавшую на личико подруги, тут же пожалела. Но было поздно.

— Понимаешь, Марийка, — тяжело, по-взрослому вздохнув, ответила Фрида. — У моей мамочки золотое сердце. Да, да! Именно золотое. Я чувствую, как оно согревает меня своим теплом даже когда мамы рядом нет. Ты не веришь?

— Та чего там...

— Папа наш тоже хороший. Он очень умный и много знает. Я не раз слышала, как люди о нем говорили: «Соломон знает всю «Тору» на зубок и может что угодно объяснить».

— Якую тору?

— «Тора» — это книжка такая. Ну, как у вас «Библия». Ученая книжка еврейского народа. Понимаешь?

— Ага...

— Ну, так вот. Я тоже очень уважаю своего папу, но только... только он интересный немного. И мама, и мы, дети, стараемся работать, чтобы было за что купить хлеба и других продуктов, а папа... папа только весь день сидит дома и читает свою книгу. Говорит, что толкователь «Торы» не должен ничем другим заниматься. Может быть, это и на самом деле так, но мне за маму обидно. Понимаешь?

— Понимаю, — кивает головой Марийка. Ей и в самом деле понятна печаль подруги. Почему-то на память приходит священник их андреевской церкви. Тот тоже только службу правил и книжки читал. Никто его ни разу за работой другой не видел. Потом и вовсе куда-то исчез. Да не сам, а увлек с собою Никитину мать. Бедный Никита так переживал, так тосковал, что просто — страх один. Жалея его, Марийка и сама не раз плакала, ругая про себя коварство отца Василия. Теперь она переживала за Фриду: а ну как ее папа Соломон тоже исчезнуть куда-нибудь надумает. Подумать только! Столько мучились детки без родителей, а тут — на тебе, новая беда может случиться. Ну, разве нельзя, скажите на милость, где-нибудь поработать вначале, добыть детям и себе хлеба насущного, а потом уже и за книжку садиться? Ведь можно же? Можно! Тогда почему же... почему же умный Соломон так не делает? Ой, что-то здесь не так! А как Марийке хочется, чтобы у ее младшей подружки все было хорошо. Она такая добрая, сердечная, красивая и умная. Как начнет что-то рассказывать, прямо заслушаешься ее. Так когда-то слушала своего братца Петруся и... Никиту. Слушала и верила. Каждому словечку верила. Теперь Марийка уже хорошо знает, что не все то правда, о чем говорят люди. Может, и про те самые тысячу солнц кто-то придумал?

— А чи не казочки то? — спросила как-то Фриду. Та сделала большие глаза и, покачав осуждающе головой, пристыдила:

— Выходит, ты Марийка, Советской власти не веришь?

— Тю на тебе! — замахала Марийка руками. — Чи я зовсим дурна? Кому ж мени вирить як не Советской власти!

В феврале 1927 года газеты сообщили о том, что Совет Народных Комиссаров утвердил состав руководства стройкой. Главным инженером, а затем и начальником был назначен Александр Васильевич Винтер, а его заместителями — Борис Веденеев и Павел Роттерт. А буквально через месяц до Запорожья докатились мощные взрывы.

— Ой, мамочка! — всполошилась, выскочив на улицу Марийка. — Чи ж, бува, не война якась знову?

Не на шутку испугалась и Фрида.

— Успокойтесь, девушки, — усмехнулся вышедший на крыльцо зав. фотографией.

— А что это, Юлий Липпович?

— Это начинается стройка. Большая стройка, Фридочка...

Бовин смотрел на Фриду, и глаза его светились радостью то ли оттого, что он ждал эту самую стройку, которая сулила ему нечто такое, о чем Марийка просто не могла догадываться, то ли...

«Ой, шось тут не те! — подумала Марийка. — Невже ж...»

От мелькнувшей догадки ее даже в жар бросило. Еще бы! Когда они поступили на работу к фотографу, Марийка сразу заметила особое отношение Юлия Липповича к Фриде. Заметила и про себя порадовалась за младшую подругу. Яша, сын Бовина, как ей

подумалось, был неплохим парнем и со временем они могли бы стать хорошей парой. Но, как выяснилось, Яшу интересовала совсем другая девушка — Лида Швыдкая, которая работала там же, где и Катюша. И дело, по всей видимости, идет к свадьбе. Марийка, узнав о том, что Яша встречается с другой девушкой, вначале очень переживала из-за подруги. Но на ту потеря жениха как будто никак не подействовала.

— Выходыть то чужа доля, — решила Марийка. Правда, ее беспокоило, что Юлий Липпович, узнав об увлечении сына, потеряет интерес к Фриде. А ведь девочка так потянулась к нему.

«Вин же замисть батька для неи! — думала она. — Свий як чужий, а тут таке дило може буты...»

Однако этого не случилось. Юлий Липпович не только не потерял к Фриде интерес, но стал уделять такое внимание, которого Марийка никак от него не ожидала. Он о чем-то подолгу с ней беседовал, оставаясь наедине, старался пораньше отпустить Марийку с работы.

— Идите, идите, Мария, — пряча смущение, говорил он. — Зачем вам двоим задерживаться? Фрида вполне справится сама. Ведь так?

— Да, да! — торопливо соглашалась та, отводя взгляд.

«Як же так? — недоумевала Марийка. — Выходыть, це Фриди наравыться? Але ж вона ще дытя — 16 год! А йому — сорок один. Майже... Майже старый. Шо ж вона соби думае?!»

Во Фриде она видела младшую сестренку, которая нуждается в защите. И Марийке казалось, что беда с ней ходит рядом. Она злилась на Юлия Липповича, пыталась отыскать в нем черты, которые характеризовали его с худшей стороны. Пыталась и не находила. Да, Бовин был много старше ее, а тем более Фриды. Он немного хромал... Но зато Юлий Липпович был по-настоящему красивым мужчиной, умным и веселым. Как много он знал, успев за свою жизнь побывать во многих странах, о которых Марийка раньше даже не слыхала! А что касается хромоты, так это же от ранения под Житомиром, который отбивала у врагов конная армия Семена Буденного. У Юлия Липповича и шапка такая есть, которая буденновкой называется. Так что... И все же что-то пугало Марийку. На сердце было неспокойно и тревожно. А оно редко ее обманывало. Нужно было что-то делать. Но что? Как уберечь подругу от беды? Марийка не знала. Поговорить с Фридой? Но о чем? Ну, скажет она ей, что Юлий Липпович старый для нее кавалер. Так Фрида и сама имеет глаза, видит, какой он из себя есть. Да разве только глаза говорят человеку о том, кто ему нравится, а тем более о том, кого он любит? Что особенного, скажем, увидели ее, Марийкины глаза в том же Никите? Парубок как парубок. Не лучше многих других в их Андреевке. Правда, и не хуже. Конечно, не хуже! А зачем ей, скажите на милость, плохие? Немного конопатенький. Ну и что? Те самые конопушки чуть-чуть проступали у него на щеках и на носу. И то только весной. А так их почти и не видно.

«Ага! — улыбаясь про себя, думает Марийка. — Трошки-трошки тех крапинок. Мов росиночки... Зато чуб у Микитки! Такого ни в кого нема. А очи? Боже мий, боже мий! Як небо. Дывышься, дывышься в ных и одирватысь не можешь...»

Она тяжело вздыхает. Столько лет прошло, а Никита по-прежнему живет в ее сердце. Так обидел ее ни за что, ни про что, а она все никак не может его забыть. Сколько раз ходила на базар и, прячась за телегами, высматривала его. Так хотелось хоть одним глазком увидеть. Увидеть и убежать. Да, именно убежать. Это Марийка знала наверняка. Потому что... потому что не сделай она этого сразу, не убежи, потом не сможет. Никита, как магнитом, будет притягивать ее, сковывая силы, путая мысли. А увидеть хотелось! Не один раз во сне видела его. Но только во сне...

«Ой! — всполошилась Марийка, отгоняя нахлынувшие на нее мысли. — Шо ж це я дурна замриялась?! Тут дытына от-от у биду попаде, а мени на уми любощи...»

Долго мучилась она сомнениями о том, стоит или не стоит говорить с Фридой. Наконец все же решила, что стоит.

«Треба токо духу набраться... Время подходящее выбрать...»

И вскоре такая возможность, действительно, представилась. Ученый из Днепропетровска, как с недавних пор стал называться Екатеринослав, пригласил Юлия Липповича принять участие в экспедиции по Днепру.

— Сказал Юлий Липпович, — делилась с подругой Фрида, — что они будут спускаться вниз по реке и фотографировать пороги.

— Для чого?

— Так их же потопят!

— Як потоплять?! — недоумевала Марийка. — Хто? Хто зможе потопыты отаки скели?

— Ну... я не знаю, — сдвигала плечиками Фрида. — Юлий Липпович говорил, что скоро этих самых порогов не станет. Кажется, поднимется вода в реке, и они утонут...

— Шось тут не те, — качала головой Марийка — Не те...

Девушки хотели обратиться за разъяснением к Яше. Но тот, оставшись за старшего в фотографии, слишком заважничал.

— Та ты ж, бач, какой! — возмущалась Марийка. — Чистый тебе пан.

— А Лидка! — вторила ей Фрида. — Лидка какая!

— Ага! И правда дуже швыдка. Не дарма и фамилия ее такая.

— Ну, ничего! Ничего. Приедет Юлий Липпович и во всем разберется. Все поставит на свои места.

В темно-карих глазах Фриды блестели слезы.

— Та чого ж ты, Фридочка? — обняла подругу за плечи Марийка. — Чого ж ты плачешь, дурненька?

— Э-э-эх! — вздохнула та. — Ты... ты не знаешь, какой умный и хороший человек Юлий Липпович.

— Ну, чого ж я не знаю?!

— Нет, — качает головой Фрида. — Ничего ты не знаешь.

— Як же так?

— А так! Вот много раз я слышала: «Ах, какой умный, какой мудрый Соломон!» Про нашего папу, значит. И я знаю, что это правда. Только папа просто умный. А Юлий Липпович...

— Добрый?

— И добрый... и родной. Ой, что я такое говорю?! — всполошилась Фрида. — Совсем я, глупая, ума лишилась.

Она спрятала лицо, уткнувшись в грудь Марийки, и затихла. Прижав ее к себе, Марийка ласково поглаживала смолянисто-черные волосы Фриды, ее худенькие плечики.

— Моя ты дытынка...

— Я хочу сказать тебе, Марийка... Хочу сообщить одну очень большую... Нет, самую большую свою тайну.

— Ой, боже ж мий!

— Только поклянись, что ты никому, никому не скажешь.

— Та чого б то я...

— Нет, ты поклянись!

— Ну, клянуся.

— Так вот. Знай, что я люблю Юлия Липповича. Вот.

— Так и я ж його, и все мы його любымо...

— Нет, нет. Я люблю его как самого-самого красивого человека. Как мужчину... Как любимого. И только за него пойду замуж. Что бы ни случилось. Только за него.

— Та шо ты такое говоришь, Фридочка! Ты ж еще...

— Нет! нет! — вскинулась Фрида, подняв полные слез глаза на Марийку. — Только за него. Другого мне не нужно и его у меня никогда не будет. Вот так. Я... я и ему об этом сказала...

— Сама?! Сама сказала? — прошептала Марийка.

— Да, сама. А что же здесь такого, если я правду сказала? Пусть и он знает, что я себе слово такое дала.

— А вин?

— Он? — Фрида усмехнулась. — Юлий Липпович встал передо мной на колени и сказал, что тоже любит меня. Что будет ждать, когда мне исполнится семнадцать лет. Что возьмет меня в жены, если я не передумаю. А пока... пока будет молиться на меня, как на икону. Вот смешной! Только зачем все это? Я хоть сейчас готова с ним куда угодно идти. Хоть на край света... Веришь?

— Вирю, Фридочка! Ей-богу, вирю, — всхлипнула Марийка и тут же залилась слезами.

— Ну, что же ты? — стала успокаивать ее Фрида. — Чего же ты плачешь?

— Не... не знаю! — вытирая лицо подолом платья, трясла головой Марийка — Ой, ничего ж я не знаю!

Марийка, конечно, знала, что с ней. Она постоянно чувствовала приближение той ноющей боли, которая поселилась в ее груди, ворвавшись вслед за обидными словами Петра, а потом и Ни-

киты. Марийка помнит, как хорошо ей было в тот день, когда вслед за бежавшим отрядом Оверки Саввича в их Андреевку вступила сотня Петра. Она и сейчас будто наяву видит идущего от ворот к хате брата. Вот он стремительно шагает по свежему снегу, оставляя за собой следы от сапог, которые спешат, торопятся за ним, стараясь догнать, настигнуть его. А она, словно зачарованная, стоит и смотрит, не в силах оторвать взгляд от брата. Кто-то шепчет ей: «Ну что же ты? Иди, беги скорей!» А она не может сдвинуться с места. Совсем недавно, едва простившись с отцом Никиты, она ощутила, как что-то тяжелое, давившее ее, гнувшее к полу, свалилось с плеч и ей стало легко-легко. Теперь вот опять... Отчего? Отчего так? Ведь это же брат.,.. братик ее родненький! Сознание этого словно придало ей силы. Марийка оттолкнулась от подоконника и рванулась, полетела навстречу Петру. Обняла, прижалась к его груди. Будто боялась, что холодок отчуждения, взлелеянный долгой разлукой, опять втиснется между ними, вновь разведет их. А потом... Потом те страшные слова брата:

— У этой бандитской хате ноги моей больше не будет. Живите, как знаете...

Она, кажется, что-то крикнула и рванулась к нему, желая остановить, преградить тем словам дорогу. Но Петро, будто чужой, отстранил ее и, шагнув за порог, исчез в разыгравшемся шальном снежном вихре, который с диким хохотом и свистом носился по двору.

— Братику! — хотелось крикнуть ей. — За шо? За шо ты мене так? За шо?

Но не было никаких сил разжать губы и произнести хотя бы слово. Ступая нетвердыми ногами, она, словно пьяная, сделала несколько шагов вслед за Петром и, чувствуя, что вот-вот упадет, остановилась. Прислонившись к столбу ворот, молча стояла, чувствуя себя одинокой и жалкой. Будто сквозь сон услышала, как где-то за спиной скрипнула дверь.

— Микитка! — подумала Марийка. — Один ты... Она повернулась к нему, надеялась на то, что он поймет ее состояние, поймет и поддержит. Но вместо этого услышала:

— Чего стоишь, как сирота? Ага! Ага! Поплачь, может кто пожалеет несчастную...

Эти слова, брошенные ей в лицо любимым человеком, смертельно ранили ее душу. Она застонала, забилась в груди, словно подстреленная птица, и обессиленная затихла, замерла, обернувшись немым стоном. Душевная боль, сжимавшая своими невидимыми лапами ее плачущее от сознания своей покинутости, ненужности сердце, изматывала ее силы, как не изматывала ни одна даже самая тяжкая работа. Боль на какое-то время затихала, когда Марийке удавалось вырываться из холодного плена одиночества и хоть немного отогреться, почувствовав рядом родственную душу. Правда, в ее Андреевке такое случалось нечасто, что и толкнуло Марийку покинуть село. Юная, чистая и доверчивая Фрида,

встретившись ей на жизненном пути, щедро поделилась с ней душевным теплом и по сути спасла Марийку. Ее замерзшее, заледеневшее сердце постепенно стало оттаивать. Конечно, помогли и письма Петра, и знакомство с его Катей, которая Марийке очень понравилась. Но главное все же — Фрида. И вот теперь... Теперь все должно рухнуть.

Да, да. Именно рухнуть. Нет, Марийка понимает, что подруга никуда не собирается уезжать. Даже если такое случится, что она выйдет замуж, то и тогда она будет жить вместе с Юлием Липповичем где-нибудь рядом, в Запорожье. Марийка сможет приходить к ним в гости, а Фрида — к ней. Но это будет не то. Ведь она уже не сможет принадлежать ей, как было раньше. И она уже не принадлежит. Марийка не один раз ловила себя на том, что нет-нет и обижается на подругу за то, что та стала меньше бывать с ней, как будто что-то скрывает, утаивает. Может быть, это и не так, но мысли-то такие появляются. Разве она виновата, что они к ней в голову лезут? Сами лезут. Такого ведь раньше с ней не бывало. Почему? Кто виноват? Нет, Марийка не сердилась на Фриду, а тем более ничего не говорила.

«Як можна? — пугалась она даже мысли такой. — Сохраны и одведы мене, Господи, од такого гриха».

Чтобы сохранить втайне свои душевные терзания, не огорчать подругу, Марийка сама стала избегать Фриду. Окончив работу, старалась побыстрее уйти из фотографии.

«Сама! Знов сама-самисенька! — сокрушалась, бродя по улицам или пристроившись где-нибудь на берегу Днепра. — Господи праведный! Ну, за шо? За шо ты мене караешь отым морозом, отым холодом одынокости. Та невжеж я така велыка гришныця?»

После возвращения из поездки Юлия Липповича ждала новость: Лида и Яша объявили о намерении стать мужем и женой.

— Он, он так переживает, — делилась с подругой Фрида. — Так переживает, Марусенька, что мне его просто жалко. Говорит, что Яша ничего надежного в руках еще не имеет, чтобы семью содержать. И Лидка какая-то ветреная, несерьезная. Что это за семья будет, просто не знаю.

Фрида хмурит бровки и тяжело вздыхает.

«Чисто тебе бабуся старенька», — думает Марийка и отворачивается, пряча улыбку.

— Ну о том, что Лидка такая, я с Юлием Липповичем согласна, — продолжает рассуждать Фрида. — А вот Яша мне нравится. Он честный, трудолюбивый парень. Признаюсь, Марусенька, что мне очень хотелось, чтобы он на тебе женился...

— Отакое! — всплеснула руками Марийка, чувствуя, как краска смущения заливает ее лицо. — Та хиба ж я... Хиба ж Яша...

— А что? — смеется Фрида. — Мы бы поженились с Юлием Липповичем, а вы — с Яшей. Тогда я для тебя была бы свекрухой.

— Ой, лышенько! Свекруха ты моя ридненька!

— О! Знаешь, какой бы я была строгой?

— А бодай же тебе дощик теплый намочив! — заливается Марийка, вытирая выступившие на глазах слезы.

Вскоре после шумной Яшиной свадьбы, на которую Лида пригласила всю свою родню и многочисленных друзей, зарегистрировали брак Юлий Липпович и Фрида. Никакого торжества по этому случаю не устраивали. Да и не могло его быть, поскольку решение Фриды выйти замуж родня встретила, что называется, в штыки. Особенно свирепствовал ее отец.

— Слыханное ли дело? — возмущался Соломон. — Старый человек женится на девчонке. И это какой-нибудь царь? Нет, это обыкновенный фотограф. Скажите, люди, у этого еврея есть ум? У него его нет. Такого не мог бы придумать даже мой друг великий Шолом Алейхем.

Соломон сокрушенно качал головой и клялся, что ноги его не будет в доме этой так называемой семьи, а на самом деле позорном очаге безнравственности и разврата.

Замужество Фриды не одобряли и ее сестры. Один лишь брат Илья, поздравив ее, сказал:

— Не обращай внимания, сестренка. Увидела свое счастье, так держись за него крепко. Мне кажется, что Юлий Липпович хороший человек и тебя в обиду не даст.

Фрида перебралась в дом мужа и занялась его благоустройством. А Маринка вновь загрустила. Она все чаще думала о Никите, о Петре. Думала уже без прежней обиды, а с тихой грустью, вспоминая то хорошее, что было связано с ними в ее жизни. Однажды ей даже приснилось, что они вновь в Андреевке. Сидят втроем на берегу Днепра и о чем-то говорят. Больше говорит Петро, а Никита держит ее, Марийкину руку и молча слушает брата.

— Хлопцы мои риднесеньки! Яки ж вы у мене хороши! Яка ж я рада, шо вы помырылыся! — обращается она к ним и... и просыпается.

В ту ночь так больше и не сомкнула глаз. Плакала и думала, думала о своей доле, перебирая в памяти денек за деньком.

«О-хо-хоньки! И чого воно доля людьмы крутыть? Та все бильше сиротами... Ну був бы тут поряд Петро... Хиба б я ото кысла так, як зараз? Хиба б нудьгувала? Та мабуть же, и сонечко бильш яскраво свитыло, и сири дни посвитлишалы б. Де ж його бидолагу доленька водыть? Та чи ж вин же тут, на цьому свити, чи вже нема його зовсим?»

А той самой ночью ехал Петро к ней. Мучимый бессонницей, смалил он одну за другой цыгарки, заправленные ядреным табаком, который купили они с Катей перед самым отъездом из Одессы на знаменитом Привозе. В темном, как глубокий селянский погреб, тамбуре изредка вспыхивал огонек. Лизнув кончик цыгарки, тускло отразившись на стекле, он торопливо исчезал, таял за окном где-то в непроглядной черноте ночи. Будто молил, звал Петра оглянуться назад, вернуть умчавшиеся на лихих и быстрых конях года. И Петро шел на тот зов, ступая по знакомым дорогам и стежкам, которые услужливо выстилала перед ним память.

Лишившись зрения, Петро все чаще прибегал к ней, живя в основном прошлым. Там он искал объяснения звукам и запахам, предметам, которых касался руками, пытаясь таким образом познать, открыть их для себя, и на которые натыкался случайно. Он листал и перелистывал свою память, как единственную доступную ему книгу. Бережно переворачивая очередной листок, он внимательно прочитывал его, возвращаясь снова и снова к особенно близким его сердцу, дорогим местам. Однажды Петру пришла в голову мысль, что сам он является не только читателем, но и творцом этой самой, видимой лишь ему одному книги. Осознав это, он потом часто досадовал на себя за то, что так плохо относился к ее созданию и не успел занести туда многое из того, о чем хотел и не мог узнать, потеряв дар видеть. Правда, в этом ему помогала Катя, которая стала частью его самого.

Катя... Его жена Катя. Петро не думал и не гадал, что все так случится. Казалось, что жизнь для него, человека гордого, который все свои вопросы старался решать сам, не прибегая к помощи других, даже самых близких людей, обернулась таким образом, что теперь о семье он даже мечтать не смел. Ну какой, скажите на милость, из него муж? Слепой, калека, который с трудом может передвигаться, да и то на небольшие расстояния. Тут и себя не знаешь как обеспечить куском хлеба, а не то что прокормить жену да еще с детьми. А ведь они появятся. Должны появиться. Без деток какая же это семья? Так, баловство одно, которое серьезному человеку в его возрасте просто неприличное. Нет, Петро не то чтобы совсем не признавал это самое баловство, как он его называл. Он очень даже признавал. Только понимал его по-своему.

«Граються, — размышлял про себя, случайно увидев, как милуется молодая парочка. — Узрослые уже, кажись, а чисто тебе дети малые. Чего оно так бывает? А чи не того, бува, шо и справди настает такое время, када людям своих деток след заводить? От они и накручуют всякую смешную комедь. Ну, обнимаются там, целуются, разные там слова говорят. Чистыми тебе детьми стают. Значится, сама природа сигнал, знак такой подает, шо годи вже лобурякою землю-матиньку дарма товкты: пора вже подумать, хто после тебе на ний робыть буде, та и тебе годуватыме в старисть».

В женщине он всегда видел будущую мать и презирал тех, кто смотрел на нее, как на предмет забавы.

«Ач, котяра хытрющий! — лютовал всякий раз, встречая таких. — Це ж воно помуркае, послюнявыть дивча и втече, сховаеться десь. А воно, дурненьке, повирыть падлюци шкидлывий, а тоди усю жизню мучиться буде. Убывав бы такых без жалю».

Полюбив Катю, Петро мечтал о том, как приедет с ней в родную Андреевку, отремонтирует старенькую хату, а потом поставит рядом новую и красивую. Что он, хуже других? Или руки не туда стоят? Все при нем: и силой бог не обидел, и как хлеб растят, не позабыл. А захочет Катюша в городе жить, и там не пропадут.

Ее в школу устроят. Пусть деток учит. Пока чужих. А там, глядишь, и свои появятся.

«От токо интересно знать, — думал он. — Какие они будут наши деточки: у Катю, мов сонечки, чи биленьки, як я...»

Не знали ни он, ни она, что коварная судьба, едва дав вспыхнуть огоньку любви, не раз и не два будет пытаться его загасить.

«Да! Поводыла по стежках-дорожках нас лыха доленька, — вздыхает Петро, делая очередную затяжку. — Пока бачив, не миг знайты, як не выглядав. А ослип, и ось тоби — на. Знайшов свого горобчика, свое сонечко».

А ведь тогда, когда Катя впервые пришла к нему в госпиталь, рассердился он крепко и на Левку, и на нее. Не хотелось, чтобы жалел его кто-либо. А тем более она. Ругал ее, требовал, чтобы ушла и забыла о нем. Говорил даже, что не любит ее вовсе. Только Катя не поверила.

— Вот что, Петро, — сказала, когда он, отлютовав, немного затих.

— Ты однажды меня спас, когда с Веруськой мы тонули на пруду. Помнишь? Теперь мой черед. Вместе выплывем и дальше вместе по жизни пойдем. Вот так.

Сказала, как припечатала. Будто приказала ему. И он сдался. Подчинился. Себе же клятву дал: на любые операции согласиться, любые муки стерпеть, чтобы снова свет белый увидеть. И, конечно, ее, Катюшку.

С той поры почти год прошел. Всякое бывало. После первой операции, когда сняли повязку и желанный свет не блеснул, снова пал духом. Но Катюша киснуть не дала. Спасибо ей и профессору Филатову.

— Божественный доктор! — говорил о нем Лева. Божественный... Может, и вправду бог ему силу и ум дает. А что? Рассказывали сестрички, будто перед каждой операцией профессор идет в свою часовенку помолиться. Петро, конечно, не верит в бога, но это его дело. А другие пусть как хотят. Что тут плохого? Вон бабуся их с Марийкой, пухом ей земля, такой верующей была. Ни одной службы, бывало, не пропускала. И богу молилась, и людей любила. Своих родных и чужих. Всем хотелось ей добро сделать. Откуда это в ней? Кто его знает. Да и какое это имеет значение? Главное, чтобы жила в человеке эта самая любовь. Чтобы звала его, вела на добрые дела. Так ему кажется, а там, кто его знает. Слишком это научный вопрос для его, Петра, головы. Ну, положим, ходила их бабуся в церковь. Так она же безграмотной была. Ни читать, ни писать не умела. А тут профессор... Профессор! Это ж понимать надо! И туда же...

— Да-а-а! Штукенция! — качает головой Петро.

И что за руки у того профессора Филатова. Когда после второй операции увидел он свет, Катюша целовать их кинулась. На колени перед ним встала. А он поднимает ее и приговаривает:

— Ах, что вы, что вы, голубушка! Извольте прекратить эти глупости. Я вам не царь и не батюшка...

Уж потом Лева поиздевался, потешился, изображая все в лицах.

Да, остались их друзья в Одессе. Теперь у Левы с Верой есть не только Аллочка, но и сын. Вадимом назвали. Хороший карапуз. Всей семьей на вокзал провожать приходили.

Семья... Теперь и у него она есть. Семья... даже не верится. Иной раз кажется, что все это снится ему. Только нет, все так и есть. Он же видит, видит своего горобчика. Правда, пока еще только одним глазом. Но это пока. Профессор обещал через годик-другой еще одну операцию сделать, и тогда будет полный порядок. А за это время электрическую станцию построят. Сюда начальником охраны и направляют его. Это, конечно, не то что граница, но все же.

— Казалы, шо й там дила хватыть, — вздохнул Петро и, загасив окурок, направился в вагон.

— Ты, Петя? — вскинулась потревоженная Катя.

— Я, я, люба! — поправив укрывавшую жену шинель, успокоил ее Петро.

— Ой, а я ждала, ждала тебя и, кажется, уснула.

— Спи, горобчику. Спи, — усмехнулся Петро. — Зараз же ночь. Глуха ночь.

Вытянувшись на полке, он еще долго не мог уснуть. Покачиваясь в такт старенькому вагону, Петро перебирал продолжающее наползать на него прошлое. Теперь оно уже не казалось ему таким серым и безрадостным, как это бывало раньше. Рядом была Катя. Она тоже пришла оттуда и, словно солнышко, которое выглянуло из-за туч, осветила всю его жизнь, заставив заиграть краски покоя, счастья и радости.

«Жона! — усмехнулся про себя Петро. — Просто чудесия якаясь-то выходит».

Он повернулся на бок, и вскоре сон, прокравшись сквозь могучие храпы, причмокивания, постанывания и шепоты, которые во всю носились по жестким полкам и тесным проходам вагона, одолел его.

...Юлий Липпович решил показать «трудовому коллективу», как любил он называть своих немногочисленных сотрудников, давно проявленные и наконец отпечатанные фотографии. Кроме Фриды и Марийки, на просмотр напросилась Лидия, и Яша, который занимался печатаньем вместе с отцом, вынужден был подчиниться ждавшей ребенка и, видимо, потому раздражительной и капризной жене.

— Это остров Каменеватый, — неторопливо объяснял Юлий Липпович. — Начало нашей экспедиции. Здесь мы в полном составе во главе с Дмитрием Ивановичем Яворницким.

— Где? Где он?

— Да вот же, вот, Фридочка. Стоит во втором ряду, скрестив руки на груди.

— С усами, как у Тараса Бульбы?

— Правильно. Изумительный старик. Настоящий ученый и интеллигент. А это остров Старуха.

— Смешное название, — хмыкнула Лида. — Старуха...

— Казацкое, — сдвинул плечами Юлий Липпович. — Он неподалеку от речки Самара. А вот село Чапли, что у Кодацкого порога. Камыша вокруг виданно-невиданно. И все хаты им покрыты. Кадр изумительный. Ну, а вот перед вами запорожская церковь в Старом Кодаке. Гляньте, какая красавица. Между прочим, полностью из дерева ее запорожцы соорудили. А дальше пошли пороги — Сурский, Лоханский, Звонницкий, Ненасытец.

— И справжний Ненасытець, — подала голос Марийка.

— Да. Говорят, здесь много смельчаков поглотил Днепр. Чтобы как-то предотвратить дальнейшие беды, решено было соорудить канал для прохода судов. Строительством его, рассказывал Дмитрий Иванович, когда-то занимался Ганнибал, далекий предок Александра Сергеевича...

— Какого Александра Сергеевича?

— Александра Сергеевича Пушкина, Фридочка.

— Того самого?

— Да. Великого русского поэта... Ну, а это пещера Пугачева.

— Где? Где? — засуетилась Лида.

— А вот здесь, посреди скалы. Вот и вход в нее хорошо виден. Это остров Таволжанский. Здесь Дмитрий Иванович нашел древнегреческую амфору.

— Эх, посмотреть бы! — всплеснула руками Фрида.

— Ну, так в чем же дело? Выставят ее в музее, и можно будет посмотреть.

— О! Смотрите, смотрите — прямо верблюд с двумя горбами...

— Да, — тихо улыбается Юлий Липпович, глядя на свою юную супругу. — Действительно, похож на верблюда. Это остров Перун...

— Покорный Перуну старик одному,.. — начинает читать стих Яша, но Юлий Липпович жестом останавливает его.

— Я знаю, Яша, что тебе нравятся эти стихи. Но давай послушаем их в другой раз. Хорошо? А вот об острове нужно сказать нашим дамам. Говорят, где-то здесь утонул бог древних русичей Перун. Он когда-то стоял в Киеве на берегу Днепра. Когда же князь Владимир решил ввести православие во всей Киевской Руси, то его сбросили в воду, решив вытолкать за пороги, которые считались границей Киевской Руси. Выпроводить за границу, выходит. Вот сюда он как будто и добрался.

— Как интересно! — вздыхает Фрида. — Правда, Марийка?

— Так, — кивает подруга. — Я чула про цей острив. Вин недалеко од нас. Там же село таке есть. Перунамы называеться...

— А чего же ты мне об этом ничего не рассказывала?

Марийка смущенно пожимает плечами.

— Хто знае...

— Ну, а этот порог называется Лишний. Это — Волчье Горло.

— Ух ты! Посмотрите, как вода кипит. Прямо, как в чугунке.

— Да, Фридочка. Это порог Вольный резвится.

— То наш, — вздыхает Марийка — Такого нияка сыла не визьме.

— Ну нет, Маруся. Здесь я с тобою не согласен. Скоро, скоро угомонится ваш Вольный. Укротят его, как и другие пороги. Будут они злость свою на дне изливать. Под толщей воды, которая их покроет. Днепр-то станет судоходным на всем своем протяжении. Ну, а о порогах будут рассказывать только вот эти наши фотокарточки...

— Мария, — перебила Юлия Липповича выходившая во двор Лида. — Там тебя спрашивают...

— Хто?

— Катька Шмидт. И с ней военный какой-то.

Марийка пулей выскочила из дому и буквально упала на руки подхватившего ее брата.

— Пет-ру-сику! Братику ридненький мий! — всхлипывая, приговаривала она. — Живый! Живый!

— Та куда ж я подинусь? — смущаясь, гудел Петро. — Куда? Ось и Катруся тут...

— Бачу, бачу, — вытирая слезы, кивала головой Марийка. — Я ж знала... знала, шо так и буде... Ридни мои! Ходимте ж... Ходимте до мене...

На квартире у Марийки засиделись до поздней ночи. За разговорами не заметили, как время пролетело. Петро больше слушал Марийку с Катей, то чему-то хмурясь, то усмехаясь в белесые усы. Изредка о чем-то спрашивал.

— Так, кажешь, тут Петро Коваль?

— Тут, тут, Петрусю. Стречала не раз його. Про то, як за Махном ганялысь вы, казав. И де ты зараз, пытав. Токо ж, шо я могла казать, колы и сама не знала... Ты ж не пысав...

— А шо писать? Абы шось путне...

— Так поранений же був...

— Ну и шо? На войни не то шо пораныть моглы. Там и вбывають бува.

— Ой, мамонько! И шо ты такое кажеш?

— Он у нас такой, Марийка, — вздохнула Катя. — Все в себе и в себе. Иной раз строчки не напишет.

— А шо пысать? Тильки бумагу переводыть. Не пышу, значить усе в порядку. Щось страшне скоиться, тоди и сообщать. Такый порядок у армии. Ты ж и сама, Катруся, знаешь.

— Знаю, да не со всем согласиться могу. Нельзя, товарищ Задорожний, забывать, что, кроме вас самих, кто-то еще может думать о вас...

— Ну, от! Знов ты про те саме,.. — заворчал Петро, свертывая самокрутку.

— Ось, ось сирныкы, — протянула брату коробок со спичками Марийка.

Петро достал спичку и вопросительно глянул на Катю.

— Нет, нет, — тряхнула та головой. — В комнате курить не будешь...

— Та хай уже, Кать, — махнула головой Марийка.

— Ни в коем случае, Марийка! Ему только раз волю дай. Потом все своим табачищем прокоптит. Нам и дышать нечем будет.

— Катю, Катю, — сокрушенно качал головой Петро. — От жиночка мени попалась!

Говорил, а сам улыбался. По всему было видно, что своим нынешним положением и «суровой» женой Петро был доволен.

— Значит, Лидочка Швыдкая наконец угомонилась?

— Ага! Кажу ж, два весилля — батька и сына. Одне за одным. Яша хороший хлопець. Тильки, боюсь, що доведеться йому покуштувать Лидочкины кыслыци. Ой, боюсь...

— Да, — засмеялась Катя, — ее характер мне знаком. Он не сахар. Не пойму только, как это она от Павла Васильевича Кравчевского отступилась.

— А може, вин од неи? Може, знайшов соби пару?

— Нет, — тряхнула головой Катя. — Павел Васильевич с этим не спешит. Ребята говорили, что и сейчас парубкует.

— Так, може ж, ище молодый?

— Нет, Марийка. Уже не очень молодой. Пора бы уже...

— Та шо вы все про того Павла Васильевича? Ты, сестра, краще скажи, шо сама робыть думаешь?

— А шо казать? — сдвинула плечами Марийка. — Выдать, молодисть моя обмынула те саме щастя. Стороною обийшла...

— Ну-у-у! Совсем старуха! — возмутилась Катя. — Как не стыдно такое говорить? Тебе же только двадцать пять лет.

— Так дивочий же вик короткый.

— Не говори глупостей. Ты же такая красивая!

— Шось и мени такое не наравится, сестра! — нахмурился Петро. — Мабуть, зовсим ты закысла у своий фотографичний нори.

— Не кажи такое, Петре! Не кажи! Бовины — люды хороши.

— Та не про Бовиных я кажу. Про тебе. Треба тоби до людей выбыраться, до молоди.

— Це ж куды?

— Может, на стройку тебе, Марийка, пойти? А? Будете работать вместе с Петром. Там, глядишь, и парня хорошего встретишь...

— Був одын. Другого не буде...

— Ну, ладно, — поняв, что сейчас ни до чего они не договорятся, схитрила Катя. — Давайте спать ложиться. Марийке отдохнуть пора. Да и мы с дороги устали.

— И правда! — согласилась Марийка. — Буде час ище поговорыть... Он и Петрусь уже кунять почав.

— Хто? Я? — вскинулся Петро, но, взглянув, как нахмурилась Катя, согласился. — А може, воно и справди пора? Час уже.

4

Уставшее за день солнце бросало на раскаленную летним зноем землю остатки сохранившегося жару. Лошадь, похрапывая, медленно тащила бричку, которая, жалобно повизгивая колесами, оставляла за собою длинный шлейф пыли, лениво оседавшей на змеею вьющуюся среди желтеющих хлебов дорогу.

— Добрый хлиб буде! — думает Никита, вытирая рукавом выгоревшей сорочки заливающий глаза пот. — Кой хто вже и косыть пробуе. Токо ранувато. Хай ще трохи постоить, набере сылу. А там и мы вдарим. Аби не задощило...

Никита поднимает голову и, щуря глаза от яркого солнечного света, тревожно оглядывает небо. Чистая и ровная голубизна небесного свода успокаивающе действует на него.

— Ач, як прыбравсь всевышний! — усмехается он про себя. — И вин до нашего свята готуеться. А шо ж? Хиба то не свято, колы бачишь, шо ты зробыв за рик? Ще й яке! Бильшого, пожалуй, и не бувае...

Никите есть чем гордиться. В прошлом году Федот Юнацкий, который до этого возглавлял их общество по совместной обработке земли, вдруг запросился в город.

— Спасибо за доверие, люди добрые, — смущенно покашливая в кулак, говорил он. — Только не могу я больше без машин, без металла. Они мне, проклятые, жить спокойно не дают. Ночью снятся. К себе магнитом тянут. Так что не судите меня, друзья. Душа в город, на завод рвется, и ничего я с ней поделать не могу.

— Як же так, Ныкыфорович? — сокрушался Стешенко. — Ты ж орач з орачив. Мы ж на тебе надиялысь. А теперь же як? Га? Кидаешь нас...

— Да не кидаю я, люди добрые! Дело у нас пошло. Общество дружно работает. Есть теперь и хлеб, и к хлебу. Так что без меня обойдетесь. Разве некого за командира выбрать?

— А кого?

— Да вот Никита Оверкович хотя бы. Чем не командир?

— Ну да, ну да, — закивал Пересунько.

— А чего ж? — прищурив хитровато глаза, отозвался дымивший цыгаркой Стешенко. — Микита Оверкович добрый хазяин. Дило наше любить и знае. Могеть и он командирить... Тольки жаль нам, шо ты, матрос, нас покинешь. Та ничего не поробишь. Гляды ж, не забувай нас. Може, када подмогнешь нам. Какуюсь зализяку присоветуешь нам для дела...

— Об чем разговор?

Тогда же и порешили: быть Никите председателем их общества. Доверие, оказанное ему, обрадовало Никиту. По правде говоря, в душе он давно примерял себе эту должность. Разве не у него больше всех земли? Не его плуги и бороны обрабатывают большую

часть площадей общества? А что бы делали без его Вишни и Германа? То-то и оно. Да и не все ему нравилось в деятельности Федота. Иной раз казалось, что Юнацкий слишком закомандирился. Забывает, на ком держится их общество, кто их всех кормит, если разобраться во всем хорошенько. Правда, Федот чаще, чем с кем-либо другим, советовался с ним. Прислушивался к его мнению. Будто чувствовал то недовольство, которое нет-нет и начинало закипать в груди Никиты, грозя выплеснуться наружу. Умел моряк уловить нужный момент и переложить руль, выравнивая их отношения. За это ценили и уважали его и Никита, и все остальные.

«Оце б з Петром мы уже грызлысь. А Федот, бач як повернув. Ро-зум-ный чортяка!» — не раз думал он.

После того случая, когда Юнацкий посоветовал поставить Никиту во главе их общества, Никита проникся к нему еще большим уважением. Оно и общество само по себе небольшое — Никита, Тимофей Пересунько, Яков Стешенко да Ганна Дротова. Ну, Тимофей с Яковом еще куда ни шло, хоть и не слишком сильные, а все ж таки работники. А Ганна? Ее просто решили взять к себе по предложению Никиты.

— Зараз каждый землю мае, — говорил он тогда. — Мае и Ганна. Та шо з того? Чи впораеться вона з нею? Николы. Определенно не впораеться. Загнеться сама у поли, и малеча пропаде.

— Шо ж робыты? — почесывая затылок, вздыхал Стешенко. — Бида та й годи.

— Помогты. Усим мыром помогты, — выпалил Никита. — Як хочите, а я так думаю. Покы Мыкола ии з армии прыйде. Оженяться, тоди як знають. Захочуть, то нехай з намы остаються, а нет — тада хай сами хазяйнують.

На том и порешили. Когда ушли Ганка и Пересунько со Стешенко, Юнацкий сказал, попыхивая люлькой:

— Слыш, Оверкович! А ты, видать, непоганый человек.

— Це про шо вы, дядьку Федоте? — сделал вид, что не понял его Никита.

— Про то. Про Ганку.

— А-а-а! Понятно.

— Спасибо тебе мое флотское.

— Та чего там. Я тож не падлюка. Понятие имею. И душу...

Никите было приятно, что такой уважаемый в селе человек, как Юнацкий, столь высоко оценил его поступок. Правда, не знал Федот Никитович, что, кроме желания помочь Ганне с ее мелюзгой, была у Никиты еще одна цель. Дело в том, что после той страшной голодной зимы, когда делясь продуктами, Никита фактически спас Дротову семью от голодной смерти, Ганка буквально прилипла к нему. Она неотступно ходила за ним, ловя каждый его взгляд, готовая выполнить любое желание.

— Шо ты бигаешь за мною, горе ты мое?! — не выдержав однажды, выпалил Никита.

Он хотел отругать ее, но увидев полные слез Ганкины глаза, осекся. Ну, вот! Не хватало, чтобы она еще разревелась на весь двор. Еще батрак Семен услышит и, не дай бог, соседи узнают, тогда беда. Скажут, что сироту обижают. Тогда пропали его старания завоевать уважение односельчан.

— Бач, шо робыть? — слышался ему осуждающий голос Стешенко. — Видать, яблоко от яблони далеко не впадеть...

— Ну да, ну да, — кивал головой Пересунько.

Растерянно моргая глазами, он лихорадочно соображал, что же предпринять.

— Ты шо? Ганнуся, чуешь? Чого ты того... хнюпаешь? — бормотал Никита.

— Го-о-ре! — всхлипнула Ганка — Горе мое!

— Перестань! Чуешь? Прошу тебе хоть у хату... у хату зайды. Люды ж он чують.

Он почти силой затащил ее в хату, усадил на скамейку и, зачерпнув из ведра, что стояло в сенях, полный ковш воды, метнулся назад.

— Ось, ось попый! Водычки попый! — приговаривал, пытаясь успокоить плачущую Ганку. — Ну чого? Чого ты, дурненька? Я ж тебе не займав, не обидыв тебе. Чого?

— Чого?! — всхлипнув, выкрикнула Ганка. — Вин пытае, чого! Я ж... я ж люблю тебе. Люблю, колода ты деревьяная!

— От тоби и на! — изумился Никита. — Та як же так?

— От так! Раз не бачишь, то ось тоби. Знай. Знай, мучитель. И... и тепер, шо хочишь, зо мной робы!

— Та... та ты шо? Сдурила? Шо ты такое кажешь? — растерянно моргая глазами, бормотал Никита. — Хиба можна?

— Можна! Усе можна, — твердила свое Ганка.

— А Мыкола... Мыкола ж твий як?!

Ганка опустила голову.

— Вы ж любыте один одного! — поняв, что, кажется, нашел чем остановить напор не на шутку разошедшейся девушки, воскликнул Никита. — Вин же от-от з армии прыйде. Шо ж ты йому скажешь?

— Не знаю...

— От бач! Ты ж жизню хлопцю скаличишь. И йому, и соби...

— Ой, не знаю! — немного успокоившись, вздохнула Ганка. — Я думала раз ты нас од смерти голодной спас, то и тут спасешь.

— Ни! Ни, Ганнуся! Тоди я мав шо тоби даты, чим допомогты, а зараз не маю. Ты хороша, красыва дивчина и полюбыть тебе — це щастя. Так, так! Та в меня тутечки, — Никита постучал себя кулаком по груди, — туточки, кажу, пусто. Ничим любыты... Все отдав...

— Значить... значить ты и доси любыш Марию?

— Люблю... Це мий хрест...

Никита сказал правду. Он не раз пробовал забыть Марийку. Ну, кто его за это осудит? Ведь сама... сама ушла. Может, и ее уже нет на этом свете. А раз так, то пусть себе спокойно спит. И ему

даст покой. Но его-то, этого самого покоя, как раз и не было. Так неожиданно исчезнувшая Марийка продолжала жить в его сердце, тревожа душу.

«Выходит, живая! — думал он. — Може, и дите у ей есть. Наше дитя. Воно ж мало появыться... Мало! От тильки сын чи донька?»

Сын! Конечно, должен был родиться сын. Так всегда было в их роду. Всегда рождались у Прудкосвистов в основном хлопчики. Об этом и отец ему не раз говорил, горделиво подкручивая свой ус. А как же! Что ж это за семья без казачат? Да и мама про то не раз затевала разговор. Только она при этом всегда вздыхала. Считала, что через злость и жадность Прудкосвистов бог им и не дает дочек.

— Булы б дивчатка, — рассуждала она, — може, и чоловикы их добришимы, сердечнишимы сталы. Люди б их за людей считалы, по-людському звалы. А не так гыдко, як нас — Дули. Тьху! Просты мене, Господи, и помылуй...

Что же касается его, Никиты, то ему совершенно безразлично, кто там у них родился. Ну, может, не совершенно... Где-то в душе ему, конечно, хотелось, чтобы первым родился хлопчик. Почему? Да он и сам не знает. Только мужчины почему-то всегда очень гордятся, когда у них сыновья рождаются. И он такой же, как все. Думается ему, что где-то живет, бегает его сыночек. Никите не раз снилось, что он видит его. Видит вдвоем с Марийкой. То идут куда-то, то стоят над Днепром и о чем-то разговаривают. Вот только какой он, его сыночек, Никита никак рассмотреть не может: то Марийка его собой закрывает, то далеко они от Никиты. Но что это сыночек, хлопчик, он знает точно. Хлопчик... А если и девочка? Дочка? Такая беленькая и ласковая, как Марийка в детстве. Он же помнит, какой она бегала по селу. Ого! Еще как помнит. Что ж, дочка, так дочка. Пусть. И это хорошо. Он обязательно расскажет Марийке о том, что говорила ему мама. Обязательно! Вот только... только бы знать, знать, где она? Где они? Жена его, хоть и не венчанная, и дитя. Его семья...

Задумавшись, Никита не заметил, как добрался до села. Пришел в себя, услышав, как заржала лошадь.

«Ач! Чует Вишня, шо конець дороги. Радие чертяка!» — усмехнулся про себя.

Заехав во двор, он передал лошадей батраку Семену.

— Зробы, шо треба. А я до Днипра навидаюсь. Увесь у пылюци. Скупаюсь.

— Добре. Добре, — буркнул Семен, как показалось Никите, почему-то сердито. Но выяснять причину он не стал. «Упосле поговорю», — решил про себя.

Спустившись к реке, Никита какое-то время стоял, зачарованно слушая шум порога. Сегодня он казался ему более злым, тревожным. «И Вольный сердыться! — подумал Никита. — Ты ба, як гарчить його камьяна душа. Чого це воны сьодни розходылысь?»

Сбросив одежду, он медленно вошел в воду. Окунулся раз, другой, чувствуя, как прохлада освежает его уставшее за день тело, возвращает силу и бодрость. Немного поплавав, вышел на берег и, откинув наползающие на глаза волосы, глянул вверх. «Ого! Хмары пишлы. Мабуть, задощить. Ну, хай. Абы не довго... До косовыци».

Одевшись, быстрым шагом направился к хате.

— Чуешь, хазяин, — встретив его, заговорил Семен. — Шось хочу тебе сказать...

— Не время, Семен, — оборвал его Никита. — После скажешь. Бачь, туча заходит.

— А после не будет.

— Чего?

— А того. Не будет, кажу, после. Ухожу я.

— Куда это? — сердито закусил губу Никита.

— А на Днепрострой. Хватит мне на вас спину гнуть. Она у меня одна. Треба трошки и на Советскую власть поработать.

— От, дурне теля! — всплеснул руками Никита, ловя себя на мысли, что говорит словами отца. — Ты ж раскинь головою своей, шо там затеяли те чудные люди — пороги сорвать, шоб на их месте станцию поставить. А чи знаешь ты про то, шо вже подступались до порогов? Знаешь? Сам царь Петро Алексеевич хотел их сколупнуть. Токо ничего с того не вышло. Отакую дулю показал Днипро им. Под самисенького носа.

Никита скрутил дулю и повертел ею перед глазами Семена. Тот усмехнулся и, покачав головой, с сожалением вздохнул:

— Э-э-э-х! Оверковичу, Оверковичу, не дарма люди кажуть: який батько, такий сын. Хазяйнуй себе...

Повернулся и пошел со двора, оставив растерянного Никиту одного. Уже у самой калитки Семен обернулся и, пожевав губами, произнес:

— У царя не выйшло, а у людей выйдет. Весь народ поднялся. И Марию твою, кажут, тож там бачили.

— Стой! — крикнул Никита, срываясь с места. — Стой, кажу тебе. Де? Де ее бачили?

— А я знаю? — сдвинул плечами Семен. — У том, у Запорожье...

Едва дождавшись окончания уборки, Никита зачастил в Запорожье. Он слонялся по базару, ставшему многолюдным и шумным. Бродил кривыми улочками старого города, который теперь уже не казался таким огромным, как когда-то в детстве. Не однажды добирался и до тех мест, где шла стройка.

Попав туда впервые, Никита растерялся. Он даже предположить не мог, что столько людей могли собраться и работать вместе. Увиденное чем-то напоминало муравейник, обитатели которого были заняты своим делом и, казалось, не замечали вокруг ничего. Куда-то спешили люди, скрипели колеса несчетного количества бричек, везущих землю. Сипло посвистывая, натужно труди-

лись тупорылые краны, чем-то похожие на паровозные будки, только побольше и с какими-то крючьями. Стройка гудела, визжала, стучала, грохотала орудийной канонадой, и Никита вдруг почувствовал себя таким маленьким и бессильным на этой громадине, что ему захотелось втиснуть голову в плечи и скорее бежать подальше без оглядки. Обозлившись, он дал себе слово больше не приходить к этому месту. Но что-то тянуло его туда и, бывая в городе, он всякий раз испытывал желание съездить на стройку снова. В конце концов, не выдержав, Никита махнул рукой на данное себе слово и направил коней через Зеленый Яр.

Трясясь в бричке, подпрыгивающей на булыжной мостовой, ругал себя всякими словами. Но, въехав в село Вознесеновку, которое раскинулось вдоль Днепра в нескольких верстах от города и чем-то напоминало их Андреевку, успокоился. Не доезжая до стройки, остановил лошадей и, привязав вожжи к дереву, отправился дальше пешком. Неожиданно путь ему преградил обнаженный парень с красным флажком.

— Стой. Туда нельзя.

— Чего это нельзя? — набычился Никита. — Тебе земли мало, чи шо?

— Нельзя, говорю тебе, дурья башка. Скалы рвем. Понятно тебе?

Никита хотел что-то ответить на это, но, взглянув в загорелое лицо парня, которое сияло веселой добротой, передумал. Махнув рукой, повернул в обратную сторону.

— Постой! Куда же ты? — окликнул его парень. — Сейчас взорвем, можешь себе идти. А пока садись отдохни.

Никита присел на пожелтевшую от знойного солнца траву и стал неторопливо скручивать цыгарку.

— Эй слыш, паря! — послышался чуть глуховатый голос парня. — Табаком не угостишь?

— Подходи, — буркнул, не поднимая глаз, Никита. Честно говоря, он был рад такой словоохотливости парня, только не хотел этого показывать. Захватив щепотку табака, он сжал пальцы, стараясь уменьшить порцию, но тут же обозлился на себя за проснувшуюся жадность. Запустил пальцы поглубже, вытащил чуть не горсть душистой сечки и высыпал ее на подставленный парнем клочок бумаги.

— Вуй-вуй-вуй! — вскрикнул парень, пытаясь поймать ладонью просыпавшиеся табачные крошки. — Что ж ты его так?! Добро ведь.

— А-а-а! — махнул рукой Никита. — Бери еще. Мне не жалко. Хоть весь кисет.

— Ну, спасибо тебе, товарищ! — обрадовался парень, и тут же земля вздрогнула от близкого взрыва. Никита даже присел от неожиданности.

— Не бойсь, чудак! — успокоил его новый знакомый.

— Та я и не боюсь. С чего ты взял? Только...

— Илья! — послышалось откуда-то из-за спины, и Никита вздрогнул. Это был ее, Марийкин, голос. Он не мог спутать его ни с каким другим. Сколько раз Никита слышал его в степи, куда доносил его резвый ветер, играясь с ним, а потом, подразнив, со свистом и хохотом уносясь за Казацкую могилу, что немой печалью нависла над селом, прячась в колючих кустах терновника и балочках. Он жалобно звал его одинокими ночами, заставляя просыпаться и привидением слоняться по пустой хате, в которой, казалось, даже мыши не хотели поселиться. Тогда-то, боясь самого себя, своего одиночества, впервые в жизни закурил Никита, достав из коморы мешочек отцовского едучего, продирающего от горла и до самых пяток табака. Теперь голос звал его, влек к себе, манил в покрытое сизым туманом времени детство. И Никита не стал противиться. Покорно, с радостно бьющимся сердцем он последовал за ним. Стараясь быстрее погрузиться в этот туман, слиться с ним, он даже глаза прикрыл. Ему виделись не этот каменистый и мертвый берег, который сурово взирал на торопливо уносящуюся ленту реки, людей, беспокойными муравьями снующими по колышащейся от их бесчисленного множества громаде стройки, а родные андреевские кручи, схлестнувшиеся в объятиях с могучим Днепром, который нашептывал им свои тайны.

— Илюша! Чуешь? Уже все. Петро сказал, что можно снимать оцепление...

Марийка была совсем рядом. Никита слышал ее голос, совсем не изменившийся, переливающий нежными серебряными звоночками. Слышал, как обиженно шуршит сухая трава под ее ногами, но все не решался обернуться. Ему казалось, что стоит лишь это сделать, и все пропадет, исчезнет. Не станет не только прекрасного ощущения детства, но и ее голоса, и самой Марийки. Медленно, с трудом, будто делая тяжелую работу, он повернул голову и, встретившись с ее глазами, едва не вскрикнул. Она смотрела на него печально и отрешенно, словно перед ней был вовсе не он, ее Никита, а какой-то совсем незнакомый и неприятный ей человек. Так когда-то смотрела мать перед тем, как ушла от них навсегда.

— Здравствуй, Мария, — выдавил он из себя, едва ворочая чужим, непослушным языком по шершавому рту, сделавшемуся вдруг сухим, будто земля, из которой до капельки высосало влагу пылающее зноем лето.

— Здравствуй, — тускло обронила она.

— Э-э-э! — протянул Илья, запустив пятернею в выгоревший на солнце чуб. — Да вы, значит, знакомые? Тогда я пошел. Пока, ребята.

Что-то мурлыча себе под нос, он зашагал прочь и вскоре скрылся за какой-то деревянной будкой. Никита молча смотрел на Марийку. Он придирчиво оглядел ее старенькое выцвевшее платьице, которое плотно облегало ладную фигурку, закрученные в тугой узел косы, которые, как ему показалось, за это время стали еще белее, тонкую шею с трепетно бьющейся чуть выше плеча синенькой жилкой, круглые, как румяные яблоки, щеки с маленькими ямочка-

ми и припухшие, слегка подрагивающие губы. Он решил, что Марийка за годы их разлуки стала еще красивее, и это ему почему-то не понравилось. Мечтая о встрече с Марийкой, он думал, что встретит ее, если не измученной и опустившейся, то, по крайней мере, жалкой, нуждающейся в его помощи. Теперь же он сам испытывал какую-то неловкость перед ней. Вспомнив, что поленился обуть новые хромовые сапоги, опустил глаза и, ткнувшись взглядом в носки запыленных кирзачей, чертыхнулся про себя.

— Може, сядем десь? — просяще предложил и от этого еще больше разозлился на себя.

Марийка сдвинула плечами. Ничего не ответив, она, как показалось Никите, горделиво, с каким-то даже вызовом, направилась к плоскому, похожему на скамейку, камню и опустилась на него, глядя себе под ноги. Чуть поодаль, все еще испытывая робость, присел Никита.

— Ну, як ты живешь? — с наигранной беспечностью спросил он.

— Живу, як живу, — вновь сдвинула она плечами. — Як вси живуть, так и я.

— Сама? — спросил Никита и замер в ожидании ответа.

— С Петром мы разом.

Никита почувствовал некоторое облегчение и тут же задал следующий вопрос:

— А сын? Дите наше как же?

Марийка молчала, закусив губу. Глаза ее потемнели и заволоклись слезой, становясь похожими на речную гладь, скованную крепким морозом.

— Дочь у меня была... Шурочка,.. — прошептала она со всхлипом.

— Третий годок как померла... от глотошной.

Марийка закрыла лицо руками и тихо, про себя заплакала. Невидимая стена отчуждения, которая все время была между ними, куда-то исчезла, растворилась, и Никита, бросившись к Марийке, прижал ее к себе.

— Не надо. Чуешь? Не плачь, — шептал он, чувствуя, что и сам вот-вот не выдержит и зальется слезами. — Не надо, ластивка моя дорогая. Где ж была ты? В какие края летала?

Потом все было, как во сне. Они о чем-то говорили, что-то торопливо рассказывали, перебивая друг друга, будто боялись что-то важное забыть, не успеть сказать. Сидели до тех пор, пока не нашел их Петро.

— Вот тут кто припожаловал до нас, — издали заговорил он, давая знать о своем приближении. — Сам молодой хозяин. Никита Оверкович.

Никита поднялся ему навстречу, не выпуская руки Марийки.

— Ну, здоров будь, чи как?

— Здоров, — насупившись, буркнул Никита, не зная, стоит или не стоит подать ему руку. Поколебавшись, все же решил не делать этого первым. Смятение Никиты не ускользнуло от Петра, и он, едва заметно усмехнувшись про себя, продолжал:

— Выходит, и тебя Днепрострой потянул? Это добре. Та и шо ж у том удивительного? Он кого хочешь за сердце возьмет. Теперича, понимаешь, он наш первый агитатор за Советскую власть...

— Нехай других агитирует. Мне то все одно, шо пятое колесо до воза, — криво усмехнувшись, перебил его Никита. — Я не за тем пришел.

— Он как! — нахмурился Петро. — Так, може, и нам про то скажешь?

— А чего ж. Жену свою дорогую нашел я тут. Додому ее кличу. До хозяйства нашего.

— Так у нее и здесь хозяйство. Поглянь какое, — Петро повел рукой, приглашая Никиту полюбоваться плотиной. — Бачишь, какую подкову на счастье куем? Одну, а всех нас богатеями сделает.

— Шось оно не дуже видно по тебе то самое богатство, — глядя на прихваченные проволокой сапоги Петра, уел Задорожнего Никита. — Мы якось и без него у Андреевке обойдемся, чуешь. Скоко год жили без клопоту и дальше так будет.

— Э-э-э! Нет, Никита, — покачал головой Петро. — Не буде так. Не для того мы революцию делали, шоб у одного сорочку пузом разрывало, а у другого и подперезаться не было чем. Не для того. Усем Советская власть — ненька, кто до нее горнется. Поставим электростанцию, заводы, фабрики, — усих оденем, обуем, нагодуем...

— Казал слепой: побачим.

— Ну, шо ж! — развел руками Петро. — Кажись, бачу, шо ты и правда слепой. Не веришь, выходит?

— Выходит, нет. Може, придет час, и поверю. Тогда скажу. Сам... сам приеду до тебя с Андреевки и скажу: «Ты, Петро, был правый». А зараз не верю. Хоть ты лусни тут, а не верю. Пойнял?

— Нет, Никита, тогда уже поздно будет. Богато воды утечет. Та и Андреевки нашей уже не будет.

— Как-то не будет? — вскинулся Никита. — Куда ж она поденется?

— А под воду уйдет.

— Шо ты мелешь такое своим дурным языком?!

— Петро правду кажет, Никита, — подала голос Марийка. — Под затопление наша Андреевка пойдет.

— А хаты?! А люди?! Как?! — свистящим шепотом выдавливал из себя Никита. — А сады?! Все богатство наше порушить. Як же так?

— Ну, богатство там у тебя и еще у двух-трех таких самых, как ты, имеется, — возразил ему Петро. — Большинство же паны — на двоих одни штаны. И хаты у андреевцев наших хуже, чем у тебя будка для собаки. Для них новые хаты на новом месте построим. И тебя, не бойся, не обидим. Будешь жить себе припеваючи. А то все ж подумай. Може, до нас с Марийкой переедешь? Ждет она тебя, черта. Новую жизнь начнешь...

Ничего не ответил ему Никита. Черная злость глаза застелила. Шел он, не видя перед собой стежки. Сам не знает, как до брички

своей добрался, как сел в нее и поехал. Опомнился уже за городом, когда на знакомый большак его кони вывезли. Откуда-то сбоку тяжело фыркнула воронья стая, пугая медленно бредущих лошадей. Те вскинулись и пустились под гору рысцой. Никита недоуменно огляделся: «Где это я? — подумал. — Куда меня черти занесли?» Увидев мост, догадался: рядом Матвеевка. «Под воду...» — назойливо поскрипывали колеса, и он, слушая их, снова стал закипать лютостью.

— Но! Стерво! — рявкнул, с силой хлестнув батогом лошадей. — Пашел! Па-шел!

Лошади рванули с места и понеслись. А он хлестал и хлестал их по крупам, вкладывая в каждый удар свою ненависть к Петру Задорожнему, ко всему тому миру, который приходил с ним, тесня и обкладывая его, Никиту Прудкосвиста.

Он не помнит, как добрался до своего двора, как распрягал лошадей и входил в дом. Проснулся лишь на следующий день от нестерпимой жажды и ужасной головной боли.

— Де я? — потирая затылок, пытался сообразить, оглядывая грязный стол с беспорядочно разбросанными надкусанными огурцами, кусками хлеба и сала — Пьяный... Пьяный, як свыня... Бож-же мий!

Пошатываясь на нетвердых ногах, вышел в сени и, зачерпнув кружкой из ведра воды, припал губами. Напившись, толкнул ногой жалобно скрипнувшую дверь, выбрался во двор. Окинул мутным взглядом хлев, свинарник и конюшню, из которых доносились рев и визги голодных животных. «Голодни тварюки! — подумал с осуждением. — Треба йты... Треба... А нашо? Для чого и кому це треба? Все одно прахом пойдет».

И все же, пересилив себя, занялся кормлением животных. Вначале заглянул в конюшню.

— От ба, Вышня, — прошептал, прижавшись к голове лошади. — Чужий я. Чуешь? Чужий...

Потом угомонил выходивших из себя свиней. Наконец, заглянул к жалобно блеющим овцам.

— О! Хто воюе, вымагае, а вы токо мекаете. Просыте? Жалю-гидни тварюки!

Управившись со скотиной, вернулся в хату. Постоял у стола, тупо глядя перед собой, и подняв наполовину опорожненную бутыль с самогоном, наполнил стакан.

— Эх! Де наша не пропадала!

Выпил один стакан, потом второй и, сразу же повеселев, притопнул ногой.

— Гу-ляй, хлопцы! — подмигнул своему отражению в зеркале. — Гуляй, шоб лыхо тикало...

Он пил несколько дней подряд. Вначале один, потом с заходившими к нему Пересунько и Стешенко, другими соседями и соседками. С кем-то целовался и плакал, размазывая пьяные слезы по щекам.

— Пропала! — приговаривал, жалуясь кому-то. — Пропала жистя, люди добрые. М-м-м...

Не заметил, когда ранее полная гостей и шумная хата вдруг опустела и затихла. Будто заколдовали ее, погрузив в тишину, вязкую и липкую, как мед, что только что накачали из улья. Да так много — под самый потолок. И его, Никиту, погрузили, окунули в самую гущу, из которой он ни выбраться не может, ни позвать кого-нибудь на помощь не в силах. Там, за окошком, что-то происходит, что-то движется. А вот что это? Сам он понять не может, а спросить опять же не у кого. Словом, чертовщина какая-то выходит. Одно спасение для него есть — это все той же самогонки отведать стакан-другой. Тогда, как будто бы тот самый мед пореже становится и не таким липким. Никита тоже вроде легчает душой и телом. Плывет себе и плывет. Да так ему хорошо и радостно, что просто жуть. А сердце так и трепещет, как птица. Так и рвется. Кажется, вот-вот из груди выскочит и полетит-помчится. Куда? Да кто же его знает? Кто скажет? Может, просто на волю, по небу синему летать и резвиться, а может, совсем наоборот, в другой мир. Темный и страшный, туда, где обитает душа деда Саввы, что приняла облик противной серой вороны с немигающими стеклянными глазами и крючковатым и грязным клювом.

— Не ставай, не наступай, Микитушка на те воронины хрестики-следы! — слышится ему жалобный голосок Марийки. — Бабуся казали, шо то погано, шо то на биду...

— Не буду, не буду! — хочется отозваться ей, но только сил нет никаких. И стонет он немо, мечется по кровати, не зная, как Марийку окликнуть и себя спасти.

— Оверкович! Чуешь? — слышит он, будто окликает его еще кто-то.

— О боже! — стонет Никита. — Спасы и помылуй...

— Микита Оверкович, шо з вамы? Та проснитьcя ж. Чуете чи ни?

Он с трудом поднимает веки. Сквозь пелену бело-розового тумана, что застилает глаза, едва различает двоих.

— Хто? Хто вы такие? — спрашивает, едва ворочая языком.

— О боже мий мылый! Та це ж я, Ганна.

— Яка Ганна?

— Та Дротова ж. Дротова. А то он Мыкола Михайленко.

— Чого вам?

— Думалы, шо немае вас. Мо, поихалы кудысь, чи шось приключилось. Бида якась чи шо. Скотына реве, а нихто до неи не пидходыть...

Держась за спинку кровати, Никита садится. Голова раскалывается на части. Тяжко. Ох, как тяжко! Но нужно встать. Обязательно встать и добраться до стола. Там стоит бутыль со спасительным самогоном.

— Та ви б уже не пили, — пробует остановить его Николай. — Хватит.

— Не! Я зараз... Зараз...

Глотнув мутной и вонючей жидкости, Никита с отвращением крутит головой. Но ему уже, кажется, легче. Да, легче.

— Ну, от. Теперь другое дело. Кажете, скотына ревила.

— Ага! Прямо страх одын. Погодувалы и тепер мовчать.

— Добре. Спасыби тоби, Ганна. И тоби, Мыколо. Може, той, до столу сядыте. Тилькы...

— Ни, ни, — трясет головой Ганка. — Мы вже пидемо.

— Завтра заходьте.

— Добре. Та и дело есть, — приглаживая и без того ровно лежащие волосы, промолвил Николай.

— Яке?

— Може, завтра?

— Давай зараз.

— Зараз, так зараз. А дело от какое, Микита Оверкович. Низ нашей Андреевки, вседно, кажут, под воду пустять. Так?

— Може и так.

— Ну, от. Так надумали мы на другое место податься. Переехать, значит.

— Куда ж это?

— А у Новоандреевку.

— Угу! — Никита закусил губу. — До батькобросов, выходит?

— Вроди, — кивнул Николай, знавший, что «батькобросами» называли молодые семьи, которые, оставляя своих родителей, селились в полутора десятках километров от их села.

— Выходит, конец нашему обществу?

— А шо как вы з нами, Оверковичу?

— Я? — Никита засмеялся, но смех его был какой-то неестественный, деланный. — Не. Вы решилы, то и едьте. А я вже тут як-небудь бидуватыму.

— Ну, шо ж. Так, то й так.

— Колю у колгосп бригадиром клычуть, — подала голос Ганка.

— Командувать хочеться? — усмехнулся Никита.

— Просять! — нахмурился Николай.

— Та ты не обижайся. То я так...

— А я и не обижаюсь.

— Мы, уся семья наша, Оверкович, молытысь на вас будемо за те, шо вы для нас зробылы...

— Та чи ж я на бога схожий? Бильше на того, шо з рогамы.

— Не кажить так. То неправда. Хто-хто, а я вже знаю вас.

— Колы трогаете?

— Завтра. Поспишаты треба. Не вспиешь оглянуться, а воно вже и сияты час. Так, Колю? — Ганнуся взяла Николая под руку, прижалась к нему.

— Ну, шо ж, — усмехнулся Никита, вспомнив, как успокаивал Ганку, решившую признаться ему в любви. — Завтра, так завтра. Чим идете?

— Та хотилы...

— Добре. Германа мого берить. Завтра проведу вас.

На следующий день Никита поднялся чуть свет. Самогонки в рот не брал. Только кусочек хлеба сжевал и тут же принялся обхаживать лошадей и скотину. Управившись, сам запряг уже начинающего стареть трофейного конягу Германа и подъехал ко двору Дротовых.

— Готовы?

— Давно, давно готовы, Оверкович.

— Давайте грузыться.

Проводив Ганку с Николаем и радующейся предстоящему путешествию детворой за околицу, Никита еще долго стоял, глядя во след катившейся бричке. Дождался, пока она совсем исчезла за горизонтом, и, вздохнув, медленно побрел домой.

Заходить в хату не хотелось, и Никита занялся хозяйством. Почистил конюшню с сиротливо стояшей Вишней. Потом перебрался к овцам и, наконец, уже основательно уставший, направился в свинарник, где его появление встретили ленивым рохканьем трое свиней.

— Ну, шо? Нагулялы сала? — усмехнувшись, буркнул Никита. — Тепер ножа чекать будете? Буде! Скоро вже прыйде ваше время. Скоро.

Пробурчав, замолк, тупо глядя на животных. Вот пообещал им конец, а они хоть бы хны. Потому как не знают о своей смерти, не думают о ней. Может, оно и лучше так-то? Ведь он, Никита, сколько помнит себя, все боялся ее, косматую. То кто-то пугал его, рассказывая всякие страшные сказки и истории, от которых волосы становились дыбом и мурашки по телу бегали, то сам он придумывал разные ужасы, которые могли случиться либо с ним, либо с кем-нибудь из его близких. И так, наверное, каждый человек. Пока той самой смерти дождется, страхом изойдет. Она приходит, а он-то, этот самый страх, весь уже вышел. Как-то, помнится, Марийка о бабусе своей рассказывала. Старенькая та была, покрученная и изогнутая. Еле-еле по хате двигалась и все вздыхала:

— Осподи! Владыко небесный! Зажилась я тут. И сама мучаюсь, и людей мордую.

— Бабуся! — делала большие глаза Марийка. — А чи ж не боитесь вы? Ну, як почуе вин.

— Чого ж бояться, дурненька? — шамкала беззубым ртом та. — До бога пора. Я вже свое отжила...

А он сам разве не отжил? Ну кому, скажите на милость, он нужен сейчас? Кому, кроме вот этой скотины? Да и ей не все ли равно, кто будет кормить и поить. Не он, так кто-нибудь другой сделает это, пока не придет время бессловесных тварей пустить под нож. Под нож... Может, самому их сейчас? А? Ведь все равно добро прахом пойдет. И хата, и мельница, и конюшня со свинарником. Все, все. Не сегодня, так завтра. А там, глядишь, и до него доберутся. Не зря же дед Мина, отец их директора школы, гово-

рил, будто в сельсовете списки составляются тех, кто у батьки Махно в армии был. Чего же ждать тогда, как эти рохкающие тварюки? Уходить, бежать отсюда нужно. Бежать. Куда? Да хотя бы в то самое Запорожье. Там сейчас столько люду нагнали. Неужто не затеряется он там? Снимет какую-нибудь комнатенку или даже времянку на первый случай, а там и свою купит. Золотишка ему папашка, слава богу, достаточно оставил. Говорил будто еще где-то припрятал, кроме того пакета за иконой. Только не сказал, где. Он, Никита, по правде говоря, уже весь двор обыскал, горище облазил. Все напрасно.

— Хитрый черт старый! — мотнул головой, заканчивая уборку. — Не в нужнику ж копаться... Та бис його заберы, того клада. Мени самому та и удвох з Марийкою выстачить. А скотыну... Скотыну отдам Пересуньку и Стешенку. Хай хазяйнують...

Приняв такое решение, Никита направился в хату. Достал из-за иконы сверток и, проверив, все ли на месте, спрятал его за пазуху. Потом позвал Пересунько и Стешенко.

— Такое, значиться, дело, сусиды, — начал, разлив самогон по стаканам. — Поришив я покинуть Андреевку.

— Та Господь з тобою, Оверкович! — едва не уронив стакан, воскликнул Стешенко.

— А хазяйство... хазяйство ж як? — вторил ему Пересунько.

— От про то и мова пойдет. Скотыну вам лышаю. Хазяйнуйте.

— Ну да, ну да, — закивал, растерянно моргая глазами Пересунько. — Токо ж де мы тебе гроши за ее знайдем? Скоко ж гето...

— Мени твоих грошей, дядько Тимофей, не треба. Дарю, чуешь. Задарма даю. Пойнял?

— Шось ты, Оверкович, непонятное говориш...

— А шо тут понимать? Кажу ж, шо иду звидсыля. Зовсим иду. Пропадуть же тварюкы. Жалко. Хай хоч вам польза буде. Мо, колысь и мене спомныте, а, мо, и допоможете чим. Як?

— Та чого там? — расплылся в улыбке, все еще не веря в серьезность сказанного, Стешенко. — Завсигда подмогнем. Завсигда.

— Ну да! Ну да! — откликнулся Пересунько.

— От и добре. Давайте ж выпьемо на дорожку, та и по хатах. Будьмо...

В эту ночь Никита спал спокойно. Утром, когда тусклое осеннее солнце лениво выползло на утыканное грязновато-серыми облаками небо, Пересунько разбудил Стешенко.

— Гайда — проведем...

— Кого?

— Кого, кого. Оверковича.

— И правда!

Они направились к хате Прудкосвистов. Но Никиту не застали!

— Ну шо ж, хазяин, — усмехнулся Стешенко. — Давай добро дилыть?

— Давай, — махнул рукой Пересунько.

5

Телеграф весело стучит, подгоняя слова телеграммы, несущей радостную весть в Москву, которая только что встретила пятнадцатую послеоктябрьскую весну:

«1 мая в 6 часов 30 минут вечера от первой машины Днепровской гидроэлектростанции дан промышленный электроток.

Обязательство, взятое перед партией и правительством, коллектив Днепростроя выполнил.

Начальник строительства Винтер Секретарь парткома Лейбензон Председатель райкома профсоюза Бровко».

Дальше события следуют одно за другим. Встают под промышленную нагрузку агрегаты Днепрогэса, вводится в строй первая в СССР линия электропередач в 160 кВ. В печати публикуется постановление ЦИК Союза ССР о награждении работников Днепростроя и занесении на Доску почета организаторов строительства станции. А вот и главное событие — торжественный митинг, посвященный ее пуску.

10 октября 1932 года с раннего утра днепростроевцы колоннами и в одиночку двинули через плотину гидроэлектростанции, гигантской подковой соединившей берег левый и берег правый. Вздыбившийся Днепр как бы приостановил свой неуемный любовный порыв к величаво распластавшейся перед ним красавице Хортице, наткнувшись на возведенную людьми преграду, с тем, чтобы «успокоенным» и «причесанным» лопастями турбин заключить ее в свои объятия. О некогда грозных и смертельно опасных для судоходства порогах напоминали лишь одиноко торчащие каменные островки, застывшие посреди водной глади, что темнела внизу за гребнем плотины.

В десять часов утра на трибуне, установленной на площади перед корпусом машинного зала, что оседлал воспетую казаками скалу Любви, появились «всесоюзный староста» Калинин, нарком Орджоникидзе, руководители Советской Украины Косиор, Чубарь, Скрипник, руководство стройки и округа.

— Винтер, Винтер, — шептал Кате на ухо Петро.

— Где? Где он?

— Та он же, он. Зараз говорить буде.

Начальник стройки волнуется. Это заметно собравшимся. Но ему удается взять себя в руки. Прокашлявшись, он зачитывает рапорт Днепростроя.

— Ток дан, — звонко звучит его голос. — Днепр работает на социализм. Перед нами задача — завершить в поставленные сроки строительство заводов Днепровского промышленного комбината. Наша задача в ближайшее время — дать стране чугун, высокопродуктивную сталь, советский алюминий. Темпами Днепростроя, опытом днепростроевцев мы завершим сооружение гигантов

Днепрокомбината! Да здравствует партия большевиков, ее ленинский боевой ЦК!

Последние слова начальника стройки тонут в криках «Ура!» Винтер передает текст рапорта Калинину, и тот подходит к микрофону.

— Товарищи! — разносится над площадью знакомый по радио голос «всесоюзного старосты», и толпа вновь откликается ликованием. Петро, бросив взгляд на жену, незаметно смахивает слезы. Калинин улыбается и, дав людям немного успокоиться, продолжает:

— Товарищи! Сегодня праздник всех трудящихся СССР. Мы открываем Днепровскую гидроэлектростанцию, которая являет собой даже для современной техники чудо инженерного искусства. На это затрачено огромное количество материальных средств, труда, инженерных знаний и партийных усилий.

Днепровскую станцию строил весь Союз, но главными практическими исполнителями воли трудящихся Союза являются прежде всего рабочие Украины и наградой их титанических усилий мы видим сооружение, которое продвинет дальше техническую мысль и поднимет на более высокий уровень индустриализацию Украины, а тем самым и всего Союза ССР.

Неподалеку от электростанции, не выходя из поля нашего зрения, растет комбинат из ряда ценных заводов. Все это даст возможность усилить автотракторное строительство и тем самым еще больше поднять сельское хозяйство.

Мне хотелось бы отметить, что Днепровское строительство выделяется хорошей организацией и, несомненно, его опыт будет использован и применен на фронте социалистического строительства.

Днепровская электрическая станция правительством зачислена в число действующих предприятий под именем Днепровской гидроэлектрической станции имени Владимира Ильича Ленина...

— У-р-р-а! — прокатилось по площади, поднимаясь все выше и выше по каменистым склонам, заполненным тысячами людей. — У-р-р-р-а-а!

Домой Петро с Катей возвращались радостные и счастливые.

— Ну, Катрусь! — говорил Петро. — Зараз нам никакой буржуяка не страшный. У нас тепер такая сыла-сыленна, шо... шо в усьому свити немае...

— Ох и хвастун же ты, Петь! — сощурила глаза Катя. — Прямо жуткий.

— Ну, от! Ну, от! Ты опять на мене тиснешь, — обиженно поджал губы Петро.

— Не любим мы критики, товарищ Задорожний, — покачала головой Катя, смеясь одними глазами.

— А ну тебе! Невозможна ты людына,.. — Петро хотел было что-то еще сказать, но осекся. — Глянь! Юхим... Юхим Аникишин. Шоб я вмер, Аникишин...

Он кинулся догонять обогнавшего их военного, который быстро удалялся. Догнал и, остановившись, о чем-то заговорил. Катя медленно приближалась к ним. Она давно собиралась рассказать мужу о том неприятном разговоре с Ефимом, но все откладывала. То не хотелось волновать его перед операциями, то мешали какие-то другие причины. Теперь вот... Как быть? Не подойти нельзя. Сделать вид, что ничего не случилось и, как ни в чем ни бывало, включиться в разговор? Но примет ли эту игру Ефим? Захочет ли с ней разговаривать? Катя, хотя и работала теперь в техникуме, начавшем подготовку гидроэнергетиков, все же пару раз заходила в окружной ГПУ. Но с Ефимом не встретилась.

— Здравствуй, Ефим, — поздоровалась, подойдя.

— Здрасте, — сквозь зубы процедил тот, и Катя поняла, что Ефим и сейчас на нее зол.

«Значит, разговора у нас не получится», — подумала она и стала лихорадочно искать выход из создавшегося положения. Окинув взглядом шагающих по плотине людей, заметила знакомого студента.

— Иванопуло! — окликнула и, извинившись, пошла вперед с парнем.

— Чого це вы так? — недоуменно сдвинул плечами Петро.

— Как?

— Ну, вроди чужие...

— А мы и не были никогда своими, — отводя взгляд, буркнул Ефим.

— Як же ты живеш? — спросил, стараясь заполнить образовавшуюся паузу, Петро.

— Да так. Обыкновенно. Работаем. Землю нашу от гадов чистим... Вобщем, работаем. Ты прости меня, Задорожний. На службе я. Спешу. Как-нибудь стренемся другим разом. Тада поговорим. Лады?

— Ну, шо ж,.. — развел руками Петро. — Так, то й так. Бывай.

Вобрав голову в плечи, Аникишин быстро пошел вперед слегка качающейся походкой. А Петро, сплюнув в сердцах, направился к стоящей в сторонке Кате.

— Знакомься, Петя. Это наш отличник Коля Иванопуло, — представила смущенного парня жена. — Будущий инженер.

— Что вы, Екатерина Ивановна! — покраснел тот. — Пока нужно техникум окончить.

— Окончите. И сразу — в институт. Не теряя времени. А инженером вы станете. Обязательно станете. Я верю в вас, Николай.

— Спасибо.

Простившись, Иванопуло заспешил по своим делам.

— Шо то з Юхимом не того, — вздохнул Петро, когда они остались вдвоем. Катя промолчала, неопределенно сдвинув плечами.

— Якийсь он не такой. Чужой, — не мог успокоиться Петро и, бросив взгляд на жену, вдруг остановился. — Слухай! А вы з ным не того... не побылы горшки?

— Да как тебе сказать...

— Значить, шось такое было?

— Было, Петя. Было.

— И шо ж оно такое було? Якшо не секрет, конешно.

— Какой там секрет! Просто... просто товарищ Аникишин хотел укрепиться в жизни с помощью партбилета...

— А ты при чому?

— А при том, что я не поддержала его...

Катя рассказала мужу о своем разговоре с Ефимом, ничего не скрывая.

— Я считаю, — взволнованно закончила она, — что такие люди, как твой Ефим, который везде и всюду видит врагов, для революции не менее опасны, чем те, кто теряет бдительность. Кравчевский подхваливает его и поддерживает, и это вдвойне опасно...

— Ничего не понимаю. Юхим же чесный хлопець...

— Может быть. Но не особенно умный, прости меня, Петя. К тому же, злости в нем поднакопилось больше нормы.

— И шо ж робыть?

— Не знаю. Во всяком случае Ефиму следовало бы подыскать другую работу или послать подучиться. Вон, посмотри, вся страна за парты садится.

— Це ты и у мий город каминьчика кинула? — нахмурился Петро.

— Ну при чем здесь это?! — рассердилась Катя. — Мы ведь с тобой, кажется, договорились, что после пуска гидростанции ты поступаешь на рабфак. Знаю, что у тебя слово не расходится с делом.

Начавший было нервничать Петро успокоился.

— Ох и хитрюща ты, Кать! — покачал он головой.

— Так я же рыжая, Петь! — прижалась к нему жена. — А все рыжие хитренькие.

— Не. Ты в мене не рыжа...

— А какая же?

— Сонячна... Сонячна. От какая, — ответил Петро, чмокнув ее в щеку.

— Ты что, бессовестный! — смутилась Катя. — Люди же смотрят!

— Ну и хай соби...

Прижавшись друг к другу, они шли безмерно счастливые: и тем, что состоялся пуск станции, что и они тоже в какой-то мере причастны к этому великому событию, которое, несомненно, удивит весь мир, а главное тем, что они, наконец, вместе.

— Петь! — неожиданно предложила Катя. — Может, съездим к Марийке? Сядем на трамвай и заявимся?

Предложение и в самом деле было заманчивым. Вот уже несколько месяцев, как Петро не виделся с сестрой. С тех пор, как неожиданно появился Никита. Петро сразу почувствовал перемену, которая произошла с Марийкой. Они жили тогда вместе с ней на квартире. Бывало, Марийка всегда первой домой возвращалась.

Прибежит, приготовит что-нибудь покушать и ждет их, чтобы вместе за стол садиться. А то вдруг стала задерживаться. Раз, другой.

— Чего-то Бовин тебе держить так довго? — поинтересовался однажды Петро. — Як при старому режими.

— То не вин! — вспыхнула сестра. — Сама я... Из Фридою до портнихи ходили... Хочу соби... сукню пошиты хочу.

— Та я ж хиба шо? Думав, хтось там обижае сестричку. Заступытыся треба...

— О! — улыбнулась Марийка — Хто там мене обидыть? Я ж уже доросла.

О разговоре том Петро вскоре забыл. Но, возвращаясь как-то поздно с работы, что называется, нос к носу столкнулся с Марийкой и Никитой.

— Забрала сукню? — не удержался, чтобы не съязвить Петро.

— Та ось Микиту стренула, — пролепетала Марийка.

— Бачу, шо не Фрида! — засмеялся Петро. — Чого ж на холоди його держишь? Запросыла б у хату та чайком гаряченьким пригостыла.

— Ни, ни! — вбирая голову в плечи, отказался тот. — Мени пора вже. Завтра на роботу зранку.

— И де ж ты зараз робышь?

— На заводи «Комунар» вин, Петю. Разом из дядьком Федотом Юнацьким, — протарахтела Марийка.

— Чого ж це ты за мене отчитуешься? — обиделся Никита. — Я б и сам...

— Так з Федотом разом, кажешь? — перебил его Петро.

— Ага. Токо у разных цехах.

— Понятно. Ну, шо ж, передавай прывит Федотови. Хороша вин людына.

— Добре. Передам, — кивнул Никита.

— Ну, гуляйте. Не буду вам заважать. Пока.

— Пока, — отозвался Никита.

— А то заходь. Не стисняйся.

— Може, якось и той... Зайду.

Вскоре Петру с Катей выделили комнату в новом доме на левом берегу Днепра, совсем рядом с гидроэлектростанцией. По выходным дням они любили ходить смотреть, как шлюзуются пароходы. С Марийкой, которая осталась жить на старой квартире, виделись редко. Потом она и вовсе куда-то пропала. Выбравшись к ней в один из выходных, застали в хате и Никиту. По всему было видно, что он не просто зашел к Марийке в гости, а был у себя дома. Перебросившись несколькими малозначительными фразами с Марийкой и Никитой, собрались уходить.

— Так рано? — спросила Марийка.

— Добираться далеко, — оправдывалась Катя, — вот пустят трамвай, тогда и видеться будем чаще...

Теперь трамвай, наконец, пошел. Как раз к самому пуску Днепрогэса состоялось открытие новой линии. Можно было ехать в гости к сестре. Но Петру этого как раз и не хотелось. И причиной тому был, конечно, Никита.

— Так как ты смотришь на то, чтобы проведать Марийку? — напомнила о себе Катя, выводя Петра из задумчивости.

— Не зараз! — коротко бросил он. — Хай Микита трошки заспокоится. У себя прийдет. У робочому колективе, чуешь, хай повариться. Ото паскудство, шо на йому сидит, хай трошки облетить, обтруситься. Поймет, шо с Советской властью, чуешь, шутковать не треба. Партия сказала, шо переробым увесь мир, новую жизню построим, значить, так оно и будет. И ты сычать гадюкою не смий. Не смий, бо роздавым! От так. Буде усим щастя и його, чуешь, не обийдуть. А шоб на чужому горбу сыдиты и поганять, такого больш не буде...

Петро говорил горячо, будучи уверенным в силе Советской власти, в безграничных возможностях той партии, к которой они с Катей принадлежали. И если бы кто-нибудь сейчас случайно возразил, сказал, что это не так, он бы рассмеялся в лицо этому невере. Он не знал, что сияние электрических огней, которые зажглись с пуском Днепрогэса, вскоре ослабится черными тучами беды, которая подкрадывалась к степям Таврии, вползала в селянские хаты, беспрепятственно преодолевая их пороги, неся невиданные страдания и смерть.

Развернув решительное наступление на фронте индустриализации, большевистская партия ни на минуту не забывала о переустройстве крестьянской жизни. Счастье, будущее счастье селянина виделось только в коллективном труде. Однако консервативные мужики не торопились менять привычный образ жизни. Получив от новой власти землю, они считали, что дальше разберутся сами. Но локомотив революции уже двигался по четкому расписанию, и машинист, осуществляющий управление им, не мог позволить, чтобы кто-то сдерживал его бег. Селянам предложили либо поспешить на посадку поезда, следующего до станции «Коллективизация», либо убираться с дороги. Пришлось быстро выбирать. Не каждому и место досталось. Тем же, кто успел вскочить в вагоны, теперь нужно было подчиняться особым правилам, совершенно новым для них и незнакомым. Получалось далеко не у всех. Да не всегда и не каждому этого хотелось. К тому же, в пути стало обнаруживаться, что в спешке кое-что забыли взять с собой в дорогу, прихватив совсем ненужные, лишние вещи. Приходилось искать выход на ходу. А дорога, она и есть дорога. Здесь многого не исправить и того, что осталось, не найдешь.

В Запорожском округе коллективизация, составлявшая к 1928 году менее двадцати процентов, с пуском Днепрогэса была в основном завершена. Успехи в индустриализации формировали возможность создания материально-технической базы для социа-

листического преобразования сельского хозяйства. Ржание и цокот копыт, извечных степных четвероногих трудяг, все чаще заглушали звуки стальных коней, осваивающих черноземные просторы Таврии. Районы округа покрыла сеть МТС. Начинающий привыкать к новой жизни селянин, становясь с помощью техники сильнее, старался все же не забывать о том коварстве, которое таила в себе степь. Что ни говори, а она не всегда была ласковой не только с его предками, но и с ним самим. В памяти у многих все еще жил голодный 1921-й год. Поэтому совсем не случайно у селян выработалась привычка делать запасы на «черный день». Их старались прятать подальше, чтобы уберечь и себя, и своих близких от соблазна использовать раньше времени, то есть до того, когда возможность беды исчезнет, опасность обойдет пороги родных хат стороной. Это был обычай, берущий свое начало от дедов-прадедов, верность которого выверялась не одним десятком лет селянского опыта и который блюли почище всякого закона. Но настали иные времена, возникли иные законы, не только отвергавшие старые, прежние, отжившие, но и пожирающие те социальные формы, которые веками складывались в народе, надежно обеспечивая его безопасность, оберегая от невзгод. Коснулись они и того жизнеобеспечивающего обычая.

1932 год, богатый победами на фронте индустриализации, оказался крайне неудачным для сельского хозяйства. Помощь рабочих коллективов, хотя и поддержала дух коллективизированных селян, надежду на возможность будущего достатка, но они все же не смогли противостоять стихии, которая, казалось, всерьез решила испытать новый строй на прочность. Хлебные закрома страны заполнялись крайне медленно. Возникала угроза нового голода в городах, где прежде всего ожидался прорыв на фронте социалистического строительства. Москва не могла этого допустить.

— Хлеб любой ценой должен быть заготовлен.

— Обеспечить план хлебосдачи! — одна за другой следовали директивы на места.

Недавно избранный председателем колхоза «Червоный казак» Николай Михайленко ходил сам не свой.

— Ну, чого ты? Чого зитхаеш, Колю? — шептала по ночам Ганнуся, пытаясь успокоить мужа.

— Сьогодни знов був уповноваженый з району, — скрипел зубами Николай. — Везы, каже, хлиб.

— Так мы ж и так одвезлы, шо моглы!

— То ж то и оно. Мало, каже, ще треба.

— Багато?

— Пятсот пудив.

— Ой, лышенько!

— Воно. Воно...

— Де ж ты ти пуды визьмешь?

— И знать ничего не хоче.

— Шо ж будешь робыты?

— А бис його зна! Одне знаю: оддамо хлиб сьогодни, завтра голодуватымуть люды, загубым худобу. Тоди все пропало.

Николай пытался встать с кровати.

— Куда ты, Колю?

— Пиду, хоч цыгарку потягну. Може, легше стане.

— Палы вже тут.

— Та як же так...

— Палы, палы.

— Ни, все ж таки пиду. В тебе ж ось-ось дитынка буде, Ганю. Наше дытя. Хиба можна? Хай росте здоровеньке.

Он поднимается и, накинув кожух на плечи, идет в сени. Ганнуся слышит, как он покашливает в кулак, чтобы не разбудить ее брата и сестер. Боже! Как быстро они выросли. Самому младшему Васильку уже скоро четырнадцать, а девчата те совсем невестами стали. И женихи их хату не обходят. Еще бы! Сестры у нее и впрямь красавицы, кровь с молоком. Такие долго не засидятся. Вот-вот сваты в хату пожалуют. Только какая ж теперь свадьба может быть, когда в хате пусто?

— У самого головы пусто! — вздыхает Ганнуся. — А шо ж казать про рядовых колгоспныкив? Боже мий, боже! И за шо ото на нас такое лыхо наслано?

Николай возвращается и, боясь задеть Ганнусю, осторожно устраивается на краю.

— Ось послухай, — берет она его руку и кладет себе на живот. — Чуешь, як стукае?

— Ага!

— До нас проситься.

— И хто ж у нас буде?

— Хлопчик. Козак буде.

— А ты звидкиля знаешь?

— Серце каже.

— Ну, хай, — соглашается Николай, но, чтобы не обидеть жену, добавляет:

— А якшо и дивчинка, тоже добре. Тоби помошныця.

— И то правда. Ну, спы вже. Тоби рано вставать.

Они некоторое время лежат молча.

— Ганнуся! Ти не спишь?

— Не сплю. А шо?

— Ришив я, шо хлиб не повезу. Краще сховаю у Стешенка и Пересунька. Воны поки що не в колгоспи. Сами господарюють.

— А якшо найдуть?

— Ну, шо ж...

— От времьячко! Бож-ж-же! Просты мене гришную. Сохраны и помылуй.

— Добре, давай-таки спаты...

Забывшись в тревожном сне под аккомпанемент свирепой вьюги, что высвистывала свою лють, гоняя по селу полохливые стаи снежинок, молодая семья не знала, какая им уготована доля. Между тем, беда уже приближалась к порогу их хаты, собираясь нанести свой удар.

Декабрьским днем собралось экстренное заседание бюро Запорожского окружкома партии. Окинув собравшихся внимательным взглядом, словно прикидывая, как воспримут товарищи по партии то, что им сейчас станет известно, секретарь окружкома раскрыл лежащую перед ним папку и, покашляв в кулак, заговорил глуховатым голосом:

— Товарищи члены бюро! Мы собрали вас для того, чтобы познакомить с чрезвычайно важным секретным документом, который не подлежит опубликованию в печати.

Он поднял голову и хотел, видимо, что-то сказать, но, встретив настороженный взгляд начальника окружного отдела ГПУ Кравчевского, осекся и снова уткнулся в листки бумаги, которые слегка подрагивали в его руках.

— К нам два часа назад доставлено Постановление ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров Союза ССР от 14 декабря сего года «О хлебозаготовках на Украине, Северном Кавказе и в Западной области». Разрешите его огласить.

Секретарь окружкома еще раз покашлял в кулак и, не отрывая взгляда от текста, начал читать:

«Заслушав доклады секретаря обкома Западной области т. Румянцева, секретаря ЦК КП(б)У т. Косиора, секретаря Днепропетровского обкома т. Строганова, секретаря Северо-Кавказского крайкома т. Шеболдаева, ЦК ВКП(б) и СНК СССР постановляют:

1. Обязать ЦК КП(б) У и Совнарком УССР, под личную ответственность тт. Косиора и Чубаря, закончить полностью план заготовок зерновых и подсолнуха до конца января 1933 года.

2. Обязать Северо-Кавказский крайком и крайисполком под личную ответственность тт. Шеболдаева и Ларина, закончить полностью план заготовок зерновых к 10—15 января 1933 года, а подсолнуха к концу января.

3. Обязать обком и облисполком Западной области, под личную ответственность тт. Румянцева и Шелехеса, закончить полностью план заготовок зерновых к 1 января 1933 года и план заготовок льна к 1 февраля 1933 года.

4. В виду того, что в результате крайне слабой работы и отсутствия революционной бдительности ряда местных парторганизаций Украины и Северного Кавказа, в значительной части их районов контрреволюционные элементы — кулаки, бывшие офицеры, петлюровцы, сторонники Кубанской Рады и пр. сумели проникнуть в колхозы в качестве председателей или влиятельных членов правления, счетоводов, кладовщиков, бригадиров у молотилки и т. д., сумели проникнуть в сельсоветы, земорганы, коопе-

рацию и пытаются направить работу этих организаций против интересов пролетарского государства и политики партии, пытаются организовать контрреволюционное движение, саботаж хлебозаготовок, саботаж сева, — ЦК ВКП(б) и СНК СССР обязывают ЦК КП(б)У, Севкавкрайком, СНК Украины и крайисполком Севкавкрая решительно искоренить эти контрреволюционные элементы путем арестов, заключения в концлагерь на длительный срок, не останавливаясь перед применением высшей меры наказания к наиболее злостным из них...»

Секретарь окружкома сделал паузу и, глотнув воздуха, продолжал, несколько снизив то ли от усталости, то ли от волнения темп чтения:

«... 5. ЦК и СНК указывают партийным и советским организациям Советского Союза, что злейшими врагами партии, рабочего класса и колхозного крестьянства являются саботажники хлебозаготовок с партбилетом в кармане, организующие обман государства, организующие двурушничество и провал заданий партии и правительства в угоду кулакам и прочим антисоветским элементам. По отношению к этим перерожденцам и врагам советской власти и колхозов, все еще имеющих в кармане партбилет, ЦК и СНК обязывают применить суровые репрессии, осуждение на 5—10 лет заключения в концлагерь, а при известных условиях — расстрел...»

Прочитав последнее слово, секретарь замолчал, потирая лоб, а потом, словно испугавшись собственной нерешительности, зачастил:

«... 6. ЦК и СНК отмечают, что вместо правильного большевистского проведения национальной политики в ряде районов Украины, украинизация проводилась механически, без учета конкретных особенностей каждого района, без тщательного подбора большевистских украинских кадров, что облегчило буржуазно-националистическим элементам, петлюровцам и пр. создание своих легальных прикрытий, своих контрреволюционных ячеек и организаций.

7. В особенности ЦК и СНК указывают Северо-Кавказскому крайкому и крайисполкому, что легкомысленная, не вытекающая из культурных интересов населения, не большевистская «украинизация» почти половины районов Севкавказа при полном отсутствии контроля за украинизацией школы и печати со стороны краевых органов, дала легальную форму врагам советской власти для организации сопротивления мероприятиям и заданиям советской власти со стороны кулаков, офицерства, реэмигрантов-казаков, участников Кубанской Рады и т. д.

В целях разгрома сопротивления хлебозаготовкам кулацких элементов и их «партийных» и беспартийных прислужников, ЦК и СНК Советского Союза постановляют:

а) Выселить в кратчайший срок в северные области СССР из станицы Полтавской (Северный Кавказ), как наиболее контрреволюционной, всех жителей за исключением действительно пре-

данных соввласти и не замешанных в саботаже хлебозаготовок и единоличников и заселить эту станицу добросовестными колхозниками-красноармейцами, работающими в условиях малоземелья и на неудобных землях в других краях, передав им все земли и озимые посевы, строения, инвентарь и скот выселяемых.

Ответственность за проведение этого решения (пункт «а») возложить на тт. Ягода, Гамарник (с заменой т. Булиным), Шеболдаева и Евдокимова.

б) Арестованных изменников партии на Украине...»

Секретарь окружкома, будто споткнувшись на этой фразе, закашлялся.

«... Арестованных изменников партии на Украине, — остановив кашель, продолжал он, — как организаторов саботажа хлебозаготовок, бывших секретарей районов, предисполкомов, зав. райзу, предрайколхозсоюзов, а именно: Ореховский район — Головина, Пригоду, Паламарчука, Луценко; Балаклайский район — Хорешко, Ус, Фишмана; Носовский район — Яременко; Кобелянский район — Ляшенко; Больше-Токмакскнй район — Ленского, Косячко, Дворника, Зыка, Долгова — предать суду, дав им от 5 до 10 лет заключения в концентрационных лагерях.

в) Всех исключенных за саботаж хлебозаготовок и сева «коммунистов» выселять в северные области наравне с кулаками.

г) Предложить ЦК КП(б)У и СНК Украины обратить серьезное внимание на правильное проведение украинизации, устранить механическое проведение ее, изгнать петлюровские и другие буржуазно-националистические элементы из партийных и советских организаций, тщательно подбирать и воспитывать украинские большевистские кадры, обеспечить систематическое партийное руководство и контроль за проведением украинизации.

д) Немедленно перевести на Северном Кавказе делопроизводство советских и кооперативных органов «украинизированных» районов, а также все издающиеся газеты и журналы с украинского языка на русский язык, как более понятный для кубанцев, а также подготовить и с осени перевести преподавание в школах на русский язык. ЦК и СНК обязывают крайком и крайисполком срочно проверить и улучшить состав работников школ в «украинизированных» районах.

е) В отмену старого решения разрешить завоз товаров для украинской деревни и предоставить тт. Косиору и Чубарю право приостановить снабжение товарами особо отстающих районов впредь до окончания ими хлебозаготовительного плана.

Председатель СНК Союза ССР В. Молотов (Скрябин)

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин».

Окончив читать, секретарь окружкома поднял голову и, обведя взглядом членов бюро, которые молча сидели, стараясь не глядеть друг на друга, тихо обронил:

— Да. Такие вот дела, товарищи.

Какое-то время в кабинете стояла тишина. Члены бюро, опустив головы, сосредоточенно рассматривали перед собой участки стола, покрытого зеленым сукном. Стараясь не глядеть друг на друга, они словно вьискивали на этих мертвых квадратиках ответы на трудные вопросы, которые рвались наружу, сквозь кордоны плотно сомкнутых губ.

— Вот беда! — не выдержав, вздохнул председатель окрисполкома.

— Что вы имеете в виду? — тут же вскинулся Кравчевский.

— Голод... голод, Павел Васильевич! — пожал плечами председатель окрисполкома.

— Еще нет голода, Иван Васильевич! — отрезал Кравчевский. — Его хотят организовать враги советской власти. Но мы... партия этого не позволит. Не даст задушить голодной смертью революционный рабочий класс, штурмующий бастионы мировой буржуазии. Хлеб на селе есть, и мы его обязаны взять. Взять и засыпать в государственные закрома.

— Н-да! — видимо, откликаясь на какие-то свои мысли, включился секретарь окружкома и тут же, испугавшись опасной неопределенности изданного звука, начал рассуждать:

— Конечно, товарищи, положение тяжелое, можно сказать, критическое положение. Нужно что-то решать...

— Что именно? — нажимал Кравчевский.

— Ну... прежде всего разъяснять это самое положение, усилить агитационно-пропагандистскую работу среди крестьян. Убеждать...

— Убеждать! — скривился Кравчевский. — А тем временем наши враги, бывшие петлюровцы и махновцы... Да, да, товарищи! Именно махновцы, я вам должен доложить, поднимают голову. Они сегодня, проникнув на ответственные участки работы, начинают и уже начали активно саботировать выполнение решения партии и правительства. Вы слышали только что о вопиющих безобразиях, которые были обнаружены в Ореховском и Больше-Токмакском районах. Партия сурово, но справедливо карает тех, кто попустительствует врагам, кто содействует срыву хлебозаготовок. Такие перерожденцы есть не только там. Мы располагаем агентурными данными, что ряд председателей колхозов пытаются укрыть зерно, не обеспечив выполнения плана хлебозаготовок. Буквально вчера наши работники проверили такой сигнал, который поступил из колхоза «Червоный казак». И что вы думаете? Сигнал подтвердился. Председатель колхоза Михайленко спрятал восемьсот пудов хлеба. Восемьсот! И у кого бы вы думали? У бывшего махновца.

— Безобразие...

— Не-ет! — помахал перед собой пальцем Кравчевский. — Это не безобразие. Это преступление. Тягчайшее преступление. При этом, думаю, что готовилось оно планомерно. Коммунист

Михайленко оказался сыном махновца, женился на дочери махновца, в свое время расстрелянного за бандитизм. Нам непонятно, как этого не знали товарищи, которые рекомендовали его председателем колхоза...

— Но там же, видимо, и ваши работники... — попытался было вставить слово председатель окрисполкома.

— Видимо, Иван Васильевич, — остановил его Кравчевский. — Видимо. И мы спросим за это по всей строгости с виновных. Но сейчас не об этом речь. Председатель колхоза «Червоный казак» нами арестован вместе со своим пособником. Завтра мы представим необходимые сведения и я надеюсь, что бюро даст принципиальную оценку этому перерожденцу, подлецу, который пролез в партию, чтобы вредить, изнутри разлагать ее.

— Конечно!

— Безусловно!

— У нас здесь это не пройдет!

...Утро еще не успело вырваться из объятий ночи, и Ганнуся, проводив мужа, прибиралась в хате. Давалось ей это совсем не просто: мешал живот, огромной подушкой выпирающий из-под старенького платьица.

«Ой, Господы праведный! — думала Ганнуся, двигаясь по-утиному от стола к печке. — Та невже ж ото кожна дытына з отакымы мукамы на свит божий появляеться? Чи ж усигда через немич материнську життя народжуеться? И чого воно отак поставлено? Усе жинка та и жинка. А якбы хоч разочок хтось из чоловикив спробував, тоди б воны побачилы, шо воно за штука отакая выносыть и народыть дытыночку. Тилькы шо там одын? От абы один раз маты, а другой батько таку роботу робылы...»

Подумав так, Ганнуся засмеялась. Чего это она сегодня так расходилась? Обиделась на мужа? Нет. Он у нее хороший. Ласковый и добрый. Все его любят и уважают. И колхозники, и Василек, и сестрички. Вся семья. И она, конечно. Правда, чего греха таить, было время, когда думала, что все, прошла любовь к Николе, улетела быстрою птахою. Это случилось, когда Никита на работу к себе пригласил и от смерти голодной их спас. Вначале считала, что просто должна, обязана с ним расплатиться за доброту его. А чем? Чем, когда и в хате, и в коморе пусто? Одно у ней богатство было — красота ее да девичья честь. Его и решила отдать тогда. Только Никита не захотел, обругал последними словами. Не знала куда и глаза девать от стыда. Несколько дней пряталась, пока не пришел к ним в хату и, как ни в чем ни бывало, буркнул:

— Куда це ты пропала? Я ж сам усе не переоблю. Ходим зо мною.

И она пошла. Вот тогда-то все и началось. Будто хвороба какая-то напала. Где бы ни была Ганнуся, что бы ни делала, но мыслями все к нему, к Никите, возвращалась. А тут еще Николай в армию ушел. Не зря же говорят: с глаз долой, из сердца вон. Нельзя

сказать, что она Николку совсем забыла. Нет, она помнила о нем. Ей приятно было получать от него письма. Он оставался для Ганнуси другом детства. Но только другом. Она не могла ни думать о нем так, как думала о Никите, сгорая от страстного желания отдать себя всю, целиком ему, раствориться в нем, слиться с ним, ни тем более делиться с Николкой этими мыслями. Когда же та болезнь совсем доконала ее, и она, во всем признавшись Никите, не встретила взаимности, Ганнуся решила, что жизнь для нее закончилась, и стала готовиться к смерти. Но однажды ночью, накануне того самого дня, когда все должно было свершиться, ее истерзанная, измученная душа решила отдохнуть. Видно, тоже устала и хотела набраться сил перед тем роковым шагом. Может, так это было, а может, и не так. Только Ганнуся и сама не заметила, как уснула. И тут во сне явилась к ней мама. Смотрит на нее такими родными глазами, а в них не то печаль, не то немой укор.

— Мамо! — бросается к ней Ганнуся.

А мама ее сторонится и вроде даже руками от себя толкает. Да так сердито, что Ганнусе даже страшно становится.

— Шо? Шо з вамы, мамочко? — шепчет она, готовая заплакать.

— Як же могла ты, дочко? — качает головой мама. — Як могла клятву свою забуты? Ты ж обицяла... Ты ж клялась мени...

— Яку клятву?! — хочет крикнуть Ганнуся, а не может. Сил нехватает. А мама уходит, уплывает куда-то, растворяется в молочном тумане, что наплывает, укутывает ее...

Проснулась и сразу ту самую клятву вспомнила, что дала маме голодной зимой: беречь сестричек и Василька, быть им вместо мамы. Выходит, и вправду забыла?

«Як же так? Шо ж я мами на тим свити казатыму? — думала, орошая подушку горючими слезами. — Як у оченьки ненькины гляну?»

Спасла ее мама тогда, не пустила, не позволила сделать тот страшный шаг. Приходить в себя она начала. А тут и Николка из армии, с самой границы пришел. Помог ей подняться и рядом с ним пойти. Навеки их доля повязала. Скоро дите на свет появится...

Услышав, как за окном заржали кони, Ганнуся заспешила к окну. Отодвинула недавно повешенную занавеску и окинула взглядом заснеженный двор. У ворот стояли сани, запряженные тройкой лошадей, возле них возился какой-то мужчина в кожухе и с ружьем, а двое незнакомцев деловито шагали к хате.

«То ж при зброи! — тревожно подумала Ганнуся. — Хто б воно таки?»

Дверь со скрипом отворилась, и незнакомцы вошли в хату.

— Доброго дня, хазяюшка! — вежливо поздоровался тот, который вошел первым.

— Драстуйте! — отозвалась Ганнуся. — Проходьте до хаты.

— Спасибо. Мы ненадолго. Здесь живет гражданин Михайленко?

— Тут, тут, — закивала головой Ганнуся. — А де ж йому житы?

— А де ж вин? — спросил второй, как показалось Ганнусе, старший. — Де ж хазяин?

— Та на роботи ж... У коривныку, на конюшни... А може, у поле поихав... Роботы ж у нього...

— Значит, нет хозяина? — поинтересовался первый и, видимо, желая проверить, заглянул за печь и в комору.

— Немае, — развела руками Ганнуся. — Нашо ж бо я брехала.

— Ну добре, добре...

— Може ж, он хлопця послать по нього? Васыльку...

— Не надо! — остановил ее первый. — Не надо. Мы, гето... Как-нибудь сами найдем.

Сказал и, махнув второму рукой, направился к выходу.

— Ой, шось тут не те! — заволновалась Ганнуся. — Шось погане!

Хотела выйти во двор, чтобы позвать Василька, но острая боль полосонула ее по животу. Застонав, Ганнуся опустилась на лавку. Ветер терзал плохо прикрытую дверь, стонал и выл, стараясь ворваться в хату, а она не могла найти в себе силы, чтобы подняться. Приступы боли накатывались на нее один за другим. Стараясь избавиться от них, Ганнуся сползла на пол и, обхватив живот руками, закричала:

— Ма-мо! Ма-м-мочко!

Так, метущейся на полу и кричащей не своим голосом ее и застала Анка Пересунькина. Испугавшись, Анка кинулась по хатам. На ее счастье, неподалеку оказалась тетка Кривилиха, которая незадолго до того приехала из Никополя проведать захворавшую дочь. Она и приняла у Ганнуси роды.

— Хлопец! — прогудела неожиданным для ее тщедушного вида густым голосом Кривилиха. — Бандит! А шоб ты був здоровым!

Понукая перепуганной Анкой, тетка обмыла теплой водой младенца и, уложив на кровать Ганнусю, уселась на лавку, мурлыча себе под нос какую-то веселую песню. Окончив напевать, Кривилиха шмыгнула носом и, подморгнув восторженно смотревшей на нее Анке, изрекла:

— Жизня прийшла! Новая жизня!

Не знала Кривилиха, что к порогу хаты, в которой только что поселилась новая жизнь, уже приближается смерть.

Василек, лепивший с друзьями снеговика, увидев, как к их двору подъехали какие-то вооруженные люди, сразу же кинулся к конторе колхоза.

— Мыкола! — крикнул, переступив порог. — Там якись дядьки!

— Шо за дядьки? — поднял голову Николай.

— Озброени! Може, того... по зерно.

— Яке зерно? — нахмурился Николай.

— Те саме, що з дядьком Стешенком ховалы. Я никому... никому...

— Мовчи, хлопець! — сжал его плечо Николай и, нахлобучив старенькую шапку, скомандовал:

— Ну, гайда.

Они едва успели выйти из конторы, как подъехали те, на санках.

— Гражданин Михайленко? — поинтересовался один из приехавших, как видно, старший.

— Так. Голова колгоспу «Червоный казак» Мыкола Михайленко.

— Пройдемте с нами в контору.

— Добре, — сдвинув плечами, ответил Николай.

Николай и с ним двое приезжих вошли в контору, закрыв за собой дверь. Василек хотел было пойти туда же, но его остановил третий из приехавших.

— Ты куды, хлопчик?

— Я... я брат...

— Туды низзя. Там и без тебе розберуться...

Опустив голову, Василек медленно побрел по улице. Он был уверен, что Николая арестуют. Обязательно арестуют. Ведь о том, что часть колхозного зерна спрятана, знали не только они с Николой и дядькой Стешенко, которые прятали его в покинутой хате Задорожних, но и кое-кто еще. Откуда? Кто же его знает?

«Може, то я протрипався, колы сказав хлопцям, шо Мыкола не дасть пропасты з голоду?» — мелькнула вдруг страшная догадка. Кто-то из хлопцев сказал дома, и — пошло-поехало.

— Ах, дурень я, дурень! — скрипнул зубами мальчишка и слезы обиды брызнули из глаз. Что же делать? Как спасти Николая? Ведь он должен... Он обязательно должен его спасти.

Винтовка! Его винтовка!

Как же он забыл о ней?! Прошлым летом Василек нашел ее в плавнях. Тогда еще думал: сказать или не сказать Николаю. Решил все же пока не говорить.

«Буду йты в армию и скажу, шо своя в мене зброя есть», — рассудил про себя. Теперь та находка пригодится. Только бы успеть, пока увозить Николая будут. Только бы успеть! Добежав до заброшенного сарайчика неподалеку от школы, Василек достал аккуратно завернутую в старый мешок винтовку. Развернув сверток, внимательно оглядел ее. Передернул затвор. Полный порядок. Что он не знает, что такое оружие? Знает.

Выбравшись огородами за село, Василек устроился в кустах и, смахнув рукавом пот со лба, стал ждать. Он уже успел основательно продрогнуть, когда из-за хат показались сани. На них — возница. Тот, который не пустил в контору Василька, а также Николай и кто-то третий. Сидят, понуро опустив головы. Кто же это? Господи! Да это ведь дядя Яков Стешенко, их сосед по Андреевке. Неужто и туда успели добраться? Если нашли зерно, тогда беда. Тогда совсем плохо. Только где же те двое? Ага! Вот и они. Немного приотстав, вторые сани выезжают из села и медленно ползут следом за первыми. Лошадям тяжеловато. Еще бы! В санях четверо ездоков. Прячась от ветра в воротники тулупов, потягивают цыгарки.

«Стрелять? — лихорадочно думает Василек. — А як попаду? То ж тоже люды! Можу и убыты... Грих велыкый...»

Вторые сани все ближе и ближе. Мушка винтовки прыгает перед глазами, перескакивая с одной головы на другую. Будто уводит мальчишку от страшного греха.

«Стрельну вгору. Налякаю цих, може, Мыколи з дядьком Яковом тикать буде легше», — решает он и тут же нажимает курок. Выстрел хлестким ударом кнута разрывает тишину степи, на какое-то мгновение оглушая Василька.

— Пашел! — как сквозь вату, доносится до него оттуда, из саней, и он видит, как лошади, рванувшись, уносят их за собой.

«Шо ж..? Шо ж робыты?!» — лихорадочно думает Василек и, поднявшись со своего места, тут же падает, роняя винтовку...

Вечер опустился над селом, и луна нехотя выплыла на свое место ночного сторожа, лениво оглядывая владения батькобросов, когда сестры, отыскав за селом бездыханное тело Василька, внесли его в хату. Обливаясь слезами, раздели брата и уложили на стол, готовясь обмыть. Ганнуся, проснувшись от их возни, какое-то время недоуменно смотрела на сестер. Наконец поняла, в чем дело. Дико и страшно завыв, она рванулась с кровати и срубленной тополей рухнула на пол.

6

Село, выпотрошенное будто перина, в которой тщательно и долго искали невесть куда исчезнувшую иголку, душил голод. Крестьяне, взростившие и собравшие по зернышку скудный урожай, безжалостно и бездумно забранный у них, что называется, под метелку, умирали, как и жили, — печально и тихо. Город тоже существовал впроголодь, но все же государство, ссыпав в свои закрома весь наявный в стране хлеб, старалось хоть как-то поддерживать рабочий класс из скудных запасов. По заводским цехам и стройкам ползли леденящие душу слухи о страшном море, который выкашивал целые села, но этому не хотелось верить.

— Не може такого буть, — говорил Марийке Никита. — Не повирю, щоб у такое время люди зостались без жодной крыхточки.

— Так кажуть же,.. кажуть, Мыкытушка, — вздыхала Марийка, прижимаясь к мужу, словно желая убедиться, что он и вправду здесь, рядом, что это не просто радостный и счастливый сон, навеянный мучившими ее думами, как это бывало раньше.

— Кажуть, кажуть! — ворчал Никита. — Мало шо можуть ляпать языкамы. Воны ж без тых, без кисток. Он у двадцать первому тож страшный голод був. Токо ж не серед зымы. А туды дали,.. пид весну, пид сорок святых. Я ж добре знаю, бо сам серед людей був. Був и, той, помагав не одному. И Стешенкам, и Пересунькам, и Дроботовым...

Назвав фамилию Ганнуси, Никита замолкает и, покашливая, поворачивается на бок. Он не стал рассказывать Марийке всего о той своей жизни, когда остался один. Зачем? Еще подумает, что он оправдывается перед ней, хочет повиниться. А в чем? Разве он виноват? Разве не Марийка тогда ушла, бросив его? Правда, он тоже не во всем был прав. Но признаваться в этом Марийке не стоит.

«Ще задере носа до самого неба, — решил про себя. — Треба буде мазнуть по пыци колысь, а потим не змажешь, бо не дистанешь. Батько ж недарма казалы: не хвалы погоду зранку, а жиночку до труны. Воно и правда!»

Батько, батько... Где ты сейчас? Живой ли? С тех пор, как заскочил той зимней ночью в село, удирая от конников Петра Задорожнего, больше они так и не виделись. Может, с Нестором Ивановичем сиганул за границу и живет себе припеваючи, а может, пристал к кому-нибудь в приймы и затих, боясь в родные места нос показать. Конечно, у него есть к тому причины. Еще какие! Не одному сала за шкуру залил так, что и по сей день опомниться не могут. Только ведь и его самого по шерсти никто не гладил. С чего же тогда мурлыкать, как кот довольный и сытый? Время такое было: или ты его согнешь, или он тебя в землю сырую навеки уложит. Каждый за свою правду стоял. Да не кулаками или палками эту самую правду доказывал, а пулями, шашками, гранатами да

снарядами убеждали друг друга. Поди возрази. Враз тебя на куски разнесут и собирать не станут. Скажи слово какое поперек, не кому-нибудь, а другу, с которым недавно неразлейвода были, тут же — обида смертельная. Ну, взять хотя бы их с Петром. Они ж в детстве, как братья были. Сколько всяких историй тот Петро ему порассказал. И про Кондрата Булаву, и про друга его Игнат-козака, что увел братков с Дона аж за синее море, когда, значит, царь Петро I войной на дончаков пошел, и про славного атамана запорожцев Ивана Сирка... Да мало ли каких еще других! Всех и не упомнишь. Правда, Петро тоже гусь добрый. Видать, не только про то, что взаправду было им, мальцам, говорил, но и от себя кое-что прибрехивал. Да и немало. Взять про тех же игнат-козаков, что за море когда-то уплыли. Было такое или нет, пойди проверь. Папашка, когда ему ту историю пересказал, высмеял его, Никиту, и еще по шее треснул.

— И-и-и! Дурне ты в мене теля, — обругал в сердцах. — Тот безштанько усякую ярунду тебе брешет, а ты вуха на спину поклав и слини пускаешь. Хвакт, дурне теля.

Ох, и обиделся он тогда на Петра. Это ж надо так дурить! Ты ж поглянь только, что он такое наплел им. Будто Игнат-козак птицей становился и каждый год из-за моря к ним в Андреевку прилетал. Чего, спрашивается? А чтобы казацкой могиле, где спит вечным сном турками порубання запорожская варта, поклониться.

«Это шо ж оно выходит? — думает Никита. — С той поры, как за море поплыли тые самые гнат-козаки двести годов, а мо, и трохи больше гайнуло. Ага! А они ще и доси живые? Ну и брехуняка! И птицей обертается. То ж треба отакого напридумывать! Отак, зараза, мысли свои паскудные на казочки перероблял. Ну да! А я верил. И правда дурне теля...»

Мысли на сказочки переделывал... Но разве не бывает так, что эти самые мысли вдруг оживают? Сколько раз он, Никита, думал о том, как встретит Марийку и они снова будут вместе. И с Петром не раз в мыслях мирился. Теперь Марийка рядом. Это уже не сон, а настоящая правда. Хоть порой ему кажется, что спит он и видит сон. Такой желанный, радостный и счастливый. Нет-нет, а так и хочется тряхнуть головой и проверить, правда то или нет. Сейчас даже стыдно самому признаться, а ведь вначале он даже боялся... Боялся, что вдруг проснется и всего этого нет, а он опять один. Ну, люди там всякие ходят, что-то говорят ему, он — им. А все равно на душе у него пусто и одиноко. И жизнь будто стороной проходит: он сам по себе в хате сидит, а она — за окошком делается. Зачем? Для чего? Он и сказать не может. Только ненужная она, неживая. Бессердечная, что ли? Вот-вот! Именно бессердечная. Потому как сердце человека живым делает, а само живет, когда другим сердцем согревается. И не всякое сердце то тепло имеет. Лишь особое, родное. Когда находят они друг друга, тогда, видать, и появляется то самое чудо, что называется родной душой.

Любовью, значит. И она тоже без мыслей не появляется. Думают о ней, зовут. А как же! Не зови ее, она и не откликнется. Будет ходить себе вокруг да около твоей души, а на порог ее так и не ступит. А пришла — тут уж не только живи да радуйся, но и стереги, чтобы не ускользнула, не покинула. И наивернейший сторож в этом деле — дети. Их-то как раз и нет у них с Марийкой пока. Пока... Хочется им иметь маленьких. Очень хочется. Но что-то не получается, не дает им бог радости такой. Марийка уже и к ворожке ходила. Да и сам он тоже к ней заглядывал. Перстенек за труды ее отдал.

— Ты ось шо,.. — краснея, мямлил, с трудом выговаривая слова, — подмогни, чуешь. Я тебе, той, одблагодарствую...

Думает он про то. Зовет в мыслях. Надеется. Всякие думы в голове его бродят. Но это — главная. Правда, в последнее время Никита замечает, что думы его далеченько убегать стали. Крутит он гайку в цеху или там молотком стучит, а они на своих крыльях за город его выносят. Туда, в Андреевку. В заводском шуме то ржание оставленной соседям Вишни, то стук молотилки чудятся. Кажись, слово себе дал — не думать о брошенном. Знает ведь, что все — и хата их, и двор, и мельница батькина под воду ушли. Нет их больше. Но все же тянет туда магнитом. Спасу нет, так тянет...

— Ты не слухаешь меня, Микитка? — доносится до него обиженный голос Марийки. — Спишь, мабуть?

— Трохи... трохи прикорнув, — смущенно покашливая, откликается он, — шось я стомывся сьогодни...

— Ну, спи, спи вже, милый. То ж я дядьку Коваля стренула сьодни и, бач, розговорилась. Село наше згадалось, хата...

— Нема вже села... Андреевки нашой нема. Втопылы. Разом з порогом Вольным на дно пишло. Усе чисто...

— Та не, — вздыхает Марийка. — Казав дядько Петро, шо токо нижни хаты вода забрала, а верхи трохи ще стоять. И людей зовсем немае. Чисто мор пройшов. Аж страх бере...

— Нехай тепло стане. Може, наведаюсь туда... У края наши.

— И правда. Взимку хто ж туда поедет, та и звидты... Може, оно и не так, як кажуть...

— Хто ж його знае. Поживем — побачимо.

Весна пришла неожиданно. Будто где-то сидела в засаде, поджидая своего часа, а, когда тот настал, дружно ударила. Налегла и, тесня зиму, принялась наводить свой порядок. Толстое снежное одеяло, покрывшее бескрайнюю степь Таврии, день ото дня худело, обнажая грудь просыпающихся полей, истосковавшихся по пахарям. Заботой о хлебопашцах жило и государство. Опасный период был пройден. Голод хоть и коснулся своим черным крылом городов, но только слегка. Закрома державы, строящей новый, сказочный дом, в котором, всем, как говорилось тогда, будет житься светло, тепло и сытно, еще не были опустошены. Имелись необходимые запасы семенного фонда, которые срочно направ-

лялись в районы Украины, особенно пострадавшие от голода. Сюда же шли эшелоны с сельскохозяйственной техникой и скотом, который должен был пополнить основательно поредевшие коллективизированные стада. Думая о хлебе насущном для своих сограждан, о будущем, государство спешило на помощь селу. Но было уже слишком поздно. Значительная часть селян, еще с осени лишившись своих запасов, как ни старалась, не смогла выстоять в борьбе с бедой и навеки ушла в столь любимую ими землю. Те же, кто еще имел физические силы и не утратил надежду на спасение жизни своей и близких, двинулись, куда глаза глядят в поисках куска хлеба. Их сотнями обнаруживали в российских деревнях Курской, Орловской, Воронежской и других областей. Власти собирали истощенных, обезумевших от страха беглецов в специально отведенных пунктах и, немного подкормив, отправляли назад.

— Езжайте! — успокаивали их. — Езжайте! Помощь к вам уже пошла. И зерном, и продуктами, и техникой.

Они возвращались к родимым порогам, чтобы спасти, вернуть к жизни умирающее село. Однако имеющихся там ослабленных до предела рук для этого явно было мало. Пришлось прибегать к помощи рабочего класса.

— Слыш, Оверкович! — подошел однажды к сосредоточенно трудившемуся напильником Никите работавший с недавних пор мастером Юнацкий. — Мне поручили подобрать бригаду мужиков в помощь подшефному колхозу. Может, включить тебя?

«Не треба!» — хотел было отказаться Никита, и ему даже показалось, что он произнес вслух эти слова. Но, подняв голову, встретил ждущий ответа взгляд Юнацкого и сказал совсем другое:

— Ну, якшо треба, то шо ж...

— Добре! — усмехнулся Федот Никифорович. — Тогда завтра раненько и двинемся.

Придя домой, Никита поделился новостью с Марийкой:

— Думаю, шо за тыждень впораемось, — говорил он, с удовольствием плескаясь водой, которой поливала его из кружки жена.

— И я з тобою поиду, — сказала Марийка. Да так решительно, что Никита вначале даже растерялся. Хотел было ответить грубостью, сказать, что ее туда не звали, что не хватало, чтобы она за ним таскалась везде и всюду, что его засмеют заводские хлопцы или еще что-нибудь в этом роде. Но сдержался. Приняв из рук Марийки полотенце, тщательно вытер лицо, шею и лишь после этого искоса глянул на жену. В ее глазах, полных мольбы и отчаяния, уже застыли слезы, готовые вот-вот сорваться и побежать, покатиться по щекам. И вся она показалась ему такой маленькой и несчастной, как в те далекие-далекие годы детства, когда он готов был за каждую ее обиду, каждую слезинку драться с кем-угодно, рвать на куски.

— Ты ж на роботи, — промямлил он, отводя взгляд. — Та и голодно там, кажуть. Дуже голодно...

— Я отпрошусь! — обрадовавшись, защебетала Марийка. — Скажу Юлию Липповичу, шо приеду и потом одроблю. А пока воны з Фридою якось перебудуть.

После пуска Днепрогэса Марийка наотрез отказалась идти учиться, на чем настаивали Петро с Катей, и вновь возвратилась в фотографию Бовина. Никита ей тогда ничего не сказал, но в душе был доволен. Что ни говори, а все-таки ближе к дому. Не нужно каждый день подниматься чуть свет и, сломя голову, спешить кто его знает куда, в тот грохочущий муравейник. Да и меньше будет видеться с Петром и его шустрой женушкой. Ого! Еще какой шустрой. Никита сразу узнал эту рыжую фельдшерицу, которая считалась лахудрой самого Левки Задова. Узнал при первой же встрече и, признаться, даже испугался.

«А ну как эта рудая дамочка меня тож узнала? — подумал он. — Зараз начнет успоминать, як разом з батькой гуляли».

Но Катя или на самом деле его не узнала, или просто сделала вид.

«Ну, и слава богу!» — успокоился Никита, однако решил, что лучше держаться от своих родственников подальше. Теперь вот он уедет, а Марийка к брату побежит. О чем они там с ней говорить будут? Чему учить станут? Нет. Пусть уж лучше с ним едет. Все же рядом будет. А хлопцам своим он как-нибудь объяснит. Да и сами они увидят и поймут, кто тут у них за старшего. Еще как поймут!

— Куховара,.. куховара, кажись, шукав Федот Никифорович, — почесывая затылок, обронил он.

— От и добре!

— Токо ж на усю громаду.

— Аякже! Я зумию. Ось побачишь.

— Раз так, то бижи до свого Лыпового договорюйся.

Одевшись, Марийка выскочила на улицу и вскоре возвратилась счастливая.

— Усе в порядку! — сообщила радостно. — Договорились.

— Так, то й так, — усмехнувшись, отозвался Никита.

— Шо ж, буду збираться.

— Та шо там нам збиратысь? Як голому пидперезатысь.

— Не кажи! — покачала головой Марийка. — Хто зна, скилькы там будем.

— Ну дывысь...

Юнацкий сразу же согласился взять в свою бригаду Марийку.

— От и добре! — обрадовался он. — А я уже думал, что там, в Новоандреевке будем по очереди кашеварить.

— Мы накашеварим! — подмигнул Марийке голубоглазый парень. — То пересолим, влюбившись, то недосолим, тоскуя.

Он и в дороге все посматривал на Марийку с впереди идущей телеги и что-то рассказывал соседям, вызывая у них смех.

— Хто то такий? — улучив момент, спросила у мужа Марийка.

— Який?

— Он той, билявенький.

— А! То Сашка Лейман.

— Еврей?

— Не. Каже, шо нимець. А там хто ж його знае. А чого пытаешь?

— Та так. Все гыгыка и гыгыка. Чого б то?

— Веселый. Дуже веселый.

До места добрались под вечер. Председатель колхоза Иван Середа, до недавнего времени работавший слесарем в одном цеху с Никитой, встретил их радушно.

— В самый раз поспели, товарищи, — сияя цыганскими глазами, откровенно радовался Середа. — Думал завалим посевную. Как пить дать, завалим. Теперь порядок будет.

— Кормить будешь, все сделаем, — подмигнув Марийке, вставил Лейман.

— С харчем плохо, братки, — сразу нахмурился председатель. — Очень плохо.

— Ладно, ладно тебе, баламут, — шумнул на Сашку Юнацкий. — Нечего людей пугать. А ты не бойся, Иван. Со своим мы харчем прибыли. Знали ведь, куда едем.

Пока Юнацкий и Середа обсуждали свои вопросы, Никита с Марийкой отправились осматривать село. Село, как село. Только по всему чувствуется, что оно молодое, не обустроенное. И построек хозяйственных во дворах маловато, и деревья еще не разрослись. Да и сами хаты выглядели не так, как в их Андреевке. Вытянувшись в две цепочки по сторонам улицы, они походили на драчливых подростков, изготовившихся к бою. Казалось, вот-вот они сдвинут на затылок свои соломенные шапки и, забыв обо всем на свете, ринутся мотузить друг друга по чем попало. Будто забот у них никаких нет, и на неухоженность, что проглядывала во дворах, все еще не закрытых от постороннего взгляда заборами, им, что называется, наплевать. Главное — порезвиться, выпустить из себя рвущуюся наружу дурную силу, а дальше — хоть трава не расти.

— Да! — вздохнул, покачав головой Никита. — Биднувато живуть батькобросы. Биднувато.

— А чего? — спросила Марийка. — Чего ты их так назвав?

— Батькобросы?

— Ну да.

— Того, шо хаты батькив своих бросылы и оселылысь ось тут. Серед степу.

— А-а-а! Тепер понятно. Люды тут и, правда, бидни. И хаты якись не таки, як у нашому сели. Курени — не курени и хаты — не хаты. Маленьки и у дворах пусто: ни тоби коровкы, ни курей чи качечок...

Они подошли к хате, стоящей почти на самом краю села, и уже собирались возвращаться к конторе, когда из глубины двора, обнесенного уже успевшим полуобвалиться тыном, появился старик. Опираясь на палку, он неторопливо доковылял до калитки и остановился, с интересом рассматривая пришедших.

— Доброго вечора, диду! — поздоровался Никита.

— Драстуйте, — откликнулся старик, глядя на него из-под нахлобученной почти на самые глаза лохматой шапки. — Не взнаешь, Оверковичу?

— Господи! — Приглядевшись, всплеснул руками Никита. — Дядьку Тымофий? Вы ж... вы ж зарослы, як дидуган.

— Ну да! Ну да! — закивал головой тот.

— Марийка! Так це ж дядько Тымофий Пересунько. Взнаешь?

— Ой, боже ж мий! Боже мий! Та невжеж... Она хотела сказать, что он очень изменился, но поняла, что может обидеть односельчанина, и замолчала.

— Шо? Старый, мабуть?

— Ну, як вам сказать...

— А ты так и кажи, дочко. Так и кажи. Бо за цей рик мы тут уси геть постарилы, мать, рокив на сто.

Пересунько замолчал и, отвернувшись, смахнул рукавом фуфайки набежавшую слезу.

— А ты ж чия будеш, дочка?

— Так це ж Задорожних Мария, — ответил за Марийку Никита. — Жона моя, значится.

— Он воно як! Выходыть, знайшов свою долю, Оверкович?

— Знайшов, дядько Тымофий, — смутился Никита.

— Тепер же держиться одын одного, бо таке життя зараз...

Пересунько махнул рукой и снова замолчал, покашливая и часто моргая слезящимися глазами.

— А сюда ж чого прыбулы? До когось у гости?

— Та не! Помогать колхозную жизню настраивать, — выдавил из себя Никита. — Шехвы мы, чи шо.

— Ну да! Ну да! — покивал головой Пересунько. — Воно, канешно, треба... Треба, бо исты уси хочуть, чуешь.

Из полураскрытых дверей хаты послышался детский плач. Заливистый, требовательный. Пересунько, приподняв шапку, поклонился Марийке с Никитой и заковылял к хате. Остановившись посреди двора,обернулся.

— Слухай, Оверковичу! Будуть на постой вас опридилять, так ты, той, просысь до Серденькив. То дочки моей хвамилия. Тут я тепер живу. Мисця в нас хватыть. Чуешь?

— Добре! Добре, дядько Тымофий.

Весна подоспела дружная, и работы в колхозе было, что называется, невпроворот. Домой с поля возвращались усталые, как черти. Но спать все равно ложились не сразу. Марийка о чем-то шепталась с дочерью Пересунько, а Никита беседовал с дядькой Тимофеем.

— Людей, кажешь, мало? — затягиваясь городской цыгаркой, вел речь Пересунько. — А де ж им узяться? Он Днипрострой скоко до себе забрав. Та два рокы недороду... Вымелы ж з комор у людей, мов митлою. До зернятка. Голод косыв геть усих, не роз-

быраючи ани старого, ани малого. Тоди ж, як забралы у ГПУ Мыколу Мыхайленка и Якова Стешенка, застрелыли и хлопчика Дротового.

— Васылька?

— Ну да, його.

— За шо?

— Кажуть люды, напад на гепеушныкив вин робыв. Чоловика Ганкиного одбыть хотив. Ну, от поховалы того хлопця. А в хати ж ани крыхточки хлиба. Ганка з малым бидуе, а сестры шукають, шо поисты. Тильки де ж його знайдешь, як уси голодують. Спочатку я им трохи помогав. Та, собственно, не я, а ты.

— Я? — изумился Никита.

— Эге ж! Вирнише, Вышня. Твоя кобыла. Кормыть не було чим и я той... доризав ии. Мороз страшенный стояв. Вона вся змерзла, бидолага. Пылкою шматок одпыляю и Нинци, старшенький, у торбынку кыну. От им з Ганнусею и малым на якийсь тыждень хватало. Кинчиться — знов до мене бижить. Думав, якось протягнем. Не выйшло. Хтось украв наше мьясо. Ну шо тут поробыш? Люды ж усе илы: и собак, и кишок. Навить, одын одного. У нас, слава богу, такого не було, а в инших селах...

Пересунько сокрушенно качает головой.

— Так Ганка жива? — спрашивает Никита.

— Ты слухай. Слухай, Оверковычу. Ну, от. Осталыся мы, значиться, без ничего. Я, правда, трохи таки знайшов пшенички и якось бидував. А воны... Любка у степу замерзла, а Нинка та просто двору впала и не пиднялась. Там у двори ии и закопалы.

— А Ганка ж? — не выдерживает снова Никита. — Ганка ж з дитем як?

— Ганка? Якось сыночок мий з города до мене саньмы пид кинець зымы заихав. Десь по своих газетных дилах був. Трохи харчишок завиз. Кажу йому: «Везы мене, Колю, до сестры твоей, до Гали». Вин так и зробыв. Видтоди я и живу тута. Чоловик ии кудысь на добычу поихав, та й пропав. Як у воду впав. Ага. Ну зайшов же я якось до Ганнуси. Стукаю у двери — мовчать. Видкрыв. Чую, наче дитя плаче. Тыхенько так. Я — у хату. Дывлюсь, Ганнуся на пидлози лежить. Його до грудей прытулыла, а сама вже не дыхае. Поряд з сестричкою и поховав ии я.

— А дытя?

— Дытя? Он же у Гали на руках.

— Так то не ваш? Не Гали?

— Ни. Ии донечку бог раниш забрав. А це все бильше на мени: вона ж у мене зовсим хвора. Не знаю, скильки протягне...

Замолчали, слушая, как в соседней комнатке возятся женщины, видимо, купая ребенка.

— Ой, манюнечка ты наша! — приговаривает Марийка. — Яке ж ты малесеньке та худесеньке. Тоби б молочка зараз...

— Молочка! — вздыхает Галя.

— Так! — затянувшись в очередной раз, обронил Никита. — Дохазяйнувалысь, значиться, советы. Эх! Батьки на ных немае. Нестора Ивановича...

— Тыхо ты! — испугался Пересунько. — Про те и думать забудь. Бо головы тоби не зносыть.

— Э-э-э! — махнул рукой Никита — Як так жить...

— Не кажи, хлопче! Усякая жистя краща за смерть. Бог не дарма ии людям дае. Так шо не гнивы його. Не сердь, чоловиче...

С помощью заводчан колхоз быстро и в срок управился с севом. Пришла пора возвращаться домой, а Никита так и не сходил в свою Андреевку. Не решился. Хоть Марийка не раз просила его:

— Давай збигаемо, Мыкытушка! Ну, давай. Хоч одным оком глянемо, як там воно.

— Шо дывыться? — сердился он. — Там же, чула, ничого нема. Все пид водою, а вона тоби ничого не скаже.

Марийка замолчала и, забившись под стенку, тихо плакала. Он чувствовал, как подрагивали ее плечи, как шмыгала она носом, но жену не трогал. Понимал, что больно ей, что хотелось бы пройтись тропинками своего детства, молодости. Хотелось бы родным могилкам поклониться, постоять над ними, душу свою излить. Там ведь и мать ее, и бабуся. Корни все ихние, Задорожних. А у него их нет? Тоже есть. В том то и дело. Только какие? Безумный дед Савва, которого сынок родной, а его папашка, подушкой задушил? Над его могилой стоять? Ему исповедоваться? Нет. То гнилой корень, и его Никита обрезал для себя. Давно обрезал и насовсем. Гнездо их родное порушено, а значит, и незачем туда идти. Только понапрасну сердце растревожишь и злость в него пустишь. Так что пусть Марийка простит его и не обижается. Как-нибудь он все ей объяснит. Не сейчас. В другой раз.

— Ну, бывайте здоровы, друзья! — говорил, прощаясь с членами правления, Юнацкий. — Пусть растет хлебушек. А с уборкой мы тоже вам подмогнем. Может, и комбайн к тому времени подарим. Тогда проблем не будет.

Прощались со своими радушными хозяевами и Никита с Марийкой.

— Дядю Тымофий, — неожиданно попросила Марийка. — Оддайте нам с Микитою Павлика.

— Та як же так? — растерялся Пересунько, ища глазами Галю.

— Давай отдамо, тато, — опустив голову, ответила дочь. — Я хвора, та и вы слаби. Пропаде дытя з намы. Ей-бо, пропаде.

— Ну, шо ж, — развел руками Пересунько. — Твоя, дочка, правда. Берить. Хай у вас росте. Може, воно и краще буде. Токо ж ты, Оверковичу, любы його.

— Та я шо ж, — сдвинул плечами Никита. — Он Марийка за мамку хлопцеви буде, а я вже...

— А ты — батьком, — подхватил Пересунько.

Проводив своих квартирантов до конторы, Пересунько взял Никиту за рукав и, отойдя в сторону, прошептал:

— Токо ж я тебе, Мыкыта Оверкович, хрыстом-богом молю: забудь те, шо мени казав.

— Про шо це вы, дядьку Тымофию?

— Про Махна. Забудь и не згадуй бильше, сынку. Бо бида буде. И тоби, и жинци, и... и малому. Пойняв?

— Добре, дядьку.

— Так гляды ж мени. Пойняв?

— Та пойняв.

— Ну, з богом.

Телеги тронулись и, оставляя полоски от колес, затарахтели, пыля над дорогой. Пересунько стоял, опершись на свою палку, и грустно смотрел им во след. Он был такой маленький и жалкий, что у Никиты защемило сердце.

«Зламалы людыну, — подумал он. — Зовсим зламалы. Даже имья Махна уголос боиться сказать. А якбы той и справди вернувся. Ото б була чудесия. Га? Куды б воно повернуло?»

Где-то внутри его зажегся щекочущий огонек мести. Да! Он бы нашел с кем поквитаться, кому отдать долги, которых ого-го сколько накопилось за всякие обиды. Теперь бы он уже не дергался, как когда-то в Дибровском лесу, видя, как пытают пленных чекистов.

— Я б спытав! — прошептал он, зло сжимая зубы. Но, глянув на Марийку, которая, нежно прижимая к себе малыша, мурлыкала какую-то песню, осекся. Жена, занятая материнскими заботами, показалась ему такою красивою, как сама матер божая с их иконы. Никита даже боялся дышать, чтобы не спугнуть это видение. Это ж надо такое! Злость, только что закипавшая в его груди, куда-то отступила. Нет. Ему не нужен Махно, не нужны никакие батьки, сеющие ветер и смерть. Пусть будет Марийка. Пусть будет покой в их хате и везде. Пусть будет...

Откуда было знать Никите, что лихим ветром некогда носившийся по степям Таврии батька Махно вдали от родного порога доживал последние дни. Париж не принес ему ни радости, ни счастья. Разве можно было сравнивать закованную в бетон и камень Сену с широким и могучим Днепром, который грозно ревел на порогах, радуясь своей необузданной свободе? Кто знает, может быть, тот пугающий рев и был самим голосом божьим, вселяющим в земляков Нестора Ивановича — жителей Нижнего Поднепровья и степовиков — неукротимую жажду воли, о которой слагались легенды и думы, которой восторгался великий певец запорожской вольницы Гоголь, да и многие другие поэты и прозаики. И не того ли могучего рева эхом были воинственные кличи конников, что многотысячными массами неслись в неудержимом порыве, сходясь в беспощадной сабельной рубке, когда бушевала революционная буря на Украине? Стараясь сохранить для потомков память о тех, кто, не страшась, бросился вслед за ним навстречу той разыгравшейся

буре, подставляя грудь под свинцовый град пуль, батька Махно и решился взяться за непривычные для себя перо и бумагу. День за днем терпеливо и упорно кропал страницы своих воспоминаний, а когда была готова первая книга «Русская революция на Украине» (От марта 1917 г. по апрель 1918 года), перед тем, как отдать в издательство, на отдельном листке старательно вывел:

«Посвящаю памяти умерших своих друзей и товарищей по организации украинских революционных тружеников и по совместной борьбе за свободное, безвластное коммунистическое общество:

Петру Гавриленко, Александру Калашникову, Моисею Калиниченко, Семену Каретнику, Филиппу Крату, Исидору (он же Петя) Лютому, Алексею Марченко, Савве Махно, Андрею Семенюте, Гавриилу Трояну, Степану Шепелю, Борису Веретельнику, Х. Горелику, Павлу Коростылеву (Хундай), Луке Панченко, Абраму Шнейдеру и др.

Все они умерли при разных обстоятельствах, но на одном пути: на пути к завоеванию и осуществлению идеи свободы, равенства и вольного труда.

Автор».

Написал и, поставив точку, прочитал. Раз, потом еще раз. Никого не забыл? Кажется, нет. А Лева? Пропал человек. Как в воду канул. Ни слуху о нем, ни духу. Конечно, можно записать и его в число тех, кого уже нет на этом свете. Но только Лева не такой, как все. Сколько раз он выбирался из, казалось бы, безвыходных положений. Гибли хлопцы (и какие хлопцы!), а Лева выходил сухим из воды и, как ни в чем не бывало, появлялся среди повстанцев.

— Все будет у полном порядке, батька, — говорил он, когда прощались с ним перед отъездом в Польшу. — Шоб мы так жили, будет порядок. То я тебе кажу. А Левка брехать не будет!

И вот тебе на. Неужели на этот раз и ему не повезло? Не повезло... А может... Может, все-таки нет? Сидит где-нибудь и время свое дожидается. Только, когда оно придет? И придет ли вообще? Ведь не зря же говорят, что все проходит.

— Видать, и наши часики отстукали, — вздыхает Нестор Иванович.

Что? Кто это сказал? Он недоуменно оглядывает свою комнату. Никого нет.

— Сам... Сам с собою,.. — сокрушается Нестор Иванович. — Дожился батька, догулялся! Он закрывает глаза и, обхватив голову руками, замирает. Боже! Неужели и вправду он отгулял свое? Неужели он никогда больше не ощутит, как играет его необузданная воля? Неужто ему уже не подняться, не испытать щемящей радости от пойманной на мушку удачи? Все меньше и меньше его верных друзей, тех, что остаются с ним рядом. Одни полегли в боях, другие... другие просто оставили его. Ушла и Галина, уведя с собой Леночку. Нет, он не в обиде на нее. В последние годы здоро-

вье сильно сдает. Еще бы! Ведь столько раз его целовали проклятые пули. Как пчел на мед, их к нему притягивало. И отчего оно так получается, что одному и одной поганенькой пульки или там осколочка достаточно. Тюк, и — нет его. А тут такая история... Да если бы только те дырочки на теле, которые хорошо ли, плохо ли, но позарастали. Так нет же! Изнутри донимает, точит его хвороба. Туберкулез проклятый. Живет-то он с одним легким. Другое в Бутырках тюремные медики вынули.

— Ну, и хрен с ним! — шутил тогда. — Нашо оно мне двое? И з одним черта оседлаю...

Да, так оно, собственно, и было. Только до поры до времени. Как только врачи определили у него туберкулез, Галина вскорости и ушла.

— Пойми, Нестор, — оправдывалась, отводя глаза, — мне не страшно. Я свое пожила и всякого повидала. А вот дите жалко. Ну, как заболеет. Что тогда делать будем?

Ну, что тут скажешь? Все правда. Леночку поберечь надо. А он уж как-нибудь сам перебедует. Теперь живут они неподалеку от Парижа в местечке Кенси. Приезжают иногда в гости. Так, видно, надо. И Нестор Иванович умом это понимает. Но сердцем, сердцем принять никак не может. Обидно. Обидно и больно ему оттого, что бросили его. Оставили одного.

«А от Левка, той бы так не зробил, — думает Нестор Иванович. — Той бы, чертяка, шось та и придумал. Как пить дать придумал бы!»

Нет. Не может быть, чтобы Лева пропал. Не может быть. И он не будет записывать его в число тех, кого уже нет в живых. Не будет. А если вдруг окажется, что это не так, то пусть он значится среди других.

«Нехай и там, на том свете, порядок наводит, — решает про себя Нестор Иванович. — Там тож какаясь разведка треба. А его как тут, так и там, бояться будут. От так».

Получив свою первую книгу, которая вышла в 1929 году, Махно радовался ей, как ребенок хорошей игрушке. Он бережно брал ее в руки, осторожно листал страницы, перечитывая снова и снова. Откладывал, разглядывая обложку с выбитыми названием и его фамилией.

— Ты бач! — подтрунивал над собой. — Нестор Махно став писателем. А шо вы себе думали? Мы не дурниши за тых, хто ото токо и робыть, шо целыми днями сидьма сидит и из свого пальца истории усякие высмоктует. Такую жизнь проскакали, шо не на один — на десять романов хватит. Га?

Он упорно трудился над продолжением своих воспоминаний, собираясь издать еще не одну книгу. Но здоровье стало быстро сдавать. Помимо мучавшего его туберкулеза, все сильнее болела простреленная в одном из боев разрывной пулей нога. Из гноящейся раны время от времени выходили осколки. Тревожили и

два пораженных ребра, на которых периодически появлялись большие болезненные опухоли, наполненные гноем. Начинался костный туберкулез. Узнав из газет о пуске Днепрогэса, он долго сидел задумчивый. Наконец поднялся и, нервно дернув головой, стал ходить по комнате.

— Потопили! Потопили пороги, — рассуждал Нестор Иванович. — Не-е-е! То не их, то волю нашу потопили комиссары. Теперь держись. Так загнуздают, шо и головы не повернуть.

Кто его знает, что имел в виду батька, думая так. Может, и вправду его бурная жизнедеятельность была как-то связана с днепровскими порогами. Ведь каких только чудес не бывает на белом свете. Только с той поры жизненные силы его таяли буквально с каждым днем. Махно редко теперь выходил из комнаты. Сторонился даже знакомых, которые утомляли и раздражали его. Но оставаться в одиночестве надолго удавалось редко. Все-таки батька являл собою одиозную фигуру, которая и сейчас, спустя много лет, вызывала к себе, если не уважение, то по крайней мере интерес.

— И чего им треба? — сердился батька. — Идуть, шо у той зоопарк. Як на зебру чи пони смотреть. Ни стыда, ни совести не имеют. От заразы!

Особенно злил Всеволод Волин, который несколько раз навещал батьку, сопровождая Галину Андреевну. Пришли они его навестить и в канун нового 1934 года.

— А этого для чого за собой водишь? —нахмурился Нестор Иванович, косясь на гостя, занятого разговорами с Леной.

— Кого? — сделала вид, что не понимает о чем идет речь, бывшая жена.

— Кого, кого, — проворчал батька. — Эхембаума своего.

— Та какой же он мой?! — засмеялась Галина Андреевна.

— Ну да! А то я не бачу, шо то за котяра. Наскрозь бачу.

И Нестор Иванович не врал. Он хорошо знал блестящие ораторские способности анархо-синдикалиста Всеволода Эхембаума, взявшего себе звучный псевдоним Волин. Его литературный талант неплохо проявился, он состоял членом секретариата печатного органа анархистов газеты «Набат», которая издавалась в Харькове. Потом Всеволод был заведующим культурно-просветительным отделом повстанческой армии, членом Реввоенсовета, а одно время даже заместителем его председателя. Словом, был всегда, что называется, на виду. Но батьке были известны и такие качества, как подхалимство, желание угодить более сильному и, по возможности, уйти от ответственности, которые были присущи Эхембауму-Волину, хоть тот и старался их не афишировать. Батька помнил случай, когда по его приказу в Екатеринославе был расстрелян большевик Полонский и его жена. Не все члены Реввоенсовета были довольны батькиным решением. Полонский командовал полком в их армии. И неплохо командовал. А Нестору Ива-

новичу, чего греха таить, одно время нравилась бердянская певичка. Да и она вроде проявляла интерес к нему. Проявлять-то интерес проявляла, а замуж пошла за Полонского. Такая вот штука. И когда их обоих шлепнули, кое-кто из батькиного окружения носом закрутил: стоило ли? Справедливо ли? В аккурат об этом в штабе речь зашла, и тут появился Волин. Ему те же вопросы хлопцы подкинули. Всеволод закрутился, как карась на сковородке, и хлопцам:

— А батька что думает? Если он согласен, считает правильным, я не хочу даже обсуждать этот вопрос.

Батька в тот самый момент сидел в соседней комнате, уже добре выпивши, и слышал этот разговор. Всеволод, как видно, хотел верность свою ему показать. А Нестору Ивановичу это как раз и не понравилось. Очень даже не понравилось.

— Выходит, тебе, хлопче, плевать, шо человека шлепнули? — спросил, подойдя к нему. — Ты даже не спросил, за шо то его так. Хай батька одобряет. А я ж могу и ошибаться, бо зараз пьяный. Шо ты на это скажешь? Га?

Волин молчал, растерянно моргая.

— Не знаешь? Эх, ты! Соглашатель.

Вспомнив этот случай, Нестор Иванович тяжело вздохнул и отвернулся.

— Ну, чего ты? Чего сердишься? — взяла его за руку Галина Андреевна.

— Не будет он Ленке батьком. Не будет.

— А нашо ей батько, когда у нее есть ты.

— Эх! Какой я батько?! Одной ногой тут, а другой — в могиле.

— Перестань! Не надо.

— Чего там не надо. Куда от правды поденешься?

В феврале Нестору Ивановичу стало совсем плохо, и вскоре друзья устроили его в один из парижских госпиталей. Батько надеялся немного подлечиться и все-таки успеть закончить свои воспоминания. Даже в госпиталь с собой тетрадки захватил. Держал их у себя под подушкой. Но так ни разу и не достал. Не до того было. Все тело болело. В редкие часы, когда боль немного утихала, лежал, подложив руки под голову и думал, думал.

Всю свою жизнь вспоминал. День за днем. Словно листал страницы невидимой книги. Господи! Каким же он сильным был. Казалось, нет такого дела, которое было бы ему не по плечу. И грамоте особо не учился, а ведь находил слова, которые доходили до людей. До самих сердец добирались! Факт. Иначе почему же они к нему шли? Ведь знали же, что всякое может случиться: и ранить могут, и покалечить, и убить даже. И убивали. Сколько тех, кто поверили и пошли за ним, осталось лежать на степных дорогах? Кто их сейчас сосчитает. Видать, уже там, на том свете, при встрече придется перекличку делать и выяснять, кто и куда подевался. Много там его лихих хлопцев. Ох, и много! Как встретят его самого? Назовут так же батькой или проклянут? А те, что от их рук по-

легли? И винные, и безвинные... Эх! Ладно. Чего сейчас гадать, что будет потом? Зачем? Придет то самое «потом», тогда и видно будет, что оно за штука такая. Думать надо о том, что еще сейчас можно сделать. Потому что потом уже не успеешь. Думы... думы... Тяжелые и тревожные.

В июне врачи пришли к выводу, что ему необходимо сделать операцию.

— Ну, шо ж, — вздохнул батька, — треба, так треба.

Операция штука, конечно, малоприятная. Но ведь он уже не один раз имел дело с этими самыми эскулапами. Они порядком поковырялись в его мясе и требухе. Пусть еще поколдуют, если это им хочется.

В этот раз батьке удалили два пораженных туберкулезом ребра. Он остался жив. Но улучшения состояния здоровья не наступило.

Июньским днем к нему в госпиталь наведалась Галина Андреевна. Нестор Иванович был очень слаб. Услышав ее шаги, слегка приоткрыл глаза и тут же закрыл.

— Ну, как? — спросила она, наклонившись над ним. В памяти всплыли те уже далекие годы, когда Махно был в силе. Сколько раз в него впивались пули, и она так же склонялась над ним, тогда любимым и желанным? Он ей улыбался и что-то отвечал. Чаще всего шутил: «Ще одна зараза куснула!'' Потом лечился и вставал.

В этот раз Нестор Иванович ничего ей не ответил. Только из закрытых глаз выкатились две слезинки и медленно поползли по худым и небритым щекам, пробираясь к плотно сжатым губам.

«Это конец», — подумала Галина Андреевна и, заплакав, вышла из палаты.

Думала, что больше не увидит его живым. Но довелось встретиться еще раз. Через несколько дней к ней в Кенси примчался один из парижских друзей батьки.

— Собирайся, Галина, — бросив недовольный взгляд на Волина, сказал строго.

— Куда? — спросила она, хотя и так уже догадалась.

— Нестор умирает...

Молча собралась, одела Лену и направилась к машине.

— Не волнуйся, Галочка, — успокаивал провожавший их Волин. Она согласно кивала головой. Всеволод помог устроиться Леночке и, задержав ее руку, произнес:

— Ты, Галя, вот что... Посмотри, может быть, с ним рукописи какие-нибудь есть, документы... Если возможно, конечно... Пропасть ведь могут... Жалко будет.

Галина Андреевна неопределенно повела плечами и захлопнула дверцу. Машина рванула с места и помчалась, набирая скорость.

Уже вечерело, когда они с дочерью вошли в палату. Нестор Иванович лежал мертвенно бледный с полузакрытыми глазами, отгороженный от соседей по палате ширмой. Присев на кровать, Галина Андреевна осторожно коснулась рукой его щеки. Махно

открыл глаза. Скользнул по ней холодным, равнодушным взглядом и, увидев Лену, жалобно улыбнулся.

— Доченька! — прошептал сухими губами. — Оставайся здоровой и счастливой...

Помолчал, прикрыв глаза. Видимо, собирался с силами. И затем глухо обронил:

— Извините... Я очень устал... Хочу заснуть...

Пришла дежурная медсестра с кислородной подушкой.

— Прошу оставить больного. Ему сейчас плохо, — попросила она. — Приходите завтра.

На следующее утро они снова пришли в палату. Но кровать, на которой вчера лежал Нестор Иванович, была пуста. Не было и ширмы.

— Нет его, — ответил на немой вопрос Галины Андреевны один из соседей по палате. — Умер... Около шести утра...

Они прошли в мертвецкую и тут увидели его. Нестор Иванович лежал с восковым, очень спокойным лицом.

— Вот и все, — вздохнула Галина Андреевна. — Угомонился твой папка.

Она прижала к себе плачущую Лену и, смахнув слезу, направилась к выходу.

На похороны легендарного гуляйпольского батьки, которые состоялись через три дня, съехались анархисты Франции, Италии, Испании, других стран. После кремации урну с его прахом захоронили на кладбище Пер-Ля-Шез рядом со стеной коммунаров.

Тело бунтаря перестало существовать. А мятущаяся душа? Кто знает, что сталось с ней. Может, и она успокоилась, смирилась с теми переменами, что произошли на земле, по которой колесила некогда вместе с грешным телом. А может, вознеслась ввысь и помчалась туда, где гуляют в степях ее братья — вольные ветры, или носится над покоренным Днепром, все надеясь услышать знакомый хохот освободившихся из-под водной толщи порогов. Кто знает...

КНИГА ТРЕТЬЯ

ВЕРА

Светлане Александровне ВОЛОВИК,
жене и верному другу посвящаю с любовью

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Старенький пассажирский пароход, сердито разгребая толщу воды, неторопливо двигался по убегающей вдаль ленте Днепра. Порой среди буйной зелени плавневого леса, сквозь который пробивала себе путь река, вдруг появлялись золотистые островки пляжей. Выблескивая своими гладкими, вылизанными солнечными лучами спинами, они манили, звали к себе: «Ну куда же вы? Куда спешите, люди? Оставьте свою железную коробку. Сойдите к нам да прилягте на мягкий и теплый песочек. Закройте глаза и послушайте, о чем поведает вам древний Славутич. Ну, же! Решайтесь!»

Проплывая мимо таких райских уголков, Петро Задорожний вспоминал свое босоногое детство. Лихими конями отлетали куда-то его прожитые годы, и он мысленно переносился к себе в Андреевку. Сколько раз со своими друзьями Петром Ковалем, Никитой Прудкосвистом и дюжиной других «казаков», наплававшись, что называется до посинения, падал он на горячий песок? Вытянувшись на этой сказочной перине, с наслаждением ощущал, как сковавший его тело холод отступает и ставшая гусиной кожа вновь обретает нормальный вид.

— О! Глянь, глянь, Никитка! — тормошил Петро своего джуру. — Тикае, паскуда, тикае!

— Хто? Хто тикае? — настораживался Никита Прудкосвист, боязливо оглядываясь вокруг.

— Хто, хто! Жаба, кажу, тикае!

— Яка жаба? — растерянно моргая глазами, недоумевал Никита.

— Та из нас же, из нас жабьячий дух выходит.

— Шо за дух? — чувствуя очередной подвох со стороны своего атамана, хмурился Никита.

— Аякже! Ты хиба не знав, що у води повно-повнисинько тых самых жаб?

— Та хто того не знае? А у калюжах и коло самисинького берега их больш всего. Ты ж сам про то казав, Петро. И мене плывты подали заставляв. Так чи не так?

— Так, так! — кивал Петро, хитровато щуря свои синие, как небо в безоблачный день, очи. — Та воно и не токо через це я так казав...

— Не токо?

— Ага.

— Чого ж тада?

— Того, шо у калюжи и коло берега ты б, хлопче, и доси плавать не навчився.

— А якбы втопывся?

— Отакое! Я ж поряд з тобою був, та и Петрусь Коваль...

Никита молчал, хмуря брови, и сердито посапывал носом. Ему явно не понравилось то, что Петро опять обвел его вокруг пальца. Конечно, обвел! Пусть для его же, Никиты, пользы, но обвел. Действительно, он опасался глубины. Ведь об этой опасности не раз говорили ему и отец, и мама. Да и сам же старший среди их мальчишеской братии Петро Задорожний предупреждал:

— Обережнишь на води, хлопци! Днипро есть Днипро. Не вспиешь и оком моргнуть, як жаба цыцьки дасть.

Предупреждать-то предупреждал, а сам на глубину его подталкивал. Жабами пугал. Ведь знал же, что Никита больше всего боится именно жаб и ворон. Боится и ненавидит. Почему? Да кто ж его знает. Просто противные они ему, видать, и все тут. Всегда были противные, а после смерти деда Саввы еще и боязнь пришла. Кто-то из андреевских мальчишек наплел однажды хлопцу вечером, будто все паскудные люди, умирая, превращаются потом в ворон и жаб. Живут себе на земле и грешников на заметку берут, чтобы потом, значит, на том свете им счет предъявить и таким образом за себя перед Господом откупиться. И Никитка (чудак такой!) поверил этой глупости. Петру нравился этот мальчишка. Нравился своей ершистостью и своей доверчивостью. А еще — влюбленностью в младшую сестренку Петра Марийку. Сам Петро, тогда еще не познавший этого чувства, как-то сразу принял и одобрил такое отношение соседского Никитки к сестренке.

«Хай ростуть та бавляться, — решил про себя на правах старшего. — А там побачим. Мо, и поберуться колысь. Кращого чоловика для нашой Марийки и не треба. И хозяйство справне, и любыть, а вона його тож, кажись. Чого ище треба?

Считая Никитку своим, Петро всячески старался помогать тому становиться таким, каким видался будущий свояк, а именно: сильным, смелым, умеющим защитить семейную любимицу Марийку везде и во всем. При этом делал это Петро, поддразнивая своего «джуру», подшучивая над ним.

— Знову ты брешешь, Петро! — сердился Никита. — Шо там за жабьячий дух ты прыдумав? Де ты його побачив?

— Де? А ось, ось, — Петро касался руки Никиты. — Подывысь на ци пупырышки.

— То ж гусяча шкира: от холода.

— Гусяча! То так тильки кажуть. У гуски ж он яке пирья! Вона ж николы не мерзне. А жаба та ж усе у води та коло неи. Тому-то холодна уся и такый же самый холодный дух мае. Хиба не чув, як люды кажуть: холодный, як жаба? Не чув?

— Чув чи не чув, то вже мое дило, — сердился Никита, незаметно от Петра потирая руку, покрытую пупырышками. Видно,

старался побыстрее изгнать из себя тот самый ненавистный «жабьячий дух»...

Пароход миновал очередную полоску песка и теперь шел вдоль пологих берегов, сплошь покрытых густой зеленью. Размашистые вербы подступали к самой воде и своими ветвями стремились, казалось, дотянуться до борта парохода, увидеть тех, кто находится на его палубе и в каютах, разгадать их тайны и судьбы.

Тайны. Какие тайны? Есть ли они? Есть ли они вообще? Может быть, это просто выдумывают ученые и писатели всякие чудеса и тайны, а их вовсе и нет? Ну, какая, скажите на милость, тайна есть у того же Никиты Прудкосвиста или у него самого, у Петра Задорожнего? Жили себе, как все, или, по крайней мере, как многие, в своей Андреевке, о существовании которой, пожалуй, мало кто и слышал. Как все, топтали землю вначале босыми пятками, а потом...

«Э-э-э, нет! — качает головой Петро, возражая плывущим вслед за днепровскою водою мыслям. — Так не пойдет. Багато людей живет на земле. То правда. Токо живут все по-разному. От и выходит, что сколько людей, столько и судеб, столько и тайн. Багато книжек усяких исторических понаписано про те самые тайны. Багато. А сколько ж людей, що уже ушли из жизни, но про которых ничегошеньки не известно. То ж, кажись, тож история? Неписанная история. Та й серед живых сегодня мало кто в нее попадет. Факт, мало...»

Петро прикрывает усталые от яркого солнечного света глаза и шевелит пятерней свои белые волосы.

Выходит, что мало кто из людей живет для истории. Мало. Тогда для чего же? Ну да! Для чего, скажем, живут его близкие — тот же Никита, Марийка, сам он, Петро, Катя, их пятилетний карапуз Витюшка?

Взять того же Никиту. Он таки стал мужем Марийки. Но таким ли, как следует? Таким ли, как хотелось Петру? Сделал ли счастливой сестру? Ой, нет! Хотя... Хотя кто его разберется в этом человеческом счастье. Что до него, Петра, то счастье в схватке с врагами, в борьбе за дело трудового народа, за победу революции. И не просто победу, а в мировом масштабе. Будут жертвы? Да, он понимает, что они будут. Даже много жертв. Без них не обойтись. А как же иначе? Ведь разве могли быть вне революции счастливы они с Катюшей? Да никогда! Ей, пролетарской революции, отдал всего себя Петро. За победу ее не жалел своей молодой жизни, своей горячей крови. Дрался он с белыми, с петлюровцами, с махновцами. Сколько же хлопцев за ту самую победу свои жизни положили! Сколько кровищи пролили! Собрать бы всю воедино, так, пожалуй, не меньше Днепра река получилась бы. Кровавая река... Чья она? Куда течет? В сторону счастья и радости или в сторону горя и вечной печали? Думается, что все же к счастью был бы ее бег. Иначе зачем бороться? Зачем жить? Ведь в ту самую драку не только одна голытьба беспросветная пошла. Сколько бо-

гатых, умных голов к революции приклонились. И его Катя тоже. Ведь, кажись, из буржуев. Живи, учись себе в своих гимназиях и институтах. Ешь от пуза конфеты с пирожными и радуйся. Так нет же! За рабочих пошла, за пролетарское дело пошла бороться. Можно сказать, в самую середку мирового мордобоя попала. К белякам в тыл ходила, среди махновских бандитов жила. Разведчицей бесстрашной была. Ничего не боялась его Катюшка-горобчик! Ничего... Ну, положим, не совсем так. Боялась, как и он сам, Петро, как все, наверное, боялась. Но при этом все же пост свой революционный не бросила. Не сбежала из того самого бандитского ада. До конца выполнила приказ большевистской партии, товарища Ленина. До конца. Хоть и пропасть, погибнуть могла. Ведь по самому острому лезвию ножа ходила. Правда, рядом с нею Лева Зиньковский был. Бож-же! Как он, Петро, ревновал свою Катю к этому Левке. Как его ненавидел! Теперь самому стыдно признаться в этой глупости. Лева таким надежным и смелым хлопцем оказался, что даже не верится. Все то время рядом с батькой Махно был. А ну, как попался бы. Что тогда было бы с ним, и с Катей? Подумать страшно. Хорошо, что все уже позади. О том, что было, говорит только орден Красного Знамени, которым наградили Катюшу за героизм и мужество в борьбе с врагами революции. Есть такой же орден и у него, Петра. Не обойден наградами и Лева. Хотя, как сказать. И Катя, и Петро считают, что Лева заслужил гораздо большего, а тот смеется.

— Разве в этом дело, ребята? — шутит их друг-великан. — Была бы грудь, а награды потом придут. Не будет груди, не к чему голову цеплять.

Смеется и гладит свою налысо бритую голову.

— Зачем ты, Левушка, голову брить стал? — спросила однажды Катя, когда Зиньковский к ним в гости заскочил. — Ведь у тебя такой красивый был волос!

— А так, Катюша, экономнее. Мыла меньше идет, — подмигнул ей Лева. — И пули скользить будут, говорят.

Вот человек! Ему уж наверняка место в истории должно быть отведено. О нем есть что рассказать. Нашелся бы историк, который за такое дело взялся. А коль и не найдется, то Петро и сам эту задачу решит. По крайней мере, думку такую он имеет. Вот только закончит свой педагогический институт, и тогда возьмется за ее решение. Обязательно возьмется. Тут уже всего ничего и осталось — два года.

А все ее, Катина, работа. Ведь как ему не хотелось начинать учебу. Какие причины он только не придумывал: и что старый уже, и что с его одним глазом не может быть и речи об учебе, и многое другое. Изворачивался, как тот карась на сковородке. Но ничего не вышло. Достала она таки его.

— Слабак ты! — сказала однажды, рассердившись. — Слабак и тряпка. Не хочу и детей от такого иметь. Будут такие же, как ты, неучи.

— Не будуть! — слабо отбивался Петро. — Це для ных, чуешь, революцию робылы. Це для их счастья.

— Счастье! Да какое же может быть у безграмотных людей счастье? Только как у соседского собаки Дуксика. Собачье счастье. Разве мы о таком мечтали?

Бросила эти злые слова ему в лицо и, сердито хлопнув дверью, выскочила из комнаты. Тогда понял Петро, что дело принимает серьезный оборот. Как видно, никуда ему не деться и от учебы не отвертеться.

— Ладно, — буркнул, когда Катюша, перегорев, вновь вошла в комнату. — Учи меня дурня старого. Нехай люди смеются. Перетерплю як-небудь.

— Старый! — засияла, как солнышко, Катя. — Какой же ты у меня старый, Петрусь? Тебе ж едва за тридцать перевалило. — Ну и что? К возрасту Иисуса Христа как раз рабфак закончишь. А там и в институт.

— Побойся бога, жиночка! — взмолился Петро. — Та мене до того института вовек не добраться. Ни-ни!

— Доберемся! Вон как раз у нас в Запорожье, говорят, будет открываться исторический факультет. Ты же прирожденный учитель истории.

— Та ну тебя! Знайшла учителя...

И что вы себе думаете? Одолел он тот самый рабфак и до института добрался. Теперь вот на третьем курсе уже. Разные там студенты собрались. Совсем молодой хлопец Иван Щерба из Новониколаевки, что недалеко от его села, уже отслуживший армейскую службу Петро Годорожа — его собратья-историки, Мирон Балабан — математик, Семен Прискипенко — филолог. Все вместе живут в общежитии — большой комнате, которая похожа на казарму. Несколько раз и сам Петро оставался ночевать в общежитии. Так что мог видеть, чем занимается студенческая братия после учебы. Щерба и Годорожа до поздней ночи бродили по комнате, вышептывая разные памятные даты, помнить которые обязан был каждый историк.

— Спать уже ложитесь, лунатики несчастные, — пряча голову под одеяло, ворчал на них Мирон Балабан. — Кому нужны оте ваши даты?

— Спи, спи, Мирон, — шепотом уговаривал товарища Щерба. — У нас же тех самых чисел меньше, чем в твоей математике.

— Та наши ж числа не то, шо ваши халам-балам. Они ж логику железную имеют. Одно с другим связано.

— И наши тож связаны, — подключался Годорожа.

— Кто там их вязал? — вздыхал Мирон. — Один царь набил другому морду у скалы Х, а потом помирились у речки У. Вот тебе и вся логика.

— Слухайте! — взрывается Семен Прискипенко. — Дасте вы спать людям чи ни?

— Не сердься, Семене, — успокаивает его Мирон. — Не сердься, бо рыма втече. Будешь гнатысь, а не здоженешь.

— Так он Годорожу на подмогу позовет, — смеется Щерба. — Тот же к своей Тосе по два раза в день аж на Правый берег успевает сбегать.

— Ох, и вредный же ты, Иван! — качает головой тихий, застенчивый Годорожа, о любви которого к Тосе с биологического факультета по институту ходит множество легенд. Рассказывают, будто однажды Годороже приснилось, что Тося зовет к себе. Не долго думая, Петро собрался и среди ночи двинул к своей любимой. Добрался до плотины, а там ремонт какой-то происходит. Что делать? Другой бы развернулся и пошел обратно. Но то другой, а Годорожа разделся и, привязав одежду к голове, махнул вплавь через Днепр. Переполошив всех собак в округе, вызвал таки из дому заспанную, насмерть перепуганную Тосю и, поговорив с нею несколько минут, двинулся в обратный путь. К началу занятий, как ни в чем ни бывало, он уже сидел в аудитории и, смешно закусив губу, конспектировал лекцию по истории Византии.

Хорошие хлопцы. Так незаметно эти два года пролетели. Правда, трудновато жить на одну Катину зарплату. Можно, конечно, было бы немного подрабатывать на разгрузке вагонов. Благо для студентов, что железнодорожная станция Катериновка рядом с их институтом. Но Катя категорически возражает:

— Тебе, Петя, нельзя, — говорит, — поднимать тяжести. Можешь совсем зрение потерять. Вот сделает тебе академик Филатов еще одну операцию, поправит твои глаза, тогда таскай свои бревна или что-нибудь еще сколько угодно. А пока учись. Это твоя главная революционная задача.

Как раз на операцию в Одессу они сейчас и направляются всей семьей.

Посапывая и попыхивая дымом, пароход режет речную гладь, а думы Петра летят за кормой вместе с белокрылыми чайками. Одна за другою, одна за другою. И нет им конца и края...

— Вот где пристроился наш Геродот! — слышит Петро Катин голос.

— Па-а-пка! — оглашает палубу криком пятилетний Витек и стремглав несется в расставленные для объятий руки отца.

— Ах, ты мий казарлюга маленький! — смеется Петро, подбрасывая над собой сына. — Гопчики-гопчики. Гоп!

— Ну, хватит. Хватит тебе, — стараясь казаться строгой, пытается унять разыгравшихся Катя, — слышишь, Петрусь, успокойся наконец.

Петро опускает сынишку на палубу, но мальчик, расшалившись, никак не может угомониться.

— Еще! — теребит он за ноги отца. — Папуличка, еще разик! Но Петро уже занят разговором с женой.

— Дывлюсь оце, Катруся, на плавни и думаю, сколько ж племен и народов побывали тут за девятнадцать веков. А шо мы про то знаем? Он про запорозьких козакив и то якись крыхточки до нас дошли. Про скифов и сарматов и того меньше. Хочь они и зараз крыком крычать: «Мы предки ваши! Мы булы! Мы жилы тут, вы на наших спинах стоите, люди добрые, неблагодарные!»

— Это ж где ты такое услышал? — щурит глаза Катя, поправляя огненно-рыжие волосы, которыми играет ветерок.

— От тебе и раз! Та по всему нашому степу. Хиба ты не бачила скифских баб, Катруся?

— Ну, конечно, видела. Но они же молчат.

— Воны говорять багато уже самым своим иснуванням. Це, по-перше.

— А во-вторых?

— По-друге, — своимы очима. Не звернула увагу на те, яки воны в их сумни? Чого?

— Интересно. А ты знаешь?

— Хотив бы знаты, Катрусю. Дуже хотив бы. А ще мени дуже хотилось бы розкрыты таемныци наших степовых курганив. Думаю, шо воны не менш цикави за египетськи пирамиды...

Слушая мужа, Катя про себя отмечала, что за время учебы на рабфаке и в институте Петро очень изменился. Иной, более грамотной, связной и содержательной стала его речь. Да и интересы стали совсем иными. А она сама? Ведь он говорит на украинском языке, а она его понимает прекрасно, как и он ее русский. Хуже обстоит дело с немецким. Но не беда. И его они осилят. Тогда произойдет встреча не двух, а уже трех языков. Дружеская встреча. Она сделает каждого человека, владеющего ими, втрое культурнее, втрое сильнее. Это же прекрасно! И такая возможность открывается для их сына, для их маленького Витюшки. Боже! Какое ж это счастье!

Видя, что родители заняты разговором, мальчик вначале обиженно надул губы и уже готовился заплакать. Но передумал и стал искать, чем бы можно было привлечь к себе внимание. Хитровато глянув в сторону отца с матерью, Витек подошел к металлической сетке, ограждающей палубу. Постоял некоторое время, глядя на расходящиеся в стороны волны, и, сорвав с головы матросскую шапочку, швырнул ее за борт.

— Папа! — пронзительно закричал он. — Подай шапку, папа. Испуганный Петро подбежал к сыну и остановился перед ним, растерянно моргая глазами.

— Ну, шо ж ты так, Витька? — сокрушенно покачал он головой.

— Ах ты паршивец! — рассердилась Катя, шлепнув по мягкому месту сына.

Тот заплакал, уткнувшись носом ей в подол.

— Ну, на шо ты так, Катрусь? — взяв ее за руку, шепнул Петро. — З ким не бувае?

— Так он специально это сделал!

— Та ну!

— Да, специально. Обиделся, что мы о нем забыли и вот таким образом решил напомнить. Ты разве не понял его?

— Ах ты, хитрун маленький! — изумился Петро. — Скучаешь сам?

— Сестричку хочу! — просяще выдавил из себя немного успокоившийся Витек. — Или братика...

— Ишь какой! — сделала большие глаза Катя. — Балованным не продают ни братиков, ни сестричек.

— Я не буду баловаться, мамочка! Я буду хорошим-прехорошим. Слышишь, мамочка?

— Вот когда будешь, тогда и посмотрим, — подмигнула мужу Катя. — А сейчас пошли обедать.

Взявшись за руки, они направились в каюту.

До Херсона добрались без всяких приключений. После положенной стоянки, во время которой часть прежних пассажиров сошла на берег, а новые заполнили освободившиеся каюты, пароход, отчалив, взял курс на Одессу. Теперь уже он плыл по морю.

— Ну, вот, — обронила, поеживаясь от вечерней прохлады, Катя, — завтра утром будем в Одессе.

— Скажешь гоп, як перескочим, — покачал головой Петро.

— Что имеешь в виду? — насторожилась Катя.

— Та шось не дуже мени наравыться, як бигають хлопци-матросы. Якись воны знервовани и все на небо очи пиднимають. Чи Господу богу моляться, чи хто його знае.

— Не выдумывай, Петрусь, — отмахнулась Катя. — Смотри, какой чудесный вечер и как солнышко заходит. Оно, кажется, само тебе говорит: «Спокойной ночи!» Поэтому пошли отдыхать. Завтра рано будем в Одессе. Дел много. Так что не будем терять времени.

Петро хотел пойти к капитану, чтобы попробовать что-то выяснить насчет погоды. Но, видя деловую занятость команды, махнул рукой и отправился вслед за Катей и сыном. «Хай уже буде, як буде, — подумал про себя. — А то ще чого доброго засмиють мене. Скажуть: «Цей чоловиче, мабуть, николи моря не бачив».

Обменявшись с Катей несколькими незначительными фразами, Петро вскоре незаметно для себя погрузился в сон. Опять снились ему родные места его детства. Будто мчались они с мальчишками по степи верхом на конях. Его Серый и так впереди всех летит, птицею над землею стелется, а он его все нахлестывает и нахлестывает. Чувствует, что еле-еле держится, вот-вот с коня слетит, и тогда быть беде. Ведь разобьется же! Как пить дать, разобьется! Сердце гулко стучит, и в ушах — не то что свист, а рев ветра. «Ого! — думал Петро. — Невжели то так Вольный сердыться? Аж тут, у степу чуты його голос». Вдруг Серый спотыкается, и Петро летит через его голову.

Проснувшись, Петро вначале не может понять, где сон, а где явь. Если это только ему привиделось во сне, то почему тогда он лежит на полу? Почему у него так болит плечо и голова кружится,

как у сильно пьяного? И что это все скрипит и трещит вокруг? Еще, чего доброго, развалится их старенький пароходишко и пойдет вместе с ними на дно.

— Петрусь! — окликает его Катя. — Ты где, Петрусь!

— Та тут я. Тут я, Катюша.

— Упал что ли?

— Ага, — поднимается, потирая ноющее от удара плечо, Петро и тут же снова падает, но теперь уже на свою полку. — И шо воно за нечистая сыла отак балуется?

— Шторм. Это шторм, Петро. Ты же говорил, что будет шторм, а я не верила. Теперь нужно лежать. Это, говорят, единственное спасение от морской болезни.

Всю ночь их пароход швыряло из стороны в сторону, будто какую-то ничтожную щепку или соломинку. Порой казалось, что он вот-вот не выдержит напора стихии и действительно развалится, а все они навеки исчезнут в морской пучине. О себе Петро в такие минуты не думал. А вот за Катю с Витьком ему не раз становилось страшно. Ведь в них двоих, в их существовании была тайна его, Петра, сущности, истоки того хорошего, доброго, что было в нем самом. Той любви к другим людям и ко всему миру, который окружал его. Той силы, которая заставляла его неустанно работать над собой, очищая свою душу от неизвестно как попадающей туда мерзости, соскабливая налипающую грязь. Да потеряй их, он и сам перестанет существовать. По крайней мере, свое бытие на этом свете Петро неизменно связывал с жизнью этих двух, самых дорогих для него людей.

Когда-то, еще в Юзовке, в самом начале их знакомства с Катей Петро задавался вопросом: каким будет их сын? В том, что это будет именно сын, у него никаких сомнений не возникало уже тогда. А как же? Только так и не иначе! Первым всегда должен появиться на свет продолжатель их рода, их фамилии. Дальше... Дальше уже пусть будет, как будет. Хотелось, конечно, чтобы мальчишка был похож на него. Петро представлял, как прошепчут вослед им изумленные соседи:

— Вылитый батько! Крепка, видать, порода Задорожних...

Нет, Петро ничего бы не имел против, чтобы сынишка был похож на Катю. Чем плохо иметь такие огненно-рыжие кудри, как у нее? Но все-таки втайне надеялся на то, что природа явит на свет именно их породу, Задорожних. Надеялся про себя, боясь даже намеком выдать эти мысли Кате.

Надеяться-то надеялся, а судьба распорядилась по-своему. Как уже там получилось, какие законы природы сработали, но родился Виктор смуглым, с черными, как смоль, волосенками. «Отето да!» — изумился про себя Петро. Но жене, которая передала ему в руки младенца при выходе из родильного дома аккурат в первую годовщину пуска Днепрогэса, сказал совсем другое:

— Наш хлопець! Шахтерская кровь: сам черный, як вугилля, а душа — чистая. Значить, сердце мае буты добрым. Здоров будь, козаче.

По сияющим глазам Кати понял, что эти слова ей понравились. Долго думали, как назвать своего первенца. Петро предложил вначале Иваном. В честь деда, отца Катиного. Рассудил про себя так: «Раз Катюшка мне такую радость подарила, значить и я ей повынен приятностью отблагодарить». Только жена возразила:

— Нет, Петрусь. Это будет несправедливо по отношению к твоим родителям. Разве имя твоего отца Степан хуже? Давай уже искать другое, нейтральное имя. Чем плохо, скажем, Виктор? В честь победы мировой революции. А?

На том и остановились.

В ту штормовую ночь «победитель» спал неспокойно. Ворочался, хныкал. И только под утро уснул, когда шторм прекратился, и море, будто исправляя свою вину перед пассажирами за столь непристойное поведение, выстлалось гладким голубым ковром, сверкающим в утренних лучах ласкового солнца.

В морском порту встречала их вся семья Зиньковских.

— Ну, шо погойдало вас трошки Черное море на своих качелях? — гудел Лева, целуя в щеки Катю.

— Ты посмотри только, Петро, как мой муженек прикладывается к твоему солнышку, — шутливо подмигивая Задорожнему, воскликнула Вера. — Ой, что-то здесь не то.

— Все то, Веруська! — обнимая Петра, смеялся Лева. — Все то, дорогая. Разве могут быть какие-нибудь сомнения в том, что у меня самая лучшая, самая хорошая жена.

— А Катя?

— А Катя — самая лучшая жена у Петра и наилучшая, найдорожчая моя сестричка.

Выпустив из своих медвежьих объятий Петра, Лева остановился перед Витьком.

— Люди добрые! — деланно изумился он. — А шо ж это за хлопчик? Хто потерял хлопчика?

— Я не потерялся, — замотал головой Витек. — Я свой...

— А чей же ты? Как твоя фамилия?

— Задорожний...

— Задорожний? Так вот оно в чем дело! Выходит, что ты нашенский казак. Ну, тогда давай знакомиться.

Он протянул огромную, как совковая лопата, руку мальчонке, и тот, хмуря бровки и какое-то время подумав, хлопнул по ней своей ладошкой.

— А шо вы себе думаете? — расплылся в улыбке Лева. — Мужик! Настоящий мужик. Чтоб я так жил.

— Ну, а як же, — довольно подкручивая стрелки белесых усов, отозвался Петро. — Нам же уже целых пьять годов. То ж понимать треба.

— Уже пять?! — изумился Лева.

— А что же ты хотел, Левушка? — взяла его под руку Вера. — Время быстро летит. Детки растут, а мы стареем. Так ведь, ребята?

— Не совсем так, — замотал своей лысой головой Лева. — Не совсем.

— Как же не совсем? Кажется, совсем недавно мы поздравляли Катю и Петра с рождением Витеньки, а он уже вот каким стал. Целых пять лет! А наши ребята?

Вера повернулась к стоящим с ними рядом подросткам — девочке, которая была несколькими годами старше, и мальчику.

— Гляньте-ка на них. Не успеешь оглянуться, как уже свадьбы придется играть.

— Мамочка! — смутилась девочка. — Ну что ты такое говоришь?

— Не красней, Аллочка! — обняла дочь за плечики Вера. — Жизнь есть жизнь, и от нее никуда не уйдешь. Да! А чего это вы стоите? Аллочка, Вадик! Встречайте же гостей. Витя поручается вам. И давайте будем двигаться к дому.

— Да, пойдемте, друзья, — поддержал жену Лева. — Мне тоже в управление пора.

— Работы багато? — сочувственно спросил Петро.

— Хватает, Петро, — махнул рукой Зиньковский. — Хватает, друже. Хватает.

Проводив Веру с детьми и гостями до нанятой пролетки, Лева распрощался, пробасив:

— Устраивай сечевиков, Вера, а вечером обо всем поговорим. Оглядев квартиру Зиньковских, Петро больше всего удивился количеству книг. Они стояли на полках, закрывающих целую стену одной из комнат, на этажерке, лежали стопками на письменном столе.

— Ого! — причмокнув языком, покачал он головой. — Та у вас тут, людоньки добрые, цила библиотека.

— Да, Петя! — отозвалась Вера. — Книги — наше самое большое богатство.

Она бросила взгляд на Аллочку и Вадима, которые что-то рассказывали Витьку, и добавила:

— После детей, конечно. А другого богатства, кроме этих двух, у нас, собственно говоря, и нет. Да и зачем оно? Я не понимаю тех людей, которые занимаются накопительством тряпок, каких-то драгоценностей. Все это пустяки. Уйдет человек из жизни и ничего после себя не оставит стоящего. Никакой памяти, никакого следа. А вот дети. Я имею в виду хороших детей, которые полезны обществу, которых любят люди, это, пожалуй, самый надежный след на земле. Чтобы его оставить, одних знаний родителей никак не достаточно. Тут нужны надежные друзья, добрые помощники, которые помогли бы подключить опыт, накопленный человечеством, всеми поколениями людей, которые жили до нас и на плечах которых, так сказать, сейчас стоим.

— Ой, Веруська! — засмеялась Катя, обняв за плечи подругу. — Ты у нас настоящий философ.

— И такое ты скажешь!

— Правда, правда! Я просто любуюсь тобой, Веруська.

— Ну, вот! И Левушка меня так же называет, как ты — Веруська. Вы что с ним сговорились?

— Ой! А что же ты хочешь? Ведь там, когда мы были с ним у батьки Махно, он же мне все уши о тебе прожужжал. Только о тебе и говорили с ним.

— Так уж и обо мне?

— Правда, правда. Он ведь, по-моему, у тебя мамонт-однолюб.

— Это правда.

— Ну, вот.

Женщины помолчали, прижавшись друг к дружке. Бросив осторожно взгляд на мужа, который увлекся какой-то книжкой, Катя спросила шепотом:

— Ты счастлива, Веруся?

— Очень! — не задумываясь, отозвалась Вера. — Даже не верится, что все это со мной. Левушка такой нежный, такой заботливый человек, что я даже не знаю, есть ли еще кто-нибудь, кто мог бы сравниться с ним.

— Нет! — деланно обиделась Катя. — Мой Петрусь гораздо лучше.

Они рассмеялись. Петро поднял голову и, улыбнувшись жене, снова принялся за увлекшую его книгу.

— Помнишь, как мы с тобой тонули? — задумчиво спросила Катя.

— Конечно. Только тонула, положим, я, а ты меня спасала.

— Бож-ж-е мой! Как давно это было. Прямо не верится, Веруська, что это было с нами, что мы когда-то были такими юными и глупенькими. Не верится. Разбросала нас судьба по разным местам. Я — рядом с Хортицей, гнездом легендарной запорожской вольницы и с Днепрогэсом. А ты — у самого Черного моря. Ты хоть плавать как следует научилась?

— А как же! У меня же такой учитель был.

— Да, пловец он блестящий. Тогда я помню, как он стеснялся, как краснел, когда тебя плавать учил. Краснее рака становился, когда касался тебя.

— А мне казалось, что он с тебя тогда глаз не сводил. Я еще боялась, что от этого Петя что-либо не так сделает и я по его неосторожности утону. Такой трусихой была, что просто ужасно.

— Да. Были мы девушками из института благородных девиц. Мечтали о сказочных принцах. А жизнь, видишь, как обернулась.

— Ну а чем, скажи, наши ребята не принцы?

— И то правда, Веруська.

— Я вот смотрю на своего Левушку и думаю: откуда в нем столько любви? Ведь за все время нашей жизни он мне ни одного грубого слова не сказал. Стыдно сказать, но мы с ним ни разу не поссорились. Скажи, пожалуйста, это нормальная семья? А детей как он любит! Признаюсь тебе по секрету: ни Аллочка, ни Вадим не знают, что Аллочка ему падчерица. Вадим к ней даже ревнует Левушку. Ему кажется, что отец больше любит Аллочку, нежели его. Представляешь, какой глупышка?

— Да, Веруська, с мужьями нам повезло. Ничего, что не получили они хотя бы такого, как мы с тобой, образования. Здесь у них, конечно, явный пробел. Но ты бы видела, с каким упорством грызет мой Геродот гранит науки. Ночи напролет просиживает над книжками. Я даже опасаться стала за его зрение...

— А Левушка? Он же буквально глотает книжку за книжкой. Память у человека изумительная. Я уже и забыла, где там и что написано, а он все, чертяка, помнит. Только вот...

Лицо Веры мрачнеет. Она прикусывает верхнюю губу и замолкает.

— Что? Что тебя тревожит, Веруська?

— Работа... Работа у него слишком опасная.

— Это он тебе говорил?

— От него дождешься, — покачав головой, грустно усмехнулась Вера. — Говорит, что ничего опасного нет. Все с шуточками-прибауточками. Но меня-то не обманешь. Там у них в управлении он на хорошем счету, видный человек. Отмечают его. Награждают. В 1929 году ГПУ СССР благодарность ему объявило, 200 рублей премии выдали за ликвидацию какого-то крупного диверсанта. Но он ведь тогда в руку был ранен. В госпитале, помнишь, вместе с Петей лежал. А мог же и погибнуть от той самой пули. Что тогда? И это не единичный случай. В том же году от Одесского губотдела ему вручили маузер с золотой монограммой и надписью «За боевые заслуги». Через три года Одесский облисполком опять же ему именное боевое оружие вручает. В 1934 году — приносит деньги. «За что?» — спрашиваю. А он смеется: «Шухер один барбосы устроить хотели, а мы их успокоили». Потом оказывается, что задержали они крупных террористов. Представляешь? Человек ходит буквально по лезвию бритвы, по краешку пропасти.

— Да, Веруська, уж Левина работа мне известна, — вздохнула Катя. — Хорошо известна.

— Ну, вот. Тогда тем более ты меня поймешь. Вначале плакала. Говорила, чтобы бросил он эту работу.

— Грозилась оставить его?

— Нет! Что ты? Как же можно? Оставить Левушку... Скажешь такое, Катюша.

— Это хорошо, что не грозилась. Лева ведь угроз не понимает. Когда ему угрожали, требуя что-либо не делать или делать, он всегда поступал наоборот.

— Знаю. Такой уж у него характер. И Вадим весь в него: гладишь по шерсти, говоришь по-хорошему — сделает все, о чем ни попросишь. Начинаешь заставлять, гнуть его пытаешься — ничего не получается. Упрямство, прямо скажу, ослиное.

— Да. Есть такая порода людей, которые не гнутся. Сломать их можно, а вот согнуть никак нельзя. Петро мой ведь тоже из этого сорта.

— Неужели? А я думала, что он покладистый. Всегда ведь ласковый с тобой, вежливый.

— Это он только на людях такой. А так... Так всякий бывает. Да что там говорить. Мы же с тобой, наверное, тоже не сахарные. Правда?

— И то верно.

— Что же касается другой работы для Левы, то здесь я тебе посоветую: не надейся, что он на это согласится.

— Но почему? Почему ты так думаешь, Катюша? Тебе же удалось убедить Петра пойти учиться. Учитель истории! Это же так здорово, так замечательно! Ведь читать и рассказывать о том, как рвутся снаряды и гранаты, свистят пули и наяву быть среди этого ужаса — это же совсем разные вещи. Ну, повоевал, поиграл в революцию и хватит. У нас же двое детей...

— Нет, Веруська! Не хватит. Это — на всю жизнь. Не будет этой жизни, не будет и Левы. В этом вся суть.

— Но ведь Петр...

— Что Петр? — грустно усмехнулась Катя. — Да Петра только ранение вышибло из седла. Он только и мечтает о том, как бы после операции вернуться в армию. Ты бы видела, как светятся его глаза, когда видит воинский строй, кавалеристов. Он же не идет, а гарцует.

— Как? Даже теперь? Будучи на третьем курсе института, он все еще собирается вернуться на воинскую службу?

— А ты что думала? Но не вздумай с ним на эту тему разговор заводить, убеждать его в чем-то. Ничего не выйдет, и обидится страшно. Не раз пробовала.

— И что же?

— Даже чернеет от злости, — покачала головой Катя. — Ну, может быть, не совсем чернеет, а темнее тучи становится. Это точно.

— Дела, Катюша.

— Да, да. Такая наша доля. Что же касается Левы, то скажу тебе: ты за него не бойся, он везучий у тебя. Из таких ситуаций выкручивался, что, наверное, и самому черту не снилось. Черт бы там не раз рога себе сломал, а у Левы — ни шишечки, ни царапинки. Вот так. Так что гордись своим мужем и береги его домашний покой.

— А я молюсь за него. И на него молюсь.

— Помогает?

— Не знаю...

Перед операцией Петру пришлось несколько дней ждать своей очереди. Дети пропадали на море, купаясь и загорая. Женщины ходили по магазинам и базарам. А Петр просиживал за книгами.

— Неужели ты дома не начитался, Петя? — смеялась Вера. — Пошли бы на море. Покупались бы, позагорали бы. А? Соревнование по плаванию устроили бы. Думаю, что сейчас я бы тебя наверняка обогнала. Как думаешь, Катюша?

— Трудно сказать, — сдвигала плечами подруга. — Я ведь не знаю, каких успехов ты за эти годы достигла под руководством своего Левушки. Попробуем, Петрусь?

Но Петро отнекивался.

— Хай уже писля операции спробуем, Вера. А зараз вы соби идить куда завгодно, а я ще трохи почитаю.

Он и себе не мог признаться, что не только хотел этой самой операции, которая должна была если не возвратить ему прежнее зрение, то, по крайней мере, значительно его улучшить, но и боялся ее. А ну как вместо успеха профессора Филатова постигнет неудача. Разве так не бывает? Еще как бывает. Что-нибудь случится, и он снова ослепнет. Как тогда быть? Выходит, что он, Петро, может не только навсегда лишиться возможности возвратиться в армию (конечно же, в кавалерию!), но и поставить под угрозу окончание института. Несомненно, Катя в любом случае будет настаивать на том, чтобы он продолжил учебу. Она и раньше ему говорила: «Давай я тебе буду читать, а ты запоминай, тренируй свою память. Пусть глаза меньше напрягаются». Но ведь одно дело читать самому, возвращаясь снова и снова к понравившимся местам или тем, которые почему-то не понял, а другое — слушать. Катюша изо всех сил будет стараться, и ему будет стыдно просить ее повторить, возвратиться к тому или иному месту. Нет. Это совсем никуда не годится. И он, Петро, на такую эксплуатацию своего самого дорогого человека пойти не может.

Вот почему, будто готовясь к худшему исходу операции, он старался начитаться, что называется, вдоволь. Оставаясь один в квартире, Петро укладывался на скрипучий диван, покрытый черной клеенкой и, наскладировав рядом с собой на стуле стопку отобранных заранее книг, принимался за их освоение. Благо никто ему не мешал. Правда, Петра несколько смущало поведение Левы. Буквально через пару дней после их приезда он пришел с работы хмурым. Таким и оставался все то недолгое время, когда бывал дома. Свое настроение Лева всячески старался скрыть. Пытался шутить, улыбался, но глаза его оставались настороженными, излучали пугающий холодок. И Петро, и Катя чувствовали, что с Левой что-то происходит. Но он им ничего не говорил, а лезть с расспросами казалось неуместным. Сочтет нужным, он и сам скажет, а нет — ну, что же, всякое может быть. Ведь такая у него работа.

Пришло время, и Петра пригласили в клинику. На операцию шел почти спокойным. Даже успокаивал Катюшу, подшучивал над ее тревогой.

— Чого ты переживаешь? Все буде в порядку. Едыне прошу, прослидкуй, щоб мени ока собачого не поставылы. А то будуть казать, шо твий чоловик в Сирка очи позычив. Не хотилось бы у старисть з такою репутациею йты...

Положение дел коренным образом изменилось после операции, когда пришлось ждать снятия повязки. Ведь теперь у Петра были закрыты оба глаза. А ну как обнаружится, что не только не удалось спасти зрение левого глаза, но и повредили правый. Что тогда делать? Ни газету, ни книжку прочитать, ни увидеть Катюшу с Виктором. Разве это жизнь? Так, одно существование. Будет мучиться сам и других, в первую очередь близких, мучить.

Время ожидания тянулось томительно медленно. Казалось, оно вовсе остановилось и не движется. Стоит, как вода в ставке. А ты, будто рыба немая, мечешься по кругу от одного берега к другому и ничегошеньки поделать не можешь.

«О, боже! — в который раз вздыхал про себя Петро. — Та колы ж воно скинчаться мои мукы? Колы ж я свит билый побачу?»

Наконец тот час настал. Операция прошла успешно.

— Так молодой человек! — довольно потирая руки, приговаривал академик. — А вы молодцом, скажу вам... Прямо молодцом у нас выглядите.

— От спасибочки вам, дорогой вы наш товарищ Филатов, — не скрывая радости, гудел Петро. — Золоти у вас руки. Такого чуда, як вы, жодна гидра буржуазии не мае и маты не буде...

— Ну-у-у поехали читать политграмоту, голубчик! — засопел академик. — В мире есть лекари и почище наших. Хотя и мы... Но не будем, не будем об этом. Поговорим о вас.

— Значит, скоро на выписку?

— О чем вы, голубчик? До выписки минимум месяц еще придется подождать.

— Мисяць? Цилый мисяць? — сокрушался Петро.

— Минимум месяц!

Ответ был категоричен. Равнозначен команде. А ее Петро привык выполнять.

Зато теперь он был уверен, что со зрением у него будет порядок. Полный порядок. Это возвращало ему силы и настроение. И в клинической палате, и на прогулках он ощущал радость выздоровления, возвращения к жизни. Теперь снова все вокруг казалось прекрасным, радующим его своим существованием. Петро нередко ловил себя на том, что мурлычет какие-то бравурные песни.

«Ты ба, розспивався соловейко! — подтрунивал он над собой. — То було и дзобыка опустыв, а тепер розправыв пирьячко. Ничего, ничего, парубче. Мы з тобою ще осидлаемо коныка...»

Настал день отъезда. Катя с Верой взгрустнули. Даже немного поплакали. А Петро был весел и деятелен. На вокзале он купил женщинам по букету цветов, приговаривая:

— Хоч вы в нас найкращи квиточкы, але и ци ще вам теж не завадять. Так, Льова, чи ни?

— Так, так! — покачал тот своей большой бритой головой, хмуря лоб.

— Ну, чого ты такый сумный, друже? — взял его под локоть Петро.

— А чему радоваться? — вздохнул тот. — Вы уезжаете, а мы опять одни.

— Як одни? — изумился Петро. — А друзья, товарищи по работе? Хиба нема? Там же у вас розумни хлопци, мабуть.

— Знаешь, как у Грибоедова в «Горе от ума» говорится: «Ученых много, умных мало. Знакомых тьма, а друга нет». Друг, Петро,

это очень особое. Это, понимаешь, как клад драгоценный. И того дороже. Он так редко встречается в жизни и, наверное, не каждому. Я не верю тем, кто говорит, что у него много друзей. У таких трепачей скорее всего их совсем нет.

— Так, Лева. Так, — тряхнув белым, как сметана, чубом согласился Петро.

— И осознать это особенно сейчас важно. Ведь то, что было с нами раньше — только цветочки. Главная схватка впереди.

— Ты думаешь?

— Уверен! — отчеканил Лева и тут же перевел разговор на другую тему:

— А ты знаешь, кого я сегодня встретил?

— Кого ж?

— Булычева.

— Олексия?

— Его самого. Приехал лечиться в санаторий.

— Жаль, не стренулись.

— Так он на обратном пути собирается в Запорожье к другу своему заехать. Мащенко.

— Мащенко? Борис?

— Точно. Говорит, недавно его из Каменца-Подольского к вам перевели.

— Значит, стренемся.

Подали состав, и они отправились к своему вагону.

— Ты же не ленись, Катюша, — приговаривала Вера, незаметно смахивая набегавшие слезы. — Пиши.

— И вы... и вы, черти, не ленитесь, — щебетала Катя, подозрительно часто моргая и торопливо обнимая Аллочку и Вадима. — Следующим летом ждем вас в гости. Договорились?

Она подняла глаза на Леву.

— Слышишь, Лева? От тебя зависит наша встреча. Я на тебя надеюсь.

— А я разве когда-нибудь подводил? — развел руками великан.

— Ну, дай я тебя напоследок поцелую...

Катя поднялась в вагон, где у окна ее ждали Петро с Витьком на руках. Раздался свисток, и поезд медленно тронулся, оставляя перрон одесского вокзала.

2

Страна строилась, набирала экономическую мощь, расправляя свои молодые, еще не окрепшие плечи. Напряженный ритм ее трудовых будней ощущался на всей огромной территории, от Москвы до самых до окраин. Не смолкая гремела слава рабочего Запорожья. 24 мая 1934 года состоялась торжественная передача Днепровского гидроузла эксплуатационникам, а немного раньше были пущены Запорожский коксохимзавод и вторая очередь Днепровского алюминиевого комбината, задута домна № 2. Следующий год запорожцы ознаменовали закладкой цеха холодной прокатки и запустили мартеновские печи на заводе «Запорожсталь». Начала выдавать продукцию первая 30-тонная электропечь Днепровского завода инструментальных сталей.

27 апреля 1936 года в Запорожье прибыл народный комиссар тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. Посетив заводы сельхозмашин «Коммунар», металлургические «Запорожсталь», магниевый и, конечно, Днепрогэс имени Ленина, нарком остался доволен.

— Хорошо, товарищи! — сияя белозубой улыбкой, говорил Серго. — Молодцы! Но нужно еще лучше. Очень нужно! Родина верит в вас.

И запорожцы старались. Кому не нравится, когда о тебе пишут газеты, говорят по радио? Но помимо этой, наполненной героическим пафосом жизни, была и обычная жизнь. Жизнь, о которой не сообщают падкие до новостей журналисты, но без которой не бывает ни героев, ни подвигов, которые они совершают.

Сентябрьским вечером в одном из домов, что прятался в уже начавшей желтеть зелени разросшегося сада, батальонный комиссар Борис Мащенко праздновал рождение второго сына. Гостей собралось немного. Зато какие! Вначале они с Клавой решили, что пригласят только командира полка с женой и соседей Юнацких.

— Зачем шуметь по чем зря и ребенка пугать? — рассудила Клавдия, жена Бориса. И он с ней согласился. Но тут неожиданно пришла телеграмма от старого друга Алеши Булычева. Вместе с Борисом они учились на пулеметных курсах в Кремле. Потом воевали в степной Таврии с Врангелем.

— По приказу самого Владимира Ильича выезжали тогда в составе сводной бригады московских и петроградских курсантов на Южный фронт, — вздохнул Борис Васильевич, держа в руке телеграмму.

— Врангеля и Махно громили, папа? — спросил старший сын Володя.

— Тогда, сынок. Тогда... — задумчиво ответил Борис Васильевич. Конечно, ему было что рассказать сыну о том времени. Сложном времени. Ведь все обстояло не так просто, как кое-кому ка-

жется сейчас. «Били Деникина, били Махно. Так же любого с дороги смахнем», — поется в песне о Красной Армии. Да. Было и это. Только разве не было иначе? Разве не приходилось Красной Армии отступать под ударами того же Деникина? Еще как приходилось! И разве не Повстанческая армия того же Нестора Махно стойко держала против него оборону на многих десятках километров? Не его ли хлопцы дрались против черного барона Врангеля? Борис Васильевич мог бы рассказать своему старшему сыну, как их сводная курсантская бригада попала в окружение врангелевцев под Ореховом. Многие ребята тогда в плену оказались и были расстреляны беляками. Не избежать бы и им с Алешей Булычевым горькой участи, если бы не их товарищ Георгий Гамарин. Неожиданно выскочив на своей тачанке перед завершающими атаку врангелевцами, Георгий пулеметным огнем заставил их цепи залечь, дав возможность отступить остаткам курсантской роты. Потом они вместе выходили из окружения с так же потрепанным отрядом махновцев, во главе с лохматым великаном Левой Задовым, который, оказывается, был начальником махновской разведки. И что самое удивительное, так это то, что той встречей знакомство Бориса Васильевича с Левой не ограничилось.

Борис Васильевич знал, что части батьки Махно вместе с Красной Армией форсировали Сиваш, брали Перекоп. Знал, что после освобождения Крыма батька снова (в который уже раз!) был объявлен изменником, предателем. Не только слышал от других, но и сам принимал участие в ликвидации банд, на которые рассыпалась махновская Повстанческая армия. То была жестокая драка! Батька был разбит и, говорят, еле ноги унес с несколькими десятками своих сторонников, ударав за границу, где и умер недавно. Так, по крайней мере, сообщалось в печати. Но вот что интересно. Буквально перед самым отъездом к новому месту службы довелось Борису Васильевичу еще раз увидеться с Левой. Только теперь у него была другая фамилия. Зиньковский. Да. Товарищ Зиньковский — так его называл командир Каменец-Подольского пограничного отряда. Увидев его, Борис Васильевич от изумления даже рот открыл.

И Лева его, кажется, узнал. Узнал! Конечно, узнал. Иначе с какой бы это стати тот стал бы ему подмигивать.

— Ах ты, гад! — обозлился Борис Васильевич. — Выходит, затаился где-то, а теперь пролез в святая святых. Ведь оперуполномоченный ОГПУ!

Борис Васильевич хотел вначале сам арестовать шпиона и диверсанта, но передумал и решил прежде посоветоваться с Алешей Булычевым, который по каким-то своим гепеушным делам частенько в их отряд наведывался. По стечению обстоятельств оказался Булычев с ними и в тот раз.

— Алешка! — тяжело дыша, прошептал Мащенко, схватив за рукав Булычева, когда им наконец удалось остаться наедине. — Это что же получается?

— Что получается, Борис? — сощурил глаза Булычев.

— Ты разве не узнаешь этого бурмилу Левку? Это же махновец, отряд которого примкнул к нам, когда мы выходили из окружения под Ореховом.

— Да как тебе сказать...

— Нет! Ты скажи, Алешка, он это или не он. Может быть, я ошибаюсь.

— Ну, кто из нас не ошибается? — развел дурашливо руками Булычев. Глаза его смеялись, и это еще больше разозлило Мащенко.

— Ты, Булычев, как-то странно себя ведешь, — выдавил он из себя уже со злостью. — Или ты что-то знаешь и не хочешь сказать, или...

— Успокойся, Борис, — положив ему руки на плечи, произнес Алексей. — Ты не ошибся. Это тот самый человек. Только никакой он не враг, а нам с тобой товарищ. Надежный товарищ, которому можно верить. Вот все, что я могу тебе сказать сейчас. И прошу, больше ни о чем ни меня, ни его не спрашивай. Хорошо?

— Ну, что ж,.. — сдвинул плечами Борис Васильевич. — Раз ты так считаешь...

— Это приказ, Борис, — отчеканил Булычев.

— Вот теперь понятно, — выдавил из себя улыбку Мащенко. — Не совсем, но понятно...

Ну, разве об этом он мог рассказать своему Володьке? Ведь для того существовали только два цвета — белый и красный, наши, а значит, бесстрашные, непобедимые герои и не наши, то есть враги, которые должны быть разбиты, побеждены, а еще лучше — уничтожены. Это касалось не только белогвардейцев, но и всех без исключения петлюровцев, махновцев, григорьевцев, а теперь вот троцкистов и иже с ними. Никого не интересовало, почему человек оказался среди «не наших», какая судьба его туда занесла и что собой, собственно говоря, эти самые «не наши» представляют. Не наш, не с нами — значит, враг. К такой оценке приучали Бориса Васильевича и того требовали от него.

Где-то в душе Мащенко жил червячок сомнения, будоража вопросы: а не упрощают ли они таким образом жизнь, не слишком ли легко решают чужие судьбы, по какому праву все это делается и что они за штуки за такие — правда и справедливость? Но эти вопросы жили только внутри него, в его сознании и за его пределы не выходили. Нет, Борис Васильевич не был трусом и не побоялся бы задать кому угодно любой вопрос. Любой, но не эти, в которых, как ему казалось, заключалась суть всех совершающихся невиданных перемен. А до нее он должен был добраться сам. Пока же он, однажды поверив Ленину, большевистской партии, шел за ними, добросовестно и честно делал работу, которая ему поручалась, и наде-

ялся, что в результатах ее, в изменении жизни трудящихся, рабочих и крестьян в конце концов проявится и та самая суть. И произойдет это не вдруг, не сразу. Нужно время. И немалое.

— Хату люди строят, и то не один месяц уходит, — рассуждал Борис Васильевич. — А тут, понимаешь, новый мир построить решили. И пока до крыши доберемся, не год и не два, должно быть, пробегут. Не исключено, что нам с Клавушкой и пожить в нем не доведется. Но в то, что строили правильно и на века, верить должны. И мы, и дети наши. Обязательно должны! А то что же может получиться? Построить-то построим, но вдруг окажется, что совсем не то. Все снова переделывать? Так и жить по-человечески некогда будет. Нет! Лучше уж как следует подумать, все взвесить, а потом уже за дело браться.

Сам Борис Васильевич поступал именно так, тому же учил своего сына и был уверен, что там, на самом верху, в Центральном Комитете ВКП(б) и правительстве иначе и быть не может. Ведь ему с ребятами-курсантами, которым довелось стоять часовыми у кабинета и квартиры Ленина, приходилось видеть, каким напряженным был день у вождя революции. Да и правильно ли будет называть это время работы рабочим днем? На отдых-то тогда отводились считанные часы. Пусть обстановка сейчас не та. Нет военных действий. Но борьба-то продолжается. Значит, и там, в самом главном штабе должны работать с не меньшим напряжением.

Чтобы убедиться в этом, Борис Васильевич и затеял разговор с Алексеем Булычевым в первый же вечер их встречи.

— Послушай, Алеша, а товарища Сталина тебе часто доводится видеть?

— Доводилось, — обхватив колено руками и с прищуром глядя на Мащенко, ответил Булычев. — Несколько раз видел товарища Сталина.

— Видел в кабинете? — оживился Мащенко. — За работой?

— Не-ет! — покачал головой Булычев. — Быть в кабинете товарища Сталина, а тем более наблюдать за его работой — это не мой уровень, Борис.

— Почему? Ведь в кабинете Ильича и в его квартире мы же с тобой бывали. Да ты же сам мне рассказывал, Алеша, как он тебя чаем угощал, о делах домашних расспрашивал. Было такое?

— Было, было, Борис.

— Так почему же...

— Время сейчас другое, Борис, — не дав договорить другу, вздохнул Булычев. — Совсем другое время. Дел невпроворот в стране. Ты посмотри, какие грандиозные стройки развернулись. Один Днепрогэс ваш с индустриальным комплексом чего стоит. Но разве только в Запорожье дела делаются. А Кузнецкая Магнитка! А Дальний Восток! А тракторные гиганты в Харькове и на Волге! Да по всей стране сейчас такое творится, что просто дух захватывает. Далеко ведущие капиталистические державы вперед ушли, нещадно эксплуатируют пролетариат, трудящиеся массы. И

Советский Союз им сегодня, как кость в горле. Понимают же, гады, что стоит нам на деле доказать, какие чудеса может творить свободный человек, на какие чудеса способен, как придет им конец. Понимают и зубы точат. Выбирают подходящий момент, чтобы сожрать нас.

— Подавятся, гады!

— Это точно. Вот только успеть бы нам пробежать это расстояние, которое нас и их отделяет, на которое мы от них отстали, до схватки.

— Неужто еще не догнали?

— Чудак ты, Борис!

— А что? Я ж по армии нашей вижу. Как меняется она сама буквально с каждым днем. Какая техника идет. Значит, заработали новые заводы...

— Заработать-то заработали, но их еще мало. Ой, как мало. Мы то видим, как меняется жизнь здесь, у нас в стране. А кое-кто и за рубежом бывает. Так что может сравнивать и делать собственные выводы, судить, что по чем.

— И что же?

— А то, что сравнение это пока не в нашу пользу. Далеко не в нашу!

— Вот как?

— Да. К сожалению, это так.

— Так раз бывают в других странах, за границей эти самые «кое-кто», пусть бы и смотрели да и нашим специалистам советовали, как сделать.

Мащенко вспомнил свою встречу в пограничном отряде с Левой и, усмехнувшись, добавил:

— Только посылать туда нужно пограмотней людей. Башковитых, чтобы разобраться во всем могли...

— Ты о чем, Борис? — усмехнулся в ответ Булычев, видимо догадавшись, что имел в виду Мащенко. — Не волнуйся. Те, кто занимается этим делом, понимают, что к чему. Они не дурнее нас с тобою.

— Да разве что,.. — смутился Мащенко. — О стране думаю... За страну беспокоюсь.

— Каждый из нас должен думать о том, как лучше свою работу сделать. У станка, у домны, мартена, за пультом электростанции, на тракторе или комбайне, в воинском строю. Везде, где сегодня борьба за новую жизнь идет. В этом состоит задача. А о стране нашей, Борис дорогой, есть кому думать. У товарища Сталина далеко за полночь окна светятся, — Булычев открыл коробку «Казбека» и, старательно размяв папиросу, потянулся за спичкой. — Ты вот спрашиваешь, часто ли мне доводится видеть товарища Сталина. Так вот скажу тебе, что посчастливилось близко его видеть дважды. Доставлять документы разные, понимаешь, доводится из нашего ведомства в Кремль.

— Самому?

— Ты слушай. Слушай. Иду я, значит, по коридору. А он длинный-предлинный и дорожкой ковровой застелен. Так что шагов почти не слышно. Охрана, конечно, стоит, где ей положено. Людей почти не видно. Ага! Я даже задумался о чем-то. Вдруг буквально в нескольких шагах от меня он появляется...

— Сталин!? Один?

— Сталин, конечно. Только не один, а с охранником.

— Ну, ну!

— Да. Так вот. Идет мне навстречу.

— А ты?

— Я, как положено, по стойке смирно встал. Честь ему отдал и стою.

— А он тебе ничего не сказал?

— Нет. Только внимательно на меня посмотрел и исчез куда-то.

— Так, значит, — обронил Мащенко несколько разочарованно.

— Нет, дорогой Борис! — уловив это настроение друга, несколько быстрее обычного заговорил Булычев. — А ты что хотел? Думаешь, товарищ Сталин с каждым встречным-поперечным будет останавливаться и разговоры разговаривать? Так для этого у него никакого времени не хватит. Державой же руководит. И какой! Понимать надо.

— Понимаю, — кивнул головой Мащенко и почему-то опять вспомнил встречи с Лениным. Тот, бывало, проходя мимо стоящего на часах курсанта, обязательно, если не заговорит, то хоть улыбнется или кивнет: сознаю, мол, важность твоей службы, но приветствую тебя как человек человека. Человек человека... В том-то вся суть! Все мы люди, но не каждый это осознает. Особенно если ты к тому же при власти. Власть — она штука очень опасная. Не успеешь оглянуться, как она тебя над людьми поднимает, и ты уже летишь, свысока на них поглядывая. И чем она, эта самая власть, больше, тем выше возносит человека, тем больше он от земли отрывается. Как тут простых людей замечать, когда они сверху муравьишками манюсенькими да никчемными кажутся? Ты себя представляешь если не самим Господом богом, то близким к нему созданием или уж, по крайней мере, ближе, чем многие другие. Как им до тебя добраться? Как оценить? Как понять? И парит человек над грешной землей, будто ангел небесный, о беде и не думая. А потом вдруг — р-р-раз! Что-то сломалось. Нежданно-негаданно все изменилось. Он бедолага и очухаться не успеет, как, глядишь, уже на земле очутился. Не зря же говорят, что чем выше взлетишь, тем больнее падать. На той же земле, над которой он только что парил, его по-земному судят. И кто? Не Господь бог, а те же самые обыкновенные люди, которые еще вчера виделись ему маленькими и никчемными муравьишками. «Ах, бес попутал! — кается падший. — Ошибся. Недооценил». Только зачем это? Поздно уже.

— Да ты не слушаешь меня, Борис? — доносится до него голос Булычева.

— Нет, нет, Алеша. Я это... молодость нашу вспомнил. Учебу нашу на пулеметных курсах в Кремле. Ты говоришь, а я представить себе пытался. Видно, многое там изменилось? Попади, так и вряд ли бы узнал.

— Как тебе сказать... Кое-что изменилось, конечно, — с плохо скрываемой обидой на невнимательность друга ответил Булычев.

— Ну, а второй... второй раз, как ты видел товарища Сталина? — попытался загладить свою вину Борис Васильевич. — Расскажи-ка, Алеша.

— Второй? — Булычев помолчал. — А второй я видел его только издали. Впереди меня он мелькнул и тут же исчез куда-то. Я ускорил шаг. Дай, думаю, посмотрю, в какую дверь вошел товарищ Сталин. Повернул за поворот. Смотрю: никаких дверей нет и коридор пустой. Понимаешь?

— Как это? — изумился Мащенко. — Куда же он девался?

— В том-то и дело, Борис! — почувствовав неподдельный интерес, оживился Булычев. — Ты вот спрашиваешь, как изменился Кремль. Внешне не очень. Только внутри постоянно какие-то строительные работы идут. Говорят ребята, там разные переходы и двери секретные делают...

— Зачем?

— Не понимаешь?

— Для безопасности?

— Догадался? Конечно, для безопасности товарища Сталина. Ну и, конечно, других руководителей партии и правительства. Время сейчас такое.

— Так охрана же есть, Алеша. Разве ее недостаточно для наших вождей?

— Вождь один у нас, Борис. Один единственный. Ты же понимать должен...

— Ну, это-то я понимаю! — чувствуя, как обида на нравоучительный тон Булычева начинает возбуждать внутри него злость, нахмурился Мащенко.

— Ты... ты не обижайся, Боря, — уловив состояние Мащенко, смягчился Булычев. — Это я так... Для себя, понимаешь... Для памяти. Недавно я на собрании у нас так же, как ты давеча, сказал о вождях, так меня потом секретарь партбюро воспитывал.

— Это принципиальный вопрос?

— Выходит, принципиальный, — развел руками Булычев. — Ты посмотри только, что получается. Вначале Каменев с Зиновьевым свою линию гнули: не следует, мол, идти на вооруженное восстание, а то беды не оберешься. Ленину себя противопоставляли, в вожди лезли. Пошли бы за ними, где бы сегодня были? То-то же. Потом Троцкий туда же двинулся. Теперь Бухарин с компанией. Ну что я тебе рассказываю? Ты ведь и сам это не хуже моего знаешь. Верно ведь?

— Кто знает? — усмехнулся Мащенко. — Что ни говори, а друг не откуда-нибудь, а из самой столицы приехал. Столичный товарищ. Из центра. Оттуда ведь вам наверняка все виднее. Так ведь?

— Ладно! Будет тебе хитрить, полтавская галушка! — рассмеялся Булычев. — Вижу ведь, какие бесики в глазах твоих заиграли, когда меня понесло немного.

— Увидел-таки?

— А как же! Я ведь Гоголя тоже читал. Да и тебя, черта, не первый день знаю. Кстати приехал я к тебе не из Москвы, а из Одессы. И привет тебе оттуда принес.

— Это от кого же?

— Леву не забыл, с которым из врангелевского окружения выходили?

— Задова?

— Да не Задов он, а Зиньковский. Говорил же уже. Забыл?

— Ох, прости! Прости, Алеша. В самом деле забыл.

— А вот он тебя помнит. Сказал: «Кланяйся, Алексей, тому высокому чернявому полтавчанину».

— Вот даже как!

— Ага.

— Он все так же по вашей части служит?

— По нашей. Повышение как раз перед моим отъездом получил, теперь Лев Николаевич старший оперуполномоченный.

— Ого! Это же какое у него общевойсковое звание?

— Полковник.

— Да. Вот тебе и Лева.

— Он тебе тут еще один сюрприз подбросил.

— Это какой же?

— Быстрый какой! Всему свое время.

Отдохнув после дороги, Булычев проснулся рано. Походил по саду, любуясь деревьями, облепленными плодами. Поговорил о чем-то с Федотом Никифоровичем Юнацким, который возился в своем саду. Сделал зарядку и, умывшись с помощью Володьки, который неотступно следовал за своим кумиром, стал куда-то собираться.

— Ты куда это, Алеша? — изумилась Клавдия. — Ведь не завтракал еще.

— Ладно, ладно, Клавочка. Я немного пройдусь.

— Дядя Алеша, а можно и я с вами? — попросил Володя.

— Со мной? — усмехнулся Булычев. — А чего же. Можно. Только город-то хорошо знаешь?

— Знает, знает, — ответил за сына Борис Васильевич. — Я проверял.

— Я тебе, Борис, рассказывал, как меня отец учил город знать?

— Что-то не помню.

— Ну так слушайте. Нужно сказать, что большинство людей любят свои города. Но питерцы любят свой по-особому. Они в большинстве своем хорошо знают историю не только города, но и

улиц, домов. Могут часами рассказывать о них. Тогда я еще совсем мальчишкой был. Года на два на три младше Володьки. И взял отец меня с собой на рынок однажды. Иду, значит, я с ним по улицам и по сторонам смотрю. В аккурат воскресный день был, как сегодня. Людей много, а мне все интересно. Отец отлучился, то ли разговаривал с кем-то, то ли в лавку зашел. У меня же свой интерес. Задумался я о чем-то. Аккурат в это время подходит ко мне мужичок какой-то. По всему видать, деревенский. Подходит и спрашивает, не знаю ли я, как пройти в переулок Калачный. Я, впервые о нем услышав, буркнул: «Не знаю». Буркнул и повернулся к мужику спиной. Тут отец, который оказывается все это видел, подходит ко мне, берет меня больно за ухо и за мужиком следом. Догнал его и к нему: «Человек хороший, о чем вы спросили этого мальца?» Тот плечами сдвинул и ответил. Отец покачал головой и снова к нему: «Прости великодушно мальца моего и меня за его некрасивый поступок. Он тебя до самого того переулка и нужного тебе дома доведет». Слезы у меня на глазах. Ухо болит и обида на отца гложет, а иду. Нашел, что нужно. Еще и пряник в награду получил. Зато с тех пор, бывая в городе, старался внимательнее смотреть, где я нахожусь, как называется район и улица. Так-то вот. Ну, что? Пошли, Володя, изучать ваш исторический город Запорожье. Ведь исторический?

— А как же! Запорожские казаки, Днепрогэс...

— Ну вот видишь! Вперед, казаче.

— Вы же, смотрите, недолго, — предупредила их Клавдия. — Слышите, Алеша, Володя?

— Ладно, ладно, — помахал ей рукой Булычев. — Вы нас не ждите. Мы как-нибудь с голоду не пропадем. Поди, не на необитаемом острове.

Они и в самом деле где-то пропадали полдня. На возмущение Клавдии, которая отчитывала их, и недоумение Бориса Васильевича Булычев и Володя только улыбались.

— Нет, серьезно, мужики, где вас носила нелегкая? — допытывался Мащенко, переводя взгляд с Булычева на сына.

— Ну чего ты переживаешь, папа? — сдерживая улыбку, смешно разводил руками Володя. — Где были, там ведь уже нас нет.

— Скажем, скажем, — загадочно отвечал Булычев. — Ты вот лучше, Борис, позаботься о парочке дополнительных стульев.

— Это зачем?

— Может быть, гости какие-нибудь неожиданно явятся, — почесывая затылок, тянул Володя.

— Что за гости? — хмурился Борис Васильевич. — Вы объясните, наконец, в чем дело,черти?

— Гости хорошие, Боря, — снова вел свою линию Булычев. — Только всему свое время. Не отвлекайся сам и не отвлекай нас от подготовки к торжеству. Лучше еще раз подумайте с Клавой, какое имя следует дать новорожденному.

— Ну, разведка! — сдвинул плечами Борис Васильевич. — Спелись? Сговорились, значит? И тебе, Вовка, не стыдно отца родного дразнить!? Не стыдно?

— Папа! — рассердился Володя. — Так нечестно. Я дал слово дяде Алеше. Ты понимаешь? Дал честное пионерское слово.

— Ну, раз так, — ероша волосы пятерней, хмыкнул Борис Васильевич. — Раз дал честное пионерское, тогда другое дело.

Подмигнув улыбающемуся во все лицо Булычеву, он удалился в дом и больше уже не приставал с вопросами ни к Алексею Андреевичу, ни к сыну.

Вскоре появился командир полка, невысокий, плотно сбитый, в ладно сидевшей на нем форме, с полной, несколько выше его ростом, женой.

— Слышал, слышал о московском госте, — неожиданно тонким голосом произнес гость, доставая портсигар и протягивая его Булычеву.

— Небось, так меня охарактеризовал своему комполка, что хоть сейчас беги? — деланно суровым голосом спросил Алексей Андреевич.

— Ну нет. Комиссар просто в восторге от вас. Вспоминал, как воевали в наших местах в гражданскую, как учились вместе в училище имени Верховного Совета РСФСР...

— Тогда это еще только пулеметные курсы были, — поправил Алексей Андреевич.

— Да, да. Я знаю. Но ведь первая школа наших красных командиров. Так? Борис Васильевич и фотокарточку вашего выпуска представлял...

— Интересное было время, Дмитрий Иванович, — вставил Мащенко.

— Интересное и героическое! — значительно поднял палец комполка и, отыскав глазами Володю, добавил. — Нашей молодежи об этом нужно знать и помнить.

— А мы знаем,.. — отозвался мальчик, но комполка ему не дал продолжить.

— Вот, вот!

Ко двору подошли мужчина и женщина с мальчиком. Остановившись у калитки, они какое-то время стояли молча. Увидев их, Володя незаметно дернул за рукав Алексея Андреевича.

— Ага! Вижу, вижу, — прошептал тот и, обращаясь к Мащенко, громко сказал:

— К тебе, кажется, еще гости, Борис Васильевич. Иди встречай.

Растерянно моргая глазами, тот неторопливо направился к калитке.

— Ой, мамочка! — через минуту раздался его возглас. — Петро! Дорогой ты мой товарищ комэск!

Расцеловавшись с Петром и Катей Задорожними, Борис Васильевич повел их к дому, крича:

— Клава! Клавушка, дорогая! Ты посмотри, кто к нам пришел.

— Иду! — отозвалась из дома Клавдия Николаевна. — Кто там?

Расцеловавшись с Петром, Клавдия Николаевна повернулась к Кате.

— Ну, Петро, знакомь нас.

— Так оце ж, Мыколаевна, моя жиночка Катя. Катерина Иванивна. Мое сонечко. А це — сыночек наш Витек. Женщины обнялись.

— Господи! — всплеснула руками Клавдия Николаевна. — Какой большой мальчик у вас. Дай-ка я тебя поцелую.

— Ну чого ты ховаешься, козаче, — смеялся Петро. — Давай своего подарка.

Витек с трудом поднял красочно разрисованного игрушечного коня и поставил его перед Клавдией Николаевной.

— Вот, — вздохнул он. — Это вашему мальчику.

— Так у нас же их двое, — подмигнув Петру, отозвался Мащенко. — Старшему Володе недавно одиннадцать исполнилось.

Витек спрятался за маму, видимо, решая, как же ему быть. Но быстро нашелся и тут же выпалил:

— Маленькому! Вот какому!

Все рассмеялись.

— Ну, как наш сюрприз? — хитровато улыбаясь, спросил Булычев.

— Ой, спасибо тебе, Алеша!

— Не только мне, но и Володе своему также. Это мы вместе отыскали их. Между прочим, по просьбе Льва Николаевича Зиньковского.

— Левы?

— Ага. Но пока не будем об этом. Катя тебе, Борис, со временем о нем может рассказать много интересного. Очень много.

— Ну что же, дорогие гости, — обратилась к собравшимся Клавдия Николаевна. — Прошу к столу. Командуй, Боря.

Когда все расселись за столом, поднялся Булычев.

— Прежде чем предложить первый тост, хотелось бы, чтобы уважаемые родители доложили, какое имя дали новорожденному. Клавдия Николаевна и Борис Васильевич переглянулись.

— А вот мы сейчас у Володи спросим, — прокашлявшись, сказал Борис Васильевич. — Сынок, какое имя дадим твоему младшему братику?

— Какое? — Володя глянул на отца, потом перевел взгляд на маму. — Я думаю, пусть он будет Юрием.

— Юрий! — произнес Борис Васильевич. — Юрий Борисович.

— Юрочка! — едва слышно прошептала Клавдия Николаевна.

— А что вы думаете, друзья! — обрадовался Алексей Андреевич. — Мне кажется, гордое и хорошее имя. Даже очень хорошее. Так как же?

— Согласен, — обняв за плечи жену, произнес Борис Васильевич.

— И я согласна, — прижавшись к мужу, отозвалась Клавдия Николаевна.

— Значит, за Юрия, за Юрия Борисовича Мащенко! За нового гражданина Союза Советских Социалистических Республик.

Все встали и, протягивая перед собой руки со стаканами, начали чокаться друг с другом.

— О! — воскликнул вдруг Витек Задорожний. — Смотри! Смотри, Вов, какой они веночек для вашего Юрочки сделали.

— Где? Где ты видишь веночек, Витек?

— Да вон же! Вон! Со стаканами.

— И, вправду, венок! — положив свою широкую ладонь на головку мальчика, усмехнулся Юнацкий. — Венок с напитком счастья. Пусть будет счастливым ваш маленький человек. А вот и от меня ему подарок.

Федот Никифорович развернул газету и бережно извлек бескозырку.

— Ух, ты! — изумился Володя. — Бескозырочка!

Он восторженно смотрел на подарок старого Юнацкого. Володин любимец в молодости служил на Тихоокеанском флоте и многое сделал для того, чтобы привить старшему сыну Мащенко любовь к морю. Ничего что мальчик ни разу не видел этого самого моря. Но рассказы Федота Никифоровича до того растревожили юную душу, что Володя буквально бредил морской службой. Ему не раз снился пронзительный свист ветра, огромные волны, грозно наползающие на ведомый им корабль.

— А можно... можно я померяю бескозырку? — тихо вымолвил он.

— Конечно! — отозвался Федот Никифорович и тут же одел ее на голову мальчика.

— Трошки «маловата», Никифорович! — засмеялся Задорожний.

— Ничего, — успокоил дед Юнацкий, — не успеешь оглядеться, как она станет впору не только Володе, но и ее хозяину Юрочке. Между прочим, эту бескозырку я носил, когда нашим крейсером командовал капитан первого ранга Шмидт. Слыхали такую фамилию?

— Петр Шмидт? — вскинулся Задорожний. — Тот, который поднял восстание на крейсере «Очаков»? Так он же...

— Нет, Петро. Мой командир приходится дядей герою восстания на крейсере «Очаков» Петру Петровичу Шмидту. Он потом эскадрой командовал на Тихом океане.

— Понятно. Выходит, на море не один Шмидт был?

— Конечно, нет. Их много. Только одни из них эту фамилию носили, а другие Кузнецовыми были.

— Ну да! — включилась в разговор Катя. — Ведь «шмидт» по-немецки «кузнец».

Выпили за родителей, за Володю, которому Федот Никифорович присвоил звание няньки-боцмана. В разговор, который велся за столом, то оживляясь, то затихая, неожиданно ворвалась песня.

— «Цвите терен, цвите терен», — выводил Петро.

— «Лыстя опадають», — неожиданно сильным и звонким голосом подхватила Клавдия Николаевна.

— «Хто з любовью не знаеться,

Той горя не знае...»

Теперь уже поют все: и Мащенко, и Юнацкие, и комполка со своей Людмилой Сергеевной, и даже Булычев. Алексей Андреевич не знает слов песни, но очень тонко уловил мелодию и ведет ее точно вместе с другими.

Песня закончилась. Но все сидят молча, не решаясь нарушить очарования, созданного только что прозвучавшей мелодией.

— Боже мой! — тихо вздыхает Булычев. — Какая прелесть. Кто придумал это чудо и когда?

— Народ, — откликнулся Задорожний. — Токо народ мог такое сотворить. Токо он.

— Я понимаю, что песня народная, — вел свое Булычев. — Раз живет в народе и, видимо, долго живет, значит, принята им, легла, как говорится, на сердце, то и имя ей такое справедливо дали — народная. Только ведь были же, наверняка были конкретные люди, с какими-то фамилиями, именами, которые придумали слова, мелодию. Пусть даже не все слова, не все сразу, а были. Кто они? Почему мы о них не знаем? Видно, слаба еще наша историческая наука.

— От тоби и на! — обиделся Задорожний. — Чого це исторычна наука тоби, Альоша, слабою здаеться?

— Ну ты прости меня, Петро, — поднял руки Булычев. — Я не хотел обидеть твою славную науку, которую и сам люблю. Но все же хотелось, чтобы этот пробел в памяти народной она также ликвидировала.

— Може, колысь. З часом, Альоша, и таке буде...

— А ведь и вправду интересно было бы знать, что за люди придумали слова к песне, — подключился к разговору комполка. — Я думаю, что хороший человек может сочинять только хорошие песни, а плохой — плохие. Как, товарищи? Вы только посмотрите, какая песня была любимой у Нестора Махно: «Любо, братцы, любо, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить». Сам бандит, и песня у него разбойничья, бандитская.

— Нет, — задумчиво покачала головой Катя. — Эту песню действительно пели в армии Махно. Но у батьки любимой была другая.

— Какая же? — недовольно спросил комполка.

— «Розпрягайте, хлопцы, коней», — ответила Катя и, смутившись, добавила, — так люди говорят.

— Мало что говорят! — не сдавался комполка. — Говорить можно всякое. Только я не верю, чтобы у кровавого бандита была любимой такая славная и нежная песня.

— А давайте мы заспиваймо, — предложил Петро, разряжая обстановку, и все с ним согласились.

Разошлись уже за полночь. Вначале провожали комполка, который, видимо, выпив сверх нормы, излишне громко говорил и все порывался пойти в часть проверить караулы.

— Только на минутку загляну, Люда, — убеждал он отговаривавшую его жену. — Только на одну минутку!

— Отставить, Дмитрий Иванович! — строго сказал Борис Васильевич. — Сейчас не время идти в полк. Я звонил туда. Там порядок.

— Ну раз-з-з так... Раз комиссар грит... — сдался комполка. — Тада согласен. Пошли домой.

— Вот это правильно! — поддержал его Булычев, беря под руку. — Домой и только домой.

Доставив к месту назначения излишне шумного Дмитрия Ивановича, пошли провожать Задорожних.

— А вы помните, хлопцы, тот бой с врангелевцами коло села Янчекрак? — спросил, уже подходя к трамвайной остановке, Задорожний.

— Как не помнить! — в один голос отозвались Мащенко и Булычев.

— Мы ж тоди з латышами оборону трымалы.

— Да! — вздохнул Мащенко. — Пятый особый Латышский полк. К тому времени трижды Краснознаменный. Особо отличался при выполнении особо важных заданий партии. Героические ребята.

— Треба на братню могылу якось зиздыть. Уклонытысь тым хлопцям. Там же и латыши, и мадяры тож. Памьятаете?

— А как же. Весь полк латышей и вся бригада революционных венгров там полегли тогда. Был я на могиле их недавно со своими красноармейцами.

— Був?! — изумился Петро. — Ой молодець ты, Борис!? Молодець. Справжня комисарська душа. Спасыби тоби. Тильки будешь хлопцам про той интернациональный бий разказувать, не кажи, що вси до одного тоди загынулы.

— Как так?

— А от так. Я ж живый.

— А латыши? О них же я.

— Та и я ж про ных хочу тоби сказать. Був серед латышив одын комвзвода. Ян Грудулс. Казав, що нибыто з Ладгалии вин. Земля у ных такая есть. А мистечко Мадоною зветься. Батько його, як и мий, селянын, хлибороб, бидолага. Все життя, казав, мрияв про те, щоб зибрать грошей и купыты тры велосипеды.

— Зачем же столько? — поинтересовался Борис Васильевич.

— Соби и двом сынам. Казав, що дуже хочеться тому у недилю одягнутысь у били сорочки, посидаты на веломашины и поихать до церквы. Вируючой був чоловик, а людына наша, революцийна. Вин мене и од смерти врятував, колы били повелы нас разстрелюваты. Де вин зараз той Ян Грудулс? Дуже б мени з ным хо-

тилось зустритысь. Зустритысь та посыдить отак, як з вами сьогодни пид грушею.

Подошел трамвай, и они простились. Задорожние отправились к себе домой в соцгород, а Мащенко с Булычевым — на свой Зеленый Яр.

Южная ночь рассыпала по небу несчетное количество звезд. И они, разлетевшись, раскатившись по иссиня-черной глади малюсенькими точечками, шаловливо перемигивались, ведя о чем-то своем таинственные переговоры. Дорога от трамвайной остановки поднималась вверх, становясь все круче и круче. Мащенко, шагая рядом с Булычевым, вслушивался в сдавленное дыхание друга. «Стареет Алеша!» — подумал он, но тут же заметил, что и сам начинает сбиваться с ритма. Это было что-то новое, и оно неприятно поразило Бориса Васильевича. Ведь каждое утро они с Володей проделывают этот путь: бегут на бухту, делают там зарядку, купаются и бегом же возвращаются обратно. Каждое утро! И еще ни единого раза он не ощутил этой самой крутизны. Отчего же сегодня так? Что произошло? Может быть, дает себя знать выпитое спиртное? Может быть. Ведь он никогда раньше столько не пил. Никогда. Но сегодня — особый случай. Отмечали рождение его сына, младшего Мащенко. Растет и крепнет их полтавский род. Правда, не только полтавский. Клавин отец ведь из той же Андреевки, что и Петро Задорожний. К тому же они, оказывается, еще в молодые годы дружили с Федотом Никифоровичем Юнацким. Ну а мама Клавина, то есть Володина и Юрина бабушка, аж из Белоруссии, из деревни, что под городом Слонимом...

— Постоим, — предложил, сдерживая дыхание, Булычев.

— Давай, — согласился Мащенко и, подняв голову к небу, воскликнул. — Ух, ты! Посмотри как вызвездило, Алеша! А месяц-то, месяц как степенно и важно шествует по небу. Будто пастух. Чистый пастух свое звездное стадо пасет. Смотри. Говорят, у каждого человека своя звездочка есть: у тебя, у твоей Полины, у меня, Клавдии, у детей наших. Теперь вот и у Юрки нашего будет. Что она сулит ему?

Булычев молчал.

— Ты чего же, Алеша? — насторожился Борис Васильевич. — Сердишься, может быть?

— Сержусь? На что мне сердиться? Разве что на себя.

— А на себя-то за что?

— Есть. Есть за что, Борис, — вздохнул Булычев, опустив голову.

Мащенко молча глядел на друга, чувствуя, что какие-то тревожные мысли не дают тому покоя.

— Ты помнишь, как Петро о том латышском взводном говорил? — подняв голову и глядя в глаза Борису Васильевичу, спросил Булычев.

— О Грудулсе?

— Да. О нем.

— Конечно, помню. Яном его, кажется, звали.

— Именно так. Ян Грудулс.

— Ну и что? Тебе что-нибудь известно об этом человеке?

— В том-то и дело, Боря! В том-то и дело.

— Тогда почему же ты Петру ничего не сказал? Он же так хотел знать судьбу этого латыша.

— А что? Что я мог сказать, когда два месяца назад я арестовал этого человека.

— Как арестовал? За что? Ведь это же железные ребята. Их не зря называли рыцарями революции.

— Называли...

— Так что же случилось?

— Не знаю. Точно не знаю. Говорят, что они какой-то клуб латышских стрелков в Москве организовали. Вроди даже собрались идти на Латвию.

— Зачем?

— Ну, революцию там делать. От буржуев освобождать. Но ты же понимаешь, что это международный скандал. Скандал на весь мир.

— Понимаю...

— Вот наверху и решили горячие головы остудить, а наиболее активных изолировать.

— Арестовать, значит?

— Выходит, так.

— Ну а что же им в вину вменили? То, что они хотят видеть свою родину свободной от эксплуататоров, небось?

— Ты что, Борис, маленький? Кто же за это арестовывать, а тем более судить, будет?

— Тогда за что же их все-таки арестовали?

— За национализм.

Помолчали, сердито посасывая папиросы.

— Та-а-к! — затоптав окурок, протянул Мащенко. — Выходит, когда эти латышские хлопцы сюда, к нам на Украину ехали революцию, Советскую власть спасать, все было как следует, было правильно? А как только они заговорили о том, что хотят, чтобы эта самая Советская власть была установлена на их земле, на их родине, их сразу же в национализме обвинили. Хор-р-рошенькое дело!

— Ну, чего ты горячишься, Борис?

— А что я по-твоему должен делать? Аплодировать тебе?

— Я-то причем? Мне команду дали, и я, как ты хорошо понимаешь, не мог ее не выполнить.

— Вот-вот! Удобная позиция. Оч-ч-ень удобная! Позиция топора: не я караю — мною карают.

— Ну, знаешь ли! Тебе легко судить со стороны. А сам бы ты,.. сам бы как поступил на моем месте?

— Я?

— Ты, ты!

Борис Васильевич открыл рот, развел руками и так застыл, не найдя что ответить Булычеву.

— Ага! Нечего сказать? В том-то и дело, друг мой дорогой. Ты думаешь мне легко? Думаешь, что я всегда иду на работу, как на праздник? Иной раз, признаюсь тебе, Борис, жить просто не хочется. Чувствую, что творится что-то не то. Слишком много у нас развелось этих самых националистов, врагов народа. Откуда они взялись? Почему именно сейчас они из своих щелей повылезли, когда дела у нас хорошо пошли? Ведь успехи же, успехи на всех участках социалистического строительства. Жить по-человечески начинаем, а тут эти... Неужели же не понимают, что на явную погибель их действия обречены? Народ за Лениным, за партией пошел, волю-волюшку почувствовал, и с этой дороги его никто не свернет. Никакая сила!

— А что если нет их?

— Кого?

— Ну этих самых врагов?

— Ты что, Борис? В своем уме? Кого же мы тогда арестовываем? Кого судят? Кого карают?

— Не знаю, — покачал головой Борис Васильевич, прикуривая очередную папиросу. — Не знаю, Алешка. Не знаю.

— Вот и я не знаю. А коль не знаем, то нечего и языками зря чесать...

Нагулявшись по ночному небу, звезды собирались на покой. Прекращая игривое мерцание, тихо и бесследно одна за другой они покидали бледнеющий небосвод.

Подойдя к дому, в котором квартировали Мащенко, друзья еще долго стояли у калитки, молча смоля папиросы.

3

— Ах ты мий малесенький! Моя дорога крыхточка! — приговаривала Марийка,купая Павлика.

— Мамо! — от удовольствия жмуря глазенки, возражал мальчишка. — Та якый же я малесенький? Он, дывиться, уже в корыти не вмищаюся. Казалы татко, що скоро их наздожену.

— Наздоженеш! — вздохнула Марийка. — Прыйде час, и обовьязково наздоженеш.

А время, действительно, спешит. Не идет, а бежит. И зачем, скажите, куда ему торопиться? Вот, кажется, вчера еще она бегала девчонкой, издали незаметно наблюдая за самым красивым хлопчиком. За кем? О, тут и спрашивать нечего. За ним. За соседским Никиткой. Он один ее интересовал. На других и не смотрела. Будто и не существовали они для нее. А они ж таки были. Были эти самые хлопцы, которым нравились девчата. И она, Марийка, говорят, тоже не одному Никите нравилась. Только что из того? В мечтах своих впереди годочков своих летела. Спешила расти, чтобы скорее невестою стать, скорей обвенчаться со своим ненаглядным Никиткой. Чуть ни каждую неделю мерялась у двери, определяя, насколько подросла.

— От дурненька дивка! — смеялась беззубым ртом бабуся. — Чого ты спешишь-поспешаешь? Буде час, колы рокы твои так швыдко побижать, що ниякымы киньми не наздоженешь.

— А колы? — щебетала, целуя бабушкины сморщенные, как печеный гарбуз, щеки, Марийка. — Колы побижать? Як це буде?

— Скоро вже. Скоро, — качала седою головою старенькая. — А як? И не знаю, що сказаты. От нибыто есть день, а тут його вже и немае. Та шо там дни? Тыжни стрыбають через життя, мов ти собакы через тын. У мене ж, чуешь, той, шо не день, то пьятныця. Отакое, дытятко мое, дило. А ты пытаешь, як воны бижать. Кризь наше життя, мов кризь решето.

Выходит, права была бабуся. Теперь и Марийка по себе это знает. Уже четвертый десяток разменяла. Правда, по себе то мелькание дней и недель не слишком заметно. Но есть же другие приметы, которые говорят (ой, говорят!), что время не стоит на месте, не ждет. Какие? Ну хотя бы дети. Вон тот же Витюшка у Петра с Катей. Кажется, вчера только родился, а уже ему пятый годок пошел. Да и их Павлик (дай ему, боже, здоровья и счастья!) тоже подрастает.

Павлик. Как она мечтала иметь своих детей! Как молила Господа, чтобы послал ей малютку. И он таки услышал ее голос: осчастливил ее дочечкой. Только счастье это на горе, на беде приехало. Ушла от Никиты. Ушла, не стерпев его обидных слов, которые острым ножом полосонули ее. Сколько раз потом думала, что поспешила, поторопилась. Может быть, и вправду следовало подож-

дать, остыть, все как следует взвесить. Наверняка бы Никита пришел к ней, повинился бы, и они снова были бы вместе. Он таки любит ее. Любит! Иначе почему за столько лет их разлуки другую себе не нашел? Да и она же ни о ком другом и думать не хотела. Выходит, они с Никитой две половинки одного целого. Такими, видать, их Господь сотворил, и ничего тут не поделаешь. Жить друг без друга могут, а вот счастье приходит к ним лишь тогда, когда вместе они. Разве не так? Вот была у нее Шурочка, а уберечь ее не смогла сама. Был бы Никитка рядом, наверняка все обернулось бы иначе и доченьку их удалось бы от смерти спасти. Росла бы у нее сейчас помощница. А у него, у Никиты? Батька первым богатеем на селе был. Какое хозяйство Никите досталось. Только и оно ему счастья не принесло. Бросил все и сюда, к ней в город приехал. Теперь они снова вместе и счастливы. Счастливы...

Так ли? Счастье человеческое оно ведь в детках зеркалится, высвечивает. Не дал бог им с Никитою больше своих деток иметь. Не дал! Как мучилась она! Как страдала! Боялась, в один страшный день Никита ее бросит, и тогда — все. Тогда жить просто больше не стоит. Разве то жизнь в одиночестве? По одному даже степные лютые волки не живут. А она — человек все же. Правда, нельзя сказать, что люди ее чураются. К ней хорошо относились в коллективе детского дома, где вначале Марийка нашла себе приют, а потом и работала. Женщины жалели ее, а детдомовская девочка Фрида Эпштейн ей настоящей подружкой стала. Да, именно подружкой. Хоть и много моложе она, а все равно ближе, дороже, чем Фридочка, у Марийки никого нет. Она ей и за подружку, и за сестренку младшую была. Из-за нее Марийка и работу в детском доме оставила, перейдя в фотоателье к Юлию Липповичу Бовину. Хотелось все время вместе быть. Только вот беда какая: влюбился этот самый Юлий Липпович во Фридочку, и она его полюбила. Как Марийка не хотела этого. Как отговаривала Фридочку: ведь Бовин ей в отцы годится, на двадцать пять лет старше своей невесты. Но Фрида ни в какую.

— Люблю, — сказала, — Юлия Липповича. Люблю, и — точка. Пойду замуж только за него одного.

И что вы себе думаете? Отец с матерью, которые к тому времени нашлись, сестры от нее отвернулись, а она на своем настояла. Один лишь брат Илюшка да она, Марийка, только и поздравили новобрачных.

После замужества Фриды они по-прежнему встречались, разговаривали обо всем. Но только это было уже не то. Что-то изменилось в их дружбе. Наверное, Фридочка другою стала. Повзрослела что ли? А может быть, и Марийка сама переменилась, обидевшись на подругу. Кто знает? Она уже было снова затосковала. Думала: «Ну тепер уже я зовсим одна. И, мабуть, назавжды». Но тут как раз Петро явился. Так долго она о нем ничего не слышала, а вдруг, как с неба свалился. Да не сам, а с Катюшей. Враз вокруг

него все завертелось, закружилось. Марийка и оглядеться не успела, как Петро ее на Днепрострой идти сагитировал. Да, собственно говоря, совсем он не агитировал, а просто сказал: «Нема чого тоби у той самой фотографии робыть, сестрычка. Сыдыш цилымы днямы, як у погриби, и ничого не бачишь. Треба до людей, чуешь, ближче до людей иты. Там и долю знайдешь».

Поверила брату и не напрасно. Там таки и встретилась она со своей долей. Только не с той, о которой Петро говорил. Не с каким-то другим парнем, а со своим же Никиткой. Он, оказывается, все те годы искал ее.

— Чого ж другую соби не найшов? — спросила тогда, прижавшись к его груди.

— Чого? — переспросил он и глухо так, будто для себя самого ответил:

— А не треба мне другой. Ты одна. Була и будешь моя до веку.

Думала, что в село они в свое возвратятся. К хозяйству. Но Никита решительно возразил.

— Не! — сказал, опустив голову. — Там нема чого робыть. Тут будем.

Почему так решил, она тогда спросить не решилась. Слишком категорично прозвучало его это самое «Не!» Догадалась, правда, об этом потом, когда люди вокруг заговорили о раскулачивании.

— Он у Матвиивци, кажуть, пивсела розкуркулылы, — шептала подруге одна из бетонщиц ее бригады.

— А у нашему Гайчури хиба не так? — отзывалась другая. — Ще и высылають кудысь аж до Сыбиру.

«Не дай бог!» — думала с замиранием сердца Марийка, радуясь, что ее Никитка вовремя покинул Андреевку. Кого-кого, а уж его бы, как пить дать, к этим самым кулакам приписали бы и выслали куда-нибудь в холодные края. Тогда бы уж наверняка они не встретились. Об этом даже страшно подумать!

«А якщо б мы удвох з ным на тим хозяйстви булы? — задавала она себе вопрос. — Ну тоди, колы тэ саме розкуркулення почалося. Шо б воно було?» Конечно, ей бы было больно и страшно. Страшно, но все же не так, как если бы Никитку выслали, а она осталась здесь одна. Вдвоем ведь и беда не беда, а только половина ее. Как-то бы устроились в той самой Сибири. Говорят, там лесу много. Построили бы себе хату, завели хозяйство и жили вдвоем. «У Сыбиру, чуешь, не сами ж вовкы та ведмедыкы, — рассуждала Марийка. — Люди ж, кажуть, тож там живуть. А мы з Мыкыткою шо? Гирши за инших? Чи ж у нас рукы не таки, як у ных». Одним словом, сибирские края, которые казались Марийке, как и другим сельчанам, далекими и студенными, пугали ее лишь до тех пор, пока оказаться там грозило лишь Никите. Вдвоем же ей уже ничего не было страшно.

Это жгучее желание быть вдвоем, вместе с Никитой, заставило Марийку, не задумываясь, расчитаться на Днепрострое и уйти

из бригады, к которой она уже успела порядком привыкнуть. К радости Марийки, место в фотоателье Бовина оказалось еще не занятым, и она возвратилась к прежней работе. Да и имело ли значение, чем она теперь должна была заниматься? Важно, что Никита был снова с ней.

Наученная горьким опытом своего одиночества, Марийка решила, что теперь совсем по-иному будет вести себя с Никиткой. Что бы он ни сделал, что бы ни сказал он ей, она не будет сердиться и обижаться. Зачем? Разве тем себе лучше сделает? Пусть уже какие ни на есть горькие слова услышит от Никиты, а промолчит. Потом, когда останется одна, тогда уже можно выплакаться в подушку. Та все стерпит. Иной же раз можно с Фридочкой поделиться своей бедой или с той же Катей... Хотя нет! С Катей нельзя. Никак нельзя. Она ведь все равно Петрусю расскажет, а тот, хоть и не сразу, но все же выскажет Никите: почему, мол, и зачем обижаешь мою сестричку. Конечно, хорошо, что Петрусь у Марийки есть и что заступиться за нее всегда готов. Только почему-то так случается, что после его заступничества Марийке еще хуже становится. Никитка сердится на Петра:

— Чего йому треба? Командыр, понимаешь, знайшовся! Хай Катькою своею, лахудрою рудою командуе.

— Ну чого ты сердишься, серденько? — ластится к нему Марийка. — Нашо ты так про Катю? Вона ж добра душа и тебе поважае.

— На биса мени ии повага? — еще больше распалялся Никита. — На биса? Я их не займаю, и воны до мене хай не чипляються. Навить и з своею ласкою чи повагою. Воны — соби, а мы — соби. От так.

— Так родычи ж, Мыкыточка! — ломая пальцы, шепчет Марийка. — Може ж и поможуть колы...

— Ще чого? Не треба мени ниякой помочи, — играет желваками муж. — Уси, понимаешь, шось до тебе мають. Усим шось та треба! Показылысь на тых шефствах чи помочах. Ну просто показылысь.

Э-э-э-! Тут уже совсем другое дело. И Марийка знает, какое. После их поездки в колхоз, подшефный заводу «Коммунар», на котором слесарил Никита, к ним в друзья стал усиленно набиваться Сашка Лейман. Когда первый раз пришел Сашка в гости с бутылкой водки, Марийка ничего необычного в том не увидела. Правда, Сашку она не то что не взлюбила с первого взгляда, с тех пор, как познакомилась с ним, а немного побаивалась. Был он, как показалось Марийке, слишком лихой по отношению к женскому полу. Смотрит, а кажется, что он ощупывает тебя. Будто нагишом перед ним стоишь и ничего поделать не можешь. Только чувствуешь, как краска стыда заливает твое лицо и жарко становится, а этот паразит стоит, ухмыляется ехидненько так и еще облизывается, что тот кот мартовский. Но когда вошел Сашка в дом их, даже обрадовалась, подумав про себя: «Ну от и до нас перший гисть завитав.

Може, и надали будуть, а то живем якось не по-людськи. Мов ти вовкулакы». Но других гостей не последовало, а Сашка стал наведываться все чаще. Приходил всегда с бутылкой, ставил ее на стол и начинал командовать, будто в собственном доме:

— Ну, садитесь, друзья. И ты, Маша, и ты садись. Теперь у нас равноправие.

Им с Никиткой наливает и ее не обходит. Выпьет и веселым становится. Никитке всякие хвалебные слова говорит, а сам все больше на нее, на Марийку поглядывает. Ближе к ней подсесть норовит и своею рукою то за плечи обнимет, то коленки коснется. А Никитка-то ведь все это видит, все примечает. Ей ничего не говорит, но она то видит, что не нравится ему, что злится он.

Потом Лейман повадился к ним в фотоателье ходить. Домой ее провожать пытался и к себе в гости приглашал. Марийка, чувствуя приближение беды, не знала, что и делать. Как избавиться от этого ухажора. Пожаловалась было Никите, а тот зубы сжал и, поиграв желваками,буркнул:

— Самий треба разумною буты. Не схочешь, так до тебе и не будуть лыпнуты.

Рассказала Марийка о своей беде Фриде. Стали они думать вместе, как помочь ей. А тут как раз случай подвернулся. Перед самым концом работы зашла к ним Лида Бовина, жена сына Юлия Липповича. Стала жаловаться им с Фридой, как тяжело ей одной с дочкой маленькой:

— Он там развлекается в своем Харькове. Небось, по кино, по театрам ходит, а может быть, и по ресторанам с бабами...

— Ой, ну что ты такое говоришь, Лидия! — попыталась урезонить ее Фрида. — Яков же в военном училище учится. У них там такая дисциплина. Да и человек он порядочный. И вас с Розочкой любит.

— Любит, любит! — распалялась все больше Лида. — Знаю я эту любовь: с глаз долой и из сердца вон.

— Тебе бы на работу устроиться, — советовала Фрида. — Не так бы скучала.

— На работу?! — всплеснула руками Лида. — Ты ж понимаешь! А ребенка его растить это разве не работа? Да я с Розкой так за день накувыркаюсь, что к вечеру ни рук, ни ног не чувствую. Извелась за это время вся.

Лидия подошла к зеркалу и, окинув себя придирчивым взглядом, видимо, осталась довольна своим внешним видом. Однако все же капризно надула губки и произнесла, поправляя волосы:

— Вот-вот морщины появятся.

За этим занятием ее и застал вошедший Лейман.

— Здравствуйте, девочки! — глядя только на Лиду, поздоровался он. — Здравствуйте, красавицы!

— Здравствуйте, здравствуйте! — отозвалась Фрида. Марийка только головой кивнула.

— Так ты сегодня с нами? — заговорщически подмигнув Марийке, спросила Фрида.

— Ага! — поняв намек подруги, с готовностью откликнулась Марийка. — З вамы.

— Так собирайся быстренько, а я Юлию Липповичу помогу.

Из ателье вышли все вместе.

— Ну что же, до свиданья, — вздохнула Лида, одарив Леймана улыбкой. — Вам в одну сторону, а мне — в другую. Пойду домой. Уже темнеет.

— Так я провожу вас, — с готовностью вызвался Сашка. — Мне как раз с вами, кажется, по пути.

С тех пор он и отстал от Марийки. Вроде бы все хорошо. Только стала Марийка замечать, что задумчивым стал Бовин. Задумчивым и печальным.

— Неприятность у нас, Марийка, — призналась однажды Фрида.

— Шо скоилось? — встревожилась Марийка. — Мо, захворив Юлий Липпович?

— Нет, — покачала головой Фрида. — Загуляла наша Лидка.

— Шо ты кажешь?!

— Да. С Сашкой Лейманом спуталась, дрянь такая.

— Ой, боженька! А як же Яша?

— Он ничего пока не знает. И, дай бог, чтобы вообще не узнал. Может быть, все же перебесится эта дура. Ведь у них же ребенок.

— И таке ж дытятко! Таке дытятко гарнесеньке! — всплеснула руками Марийка. — И чого тому котяри треба?

— Ты права, Марийка. Сашка и вправду похож на кота. На хищного и опасного кота. Я таких людей боюсь. Но и Лидка хороша. Пыталась ее как-то образумить...

— И шо ж?

— А ничего. Вначале смеялась, а потом разозлилась на меня, накричала. «Не лезь, — говорит, — в мою личную жизнь. Что хочу, то и буду делать».

Правда, вскоре Фрида сообщила Марийке такую новость, перед которой поблекли все остальные, в том числе и амурные дела Лиды с Сашкой Лейманом.

— Скажу тебе, Марийка, такое, — сияя своими глазищами, шептала Фрида. — Такое, что упадешь. Нет, нет! Ты садись и слушай. У меня... у нас с Юлием Липповичем будет сын. Вот!

— Ой! — вскрикнула Марийка.

— Тише! Тише ты! А то Юлий Липпович услышит и меня ругать будет за то, что язык длинный. Но ведь я не могла тебе не сказать. Правда ведь? Ты же моя самая близкая подруга. Даже больше: ты для меня самая родная сестричка.

— Так! Так, Фридочка! — прижимая голову Фриды к своей груди, шептала Марийка. — Я так рада за тебя, за Липповыча, що просто и передать не можу. Хай вам завжды буде затышно и сонячно и в хати, и в житти вашему...

Когда Фрида ходила в интересном положении, Юлий Липпович что называется вертелся вокруг нее на одной ноге. Старался выполнять все желания своей юной жены, следил, чтобы она не поднимала тяжелых предметов и сам, кажется, на несколько лет помолодел.

— Ну! — сияя радостной улыбкой, делилась с Марийкой Фрида. Ты видишь, какой у меня заботливый муж? Ни у кого такого нет! Ты только не обижайся на меня: я не имела в виду твоего Никиту.

— Та я и не обижаюсь. З чого ты взяла?

— Марийка...

— Чого тоби?

— А вы ссоритесь с Никитой?

— Ну як тоби сказать...

— А вот у меня не получилось.

— Шо не получилось?

— Поссориться. Да, да. Я однажды решила устроить ему маленький скандал. Надо же, чтобы и это у нас было. Как во всех домах. Ну вот. Приходит он домой поздно. А я в плач: «Оставил меня одну! Кто его знает, где ходишь, а мне плохо. Не любишь ты меня!» Плачу, кричу на него.

— А вин?

— Молчит. Представляешь? Молчит и все. Потом подходит ко мне и говорит, «Фридочка! Ты же не очень умная женщина. Но об этом знаю я и знаешь ты. Неужели ты хочешь, чтобы узнала вся улица?»

— Отакое!

— Да! Сказал так, обнял и поцеловал меня.

— А ты ж?

— Что я? Молчу и плачу. Потом засмеялась и говорю ему: «Ну тебя, Юлий! С тобой невозможно ругаться. Чувствую, что будет у нас ненормальная семья». А он мне в ответ: «Ну и пусть. Лишь бы ребенок был нормальный. Будет у нас нормальный ребенок, тогда и семья, и счастье будет». Вот так. Что ты на это скажешь?

— Скажу, що разумный у тебе, Фридочка, чоловик.

— Умный и... хороший. Очень хороший!

Боже мой! Какие счастливые были они, когда родился у них мальчик.

— Я так и знала, что у нас будет сын, — щебетала Фрида. — Так и знала! Назвали сына Александром.

— Значить, Саша? — подумав о Леймане, спросила Марийка.

Имя этого неприятного человека, говоря откровенно, не понравилось ей. Только разве можно даже намеком обидеть подругу.

— Нет, — замотала головой Фрида. — Александр. Это же не обязательно Сашка. Нашего сынулю зовут Аликом.

— Як? — переспросила Марийка.

— Алик. Аличка! Вот так, — сказала и нежно прижала ребенка к себе. — Ты знаешь, Марийка, мне кажется, что мой Аличка вкусный.

— Тю на тебе! — махнула рукой изумленная Марийка. — Та хиба ж вин булка чи пырижок? То ж дытя.

— Ну и что? — сдвинула плечиками молодая мама. — И дети бывают разные. К одному и подойти, дотронуться не хочется, а я своего с рук бы не спускала. Так бы и целовала и целовала, не переставая. А ты? Я же вижу, как ты любишь своего Павлика. Разве не так?

— Так. Так, — задумчиво покачала головой Марийка.

И это была правда. Правда, но не вся. Павлик не был ее родным сыном. Марийка и сейчас с болью вспоминает, как мучилась она от того, что никак не получалось ей родить второго ребенка. Вот помирились они с Никитой, вместе живут. Клятву дали друг другу не расставаться никогда, что бы там ни случилось. А ребеночка им Господь не дает. Что только не делала она: и в церкви до исступления молилась, и к ворожке ходила. Да разве только она? И Никитка к той же самой ворожке тетке Фроське ходил. Она же видела, как он от нее выходил. Потом, выплакавшись как следует и успокоившись, домой следом за ним пришла.

— Де ж ты была, Марийка? — обрадовался он.

— Та до Фриды заскочила. Кофточку кроилы.

— Чого ж не сказала зранку? Я ж переживаю. Прыйшов, а тебе и доси немае. Шо ж воно, думаю, зчинылось. Збырався вже шукать тебе йты.

— Зранку не думалось, а вдень Липповыч сказав, що Фридочка просыла забигты, — отвечала Марийка, прижимаясь к Никите. А сердце стучало теперь уже спокойно и радостно. Волнуется о ней, переживает. Значит, любит.

Испытывая чувство огромной благодарности к Никите, Марийка готова была все для него сделать. Выполнить любое желание мужа, пойти на любую жертву. Ведь как ни любила своего брата Петра и его жену Катю, как ни тянулась к ним, а, видя, что неприятны они Никите, что не хочет он их видеть, и сама старалась избегать встреч со своей немногочисленной, единственной в городе родней.

— Хай уже куды чоловик, туды и жинка, симья есть симья. У ных своя, а у нас своя. Може, пройде час, и воно якось перемелеться. А пока хай буде вже так, як есть.

Не желая оставаться надолго одной в городе, тогда и в село то самое Новоандреевку запросилась. Там и Павлика своего повстречала. В первый же день голосок его услыхала. Тонюсенький и жалобный. А когда узнала, что ничейный тот хлопчик, что подобрали его старый односельчанин их с Никитой Пересунько и его больная дочь, то и решение как-то само собою пришло.

— Давай заберем до себе хлопчика, — предложила, прижавшись ночью к Никите.

— Як заберем?! — изумился он. — Вкрадем?

— Ты шо? Господь з тобою! — ужаснулась Марийка. — Хиба можна? То ж грих велыкый. Попросым. Им же важко самым. А тут ще дытя. Мо, оддадуть. Буде нам... за сыночка.

— Ну шо ж... Давай спробуем, — вздохнул Никита.

Спросили. И Пересунько с дочерью таки согласились. Так и появился в их доме маленький Павлик. И она, и Никита в нем души не чают. В хате, кажется, с его приходом светлее стало. Только пришлось Марийке у Юлия Липповича рассчитаться: за дитем же смотреть было нужно. Вот она и смотрела. Потом уже, когда подрос немного хлопчик, Липпович Марийку снова позвал к себе.

— Приходите, — сказал, — с мальчиком. Как-нибудь будем устраиваться, Маруся.

Маруся. Это Липпович ее так зовет. И Марийке почему-то это нравится.

— Хай уже, — решает она и не поправляет Бовина.

Теперь уже Павлик большой. Четвертый годик ему. Марийка успевает и с ним управиться и Фридочке помочь. А как же? Ее лучшей подруге сейчас тяжело. Разве она не понимает?

Мальчик резвится в корыте, хлопает ладошками по воде, и на сердце у Марийки легко и радостно.

Стукнула дверь, и в хату вошел Никита.

— Ось и татусь наш додому повернувся!

— Татусь! Татусь! — визжит мальчишка. — Подывиться, як я плаваю. Ось подывиться!

— Та бачу! Бачу, шибенык! — улыбается Никита. — Розбалувала тебе маты.

— Не-е-е! — трясет головкой малыш. — Я слухняный, тато. Правда ж, матусинько, я слухняный?

— Правда, правда! Тилькы давай уже выходь из свого корабля. Годи вже.

Павлик с явной неохотой покидает корыто, и Марийка начинает его вытирать.

— Я слухаюсь матусю, тато, — продолжает щебетать малыш. — Бо воны ж обицялы, що, як буду добре себе поводыты, то мы разом з вамы сядымо на справжний корабель и поплывемо до моря. Як дядько Петро з тьотьою Катею и Витьком. Эге ж, матусю?

Марийка замирает и, на чем свет стоит, начинает ругать себя, что не удержалась таки и пообещала Павлику ту поездку. В аккурат Петро к ней в фотоателье заглянул проведать. Рассказал о своей поездке в Одессу, об операции.

— Теперь же я знову людына, сестричко! — радовался брат. — Бачу краще, аниж раниш. И шо тоби скажу по секрету: стилькы хороших дивчат в нашему институти выявляеться. Такых красывых, шо очи розбигаються.

— Ах ты ж разбийник! — хмурит брови Марийка. Она знает, что брат шутит. Но и шутки на эту тему кажутся ей неуместными. Глядя, как сердится сестра, Петро смеется.

— Ой, не можу, люды добри! Не можу! Та хиба ж я свою Катрусю на когось поминяю? Де ж ты знайдешь ще такого горобчика? То ж я так. Щоб побачить, як ты сердышся. Бо забув уже. Мы ж так ридко бачимось.

— И так не треба. Це не жарты.

— Ну добре, добре. А колы ж вы до нас зберетесь у гости?

— Та ось... ось як хату Мыкыта закинчить лагодыть, тоди вже...

— Шо ж. Хай буде так. Будемо чекаты.

В тот вечер Марийка была задумчива. Все вспоминала встречу с Петром, сокрушаясь по поводу того, что никак не установятся между их семьями такие отношения, как ей хотелось бы. А тут Павлик, как на грех, расшалился. Она и пообещала ему ту самую поездку. И надо же было сболтнуть про Петра и Катю с Витьком. Ведь давно это было. Марийка уже и забыла об этом, а этот паршивец, видишь, все помнит.

Марийка бросила настороженный взгляд на Никиту, пытаясь выяснить его реакцию. Но муж, как ни в чем не бывало, продолжал возиться с ящиком, где хранились разные его инструменты. «Не почув, слава богу!» — обрадовалась Марийка и, стараясь укрепиться в этой, успокоившей ее мысли, попыталась перевести разговор на другую тему:

— Киросину в нас зовсим мало. Ты б, той, сходыв до дядька Коваля.

— Добре, — отозвался муж. — Зараз збигаю.

— Та нашо ж зараз? У мене ж трошки е. Хай уже завтра.

— Ни. Зараз пиду, — поднялся Никита.

— Ты ж стомывся.

— Ничего. Я швыдко.

Одел свой кожушок, нахлобучил шапку и уже с порога бросил:

— Привит тоби од Петра.

— Бачив? Говорылы? — вскинулась Марийка. — Ну, як там у ных?

— Прыйду, тоди поговорым, — сказал и скрылся за дверью.

— «Шо там? — с тревогой думала Марийка. — Як воны стрилысь?»

В последние годы она всегда опасалась встреч Петра с Никитой. Они, как правило, приводили к осложнениям в ее семейной жизни. И порой к весьма плачевным. Что сулит эта? Уложив в постель Павлика, Марийка стала нашептывать ему какую-то сказку, к неудовольствию мальчика часто сбиваясь, путая события. Наконец малыш уснул, а Марийка вышла в другую комнату и стала ждать. Ветер крепчал, сердито дергая ставни, которые жалобно поскрипывали, словно жалуясь на грубое с собой обращение. На душе у Марийки было тревожно.

— «Де ж вин так довго ходыть? — думала она, слоняясь из угла в угол. — Мо, з дядьком Ковалем по чарци хыльнулы и тепер гомонять соби, а ты ломай соби голову. От уже ци чоловики! Ни серця, ни совисти...»

Такое иной раз случалось с Никитой. Заглянет, бывало, к односельчанину, выпьют и засидятся, вспоминая родную Андреевку. Стареющий и израненный Петро Коваль многое знал такого из жизни их Андреевки, что по той или иной причине либо совсем не было известно Никите, либо основательно призабылось. При этом, вспоминая всяческие истории из того великого множества, которые бережно хранила его память, Коваль как-то так умел их подать, что все действующие лица выглядели одинаково понятными в своих действиях и не воспринимались либо как однозначно исключительно правые, хорошие, либо как только неправые и плохие.

— Добрый трудяга был твой батько, хлопче, — неторопливо посмактывая неизменную «козью ножку», говорил дядька. — Доо-брый! Нихто такий клятый до роботы не був у нашому сели, як Оверко Саввич. Здаеться, устанешь далеко ще до сходу сонця. Идешь и думаешь: «Оце сьогодни, мабуть, ще вси сплять. Буду найпершим у поли». Глядь, а Оверко Саввич уже там.

— По-вашому, дядько Петро, выходить, що батько мий святым був?

— Чого це? — сдвигая худыми плечами и становясь похожим на большую нахохлившуюся птицу, цедил слова Коваль. — И грихив за ным, чуешь, водылось. Люды багато говорылы про смерть старого Саввы. Нибы пишов вин на той свит не без допомогы Оверка. Говорыть говорылы, а тикы хто ж того знае, як воно насправди було. Савва теж Оверка прычащав, колы той малым був. Добре, чуешь. Одного разу так дрючком отходыв, що водою хлопця одлывалы. Я и сам того разу був поруч. Сам бачив.

— Ну а матусю ж за шо татко быв? — допытывался Никита. — Воны ж никого не займалы. Як мышка тая, за пичкою жилы, а вин...

— Э-э-э, парубче! — оживлялся старик. — Тут теж не все так просто. Ой, не все.

— Так розкажить.

— Багато казать не буду, бо не все знаю. Тай и те. Знають усе лыше дурни. Але то им тилькы здаеться. А насправди — одын хазяин небесный. Отак. Я скажу тоби те, що мени видомо. Упадалы за твоею матусею, колы молодою була, двое — Пересунько и батько твий.

— Дядько Тымофий Пересунько?! — изумился Никита.

— Не! — бесстрастно отозвался старик. — Брат його. Гнат. Так от. Був той Гнат дуже велыкый мастак на усякие вытворы. Одного разу став выхваляться, що збыраеться покататысь на нашому урядныку. Той чертяка такы добрый був здоровыло. И мы лыше посмиялысь з Гнатовых слив. Думалы, що вин хвалько. А воно ось що выйшло. Пидпыв Гнат и козу урядныкову аж на горище тому впер. Бига та бидолага рогата по горищу та мекае. Уряднык дизнався, хто такое паскудство зробыв. Прыйшов до Пересунькиной хаты и каже: «Иды, йолопе, знимай тварыну». А Гнат саме на похмилку був. «Не пиду, — каже. — Що хочишь зи мною

робы, а не пиду». «Ну, — кусае вуса уряднык. — Якщо ты, гад, сам не пидешь, то я тебе тоди понесу». «Несы! — зрадив Гнат. — Несы мене, жандар проклятый!» Той, не довго думаючи, кынув Гната на спыну и потяг. Идуть селом, а Гнат крычить: «Ну шо, хлопци, не по-моему выйшло? Брехав я чи ни?» Такы ж покатався на спыни урядницький, чертяка. Покатався и цилу дюжину пляшок казьонкы у хлопцив выграв. Погулялы мы тоди добряче.

— Ну, а де ж вин потим подився той Гнат? — спросил Никита.

— Де подився? А до Сыбиру загрымив. Вин у Олександривську з политыкою звъязався. Писля того саме твий батько и одружився з мамою. От така история.

— Сыбир соби Сыбиром, — хмурит лоб Никита. — А токо ж, мабуть, маты батька любыла, а не того Гната шалапутного.

— Може, и так, а може, и ни, — усмехнулся в усы Коваль. — Бо Гнат же той такы добрым парубком був. Не одна дивчина по ньому сохла. Правда, и Оверка ти сами дивчата не обминали. А в якои до кого тиеи самой любови бильше було, хиба взнаешь...

Много всяких историй знал дядько Коваль, и Никита готов был слушать его часами, возвращаясь мысленно в родные и близкие его сердцу места безмятежного и безвозвратно ушедшего детства. Готов был всегда, но не сегодня. Придя к себе в хату, он мысленно продолжал разговор, который вели они с повстречавшимся ему Петром.

— Здоров будь, пропаща душа! — приветствовал его Петро, протягивая руку.

Немного помедлив, Никита протянул навстречу свою.

— Здоров, — насупившись, буркнул в ответ на приветствие. — Токо чого то я пропаща душа?

— Так пропалы ж з сестричкою кудась. Не выдно вас и не чуты. Катя хвылюеться. Чи не захворилы там, пытае.

— И чого це така турбота?

— Не чужи ж вы нам, — сдвинул плечами Петро. — Родычи все ж такы.

— Все ж такы! — с нажимом повторил вслед за ним Никита. — А хто крычав, що ногы не буде у махновський хати?

— Памятаешь, значить? — сощурился Петро.

— Таке не забуваеться.

— Дарма, — покачал головой Петро. — Шлях людського життя довгый и не завжды гладкый. Багато на ньому всякого бувае. И хорошего, и поганого. Якщо лыше погане у торбу памьяти збырать, душа геть уся выгорыть. Чорною стане...

— Твоя, мабуть, найсвитлиша? — усмехнулся Никита.

— Чого там? Ризнии кольоры там есть. Ризнии. И мене життя кыпятком обпикало, я не завжды добрым був. Доводылось и крывдыты когось. Иноди и даремно. Свою выну готовый вызнаты и выбачитысь.

— Так значить?

— Так!

— Не пизно, Петре?

— Хиба наше життя кинчаеться? Та и диткы ж у нас. Им же разом житы. Невжеш и воны мають будувать свои видносыны, выходячи лыше з того, куды колысь закынула доля ихних батькив? Адже час иде, життя иншим стае, а з ним и люды миняються.

— Ты думаешь?

— А як же! Мають минятысь.

— Мають...

— Обовъязково!

— Ой, чи так? Ти ж як був Петром Задорожним, так и залышився. Та и я такый же.

— Ни, Мыкыте! Ни! Лита бижать, и мы стариемо...

— Хиба шо...

— Але не тилькы старистю позначаеться той биг. Не тилькы.

Шось ше и в ций макитри, — Петро постучал себя пальцем по голове, — и тут же якись перемины видбуваються. Чи не так?

— Може, — неопределенно сдвинул плечами Никита. — Тильки що? Що видбуваеться?

— Ну хоча б те, що я не лише свою правоту змиг побачиты, а и неправоту. В першу чергу по видношенню до тебе. До тебе и Марийкы.

— То ж ты, — скривил губу Никита. — Ты ж завжды розумным був. Атаман з дытынства...

— Не треба хызуватысь, Мыкыта! Не треба. Ты зминывся тож.

— Я?!

— Ты! Ты! — задумчиво покивал головой Петро. — Батько твий Оверко Саввыч зубамы грыз землю. Готовый був вчепытысь в горлянку будь-кого, хто зазихне на його добро. Саме це зазихання и за зброю його взятись змусило, до Нестора Махна в обийми кинуло.

— Батька не займай! — нахмурился Никита. — Про мене кажи. В чом я зминывся?

— Про тебе и кажу. Чи не ты пишов од Махна?

— Хворый... На тиф хворый був.

— Выдужав и миг бы повернутысь до батька. Миг бы?

— Не повернувся...

— От-от!

— Тому, що кров! Скризь кров... Не миг бильше.

— Вирно. Але не лыше тому.

— Интересно! Чому ж тоди?

— Тому, що життя на мыр повернуло. Минятысь стало. И ты разом з життям.

— До земли потягло.

— Так. Але ж и ии ты кынув. Так чи ни?

— Так...

— Може, скажешь чому?

Никита молчал, кусая губы. Он все еще злился на Петра, но чувствовал, что тот был в чем-то прав.

— Мовчишь? Тоди я спробую. Бо знов життя поворот зробыло: на колектывизацию курс узяло. А в ний ты погыбель свою побачив.

— Треба було и соби в колгосп ити?

— Ни, — покачал головой Петро. — Там бы ты не змиг. И земля, и худоба, и все инше говорылы б про твий вчерашний день. И ты почав бы шукаты правду. Свою правду.

— Хиба вона не одна? Хиба их килька?

— Ого! Дуже багато: скильки людей, стильки и правд.

— Це шось нове?

— Старе, як свит.

— Так я ж и зараз шукаю ту саму правду.

— Э, ни! — засмеялся Петро. — Од своеи старои правды ты, конешно, ще не видмовився. Вона тебе ще муляе, трывожить. Тильки вона вже не сама. Поряд з нею вже живе и друга твоя правда. Робоча. Вона росте. И казалы мени, що росте не погано.

— Хто ж це такый казав тоби? Чи секрет?

— Немае секрету. Юнацький.

— Федот Ныкыфоровыч?

— Вин самый.

Так вот какого мнения о нем Федот Никифорович! Что-то теплое шелохнулось в груди у Никиты. Он всегда уважительно относился к этому человеку. С его помощью и на завод «Коммунар» устроился. Правда, после этого встречались не часто. Думал Никита, что не слишком интересует он старого моряка. Да это, собственно говоря, устраивало и самого Никиту. Вчерашние богатеи сегодня были не в моде. Сколько справных мужиков были окрещены кулаками и отправлены туда, где и не снилось им побывать. Иные и жизни лишились. Кому охота на рожон переть? Вот и стараются те, кто остался жив, затаиться. Одни в ожидании какого-то чуда, которое может возвратить былое. А другие... другие ищут себя в новой жизни. Где его место среди них? Никита и сам толком разобраться не мог. Знал, что старое, если и возвратится когда-нибудь, то очень не скоро. Да и будет ли оно таким, чтобы понравиться ему? Вряд ли. Потому он, хоть и с горечью вспоминал о том дорогом для него прошлом, но и внимательно присматривался к настоящему. Старался вникнуть в него, понять, что оно за штука. Жизнь она ведь длинная.

— Ты ж розумный хлопець, — вел дальше свое Петро. — Пишов бы вчиться та и Марийку за собою покликав...

— Учиться? Стари вже.

— Найшов старых! Я ж он на скильки старший, а вчусь и ничего. Скоро вчителювать буду...

— Чув.

— Та хиба я одын? Он наймит ваш Семен. Тож вчиться.

— Семен?! — изумился Никита. — Семен вчиться?

— А шо ты думав?

— Вин же...

— Дурный, думаешь?

— Ну, як тоби сказать...

— Так и кажи, як думаешь. Знаю, що Семен з неба зирок не знимае. Професора, велыкого вченого з нього, звычайно, не получиться, а те шо пишов учитысь, то добре. Молодець!

— Так вы разом з ным?

— Ни. Семен на рабфаци вчиться. А працюе ось тут недалеко. На склади. Можешь провидать. Може, вин тебе краще за мене загитуе.

Петро подмигнул Никите и протянул руку.

— Пока. Буду йты. Катруся чекае. Прывит Марийци. Заглянулы б якось. Посыдилы б, поговорылы. Як? Може у недилю?

— Побачим.

— Ну, бувай здоров.

И по дороге домой, и теперь вот по пути к дядьке Ковалю Никита мысленно продолжал спор с Петром. Не мог он согласиться с ним, что теперь у него, Никиты, будто бы появилась рабочая правда. С какой стати? Ведь от них, от рабочих, все пошло. Взбаламутились, царя скинули. Дальше — больше. Разгулялась воля-волюшка. Свое с чужим смешали. Где чье, не разберешь. Бога совсем забыли. Каждый сам себе бог. Видно, потому и правд этих самых много стало. Раньше так говорили: «Бог правду видит». Одна она, правда эта самая была, а теперь вон их, оказывается, сколько. Пойди сосчитай.

Сейчас, конечно, и в книжках разных и в газетах, и по радио (вот тарелка чертова!) говорят о рабоче-крестьянской правде. Во как хитро! Совместная она выходит. А кто ее совместил? Грамотеи, интеллигенты проклятые. Они и в партии верховодят. Разве не так? Да и не только в партии. Говорят, среди начальства заводского есть рабочие. Только какие же они рабочие? Может, и были ими когда-то. А теперь в грамотеи вышли, поди забыли, как и напильник с молотком или другой инструмент в руках держать. Командовать лишь умеют. Вот и Петро туда же подался. В командиры. И Семен...

— Семен — командыр! — вслух произнес Никита и, услышав собственный голос, неожиданно громко прозвучавший в вечерней тишине, даже вздрогнул. — Таке ж дурне теля, а и воно туды ж пнеться. От дила! Мо, и соби спробувать, як Петро каже?

Эта мысль Никите понравилась, и он, привыкнув все взвешивать, прежде чем на что-либо решиться, начал ее рассматривать со всех сторон. Но прийти к определенному решению не успел, поскольку подошел к хате Коваля.

Толкнул калитку и, прошагав по белеющей во тьме дорожке, посыпанной речным песком, постучал в окно.

— Хто там? — отодвинув занавеску, спросил хозяин, всматриваясь в темноту.

— Я, я, дядько Петро. Видчинить, будь ласка.

— О, Мыкыта Оверковыч! — обрадовался Коваль. — А я оце вечерять якраз зибрався. Картопелькы зварыв, сала наризав. Та й «божои росы» трошкы капнуло з неба чи з видкилясь. Мо, зи мною?

— Ни, ни, дядько Петро! — решительно отказался Никита. — Хотив трошечки карасынчику у вас позычиты, бо нема чим и прымуса розпалыть. Прогледилы мы з Марийкою свои запасы. Я скоро й виддам.

— Та перестань ты про це и говорить, Оверковыч! — в сердцах махнул рукою Коваль. — Чи и не багатство?! Сьогодни, слава богу, цього добра хватае. Куды тоби?

— Ось, — подставил жестяной бидон Никита. Набрав в бидон керосина, он помог закрыть уже основательно обвисшую дверь сарая.

— Так може все ж такы? — попытался заманить к себе гостя Коваль, красноречиво почесывая щеку.

— Не! — мотнул головой Никита. — Якось иншим разом забижу.

— Ну, дывысь, — с сожалением вздохнул хозяин.

Выйдя со двора Коваля, Никита бросил взгляд в сторону Днепра. Раньше прямо с этого места хорошо была видна не только река, но и отделенный широкой водной гладью остров Хортица. Теперь все это было закрыто раскинувшимися вдоль берега строениями. То были склады.

— «Мо, заглянуть до Семена? — мелькнула неожиданная мысль. — Поздоровкаюсь. Гляну не тее опудало и додому».

Ворот Никита сразу не увидел. Но, двигаясь вдоль дощатого забора, обнаружил дыру.

— Ач яку соби проходну хлопци зробылы, — усмехнулся, втискиваясь на территорию складов. — Таке и у нас есть.

Большинство зданий были погружены во тьму и, казалось, беспечно дремали под охраной неторопливо бредущего по небу месяца. Но в одном из них светились окна, и Никита направился туда, предварительно оставив бидон с керосином у пролома.

— «Чого його тягать? — рассудил он. — Рукы и так стомылысь. Воны ж не казенни. Та й холодно ж уже, бодай йому трясця. Зустринусь з Семеном, а буду вертатысь и карасин визьму. Тут його нихто не забере».

Подойдя к зданию, Никита заглянул в окно. На длинных скамейках сидело десятка два человек, а еще трое лицами к ним устроились за столом.

— Якесь собрание! — прошептал Никита и стал разглядывать собравшихся, пытаясь отыскать среди них Семена. Нет, здесь его, видимо, не должно быть: слишком уж молодая публика сидела в комнате.

— Выдать, комсомолисты, — догадался он и уже собирался отойти от окна, когда дверь неожиданно открылась, и какой-то парень выскочил из здания, держа в руке шапку.

Некоторое время они молча стояли, недоуменно разглядывая друг друга.

— Вы... вы кто? — наконец выдавил из себя парень.

— Та от,.. — замялся Никита.

— Что вы здесь делаете? — допытывался парень.

— Знайомого шукаю, — буркнул Никита и повернулся, чтобы уйти от этого слишком надоедливого хлопца.

— Стой! — крикнул тот и, рванув ручку двери, заорал. — Товарищи! На территории нарушитель!

Никита бросился бежать, спотыкаясь о битый кирпич и какие-то другие предметы, усеявшие территорию складов. Где же пролом, эта чертова «проходная»? Он же здесь, буквально рядом был.

— Прогавыв! Пропустыв! — сокрушался Никита, мечась загнанным зайцем вдоль забора. Он уже слышал тяжелое дыхание догоняющих. Они уже рядом. Что-то попалось под ноги. Наклонившись, Никита схватил трубу и, прижавшись спиной к забору, прохрипел:

— Не пидходь! Убью!

— Брось оружие, гад! — неистовствовал тот парень, который тогда первым увидел Никиту. — Брось, а то стрелять буду!

Никита затравленно огляделся вокруг. Их много. Не уйти. Он бросил на землю жалобно звякнувший отрезок трубы и опустил голову.

На него навалились сразу несколько человек, свалили. Кто-то несколько раз ударил его в лицо и в бок. Заломили руки и повели в помещение.

— Кто такой? Фамилия? — требовал тот, первый парень. Неожиданно Никита увидел Семена, который с винтовкой за плечами и с его бидоном в руке вошел в комнату.

— Мыкыта Оверковыч?! — изумился Семен.

— Твой знакомый? — допытывался первый парень.

— Зна-ко-мый! — зло усмехнулся Семен. — Хазяин!

— Семен, — пролепетал Никита. — Я ж до тебе... До тебе у гости ишов...

— У гости? — сощурил глаза Семен. — З карасином у гости? Ну даешь ты!

В комнате засмеялись.

— Попался, гад! — лютовал парень. — Куркульская морда, спалить нас решил? Вызывайте НКВД, хлопцы.

— Товарищи! — вскрикнул Никита. — Я ж...

— Вовк у степу тоби товарыш, куркуляка! Ты бач, падлюка! Гад ползучий! — посыпалось со всех сторон.

Никита замолчал, опустив голову. Слезы бессильной обиды текли из глаз, но он их не замечал.

4

Тишина. Она околдовала все вокруг: и замершие в немом оцепенении прибрежные кусты, и плывущую в лунном безмолвии ленту реки, и саму землю, что, утомленная дневными заботами людей, дремлет в ночном покое. Кажется, что жизнь на какое-то время остановила свой бег и, застыв в изумлении, наслаждается чарующим волшебством невидимой царицы. Но это только кажется. На самом деле жизнь не может остановиться, а тем более здесь, на границе. Граница не знает покоя. Ни днем, ни ночью. Длинными змеями важно ползут по железным дорогам пассажирские и товарные поезда, направляясь к контрольно-пропускным пунктам. Это — официальные коридоры, через которые общается горделивая старуха Европа и молодой, задиристый юнец — Союз Советских Социалистических Республик. Они вынуждены общаться, хотя делают это, все еще памятуя о нанесенных друг другу обидах, скрывая взаимное недоверие, а порой (чего греха таить!) и ненависть. Но движением по официальным коридорам не ограничиваются их связи. Десятки и сотни нелегалов постоянно штурмуют кажущиеся неприступными кордоны, словно настойчивые дождевые капли, пробивая себе дорогу. Есть среди них и движимые личным интересом отчаюги-контрабандисты, и те, кому в силу разных причин нет места на родной земле, у кого она, что называется, горит под ногами. Но есть немало и таких, которые ступают на смертельно опасные тайные тропы с глубокой верой в то, что иначе нельзя, что самой судьбой им предопределено вдали от родины блюсти ее интересы, служа то ли недремлющим оком, то ли карающим мечом.

«Мечом,.. — думает, буравя плотную и липкую, как густой мед, темень ночи затаившийся в прибрежных кустах Лев Зиньковский. — Вот и Андрею, видать, тоже предстоит стать этим самым карающим мечом. Секирой, которая по чьей-то команде однажды должна будет обрушиться на чужую голову...»

Лев Николаевич переводит взгляд на Андрея, пытаясь разглядеть его лицо, уловить следы душевной тревоги, волнения. А как же? Как же без них, без этих самых волнений и тревог обойтись? Ведь идет человек, можно сказать, к черту в зубы. Правда, Андрей и раньше, считай, не ходил по ровному и гладенькому асфальту. Вся жизнь его молодая по колдобинам и кручам пролетела. Да, да! Именно пролетела, а не прошла, как у других людей. Ведь рядом со смертью ходил. И когда мальчишкой-ездовым обеспечивал связь между чекистом Медведевым и им, начальником разведки повстанческой армии батьки Махно, носившем тогда фамилию Задова, и потом, когда пробирался в боярскую Румынию.

Ну попадись этот пацан в лапы его хлопцам, живого бы места не осталось. А сигуранца румынская? Разве там лучше? С какой

стати? Деликатная служба, что и говорить. Задача у них такая: будь что узнать не только то, что ты делаешь, что ты думаешь, но и то, о чем ты не хочешь думать. Даже очень не хочешь. Какое, казалось бы, их дело до всего этого? Но, оказывается, есть оно, то самое дело. И еще как есть. Ведь за него, за это дело, если, конечно, можно так его назвать, людям деньги платят. И немалые! Ну а какой же дурак за так их будет платить? Вот и стараются вовсю заплечных дел мастера, так сказать, материализовать чужие тайные мысли, показывая свое кровавое «искусство».

Андрей... Какое задание имеет этот недавний, как кажется Льву Николаевичу, мальчишка, незаметно превратившийся в зрелого мужчину? Об этом Льву Николаевичу неизвестно. Мало ли всяких дел там, за кордоном, куда Андрей уже не один раз ходил. Ходил и пока, слава богу, благополучно возвращался обратно. И их, этих самых дел, с каждым днем становится не меньше. Когда-то крепко верилось, что стоит лишь трудовому люду начать революцию, выступить против своих угнетателей в каком-то одном месте, как на помощь ему придет пролетариат всего мира. Не зря же и призыв тот: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» А что получилось? Здесь, в Российской империи вон какой революционный кострище раздули. Изо всех сил старались! На Западе же, откуда и залетел сюда пьянящий дух коммунизма, только венгры с немцами и откликнулись. Да и то неудачно: едва голос подать успели, как их тут же к ногтю. Буржуазия она ведь шутить не любит. Понимает, что к чему. Ведь, считай, шестую часть всей землицы у нее оттяпали. Так, чего доброго, и всю можно потерять. В один момент со своими домашними революционерами в Германии и Венгрии расправилась: кого на тот свет отправила, а кого по тюрьмам попрятала. Чтобы успокоились, значит. Одумались. А пока те сидят, эмиграцией занялись. Много ее собралось в матушке-Европе. Ох, много! Одних генералов белогвардейских, если посчитать хорошенько, не одна рота наберется. А если сюда же атаманов и батек всяких прибавить, то батальон, а может быть, и полк будет. Кто же их даром кормить станет? Наверняка теперешние хозяева, которые дали приют некогда блиставшей российской знати, губы дуют и свое недовольство высказывают:

— Хватит о парижские и берлинские тротуары подошвы тереть, господа хорошие. Пора об империи, вами провороненной, позаботиться. Подумать, как ее из большевистского плена вызволить, да и с долгами рассчитаться.

Да! Соображают ведь там, что гости дорогие, которые после неудачной для них гражданской войны через кордоны прорвались, давно уже перестали быть желанными. Только куда их теперь денешь, коль ни кола у них, ни двора? Держат их, кормят и поят. За что? Так, за их же обещания. За то, что рассчитаться обещают после того, как разобьют и прогонят большевиков с их Советами. Велика тоска по прошлому! Велико желание вернуться к

старому и покарать обидчиков. Но насколько оно реально? Вот в чем вопрос. Ведь столько раз уже пробовали, так старались, такую уйму деньжищ выбросили. А что из этого вышло? Один пшик. Конфуз, то есть. Нет! Теперь Советская власть крепко на ноги встала. Ее просто так не возьмешь. Народ в нее поверил. Крепко поверил. И только чудак наивный может этого не видеть, не понимать, все еще надеясь на скорый возврат к прежним порядкам. Не бывать этому!

«Не бывать! — усмехается про себя Лев Николаевич. — Упустили вы свое времечко, хлопцы-буржуи. Теперь ждать придется долго. Очень долго. А, может быть, и всегда. Ага! Всегда. Быть вам вечно ожидающими».

— Чего ты? — услышав, как хмыкнул его сосед, прошептал Булычев.

— Та то я так, — смутившись, отозвался Зиньковский. — Нога... нога затекла... От лежания...

Вот штука какая получается. Думаешь, что мыслей твоих никто не видит и не слышит. А, выходит, совсем иначе. Вроде же сам с собою он рассуждал от нечего делать, но, оказывается, что Булычев, этот гость московский, как-то узнал о его мыслях. Как? Неужели что-то сказал, сам того не заметив? Это новость! Такого с ним раньше не бывало.

«Старею? — с тревогой подумал Лев Николаевич. — Так рановато же как-будто. А там кто его знает...»

И то! Какую жизнь они, их поколение, уже прожили: раньше хватило бы на троих — на дедов, отцов и детей. Не так разве? Столько старья всякого ломать пришлось. Столько грязи счищать довелось с корпуса державного корабля. Да и сам тот старый корабль пришлось выбросить к едрени фени, потому как весь он был насквозь прогнивший и обсиженный ракушками. Теперь вот новый соорудили... Не совсем, конечно, не до конца. Но все же многое сделали. По крайней мере, корпус новый готов, да и палубные постройки на подходе. Остается закончить их и, подняв флаг, отправиться по морям и океанам. Плыви себе и агитируй за социализм: «Нате вам! Смотрите, какой он есть новый рабоче-крестьянский рай. Радуйтесь за торжество нашей воли-волюшки и себе ее добывайте».

«Черт возьми! — думает Лев Николаевич. — Аж дух захватывает. Вот только... только двинется ли он,.. поплывет ли наш корабль? Станет ли вестником этой самой желанной воли? Не превратится ли в еще одну, новую тюрьму для народа, как говорили тот же Волин и другие грамотеи-анархисты? Что-то в последнее время много врагов у нас объявилось. Считай, скоро двадцать лет, как революция свершилась. Не один год гражданская война по стране гуляла. Уж так мела, так мела своею страшной метлой. Казалось, все дочиста вымела. До единой соринки, не говоря уже о чем-то серьезном, большом. А тут — на тебе! Враги народа. Да не один, который, куда

ни шло, еще мог где-нибудь затесаться, остаться незаметным, не два, а вон сколько. Косяками, понимаешь, тучами пошли. Неужто правда? Только почему такое происходит? Откуда?»

Лев Николаевич хмурит лоб и, сердито посапывая, вглядывается в ночную темень. Неужели оттуда они ползут? Передохнули, собрались с силами и опять за старое. Там ведь, за кордоном много обиженных судьбою. Взять хотя бы тех же белогвардейцев. Кем они здесь были, что оставили и кем стали сегодня? Разве могут они смириться с потерей своих дворянских гнезд, той блистательной жизни, которая была у них до революции? Да никогда! Она, наверняка, им ночами снится, терзая души, вызывая зубовный скрежет. И ради того, чтобы вернуть свое сладкое прошлое, эти господа готовы еще раз рискнуть. Готовы пойти на все. Им, как говорится, терять нечего. И ничего хорошего от них ждать не приходится. За ними нужен глаз да глаз. Может быть, для этого и провожают они сегодня Андрея? Может быть... Хотя вряд ли. Для работы с такого рода публикой, белой костью нужны другие люди. Потоньше, поинтеллигентнее. И они там есть. Лев Николаевич это хорошо знает, потому что сам переправлял за кордон не одного из таких. Посмотришь — чистый тебе боярин или буржуй недорезанный. Однажды, глядя на одного из них, он даже удивился:

— И как такой индюк надутый уцелел? Да попадись он в свое время батькиным хлопцам, те б с него в один момент перышки стряхнули. Оглянуться бы не успел! А тут, посмотри какая забота. Неужели и вправду наш это человек? Тогда артист. Настоящий артист. И еще какой! Ну, а что если под нашего, под товарища только рисуется? Так ведь тоже бывает. Здесь соловьем разливается, в верности клянется, а там черным вороном каркает. Как узнать?

Как узнать? И вправду задача не из простых. Он это хорошо знает. Из своего опыта. Не один год изображал из себя черта болотного. И ведь верила, верила ему братва батькина. И батька, Нестор Иванович, тоже верил. Иначе не держал бы его рядом, не делился с ним своими тайнами, своими самыми сокровенными мыслями. Ведь не кто-нибудь другой, а он, Задов, одним из первых узнавал о замыслах Нестора Ивановича. Ему он и боль свою душевную доверял. Разве кто-то еще знал о том, как переживал батька из-за того, что Галина «хвостом виляла»? Конечно, и ее понять можно.

Она же здоровая телка. Кровь молодая играет. Ей бы мужика крепкого, чтобы ночью ублажил, дурь из нее выдавил. Глядишь, и поспокойнее стала бы. Не стреляла бы по сторонам своими глазищами. А у батьки какое здоровье? Откуда оно? Без легкого и пулями покусанный. Одним духом держался. Бодрился, форсил. Но Лев Николаевич понимал, видел, чего это ему стоило. За это самое, может быть, и уважал Нестора Ивановича. Уважал и жалел.

Уважал... Да, да. Именно уважал. Правда, не только за это, за то, что умел батька себя в руках держать. Себя и других. Тех, что рядом с ним были. Ого! Еще как умел. Но было в нем и другое. За лихос-

тью, разудалостью батьки, которая приводила в восторг братию и заставляла беспрекословно подчиняться тех, что толклись вокруг него, греясь в лучах батькиной славы, сумел разглядеть Лев Николаевич человека, близкого ему по духу. Батька не играл в революцию, а искренне ее хотел. Он любил селянина, пахаря и, благоговея перед ним, люто ненавидел тех, кто пытался, устроившись на горбу трудяги, высасывать из него последние соки. С мечтою о селянском счастье он и затеял всю ту бучу. Вот только какое оно это самое счастье, как до него добраться, батька плохо себе представлял. Думал, что отгородятся они от всего света в своей родной Таврии и будут, наслаждаясь трудом хлеборобским, жить себе припеваючи. Только не тут-то было. Пока махновская повстанческая армия стояла на южных рубежах, вначале защищая от Деникина, а потом, сражаясь с Врангелем, ее в Москве еще терпели. Даже подхваливали, задабривая Нестора Ивановича. Старались приручить. Но батька тоже не дурак. Он же видел все эти хитрости.

— Хай! — не раз говорил начальнику разведки, заговорщически подмигивая. — Хай хитрують комиссары. Сколупнем белого прыщика, а там и з червоным разберемся. Разберемся, Лева? Га?

На что он рассчитывал? Трудно сказать. Одно ясно, что какие-то планы в той буйной головушке все же гуляли. На нее и надеялся Лева. Думал, что мудрый батька все же поймет, что не под силу ему тягаться с Москвой, с Лениным и Троцким. Взялись бы вместе революционный воз в одну сторону тащить, глядишь, и дело веселей пошло. Быстрее и с меньшей кровью. К тому он и сам не раз старался осторожненько подталкивать Нестора Ивановича. Порой казалось, что батька, который, прищурившись, глядел, уперев в начальника разведки стволы своих немигающих глаз, видит его насквозь, читает его мысли. Тогда Льву Николаевичу становилось страшно. Он с ужасом ощущал, как испарина покрывала его лоб и по спине медленно, будто издеваясь над ним, катились капли холодного пота, перебираясь с одного позвонка на другой. Батька, конечно, ни о чем не догадывался. Если бы такое случилось на самом деле, то не сносить бы тогда головы. Уж как Нестор Иванович умел расплачиваться за предательство, он знал хорошо. Взять хотя бы того же комполка Полонского с его певичкой. Да разве только их? Сколько своих бывших соратников батька сам отправил на тот свет или благословил, чтобы это сделали другие. То только богу одному и известно.

— Де ж той Мышко подився? — спрашивал кто-нибудь из штабистов, не видя долго кого-то из своих дружков.

— Т-сс! — останавливали любопытного.

— А шо?

— Вкралы.

— Хто? — растерянно моргал тот глазищами. — Як?

— Та воно тоби треба? Вкралы, и — все...

Нет. Что не говори, а насчет этого порядок у батьки был железный. На том и держался он так долго. Только и его время пришло. После разгрома Врангеля, когда с прямыми и непосредственными врагами Советская власть разделалась, обнаружилось, что посреди территории молодой страны существует этакая вольница, которую ни обойти, ни объехать. Ну чистая тебе Запорожская Сечь! Живет себе, как ей вздумается, и еще нагло так во весь голос заявляет:

— Мы государства не признаем и никакого насилия над собой не допустим.

Кому же такое понравится? Ясное дело, что Москва такого долго терпеть не могла и железной хваткой вцепилась батьке в глотку. Как тот бедолага ни крутился, а конец его вольнице все-таки пришел. Как и той же самой Запорожской Сечи. Вначале пришлось распрощаться с родимой землей, а потом и с жизнью.

Вскоре после того, как похоронили батьку, долетела эта весть и до Одессы. Узнав о его кончине, опечалился Лев Николаевич. Что ни говори, а себя не обманешь: прикипел он к батьке, полюбил его и, видать, навсегда. Виду не подавал, а сердце неделю камнем тяжелым давило.

«Эх, Нестор Иванович! — думал, сжимая стакан с поминально водкой. — Не послушал ты меня. Покорился бы тогда. Встал бы под знамя красное и сегодня, глядишь, если не командармом, то комкором был. Обязательно был бы! Ты же не дурнее Семена Буденного или того же Клима Ворошилова. А там, смотри, и моя судьба как-то бы иначе прописалась...»

Не о чинах и званиях думалось ему. Они не очень интересовали Льва Николаевича. Противно только было перед своими же товарищами оправдываться, доказывать, что не контра ты, не гад какой-нибудь ползучий. А как докажешь? Только храбростью своею, бесстрашием. Смотрите, мол, какой я. Ради нашего дела, ради победы революции не боюсь ни пули, ни сабли, ни черта, ни дьявола. И доказал таки! Пусть кто-нибудь теперь упрекнет его, что он от пули прятался.

Доказал... Так ли? Разве сегодня кто-нибудь может быть спокоен? Везде настороженность, подозрительность. Почему и когда это началось? Неужели с приходом в управление Кравчевского?

Они познакомились с Кравчевским в Запорожье, куда Льва Николаевича доставили под охраной Булычев и Задорожний после перехода румынско-советской границы и многочисленных изнуряющих, изматывающих допросов. Лев Николаевич и сейчас помнил брезгливую улыбочку, играющую на тонких губах Кравчевского, тогдашнего начальника окружного отдела ГПУ. Обращаясь к нему, тот усиленно нажимал на слове «гражданин».

— На товарища, значит, ще не вытянул? — усмехнувшись, поинтересовался он. Но Павел Васильевич то ли не заметил иронии, то ли сделал вид.

— Так вот, гражданин Зиньковский, — четко выговаривая каждое слово, будто отдавая команду, продолжал Кравчевский, — руководство поручило нам сопроводить вас к Дибровскому лесу...

Чертыхнувшись про себя, Лев Николаевич решил не заострять внимание на отношении к себе. Какое, собственно говоря, имело значение, как будет относиться к нему этот надувшийся индюк, с которым они наверняка скоро расстанутся и может быть никогда больше не встретятся? А вот встретились. После неожиданного ареста руководителя отдела внешней разведки Кравчевский оказался начальником старшего оперативного уполномоченного Льва Николаевича Зиньковского. Ни радости, ни удивления по поводу встречи он не проявил и разговаривал всегда официальным тоном.

— В чем дело? — ломал голову Лев Николаевич. — Почему так он ведет себя? Может быть, этот цыганского вида Аникишин, который приехал вместе с Кравчевским из Запорожья, что-то настучал начальству. Но что?

Правда, Катя как-то рассказывала, что в свое время побывал Ефим Аникишин в «объятиях» батькиной разведки. С тех пор он на всю жизнь возненавидел и самого батьку и тех, кто имел к нему какое-то отношение. Теперь уже Нестора Ивановича на этом свете нет, и оставшиеся в живых махновцы даже имени этого, некогда гордого и грозного, боятся. Словно болезни какой-то заразной и страшной опасаются.

Болезни... Почему болезни? А может...

Нет, что ни говори, только анархизм и в самом деле болезнь. Вот и сегодня она снова вспыхнула. Только на этот раз не у них, а в Испании. Говорят, их, анархистов, особенно много в районе Барселоны. Отряды и целые колонны носят имена «Бакунин», «Кропоткин». Наверняка и батькино имя кто-нибудь там носит. Пока они воюют против фашистов. Но как дальше пойдет? Куда их понесет ветер необузданной воли-волюшки? Трудно сказать. В Гуляйполе ведь тоже вначале против оголтелой реакции, против Деникина и австро-германцев дрались. Потом уже и с большевиками схватились. Интересно, есть ли у сегодняшних испанских анархистов свой вождь? Такого, как батька, пожалуй нет. Иначе бы о нем Лев Николаевич услышал. Появится ли? Все может быть. Теперь к Испании многие тянутся: и германские фашисты, и «мальчики» Левки Троцкого, который никак не может успокоиться, не может смириться со своим поражением здесь. Они ведь, Лев Давидович, мужчина с характером: если что не по его, готов в порошок стереть. Вон в того же батьку так было вцепился, как вошь в кожух. Только батьку голыми руками не возьмешь. Ничего, что мал ростом, а за себя постоять сумел. Троцкий его и от большевиков оттолкнул своим высокомерием и дубовым упрямством. Как же он, Лев Николаевич, ругал своего высоко взлетевшего тезку! Какими только словами ни награждал. Таких ни в одной книжке, ни в одной эн-

циклопедии или там словаре не отыщешь. Но что с того? Дело сделано, и его не поправишь. Умел Лев Давидович людишек кушать. Думал, что смерть Ленина ему путь на самый верх открыла. Но не тут то было. О Сталина сломал он свои зубы. Не зря же и фамилия у Иосифа Виссарионовича такая крепкая. Теперь Лев Давидович, видать, в Испании доказать свою правоту хочет.

— Может и Андрей туда путь держит? — подумал Лев Николаевич. — А что? В батькиной повстанческой армии с анархистами успел хлопец хорошо познакомиться. Такой опыт испанским товарищам может пригодиться. Даже очень может. Хотя...

— Пора, Андрюша! — послышался шепот Булычева.

— Ага! — кивнул головой Андрей. — Бувайте здорови, люды добри.

Простился и, неслышно ступая, направился к берегу реки, где ждала его заранее припрятанная лодка.

Они с Булычевым еще долго лежали, молча вглядываясь в черноту ночи, которая, казалось, поглотила не только окружающие предметы, но и звуки.

«Нет, — думал Лев Николаевич. — Вряд ли Андрей направляется в Испанию. Для этого есть другие, более подходящие пути. И другие люди. Андрей парень надежный. Но внешний вид, за версту выдающий в нем южанина-степовика, а главное язык, вернее его отсутствие, не позволяют надеяться на то, что он сможет решить сколь-нибудь сложную задачу. А задача перед хлопцем, как видно, сложная поставлена. Иначе не было бы такой тщательной подготовки и таких проводов. Возможно, к украинским националистам?»

В памяти мгновенно всплыли некоторые детали поведения Андрея в последние дни, его исключительно украинская речь с галицким акцентом и это его, брошенное на прощание: «Бувайте здорови, люды добри!»

«Так! — довольно усмехнулся про себя Лев Николаевич. — Значит, в гости к Коновальцу подался хлопец».

Коновалец командовал дивизией у Петлюры. Это его сечевики расстреливали рабочих киевского «Арсенала». Вместе с остатками разбитых Красной Армией петлюровских войск он удрал за границу, возглавив после убийства Симона Организацию украинских националистов. За свои «заслуги» перед рабочими Коновалец заочно был приговорен советским судом к высшей мере наказания, но пока мотался по странам Европы, стараясь объединить своих сторонников и надеясь на победное возвращение на Украину. В последние годы в среде украинских националистов было явно неспокойно. Сторонников Коновальца, представляющих ветеранское крыло националистического движения, активно подпирала молодежь во главе с энергичным и все более завоевывающим авторитет Степаном Бандерой. Лев Николаевич многое знал о Коновальце, еще возглавляя разведку в батькиной повстанческой армии, и, занимаясь закордонными делами в Одесском управ-

лении государственной безопасности НКВД, был неплохо осведомлен о положении дел украинских националистов, а также о самом Коновальце.

— Ну, что ж! — рассуждал он. — Коновалец, так Коновалец. Тут Андрюша должен за своего сойти. Хай ему повезет,.. повезет и с этой хворью бороться.

Хворь... Выходит, снова болезнь? Анархисты болеют неодолимым зудом невозможного — отмены государства. Надрываются, глотки дерут: «Долой его, стерву, к едрени фени!», будто от их крика все сразу изменится и это самое государство провалится в тартарары. Ага! Ждите! Не одно поколение сменится, прежде чем рухнет державный замок, возводимый сотни лет. Штурмуют, захватывают его войска различных властителей, победно поднимающие свои знамена, а сама-то твердыня как стояла, так и стоит. Национализм, оказывается, тоже болезнь? А как же. Конечно, болезнь! Националисты считают, что только они и являются настоящими патриотами. Только так ли это? Родину, землю свою они, может быть, и любят. Но разве другие — нет. Или меньше националистов? Кто же тогда эту самую любовь измерял и каким прибором? Получается, что националисты — цацы, а другие дерьмо и только. Считать себя можешь кем угодно. Вот как, например, отдельные себя считают Наполеонами или королями Индии. Так их же лечить стараются в домах интересных. Видать, и ту, другую хворь лечить нужно. Вот только чем? Одно ясно — мозги им чистить нужно, сознание менять. Здесь без Маркса с Лениным не обойдешься. Стоп, стоп! А что если и коммунизм такая же болезнь, как и те? Нет. Не может быть. И Маркс, и Ленин из жизни. Они среди людей были. Горе и радости их знали. Счастья людям хотят. Счастья... А что оно за штукенция такая это самое счастье? Может быть, то же самое, что и блаженство в Библии? Ну да! Значит, получаетсся, что Маркс и Ленин с Христом заодно? Вот! Иисус Христос — самый первый коммунист. Вот так штука! Скажи он, Лев Николаевич, об этом кому-нибудь из своих друзей, наверняка бы на смех его подняли. Только если как следует покопаться в книжках там разных, подумать хорошенько, то ничего в том смешного и нет. Правда, Христос за земную жизнь, земное поведение блаженство на небесах обещал, а Маркс с Лениным здесь его, на грешной земле добыть обещают. Обещают и дорожку к нему указывают. Не простая она, не короткая. Но дойти до того блаженства, счастья то есть людского, кажется, можно. Только не в растопырку. Не в одиночку. Для этого люди поверить должны, верой должны зажечься. Как в Христа. Ну, может, не совсем так. Както иначе. По-другому. Но поверить, обязательно поверить и вместе дело общее делать. Тут, конечно, важно, чтобы не было среди них Иуд, предателей не было. И чтобы пастыри добрые были. Это очень важно. А то ведь всякие есть. Чего греха таить? Тот же Лев Давидович. Ведь, считай, правой рукой у Ленина был. Куда уж больше? А

тут — на тебе. Наипервейший враг. Да разве только он? Сколько их, Иуд тех самых, которые могут коммунизм болеть заставить, а веру в него в какой-нибудь опиум превратить...

— Ну, что ж, Лев Николаевич, — услышал он шепот Булычева. — Кажется, порядок. Будем трогать?

— Пожалуй...

Как-будто с переправой Андрея все обошлось благополучно. Но какая-то тревога не оставляла Льва Николаевича ни на минуту. Он испытывал ее буквально с того момента, когда Андрей, простившись с ними, растворился в ночной бездне.

— Ну что это со мной? — ругал себя и в штабе пограничного отряда, куда они с Булычевым возвратились, чтобы немного передохнуть после бессонной и трудной ночи, и ворочаясь с бока на бок на жесткой полке вагона медленно ползущего поезда. — Отчего так тоскливо на душе?

Сколько раз ему приходилось провожать за кордон товарищей, которые направлялись с ответственными и опасными заданиями. Провожал почти как на обычную работу. Ну, может быть, не совсем на обычную, но все же... А тут — на тебе. Разволновался, раздергался. Даже самому себе противен. Еще, чего доброго, беду какую-нибудь накличет. Нет, нужно взять себя в руки. Сейчас он выбросит из головы дурные мысли и уснет. Да, уснет. Он же, считай, третьи сутки не спал. Отсюда и состояние такое, и мысли. Спать! Он будет спать и тогда все пройдет, все встанет на свои места. Встанет...

Но как Лев Николаевич ни старался, как ни силился уснуть, это ему не удалось до самой Одессы. Выйдя из вагона, он, чувствуя себя разбитым, побрел домой, с трудом переставляя непривычно тяжелые ноги.

— Ты болен, Левушка? — с тревогой спросила Вера, едва он переступил порог.

— Знобит что-то, — сдвинул плечами. — Простыл что-ли. Только этого мне и не хватало.

— Иди мойся и ложись в постель. А я пока чай тебе сделаю. С вареньем малиновым. Свеженькое, душистое. Ребята пробовали, так им очень понравилось.

— Ты у меня, Веруся, умница и большая мастерица вкусности разные делать.

— Скажешь тоже! — смутилась жена.

— Да, да! Я в этом деле кое-что смыслю и зря говорить не стану. Выпив горячего чаю, Лев Николаевич почувствовал, как сковывавшее его напряжение куда-то исчезло. Глаза сами собой закрылись, и он вскоре уснул.

Не слышал даже, когда домой пришли Аллочка и Вадим. Они ходили у двери, стараясь заглянуть в комнату. Но Вера их туда не пустила.

— Имейте совесть, — строго сказала она. — Дайте же отдохнуть человеку.

— Мамочка! — целуя мать, подлащивалась Аллочка. — Мы же все понимаем.

— Что мы маленькие? — по-отцовски сдвигал плечами Вадим. — Как-нибудь дотерпим до завтра.

— Правда, правда, мам! — щебетала Аллочка.

За ночь Лев Николаевич отдохнул и утром, встав бодрым и свежим, начал собираться на службу.

— Побыл бы сегодня дома, Левушка, — робко предложила Вера.

— Что ты, Веруся!

— Но тебе же нездоровится...

— Нет, нет! Я здоров. Здоров, как бык.

День в управлении прошел в обычной суете. Доложил начальству о своем прибытии, отчитался по командировочным расходам. Потом долго корпел над какими-то документами. Этот «труд бюрократа», как он его про себя называл, всегда раздражал и утомлял Льва Николаевича. Но в этот раз он работал спокойно и даже с интересом. Прервавшись на обед, отправился в столовую, по пути здороваясь с сослуживцами. Здесь Лев Николаевич давно уже чувствовал себя своим и уважаемым человеком. С удовольствием пообедав, встал из-за стола.

— Приятного аппетита, — пожелал, проходя мимо сосредоточенно жующего Кравчевского.

Тот в ответ едва заметно кивнул.

«Не желают нарушать процесс пищеварения Павел Васильевич, — подумал про себя Лев Николаевич. — Они ж не просто кушают, а принимают участие в работе обеда».

От этой мысли ему стало смешно, и он улыбнулся. Но тут же вынужден был погасить улыбку. Идущий навстречу Ефим Аникишин, опустив голову, прошмыгнул мимо, как будто не заметив его.

«Не хочет знаться цыган! — с горечью подумал Лев Николаевич. — Ну и хрен с ним. Только почему? Чем я ему не нравлюсь? Все люди, как люди, а этот прямо чертом смотрит. Будто я у него всю получку в карты выиграл. Странный какой-то. Все особняком держится да к начальству дорожку топчет. Стоп, стоп! Начальство... Может быть, и Кравчевский не зря сегодня очи долу опустил? Это уже интересно! В чем же это я, грешник, провинился?»

Он стал внимательно анализировать свои действия, которыми мог бы быть недоволен Павел Васильевич. Нет, вины за собой Лев Николаевич никакой не чувствовал. Он неплохо справился с заданиями по переброске за кордон товарищей, которые направлялись центром. И здесь, в Одессе, как будто бы никаких проколов тоже не допустил. Тогда в чем же дело? В памяти одна за другой всплыли страницы жизни в батькиной повстанческой армии. Беспокойная была она, эта самая жизнь. Беспокойная и тревожная для него. Тогда он был Левой Задовым. Был грозой для всех, даже

самых близких к Нестору Ивановичу. Эти его больше всех боялись. Еще бы! Ведь всякая буза в армии с них начиналась, с их мышиной возни. Каждому хотелось поближе к батьке быть, самым преданным, самым умным выглядеть в его глазах. А как это доказать? Вот и старались друг на друга нашептывать то самому Махно, то Галине, то ему, Леве. Боже мой, сколько грязи, сколько всякого паскудства пришлось услышать и увидеть в те годы. Нестор Иванович умный был мужик. Хорошо знал цену своим «генералам», своим штабистам и, конечно, не все, что ему говорилось, на веру брал. Но все же и он не святой. И не железный. Нет-нет да и поверит какому-нибудь шептуну-лизоблюду. Тогда — беда!

— Проверь! — леденящим душу голосом скрипит батька. — Душу вытряси з падлюки. Шоб она усе про ту падлу рассказала. Усе чисто! Пойнял? Га?

И трясли... Еще как трясли! Всякими оказывались они, эти самые души. Были, конечно, и такие, что их от тела не оторвешь. Видать, сжились, срослись, спаялись. Так, обнявшись, вцепившись друг в дружку мертвой хваткой и оставляли матушку землю, уносились в мир иной, хороня свою тайну. Они всегда изумляли Леву, оставаясь для него загадкой. Большинство же были мало интересны, поскольку легко и быстро оставляли бренные тела. Притом наиболее поспешно это делали души, которые ранее обитали в телах видных и броских. К иному еще и прикоснуться не успели его головорезы, а душонка уже вот она, выпрыгнула и визжит полохливым зайцем:

— Не надо! Не бейте, не трогайте меня! Я все, все скажу.

И говорили, конечно. Не только в своих грехах каялись, но и чужие на себя брали, оговаривали и себя, и, особенно, других.

Слушая эти покаянные речи, потоки лжи, которые выливались под ударами кулаков и плетей, Лев Николаевич испытывал не только брезгливость, но и смятение. Понимал, хорошо понимал, что в качестве очередной жертвы может же и он оказаться. Как поведет себя его душа? Какой окажется? Ведь одно дело сразу умереть от пули, осколка снаряда или сабли, другое, когда будут держать тебя как фраера. Будут издеваться над тобой, кишки твои мотать, а ты ничем ответить не сможешь, защититься не сумеешь. Ведь в каждом человеке есть лицо, которым большинство гордится, и есть задница, которую он стыдится напоказ выставить. Есть доброе, прекрасное, которое, как красивый цветок, притягивает к себе людей, а есть мерзкое, как дерьмо, которое, источая зловонный запах, ничего, кроме стыда и позора, человеку не приносит. И очень Льву Николаевичу не хотелось, чтобы это самое дерьмо, эта мерзость, которую он старательно изгонял, прятал в самые дальние, потаенные щели своего естества, вдруг вышло наружу, явилось пред очи других.

— Ведь нехорошо это! — сокрушался он. — Стыдно дерьмо свое людям являть. Даже плохим. Скажут: «Здрасте вам, Лева. Обосраться изволили? А мы-то думали...»

Что там о нем думали, неважно. А вот опозориться, опаскудиться перед другими, даже перед теми, кого он никогда не уважал, ему не хотелось. Никак не хотелось!

«Что это я сегодня?» — тряхнув головой, подумал он. Провел по лысой голове рукой, будто приглаживая, причесывая волосы и тут же отдернул руку. Он уже давно брил голову, но все никак не мог к этому привыкнуть. Иногда, задумавшись, хватался за расческу и начинал водить ею по несуществующим кудрям. Потом смеялся, подтрунивая над своей забывчивостью:

— Старый дурак! Это ж надо так чудить! Хорошо хоть брюки не забываю застегивать, а то наделал бы шухеру на всю Одессу...

Он посмеивался над своей забывчивостью по-доброму, не теряя присущего ему духа и не огорчаясь всерьез. Сегодня все было иначе. Тревога, от которой он на какое-то время избавился, отдохнув дома, вновь возвратилась. Более того, она, кажется, усиливалась, заставляя его все время копаться в своих прошлых делах, искать и не находить собственной вины. Стараясь избавиться от этого непонятного чувства, Лев Николаевич прилагал усилия к тому, чтобы полностью погрузиться в работу. Но ничего не получалось. Он снова и снова возвращался мысленно к обеденным встречам с Кравчевским и Аникишиным, пытаясь проложить мысленные, логические дорожки к причинам их поведения, однако словно наталкивался на глухую стену.

Едва дождавшись конца рабочего дня, спрятал в сейф документы, так и не успев закончить их, и отправился домой. Решил не дожидаться трамвая, а идти пешком. По крайней мере, пройдется по свежему воздуху, да и не будет обычной одесской толчеи, которая его всегда раздражала. Шел, казалось бы, не спеша, но до дому добрался быстро.

«Так и не успел привести себя в порядок! — подумал с сожалением, поднимаясь по лестнице. — Опять Веруська расстроится. Допытываться начнет, что да как случилось. А что я ей скажу? Ведь и сам не знаю, откуда во мне взялась эта самая хреновина. Придется играть, выкручиваться, отнекиваться. Только все это напрасно: кого-нибудь другого я бы обвел вокруг пальца, а с Веруськой не получается».

Вошел в квартиру и, заговорщически подмигнув, прижал ее к себе. Кажется, не заметила. Ну и слава богу.

— Папка! — бросилась к нему Аллочка. — Папочка наш пришел.

— Здравствуй, здравствуй, невестушка! — обнял он дочь.

— Ну, какая же я невеста! — щебетала она, целуя его в щеки. — Я ведь еще маленькая. Совсем маленькая.

— Ничего себе маленькая! — изумился Вадим. — Вон какая дылда вымахала.

— Сам ты дылда! — не осталась в долгу Аллочка и, показав язык Вадиму, спряталась за спину отца.

Лев Николаевич знал, что сын, не догадываясь, что Аллочка его приемная дочь, ревновал к ней отца. Ему казалось, что тот уделял ей больше внимания, хотя это было не так. Он одинаково любил детей и старался быть ровным с каждым из них. Ну, может быть, был чуть строже к Вадиму: сын все же должен расти мужчиной и нечего его излишне баловать лаской. В нем он узнавал себя. Не сегодняшнего, уже начавшего стареть тучного мужчину, а совсем еще юного юзовского хлопца, который был заводилой у уличных мальчишек.

«Наша, Зиньковская порода! — с гордостью думал Лев Николаевич. — Ее ни с какой другой не спутаешь».

Отмечая сходство с сыном, он не оставлял без внимания и те новые, незнакомые черты, которые появлялись во внешнем облике и характере паренька. Старался угадать, как они проявят себя в его дальнейшей, взрослой жизни.

Глядя на резвящихся, откровенно радующихся его приходу детей, Лев Николаевич улыбнулся. Кажется, впервые за весь день.

— Веруська! Ты посмотри, какие у нас дети, — обняв за плечи Аллочку и Вадима, сказал первое, что пришло в голову.

— Какие? Какие? — допытывалась Аллочка.

— Ну... какие... Хорошие!

— Самые обыкновенные, — стараясь держаться строго, откликнулась Вера.

— Ма-ма! — игриво топнула ногой Аллочка.

— Да, да! Самые обыкновенные. И дайте, наконец, папе раздеться да будем ужинать. У меня уже все остыло.

Незаметно для себя Лев Николаевич вновь обрел столь желанный покой. Отправив спать детей, они с Верой еще долго сидели на их любимом стареньком диване. Говорили, вспоминали какие-то детали их жизни, и они им казались важными, значительными.

— Ну что, Левушка, — наконец предложила Вера. — Пойдем спать?

— Пожалуй, — согласился он.

Положив голову ему на плечо, Вера затихла, и Лев Николаевич, думая, что она уснула, боялся пошевелиться, чтобы ее не потревожить.

«Нет, — думал он, — что бы там ни говорили, а настоящее счастье в семье. В жене, которая тебя понимает и которой не нужно много объяснять, как ты себя чувствуешь, какое у тебя настроение, грустен ты или весел. Она все видит и знает сама. Сделает все как надо и детям подскажет, как следует себя вести. Какое же это богатство! Какой клад для меня Веруська!»

С этими мыслями он и уснул. А может быть, только показалось, что уснул, поскольку стук, тот стук в дверь он услышал первым. Услышал, но продолжал лежать, прижимая к себе Веру.

— Стучат... Кажется, стучат, — вздохнула она.

— Да, да, — отозвался он. — Кто бы это?

Спросил просто так, чтобы не молчать, хотя уже заранее знал ответ: пришли за ним.

— Я открою? — поднялась Вера.

— Не нужно. Я сам.

Он встал и, слыша, как кто-то настойчиво продолжает стучать, стал одевать брюки. Делал это нарочито медленно, не спеша. Старался успокоиться. Одев брюки, бросил взгляд на гимнастерку. Протянул было руку, чтобы взять ее, но передумал и босиком пошлепал к двери.

— Кто там? — спросил показавшимся ему чужим, незнакомым голосом.

— Так я ж то, хозяин! Сторож ваш, Григорий.

Чувствуя, как все внутри противится, возражает против того, что он должен сделать, Лев Николаевич повернул ключ. Раз. Потом другой. Дверь тотчас распахнулась, и в квартиру первым вошел Ефим Аникишин.

— Стоять! — больно ткнув в живот дулом револьвера, скомандовал Ефим.

— Стою, — сдвинул плечами Лева. Глядя, как в квартиру один за другим входят сотрудники НКВД, он усмехнулся:

— Ого! Много вас, хлопцы! Хотя бы предупредили. Чайку бы согрели.

— Согреют, согреют тебе чаю и чегось еще, — играя желваками, процедил Ефим и тут же бросил пришедшим вместе с ним: — Приступайте к обыску.

Опустившись на стул, Лев Николаевич, казалось, равнодушно наблюдал, как чужие люди хозяйничали в их квартире, передвигали мебель, рылись в шифоньере и комоде. Только однажды он не выдержал, когда один из сотрудников, осматривая этажерку с книгами, стал небрежно бросать их на пол.

— Товарищ! — скрипнув стулом, приподнялся Лев Николаевич. — Это же книги! Что же вы...

— Сидеть! — подскочил к нему Аникишин. — Гля, какой грамотей нашелся.

Он поиграл желваками и, понизив голос почти до шепота, выдавил из себя:

— У-у-у! Морда махновская!

Лев Николаевич на это ничего не ответил. Только покачал головой и криво усмехнулся. Обыск закончился глубокой ночью.

— Левушка! Как же так! За что? — шептала Вера, прощаясь с ним. — Как же так?

— Не волнуйся, Веруся! — пытался он ее успокоить. — Это недоразумение. Все образуется. Береги деток...

Но недоразумений не было. Стремясь обезопасить молодую страну от внешней агрессии, советское руководство проявляло заботу не только об укреплении экономической и военной мощи государства. ОГПУ, его иностранный отдел, возглавляемый Арту-

зовым, напряженно трудились над созданием и развитием сети закордонной агентуры, которая бы могла не только просигнализировать о грозящей опасности, но и принять эффективные меры по ее упреждению. А такая опасность действительно существовала. Более того, она усилилась с приходом к власти в Германии национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером, стремившихся активизировать антисоветскую деятельность эмигрантских кругов, в том числе украинских националистов. В 1934 году во Львове террорист ОУН Лемек совершил убийство советского дипломата Майлова. В ответ на это председатель ОГПУ Менжинский издал приказ о разработке плана нейтрализации террористических акций украинских националистов, который включал в себя физическое устранение их руководящего ядра, прежде всего Коновальца. Украинским чекистам удалось внедрить в подпольную военную организацию ОУН своего агента Лебедя. Это открыло возможности для проникновения в закордонную националистическую среду. И не только в нее. Однако в разведке, как и в любом другом деле, не всегда гладко. Случаются и промашки, досадные неудачи, последствия которых потом долго дают о себе знать. Аресту Зиньковского как раз и предшествовали провалы закордонной агентуры, которые произошли накануне. Стали искать виновных, тщательно перетряхивая всю цепочку от Москвы до самых до окраин. В столице арестовали Алексея Булычева и еще нескольких сотрудников. Прошли аресты и на Украине...

На первый допрос Льва Николаевича вызвали только на четвертый день. Проводил его Ефим Аникишин.

— Хвамилия? — глядя исподлобья, выдавил он, почти не разжимая губ.

— Так вроде бы знакомы...

— Отвечать по существу! — хлопнул ладонью по столу Ефим.

— Зиньковский! — сдвинул плечами Лев Николаевич. — Лев Николаевич Зиньковский.

— Зиньковский или Задов? — сощурился Аникишин.

— Моя фамилия Зиньковский, — стараясь сохранить спокойствие, уточнил Лев Николаевич.

— Черт вас разберет! Год рождения?

— Тысяча восемьсот девяносто второй.

— Национальность?

— Еврей.

— Место рождения?

— Уроженец колонии Веселая.

— Партийность?

— Беспартийный.

— Семейное положение?

— Женат.

— Гражданство? Гражданством интересуюсь!

— Ах, да. Гражданин СССР.

— По-нят-но! — усмехнулся Аникишин. — Теперича обскажите, гражданин Задов...

— Зиньковский!

— Дык вот. Обскажите нам, гражданин Задов-Зиньковский, как и когда вас завербовала иностранная разведка?

— Ого! — не выдержал Лев Николаевич. — Так значит?

— Как и когда вас завербовала иностранная разведка? — гнул свое Аникишин. — И как вы предавали наших товарищей за кордоном?

— По-нят-но! — чувствуя, как внутри у него закипает злость, сжал кулаки Лев Николаевич. — А может, тебе, гражданин Аникишин, рассказать, как я жинку твою с тещей вместе в иностранную агентуру вовлек?

— Молчать! — рявкнул на него Аникишин, хлопнув по столу так, что стоящая на нем чернильница подпрыгнула, расплескав содержимое по листу бумаги. Некоторое время Ефим, растерянно моргая, молча смотрел на растекающееся по листу фиолетовое пятно. Потом единым махом сгреб листок в кулак и, измазав ладонь в чернила, швырнул в корзину.

— Из-деваешься, падла махновская? — крикнул, бешенно вращая глазами. — Думаешь, купил Советскую власть? Золотишку твоему бандитскому поверила она? Вот хрен тебе, гадина!

Ефим со всей силой ударил Льва Николаевича в лицо. Тот вскочил со стула, пытаясь защититься. Но в комнату тут же вбежали трое сотрудников, которые, свалив его на пол, стали избивать...

Допросы, которые в основном велись по ночам, путали всю картину жизни. Лев Николаевич иногда терял счет дням. И тогда, приходя немного в себя, он старался установить дату, начиная с той, роковой, 26 августа 1937 года, когда его арестовали.

Он давно привык к вопросам Аникишина, Кравчевского и других следователей, которые выколачивали из него признание в его личной виновности. Знал, что здесь отвечает только за себя. Но его очень тревожило то обстоятельство, что, не выдержав пыток, он станет оговаривать других. А в том, что следователи пойдут по этому пути, он не сомневался. И к тому были основания.

Однажды, еще в самом начале следствия, Аникишин достал из стола фотографию и, показав ее Льву Николаевичу, с деланным равнодушием спросил:

— А кто это с вами?

Лева сразу узнал ту фотокарточку, на которой были сняты они с Верой и Петро Задорожний с Катей. Снялись давно, накануне того дня, как Петро с Катюшей впервые ехали в Запорожье уже как муж и жена.

— Знакомые, — ответил односложно.

— Ага! — кивнул головой Аникишин. — Знакомые, значится. И как же их звать-величать?

Запираться было бесполезно. Лев Николаевич знал, что, работая на шахте в Юзовке, Петро дружил с Ефимом. Он не раз видал их вдвоем. Было ему известно и то, что Ефим долгое время находился на чекистской работе в Запорожье и наверняка по этой линии встречался с Катей. Не знал он лишь того, что некогда спасенный ею от смерти Ефим уже давно затаил в своем сердце обиду на Катюшу, которая отказала дать ему рекомендацию для вступления в партию.

Нет, Ефим не забыл о том, что Катя, рискуя своей жизнью, вывезла его полуживого из Дибровского леса, где их с товарищем, взяв в плен, распинали махновцы. Он на всю жизнь запомнил и тот богом проклятый лес, и атамана Свиста и его подручных. Запомнил и все эти годы искал их. Правда, безуспешно. Перед Катей же он чувствовал себя вечно обязанным, а значит — должником, и это чувство не давало ему покоя. Чтобы сбросить его, встать с нею рядом, он и решил тода вступить в партию. Ее рекомендация, по его мнению, должна была сыграть роль некой отпускной грамоты: все, ты мне не должен, ты свободен. Но Катя тогда ему отказала, и Ефим не мог ей простить. Он не собирался ей мстить. Ему хотелось только расплатиться с ней, рассчитаться и только. И вот теперь, как ему показалось, такой случай представился: он выбьет, во что бы то ни стало выбьет признание в преступной (неважно какой деятельности Кати, а потом... потом пощадит ее. Неважно как это он сделает, но сделает.

— И где же вы, гражданин Задов-Зиньковский, познакомились? Вот, скажем, с етой дамочкой.

Он постучал ногтем по лицу Кати, а Льва Николаевича от этого дернуло. Хотелось бросить: «Хотя бы руки, гад, помыл!» Однако сдержался.

— Это давняя знакомая. Еще с Юзовки.

— Вот как? И что же... до сих пор с нею?

— Не понял.

— Ну? Как это говорят? Дружите, что ли.

В вопросе Аникишина явно звучал намек на что-то интимное, но Лев Николаевич понимал, что сейчас не то время и не то место, чтобы начинать выяснять отношения.

— Дружим, дружим, — нахмурившись, ответил он. — Только эта дамочка, как вы сказали, к моему делу, которое вы мне пытаетесь пришить, никакого отношения не имеет.

— Вы думаете? А может, нам известно, что вы с ней вместе диверсию готовили? Днепрогэс или завод какой на воздух решали пустить. Чтобы, значится, вред нанести нашей Родине.

— Да пошел ты! — не выдержал Лев Николаевич.

— Но, но! — поднял палец Аникишин, который уже решил для себя, как поступит. Из этого Задова-Зиньковского уже все равно ничего он не выбьет. Тем более, что его зачем-то затребовали в Киев. А он, Ефим, через день-другой поедет за семьей в Запо-

рожье, там и найдет возможность намекнуть Кате: так мол и так, знакомый твой арестован и на тебя стучит. Виновата или нет она, здесь роли не играет. Пусть ноги уносит, а то... всякое может быть. И он, таким образом, с должком своим давним рассчитается, доброе дело сделает.

Вскоре Льва Николаевича действительно отправили в столицу Украины, где допросы продолжались в том же духе. Ничего нового, порочащего его как чекиста, следователям выбить не удалось.

25 сентября 1938 года состоялось заседание военной коллегии Верховного суда СССР, так называемой «тройки». Без участия защиты и без вызова свидетелей.

— Военная коллегия Верховного суда СССР, — торопливо, глотая слова, читал обвинительное заключение председатель, — рассмотрев уголовное дело по обвинению Зиньковского-Задова Льва Николаевича, 1892 года рождения, еврея, беспартийного, женатого, гражданина СССР, при этом установив, что он в 1912 году примкнул к анархическому движению. Работал тогда на металлургическом заводе. Занимался разбойными нападениями, за что был приговорен в 1915 году Екатеринославским окружным судом к 8 годам каторжных работ... В 1917 году присвоил себе псевдоним «Зиньковский». Под этой фамилией был известен в период активного участия в банде Махно (1918 — 21 гг.), затем в эмиграции в Румынии (1921 — 24 гг.) и после возвращения в Союз...

«Чепуха какая-то! — подумал Лев Николаевич. — Псевдоним... Какой псевдоним, когда это моя фамилия...»

Подумал равнодушно, как о чем-то чужом, не имеющем к нему непосредственного отношения.

— Зиньковский-Задов нелегально вернулся в Союз в 1924 году из-за кордона, — продолжал бубнить председатель. — В момент ареста — оперуполномоченный УГБ Одесского Облуправления НКВД. В органы НКВД проник в 1925 году, дав согласие работать в ГПУ, чтобы спасти свою жизнь и избежать наказания за деятельность в банде Махно...

Лев Николаевич застонал, скрипнув зубами.

— ... Нелегально перешел границу с целью совершить ряд крупных ограблений и после с большой суммой денег возвратиться в Румынию... Будучи сотрудником органов УГБ НКВД, был завербован разведорганами иностранной разведки, также причастен к провалу некоторых закордонных сотрудников органов УГБ НКВД, происшедшему в 1935 году...

Лев Николаевич молча слушал. Слезы, горючие слезы незаслуженной обиды одна за другою скатывались по его щекам, но он не замечал их.

«Все! — стучало в мозгу. — Это конец! Попрали веру. За что? Зачем они так?»

— ... Приговорить к высшей мере наказания через расстрел.

В тот же день приговор был приведен в исполнение. Расстреляли Льва Николаевича в сосновом лесу девятнадцатого квартала Днепровского лесничества Дарницкого лесопаркового хозяйства Киева...

Вслед за Львом Николаевичем была арестована и его жена. Но ее вскоре выпустили.

— Отец не виноват! — обнимая плачущую мать, пытался убедить ее Вадим. — Слышишь, мамочка, он не виноват.

— Я знаю, сынок. Но кто докажет?

— Я докажу. Обязательно докажу.

Сын сдержит свое слово. Но пройдет еще много лет, прошумит военное лихолетье, человечество не раз еще изумится от подлости и вздрогнет от ужаса, творимого детьми матушки Земли прежде, чем 29 января 1990 года пленум Верховного суда СССР, пересмотрев дело по обвинению Льва Николаевича Зиньковского, примет решение об отмене приговора за отсутствием состава преступления.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Страна Советов набирала силы. Она спешила, ибо знала, знала наверняка, что рано или поздно предстоит схватка, в которой все должно решиться. Только бы успеть. Не опоздать. Не опоздать... Она спешила, и шаг ее был широк и скор. Одна только домна, сооруженная в Запорожье, выплавляла столько чугуна, сколько давали в 1937 году все металлургические заводы Италии и Польши, вместе взятые. В 1940 году подавляющее большинство промышленной продукции Украины производилось на новых и реконструированных предприятиях, резко возрос уровень механизации производственных процессов. Продукция тяжелой промышленности республики в десять раз превысила уровень предвоенного 1913 года, по производству металла и машин Украина обогнала Францию и Италию. Лишь одна Германия опережала ее по выплавке чугуна.

Германия... Она-то как раз и вызывала наибольшую тревогу. Прикрываясь антикомминтерновским пактом, она вместе с Италией и Японией создала тройственный союз, который сразу обнаружил свою агрессивность, угрожая независимости народов Европы и Азии. Пробуя уже достаточно окрепшие зубы, Гитлер легко проглотил соседнюю Австрию, а затем, заручившись поддержкой Англии и Франции, вначале расчленил и вскоре полностью оккупировал Чехословакию.

Западная пресса усиленно муссировала идею «присоединения» Советской Украины к Закарпатской Украине, поддразнивая глухо ворчавшего московского медведя. Однако в марте 1939 года гитлеровцы ликвидировали марионеточное правительство Закарпатья, передав его Венгрии.

Крепость Советского Союза пробовала Япония, ворвавшись вначале на его территорию в районе озера Хасан, а затем — на территорию Монгольской Народной Республики в районе реки Хал-хин-Гол. Потерпев полный разгром, японские вояки временно затихли, сцепив зубы.

Эхо военного грома, который некогда грозно рокотал над молчаливыми горами и голубыми долинами республиканской Испании, не затихало. Более того, оно становилось все громче и громче. 1 сентября фашистская Германия напала на Польшу, в считанные дни сломав сопротивление ее армии. Зловещий пожар войны неумолимо подкрадывался к Стране Советов. 17 сентября 1939 года советские войска перешли границу СССР. В результате

Западная Украина и Западная Белоруссия воссоединились с Украинской ССР и Белорусской ССР.

— Вековые чаяния украинского и белорусского народов наконец-то осуществились, — слегка тронув кончиком своей негаснущей трубки усы, довольно усмехнулся Сталин. — Теперь нужно помочь наладить на освобожденных землях новую жизнь. Нужно хорошо помочь.

Эти слова, негромко произнесенные Сталиным на одном из совещаний, были услышаны не только каждым из его участников, но и всеми, кого они мало-мальски касались. Иначе и быть не могло. Сталин давно уже перестал быть обычным смертным человеком и превратился в некое высшее существо, которому поклонялись практически все, то есть в бога. Каждое его слово воспринималось как верх мудрости и должно было выполняться на уровне непреложного закона. И нужно сказать, что многое из того, что произносил он своим негромким, глуховатым голосом, в самом деле было существенным, необходимым и правильным. Но нередко было и иное, вредное и недопустимое для нормального развития молодого социального организма, которое также слепо бралось на веру молодыми, убежденными в непогрешимости своего обожествленного вождя.

Различной была помощь, которая оказывалась только что присоединенным западным землям. Туда шло военное снаряжение, которое требовалось для укрепления новой границы СССР, отодвинутой на много километров от старой, промышленное и сельскохозяйственное оборудование, хлеб и другие продукты питания. Но главным было укрепление кадров. В Москве считали, что те кадры, которые имеются во вновь образованных областях и районах, не годятся для того, чтобы решать задачи переустройства жизни на социалистических началах. Требуются иные исполнители. Кто-то не согласен? Тогда его следует убрать с дороги, чтобы не мешал. И убирали. Была практически разгромлена Компартия Западной Украины. Серьезно пострадала интеллигенция.

Процессы, которые происходили в Западной Украине, коснулись и Петра Задорожнего. Успешно окончив институт, Петро по распределению был направлен в Полтавскую область. Такой поворот в судьбе не очень обрадовал как самого Петра, так и Катю.

— Только устроились, только жизнь стали налаживать, — вздыхала она. — И вот тебе на. Снова срывайся с места и лети кто его знает куда. Ну почему ты не попросился в Запорожье или хотя бы куда-нибудь поближе?

— Отакое! — хмурил белые брови Петро. — Як же так можна? Сказалы — треба, значить действительно треба. А я б визьмы и бовкны: «Ни, товарищи, никуды я не поиду. Буду тут лышатысь, бо так хочеться моий жиночци». Так чи шо?

— Ну зачем ты так? — незаметно смахивая набежавшую слезу, сдвинула плечами Катя. — Зачем?

— А як же? — обнимая жену, пытался успокоить ее Петро. — Я ж коммунист. Понимаешь?

— Да понимаю! — отстраняясь от него, говорила Катя. — Все я понимаю.

— От и добре, горобчику! От и добре. Та шо там казать? Я знав, шо ты мене зрозумиешь.

— Куда я денусь. А только... только обидно.

— Чого? Чого тоби обидно, горобчику?

— Неужели мы с тобою, Петя, всю жизнь вот так носиться будем но белу свету? Ведь мы уже не маленькие.

— Так це ж добре, Катрусю, ридненька! Це ж так добре.

— Это ж почему?! — изумилась Катя. — Что в этой цыганской жизни хорошего?

— А то, шо у нас не буде часу старить. Будем завжды молодымы.

— А я? — вмешался в разговор Витек.

— Ты? — растерянно заморгал Петро. — Ты будешь росты, а потим тож молодым будешь.

— Как вы с мамой?

— Ну да!

— У-р-р-ра! — закричал мальчик. — Будем вместе молодыми, и вы меня не станете отправлять рано спать.

Петро с Катей рассмеялись. Но окончательно Катя успокоилась после того, как у них в гостях побывали Мащенко.

— Эх, и повезло же вам, друзья! — качал своей красивой головой Борис. — Полтавщина — то ж самые красивые места на всей Украине. Да что там Украина! По всему Советскому Союзу такой красоты не найдешь.

— А ты бывал там? — настороженно наблюдая за Петром и Борисом, спросила Катя.

— Так там же моя родина, друзья! — воскликнул Мащенко. — Опрышки ж мое родное село. Туда и поезжайте.

Борис принялся взахлеб расписывать красоты Опрышек. По его рассказу выходило, что нигде нет и таких садов, и ставков, как на его родине. Даже рассветы там и те необыкновенные.

— Просыпаешься зраночку, — задумчиво прикрыв глаза, говорил он, — жить тебе хочется до невозможности. Тихонько встаешь и идешь к колодцу. «Ну, — думаешь, — зараз я холодненькой водички напьюсь». Но только порог переступил, на ганочок вышел, а тебе воздух в лицо так и ударил. И такой же чистый, такой свежий, что просто невозможно. Враз он тебя умыл, освежил и напоил. Тебе уже никакой воды не нужно. Тело легкое, руки сами работы просят. Просто чудо...

— Ну и давно ты то самое чудо проведывал? — спросила Катя.

— Я? — растерянно заморгал глазами Мащенко.

— Ты, ты.

— Давненько, — признался Борис. — Давненько, Катюша.

— Ну вот! А нас туда агитируешь ехать.

— Так у меня же служба, друзья! Да если бы мне только приказали: «Езжай, Мащенко, служить на Полтавщину!» Разве бы я отказался. Да я бы с радостью. Не задумываясь. Забрал бы свою Клавушку с казаками и — гайда.

— А она как?

— Кто? Клава? И она,.. — Борис смутился.

— А что нам остается делать? — пришла ему на помощь Клавдия. — Куда иголка, туда и нитка.

— Ну вот!

В Полтавском отделе народного образования Задорожние получили направление в одну из школ Кременчуга, где как раз требовались учителя истории и немецкого языка. Но долго работать здесь им не пришлось. В середине декабря вызвали Петра в горком партии.

— От шо, товариш Задорожний, — усадив Петра напротив, начал секретарь горкома. — Есть ответственное задание партии.

Секретарь помолчал, значительно покашливая, будто собирался с духом. Потом с прищуром глянул на Петра и, не отрывая взгляда, отчеканил:

— Есть ответственное задание партии: помочь налаживать новую жизнь трудящимся западных районов нашей Советской Украины. Нужны крепкие и грамотные коммунисты. От и решил, значится, горком партии послать тебя.

В голове Петра возникли сразу несколько вопросов: почему выбор пал на него, является ли он тем самым товарищем, который имеет необходимые знания и опыт, имеет ли он право вот так сразу, посреди учебного года бросать школу, учащихся, куда совсем недавно прибыл по распределению, как посмотрит на это Катя? Но, едва успев вспыхнуть, зародиться, эти вопросы тут же потухли, исчезли. Ведь устами секретаря горкома с Петром говорила сама партия. Это ей было необходимо решать вопросы переустройства жизни трудящихся в районах, которые совсем недавно находились под гнетом панской Польши. Это она давала Петру свое ответственное задание. И поскольку он привык ей верить и беспрекословно подчиняться, то и на этот раз ответ мог быть только один:

— Треба, значить треба, — встав по стойке «смирно», ответил Петро. — Скажить тилькы, куда треба ихать и колы.

— Ну от и добре, — усмехнулся секретарь горкома. — От и добре...

Направили Петра на Волынь, на самую границу. В селе со смешным названием Гребень довелось ему стать директором школы. Осваиваясь на новом месте, в непривычных для себя условиях, Петро в который раз похваливал себя за то, что тогда на семейном совете настоял на том, чтобы ехать пока одному.

— Де ж ты бачила, Катрусю-серденько, шоб уся армия разом шла, без розвидки? — убеждал он жену, которая, всплакнув, приступила к упаковке чемоданов. — То ж токо в дурного командыра

так бувае. А в мене ж таки, чуешь, на плечах голова, а не яка-небудь там дирява макитра. Так чи не так?

— Да ну тебя! — сердито хлопая крышками чемоданов, отмахивалась Катя.

— Ну, шо ты? Чого сердышся? — подлащивался Петро. — Ось послухай сюда, горобчику. Хиба можна зразу двом учителям кидать школу? Хай уже историю мою пидминять. Я вже з заучем Панасом Федоровичем договорывся. А хто ж твий немецький читать буде? Як же можно диток отак кыдати? Та и Витек...

— А что Витек? — вскинулся сын. — Что Витек? Я, папка, зараз готовый ехать с тобою.

— Куды ехать?! — нахмурился Петро. — Куды ехать? Он уже мисяць цилый шморгаешь носом.

Нет, что ни говори, а он таки правильно поступил, настояв на том, чтобы ехать пока одному. В самом деле. Оказался он среди украинцев, что называется своих единокровных братьев. И они, казалось бы, должны были во всем его понимать, как и он их. Только почему-то этого не получалось. Не получалось, хоть ты тресни. Жители села, в которое Петро был направлен директором школы, хоть и относились к нему с почтением, даже порой излишним, чем того требовала его должность, все же старались держаться от него подальше. Он постоянно ловил на себе их настороженные взгляды, которые сантиметр за сантиметром ощупывали его с ног до головы, будто искали, как, каким путем проникнуть в его душу.

«Чого це воны? — ломал голову Петро. — Бояться чи шо? Чого? Я ж не вовкулака якийсь чи тыгр. Учить же,.. ихних же диточок учить прыихав».

Он пытался сблизиться с селянами, поговорить с ними откровенно, по душам. Начать решил со своих хозяев. Придя однажды со школы в субботу пораньше, достал из чемодана заранее припасенную бутылку «Московской» и торжественно выставил ее на стол.

— Завтра ж недиля, — пояснил сидевшим у печки хозяевам. — Можна б и по чарочци пид вечерю. Як думаете, Гнатовычу?

Хозяин, бросив недоуменный взгляд на жену, неопределенно сдвинул плечами.

— Чи то, може, грих, Грыгоровна? — переключился Петро на хозяйку.

— Та який же грих? — вздохнула та. — Пыйте соби на здоровьячко. Я зараз и вечерю подам. Уже все готове.

— От и добре! — обрадовался, потирая руки, Петро. Проворно двигаясь по хате, хозяйка стала готовить стол.

— Э-э-э! Так не пиде, — замотал головой Петро, видя, что она выставила только одну тарелку и один стакан. — Не пиде, кажу. Давайте повечеряемо разом.

— Так мы ж уже той,.. — промямлил хозяин. — Мы ж уже повечерялы, пане учителю.

— От тоби на! — всплеснул руками Петро. — Ну який же я пан, Гнатовичу?

— Та то вин так, — пришла на помощь мужу хозяйка. — То вин помылывся, товарышу дыректор. Помылывся. Так же нас за Польщи училы, чуете. За Польщи.

— Я понимаю... Понимаю, дороги мои, що вам важко було. Тильки то вже мынуло. Навикы мынуло.

— А шо ж воно тепер буде? — вздохнул хозяин.

— Тепер? — обрадованно вскинулся Петро. — Тепер, Гнатовычу, будемо разом будуваты щастя...

— Из гратамы? — хитровато прищурив глаз, спросил порозовевший от выпитой водки хозяин.

Петро растерянно заморгал глазами, успев все же заметить, как предостерегающе дернула не в меру расхрабрившегося мужа хозяйка.

— Як то из гратамы? — наконец выдавил из себя Петро, облизывая языком губы, ставшие вдруг сухими, как долго лежавшие на пекучем солнце листья. — Ты куда це нахыляешь?

— Та то вин так, пане дыректору, — застрекотала хозяйка. — То вин, чуете, так. Од горилкы, од проклятой московской, чуете. Не слухайте його.

— Цыть, стара! — стукнул кулаком по столу хозяин так, что подпрыгнули стоявшие на нем пустые стаканы. — Цыть, кажу. Раз почав говорыты, то маю кинчить.

Испуганно моргая глазами, хозяйка со страхом глядела на своего не ко времени расхрабрившегося хозяина.

— Яки граты, пытаете? — наливаясь краской, глуховатым голосом вел свое тот. — А ти, за яки людей покыдано. Федорчукив, Гребинок, Стодолыных, Стахурськых. Чи вашего попередныка Мыколу Зиновыча Семчука. За шо их туды кынуто?

— Та хиба ж... Хиба ж я знаю, — растерянно промямлил Петро. — Чи ж я их туды кыдав?

— Ну да, ну да! — горячился хозяин. — Вы не вынни, голова сильрады не вынен, а людей побрато. Хороших людей, скажу вам. А за що? Кудысь повезяно. Куды? Де воны подилысь, пытають люды. Тилькы нихто ничого сказать не може. Трясця побрала? Чого? У чому их вына? За Польщи чужи жолниры лыхо робылы, а тепер Советска власть, НКВД.

— Ну от шо, Гнатовыч! — беря себя в руки, буркнул Петро. — Ты Советскую власть не займай. Я за нее кров пролывав. Та и не токо я, понимаешь. Стоко моих товаришив (и якых товаришив!) жизни свои поклалы за то, шоб здобуть,.. щоб зробыть щаслывымы усих геть трудящих, щоб диточки наши сонечко свободы побачилы. А ты тут контру розводыш, понимаешь.

— Та то вин так... несознательно, — вступилась за мужа хозяйка.

— Все одно контра! — чувствуя дрожь по всему телу, вел свое Петро. — Все одно контра... Хоч и несознательная. Вы, Гнатовычу, и вы, Грыгоривна, трудови люды. Я ж по руках ваших мозолыстых и чорных бачу. То и говорю з вами терпелыво. А токо прямо вам

скажу, що не одобряю ваших слив, Гнатовычу. Не одобряю и все. Куркулыни то слова.

— Та хиба ж я... хиба я шо, — как в деревянную бочку бубнил хозяин. — Понятие ж имею якесь то. Токо и я ж людына, той. И мени хотилось бы знать, за шо побралы людей, яки поряд зи мною життя жилы, однымы стежкамы ходылы. Имею я на то право пры Советской власти? Имею чи не имею, скажить пану-товарышу дыректоре?

— Имеете, имеете! — хмурясь, кивал головой Петро. — На усе ответит вам Советская власть, бо вона народная...

— Он той же учитель Семчук Мыкола Зиновыч, — вел свое хозяин. — Та така ж людына. И культурна, и лагидна. И писень спивав, як соловейко. А вирши товарыша Шевченка Тараса Грыгоровыча так казав, шо просто плачем плакать хотилось. Пры тий влади його гонылы. А ваша прышла, и от тоби — на. Забралы и кинцив не найдеш. Люды дывуються, помиж собою шепчуться, а поспытаты бояться, бо хто ж зна, шо воно за це бувае.

— Добре, Гнатовычу! — вставая из-за стола, сказал Петро. — Разберемся, у чому тут справа. Разберусь и тоди вам скажу. Чесно скажу и откровенно.

— Будьте ласкови! Будьте ласкови! — низко кланяясь, провожали Петра хозяева. — Будьте ласкови, пане-товаришу дыректоре.

Петро вначале попытался выяснить судьбу арестованных сельчан у председателя сельсовета. Но тот, сам человек новый, недавно приехавший в эти места, ничего определенного ответить не мог.

— Та хто ж його зна, Петро Степановычу, — почесывая затылок, тянул он. — Прыихалы люды з району, привезлы предпысание, забралы кого слид и поихалы.

— Ну, як же так, Василь Петрович, — недоумевал Петро. — Наших людей арештувалы, а мы з вамы не знаемо, за шо.

— А чи ж воно треба знаты? Поспытаешь, бува, а тоби и скажуть хлопци з НКВД: «Чого ты, товарышу голово сильрады, сунешь свого носа куды не слид? Може, вин у тебе занадто довгый?» Можуть же?

Видя, что с этим человеком каши не сваришь, Петро решил действовать двумя путями: во-первых, сблизившись с селянами, попытаться заглянуть в их закрытые боязнью души, а, во-вторых, постараться выяснить судьбу арестованных земляков и, в случае их невиновности, помочь в освобождении.

Под предлогом знакомства с условиями жизни своих учеников Петро начал поход по дворам. Вначале встречали его если не враждебно, то настороженно. Помогли учащиеся, со многими из которых у Петра сразу же установились добрые отношения. Еще бы! Ведь новый директор школы был кавалеристом-орденоносцем и родом, считай, из самой Запорожской Сечи, которая всегда была надеждой и опорой украинского народа, стонавшего от вековечных обид агрессивных соседей. Ребята подолгу засижива-

лись в школе, слушая рассказы о походах запорожцев против поганых турок и татар, о героической борьбе Богдана Хмеля с вражими ляхами.

— Славою покрыв козацьки знамена Богдан, выгравши не одну бытву, — рассказывал Петро.

— И ляхы завше од нього тикалы? — задыхаясь от гордости за победы над давними обидчиками украинцев, спрашивал третьеклассник Максимка Лебедын, сынок Петровых хозяев.

— Ни, Максиме! — качает головой Петро. — Всяке бувало. Одного разу, довирывшись татарам, Богдан з козакамы у велику биду потрапылы. И було це у ваших краях, у сусидний Ривенський области пид Берестечком. Як казав з болем у серци и з сльозами на очах Тарас Грыгоровыч Шевченко, ой, там, пид Берестечком, тлиють козацки кисточкы...

— Эх, нас там тоди не було! — по-взрослому вздыхает Максим. — Мы б тим ляхам далы...

— Так то ж давно було...

— Ото ж!

— Буде час, диты, и мы з вамы пид те саме Берестечко похид зробимо. Уклонымось козацкым могылам, славу козацьку вшануемо и, може, щось для нашего музею знайдемо, якись экспонаты...

— Якого музею, Петре Степановычу? — щебетали дети. — Яки экспонаты?

— Нашого. Шкильного музею.

— А де ж вин?

— Буде. Обовъязково буде у нас свий шкильный музей. А як же? Школи без музею не можна, диты. Тут буде и история нашого села, и история нашого краю...

Дети, делясь впечатлениями с родителями о новом директоре школы, своим восторгом о его начинаниях, близких и таких для них интересных, во многом способствовали тому, что отношение к Петру стало меняться. Конечно, для этого и сам он делал немало, вышагивая от хаты к хате и подолгу беседуя с все еще настороженно встречающими его сельчанами. Он не жалел на эти свои походы времени. Зато сколько же нового, полезного для себя удавалось узнать. Ну откуда, скажи на милость, название такое у их села смешное — Гребень? Спросил одного, другого из тех, что помоложе. Не знают, пожимают плечами:

— Не знаемо, пане-товаришу дыректоре. Не знаем, хто його так назвав.

— Та як же так?! — сокрушался Петро. — Вы ж живете тут споконвику, люды добри.

Долго Петро докапывался до тайны названия села. Ведь должна же она быть? Обязательно должна. Не раз вспоминал историю своей Андреевки с героической — то ли правдивой историей, то ли легендой о командире казацкой варты Андрее, погибшем в бою с коварными янычарами. Память сберегла и то впечатление, кото-

рое производила эта история на соседского Никиту Прудкосвиста и других сельских мальчишек. Да и на него самого. Ведь он же до сих пор помнил ее, и от этого, казалось бы, обычное село становилось совсем иным, значительным и загадочным. Не хотелось верить, чтобы у нового волынского села, куда забросила его судьба, не было какой-либо подобной привлекательной истории. И он таки отыскал ее.

— Хто, кажите, имья селу нашему таке чудернацьке дав? — услышав в который уже раз повторенный Петром вопрос, переспросил, усмехаясь в желтые, как осенние листья, усы древний старик. — А нихто.

— Як так, диду? — изумился Петро.

— А от так. Воно само себе назвало, чуете.

— Та хиба ж село таке може?

— А от, выходыть, може, чоловиче добрый.

— Так розкажить же, диду... Розкажить про це.

— Та воно, мать, и расказувать нема чого, — тянул свое старик. — Гребинь та и Гребинь. А втим, якщо ваша, пане, ласка, то послухайте балачки, шо помиж людей у часи мои молодии ходылы. Край наш, як маете бачиты, пане-товарышу, глухый. Геть увесь лисамы укрытый. Але ж и тут не лыше звири, а и люды живуть. И живуть споконвику. Звидкиля воны прыйшлы сюды, одному Господу богу видомо. Але то булы наши люды, украинци. Хто их сюды прывив, яка доля закынула, не знаю и брехаты не буду. А от що вид биды воны тикалы, вид недоли, то свята правда. Ну от. Ишлы вони соби лисом не одын день, а може, и не одын тыждень. Стомылыся так, шо ладни булы от-от впасты на землю и вже зойсим не ставаты. Раптом у якогось дядька з мишка пивень почав спиваты. У мишку з сякымы-такыми пожиткамы пивень той був. «Чого це вин?» — здивувалися люды. Зупынылысь. А пивень спивае и спивае. Так голосно, так весело. Нибы сонячный ранок вищуе. Оглядилысь. Лис чорный навкругы стоить. Темно. Аж тут зверху промень сонячный ножем ту темряву споров. З-за дерев сонечко викотылось и над горою завысло. А вона, та сама гора, наче голова пивняча. И оченята, и дзьобык. Тилькы без гребня. «Людоньки добри! — мовыв тут ихний отаман. — Куды ж нам ище йты? Якои земли шукаты. Подывиться, яка красота. Так давайте ж ось тамочкы, на отий пивнячий голови гребнем и сядемо». На тому и поришилы. От и все.

— От воно значить як, — пощипывая усы, обронил Петро.

— Отак, отак, чоловиче добрый, — закивал своей седой головой старик. — Будешь маты час и бажання, то сходы у лис. Тильки багатенько треба одийты. Аж до крутого яру. И тоди побачишь, що гора наша и справди на пивнячу голову схожа, а село на ний и есть той самый гребинь. Звидсы лисы да-ле-ко выдно. Ой, далеко!

О людях, арестованных НКВД, сельчане говорили по-разному: кто отзывался о них хорошо, как о работящих и хозяйствен-

ных, видя в этом секрет их достатка и благополучия, а кто и ругал, вспоминая о некогда причиненных теми обидах. Только о бывшем директоре школы никто плохого слова не сказал. Все отмечали его веселый нрав, доброту и чуткость.

— Одна вына була за ным, — как-то все же обмолвился учитель математики Семенюта.

— Яка? — насторожился Петро.

— Э-э-э! — отмахнулся тот. — Кому це вже треба, Петре Степановычу?

— А все ж.

— Мыкола Зиновыч дуже Украину любыв. Дуже любыв.

— Так а мы з вами... Хиба вы, я, инши ии не люблять? Хиба мы з вамы не хочемо, щоб вона була заможною и прекрасною? Для цього ж и живемо. Заради цього и стараемось.

— Так-то воно так, — почесывая затылок, мялся Семенюта. — Так, шановный Петре Степановычу, та не зовсим. Мыкола Зиновыч незалежнои Украины хотив. Про повну незалежнисть мрияв. Щоб мы тут сами жилы и по-свойому хазяйнувалы.

— Без Советив, значить? — сощурился Петро.

— Чого ж? — не теряя спокойствия, сдвинул плечами Семчук. — Вы вже мени пробачте. Може, це я дурныци говорю и своим языком биду на себе наклычу...

— Ничего вы не наклычите, — успокоил его Петро. — Мы удвох з вамы. И те, що тут говорыться, тут и зостанется.

— Ну, якшо так, то скажу... Скажу, Петре Степановычу! — Семенюта бросил настороженный взгляд на Петра и выпалил:

— Самостийной хотив Украины Семчук. Без Московии, яка ось уже скоро чотыры столиття на наший шии сыдить...

— Он воно шо! — потирая лоб, выдохнул Петро. Ему захотелось вдруг оборвать Семенюту, обозвать его проклятым националистом, вражиной и еще какими-нибудь другими обидными словами. Но Петро понимал, что это ничего ему не даст. Семенюта только испугается, замолчит и, затаившись, будет продолжать думать как и прежде, а может быть, и того хуже, поскольку будет бояться, что он, Петро, может сообщить о нем в НКВД. Нет. Здесь требовалось что-то другое.

— А хиба не та сама Московия допомогала нам у боротьби за волю проты ляхив? — спросил он, чтобы не оборвать сразу нить разговора.

— Було! — согласно кивнул головой Семенюта. — Але ж яку цину за це заплачено?

В тот раз они ни до чего не договорились. Но Петро, деликатно сославшись на неотложность каких-то важных дел и пообещав продолжить начатый разговор, почувствовал, что такое же желание осталось и у его собеседника.

Однако продолжить разговор им довелось не скоро. То свои уроки, то посещения уроков своих коллег, то заботы о тепле в

школьных зданиях в зимнюю стужу, то вызовы в районный центр поглощали практически все время Петра. Конечно, он, чувствуя настороженное ожидание Семенюты, понимал, что тот не забыл об обещании нового директора. Но Петр просто не был готов к разговору. Семенюту мало знали в селе. Он появился здесь незадолго до нападения Германии на Польшу. Говорили, что его где-то отыскал и пригласил на работу сам Семчук как опытного учителя математики. И это действительно было так. Петро, бывая на уроках у Семенюты, неоднократно ловил себя на том, что любуется умелой работой коллеги, мастерством, которым очаровывает маленьких питомцев этот некрасивый с виду, рано полысевший, остроносый человек с крупными, как оладьи, ушами.

«Ты поглянь, як чеше! — думал про себя Петро. — Як вирши читае. И слухають же його. Муха пролетыть, и ту чуть буде...»

Нет. Что ни говори, а может Семенюта детей приворожить. Может! Но только ли детей? Что если и со взрослыми он ведет такие же разговоры, как с ним, Петром? И не их ли с Семчуком агитационная работа сказывается на сегодняшнем настороженно-враждебном отношении к Советской власти если не большинства, то, по крайней мере, значительной части села? Конечно, здесь не только их вина. Видно, слишком круто органы взялись за работу, очищая от враждебных элементов новые территории. Враждебные элементы... А какие они? Кого следует считать таковыми? Ведь одно дело тип, который ведет антисоветскую пропаганду где-нибудь в Запорожье или Одессе, где Советская власть уже прочно установилась и принята трудящимися, которые сами за нее боролись, кровь проливали, и совсем другое — здесь, когда эти забитые и безграмотные дядьки и тетки еще не успели толком разобраться, что собой представляют эти самые Советы, которые привезли оттуда, из России, с востока. Привезли если не «москали», то «схидняки». Поэтому, радуясь воссоединению со своими единокровными братьями-украинцами, люди настороженно относятся к новой власти, думая: «А какой она будет?» Не станет ли притеснять и травить, как это делали до недавнего времени власти панской Польши? И любая несправедливость, любая обида, чинимая им, никак не способствует укреплению ее авторитета. Люди от непонимания ситуации, от недоумения просто свою боль высказывают друг другу. Как и всегда это бывало раньше. А кое-кто пытается это представить как враждебную пропаганду. Людей по сути ни за что подвергают репрессиям, давая тем самым пищу для агитации не на пользу Советской власти настоящим ее врагам.

«Хиба цього не розумиють наши товарищи в райкомах партии? — ломал голову Петро. — Треба, мабуть поихать у район и побалакать з нымы. Хай накрутять хвосты тым энкаведистам»?

Будучи в очередной раз вызванным на совещание в отдел наробраза, Петро решил зайти к секретарю райкома партии. Но строгая секретарша в приемной остановила его перед самой дверью:

— Он занят. У него начальник НКВД.

Петро, решив обождать, пока секретарь райкома освободится, присел на свободный стул. Вынул свежую газету, только что купленную в киоске, и стал читать. Но в приемную постоянно входили люди, что-то спрашивали у секретарши, решая какие-то вопросы, и Петро никак не мог сосредоточиться. Перед глазами мелькали какие-то слова, обрывки фраз, не позволяющие связать их в единый содержательный текст.

«Шо за чортовщина! — ругнулся про себя Петро. — Чи газеты ерунду усякую пысать почалы, чи я так ненормально читаю...»

Он зашуршал газетой, складывая ее пополам, и в это время дверь кабинета секретаря райкома партии открылась. Из кабинета вышел черный, как цыган, мужчина в военной форме и, на ходу одевая фуражку, направился к выходу. Что-то удивительно знакомое было в походке и во всем облике военного.

— Аникишин! — несмело окликнул Петро.

Военный остановился и неторопливо обернулся.

— Юхим! — уже нисколько не сомневаясь, что это именно он, воскликнул Петро. — Здорово, друже!

Обнимаясь с Аникишиным, Петро на радостях не заметил растерянности, которая при виде его появилась на лице друга. Появилась и тут же исчезла, сменившись приветливой улыбкой.

— Здоров, здоров, товарищу Задорожний! — полуобняв Петра, отозвался Аникишин. — Ты откуда это появился?

— Так працюю ж тут я!

— Ах, да, да! В школе, кажись?

— Ну да. Дыректор Гребеньскои школы.

— Понятно, — кивнул Ефим.

— А ты ж,.. ты ж яким витром у ци краи, Юхыме?

— Да вот, понимаешь,.. — Ефим цепким взглядом окинул приемную, в которой собрались несколько человек, с интересом наблюдавшие за их встречей, и предложил:

— Можеть, пройдемся трошки?

— Давай, — не задумываясь, согласился Петро.

Они вышли из здания райкома и, проваливаясь в глубокие снежные сугробы, пошли по улице. Ефим — впереди, а Петро за ним следом. Шли молча.

— Куды ты мене ведешь? — вытирая тыльной стороной рукавицы выступивший на лбу пот, не выдержал Петро.

— Не боись, — хохотнув, откликнулся Ефим. — Не обижу.

— Отуды к бису! — обиделся Петро. — Чого б то я боявся? Чи далеко ще йты, пытаю?

— Уже пришли.

Петро поднял голову. Они остановились как раз у входа в здание районного отдела НКВД.

— Оце сюды ты мене привив? — растерялся Петро.

— Ага! — довольный произведенным впечатлением, улыбнулся во весь рот Ефим. — Сюда. Следуй за мной.

Небрежно козырнув в ответ приветствующему его часовому, Ефим провел Петра в двухэтажное здание и, толкнув дверь кабинета, пригласил:

— Прошу.

Петро вошел, все еще не понимая, зачем сюда привел его Аникишин, радоваться или огорчаться ему. Он еще больше изумился, когда Ефим, войдя в пустой кабинет и сбросив шинель, по-хозяйски уселся в кресло за столом.

— Садись,садись.

— Так ты тут... тут працюешь? — догадался, опускаясь на стул Петро.

— Ну да. Начальник районного отдела НКВД.

— Пойнятно. И давно?

— Второй месяц.

— Он як! А я и не знав. А де ж,.. де ж той товариш, шо був до тебе?

Ефим нахмурился и, сердито, по-тараканьи дернув черным усом, в свою очередь спросил:

— Знакомы были?

— Та ни. Бачив його на пленуми райкому и нарадах.

— Ясно. Ну нет его. Был и нет. Счас там, где положено.

— Ага! — чувствуя себя все более неуютно, кивнул головой Петро.

— Ну, рассказывай, — явно наслаждаясь собственной значимостью, предложил Ефим.

— А шо расказувать? — сдвинул плечами Петро.

— Как живешь? Как работаешь?

— Роблю дыректором школы у Гребени. Живу, як уси.

— Ну а семья, семья твоя как? Катерина...

— Иванивна, — подсказал Петро.

— Ага. Как она? Здесь с тобой? Или...

— Не, — мотнул головой Петро. — У Кременчузи вона.

Петро сказал неправду. Катя уже давно жила в Сталино у своей старой и больной матери. Он и себе толком объяснить не мог, почему слукавил перед Ефимом, а только что-то не понравилось ему то ли во взгляде, то ли в поведении Аникишина. Не понравилось, и все тут.

— Чего же это так? — допытывался Ефим. — Ты здесь, Катерина тама?

— Так выйшло, — сдвинул плечами Петро. — То вона хворила, то хлопець.

— Сынок у вас?

— Ага, сынок.

— Один?

— Одын. Ну, а ты ж як? Твои з тобою разом? Люба, диткы...

— Не, — опустил голову Ефим. — Разошлись мы с Любкой. Разошлися... Один я теперича.

Он помолчал, сердито подергивая усами, а потом предложил:

— Слыш, Петро, пойдем ко мне домой. Посидим удвох, как кадась бывало. Погомоним. А?

Петру что-то не очень хотелось продолжать разговор. Задиристость Ефима, его петушино-командирский вид, желание подчеркнуть собственную значимость как-то сразу загасили тот огонь радости, который вспыхнул в его груди при встрече со старым товарищем его уже давно минувшей юности. Но и обижать Ефима отказом тоже не хотелось.

— Давай, — неопределенно поведя плечами, согласился Петро.

В тот раз они долго сидели, вспоминая былые годы. То ли от выпитой водки, то ли еще по какой причине Ефим расслабился, подобрел и, сбросив с себя столь неприятный Петру налет начальничества, стал тем же веселым парнем, с которым некогда они работали и жили бок о бок в шахтерском краю. Он без устали говорил, вспоминая какие-то давно забытые Петром подробности их юности, людей, с которыми доводилось встречаться.

— А Ломова... Ломова помнишь? — наполняя стакан, тормошил он своего гостя. — Во, скажу тебе, мужик был. Прям стальной. Ни перед кем не гнулся. Сгубили его махновские сволочи. Сгубили. Ну и мы им... тоже, понимаешь, в долгу не остались. Я их тоже порядком перевел. На том свете, коли стренемся, буде с кем поздоровкаться. Буде... Они-то хитрые сволочи. После того, как батьку ихнего мы расколошматили, по усяким норам попрятались. Страшно сказать, но и к нам в органы кое-кто пробрался...

Ефим помолчал, сердито сверкая своими потемневшими глазами, а потом, уперев взгляд в Петра, спросил:

— Левку Задова помнишь?

— Той, шо золото и каминци отдав? — спросил, насторожившись, Петро.

— Во-во! Откупиться хотел, гад, за свои делишки. Тольки хрена ему. Не вышло.

— Посадили?

— Чево? — переспросил Ефим и, зло усмехнувшись каким-то своим мыслям, буркнул:

— Судили и посадили... Словом поступили, как положено. Ну, давай...

Он стукнул своим стаканом о стакан Петра и, не дожидаясь, когда тот поднимет его, одним махом выплеснул в рот водку.

— Крепка зараза! — зажмурившись, покачал он головой. — Ох, крепка! И от шо, Петруха, хочу тебе сказать. Этот же гад Задов-Зиньковский на Катьку,.. на Катерину твою клепал...

— Шо клепав? — чувствуя, как хмель сразу же покинула его голову, как можно более спокойно спросил Петро.

— Ды усякое там! — жуя с хрустом соленый огурец, махнул рукой Ефим. — Обвинял ее... Тольки ты не боись. Не боись, Петруха! Я ему, гаду, не поверил и в протокол то самое, брехню его махновскую, не вписал. Так что, будь спок и Катерине скажи, что хочь и буржуйского она роду, но Ефим помнит, как спасла яво. Помнит...

Аникишин пьянел на глазах, становясь омерзительно противным.

— Мы ниче не забываем, — куражился он, размахивая рукой перед лицом Петра. — Ниче! Нас зачем сюда родная партия послала? Зачем?

— Ну, помогты людям жизню нову строить...

— Не-е-е! — засмеялся Ефим. — Порядок навести. Гадов усех у землю загнать. Ты думаешь, шо у вашем Гребне их нету? Ого! Еще сколько. Недавно мои сосунки твово попередника взяли Сем...

— Семчука, — подсказал Петро.

— Во-во! Знаешь его?

— Не. Токо призвыще чув.

— А-а-а! Тада ничо. Ага! Взяли, значится, а когда лесом его везли, брат отбил. Ну, ничо! Никуда он не денется. Поймаем гада, и он получит свое. И ты посматривай там, Петруха. Узнаешь что, сразу давай знать...

Ефим вскоре уснул прямо за столом. А Петро, перетащив его на кровать, пристроился на стоящем здесь же в комнате огромном сундуке. Он так и не смог уснуть до самого утра. И утром, возвращаясь в село, решил, что правильно все же поступил, настояв на том, чтобы Катя не ехала с ним, а пожила пока у тещи.

«Нехай побудуть з Витьком там ще трохи, — думал он, дремая в санях, неторопливо скользящих по лесной дороге. — Бабусю порадують та и мени спокойнише буде. А то хто його знае, шо там на думци у цього Юхима».

Тот разговор с Ефимом Петро потом еще не один раз вспоминал. Когда в очередной раз пытался затеять с ним разговор математик, которого он оборвал, сказав:

— От шо, Степане Ильковычу, мы з вамы вчители. Так давайте робыть цю благородну справу.

— А хиба це,.. — растерянно заморгал Семенюта.

— Це теж важливе пытання, — успокоил его Петро. — Але воно не сьогоднишне. Знаете ж, шо воно на тому боци робиться?

Он указал пальцем в ту сторону, где в нескольких километрах от села проходила государственная граница.

— Прыкусить языка та думайте. Крепко думайте.

Думать и правда было о чем. Село их находилось буквально в нескольких километрах от границы, за которой хозяйничали фашисты. В июне—июле 1940 года Гитлер буквально проглотил Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию, Люксембург, Францию. В начале 1941 года его войска оккупировали Болгарию, а вскоре захватили Югославию и Грецию. Кровавое пламя войны подбиралось

к воротам советского дома. И хотя правительством в Москве делалось все, чтобы отдалить военную опасность и успокоить народ, большинство людей жили в тревожном ожидании страшной грозы, которая вот-вот должна была разразиться. Старательно проверялась надежность пограничной охраны, воспевались часовые границы, зорко стерегущие рубежи страны. По радио, со страниц газет, в устных агитационно-пропагандистских выступлениях набатом звучал призыв: «Люди, будьте бдительны!» И его слышали, ему верили. При этом мало у кого были сомнения в том, что героическая Красная Армия одолеет лютого врага. Пусть только сунется! Главное — в другом. В том, чтобы враг не пробрался за порог родного дома, чтобы не ударил в спину. Его искали и нередко находили. Подчас в самых неожиданных местах, святая святых — в правительстве, среди прославленных маршалов, о которых еще недавно пелись песни. Это приводило в ужас, вызывало недоверие к руководству как непосредственному, так и самому высокому, друг к другу, ко всем. Ко всем, кроме одного — товарища Сталина. Только ему верили без сомнения. Верили во всем. И если он говорил, что кто-то из его ближайших соратников оказывался врагом, значит, так оно и было. Значит, все-таки удалось гаду проникнуть. Но от бдительного, всевидящего ока любимого вождя ничто не укроется. Он сумеет разглядеть и вовремя найти правильное решение. Он всесилен. Он все может.

Этой всенародной верой в Сталина был околдован и Петро. А как же иначе? Ведь не кто-нибудь другой, а именно Сталин принял из рук умирающего Ильича революционное знамя. Знамя, которое не раз пытались вырвать всякие Троцкие, Зиновьевы, Рыковы и Бухарины. Но не тут-то было! Где они теперь? То-то и оно! И разве не под его, Сталина, руководством осуществлена коллективизация, индустриализация, добыты другие победы в социалистическом строительстве? Вот только вряд ли можно согласиться, что сделал все это будто бы он сам. Как же так? Выходит, что партия здесь ни при чем? Тогда, получается, что и Ленин зря старался, зря надрывал свое здоровье по тюрьмам, ссылкам и всяким там эмиграциям, создавая большевистскую партию. Так, что ли? Ну да! Вырастил бы одного товарища Сталина, а тот бы уже довершил начатое дело строительства коммунизма. Не-е-ет! Так не бывает. Не может один, даже самый сильный, самый способный человек такую задачу решить, такое громадное дело сотворить. Ведь коммунизм — это счастье для всех людей, для всего мира. Вон тот же Иисус Христос его обещал на том свете. Так то ж сын божий. Пойди туда, проверь — так или не так это. Оттуда же никто не возвращался и писем не присылал. Будет когда-то хорошо, говорят. Когда-то будет. Говорят так, и люди верят. А тут совсем другое дело. Обещаешь, товарищ, новую жизнь, так, будь добрый, держи свое слово. Давай показывай ее, чтобы все тебе верили. В одиночку, сам много не натворишь. Нужно, чтобы другие за тобой пошли

и вместе за дело взялись. Чтобы верили они не только тебе одному, а друг другу. Тогда и сила общая появится, которой все по плечу будет. А так что же? На одного молиться будут, а всех других врагами считать, во всякой мерзости, подлости подозревать. Так и делом заниматься некому станет. Не улей социалистический, а чистый храм небесный с херувимчиками и иной другой ненужностью получится.

Такие вот мысли стали вдруг одолевать Петра. Они особенно часто тревожили его после той встречи с Ефимом, когда почувствовал он что-то неладное, нехорошее в интересе Аникишина к Кате.

— Ты, бачь, якый! — возмущался про себя Петро. — Людына, дивка врятувала його, з того свиту дистала. Своим, понимаешь ты, життям рызыкувала, а вин ище сумниваеться. Вин ище дума своею циганською головою: а чи не ворог вона. Та ты ж и мызынчика ии не стоишь, паскуда. Це в тебе треба спытать, хто ты такый. У твою душу зазырнуты. Хотилось бы знаты, як ты з Льовою себе поводыв. Як катував людыну, домагаючись зизнання. А я не вирю, що вин ворог. Не вирю! И нихто мене в цьому не переконае».

Так решив для себя, Петро теперь стал сомневаться в правильности арестов сельчан их Гребеня, которые как в воду канули. У родственников, которые пытались выяснить судьбу исчезнувших близких, ни передачи, ни писем не принимали.

— Осужден без права переписки, — отвечали им.

По селу ползли тревожные слухи, что тех, кого арестовали, уже давно нет в живых.

— Кажуть, десь серед лису поклалы тых людей, — услышал Петро однажды разговор своих хозяев. — Пострилялы, засыпалы землею и дерева на тому мисци посадылы. Нихто и могылок ихних не знайде. И шо воно за жистя? Од своей хаты люды в лиси ховаються.

— Мо, и тоби, Гнатовычу, той, до лису? — шепнула хозяйка. — Пересыдышь покы. Максымко исты носытыме.

— А дали шо?

— Дали? Може, якось влаштуеться воно...

Петру было жаль этих простых, забитых и запуганных людей. Но чем он мог им помочь? Только тем, что делал вид, будто не слышал их «враждебных» разговоров и не знал, что некоторые из учеников руководимой им школы носят передачи своим отцам, которые из-за боязни быть арестованными, сосланными или, чего больше всего боялись, расстрелянными, хоронились где-то в лесной чаще. Кого винить за это? Советскую власть? Нет. Это было бы несправедливо и невозможно, ибо это была его, Петра, власть. Самая справедливая. В этом он был уверен. Но почему же тогда она допускала такую вопиющую несправедливость? И куда же смотрела партия? Петро снова и снова задавал себе эти вопросы. Задавал и, не находя ответов, нервничал, злился на себя и на весь белый свет. Единственным утешением было то, что сельчане постепенно переставали его сторониться, старались как-то поддержать, помочь в нуждах школе и в его собственном неустроенном быте.

«Шо не кажить, а люды в нас хороши, — думал он, ворочаясь бессонными ночами на высокой и мягкой перине. — Хороши, шоб я вмер! Правда, серед ных усякие есть. Стричаються и подлюкы. Без ных же не бувае. Але бильшисть наши. И не треба з ных ворогив робыты. Не треба».

Он не раз собирался об этом откровенно поговорить с Ефимом, а если до того не дойдет собственная неправота, то и с секретарем райкома партии. Но что-то мешало, сдерживало его.

«Хай уже писля каникулив, — решил он, отсрочивая свой решительный шаг. — Поиду до тещи, зустринусь с Катею и Витьком, а тоди вже»...

И вот учебный год был завершен. Сделав необходимые распоряжения завхозу по ремонту, Петро обошел опустевшие школьные помещения. Работа в них предстояла небольшая, и он был уверен, что Семенюта, оставшийся на это время за него, успешно справится. Любит и школу, и детей. А то, что в голове его бродят всякие там мысли, которые кое-кто мог бы признать за националистические, это ничего. Человек еще не привык к новой жизни. Пройдет еще годик-другой и там, наверху, разберутся, что к чему, поправят местных торопыг и любителей побыстрее доложить о своей исполнительности и старательности. Да и местные люди обвыкнутся, поймут истинную цену Советской власти. Вот тогда и дела пойдут по-другому, веселей. И люди переменятся.

«Поставымо нову школу, — думал Петро. — И буде вона не така, як наша — неповна, а середня. Не треба буде нашим дитям кудысь ихать, щоб добувать атестат зрилости...».

Его мысли прервала гулко хлопнувшая в пустом помещении входная дверь. Петро оглянулся. По коридору быстро шел Семенюта.

— Чого це вам, Семене Станиславовычу, дома не сыдиться? — усмехнулся Петро.

— Маю вам дещо сказать, Петре Степановычу, — хмуря лоб, ответил Семенюта.

— То кажить.

— Не тут, — решительно тряхнул головой Семенюта.

— То ходим до кабинету, — сдвинул плечами Петро.

— Ни. Выйдемо у двир.

— Добре.

Они вышли во двор школы. Оглянувшись и убедившись, что никого вокруг нет, Семенюта взял Задорожнего под руку и тихо произнес:

— Бида, Петре Степановычу. Бида.

— Яка бида? — сдвинул плечами Петро. — Кажить же яснише, Семене Станиславовычу.

— Вам треба тикать звидсы.

— Чого це?

— Того, що завтра тут будуть нимци.

— Яки нимци? Шо вы таке говорыте?

— Те, що знаю, Петре Степановычу. Те, що знаю.

— Ничого не розумию. Тикаты... Якись нимци... Чого им тут треба?

— То буде вийна.

— Вийна?! Не може буты! Недавно ж договир укладено... Газеты пысалы и по радио казалы.

Семенюта, ничего не ответив, печально усмехнулся.

— Може... може, неправда... помылка якась?

— Все точно. Я раджу вам не гаяты часу и негайно ихаты з села. Негайно.

— А як же инши товарыши? Голова сильрады, голова колгоспу...

— Воны ж святкують у райони, — сжав сердито губы, буркнул Семенюта. — Концерт дывляться.

Они помолчали.

— Так, — все еще пребывая в смятении, промолвил Петро. — Коня... Треба коня. Де ж його взяты?

— Визмить у стайни. Там саме Гнатовыч чергуе, — словно ожидая этого вопроса, тут же откликнулся Семенюта. — И прощавайте.

Сказал и, повернувшись спиной к Петру, зашагал со двора. Заскочив домой, Петро, наскоро собравшись, бросил в старенький вещмешок самое необходимое и направился к конюшне. Видимо, предупрежденный Семенютой Гнатович уже подготовил коня.

— З богом, Петре Степановичу, — шепнул он. — З богом.

Петро легко бросил свое тело в седло.

— Бувайте здорови, Гнатовычу.

— Бувайте живи.

Выехав за село, Петро все еще не решался, как ему поступить: мчаться или к заставе, или прямо в район. Он все еще надеялся, что весть о завтрашней войне ошибочна.

«Скорише за все, провокация», — думал Петро.

Так уже не раз бывало. Ткнутся, попробуют силу пограничников и назад уходят. А если все же правда или та же провокация, но крупными силами? Ведь застава одна не справится. Нет, нужно ехать в район, в штаб погранотряда. Так будет правильно.

Приняв, наконец, решение, Петро погнал коня, шепча сквозь сжатые зубы:

— Тилькы б встыгнуть! Тилькы б встыгнуть!

2

Тихим воскресным утром 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска атаковали границу Советского Союза и, протаранив ее, хлынули непреодолимым потоком, углубляясь все дальше и дальше на территорию СССР. Стремительно огибая отдельные островки сопротивления, танковые колонны гитлеровцев безжалостно рвали стонавшую землю. Будто старались своими стальными треками втоптать, раздавить вместе с колосьями дозревающей пшеницы еще вчера непоколебимую веру народа в несокрушимость своей державы. Недоумевающие и растерянные люди с надеждой ждали гласа земного бога из Москвы, который должен был возвестить о ниспослании обещанной кары безумцам, рискнувшим посягнуть на их свободу и независимость. Но бог пока молчал.

— Где Сталин? Что со Сталиным? — ломали голову на фронте и в тылу. — Когда же он объяснит? Когда скажет свое слово?

Но что он мог сказать? Признать, что не тот, за кого его принимали, не всесильный бог? Но это было бы ужасно. Этого никак не могли позволить его гордость, кавказский характер. К тому же он знал, что безвыходных положений не бывает, что выход есть. И он упрямо и настойчиво искал этот выход, постепенно опускаясь в мыслях с поднебесной выси, куда вознесли его баюкающие волны славы, на грешную землю к своему народу.

Пока же война полыхала вовсю. Но ее ужасающий грохот еще не везде был слышен. А в отдаленных уголках одной шестой суши многие из сограждан еще видели мирные сны. И они, эти мирные сны, являлись не только им.

... Марийка стирала белье. Она стояла по колени в воде, высоко подоткнув подол старенькой юбки, и старательно терла воротник сорочки Никиты. Эта была та самая сорочка, которую он последний раз надел в армии Махно, как раз тогда, когда почувствовал, что начинает заболевать. Но как же так? Откуда она? Ведь он помнит, что сам ее сжег вместе с другой одеждой, которую, поправившись после тифа, нашел завернутую в узелок в коморе деда Саввы. Вот так чудасия! Никита хорошо видел сосредоточенное лицо Марийки, две бороздки морщинок нахмуренного лба, прикрытые завитком волос, пушистым и нежно белым как только-только распустившаяся весной вишневая веточка. Вот она подняла голову, отводя смуглой от загара рукой завиток со лба. То ли прогоняя, то ли поглаживая его, скользнула взглядом по тихой, зеркально мертвой воде. Никита был совсем близко от Марийки и уже улыбался ей навстречу, поднимаясь из воды. Но она словно не замечала его. «Неужели не бачит меня?» — с обидой подумал Никита. Он хотел было окликнуть ее, но сдержался, увидев Марийкины глаза, в которых трепещущими на ветру листочками

дрожали слезы. Две крохотные слезинки, качнув сабельками ресниц, сверкнули чистым серебром в мягкой и ласковой улыбке солнца и, опустившись на воду, поплыли, унося с собою невысказанную, немую печаль. О ком думала? Кого вспоминала Марийка? Кто его знает. Это навеки осталось тайной для Никиты, потому что в следующий миг в неземную тишину, окутавшую собою все вокруг, ворвался свист. Вначале тихий, едва различимый, свист становился все сильнее. Так свистит, завывая, ветер, обещающий скорую бурю, которая вот-вот налетит, набросится на хаты, срывая и разбрасывая по кустам соломенные крыши, терзая гнущиеся под ее неудержимым напором кусты и деревья, швыряя и гоня перед собою все, что не смогло или не успело зарыться в землю, срастись с нею, стать неделимой частью ее самой. Свист все нарастал, становился противно пронзительным, заполняя собою все пространство, которое, наконец, не выдержало и раскололось. Лопнуло, расшвыривая в разные стороны кирпич и железо, людей и бревна. Все куда-то исчезло.

Придя в себя, Никита вначале решил, что повинны строители. «Опять рвут пороги! И когда это окончится в конце концов?!» — ругнулся он. — А чтоб вам пусто стало!» Но донесшийся откуда-то из-под обломков стон возвратил его к реальности, заставив вспомнить, что те днепровские взрывы уже давным-давно отгремели, а это совсем другое. Непонятное и странное.

Взрывы раздавались один за другим, сотрясая землю, которая, постанывая, гнулась под их тяжестью. Они были много слабее того, первого и вскоре совсем прекратились. Стало тихо. Только где-то высоко-высоко в небе обиженно и важно гудел майский жук. «По дорози жук, жук, по дорози чорный. Подывыся, дивчинонька, якый я моторный», — совсем некстати пришли на память слова из песни, и Никита, отгоняя их, тряхнул головой. Острая боль ножом резанула плечо. Он застонал, сцепив зубы. Замер. Постепенно боль утихла. Вместе с ней уплывали остатки безоблачного сна, подарившего ему встречу с Марийкой. Место его снова вытесняла действительность, сурово напомнив о том, кто он такой и где находится. А был он заключенным, который вот уже пятый год отбывал по приговору суда наказание в лагере.

Никита не раз уже по дням перебирал свою жизнь, подступаясь к той роковой стежке, которая привела его в это страшное, богом проклятое место. Когда и где началась она? Не тогда ли, когда отправились они с отцом в армию Нестора Ивановича Махно? Нет, опасность батькиной крутой дороги он все же вовремя успел разглядеть, а сваливший его тиф помог покинуть ее. Раз и навсегда. Начало той роковой для него дороженьки было иным. Совсем иным.

Еще не был пущен Днепрогэс и его турбины еще не гнали электрический ток, торопясь накормить прожорливые заводы, которые, будто грибы после дождя, вырастали на левом берегу Днепра, а село их гудело растревоженным улием. С пуском элект-

ростанции ему суждено было уйти под воду. Предстояло переселение на новое место, что по-разному воспринималось сельчанами. В голове до сих пор живут их голоса, звучавшие тогда на многолюдных и бурных митингах.

— То ж как это так! — брызгал слюной дед Онучин, отец затерявшегося где-то на дорогах гражданской войны школьного директора Мыколы Мыновича. — Усе кидать? Под воду пускать и хаты, и добро, и гробки батькивськие? Не-е-е! Не бувать тому! Нехай уже и нас разом пид воду, на погибель через тую греблю, нехай она луснет.

— Не можна! Не дамо! — шумели на сходе его седовласые дружки и кое-кто помоложе из тех, которые в последние годы, как и сам Никита, вошли в силу.

— Тихо! Тихо! — пытался перекричать их председатель комнезама. — Чего задарма глотки драть? Треба ж разобраться у всем як след. Нема слов, и вам, и усим жалко батьковскую землю кидать. Жалко и больно. Только як же быть? Не можно ж такого допустить, шоб наше село колодою легло на дороге до счастья тысяч людей. Та шо там тысяч — мильонов. Правительство наше рабоче-крестьянское такое решение, значит, приняло. Порешило, значит, шоб усе мы на новое место переехали. Мы ж з вами не какие-то там контрики, не махновские бандиты, шоб супротив этого идти. Ну от. Теперь, значит, еще пояснить должен, шо не просто так с земли вас сгоняют. Каждый трудовой селянин делянку добрую получит, новую хату держава наша построить поможет. Погляньте, где вы живете, за что цепляетесь. Та у большинства не хаты, а конуры и курники сейчас стоят. Дети свету ясного не бачать. Мы ж электрику до села подведем, школу поставим. Сами живите и радуйтесь на здоровьечко и деток на счастье растите.

— И так счастливы дальше некуда! — не сдержавшись, выкрикнул Никита. — У самого сорочка у латках та дирках и нас голыми по свету пустить хочешь?

— А ты не гарчи. Не гарчи, куркульня. Не лякай людей. Дай строк, будут у нас и сорочки новые, и обувка справная. Все будет. Сами, своими руками сделаем. А вот по-вашему уже не будет. Отыграла ваша музыка. Не сидеть вам больше на горбу у трударя.

Ничего ему не ответил Никита, только зубами скрежетнул и, махнув рукой, зашагал прочь с церковной площади, слыша, как за спиной растревоженным ульем гудит сход. Про себя решил, что ни за что не поедет на новое место. «Продам худобу, а то и так, задарма, отдам и в город подамся, — думал по дороге домой. — Гроши у мене есть, а з грошима везде добре будет. От только... Только знайти то, шо татко сховал. И куда это он мог подеть свое богатство, чертяка хитрющий. Теперь ни сам не гам, ни другому не дам. Тху!»

Никита тайком уже и раньше подбирался к отцовскому кладу. Старался делать это незаметно, чтобы, не дай бог, не привлечь внимания любопытных соседей. После схода он перестал осто-

рожничать и, боясь не управиться к тому часу, когда начнется затопление, облазил каждый закуток хаты от порога до чердака, конюшню, хлев, дважды перекопал делянку сада и огорода.

Однако все потуги оказались напрасными. Отцовский клад так ему и не дался: ушел под воду вместе с остатками села, мельницей. Ее он не стал трогать. Только перед уходом двери зачем-то забил. Вгоняя обухом топора гвозди в крепкие, как железо, доски, обливался горючими слезами. Будто заколачивал в гроб свою собственную жизнь. А может, так оно и было? Кто ж его знает.

После того переехал в Запорожье, поселившись в купленной сравнительно недорого хате. Из окон ее был виден остров Хортица. Соседом Никиты оказался односельчанин, молчаливый и угрюмый Петро Коваль, который переехал сюда еще до революции. Неподалеку квартировали и Задорожние. Это в конечном счете и явилось определяющим в выборе хаты, хотя Никита в том не хотел признаваться даже самому себе.

Устроившись слесарем на комбайновый завод «Коммунар», Никита, казалось, смирился со своей судьбой. По крайней мере, таким его знали и на заводе, и соседи. Разве доступно кому заглянуть в душу другому? Но если бы такое случилось, то люди пришли б в ужас, видя, как рвется, раздирается на части она, его душа от любви к Марийке и лютой ненависти к ее брату. Пытаясь унять тот страшный огонь, который клокотал внутри, Никита пробовал заливать его водкой. Ничего не помогло. Повсюду такое творится: стройка идет, люди радуются, песни поют. А ему волком выть хочется. Успокаиваться стал лишь тогда, когда вернулась к нему Марийка, но тот самый душевный покой обрел лишь тогда, как появился в хате маленький Павлик, их приемный сынишка. Марийка совсем другою стала и его за собой в новую жизнь позвала. Стал он присматриваться. Видит, что не все вокруг плохо, как ему раньше казалось. Снова силу в себе почувствовал, а тут — на тебе. Дернула его нелегкая пойти искать своего бывшего батрака Семена, и влип он в дурацкую историю. Поджигателем его сделали. Так и очутился он в лагере. Спасибо хоть, что под расстрел не подвели.

Господи! Кого в том лагере не было. И «мясники» батьки Махно, и ворье разное, и грабители. Захоти взвешивать грехи кого-нибудь из них, так и не разберешь, чего больше — грехов или грешников. Словом, жуть одна, да и только. Он вначале даже спать боялся: только прикорнешь, а тут тебя и кончат, сотворят конец с балалайкой. Не люди, а зверюки. А ты ж подумай только. На него, Никиту, все это паскудство чертом смотрело.

— Почему так? — решился однажды спросить соседа своего по нарам Сеньку Косого. — Чего меня люд ваш сторонится?

— А не наш ты, хмырь, — сплюнул тот презрительно. — Контрик ты. Илимент. Понял?

Ты ж понимаешь! Шантрапа последняя, а и та туда же...

— Ой, ножечки, ножечки! — снова послышался стон. Стряхнув с себя пыль и осколки кирпича, Никита поднялся и, пошатываясь, направился в темноте на голос Сеньки.

— Где ты тут? — спросил, ощупывая дорогу выставленной вперед рукой. Наткнулся на чью-то ногу, свисавшую с нар. Хотел ее отодвинуть, но нога скатилась, шлепнулась прямо перед ним. «Его нога, Сеньки Косого! — догадался Никита, чувствуя, как от ужаса дыбом поднимается волос.

— Эй! Есть тут кто еще? —окликнул он.

Никто не отозвался. Чувствуя, что сейчас задохнется, захлебнется в дурманящих голову запахах гари, пота, человеческой крови, Никита закрыл рот рукой. В тот же миг до него докатился поток свежего воздуха и он, как к небесному чуду, последней надежде, рванулся ему навстречу. Выбравшись из завала, долго и глубоко дышал. Немного придя в себя, огляделся. Лагерь горел. По его территории суматошно носились люди.

«Бежать! — мелькнула мысль. — Нужно бежать». Повинуясь инстинкту, бросился в темноту и не ошибся: вскоре перед собой он увидел провал в стене. Спотыкаясь и падая, рванулся к провалу и через минуту уже был за территорией лагеря.

«Живой..! Живой я! — пело сердце. — Жив-живехонек!» Ноги, казалось, сами несли его, уводя все дальше и дальше от горящего лагеря. Под самое утро обессиленный Никита добрался до леса. Углубившись немного, опустился на влажную от росы траву и тут же уснул.

Проснулся, когда день уже начал сереть. Его разбудил тот же жучиный гул, который он слышал ночью. Никита задрал голову и замер: прямо над ним шли аэропланы. Снизу они походили на огромную стаю ворон, которая закрыла собою добрую часть неба. Аэропланы угрожающе и натужно выли. Одна стая сменяла другую и, казалось, им никогда не будет конца. Вскоре где-то вдали что-то ухнуло. Раз, потом другой. Будто кто-то цепом молотил зерно. Уханье слилось в сплошной гул, и уже нельзя было различить отдельные удары, которые наплывали один на другой. Сотрясаемая этими ударами, мелко подрагивала земля. Никите почудилось, что он видит, как пугливо сжимаясь, трясутся стебельки травы. Он поднялся, вглядываясь в ту сторону, куда уплыли аэропланы. Будто собирался сквозь чащу деревьев разглядеть, что там, далеко-далеко натворили эти странные, похожие на ненавистных ему ворон, птицы. Теперь они, кажется, возвращались обратно. Только жужжание их было каким-то другим: не таким тугим, облегченным. В нем чудилось злорадство и насмешка. А где-то там, откуда они летели, виднелась кроваво-красная полоска неба.

«Как ножом кто ударил», — подумал про себя Никита. — И чего их носит нечистая сила? Все воют, воют. Никак не угомонятся. Воют... Воют. А может, это и вправду война?» В памяти всплыло, как в поведении охраны лагеря произошла какая-то перемена.

Было это с месяц, а может, и немного больше тому назад. И в бараке о войне с германцем заводили разговоры.

«И-и-их! Напросится гэтый паскудный немец на горе! — разглагольствовал Сенька Косой. — Повыпустим ему кишки. Ох и повыпустим».

Теперь этот трепло сам без ног лежит (если еще дышит!) и других на куски порвало-пошматовало. А он, Никита, жив! Жив! Жив! Вот только, что делать? Куда идти? По правде говоря, он не очень хотел встречи с немцами. В памяти сохранились неприятные воспоминания детства, те хлопцы, которых, как говорила тогда Марийка, ни за что, ни про что повесили германцы. Но и возвращаться обратно не было никакого резона. Да и кто его знает, какие они эти самые германцы сейчас и чего хотят. Может, скинут ненавистные ему советы и пойдут себе обратно. А которые захотят, пусть себе хозяйновать вместе с ними остаются. Мало разве у них колонистов? Вон и Сашка Лейман, с которым они в одном цеху работали на комбайновом заводе, тоже из них. Землицы всем хватит. Степь большая».

Так думал Никита, лихорадочно соображая, куда ему податься. В конце концов решил, что нужно идти к немцам. Только как это сделать? Где их искать?

Днем он отсиживался в лесочках и посадках, а ночью шел. Шел туда, откуда летели аэропланы. На третью ночь наткнулся на разбитую бричку, вокруг которой валялись убитые мужчина с мальчиком и лошади. В бричке лежал узел с вещами и мешок с продуктами. Покопавшись в узле, Никита нашел костюм, рубашку и совсем новые хромовые сапоги. Одежда оказалась как раз на него, а сапоги немного великоваты. Но не беда. Обрадованный Никита тут же переоделся и, забросив мешок с харчами за спину, двинулся прочь от брички. Сделав несколько шагов, остановился и, опустив на землю мешок, подошел к мужчине. Преодолевая брезгливость, запустил руку в карман пиджака. Он был пуст. Никита чертыхнулся про себя: только возвращался зря. Но тут же споткнулся о что-то мягкое. Нагнувшись, поднял набитый бумагами портфель.

«Возьму на всякий случай», — решил про себя.

В портфеле, который он разобрал утром, оказалось несчетное число каких-то ведомостей и накладных, сто двадцать рублей денег и удостоверение на имя кладовщика колхоза имени Буденного Василия Пантелеймоновича Кужеля. Ведомости и накладные Никита тут же отшвырнул от себя, а портфель оставил: сгодится для харчишек.

— Ну, с богом, Василий Пантелеймонович, — произнес усмехнувшись. — Гляди, не просчитайся токо у этой бухгалтерии.

На дорогах все чаще и чаще попадались люди. Они ехали на машинах и бричках, но больше шли пешком, таща груженые разным скарбом возки, неся чемоданы или котомки. И чем дальше он

шел, тем людей становилось все больше и больше. Они шагали, понуро опустив головы, почти не глядя по сторонам. Вспыхнувшее было злорадство быстро исчезло. Никите стало жаль этих людей, которых горе заставляло бросать свои хаты и, схватив детей и еще самое дорогое и необходимое, уходить все дальше и дальше от дома, от родных мест.

Однажды он увидел, как гнали стадо коров. Животные шли медленно, едва переставляя усталые после долгого пути ноги, оглашая все вокруг тоскливым ревом. Следом за стадом, будто провожая покойника, брели скорбные погонщики. Лица их покрылись серой дорожной пылью и теперь казались какими-то неестественными, безжизненными. Одна из коров остановилась неподалеку от Никиты. К ней подошла женщина-погонщица.

— Ну чого, чого ты, Ласка? — со вздохом обратилась она к животному. — Чого ты стоишь, голубонька моя? Треба идти. Ищо трошечки, а там перепочинем. Ходим, ходим.

Корова глянула на Никиту глазами, полными безмерной тоски и безысходности и, тяжело, почти по-человечески вздохнув, медленно двинулась вперед.

— Ах ты ж мое серденько! Моя красуня! — приговаривала женщина, поглаживая Ласку. — Та мы ж с тобой все беды перебидуем...

Никита почувствовал в себе почти непреодолимое желание догнать эту женщину с ее Лаской, идти дальше с этими пропыленными и измученными людьми, разделяя их безрадостный путь и судьбу. Еще миг, и он бы кинулся следом, и тогда... Кто ж его знает, что было бы тогда? Но кто-то другой, сидящий в Никите, остановил его, не дав сделать этого шага.

«Не твое! — сказал он ему. — Твоя иная дорога!» И, услышав этот голос, он покорился ему.

Настало время, когда людской поток оборвался. Никита шел уже довольно долго, никого не встречая. Он даже стал глохнуть в наступившей так неожиданно тишине. Даже птиц не было слышно.

«А может, я и вправду оглох?» — подумал Никита, но тут до слуха его донесся отдаленный гул. Небо наполнилось аэропланами. Теперь они уже не плыли спокойно и важно по небу, как в тот первый раз, а беспорядочно метались, гоняясь друг за другом. Будто играли. Сверху слышались частые хлопки, похожие на выстрелы пистонов, тех безвредных, которыми так любят баловаться мальчишки, закладывая в свои револьверы. Вот один самолет словно споткнулся в своем полете и, зависнув на мгновение, стремительно ринулся вниз, волоча за собой белый шлейф дыма. С предсмертным воем аэроплан пронесся прямо над Никитой и тяжело рухнул где-то за дальним лесом. За короткое время еще два из них обрывали свой полет и с воем падали на землю. Потом все стихло, небо снова стало безоблачным и чистым. Только гул, который он услышал до того, как увидел эту аэропланную карусель, не прекращался. Напротив, он казался еще громче и сердитей. Где-то там впереди шел бой...

На следующее утро Никита увидел немцев. Их было много. Они ехали на трескучих мотоциклах. В своих рогатых касках и серо-зеленых мундирах немцы походили на чертей, невесть откуда высыпавшихся на грешную землю. За мотоциклистами длинной колонной двигались тупорылые машины. Вдоль их высоких бортов ровными рядами восседали неестественно чинные, будто замаринованные солдаты. Эта первая встреча с немцами мало вдохновляла. Она его даже напугала, заставив еще раз усомниться в правильности избранного пути. Но предстояло еще нечто такое, что напрочь отбросило его сомнения.

Под вечер, уже подумывая о ночлеге, Никита случайно наткнулся на дозор потрепанного полка, который выходил из окружения.

— Кто такой? — спросил высокий и крепкий командир.

— Говорит, кладовщик колхоза имени Буденного, товарищ подполковник, — доложил задержавший Никиту красноармеец. — Из-под Черкасс. От своих отстал во время бомбежки.

— Документы есть? — подполковник внимательно и, как показалось Никите, настороженно рассматривал его.

— Ага, ага, — торопливо закивал Никита и, стараясь унять начавшую колотить его дрожь, полез в карман пиджака. — Та де ж она та бумажечка? Зараз... Зараз достану.

Наконец он взял себя в руки и, вытащив липнущее к вспотевшим пальцам удостоверение, протянул подполковнику. Тот долго его рассматривал, и Никита снова заволновался.

— Это все? — поднял глаза подполковник.

— Тэ-э-к,.. — Никита сокрушенно развел руками. — Так, нету других. Он как зачал бомбы свои кидать, там такое началось, шо я и доси в себе не могу прийти... Усю бричку на шматки растаскало. Не то шо портфеля, а и голову можно было загубить, товарищу командир.

— Значит, Кужель?

— Ага, Кужель, Кужель. Василь Пантелеймонович мы.

— Ну, что же, — шевельнул в улыбке потрескавшимися губами подполковник. — Будем вместе выбираться. Идет?

— Тэк! Я шо ж... С превеликой радостью, товарищу командир. Завсегда готовый.

— Вот и добре. Побудьте пока в обозе. Поможете нашим товарищам. Раненые у нас... Много раненых.

— Слухаю! — выпалил Никита, радуясь, что все так обошлось, и даже попытался стать по стойке «смирно».

Но радовался он рано. Правда, остаток того дня и ночь для него прошли более или менее спокойно. Вместе с поваром возились у казана, и утром он впервые за неделю поел вареной пищи. После каши его стало клонить в сон.

И вот что удивительно: почитай всю ночь провозился и вроде ничего, а тут с ног валит, а повар ему говорит:

— Сейчас ребят кормить станем. Оперво-наперо раненых. Им труднише за всех, паря.

Понес Никита ту кашу в соснячок, где повозки с ранеными стояли. А их там видимо-невидимо. И всякие — одни безрукие, другие безногие, третьи, будто дитяти малые, закутаны-завернуты бинтами. Не поймешь сразу, жив еще или уже преставился. Стонут. Сестрички между ними мечутся — тому воды, того укрой, этому жарко до невозможности. Го-о-споди! Жуть одна.

Отдал он свою кашу и ждет, пока сестрички ее из ведер в котелки переложат. Вдруг слышит кто-то кричит.

— Доктора к Задорожнему!

Его аж подбросило. Все же заставил взять себя в руки. Ругался последними словами. Это ж надо до такого дожиться, чтобы от одной фамилии холодным липким потом обливаться. Вернули ему девчата-сестрички ведра, а он все не уходит. Что-то держит его, не отпускает. Сон как рукой сняло. Едва удержался, чтобы сразу же не пойти и не поглядеть, кому это так доктор потребовался и нужно ли ему опасаться. Однако удержался. Решил погодить немного.

Вернулся к повару. У того свои дела, а Никиту будто какой невидимой веревкой кто-то в соснячок тянет. Просто спасу нет. Но тут в аккурат разведка возвратилась, сообщив, что путь свободен. Подали команду трогаться, и Никита вдруг поймал себя на том, что сожалеет о немцах, которые на своих трещотках-мотоциклах и машинах далеко успели уйти. Во время движения колонны, как ни старался, ничего для себя не успел прояснить. Надежда оставалась на то, что вечером понесет еду раненым и тогда уже наверняка найдет способ, как обо всем разузнать. Только и здесь не повезло: проклятый повар сам решил идти к раненым.

— Давай я снесу, Пантелеймонович. Кореш у меня там лежит. Заодно и проведаю.

Отматерил его Никита про себя распоследними словами, а на лице полное понимание изобразил, сочувствие. И головой согласно покивал, добавив:

— Конешно, конешно, товаришу сержант. Идить себе, а я тут побуду. Делов у меня он еще сколько...

Петра он увидел только на следующий день. Полку, вернее тому, что от него осталось, пришлось в лесочке отсиживаться: все время по дороге курили колонны немецких машин и танков. Опять пошел со своими ведрами Никита к раненым. Только на этот раз не так щедро в них было положено каши. Продукты были на исходе, и подполковник Прищепа (такой была фамилия командира) приказал экономить.

— Давайте, девчатки, — вызвался Никита, — подмогну вам трохи. Схватил котелки и, не дожидаясь ответа, к повозкам пошел. Идет, а сам во все глаза глядит. И так ему хочется, чтобы ошибкой то было, чтобы тот самый Задорожний другим оказался, не Петром. Но у третьей скраю повозки враз оборвались его сомнения: на постели из соломы, прикрытой куском брезента, лежал друг его детства и лютый враг Петро Задорожний. Никита

еще издали увидел запрокинутую голову Петра с несравненным сметанно-белым чубом. Шея и грудь его были укутаны бинтами, и сам Петро походил на игрушечную ляльку, которую девчата спеленали для какой-то своей игры. Петро, видно, был без сознания и никакой опасности не представлял. Но Никита все не решался к нему приблизиться. Он стоял и завороженно смотрел на Задорожнего. Потом сделал несколько шагов, отделявших его от повозки, и оказался буквально рядом с лицом раненого. Оно было бледным и казалось безжизненным. Застывшая морщина, наискось пересекавшая высокий и чистый, как у Марийки, лоб, изгиб плотно сжатых губ маленького рта хранили печать невыносимой боли, которая свалила Петра, сделала его могучее и сильное тело беспомощным. Только хриплое, прерывистое дыхание говорило, что Петро еще живет здесь, на этом свете. Как ни странно, но сейчас у Никиты не было ненависти к этому человеку. Как, впрочем, не было и жалости, сострадания к его мукам. Он был ему просто безразличен. Так когда-то дед Савва давно-давно лежал в своем черном гробу с невысказанной обидой неизвестно на кого и за что, а он, Никита, не чувствовал ничего, кроме облегчения. Облегчения и умиротворенности тем, что та самая душа в виде толстой и сердитой вороны покинула, наконец, деда, перестав мучить самого деда и его, Никиту...

Неожиданно белесые веки Петра слегка дрогнули, приподнялись, и глаза гневно и сурово уставились на Никиту. Он стоял ни живой, ни мертвый. Струйка холодного, липкого пота медленно, будто дразня и издеваясь, скатилась по позвоночнику, а у него не было сил, чтобы пошевелить ногой или рукой. Страх, предательский страх, который уже не раз подводил Никиту, овладел им снова, остановил бег крови, лишил воли. Он стоял, чувствуя, как поднимаются на голове волосы и глаза расширяются, расширяются от ужаса, готовые выскочить из орбит и пулями вонзиться в Задорожнего...

— Нет, нет, товарищ Кужель! — донесся до него беспокойный голос медсестры. — Этому нельзя. Слышите?

Никита с неимоверным усилием оторвал свой взгляд от лица Задорожнего и повернул голову к медсестре.

— Говорю же вам, что ему нельзя кушать! — прошептала девушка, почти силой уводя Никиту от повозки. — В нем пулеметная очередь целая сидит — три пули в грудь. Не знаю, как он еще живет. Прямо железный человек. Любили его у нас...

Девушка отвернулась.

— Ну я это... Пошел я, — промямлил Никита.

— Да, да, — кивнула девушка. — А котелочки отдайте.

Только сейчас Никита вспомнил, что держит в обеих руках по котелку с кашей. Впившиеся в ладонь пальцы никак не хотели слушаться. Наконец он разжал их и, красный то ли от пережитого, то ли от смущения перед девушкой за свою неуклюжесть, подал сестре.

— Вот... Возьми...

Вернувшись к повару, он еще о чем-то говорил, отвечал на вопросы, но делал это машинально. Голова его была занята одним: ему все время чудилось, что Петро пришел в себя и рассказал, кто он такой. Слыша шаги красноармейцев, он вздрагивал, думая, что идут, чтобы схватить его. «Бежать! — стучало в висок. — Скорее бежать отсюда!»

Ночью Никита из расположения полка ушел. Даже сапоги снял, чтобы ни одна веточка не хрустнула под ногами. Только выбравшись на большак, обулся и, повернувшись к лесу, выдавил сквозь зубы:

— Будь ты проклят, сатанюка!

Вначале он шел, еще сам не зная куда. Было одно желание — скорее и дальше уйти от этого лесочка. Шел быстро, почти бежал. Словно боялся, что раненый Петро может подняться и пуститься за ним вдогонку. Было темно и тихо. Казалось, в целом мире нет ничего, все куда-то исчезло, пропало, остались только он, Никита, и едва различимая в мертвенно-бледном свете луны проселочная дорога. Так продолжалось какое-то время. Потом незаметно в тишину ворвался непонятный звук. Встревоженный Никита замер. Стало тихо, и загадочный звук исчез. Что за странности?! Может, прячется где-то? Никита огляделся. Так нет же, вокруг ни деревца, ни кустика. Осторожно, стараясь ступать на носки, он двинулся дальше. Но тут же возобновился и звук. Глухой, скребущий. «Господи! — догадавшись, наконец, в чем дело, с облегчением вздохнул Никита. — Это же я сам сапогами човгаю. От дурень набитый!» — дальше он зашагал легко и свободно.

— Хальт! — пистолетным выстрелом хлестнуло откуда-то, и насмерть перепуганный Никита едва не упал.

Втянув голову в плечи, он брел, с огромными усилиями переставляя ставшие вдруг непомерно тяжелыми и непослушными ноги, ощущая спиной холодок кочергообразных автоматов немецких патрульных, которые задержали его в нескольких сотнях метров от притаившегося в ночи села.

Его закрыли в каком-то сарае. Выставив перед собою руки, Никита осторожно двинулся вдоль стены. Под ногами зашуршала солома и он, обессиленный вконец, опустился на нее. «Попался! Попался!» — монотонно и надоедливо гудело в голове. Вот чертовщина! И как это его угораздило не заметить тех проклятых немцев? Ведь они же стояли на самом бугорочке и, наверняка, были видны издалека. Что же будет теперь? Что будет? Ну, положим, сейчас немцы его не тронули, не стали стрелять. Почему? Да потому, что не захотели ночью шум поднимать. Немцам ведь тоже отдохнуть нужно. Они тоже, наверное, устали. Вон какой кусище земли у нас оттяпали. А завтра? Что будет с ним завтра? Проснутся и станут его спрашивать: кто такой? Откуда, мол, взялся? Куда шел? Может, и бить станут. Конечно, станут! Тут и сомневаться нечего. Так отработают, что и не поднимешься. Это они умеют!

«А может,.. может, и возиться со мной не станут? — мелькнула пугающая мысль. — Возьмут и сразу стрельнут или повесят».

В памяти всплыли далекие годы детства и германцы, деловито и старательно устанавливающие на площади виселицу. Может, так и его завтра вздернут, как тех хлопцев тогда? Стало душно, и Никита с силой рванул ворот рубашки.

«Только за что? — хватая ртом воздух, спросил он кого-то, вглядываясь в темноту выпученными от страха глазами. — За что меня вешать? Что я им сделал?»

Он обхватил голову руками и застонал от собственного бессилия. Ну почему, почему ему так не везет в жизни? И все из-за кого? Из-за того же проклятого Петра. И разве только сегодня? Всю жизнь он преследует его, Никиту. Всю жизнь. Вспомнилось, как приходилось заискивать перед Петром в детстве, ногами топча криком кричащую собственную гордость, как схлестнулись они в Бердянске, а потом в Андреевке после того неожиданного посещения отца, встречи на Днепрострое, а потом на площади в селе перед самым его затоплением. И эта, последняя, у повозки, на которой лежал Петро. Будто скрытые туманом, в памяти промелькнули лица кашевара, девушек-медичек, которые совсем недавно дали ему приют, делились пищей, но Никита, тряхнув сердито головой, тут же прогнал их.

«Чего тебе треба? — со злобой обрушился он на Петра. — Чего хочешь от меня? Чего не ты, а я на тых немцев надыбал?» Ему страшно захотелось, чтобы на его месте сейчас оказался Петро. Вот наступает утро, и Петро, жалкий и униженный, предстает перед немцами. Увидев виселицу, Петро падает на колени и со слезами, бегущими по заросшим щекам, молит пощадить его. Только нет, такой картины он не мог представить. В его воображении вновь и вновь всплывает Петро, раненый, лишенный силы, но все равно не сломленный, не униженный. И от этого Никита еще более злился, закипал ненавистью.

«Почему я должен висеть? — играя желваками, думал он. — Почему не Петро и весь его чертов мир, который летит сейчас в пропасть?»

В два часа ночи Никита дал показания гауптману немецкого танкового полка, который остановился в селе. А ранним утром, сидя в коляске мотоцикла, показывал дорогу немцам. Вначале он испытывал щемящее чувство радости, что наступит конец мукам и со смертью Задорожнего облегчится его изглоданная ненавистью душа... Но когда увидел, как после кромешного огня башенных орудий танков, который должен был перепахать землю и уничтожить все, развернувшиеся в цепь автоматчики в рогатых касках расправлялись с теми, кто еще вчера, несколько часов назад делился с ним последним сухарем, как методически, по-деловому добивали они беспомощных раненых, ему стало жутко. В наступившем на какой-то миг прозрении ему открылась безжалостная истина:

«Это ж я их! Своих убиваю... Свою родную землю сапогами германов топчу».

Душа его взвыла, забилась, затрепетала от невыносимой боли, и, ужаснувшись содеянным, обессиленная затихла, омертвела в груди.

... Домой возвращался, все думал, как с Марийкой встретится. Примет ли? А главное — сможет ли он сам жить с нею бок о бок? Сумеет ли в глаза смотреть, говорить, в постели лежать. Рядом с хатой был, а все во двор войти не решался. Каждую доску забора, каждый уголок двора взглядом ощупал-опробовал, выкуривая одну цыгарку за другой. Вроде вот он, к себе пришел, а в то же время нет, не его они — и хата, и двор. Что ждет его там?

— Дядько! — окликнул его детский голос. — А шо вы шукаете туточки?

Обернулся — пацан рядом с ним стоит. Худенький, с шейкой тонюсенькой, как у гусенка-заморыша, мордашка вся в пыли, и только оченята голубые блестят. Екнуло сердце, сжалось в комок.

— Та от, бачиш, шел себе та и остановился...

— А вы, той, дядько... Вы не папка мий?

— Твой я, сыночек, твой! — выдохнул.

А хлопец, как дед старый, стоит и его рассматривает недоверчиво.

— Правда вы папка, дядя?

— Так. Правда. Мамку ж твою Марийкой кличуть?

— Эге ж. Токо мамка казали, шо нема папки. Помер он.

— Та живой же я! Живой! Бачишь?

Глаза мальчишки зажмурились, и он, видно, что-то прикинув, спросил заговорщически:

— Може, ты с немцами воевал? Эге ж? Воевал? Они в тебя стреляли, а ты убег?

Душно стало Никите. Ничего он не смог мальчишке ответить. Только выдавал из себя:

— Мамку поклич.

Метнулся во двор пацан. Пока ждал его, казалось, что и не придет конец тому ожиданию, не выйдет к нему Мария. Когда нет, бежит. Неприбранная, простоволосая. Кинулась на грудь.

— Микитушка! Вернулся!

Про все он тогда забыл. Будто и не было ни суда, ни шести лет лагерных, ни той встречи с Петром, ни танков с крестами, ни рогатых солдат. Стоит и плачет, прижимая к себе Марийку.

Немного успокоившись, хлопца на руки взял. Поцеловать хотел, но тот не дается.

— Как же звать тебя? — спросил, скрывая досаду.

— А хиба ты не знаешь? — недоуменно оттопырил нижнюю губу маленький старичок.

— Та знаю! Только хочу, шоб ты сам сказал.

— Павло я. А ты гостинца мне привез? Дядько Петро завсегда привозил.

Вот те раз! Никита просто онемел от неожиданности.

— Павлику! — нахмурила брови Марийка. — Який ты! Дай же хоч у хату зайти батьку...

Она таки порядком сдала за эти годы. На лице и на лбу появились морщины. Да и ходит Марийка как-то чудно, горбясь, словно опасается чего-то. Чисто тебе курица старая, жить которой осталось всего ничего. Но главное — глаза. Раньше свет из них так и лился. А теперь будто бакены на речке ночной... Вспыхнут, озарят вокруг, аж сердце заходится: «Вот она, та самая, коханая Марийка!» Но только миг такое длится. Один миг. Не успеешь нарадоваться, как тухнут они, закрываясь серым облаком печали, и уже не поймешь, кто перед тобой — она или совсем незнакомая, чужая женщина.

Правда, эту перемену Никита не сразу в ней заметил. Тогда, в их первую ночь, она только жалась к нему, целовала в каком-то исступлении, шепча: «Мой ты! Мой! Молчи! Не надо!» Как будто опасаясь, что он спросит о чем-то, начнет говорить. И он пошел за ней, поддался ласкам, отрешившись от всего. Мир, весь огромный мир переселился в них, и они одни владели его богатствами и тайнами. Но ночь пролетела, и в окошко их хаты втиснулся болючей тоскою рассвет нового дня. С настойчивостью старательного служаки он выстроил на плацу памяти всех тех, кто полег тогда в лесочке. Они презрительно и сурово глядели на него со всех сторон. В центре немым укором стоял Петро Задорожний, друг его детства и заклятый, непримиримый враг. Поверженный, уничтоженный, он и оттуда, из небытия не давал ему покоя. Не выдержав взгляда его очей, Никита забился, заерзал на постели, заметался, оглашая хату сдавленным криком смертельно раненого зверя, вызывая ужас жены и пугая малолетнего сына.

Ни в тот, ни в следующий день он не смог избавиться от чувства вины перед ними. Сколько раз хотелось подойти к Марийке, прижать к себе и затихнуть, слушая, как стучит ее сердечко. Но что-то удерживало, пугало его. А ну как догадается, узнает она про Петра. Или даже не узнает, а просто спросит, заговорит о брате. Как быть тогда ему? Сможет ли удержать в себе страшную тайну или не выдержит, повинится во всем?

«Признаться... Признаться,.. — стучало в висок, пойманной птицей рвалось из него наружу. — Сказать? Но тогда... Тогда все...»

Да, все. Конец. Марийка ни минуты с ним не останется. Уйдет. Как пить дать, уйдет. И уже совсем. Навсегда. Лопнет, оборвется его связь с этим миром, в котором один-единственный человек радуется ему, принимает таким, каким он есть, целиком. Один. Правда, есть еще сын, Пашка. Только какой он сын. Так, чужое дитя, которое пока ничего о нем не знает. А может, и не узнает? Когда-то дед Савва рассказывал ему, Никите, сколько было в их роду Прудкосвистов. Разве он, Никита, всех их знал? Только дядьку Ивана да его балаболку-жену. И тех хватит с лихвой. Ос-

тальные зачем ему? Так и у Пашки будет. Отец и мать. Вот и все. Досадно только лишь, что к Петру он прикипел. Ишь, главным авторитетом, видать, тот Петро для пацана стал.

«Як и для мене колысь!» — подумал Никита и от злости даже зубами скрежетнул.

Он попробовал было поиграть с Пашкой. Но куда там? Тот стоит, как сыч, надутый и только оченятами луп-луп. Слово из него не выдавишь. Смотрит на него, а слушать не слушает. О чем-то своем, стервец, думает. О чем? Что там у него на донышке воробьиной души прячется? Пойди догадайся. Э-э-эх! Нет, что ни говори, а Марийка все-таки для него единственный родной человек... По крайней мере, пока единственный.

Ходил Никита по хате, слонялся из угла в угол, терзаясь своими думами. И во двор выходить не хотелось. Зачем? Ловить на себе будто нагайкой бьющие взгляды того же дядька Коваля, который теперь жил с ними по соседству? Не-е-т! Гори оно огнем, тот Коваль со всеми соседями вместе. Пусть себе живут, как знают.

Сидел дома до тех пор, пока однажды Марийка из города возвратилась и весть принесла:

— В городе приказ немецкий вывесили, шоб всем на биржу идти.

— Чего я там не бачил? — буркнул, не оборачиваясь.

— Будут на работу посылать.

— Не хватало!

— Кажуть, хто до роботы не станет, заорештують.

— А шоб тебе!

Он зло и долго ругался, используя свой богатый лагерный лексикон, посылая на немцев, на соседей, на целый свет самые страшные проклятия. Потом все-таки не выдержал и на следующий день поплелся на ту самую биржу. По дороге ломал голову, о чем его будут спрашивать, что он будет отвечать. И действительно — ни паспорта, ни каких других документов. Не станет же он в конце концов совать под нос немцам ту мятую-перемятую справку, доказывая, что он колхозный кладовщик. Немцы ведь — они не дураки. Еще, чего доброго, хлопнут за побрехеньки, и дело с концом. Вот чертовщина!

Так ничего и не придумав путнего, он подходил к зданию, в котором располагалась биржа. Окинув взглядом десятка полтора людей, жавшихся друг к другу, сразу же заметил стройного светловолосого парня, который прохаживался взад-вперед перед входом. «Господи! — обрадовался, сразу же узнав светловолосого. — Да ведь это же Сашка Лейман из нашего цеха! Конечно, он! Ты смотри, и повязку полицая уже успел нацепить. Эт, стервец!»

Лейман, видно, тоже его узнал.

— Привет, Сашко! — поздоровался, стараясь как можно лучше изобразить радость на лице.

— Здоров, здоров, — откликнулся Лейман, прищурив один глаз, а другим сверля переносицу Никите. — Никак господин Прудкосвист пожаловали?

— Та невжели я так переменился, шо и не признать меня? — засмущался Никита.

— Есть. Есть малость, Никита... Как там тебя по батюшке?

— Оверкович, — услужливо подсказал Прудкосвист. — Микита Оверкович.

Лейман брезгливо поморщился.

— И где же это вы пропадали, Никита Оверкович?

— Та ты ж, мабуть, слыхал...

— Про арест твой?

Никита молча кивнул и опустил глаза. Заметив, что к их разговору прислушиваются другие, Лейман взял Никиту за руку и, увлекая за собой,бросил:

— А ну, отойдем малость.

Заикаясь и сбиваясь с мысли, Никита рассказал Лейману, как отсиживал в лагере, как после бомбежки бежал и добирался домой. Только про встречу с Петром и, что потом случилось, промолчал. Почему, и сам не знает, но промолчал.

— Пришел вот, а что дальше делать — бес его знает. Как жить? Куда податься? Может, присоветуете что? — он умышленно обратился на «вы» к Лейману и, закончив, умолк, ожидая, что тот скажет.

Лейман молчал. Какие-то мысли бродили в его голове, и спор их друг с другом отражался на красивом, девичьи нежном лице. Оно то вспыхивало решительно, готовясь вот-вот выплеснуть наружу улыбку, а то вдруг начинало хмуриться, становясь пугающе злым. Черт его знает, о чем он там думает, этот самый Сашка Лейман.

— Ин-те-рес-не-нькая история! — протянул, наконец, Сашка. — Интересненькая. Если, конечно, не брешешь. Думаю, что мы с тобой поладим, Прудкосвист.

Второй раз они встретились с Лейманом уже в помещении городской полиции, где, оказывается, Сашка состоял командиром взвода. Правда, назвать взводом десяток мрачных, сторонившихся друг друга мужиков, которых Лейман неизвестно где находил, подбирая по каким-то своим признакам, можно было только условно. Сюда же был зачислен полицаем и Никита.

Собираясь вместе, полицаи одевали повязки и, вооружившись винтовками, которые немцы выделили из своих трофеев, патрулировали улицы города. Людей на улицах почти не было. Лишь изредка мелькнет где-нибудь вдали одинокая фигура и тут же исчезнет, спрячется за воротами или в подъезде. Кому охота попадаться на глаза полиции или еще, чего доброго, немцам? Приходилось ходить по дворам и квартирам, проверяя документы, соблюдение приказов новых властей, из которых чуть не каждый заканчивался угрозой расстрела за малейшее нарушение.

Первые дни прошли относительно спокойно, и Никита охотно шел на свою службу: по крайней мере никто его не трогал и не

пытался расспрашивать. Каждый жил своим миром, куда другому доступа не было. До него доходили слухи, что немцы напали на след партизан, кого-то арестовали и уже успели расстрелять. Только сам он этого пока не видел и услышанное старался побыстрее забыть: мало чего люди могут наговорить. Да и что они сами, эти партизаны, могут сделать против такой силищи, как германская армия? Ровным счетом ничего. Немцы это хорошо знают и пришли сюда надолго, а может быть, и насовсем. Вон даже гидростанцию решили восстанавливать. Так это или нет, он точно не знает, да и мало интересуется. Пусть уже, что хотят, то и делают. На то они и власть.

Однако спокойная жизнь Никиты продолжалась недолго. Вскоре немцы затеяли регистрацию евреев. «И зачем они им сдались? — недоумевал Никита. — Пусть бы себе сидели по своим норам». Думами своими, конечно, ни с кем не делился. При себе держал. Может, и у других полицаев были они. Кто его знает?

Однажды к ним в полицию приехал важный гость. Всех полицаев собрали. Он только в дверях появился, как Никита едва не вскрикнул от изумления: то был Мыкола Мынович. Прошло более двух десятков лет. Бывший директор сильно изменился. Он как будто усох и стал еще меньше. Мундир болтался на нем, как на палке. Под громадной фуражкой с высокой тульей и орлом, вызывающе раскинувшим крылья, пряталось худое, сморщенное, как печеный бурак, личико с острыми кошачьими глазками и усиками, явно под фюрера. Мало что осталось от того прежнего розовощекого директора. Но все же это был он.

Выйдя на середину круглого зала, Мыкола Мынович заговорил глуховатым голосом, похожим на лай собаки, которая боится высунуться из будки. Вначале он слезливо славил бога, ниспославшего немецкие войска, чтобы спасти украинскую землю от большевиков, посылая проклятия на их голову. Потом перекинулся на евреев, которые заодно с большевиками, и вред от них чуть ли ни еще больший.

— Мы з вами, истинные сыны Украины, — тут Мыкола Мынович вознес свои маленькие ручки вверх, взывая, чтобы Господь бог услышал его, — мы мусым вытрясти, вычистить нашу неньку од того смиття, шоб вона посмихнулась и засяяла знов на радисть нам и нашим диточкам...

Мыкола Мынович уже покидал зал, когда Никита догнал его.

— Здоров, здоров, козаче! — обрадовался он встрече и, обернувшись к лейтенанту и другим сопровождающим, похвастался. — Мои выхованци. Не забувають свого вчителя. Не забувають.

Провожая Мыколу Мыновича к ожидавшей его во дворе машине, Никита успел перекинуться с ним всего двумя-тремя фразами.

— Заходь до мене, — кивнул ему, прощаясь, Мыкола Мынович.

— А де ж вы?

— В редакции газеты «Нове Запоріжжя». Ну, бувай.

Вскоре после выступления Мыколы Мыновича, которое, будто поповская молитва, благословляло их, полицаев, на еще неизвестные дела, и случилось с Никитой самое страшное.

Он и через много лет, казалось, до мельчайших подробностей помнил тот дождливый, с временами срывающимся мокрым снегом день. Сашка Лейман, уже успевший стать к тому времени заместителем начальника городской полиции, назначил их взвод конвоировать колонну евреев.

— Далеко вести? — поинтересовался Грамотей, старый знакомый Никиты еще по махновским делам. Сам Грамотей его не признал, и Никита не очень переживал. Совсем не хотелось водить дружбу с этим придурком, который в свободное время только и делал, что жевал, забившись в какой-нибудь угол.

— Далеко, пытаю, вести? — прогнусавил Грамотей. — Може, и пожрать не придется. Будешь целый день, як собака голодный, хтозна-куда брести без дела.

— Не переживай, чудо мое ласковое, — рассмеялся Лейман. — И с голодухи не сдохнешь и без дела скучать не придется. Это я тебе обещаю.

Колонна евреев собралась большая. От головы и хвоста не видно. Всякие люди — и старцы дряхлые, и дети малые. Никита еще про себя ругнулся: «Этих-то зачем гоним? Какие с их работники?» Но опять промолчал. Только сплюнул зло, матюкнув в душе Леймана. Идут. Взрослые, те все больше молчат. Только изредка о чем-то перекинутся друг с другом и вздыхают, да детей к себе прижимают. Ну а дети, известно как, разве могут они молчать? Рядом с ним девочка шла. Лет десяти-двенадцати. Худенькая, тонюсенькая, с большущими черными, как спелые сливы, глазами. Вытирая мокрое то ли от слез, то ли от дождя лицо, все время спрашивала:

— Дядя полицай, куда мы идем?

— Куда, куда! — сердится Никита, сам толком ничего не зная. — На сборный пункт. Вот куда.

— Это правда? — забегала она вперед, пытаясь заглянуть ему в глаза. — А потом? Потом куда?

— Ну... Оттуда — в Мелитополь, на работу.

Отвечал то, что слышал, то, что говорили. А там кто ж его знает? Какие-то сомнения, конечно, были у него. Ну зачем, скажите на милость, столько охраны для этих евреев? Какой вред они могут причинить? Да никакого. Или кто-то собирался на них нападать, чтобы отнять их клунки? Тоже нет. Тогда в чем же дело? Он гнал тревожные мысли и, разговаривая с девочкой, успокаивал себя. Девчонка на какое-то время затихала, а потом принималась за свое, спрашивая:

— Нас ведь в Мелитополь? На работу ведут, дядя? Правда, на работу?

— Да отстань ты! — рассердившись, замахнулся он на нее прикладом. — Совсем набрыдла.

Девчонка вся сжалась в комок и затихла. Дальше шла молча. Он даже сказать не может, сама она была или с родителями. Както никто больше не запомнился Никите. Уже за городом, у совхоза имени Сталина, оказавшись рядом с тем страшным местом, окончательно понял Никита, куда, на какую работу гнали этих несчастных. Понял и похолодел от страха. А девчонка подняла на него свои огромные глазищи, которые от слез еще чернее стали, и такая в них боль была, такая недетская тоска, что у него мороз по коже пробежал.

— Дяденька хорошенький! — прошептала одними губами. — Дяденька! Не убивайте меня, пожалуйста.

Почему именно его просила? Ведь рядом с ним Грамотей и сам Лейман были. Так нет же, именно к нему, Никите, обратилась. Его молила-заклинала. Видно, чуяла в нем смерть свою. И не зря. По команде Леймана поднял он винтовку. Глядит, а прямо на мушке лицо этой девчонки. Задрожали руки, мушка ходуном заходила. Решил, что не будет по ней стрелять, верхом пулю пустит. Но тут почувствовал, как кто-то больно ткнул его дулом пистолета в спину и услышал свистящий шепот Леймана:

— Что, с-сука?! Чистеньким хочешь быть? У-убью!

Опять на какое-то мгновение мелькнуло лицо девчонки с полными ужаса глазами и, стараясь поскорее избавиться от них, он торопливо нажал на спуск...

С того дня будто во сне каком-то страшном жил он. Днем — патрулирование, в основном на окраинных поселках, куда сами немцы выбирались без охоты и редко. Проверяли документы, хватая всякого, кто хоть чем-нибудь казался подозрительным. Сколько разного люду довелось перетаскать в полицию! Не раз приходилось и в допросах участвовать, вымещая на арестованных свою бессильную, будто стон, злобу. Злобу и страх.

Да, да. Именно страх преследовал Никиту повсюду. Он чувствовал его леденящий холодок между лопатками, когда в патруле прохаживался по пустынным улицам. Будто кто-то невидимый из-за угрюмых заборов, мрачно поблескивающих стеклянными глазницами окон, целился в его спину, примерялся, как получше, поточнее дотянуться ножом до нее. Временами было такое ощущение, что там сзади уже вырван кусок тела, и в ножевую или пулевую (черт его знает, какая она там) рану, хлещущую горячей кровью, врывается холодный ветер. Никита ежился от такого ощущения, сутулился, втискивая в деревенеющие плечи голову, и старался как можно быстрее миновать пугающее его место. Да и если бы оно одно было это самое место. Знать бы, где наибольшая опасность, где голодная беда стережет, караулит тебя, выискивая лениво взирающим на мир кровавым оком. Так нет. Откуда? Кто скажет, когда придет, когда наступит твой последний час? Сразит тебя пуля подпольщика, затаившегося за углом, или новый хозяин, немец, разозлившийся за то, что партизаны лишают его покоя

даже здесь, в тылу, разрядит в тебя свой автомат. Кто знает? А может, соседский пацан Андрей, внучок Петра Коваля, готовит какую-нибудь пакость?

Мал стервец. Сидел бы себе дома да сказки дедовы слушал. Так нет! Куда ж тебе. Глазами, будто бритвой острой, режет. Так бы и полоснул по горлу, будь его воля. Однажды на ворота его, Никитиного двора, нацепил листок с каракулями. Пашка как раз на улице заигрался. Возвращаясь, и заметил тот листок. Матери принес, а та — в слезы. Никита только глянул на те каракули, сразу догадался: Андрюшкина то работа. Что глазами подлец выписывал, то и на бумаге нацарапал: и полицай он вонючий, и собака немецкая кровожадная, и гад. Словом, всякого наговорил. Тут еще и Пашка под руку попался. Смотрит волчонком исподлобья и сопит сердито, вроде осуждает, значит, его. Ругает про себя отца. Злостью сердце залилось. Не помня себя, схватил он винтовку и напрямик к хате Ковалевой кинулся. Рванул дверь на себя, чуть с петель она не слетела.

— Где поганец твой?! — рявкнул кинувшемуся к нему Ковалю. — Андрей, внук твой, пытаю, де?

Дед руки свои расставил.

— Не пущу! — отвечает. — Не дам хлопца зобижать. Хворый он.

Посмотрел Никита в угол. И правда, лежит пацан в кровати. Весь красный, как рак. Видать, сильно хворый. «Может, не он? Не его работа с листочком? Другой кто-нибудь постарался?» — запрыгали мысли. Ничего больше не стал говорить. Стиснув зубы, вышел из хаты и домой к себе подался. Коваль тоже молчит. Только глазами его своими лютыми провожает, будто водой холодной со двора смывает.

На обратном пути опять Пашка навстречу попался. Глянул и как будто усмехнулся про себя. Да так же ехидно, что прямо некуда больше. Так оно на самом деле было или показалось ему. Кто его знает. Только за эту ухмылочку вконец возненавидел он Пашку. Совсем чужим он для него сделался. Чужим и противным до невозможности.

Домой идти ему хотелось все меньше и меньше. Попадал туда поздно, после пьянки, которой заканчивался чуть ни каждый день. Как-то к нему завалились в гости. Марийка в то время болела. То ли ей на самом деле совсем плохо было, то ли притворилась, а только к гостям так и не встала. Забившись в свой угол, весь вечер пролежала. А Пашка рядышком с ней. Лишь глазами своими отца покусывал, когда тот, случалось, заглядывал в их комнату. Ну и сыночка бог послал! Чистый тебе волчонок.

— Э-э-э, Никита! — шепнул ему в тот вечер Сашка Лейман. — Совсем плоха твоя баба. Видать, недолго ей осталось того...

Недолго. Да и он сам это видел. Марийка таяла буквально на глазах, и Никита, опасаясь, что ему вдруг случится при смерти ее присутствовать, нередко оставался досыпать там же, где гудело их

очередное гульбище. И хоть эти гульбища больше походили на поминки, чем на веселье, он охотно шел на них, с нетерпением ожидая вечера. За стаканом вонючего и мутного самогона только и отдыхала, отходила немного измученная, истерзанная, слезами и кровью умытая его онемевшая душа.

Немцы не очень жаловали полицейскую братию. Всякий раз, как только приходилось встречаться с кем-нибудь из них, Никита неизменно ловил скрытую, а то и откровенную брезгливость на высокомерных лицах «новых хозяев». Вроде и не люди они вовсе, а так себе — навоз при дороге, рядом с которым и стоять-то противно. Как-будто не им, германцам, продали они и себя, и души свои, не им служат верой и правдой, шныряя с утра до ночи по дворам и хатам. Самая черная, самая грязная работа всегда достается Никите и его дружкам. И черт его знает, как оно выходит? Может, Сашка Лейман, которого теперь все именовали не иначе, как Александр Юлисович, специально подстраивал так, чтобы не забивали головы свои разными там думками от безделья: то на прочесывание поселка их кинет, где вроде бы партизаны объявились, то облаву за молодыми хлопцами и девчатами, которые не хотят ехать на работу в Германию, пошлет, то еще какую хреновину выдумает. Идешь и не знаешь: возвратишься живым или будешь лежать с проломленным черепом где-нибудь в глухом месте.

Их особенно гоняли, когда ожидался приезд какой-то шишки. Сам Никита не видел, но поговаривали, что наезжали в Запорожье всякие гости. Бывали здесь и Геринг, и Розенберг, и другие из тех, кто близко к фюреру стоял. Однажды долго слух держался, вроде сам Гитлер препожаловать должен. Будто к приезду его решили немцы даже Днепрогэс отремонтировать и снова пустить. Так ли, нет, кто его знает. Уже после рассказывал ему Сашка Лейман, что и вправду фюрер прилетал в город. И не единожды. Один раз едва ноги успел унести. Только это потом уже было, без них. А тогда немцы каждый уголок в городе вынюхивали, выметали. Да и не один город: все села окрестные прочесывали. В тот раз и довелось Никите проведать родные места.

Дело осенью было. Она у них обычно слезливая, с дождями и ветрами, которые загоняют людей по хатам, и собаки из будок боятся высунуться. А тут прямо, как на заказ: небо синее-синее, солнышко землю высвечивает. Лето тебе настоящее да и только. Был их взвод в селе, что совсем рядом с Андреевкой. И так его потянуло хоть одним глазом взглянуть на нее, что просто спасу нет. В другое время, может, мимо прошел бы, а тут не выдержал.

— Слышь, Александр Юлисович, — попросил, добежав до брички, в которой дремал Лейман, — дозволь на село мое, на родные места глянуть.

— Да чего тебе смотреть? — щурясь от яркого солнца, поджал свои тонкие губы Лейман. — Сам же говорил, что нет его уже.

— Ну, все одно. Дозволь. Христом-богом прошу. Я швиденько. Туда и назад.

— Хрен с тобой, — сдался Лейман. — Бери бричку, и дуйте вместе с Грамотеем. Только не задерживайтесь.

— Добре, — ответил Никита и, приняв вожжи у что-то недовольно бурчащего Грамотея, погнал лошадей.

Он еще издали услышал хохочущий рев Вольного. Сбросив с себя толщу воды, которая укутав, спеленав его, все эти годы держала взаперти рвущееся наружу буйство, порог после взрыва плотины теперь снова праздновал свою волю. Как набравшийся до одури гуляка, задирающий всех посреди улицы, рвал в клочья он темно-серую ленту Днепра, расшвыривая в разные стороны брызги. А те, сверкнув в солнечных лучах, спешили подальше улететь от разгулявшегося задиры, унося в говорливом журчании свою полохливую обиду на каменного хозяина, расходившегося, видать, не на шутку.

Вот уже показалась нахохлившаяся по-вороньи верхушка казацкой могилы. Над нею высоко-высоко в небе черной точечкой застыл орел-степняк. Окидывая зорким взглядом безбрежные просторы Таврии, которая обманутая таким необычным, не осенним теплом, отложила уже начатые ею сборы в зиму, степняк, казалось, висел неподвижно, отдыхая от долгого полета. «А может, это тот самый? — подумалось Никите. — Из игнат-казаков, про который рассказывал когда-то Петро». Память далекого детства щедро кинула перед ним пожелтевший горох соломенных крыш, брызнула звонкоголосыми криками давних товарищей, с которыми топтали они андреевские стежки, окутала печальной улыбкой матери. Сейчас... сейчас, сразу за этим бугорком он увидит свое село, и все станет на место. Не будет больше тех лагерных лет, встречи с Петром, не будет больной, тающей, как весенний снег, Марийки и глаз той девчонки, которую оставил он тогда во рву. Телега со скрипом стала подниматься в гору и, Никита, не выдержав, остановил лошадей.

— Зачекай меня, — бросил он удивленно моргавшему Грамотею. — Тут зачекай. Я сам пойду.

Бегом, словно боясь опоздать, Никита взбежал на бугорок и, сделав несколько шагов, остановился. Перед ним была она, его Андреевка. Длинная, вытянутая вдоль берега улица с хатами, оседлавшими ее с обеих сторон, остров, похожий на задремавшего под шум воды сома, и мельница. Все было, как и раньше, и в то же время было совсем иным. Мельница осела, сгорбилась, сложив свои крылья. Заборчики из ракушняка, которые некогда казались высокими, отделяя двор от двора, теперь словно вжались в землю и больше походили на кладку через давно высохшие лужи. Да и хат, собственно, никаких не было: из земли торчали остатки глиняных стен, которые еще не успела размыть, видно, не быстрая, стоявшая здесь вода. Лишь печь кирпичная стояла набычившись,

как будто продолжая держать оборону от наседавших на нее невидимых неприятелей.

Осторожно, словно боясь потревожить чей-то покой, Никита направился по улице к своему подворью. Миновав калитку, прошел из конца в конец раз, потом еще раз, глядя себе под ноги. Взгляд остановился на какой-то рамке со следами облезшей краски. Откуда она здесь? Никита поморщился, напрягая память. Фу ты господи! Да это же портрет царя Николая. Надо же такому случиться. Одни жалкие досочки, которые сиротливо лежали, вдавленные в землю рядом с крышей собачьей будки. Неужели это все, что осталось от их богатства? От их прошлого? Ведь сколько у них было всякого добра. Куда же оно подевалось? Может быть, хоть то, что спрятал отец, удастся отыскать? Надеясь втайне на это, он и Грамотея оставил за бугром, один пошел.

Никита еще раз внимательно, будто ощупывая, оглядел подворье. Взгляд его перекинулся к месту, где стояла хата Задорожних. На кучке растаявшей глины, из которой некогда были вылеплены стены, что-то блеснуло. «Может, там? — мелькнула мысль. — Туда отнес старый?» Оглянувшись с опаской по сторонам, Никита бросился через огород Задорожних. Добежав до остатков хаты, остановился, слыша гулкие и тревожные удары сердца. Где же она, эта самая штука, которая только что так блестела? Ага, вот. Он наклонился и, выдрав из глины, поднес к глазам сверкающий на солнце осколок. Тьфу ты, черт! Да это же слюда. Самая обыкновенная слюда, которую когда-то казаки добывали на острове Перун и использовали вместо стекол. Вот так клад ему попался! Где-то рядом сердито каркнула ворона, и Никита от неожиданности вздрогнул. Пролетев лениво над ним, ворона скрылась в кустарнике, что густо покрывал макушку Казачьей могилы.

— Развелось вас, паскуд поганых! — со злостью прошептал он. — Шоб вы повыздыхали.

Он перевел взгляд с Казачьей могилы на село, и оно показалось ему похожим на кладбище. Только не обычное, тихое, не с бугорками покрытых травой и степными цветами могилок, а с голыми покойниками, бесстыдно выставленными кем-то напоказ. Они со всех сторон окружали Никиту, глядя на него осуждающе и гневно, и все ближе и ближе подступались к нему. Чувствуя, что сейчас не выдержит, задохнется, умрет, Никита с силой рванул ворот немецкого мундира, и, застонав, бросился прочь...

Через четыре месяца Никиту послали с поездом охранять вывозимое немцами в Германию какое-то оборудование.

— Уезжаю я, — буркнул он молча наблюдавшей с кровати Марийке. — Бувайте, значит.

Хотел, было, еще что-то сказать. Потом махнул рукой и вышел из хаты.

3

Захватив огромную территорию и продолжая теснить советские войска, гитлеровское командование надеялось, что вот-вот наступит момент, когда сопротивление противника будет сломлено и эта затянувшаяся война, наконец, завершится. Столь неожиданный сокрушительный удар, который был нанесен им в первую военную зиму под Москвой, хотя и вызвал яростный гнев фюрера, все же не поколебал веру германского генералитета да и всего немецкого воинства в неминуемую и скорую победу над большевистской страной. На войне ведь всякое бывает. Случается, что смертельно раненый противник может нанести чувствительный урон. Урон, но не поражение. Поэтому в Берлине по-прежнему строили планы окончательного разгрома русских и наведения нового порядка на захваченных землях. Между тем пружина гнева советского народа сжималась все сильнее и сильнее, готовясь достигнуть предела. И он наступил.

19 ноября 1942 года советские войска перешли в наступление под осажденным Сталинградом и, прорвав оборону противника, окружили 22 вражеские дивизии общей численностью около 330 тысяч человек. Усиленные попытки немецкого командования разблокировать попавшую в окружение армию Паулюса желаемых результатов не дали. В начале февраля 1943 года окруженная группировка была полностью ликвидирована.

Разгромив немецко-фашистские войска на Волге, советские армии перешли в общее наступление по всему советско-германскому фронту и уже в конце декабря 1942 года вступили на оккупированную фашистами Украину, начав ее освобождение.

...Возвратившись из осмотра боевых позиций полков, начальник политотдела стрелковой дивизии подполковник Борис Васильевич Мащенко прилег отдохнуть. Жарко натопленная шахтерская хата — одна из немногих уцелевших в поселке, в котором расположился штаб дивизии, казалось, позволяла надеяться, что он, наконец, отдохнет, сбросит с себя проклятую усталость. Он даже закрыл глаза, предвкушая, как вот-вот на него навалится поджидающая удобного момента дремота и уведет его в сказочное царство сна. Но сон, как назло, не приходил. Борис Васильевич с головой укрылся полушубком, добросовестно просчитал до ста и даже начал отсчет второй сотни, нарочито растягивая каждый десяток. Ничего не помогало!

«Что за чертовщина?!» — ругнулся он про себя, решив, что попробует мысленно пройти своими военными дорогами.

Дороги, дороги... По-разному у каждого они начинались 22 июня. По-разному. Взять того же Алексея Булычева, дружка Бориса Васильевича по Кремлевским пулеметным курсам. Кто бы мог подумать, что судьба забросит его в главный штаб чекистов? Их любимец Алеша, добрый, отзывчивый и даже немного застен-

чивый. И вдруг — чекист. Гроза врагов Советской власти. И это еще куда ни шло. Коммунист свою судьбу выбирает однажды, когда добровольно вступает в партию. А дальше — уже как она распорядится. Куда пошлет. Вот и он сам, Борис Васильевич, разве думал когда-нибудь, что ожидает его комиссарская работа? Да никогда в жизни! Даже обиделся тогда, услышав предложение кадровика. Еще бы! Ведь все они, кремлевские курсанты, видели себя только строевыми командирами. К этому готовились. Об этом мечтали. И вдруг такая перемена в судьбе. Но что тут поделаешь, коль партия так решила. Теперь же вот он не жалеет, что так обернулось. Так и Алексей...

Да... Так, да не совсем. В том и загадочном, и страшном тридцать седьмом году Алексея вдруг арестовали. Что там уже вышло и как, он сам не рассказывал подробно, а Борис Васильевич тоже не допытывался. Зачем в душу зря лезть к человеку? Будет можно, придет время, он и сам тебе расскажет. Если, конечно, сочтет нужным. А так, для чего человека лишний раз тревожить, заставлять вспоминать то, что ему неприятно. Алексей причину своего ареста кратко определил:

— Где-то сломалась наша машина. Кто-то подвел или предал. Говорят, что Лева Зиньковский.

— Задов? — спросил его Борис Васильевич.

— Он самый.

— А ты? Ты сам веришь в это?

— Не знаю, Борис. Не знаю и... давай не будем об этом. Я слово себе дал... И не только себе... Ну в общем, все. Да. Так вот. Выпустили меня как раз под утро 22 июня. Иду по Москве, а мне не верится, что я на свободе. Нет-нет и оглянусь: не идет ли кто за мной следом. Смотрю: чисто, никого нет. Когда немного пришел в себя, спохватился. Надо же Полинке с Воликом позвонить. Ведь, заявись я к ним без предупреждения, они еще, чего доброго, испугаются. Скажут, что это за нечистый с того света пожаловал. Тут в аккурат на углу телефонный автомат оказался. Я к нему кинулся. Ищу монетку, а ее-то и нет. Что делать? Увидел дворника. Подхожу к нему. Так, мол, и так, говорю, товарищ, не найдется ли монетка позвонить? Он меня с ног до головы окинул, но монетку все же дал, спасибо ему. Видать, добрый человек. С понятием. Стал номер набирать, а руки не слушаются. Дрожат, понимаешь, как у горького пьяницы. Но все же взял кое-как себя в руки. Дозвонился. К телефону она подошла, Полинка. «Здравствуй, родная!» — говорю ей. Она — в слезы. Успокоил ее и бегом домой. Отмылся в ванной, как положено. Говорим с нею, и я сам не знаю, как получилось, а только чувствую, что засыпаю. Борюсь с собой, но ничего поделать не могу. Поняла она мое состояние. Спать уложила, и я словно провалился. Проснулся, а она сидит рядом со мной и плачет. «Чего ты, милая? — спрашиваю. — Я же живой и здоровый». А она меня будто обухом по голове: «Война, Алешенька!» Я не мог

дома ни минуты сидеть. Побежал в управление: там же документы мои все. «Что делать? — спрашиваю. — Отправьте меня на фронт». Поверь, Борис, не просил ничего другого. Только бы на фронт попасть. Верил, что там теперь мое место. И меня поняли товарищи. Спасибо им...

Судьба человека на войне непредсказуема. Она не только водит его, грешного, по обожженным пожаром дорогам, являя тут и там пугающий лик смерти, швыряет в места, в которых ад кажется не таким уж и страшным, но иногда, хоть и редко, дарит приятные, а то и радостные встречи. Ну разве, думал он, Мащенко, тогда, когда, оставив Буковинские Карпаты, их 18-я армия не в силах сдерживать напор 11-й гитлеровский и 4-ой румынской армий, а также мощной танковой группы Клейста, медленно откатывалась на восток, когда покидали они Николаев и Херсон, города и села Запорожской области, что будет дарована встреча с другом далекой юности? Когда у степного села Поповка повел на отчаянный прорыв остатки потрепанной, обескровленной в непрерывных боях армии их командующий, генерал Смирнов, оставив полк майора Матвеева для прикрытия, подумалось батальонному комиссару Мащенко, что вот и настал его тот самый последний и решительный бой. Остались лежать навеки в запорожской степи и командарм, и командующий артиллерией Титов, и майор Матвеев, и не одна тысяча других боевых друзей. А ему повезло. Выскочили они тогда с несколькими бойцами и начальника штаба полка Гурама Канделаки у смерти выхватили. В гостях у этой косматой потом побывал и сам Мащенко. После госпиталя просился в свою 18-армию, но не получилось. Огорчился вначале, а когда повстречал в новой дивизии Гурама, успокоился. Сдружились они с этим веселым грузином. Перед самым Сталинградским наступлением назначили Гурама командовать полком. Только недолго воевать им вместе пришлось. Едва вступили на землю донецкую, как погиб начальник политотдела дивизии, и Мащенко назначили на его место.

— Эх! — сокрушался Канделаки. — Нэ везет нам с тобой, Борис.

— Ничего, мы тебе лучшего комиссара дадим.

— Нэт! — упрямо мотнул головой Канделаки. — Лучшего не будет. И нэ надо.

У Мащенко у самого кошки на душе скребли. Что ни говори, а с Гурамом они успели сдружиться, понимали друг друга с полуслова. А вот как там на новом месте жизнь сложится? Комдив — человек с норовом. Не любит, чтобы ему перечили даже когда неправ. Сработаются ли они? Ведь Мащенко себя тоже хорошо знал. Многие слабости умел людям прощать, но несправедливости, обиды не терпел.

— Скоро весь командный состав поменяется, — ворчливо встретил его комдив. — Один я останусь. Замполит погиб, начальник разведки на повышение пошел.

— Так Кравчевский уже не в дивизии? — удивился Мащенко.

— Уже! Забрали твоего Кравчевского в корпус.

— Вот как! А у нас же кто?

— Прислали какого-то майора Булычева...

— Булычева?! — изумился Борис Васильевич. — А зовут... зовут его как?

— Алексеем.

— Мать чесная!

— Знакомый, что ли?

— Друг! Друг моей юности.

— Ну и дела! — сдвинул шапку на затылок полковник.

— Где же он?

— А вон в соседней хате отдыхает. Иди здоровайся. Да зови его сюда. Есть охота. Просто моченьки нет...

В хате, куда, как на крыльях, летел Мащенко, кроме Алексея Булычева, оказалась и Катя Задорожняя. Обнимаясь с Булычевым, Борис Васильевич вначале не обратил внимания на женщину-лейтенанта, которая, склонившись над столом, что-то писала. Потом, немного придя в себя от радостной встречи и оглядевшись вокруг, замер посреди комнаты.

— Катя? — спросил, растерянно моргая глазами. — Катюша?

— Я! Я, Борис!

— Откуда?! — прижимая к груди огненно-рыжую голову Кати, изумлялся он. — Вот это подарок! Вот это радость!

Радость встречи испортили немцы. Едва они устроились пообедать, продолжая вспоминать дорогие, близкие сердцу подробности их довоенной жизни, как началась бомбежка. Сменяя один другого, фашистские самолеты с остервенением обрабатывали позиции, занятые дивизией. Земля, скованная морозом, казалось, стонала под тяжестью смертоносного металла, который обрушивался на нее, круша еще сохранившиеся постройки, оставляя на теле страшные раны. Одна из бомб попала прямо в ту хату, где располагалась дивизионная разведка, разорвав в клочья лейтенанта и сержанта, которые то ли не захотели, то ли не успели покинуть помещение.

— Ну вот, Катюша, — обронил Булычев, стоя на краю огромной воронки, образовавшейся на месте бывшей хаты. — Чудо спасло нас.

— И это чудо — Борис Васильевич, — откликнулась Катя. — Не будь его, не уведи он нас, где бы мы сейчас оказались.

Уже потом, несколько дней спустя, Мащенко узнал историю Катиных мытарств. Она ждала приезда мужа, когда началась война. За все время получила от Петра всего два письма. Одно из Луцка. Вернее, это было не письмо, а скорее записочка, в которой Петро сообщал, что жив, здоров, воюет, велел ей беречь себя и Витюшку. Второе письмо было несколько побольше.

— Петро не сообщал, где он, — рассказала Катя, — писал намеками, из которых я поняла, что воюет он уже где-то под Киевом.

Было письмо какое-то торопливое. Видно, спешил он куда-то. Что-то мешало ему сосредоточиться. То ли перед боем, то ли еще по какой-то другой причине. Вот и все. Больше вестей от него и не было.

— Ну, а ты, ты сама, Катя, как оказалась на фронте? — допытывался Мащенко. — Где сынишка ваш?

— В Казахстане он. Вместе с мамой. Нас ведь, немцев, почти всех вывезли из Донбасса. Опасались предательства... Немцы ведь...

— Ну-у-у! Катюша! Немец ведь немцу рознь, — отмахнулся Мащенко. — Тут другое, думаю. Боялись за вас. За вас и за еврейское население.

— Не знаю. Не знаю. Скажу только, что по приезду на место я сразу же попросила меня отправить на фронт. Писала письма в райком. Сообщала, что имею опыт боевой разведки.

— И что же?

— А ничего. Молчание, и все тут. Только когда обратилась с письмом к товарищу Сталину, вызвали меня, наконец, в райком. Потом в военкомат направили и перед самым нашим наступлением оказалась я под Сталинградом. Там с Алешей повстречалась. Он и определил меня переводчиком к себе. Когда пленных допрашивали, ух и наговорилась я по-немецки. За всю жизнь столько не говорила. Даже противно было.

— Вот это ты брось!

— А как ты думаешь? Разве я не понимаю, какую беду, какое горе принесли с собой немцы. Таким позором себя покрыли. Веками не отмыть.

— Да, — хмурился Мащенко. — Горе великое пришло на нашу землю из Германии. Это так. Это верно. Только принес его фашизм. Он и немецкому народу беды натворил. Стольких людей в зверей превратил. Но ты-то здесь при чем? И язык немецкий совсем не виноват, что на нем разговаривают Гитлер с Гимлером и их головорезы.

— Спасибо, Боря, что ты это понимаешь. Но ведь это ты. А большинство наших ненавидят всех немцев и все немецкое. Разве можно каждому объяснить, что ты не такой, что немец немцу рознь. Я, кажется, на все готова пойти, любое задание выполнить, чтобы доказать,.. чтобы поверили люди...

— Ничего тебе не надо доказывать, Катя. Да и невозможно это сделать вот так сразу, а тем более одному человеку. Пройдет время, возможно, немало времени, и все встанет на свои места. Люди поймут, что не народ виноват в совершенной перед человечеством гнусности, а те, кто пытался превратить его в скот, в огромное стадо разъяренных быков, готовых на своем пути смести и растоптать все.

— Но когда это будет!

— Да, не скоро. Но обязательно будет...

Казалось бы, все они тогда с Катей выяснили, все вопросы обсудили, но Мащенко видел, что душевного равновесия она так и не обрела. Конечно, о каком душевном равновесии, душевном покое можно было говорить, когда по-прежнему бушевала эта страшная война, когда каждый день рядом гибли люди, их боевые товарищи. Тем более, что Катя ничего не знала о судьбе мужа, а тут еще почему-то долго не было писем от матери. Горе, неизвестность о своих близких переживали и другие бойцы и командиры, но они молча, терпеливо выполняли свою работу, которую взвалила на их плечи война. А Кате этого было мало. Она все время старалась быть поближе к опасности, выбирая самые смертоносные места.

— Борис, — как-то заговорил с Мащенко Булычев. — Ты знаешь, что надумала Катя?

— Что еще?

— Требует, чтобы ее забросили в тыл к немцам. Говорит, что знает хорошо немецкий и сможет принести большую пользу именно там.

— Ну и ну! И что же ты ей ответил?

— А что я? — сдвинул плечами Булычев. — Ведь не женское это дело. Попадись она в руки гестапо, даже трудно представить, что может случиться. В то же время понимаю, что в чем-то права она. Ведь все эти места, куда просится Катя, ей хорошо знакомы. Еще с гражданской войны. И немецкий язык ей как пригодился бы. Но...

Алексей Андреевич красноречиво развел руками.

— Вот именно, что «но», — нахмурился Мащенко, бросив сердитый взгляд на Булычева. — Петра нет, а тут еще и без матери мальчишка может остаться.

— Понимаю. Поэтому и рапорт ее вот уже неделю ношу в кармане. Никак не решусь вручить Кравчевскому...

Все это снова вспомнилось Мащенко, пока он, согревшись, лежал под полушубком, борясь одновременно с чертовской усталостью и проклятой бессонницей. Наконец, он все-таки уснул, а скорее всего лишь задремал. Но это сонное состояние длилось всего одно мгновение. По крайней мере, ему так показалось, потому что сразу же его разбудил дежурный связист.

— Товарищ подполковник, вас к телефону.

— Слушаю, — вскочил с кровати и, взяв трубку, отозвался Мащенко.

— Это я, — услышал он голос Булычева. — Ты меня слышишь?

— Слышу, слышу.

— Связной с той стороны пришел. Из Запорожья.

— Откуда?!

— Из Запорожья.

Борис Васильевич замер. Уже известие о том, что связной оттуда из города, где жил он сам, где, возможно, осталась его семья, жена и дети, само по себе взволновало его. Но, кроме того, что-то насторожило и в голосе Булычева.

«Неужели? Неужели, что-нибудь с ними? — мелькнула тревожная мысль, больно сжимая сердце. — Нет! Не может быть! Не может...»

— Почему молчишь? — послышался на другом конце провода голос Булычева.

— Сейчас буду, — взяв себя в руки, ответил Мащенко. — Иду к тебе. Он быстро собрался и вскоре уже был у Булычева. Алексей сидел за стареньким, видавшим виды столом, о чем-то оживленно разговаривая с Катей. Сняв шапку и расстегнув полушубок, Мащенко присел рядом.

— Ну, так где же твой связной? — спросил он, немного помолчав для приличия.

— В госпитале.

— В чем дело?!

— Ранило его во время перехода линии фронта.

— Хоть сообщить что-то успел?

— Успеть-то успел, — бросив взгляд на Катю, отозвался Булычев.

— Ну и...

— Говорит, что в Запорожье действует подпольный ревком. Вроде сильная боевая организация. Назвал руководителей. Михальчук и Карпенко. А еще какого-то не то Леонова, не то Лимонова и Мащенко.

— Мащенко?!

— Да, Мащенко, — подтвердила Катя. — Я сама слышала.

— Неужели Клава? Нет. Не думаю.

— Тогда, может быть, Володька? — высказал догадку Булычев.

— Володька? — вскинулся Мащенко. — Так он же еще...

— Думаешь, что маленький?

— Ну да! Восемнадцать лет и маленький, — покачал головой Булычев.

— Почти девятнадцать...

— Мужчина! Настоящий мужчина. Он уже для вашего Юрки больший авторитет, нежели ты.

— Это точно, — грустно улыбнулся Мащенко.

— Только, что ни говори, Алеша, а дети для нас всегда останутся детьми, — вздохнула Катя. — И большие, и маленькие, а все равно дети. Вот я уезжала на фронт, а мне мама говорит: «Ты же смотри поосторожнее там, деточка моя». Деточка! Витька наш, когда услышал это, как засмеется. Заливисто так, как колокольчик. Таким он мне и запомнился...

— Вот-вот! — оживился Булычев. — Ему, твоему Витьку, еще расти и расти. И забота, и глаз родительский нужен, а ты вон чего надумала.

Он повернулся к Мащенко и, сокрушенно качая головою, выпалил:

— Ведь в Запорожье, к самому черту в зубы решила отправиться наша Катерина Ивановна.

— Вот как! Опять, значит, за свое, — нахмурился Мащенко. — Опять за старое.

— При чем здесь старое?! — сердито поджав губу, отмахнулась Катя. — Там же люди наши. В бой рвутся. И наверняка с завязанными глазами, потому что живут среди этих мерзавцев, не зная их языка, не ведая их планов. А они ведь наверняка на Запорожье особые надежды возлагают, раз туда Гитлер прилетал.

— Гитлер?! — изумился Мащенко. — В Запорожье?

— Ну да!

— Откуда известно?

— Да все тот же связник...

— Может быть, ошибка?

— Кто ж его знает! — сдвинул плечами Булычев. — То, что Запорожье фюрер просто так не сдаст, это ясно, как божий день. Здесь ведь гидростанция, мощный индустриальный комплекс. Рядом криворожская руда, марганец. Значит, и к обороне готовится. Наверняка проверять ее должен, своих высоких представителей послать. А может быть, и сам, своими глазами решился посмотреть, что оно и как там у его вояк.

— Тем более там нужен свой человек, Алеша! — оживилась Катя.

— Нужен, нужен, — потирая бороду, согласился Булычев. — Вот только какой? Кто туда должен отправиться? Вот в чем вопрос.

— Ты опять за свое! — рассердилась Катя. — Да, это опасно. Да, при выполнении задания можно погибнуть. А здесь разве нельзя? И по какому это праву мы одними можем рисковать, а других от смерти прятать. Только потому, что они нам ближе, они свои? Нет, товарищи, это не честно. Это, если хотите, подло. Я настаиваю, Алексей, чтобы ты доложил о моем рапорте Кравчевскому. Настаиваю!

Катя была до того хороша в своем гневе, что Мащенко невольно залюбовался ею. По правде говоря, эта женщина давно нравилась ему. С того самого дня, когда приходили с Петром Задорожним праздновать рождение их младшего сына Юрки. Борис Васильевич тогда много танцевал с Катей, восторгаясь той легкостью, с которой кружилась она в вальсе.

— Катерина Ивановна! — признавался он ей. — Вы прямо, как балерина. Легенькая, чисто пушиночка.

А она смеялась заливисто, задорно встряхивая огненно-рыжими кудряшками. Видимо, заметив его повышенное внимание к Кате, жена, как показалось, шутливо погрозила ему пальцем. Потом все это, конечно, забылось и, быть может, навсегда, не сведи их снова вместе война. Теперь та и еще несколько довоенных встреч с Петром Задорожним и его Катюшей вспоминались как что-то особенное и важное. Нет, это не было началом романа. Мащенко был уверен в себе. Установив еще с ранней юности для себя правило, что жена друга не может стать его женщиной, он неизменно оставался верным ему. Знал Борис Васильевич, что не

изменит ему и сейчас. Он ведь любил свою Клаву и своих сыновей. Очень любил. Пожалуй, так, как никогда раньше. Присутствие же Кати рядом как бы помогало ему связать сегодняшнюю военную реальность с той далекой мирной, сохранять в душе то согревающее сердце тепло, благодаря которому человек и продолжает оставаться самим собой. Она была для него чем-то вроде живой иконы, на которую он молился и чистоту, святость которой готов был защищать. Именно поэтому его раздражал, а порою и злил начальник корпусной разведки полковник Кравчевский, который, как казалось Борису Васильевичу, слишком часто наведывался к дивизионным разведчикам, донимая Катю своими ухаживаниями.

— Ты посмотри, какой гусь! — высказывал он свои возмущения Булычеву. — Война, вокруг смерть гуляет, а этому гусю хоть бы что. За каждой юбкой готов волочиться.

— Да не за каждой, — загадочно усмехаясь, отвечал Булычев. Есть сведения, что Кравчевский давно страдает по нашей Катюше.

— Как давно?

— А так. Одно время они служили вместе в Запорожском окружном отделе ГПУ.

— Вот оно что!

— Ага.

— Ну и что же?

— Да ничего. Выбрала Катерина Ивановна твоего комэска Петра Задорожнего.

— И правильно сделала! Ты же знаешь, Алеша, какой человек Петро? Ведь знаешь? Разве его можно с нашим гусем сравнить? Да ни за что на свете. И вот, что тебе скажу... Вот что. Если он не оставит Катюшу в покое, то я буду вынужден ее защищать.

— Ну ты не горячись. Не горячись, Борис. Наша Катерина Ивановна и сама себя не даст в обиду. Она ведь в гражданскую войну и к белым в тыл по заданию чекистов ходила, и у батьки Махно вместе с Левой работала.

— Вот, значит, какие дела!

— Такие. Только ты с ней об этом разговор не затевай. Ладно?

— Ну, что же. К слову, Алеша, а какова же судьба Левы?

Булычев помолчал, плотно сжав губы, а потом тихо обронил:

— Нет его. Давно нет.

— А семья? Ты же говорил, что жена у него, дети были.

— Дочь Аллочка погибла при обороне Севастополя. Она так и не узнала, что не родной, приемной Леве была. А сын, между прочим, ровесник твоего Володи, в нашей армии воюет. Танкист. Говорил Кравчевский, будто бы хорошо воюет. Недавно подавал заявление в партию.

— Ну и...

— Отказали пока. Как сыну врага народа.

— По-нят-но.

— Понятно, говоришь? — нахмурился Булычев. — В том-то и дело, что многое здесь не понятно. И служба Левкина у Махно, и возвращение его из Румынии уже столько раз проверялись и перепроверялись, что, кажется, ничего неясного там нет, а все равно к ним возвращаются. У мертвых уже ничего не узнаешь, а вот живых, которые как-то к тем событиям причастны были, какое-то отношение имели, тех нет-нет да и тревожат.

— Значит, и Катю, Катерину Ивановну нашу тоже?

— А ты как думал? Тот же Кравчевский... То ли сам, из любопытства, то ли по поручению кого-то нет-нет и спросит что-нибудь такое, на что и ответ сразу не найдешь. То у нее, то у меня...

— Значит и тебе не верят?

— Да как тебе сказать...

— Но ты же... Ты же разведка, Алешка! Как же так? Разве можно так с человеком? Всю жизнь под подозрением.

— Ладно. Давай не будем об этом. Поговорили немного и забыли. Идет?

— Ну, что ж. Пусть будет так, раз ты того хочешь.

— Так надо...

Как не тянул Булычев с рапортом, все же под настойчивым напором Кати пришлось сдаться, передав его во время очередного визита в дивизию Кравчевского. Узнав об этом, Борис Васильевич вначале был почти уверен, что Кравчевский откажет в просьбе. Кому, скажите на милость, захочется посылать черту в зубы человека, который тебе не безразличен? Хоть и был этот человек неприятен Борису Васильевичу, но в данном случае он очень надеялся на его отрицательное решение, которое должно было отвести опасность от Кати. Но Кравчевский неожиданно согласился.

— Приказано готовить переброску за линию фронта, — хмуро сообщил Булычев. — Настояла таки на своем, рыжая бестия.

— Н-нда! — вздохнув, покачал головой Мащенко. — Ну, что ж...

Вначале планировалось, что Катя будет заброшена в плавни вместе с радистом и группой прикрытия с тем, чтобы оттуда уже перебраться в Запорожье. Потом все же решили отправить ее через линию фронта пешком под видом убежавшей от большевиков дочери горного инженера немецкой национальности, репрессированного перед самой войной в Донбассе. Казалось бы, в этот образ ей не трудно было войти, поскольку многое из легенды совпадало с ее подлинной биографией. Но все же руководство сочло необходимым выделить несколько дней на подготовку, которая осуществлялась в корпусе. В дивизию Катя уже не вернулась.

...Германское командование и в самом деле придавало большое значение Запорожью и как мощному индустриальному центру, и как важному стратегическому пункту, узлу железных, шоссейных и воздушных путей сообщения. Не случайно сюда еще в декабре 1942 года прилетел Гитлер, обсуждая с генерал-фельдмаршалом Манштейном план так и не удавшегося деблокирования

окруженной под Сталинградом группировки Паулюса. 18 февраля фюрер вновь пожаловал в Запорожье к Манштейну, ставшему к тому времени командующим группой армий «Юг». Планировалось обсудить ситуацию, которая сложилась в полосе группы армий, особенно в районе Харьков — Донбасс и на Северном Кавказе. Стремясь удержать свои позиции, Манштейн начал перегруппировку своих войск, которую командующий Юго-Западным фронтом Ватутин принял за попытку немцев стремительно отойти за Днепр, и дабы помешать этому, бросил в прорыв 25-й танковый корпус генерала Павлова. Фюрер только начал совещание, когда к нему почти подбежал его адъютант:

— Мой фюрер! — взволнованно прошептал он. — На аэродроме русские танки.

Гитлер вынужден был срочно ретироваться, а прорыв советских танков, захвативших станцию Софиевка, освободивших ряд сел Ореховского и Красноармейского районов и вышедших к аэродрому «Мокрая», был вскоре ликвидирован.

Немцы не только не собирались оставлять Запорожье, но готовились к его серьезной и длительной обороне. Тем более, что для этого имелись необходимые условия. Восточные подступы к городу были изрезаны многочисленными глубокими балками, днепровские плавни прикрывали его с юга, а с севера оборону облегал глубокий залив с крутыми берегами.

Вокруг города были созданы мощные укрепления. Особенно лихорадочно возводились оборонительные сооружения именно в дни боев за Донбасс. Запорожье опоясали три укрепленных линии. Внешний обвод проходил по балкам, включая сплошной противотанковый ров шириной в три метра и глубиной в два, который походил на огромную извивающуюся змею. По щитам рва располагались дзоты с амбразурами вперед и на фланги. Это давало немцам возможность держать под прицелом не только подступы ко рву, но и весь его профиль. По гребням рва тянулись многорядные проволочные заграждения. За ними размещались минные поля. Дальше шла разветвленная сеть траншей, ходов сообщений, дзотов, огневых позиций. В наиболее угрожаемых прорывом местах обороны стояли бронированные колпаки — «крабы».

За первым обводом, уже в непосредственной близости к городу, шла вторая линия с еще большим количеством дзотов и железобетонных огневых точек. Жилые дома и промышленные здания на окраинах города также были превращены в оборонительные узлы.

Это была третья линия.

Весь укрепленный район фашисты прикрывали большим количеством артиллерии и тяжелых минометов. Немецкое командование стянуло на Запорожский плацдарм мощные силы пехоты, танки и артиллерию. Сюда же отходили уже основательно потрепанные в Донбассе воинские части.

На машине одной из отступающих воинских частей и пробралась в Запорожье Катя. Она устала отбиваться от приставаний подвыпивших «кавалеров», которые всю дорогу демонстрировали «очаровательной фрау» свое восхищение и солдатскую «галантность». Каждый из набившихся, как сельди в бочке, солдат старался усадить ее рядом с собою, не забывая при этом облапать свою соседку, прижать к себе или, по крайней мере, коснуться ее коленки, груди.

— О доблестный воин! — смеялась она, стараясь сдержать клокотавшую в душе ярость. — Я чувствую, как велика твоя тоска по дому. Но что же я могу поделать? Ведь все зависит от тебя, от каждого из вас, дорогие герои. Чем храбрее вы будете драться, тем быстрее разобьете этих Иванов, тем быстрее окажетесь дома, в нашей милой Германии, где ждут вас объятия и ласки самых прекрасных женщин мира — ваших жен и любимых.

— О да, да! — соглашаясь, кивали солдаты. На какое-то время они успокаивались, видимо, переносясь мыслями за многие сотни километров, где некогда были совершенно иными, милыми и скромными парнями, робевшими подойти, а тем более заговорить с девушками. Потом все начиналось сначала.

Когда их машина наконец остановилась и солдаты, первыми спрыгнувшие на землю, помогли выбраться из кузова Кате, она все же нашла в себе силы еще раз улыбнуться своим попутчикам.

— Может быть, фрау останется с нами? — многозначительно подмигивая, ерничал бойкий ефрейтор. — Вечер надвигается. Пора бы закусить и баиньки. А?

— Спасибо за радушие, парни! — развела руками Катя. — Спешу к бургомистру. Только представлюсь ему и тогда постараюсь навестить вас. Ждите.

Она помахала им игриво ручкой и зашагала прочь от хохочущей солдатни.

Идя по покрытой утоптанным снегом улице, Катя попыталась сориентироваться. Куда это ее завезли веселые нахалы? Ясно, что это не 6-ой поселок, а старая часть города. Только где она сейчас? Ага! Там, впереди, кажется, знакомые постройки. Да это же никак станция. Ну, конечно, станция! Вон и вытянутая рука семафора и башня диспетчерской. Значит, она у станции «Запорожье-второе». Где-то здесь неподалеку они с Петром были в гостях у Мащенко, когда отмечали рождение их младшего сына. Нет-нет, туда идти сегодня она не будет. Просто не имеет права. Ведь если и вправду тот самый подпольный ревком действует и Володя Мащенко является его активным участником, как сообщил связной, то нужно быть очень осторожной. Можно же не только самой попасть в лапы гестапо, но и других людей подвести. Она попробует связаться в Варей Василенко. Если сведения связного верны, то через Варю можно будет выйти на руководителей подпольного ревкома. Живет эта девушка на Зеленом Яру, по улице Котовско-

го, 2. Это, по-видимому, где-то неподалеку от дома, в котором снимала квартиру семья Мащенко. Так что, может быть, попутно удастся кое-что разузнать и о ней.

Неторопливой походкой усталого человека, который хорошо знает, куда и зачем он идет, Катя шагала по узким улочкам Зеленого Яра, вчитываясь в едва различимые в сумерках названия. Она боялась, что немцы, оккупировав Запорожье, наверняка постараются сменить названия улиц, так или иначе напоминающие жителям о Советской власти. Правда, перешедший линию фронта связной сказал, что Варя живет именно по улице Котовского. Но ведь он мог и ошибиться, дав прежнее ее название. Ранение и смерть связного не позволили все выяснить там, в части. Хотя немцы, кажется, прежние названия не меняли. Не захотели умышленно или просто некогда было этим заниматься? Скорее всего, второе. В центре города они наверняка сменили названия. Еще бы! Не могли же фашисты сохранить такие названия, как «улица Карла Маркса», «улица Кирова». Но то в центре. А сюда, на Зеленый Яр, настоящее село, которое раскинулось между новой и старой частями города, очевидно просто не дошли руки.

Так и есть. Вот она, эта самая улица Котовского, героя гражданской войны. Вот она и та самая времяночка, где живет Варя. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что улица пустынна, Катя толкнула жалобно скрипнувшую калитку.

— Вам кого, титонька? — послышался голос откуда-то сбоку. Катя оглянулась. Из-за забора соседнего дома на нее настороженно смотрела пожилая женщина.

— Да вот хлебушка поменять хотела, — отозвалась Катя. — Может, у вас будет?

— Який там хлиб! — вздохнула женщина. — Самим нема чого исты. А у тий хатынци пусто.

— Ну, что ж, — сдвинула плечами Катя. — Нет, так нет.

Теперь оставались Марийка и Мащенки. Клавдию Мащенко Катя видела всего пару раз. Узнает ли она ее? Нет, все-таки лучше пойти к Марийке. Родня же. Вот только Никита... Что если он окажется дома? Хотя вряд ли, чтобы он из тех мест, куда его упрятали, сумел до Запорожья добраться. А там кто ж его знает...

Посомневавшись, Катя все же решила идти к сестре мужа. Откуда было знать ей о тех событиях, которые произошли в хате Прудкосвистов три недели тому назад?

А произошло вот что. С отъездом Никиты Марийка жила, как в страшном сне. Вернее, это ее состояние началось гораздо раньше, с того самого дня, когда суд вынес ему свой приговор и Никиту куда-то увезли. Но тогда Марийка нашла силы взять себя в руки. Их у нее, видать, еще было достаточно. Да и подружка Фрида с мужем Юлием Липповичем, спасибо им, поддержали. Бывало, Фрида и за Павликом присмотрит, и гостинец мальчику принесет и ее, Марийку, от мрачных мыслей отвлечет. А ведь они были, эти

мрачные мысли. Ого! Еще какие. Жить не хотелось. Порой казалось, что дальше уже терпеть нет моченьки, и она готова покинуть белый свет. Но что-то всякий раз останавливало, мешало сделать последний решительный шаг. Немного придя в себя, Марийка часто задумывалась над той невидимой рукой, которая отвела ее от края могилы, в которую она преждевременно готова была столкнуть себя.

«Видно, Господь того не хотив, — решила про себя. — Може, Павлика пожалив, а може, безвыннисть Мыкитыну захыщав».

Эта мысль о невиновности Никиты тогда больше всего пришлась ей по душе и, по сути дела, помогла выстоять, подняться на ноги. Ведь, если Никита безвинно осужден, рассуждала Марийка, то Господь обязательно разберется в этой несправедливости. Разберется и возвратит ему утраченную волю. А как же! Иначе и быть не может. Разве не было уже такого, что Господь помог им с Никитой однажды найти друг друга через несколько лет? Было. А коль так, то почему не может это случиться еще раз. Конечно, у него, у Господа много дел. Сразу за всеми не уследишь и каждому не придешь на помощь. Но когда-то и до Никиты очередь дойдет. Глянет всевышний и поймет, что невинный он, что напраслину на него злые люди возвели, и отворит врата его темницы. Нужно только ждать и молиться. Да, молиться терпеливо и ждать. И Марийка это делала. Молилась подолгу и страстно, обращаясь к Господу с самыми нежными и трепетными словами, клянясь самым дорогим для нее и сокровенным. Даже война, хлынувшая на землю потоками крови, диким разгулом смерти, не смогла поколебать ее веры в торжество справедливости, которое должно было наступить. Обязательно должно.

И она таки дождалась своего Никиту. Боже, какая это была радость! Казалось, теперь перед ней исчезнут или, по крайней мере, отступят все другие беды и несчастья. Глядя счастливыми глазами на разметавшегося Никиту, она, грешным делом, порой думала: «Чи ж не сам всевышний в такому образи до мене з неба спустывся? И якщо це так, то я твоя, Господы, уся твоя. Душею и тилом. Навикы твоя раба».

Только радость Марийки была недолгой. Никита подолгу валялся в постели, потом бесцельно слонялся по хате или часами сидел у окна, зло играя желваками и беззвучно шевеля губами. Что там роилось в его голове, какие мысли беспокоили Никиту, Марийка не знала, а спросить не решалась. Она боялась его. Да, да! Именно боялась. Хотя в этом долго не хотела признаться даже самой себе. Рядом с ней как будто жил ее муж, тот, кого она так долго ждала, о ком так долго молила бога, а она чувствовала себя одинокой. Одинокой, как никогда.

Теперь не было ни Фриды, которая эвакуировалась вместе с Юлием Липповичем и их сынишкой Аликом куда-то в далекую Сибирь, ни Кати, которая уехала вместе с Петром на Полтавщину

еще задолго до начала войны. Конечно, Фриде она могла доверять абсолютно все. Катю же немного стеснялась. Правда, так было раньше, когда рядом был Никита и все у них было хорошо. Когда же Никиту арестовали и посадили, Катя как будто стала к ней ближе. Они встречались с ней всего несколько раз, но Марийка сердцем чувствовала, как переживает за нее жена брата, стараясь поддержать в трудное для нее время. Теперь Марийка одна задыхалась, захлебывалась в своей тоске, которая, не находя выхода наружу, жгла, терзала израненную душу, лишала жизненных сил.

Как-то на базаре она увидела Лиду, жену Яши, сына Юлия Липповича. Та была с Сашкой Лейманом, которого Марийка не любила и боялась. Поэтому, заметив их издалека, она поспешила затеряться в толпе. Зачем они ей? Сашка — известный бабник. Это она по себе знает. А Лидке это, видно, нравится. Конечно, нравится. Иначе разве бы она стала так открыто с ним встречаться, крутить любовь, едва успев проводить в военное училище мужа. Яша наверняка сейчас воюет, если еще жив, а Лидке хоть бы что. Обо всем на свете забыла. И о муже, и о дочери. Правда, о ней она и раньше не слишком заботилась. Приведет, бывало, голодную, одетую во что попало к ним в фотоателье, оставит на попечение Фриды, а сама завеется, кто его знает куда, до самого вечера. Ну разве она, Марийка или та же Фрида могли себе такое позволить? Да ни за что на свете! Нет, Лидка была непонятна и неприятна Марийке. А пришло время, и она ее по-настоящему возненавидела.

Это случилось тогда, когда немцы стали евреев, оставшихся в Запорожье, зачем-то переписывать. Поговаривали, будто увозить их куда-то будут. На работу, что ли. Только какая же может быть работа с маленькими детьми? Дядько Петро Коваль сразу ей сказал:

— Робота... Яка робота? Не! Шось тут не те. Ой не те! Боюсь, побьють их.

— Як то побьють? — изумилась Марийка. — За шо?

— А так. Ни за шо, — сдвинул плечами Коваль. — Тому шо евреи. И, действительно, вскоре стало стекаться еврейское население к зданию бывшей синагоги. Шли понурые, семьями, прощаясь с соседями. Отправила свою дочку и Лидка. Рассказывали, будто вывела за калитку и, отвернувшись, буркнула:

— Иди, иди, дочка.

— Мама! — вскрикнула девочка. — А ты, мамочка?!

— Я? Я здесь тебя подожду, — сказала и быстро юркнула в свою хату.

Потом по городу ползли слухи, что не увезли тех людей на работу в Мелитополь, как было объявлено, а расстреляли за городом где-то в районе совхоза имени Сталина. Узнав об этом, Марийка долго не решалась спрашивать об этом Никиту. Все те дни они с Лейманом пьянствовали. Но потом все же решилась.

— Микито, — спросила, улучив момент. — А чи правду кажуть, шо тых людей,.. ну, евреив, пострилялы?

Спросила и робко скользнула взглядом по лицу мужа. Бо-жже! Она его даже не узнала. Лицо это, перекошенное гневом, излучало такую ненависть, что Марийке показалось, что Никита вот-вот бросится на нее с кулаками. Она даже руки подняла, чтобы защититься. Нет. Тогда он ее не бил. Только, скрипнув зубами, бросил:

— Кажуть, кажуть! Слухаешь усякое, курва суха.

Схватив шапку и грюкнув дверью, как ошпаренный, выскочил из хаты. Марийка поняла, что то было правдой. С той поры ей стали сниться сны. Один страшней другого. То Никита бьет ее по чем попало, то гоняется за Павликом, которого она старается закрыть своим телом. Но чаще всего ей виделся самый ужасный сон, будто целится Никита своей винтовкой прямо в красивенькую чернявую головку Лидкиной Розочки. Девочка плачет, просится, а он злится и целится, целится, что-то сердито приговаривая. Вот только что именно, она разобрать не может. А Марийка силится броситься к девочке, прикрыть ее, но что-то держит ее, не пускает. И просыпается она вся в слезах.

«Невже ж вин? — кусая жесткие, как высушенные горячим солнцем губы, шептала, оставаясь одна. — Невже ж на його руках кровь тых бидолаг невинных?» Дальнейшее поведение Никиты, его отчуждение от семьи, от нее и от Павлика все больше и больше убеждало Марийку, что это именно так.

«Душогуб! — стучало в виски. — Душогуб! Убывця! От и диждалась. Господы, за шо? За шо ты мени не спасиння, не мылисть, а кару страшную послав? Чим же ж я, гришниця, перед тобою и людьмы завыныла?!» Силы ее таяли с каждым днем, а с ними, казалось уходила и сама жизнь.

Самым удивительным было то, что Марийка не боялась смерти. Она ожидала ее приход как что-то обычное, что непременно должно наступить и чей час уже настал. Более того, ей хотелось побыстрее уйти из этого опротивившего, ставшего ненавистным ей мира. Хотелось исчезнуть, раствориться в небытии, чтобы не встречаться со страшным, постоянно пугающим ее своими пустыми и пьяными глазами мужем, не слышать его голоса, противного покашливания, не ощущать отравляющего воздух духа. И когда, наконец, Никита совсем покинул их хату, Марийка облегченно вздохнула. Одно время ей даже показалось, что она начинает выздоравливать, выходить из этой свалившей ее болезни, самой тяжелой и страшной из тех, что когда-либо с ней приключались. Она вспомнила, что у нее есть Павлик, о котором все те тяжкие дни она почти не думала. Вспомнила и испугалась.

«Господы! — ужаснулась Марийка. — Та невже ж... невже ж и я, як та стерво Лидка, дытыну забула? Невже ж и мене ты, боже, останньои любови лышыв?»

Превозмогая слабость, она поднялась с кровати и, ступая нетвердыми ногами, принялась убирать в хате. Открыла ставни и, распахнув окна, вздохнула хлынувший в комнату свежий весенний воздух.

— Матусю! — обрадовался Павлик, подбегая к окну. — Вы одужалы?

— Кажись, — усмехнулась в ответ Марийка. — Кажись, одужую...

В тот день она прибралась в хате, сварила какой-то суп и, почувствовав страшную усталость, прилегла. Ночью проснулась вся в поту. Кружилась голова, и кашель рвал грудь. Опечаленный Павлик принес ей кружку.

— Попыйте, матусю, — прошептал жалобным голоском. — Попийте кипьяточку. Я туды сушеной малынкы кынув. Такый смачный напий!

Сделав несколько глотков, Марийка поставила кружку на стоящую у ее изголовья табуретку и бессильно опустилась на подушку.

— Спасыби, дытына моя. Де ж ты тую малынцу взяв?

— А то ж вы... Тож вы ще влитку насушилы и у вузлыка завьязалы, а я сухарыкив шукав на горищи и того вузлыка знайшов. Тепер малыновым чаем вас частуватыму, и вы швыдко одужаете. Так дид Петро Коваль казалы.

— Он воно як!

— Ага!

Павлик не отходил от нее. А Марийке становилось все хуже и хуже. Силы покидали ее, и она чувствовала, что в этот раз ей, очевидно, не подняться. Глядя на Павлика, Марийка мучилась от того, что оставляет этого маленького человека совсем одного на белом свете. Никита в счет не шел. Он теперь не мог быть помощником Павлику. Более того, самим своим существованием он должен был отравлять юную жизнь сознанием того, что его отец, чью фамилию он носит, бандит. Нет, хуже бандита! Бандит может отсидеть в тюрьме и, выйдя на волю, попытаться снова стать человеком. Начать жизнь сначала. А Никита? Разве может ему, Сашке Лейману с их дружками-головорезами когда-нибудь выйти прощение? Да никогда. У них ведь не только руки, душа пропиталась кровью расстрелянных, замученных людей. Такое и грехом не назовешь. Это что-то страшнее, чему и названия не придумаешь. Ужасом своим оно не только будет сопровождать до самой могилы совершившего его, но прорастет, отразится на детях, а то и внуках.

Неужто и ее Павлику, этой невинной крошке, предстоит жить под проклятием тех загубленных детей? Нет! Она не может, не должна допустить этого. Как? Она откроет ему тайну его рождения. Скажет ту правду, о которой когда-то дала клятву забыть самой. Пусть он в одночасье лишится ее, назвавшейся его матерью и (видит бог!) делавшей все, чтобы стать ею, но зато очистится от проклятого имени, данного Никитой.

— Сыночек! — собравшись с силами, позвала она мальчика.

— Чого вам, мамочка! — подбежал к ней Павлик.

— Сядь, любый, коло мене. Сядь и слухай. Сердце ее стучало медленно и гулко, будто хотело вырваться, выскочить из груди. Дышать было трудно.

— Може, водычкы вам?

— Ни! — повела она головой. — Слухай. Я — не твоя маты...

— Як же так?! — вскинул ручонки мальчик. — За шо ж вы мене... Чим же я завыныв?

— Ни, Павлыку! Ты ничим не завыныв... Колысь, в тяжкый час загынув твий батько и померла маты. Воны булы хорошимы, чесными людьми. Тоди я... мы з моим чоловиком надумалы заминыты их тоби. Може б, ты и не взнав бы, якбы не таке горе, що прыйшло на нашу землю, не ця вийна, яка в одных забрала життя, а у других разум, совисть и душу...

Марийка почувствовала, как что-то чужое, проникнув внутрь ее слабеющего тела, с силой сжало сердце. Казалось, еще немного, и оно не выдержит — лопнет, разорвется у нее в груди. И тогда... Тогда уже ничего не будет. Не будет? Нет! Не будет, не станет ее, Марийки, а все — весь этот жестокий и страшный мир будет по-прежнему существовать, укоряя, казня позором ни в чем неповинного мальчика. Этого нельзя допустить. Нельзя позволить совершиться такой страшной несправедливости.

Марийка прикрыла глаза, собираясь с силами. Сердечная боль как будто немного утихает. Еще немного, самую малость она помолчит, а потом... потом все скажет Павлику. Все, все.

— Не плач! — коснувшись кончиком языка пылающих губ, обронила она. — Не треба, сынку. Ты маешь буты сыльным, бо життя ... життя таке суворе, таке зле до слабых... Той, хто дав тоби призвыще Прудкосвыст, не мав на це права. Воно брудне. Воно прокляте. Я, та що назвалась твоею матирью, звильняю тебе вид нього. Зовсим звильняю. Твое призвыще Мыхайленко... Мыхайленко Павлик. Чуешь?

— Чую, мамо! — глотая слезы, кивнул головой мальчик.

— Батьки твои жилы в Новоандриевци. Там, може, когось з родычив знайдеш. Наши нимцив проженуть, до дяди Пети з тетею Катею звернысь. Воны не одмовлять, допоможуть тоби. Так. От и все...

Марийка замолкла, тяжело дыша. Взволнованный, растревоженный ее рассказом, Павлик плакал, сидя у ее изголовья.

— Мамо, мамо! — окликнул он ее, но Марийка не ответила. Обессиленная, она потеряла сознание.

К вечеру на короткое время она пришла в себя.

— Во-дычкы, сыну! — услышал Павлик. Он бросился на кухню, где стояло ведро с водой. Схватив кружку, зачерпнул и уже собрался нести ее больной, но вспомнил, что вода холодная. Дрожащими от волнения руками зажег примус.

— Пыйте, мамо! — наконец добравшись до кровати, поднес он кружку к ее губам. — Ось водычка, ма...

Но Марийка уже не реагировала на голос мальчика.

— Мамо! Мамочка! — навзрыд плакал Павлик.

Именно в этот момент к дому Прудкосвистов и подошла Катя. В который раз огляделась, проверяя, нет ли «хвоста» и, толкнув жалобно скрипнувшую калитку, быстро пересекла дворик. Осторожно постучала в дверь. Никакого ответа. Постучала еще раз, более настойчиво. Снова никто не отозвался. Тогда она подошла к окошку и подала о себе знак туда. Снова без результата. Вот это номер! Ведь если Марийки не окажется дома, то Кате предстоит идти к Василию Дружкову, который проживает на 6-ом строительном участке, или снова топать на Зеленый Яр к Мащенко. Это значит опять пересекать центр города, где, раз плюнуть, напороться на немецкий патруль. Да, не везет ей сегодня. Может быть, все же еще раз постучать?

Согнув палец, Катя постучала в окно. Ей казалось, что этот стук слышен далеко вокруг и вот-вот на него выйдет кто-нибудь из соседей. Прикусив губу, она с тревогой вслушивалась в вечернюю тишину, боясь пропустить грозящую ей опасность. Нет, кажется, все спокойно. Но и в хате как будто бы пусто. Неужели никого? Хотя нет! В окошке слегка шевельнулась занавеска. Вот! Еще раз шевельнулась.

— Марийка! — негромко позвала она. — Марийка, Павлик, откройте. Откройте. Это я, Катя.

Она услышала, как кто-то там, в хате, вскрикнул. Может быть, показалось? Но нет, идут открывать дверь.

Едва Катя приблизилась к крыльцу, как на нее буквально свалился плачущий Павлик.

— Те-те-тичко Катю! — захлебываясь слезами, говорил мальчик. Те-те-тичко...

— Тише! Ради бога тише, Павлик! — прижимая мальчика к себе, шептала Катя. Пойдем в дом. Скорее пойдем в дом.

Едва она успела войти и набросить дверной крючок, как Павлик, обхватив ее руками, разрыдался с новой силой.

— Успокойся! Павличек, успокойся! — гладя его по головке, приговаривала Катя. — Ты один? А где родители? Мама где?

Держа Катю за руку, мальчик повел ее в комнату. Остановившись у кровати, он прижал ее руку к своим губам.

— Ма-ма! — прошептал едва слышно. — Мама вмырають.

— Свет! — рванулась к кровати Катя. — Зажги свет! Ну, керосинка или хотя бы каганец есть у вас?!

С трудом она отыскала керосиновую лампу и, чиркнув спичкой, зажгла ее. Тусклый свет осветил лицо Марийки, и Катя едва не вскрикнула от выражения страшной муки, которое застыло на нем. Она пыталась что-то делать, чем-то помочь больной, чтобы привести в себя, но у нее ничего не получалось.

— Доктор! — бессильно опустив руки, выдохнула она. — Нужен доктор. Срочно! Ты знаешь, где он живет?

Продолжая плакать, Павлик покачал головой.

— Ну, хоть кто-нибудь из взрослых... Хорошие люди среди соседей есть?

— Дид Петро...

— Зови! — решительно скомандовала Катя. — Быстро беги к нему. Повинуясь ей, Павлик выскочил из хаты и вскоре привел с собой старика.

— Нужен доктор! — едва успев поздороваться, сказала Катя. — Иначе она умрет.

Зябко кутаясь в накинутую на голое тело фуфайку, старик молча жевал губами, искоса поглядывая то на Катю, то на Павлика.

— Петра жена, кажись, — наконец промолвил он. — Не помыляюсь?

— Да! — коротко отозвалась Катя. — А вас, простите, как звать?

— Петро... Петро Андрийовыч Коваль я. Колысь товарышувалы мы з вашим чоловиком. Молодший вин за мене. Набагато молодший, а все ж товарышувалы...

— Так можно достать доктора? — нетерпеливо спросила Катя.

— Достать то можна, — почесав затылок, вздохнул Коваль. — Тилькы далеко живуть. До ранку почекаты треба, бо покы я до Земляного добижу, сам кулю од нимця скорише спиймаю. Воны, нимци, зараз зли. Дуже зли, чуете.

Как ни уговаривала Катя идти за доктором ночью, Коваль отказался. Но пообещал отправиться с рассветом.

Слово старик свое сдержал. Утром больную осматривал фельдшер Земляной. Послушав не приходящую в себя Марийку, он долго хмыкал. Затем, тщательно вымыв руки и вытерев поданым Катей полотенцем,буркнул:

— Воспаление легких. Тяжелейшее. Боюсь, до обеда не доживет.

— Может быть, что-то можно...

— Врать не могу. Ни себе, ни вам.

Марийка умерла, не приходя в себя к обеду. Пока Катя обмывала ее и одевала, Петр Андреевич куда-то исчез. К вечеру, кряхтя, он втащил в хату сколоченный им гроб.

— Ось. Зробыв домовыну. Вичну хату Марийци.

Увидев гроб, Павлик снова заплакал.

— Не плачь, Павлику! Чуешь, не плачь, — обнял за плечи он мальчика. — Мы ж з тобою козакы, чуешь.

Посоветовавшись, они с Катей решили, что похоронят Марийку на следующий день.

— Хай уже вона переночуе вдома, як положено, я людей, сусидив поклычу.

Сбегав в управу, Катя успела зарегистрироваться. Блестяще выполненные в армейской разведке документы у принимавшего ее чиновника никаких подозрений не вызвали. Теперь она пребывала в городе на законном основании.

Пришедшим на помощь соседям сообразительный Коваль сумел шепнуть, что Катя дальняя родственница Никиты. Презиравшие, но боявшиеся ненавистного полицая люди, с расспросами к ней, слава богу, не лезли.

Немного оправившись от похорон, Катя снова отправилась к Варе Василенко. И опять безуспешно. Время шло, а установить связь с подпольщиками не удавалось. Катя начинала нервничать. Дав себе слово не подвергать опасности семью Мащенко, она все же вынуждена была нарушить его. Но и там ждала неудача.

— Нет нашего Володеньки! — вытирая слезы, говорила Клавдия Николаевна, жена Бориса Васильевича, которая все же признала Катю. — Увезли проклятые.

— Прудкосвист арестовал, — хмуря по-стариковски лоб, отозвался самый младший Мащенко.

— Кто арестовал, Юрочка?

— Прудкосвист, — пришла ему на помощь мать. — Полицай наш местный.

Поняв, что это уже было давно, Катя не стала дальше расспрашивать и вскоре распрощалась, пообещав при случае заглянуть еще.

Вернувшись в хату и накормив Павлика, прилегла на кровать. Ее знобило.

«Неужели заболела? — с тревогой подумала Катя. — Этого еще не хватало! Там ждут разведданных, а я здесь прохлаждаюсь. Нет. Будь что будет, а завтра иду к Дружковым».

Но сделать этого ей не удалось. В городе начались облавы. Заглянувший к ним Петр Андреевич долго сидел, посасывая самокрутку. Говорили о Марийке.

— Недавно живою бигала, а скоро вже и девьять днив.

— Да, — отозвалась Катя. — Помянуть бы надо...

— Добрым словом помьянем. А тоди вже, прыйдуть наши, и якось инакше...

Прощаясь, Петр Андреевич задержался в сенях и тихо сказав Кате:

— Вы б якось, той, поменьше у город бигалы.

— Почему? — сдвинула плечами Катя.

— Нимцям припекло. Люти воны дуже сталы. Усяке може буть. Глядить...

На следующее утро Петра Андреевича арестовали. Вместе с ним забрали его внука. Катя видела в окно, как вели их через двор к урчавшей на улице машине. Полдня она не выходила из хаты, ломая голову над вопросом, за что могли арестовать Коваля. Решив, что встревоженные неудачами на фронте и активностью подпольщиков немцы подозревать могут всех и каждого, она немного успокоилась. Покормила постным супом с остатками пшена Павлика и, велев ему никуда не отлучаться из дому, отправилась на 6-ой строительный участок.

Отыскав барак, в котором проживал Василий Дружков, совсем уже собралась войти, но что-то остановило ее, и она решила еще раз провериться. Миновав барак, повернула за угол и тут неожиданно для себя наткнулась на патруль.

Щеголеватый ефрейтор долго вертел ее аусвайс.

— Господин офицер имеет вопросы? — стараясь взять себя в руки, улыбнулась Катя.

Немец, сощурившись, пристально посмотрел на нее. В какой-то момент Кате показалось, что сомнения его рассеялись и он собирается возвратить ей документ. Но она ошиблась. Поколебавшись, немец решительно спрятал аусвайс в карман брюк, бросив Кате:

— Следуйте за нами, фрау!

«Неужели попалась? — мелькнула мысль. — Так глупо!»

Сколько раз ей доводилось бывать в переделках, да еще каких! И ведь везло. Всегда везло. Неужели все, конец везению? Где же она прокололась?

Ломая себе голову, Катя не догадывалась, что несколько дней тому назад гестапо удалось, наконец, выйти на след подпольщиков, за которыми оно давно охотилось. Именно на квартире у Дружкова, где собирался подпольный ревком, было арестовано большинство членов штаба. И теперь еще здесь находилась засада. Ее уже собирались снимать, но все оттягивали, надеясь, что, быть может, приплывет еще какая-нибудь рыбка. Словом, держали без всякой уверенности. Так, на всякий случай.

После предварительного допроса, уточнения личности, с чем Катя, как ей показалось, справилась успешно, ее отправили в битком набитую людьми камеру. Пробравшись в угол, Катя, прикрыв глаза, постаралась взять себя в руки. Она понимала, что самое страшное впереди. От гестапо просто так ей не отделаться. Предстоит серьезная борьба. Нужно готовиться. Готовиться к самому худшему...

4

Огненный шквал войны катился по земле истерзанной Украины. Уже во второй половине сентября 1943 года передовые части фронтов, ведущих ее освобождение, с хода форсировали Днепр, захватив на правом берегу реки свыше двадцати плацдармов. 14 октября советские войска освободили Запорожье, 25-го — Днепропетровск, а 6 ноября успешно завершили битву за Киев. В феврале-апреле 1944 года началось решительное наступление Советской Армии на Правобережной Украине. Вследствие умелого проведения Житомирско-Бердычевской, Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Никопольско-Криворожской, Проскурово-Жмеринской, Уманской, Одесской и других наступательных операций были разгромлены сильные группировки немецких войск и освобождена огромная территория республики. Линия фронта неудержимо приближалась к государственной границе СССР, три года назад вероломно взломанной отступающими теперь оккупантами.

Радостное настроение царило не только среди наступающих войск, в освобождаемых от фашистской неволи городах и селах, но и в партизанских лесах, приютивших десятки тысяч непокоренных. В чаще одного из лесов Волыни расположился партизанский отряд под названием «Дядько Петро». Хлеставший вторую неделю подряд дождь сделал практически непроходимыми дороги Полесья, и партизаны, выставив дальние и ближние дозоры, коротали время в добротно обустроенных землянках. На лежанке штабной землянки дремал командир. В этом обросшем огромной сметанно-белой бородой и такими же аккуратно подрезанными ножницами волосами, наползающими на высокий лоб, трудно было узнать Петра Задорожнего.

Да. Многое пришлось пережить Петру за эти трудные годы. Не все сохранила его память. Но основное держит. Разве может он забыть ту последнюю предвоенную ночь, когда мчался через лес в район? И кто знает, что было бы с ним, не предупреди его тогда коллега-учитель о предстоящем нападении немцев. Конечно, предотвратить ту страшную войну, которая и сейчас полыхает на земле его родины, он не мог. Да и кто подумал бы тогда, что она грянет. Ведь все газеты писали, что с Гитлером заключен договор о ненападении, что всякие там слухи о вооруженном столкновении с немцами есть ни что иное, как провокационная, вредительская выдумка, которую нужно сразу же пресекать, а тех, кто распускает их, привлекать к ответу. Про то каждый день твердило радио. Об этом же с ними говорили и в райкоме партии. Ну и он сам, естественно, так же людям говорил. А как же иначе?! Ведь это было требование партии, его, Петра, партии. Требование, которое утвердил, а быть может, и высказал не кто-нибудь, а сам товарищ Сталин. Ну а он то знает, что говорить и к чему призывать и

партию, и советский народ. Разве может товарищ Сталин ошибиться? Кто-нибудь другой, даже сам Господь могли. Это их дело. Пусть себе говорят и делают, что угодно. Пусть ошибаются. Пожалуйста. Но товарищ Сталин — извините! Такого быть не может. Он ему верит и веру эту никому не поколебать.

Так думалось Петру тогда. И летел он тогда в район, все еще сомневаясь: правильно ли поступает. Уже перед самым райцентром решил, что все же правильно. Правильно потому, что от коварной немчуры всякого можно ожидать, а от фашистов (и к тому же на границе) и подавно. Они ведь здесь такое могут натворить, такое накрутить, что и сам Гитлер не додумается. Иди потом разбирайся. Нет. Лучше все-таки предупредить райком, что так, мол, и так, ходят по селу всякие тревожные слухи, и нужно в них разобраться товарищам из НКВД. Подумав, решил к Ефиму Аникишину зайти и посоветоваться. Словом, ехал весь в сомнениях, как еж в иголках.

В райкоме, конечно, уже никого не застал. Куда там! Они на том празднике так вымотались, что спали без задних ног. Ткнулся к Ефиму домой, а тот в областной центр уехал. Ну куда податься? Решил прикорнуть на лавочке в скверике. Лето же на улице. Теплынь такая. Конягу к дереву привязал и едва на лавку опустился, как тут же уснул. Ничего ему и во сне привидеться не пришлось, когда начался тот грохот. Петро вначале ничего сообразить не смог. Свист, рев страшный стоит, и что-то в землю будто ступой огромной гупает. Потом самолеты увидел с крестами, которые с воем пикировали вниз, и понял, что это они бомбят райцентр.

Едва прекратилась бомбежка, Петро вскочил на дрожащего от пережитого ужаса коня и помчался в штаб погранотряда. С пограничниками принял свой первый бой. С ними отступал, дойдя почти до самого Киева. Был ранен буквально в тот день, когда прикрывавший отход полк отрывался от наседающего противника.

Потеряв сознание, Петро не помнил, что с ним было потом. Не знал, куда делись его товарищи-однополчане. Очнулся в незнакомой селянской хате. В полумраке тускло поблескивали на стенах фотокарточки в застекленных рамочках и из угла строго глядел с иконы Никола Чудотворец. Петру даже подумалось, что святой собирается ему учинить допрос. Вот сейчас откроет рот и спросит строго: «А скажи-ка, служивый, как и зачем ты забрался в чужую постель, не спросивши на то позволения?» Петру неловко стало от этой строгости и своего поведения, конечно, тоже. Вот только что ответить этому святому, он не знал. И может быть, от того, а скорее всего от слабости своей физической стал он нервничать и снова потерял сознание. Пришел в себя, услышав знакомый мамин голос. Откуда-то издалека старушка звала его, силясь что-то сказать. Только имя свое он хорошо слышал, а вот других слов разобрать, хоть ты убей, не мог. Злой порывистый ветер срывал те слова прямо с маминых губ и будто легкие, как лебединый пух, сухие листочки уносил неведомо куда. Петро до боли в

висках напрягал слух, силился разобрать те заветные матусины слова. Да где там! Разве совладаешь с тем степным босяком-ветром, невесть откуда набежавшим и атакующим его маманю.

— Эх и паскудный же ты, витрюгане! — в сердцах выругался Петро и тут услышал рядом чей-то еще голос:

— Дывысь, дывысь, диду, кажись оклымав!

— Здалось, мабуть, Фросю, — отозвался другой.

— Не-е-е! — радостно возразил первый голос. — Кажись, окуняв таки! Ось я зараз водычки йому трошки дам.

Петро открыл глаза и удивленно уставился на маленького седого, как лунь, старичка и остроносенькую старушку в непомерно больших для своего крохотного личика очках.

— Хто вы? — спросил Петро.

— От тоби и раз! — по-петушиному взмахнув руками, изумился старик. — Прыйшов до нас у гости и зразу за допыт: хто мы. Люды! Обнаковенни люди, козаче, яки од смерти тебе врятувалы. Отак. А от хто ты и звидкиля до наших краив прибув, то нам теж интересно було б знаты.

— Тильки ж не зараз, Свырыде. Не зараз! — вступилась старушка. — Вин же ще немичный. Не можна йому балакать.

— Та знаю, знаю, стара! Сам воював и, як тоби видомо, ранение маю.

Со временем старик, оказавшийся лесником, рассказал Петру о страшном бое, который разгорелся в то утро.

— Колы грим той стыхнув, — делая большие глаза, рассказывал он, — подалысь мы из Фросею до того мисця. Бо-ж-же мий, боже! Уси побыти — и люды, и кони. Кругом сама самисенька смерть гуляе.

— Думалы, жоднои живой души не осталось, — вздыхала, качая головой, бабка Фрося.

— Ага! Геть усих побылы. А тут бачимо у ярочку брычечка стоить. И як вона не перевернулася? Просто не знаю. Стоить начебто и не було навкруг неи горя того вогненного. Спустылысь мы тым ярочком и тебе побачилы. Думалы, шо и ты убытый. Колы ни. Живый.

— Живий, живый, Петю! — поддакивая, щебетала старуха. — Живый, слава тоби Господы!

Выздоравливал Петро медленно и трудно. А как боялся, чтобы фашисты его не обнаружили. Не за себя боялся — за стариков этих милых и добрых, которых послала ему доля в час испытаний. Тогда и к Господу обратился. Все молитвы вспомнил, что бабуся с матусей его когда-то учили. Свои придумывал. Разговаривая с царем небесным, просил пощадить души невинные и чистые своих спасителей и себе, конечно, жизнь даровать. Ни знака какого-то особого, ни ответа всевышнего он, конечно, не получил. Но жить остался и на ноги встал. Поди узнай, что тут помогло: то ли случай подвернулся, то ли снова доля ему такая дарована была. Вот толь-

ко кем? А неважно, кем. Важно, что вышло все так, как и хотелось ему и как просил.

Никому про то не говорил Петро. Зачем свою душу тревожить и других людей в смущение вводить? Пусть уже это будет его и только его тайной. Вначале, правда, смущала его мысль, что от веры своей коммунистической он вроде отступился. Вроде предательство он какое перед товарищами совершил. Потом, хорошенько поразмыслив, пришел к выводу, что ничего он не предавал. Жил, как совесть велела, и шел туда, куда она его вела. Разве мог кто-либо и в чем-либо его упрекнуть? Разве обидел он немочного и слабого? Разве не жалел бедного и убогого? Разве не стоял за правду народную? Нет, не было на нем грехов, в которых бы следовало перед товарищами-коммунистами и партией каяться. Не было. А то, что дрался со всякой контрой, с врагами проклятыми, так это же святое дело. С гадами дрался. К тому его Ленин и Сталин звали. А Господь? Ну что Господь? Он ведь тоже за справедливость, за правду-матушку. Тот же коммунист, только без партбилета. Да к тому же, как не раз говорила смеясь Катюша, еще не известно, когда коммунизм возник. Может, действительно самым что ни на есть первейшим коммунистом на земле Христос был. Что? Не так? А кто докажет, что это не так? Кто? Пусть ему покажут такого.

Словом, поселил Петро бога в своем сердце рядом с Лениным, и с тех пор они жили вместе, не разлучаясь. Разговаривая с ними обоими, старался не надоедать. Советовался по главным вопросам, тем, которые сам разрешить не мог. Тогда спрашивал, как бы, скажем, Ильич в этом случае поступил и как бы Господь на это посмотрел. Такое, значит, партбюро для себя образовал. Советуясь с ним, иногда и за помощью обращался. Просил прежде всего за Катюшку с Витьком, молил спасти их для него, не дать потонуть в этом военном буреломе, крушащем все на своем пути, не щадящем ни старого, ни малого, ни грешного, ни праведника, а еще — за людей хороших, друзей своих боевых, товарищей по оружию.

А они, товарищи по оружию, появились у Петра еще задолго до того, когда прочно встал он на ноги, сбросив с себя недуг, гнувший к земле после того ранения. И привел их к нему все тот же дед Свирид.

— Готовсь, сынок, — как-то шепнул он Петру под вечер, — готовсь гостей стричаты.

— Якых гостей? — насторожился Петро. — Звидкы воны?

— Из лису! — хитровато подмигнул старик. — Кругом же нас, бачишь, тилькы лис та небо. Та ты не бойсь. Гости хороши.

— А я и не боюсь, диду.

— Ну от и добре. От и добре.

Петро и не заметил, как те хлопцы появились. Что-то в сарае делал, когда услышал, как сзади скрипнула дверь. Оглянулся, а тут двое. Один в красноармейской шинели с винтовкой, а второй в фуфайке и с автоматом немецким.

— Вечер добрый, товарищ, — усмехнулся тот, что в фуфайке.

— Добрый до людей добрых, — немного растерявшись, отозвался Петро.

— И то правда, — кивнул головой пришедший. — А мы тут ходилы-гулялы та й выришилы до дядька Свырыда заглянуть. Як ви тут и шо.

— То може, до хаты, хлопцы? — появляясь в дверях, предложил старик. — Титка Фрося вже й стола накрыла...

Это были партизаны. Нет, не организованный отряд, заранее оставленный для борьбы с фашистами в тылу, имеющий запасы оружия, продовольствия и медикаментов. Собрались люди, многие из которых раньше совсем оружия в руках не держали и не думали о том, что им предстоит. Многие из них до этого даже не знали друг друга в мирное время, попав в отряд, то ли оказавшись в окружении, то ли отстав от своей воинской части, то ли по каким-то причинам не успев эвакуироваться. Руководил отрядом председатель местного колхоза Семен Дорошенко. Его-то и пригласил к себе в «гости» тогда дед Свирид.

Поправившись, Петро перебрался в партизанский отряд и вскоре стал его командиром. И произошло это по предложению Семена Дорошенко, который сразу заметил у Петра командирскую жилку.

— Человек я, хлопцы, мирный, — сказал он, собрав партизан. — У военном деле мало кумекаю. Ище у якусь халепу заведу вас. Хай командуе Петро Степаныч, а я вже за комиссара.

Петро вначале отнекивался. Говорил, что давно его командирство было. Но под нажимом Дорошенко, который, видать, и вправду имел комиссарский талант, все же согласился.

И дела у них в отряде, нужно сказать, шли неплохо. Вначале потихоньку пощипывали немцев, подстерегая зазевавшихся и слишком нахальных, которые рисковали двигаться лесными дорогами. Потом перешли к плановым операциям. Карали полицаев, громили небольшие гарнизоны гитлеровцев. Словом, старались свой партизанский хлеб не есть даром.

Почувствовав, что есть защита от оккупантов, жители округи ожили. Стали тянуться к отряду, видя в нем представителя Советской власти, которая, оказывается, не умерла. Пробуждалась задремавшая было вера в возможность освободиться от фашистской чумы. Людей все больше и больше волновали вопросы: «А что я скажу освободителям, когда придут? Не сочтут ли меня немецким пособником?» И ряды отряда пополняться стали, и помощь активнее стала. Думалось, что в здешних лесах Киевщины они и дождутся прихода Советской Армии. Но не тут-то было. Москва решила по-своему: оттуда получен был приказ отряду войти в состав партизанского соединения Федорова. Пришло время создать единый антифашистский фронт, который бы противостоял гитлеровским оккупантам не только по линии соприкосновения регуляр-

ных войск, но и в тылу, нанося мощные, ощутимые удары, нарушая коммуникации, сея неуверенность и тревогу. А для этого требовалось стратегическое руководство всем партизанским движением из единого центра. Такое руководство и осуществляла Ставка Верховного Главнокомандования через Центральный штаб партизанского движения, который был создан в мае 1942 года, а также через его структурные подразделения — республиканские, краевые и областные штабы, возглавляемые секретарями или членами ЦК Компартий союзных республик, секретарями крайкомов и обкомов. На Украине эту работу возглавили опытный партийный работник Демьян Коротченко и бывший заместитель наркома внутренних дел УССР Тимофей Строкач.

В марте 1943 года партизанское соединение Алексея Федорова совершило рейд в Волынскую область, здорово напугав оккупантов, которые вынуждены были отвлекать для борьбы с партизанами столь нужные фронту воинские части. Уходя от преследования карателей, соединение вынуждено было рейдировать, а отряд Петра, имея большое количество раненых, остался и продолжал по мере своих сил и возможностей действовать в местах, уже знакомых его командиру.

Разный люд обитал в то неспокойное время в волынских лесах. Кроме партизан, открыто дравшихся за Советскую власть и их открытых врагов-бандеровцев, были группы, именовавшие себя националистами, которые, воюя с немцами, не испытывали любви и к власти советов. Слишком свежи были обиды, нанесенные западноукраинскому населению поспешными и, чего греха таить, необдуманными и грубыми действиями в период перестройки их жизни на новый лад. Правда, боевых действий против советских партизан они не вели, но и на объединение с ними, на союз не шли.

Взять хотя бы отряды братьев Семчуков, что действовали неподалеку от того же села Гребень. Старший Михаил — заядлый антисоветчик, удравший за границу вместе с Петлюрой, долго проживал в Германии. Там окончил школу при абвере и перед самым началом войны был заброшен на советскую территорию для ведения диверсионно-подрывной работы. И в отряде у него подобрались отъявленные головорезы. Действуют на словах самостоятельно, а на деле являются явными пособниками оккупантов. Ведь не зря же люди шепчутся, что стоит кому-нибудь неосторожное слово против немцев сказать, как ждет его беда неминуемая: то хата пламенем возмется, то где-нибудь на пулю будто бы случайно нарвется. Более того. Как-то отряд Михаила Семчука на несколько месяцев куда-то пропал. Появившись в гребенских лесах вновь, Михаил пустил слух будто отлеживались они со своими хлопцами в лесу, залечивая раны после боя с фашистами. И главное, что бой тот действительно был. Около двух десятков немчуры нашли могилу в нескольких километрах от районного центра. Но кто тот бой вел? Вот в чем воп-

рос. Что хлопцы Семчука подстерегли тогда колонну немецких автомашин, вывозивших зерно, сомнений не было. Однако то был Николай Семчук, учитель, некогда работавший в той же школе, что и Петро, незадолго до его приезда и с помощью брата некогда избежавший ареста. А что же отряд Михаила? О нем поговаривают, будто незадолго до того самого боя отправился он на немецких же машинах куда-то в Белоруссию немецкий порядок наводить. И там, где побывали они, не одна деревня исчезла с лица земли и не одна сотня людей в нее легла. Да и сама земля-матушка после тех гостей вряд ли скоро родить станет.

Доходили до Петра Задорожнего слухи, будто вскоре после возвращения в эти края Михаила разругались братья. Почему? А потому, что вроде назвал Николай своего старшего брата душегубом и бандитом, а тот в ответ окрестил его предателем и коммунящким холуем. Так ли, не так ли было, кто его знает. Только какая-то интересная история, видно, и в самом деле имела место. И Петро уже давно пытался до нее докопаться. Зачем? А затем, что не хотел верить, будто все, кто не с ними сегодня по лесам прячутся, являются врагами Советской власти. Хоть и команды с Большой земли получал, что всех националистов следует считать заклятыми и опасными врагами и поступать как с таковыми, но, советуясь со своим «сердечным бюро», Петро приходил к выводу, что здесь что-то не совсем так, что нельзя всех одной гребенкой чесать.

— Так чесать будемо, — рассуждал он, — скоро лысыну зробымо. А з ким же и для кого тоди Советскую власть встановливать? Для звира лисного? Так вона йому потрибна, як зайцю кулемет. Ни? Тут шось не те. Шось не докумекалы ти, хто так каже.

Петро даже про себя не называл того, кто конкретно давал такую команду. Он хорошо понимал, что не могла она последовать откуда-нибудь из нижних штабов. А если так, то вывод напрашивался очень для него нежелательный. Выходило, что там, на самом верху, поступали неправильно. Тогда почему? Не может же быть, чтобы товарищ Сталин сознательно отдавал такой приказ. Не может. Значит, ошибаются? Это возможно. Ведь не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. А у вождя вон сколько дел. Чего-то не доложили или неправильно доложили, и вот тебе, пожалуйста, — ошибка. И какая! Сколько же людей из-за нее могут пострадать. Сколько человек головы свои понапрасну сложить могут. Нет. Такого Петро допустить не мог. Он долго ломал себе голову, думая, как ему следует поступить в этих обстоятельствах. Писать письмо товарищу Сталину? Так он же за свою жизнь ни одного письма не написал даже в самую низкую инстанцию. А тут вон куда! Нет, Петро не боялся общения даже с самыми высокими начальниками, в том числе и с вождями. Уж если он был убежден в чем-то, то готов был резать правду-матку кому угодно. Но для этого он должен был знать, что эта самая правда не отскакивает, как от стенки горох, а попадает в цель, доходит, так сказать, до сердца и печенок

того, кому она адресуется, должен был смотреть в глаза своему собеседнику. А письмо... Оно так, клочок бумаги немой. Да, да, именно немой. Ничего, что слова разные, пусть и самые громкие написаны. Но доберутся ли, доедут, дойдут ли они до того, кому предназначены? Вот в чем вопрос. Сколько тех писем разных товарищу Сталину адресуются. Разве все их он читает? Нет. В том-то и штука. Если бы это было так, то ему наверняка некогда было бы голову поднять, из тех листочков выбраться. Ну, а коль так, то, видно, кто-то для него отбирает из той реки письменной. Отбирает то, что кажется ему важным и нужным. Кто-то отбирает. Пусть даже умный и хороший тот человек. Но люди же писали ему. Со Сталиным они делились самым сокровенным и тайным. С ним одним. Ему лишь одному доверяли свои душевные муки. Тогда по какому праву в этих душевных муках ковыряется кто-то еще?

Нет. Такого Петро допустить не мог. К тому же он хорошо понимал, что в это время особенно строга военная цензура. И письмо до товарища Сталина не дойдет, а неприятностей со стороны ведомства Лаврентия Павловича можешь накликать. Не успеешь оглянуться, как тебя спросят:

— У тебя что, товарищ Задорожний, своя линия расходится с линией партии?

И всякий раз думая об этом вопросе, Петро почему-то слышал голос Ефима Аникишина. С той самой последней их встречи стал для Петра бывший друг Ефим воплощением великой несправедливости. Перебирая в памяти их разговор, он всякий раз ругал себя не только за то, что тогда не нашел нужных слов для того, чтобы доказать свою правду Ефиму, но и за то, что не разглядел в нем зачатки той подлости и мерзости, которая невесть когда успела расцвести своим страшным омертвляющим цветом.

— То ж треба отаким от стервою выросты! — играя желваками, сокрушался Петро. — Душегуб проклятый! Та через такых от, як ты, хиба пробьется слово правды до товарища Сталина? Николы! Вы ж выполыте його разом из головами самых людей, яки ту саму правду сказаты тилькы надумають.

Нет, Петро не распространял эту свою ненависть на все органы НКВД. Там ведь работали Лева Зиньковский и Алеша Булычев, другие его друзья и знакомые, которых он не только глубоко уважал, но и любил. Они делали большое и нужное дело, нередко чаще других рискуя головой. Что же касается таких людей, как Ефим, то они встречались и среди гражданских, отравляя крикливой демонстрацией собственного сверхпатриотизма и преданности партии, сдобренной подозрительностью к другим окружающим их людям.

— Не! — в конце концов решил Петро после долгих раздумий. — Ниякых лыстив я пысаты не буду и радытысь теж. Зроблю, як выришить сердечне бюро.

А оно, это самое бюро, навело его на мысль о том, чтобы обратить хлопцев Николая Семчука во взвод своего отряда. Какая раз-

ница, как они раньше себя называли — националистами или еще как-то? Ведь они немцев лупили. И еще как лупили! Об этом же хорошо знали не только его, Петра, партизаны, но и жители окрестных сел. Да, у семчуковых людей, в большинстве своем местных жителей, волынян, жива еще обида на Советскую власть за дела тех двух лет. И обида, и боязнь: не повторилось бы все снова. Но ведь тогда люди, которые новую власть устанавливали, сами не знали местных условий и того, что собой представляют эти самые волыняне. Кто среди них друг, а кто враг. Теперь же враг вот он, перед тобою — фашист. А коль люди ведут с ним вооруженную борьбу, рискуя жизнью, как и его, Петра, партизаны, действия которых направляет партия из самой Москвы, то кто же они, как не друзья? Ну, а раз так, то почему их не пригласить к себе?

«Хай поживуть з моимы орламы, — думал он. — Побачать, шо до чого, мо, и национализм ихний, шо той пух з дерев облетыть. Ну, а якшо надумають агитацию свою вести, то не страшно: у нас есть кому видповисты и по зубах даты...»

После принятого решения Петро поручил разведчикам искать дорогу для встречи с Николаем Семчуком. И месяц спустя, такая встреча состоялась.

— Кажуть, хлопцы, гуртом и батька легче быты, — стараясь держаться непринужденно, шутил Петро. — А перед намы ж не хто-небудь, а страшный звир. Його просто так не визьмешь. Мы ж одну справу робымо.

— Одну, — хмуря лоб, отозвался Семчук. — Одну, але кожный по-своему и для себе.

— Як же так? Хиба мы не звильняемо Украину вид окупантив?

— Але для чого?

— Як для чого? Щоб вильною була.

— Щоб оддать москалям. От для чого.

— Ну-у-у! Це москаль буде сюды ихаты жить? У нього ж своей земли скилькы завгодно.

— Тоди ж нашо наших людей бралы до крыминалу, выселялы, а то и стрелялы? Було це?

— Було, — вынужден был чистосердечно признать Петро, чувствуя, что надежды на объединение с отрядом Семчука практически нет никакой. — Але шо було, то загуло. Хиба зараз розберешь, хто там був правый, хто вынный. Хиба не твий братыку, Мыкола, вовком по лисам бигав? Не вин людей життя лишав?

В тот раз они так и не нашли общего языка, хотя договорились соблюдать относительно друг друга нейтралитет. И, нужно сказать, что за минувшие полгода он не был нарушен. Ни одной из сторон.

«Ничего, — рассуждал про себя Петро, — пройде час, и Мыкола з хлопцями зрозумиють, що нам все одно житы разом. Мы прыречени на те».

И он ждал. Терпеливо ждал, хотя и не все с таким решением его были согласны.

— Шо мы робым? — не раз выговаривал ему комиссар. — Кого жалием? Бендер крывавых, националистюк.

— А ты не горячись, — сдерживал его Петро. — Не горячись. Воны, як мы, з нимцями воюють.

— Пока з нимцямы, а завтра нам у спыну вдарять.

— Покы не вдарылы?

— Мыкола покы не вдарыв. А Мыхайло що наробыв? Тоби цього мало?

— Мы про Мыколу говорылы. А вин и Мыхайло — то ризни люды.

— Одного батька диты.

— И в одного батька ризни диты бувають, — не сдавался Петро.

Эти мысли вновь и вновь тревожили Петра в эти дни, когда фронт все ближе и ближе подходил к месту дислокации отряда. Как быть? Какие шаги предпринять, чтобы окончательно склонить на сторону упрямого Николая Семчука? Конечно, у того есть чего опасаться. Что ни говори, а старший брат своими подлыми делами и на него тень бросил. И хоть он, Петро, старался убеждать комиссара, что Николай за Михаила не ответчик, но и сам понимал, что аргументы его слабоваты. Ведь братья же они. Родные братья. Разве тот же Аникишин, доведись ему решать судьбу Николая, оставит его на свободе? Да ни за что на свете! Брат бандита. Закоренелого бандита, матерого врага Советской власти. Сам бежавший из-под ареста, к тому же оставив на месте побега убитого милиционера. Не он убил, а Михаил. Но кто это докажет? Эх, если бы Николай тогда согласился с его предложением и влился в отряд. Сегодня уже можно было бы говорить о заслугах перед Советской властью. Ведь за то, что он со своими хлопцами сделал, как дрался с фашистами наверняка полагались бы награды. Да не медаль, пожалуй, а орден. А имей тот же Николай орден, уже и говорить о чем-то можно. О прощении хлопотать. Тут бы он, Петро, и поручиться мог, своею репутацией и головою ради такого дела рискнуть решился бы. Только это, если бы...

— Товарищ командир! — ворвался в землянку, едва не сорвав дверь с петель, отрядный любимец, великан Михаил Горохов. — Товарищ командир, гости к нам.

— Шо за гости? — поднялся с лежанки Петро. — Хто такие?

— Наши! Разведка!

— Отето да! Де ж воны?

— Сейчас хлопцы приведут...

Не в силах ждать, Петро выскочил из землянки. Дождь, безжалостно хлеставший деревья и кустарники, словно обрадовавшись новой жертве, накинулся на него, в считанные секунды до нитки вымочив гимнастерку. Смахивая бегущие по лицу дождевые струи, Петро всматривался в обступивший партизанский лагерь лес, пытаясь за стволами огромных сосен рассмотреть тех, о ком только что сообщил ему Горохов.

— Де ж воны?! — нетерпеливо спросил он вышедшего следом за ним Горохова. — Де ж твоя разведка, Мышко?

Наконец Петро увидел тех, кого ждал. Вытянувшись в цепочку, они неторопливо двигались, едва различимые в своих плащ-палатках среди деревьев.

— Дороги! — прошептал он, смахивая дождевые капли, смешанные со слезами. — Дороги вы наши хлопчики! Прыйшлы. Нарешти прыйшлы...

Уже сидя в землянке и сбросив плащ-палатку, командир разведчиков, оказавшийся молоденьким лейтенантом с пухлыми, как сдобные булки, щечками, поведал Петру о том, что они являются одной из групп разведки, высланных армейским командованием для связи с действующими в этих лесах партизанскими отрядами.

— Сегодня несколько дивизий подходят к советско-польской границе, — стараясь казаться как можно более солидным и серьезным среди окруживших его бородатых мужчин, рассказывал лейтенант. — У нашей есть возможность выйти к границе первой. Вот только надежные дороги через лес найти нужно.

— То мы поможем! — хлопнув ладонью по столу, отозвался Петро.

— Есть таки дороги, — поддержал его комиссар.

— И стежки-дорожки, чуешь, покажем, и звидсы назустрич вам по нимчури вдарымо. Так, чуешь, вдарымо, шо загуде навкруг.

Отправив для связи с наступающими частями своего начальника штаба, Петро пригласил к себе для согласования совместных действий командиров отрядов соседних районов. Не забыл он и о Николае Семчуке. С этим было сложнее. Семчук долго уклонялся от встречи.

— Про шо говорыть? — отвечал он. — Вже и так усе сказано. Но Петро не оставлял его в покое, и Семчук наконец сдался. Только в отряд к Петру ехать категорически отказался. Пришлось выбирать место на нейтральной территории. Согласились на встречу неподалеку от села Гребень.

— Ач! — выслушав своего начальника разведки, покачал головой Петро. — До старых мисц Мыколу тягне.

— Так там же пивсела — його люды. Ще якогось паскудства прыдумають, Петре Степановычу. Мо, хай соби котеться до биса. Га?

— Ни, чоловиче добрый! Треба йты. Дуже треба.

На встречу с Семчуком Петро взял Михаила Горохова и еще двух партизан. Таков был уговор, и нарушать его он категорически отказался, хотя начальник разведки и настаивал на том, чтобы где-нибудь неподалеку спрятать отделение автоматчиков. Так, на всякий случай.

— Не треба, — сказал, как отрубил, Петро. — Добре дило мае по-чесному робытысь.

Петро со своим сопровождением прибыл к месту встречи первым. Ожидая Семчука, он жадно всматривался в расположенное

на самой вершине холма село. Находясь в этих местах вот уже несколько месяцев, он ни разу так и не смог заглянуть туда. Отсюда, с подножья холма, село как будто бы ничем не изменилось. В самом центре его высился шпиль церкви. Чуть поодаль вытянутое буквой «Г» здание школы, а рядом — двух-этажный панский особняк. Тогда, и мирное время, здесь располагалась контора колхоза. А что сейчас? Наверняка сельская управа или полицейский участок. Да, наверное. В самом же здании школы, как рассказывали ему разведчики, помещался штаб немецкого полка. Выходит, школа все это время не работала, и дети не учились. Ну да! Зачем немчуре грамотные рабы? Достаточно и того, что они будут знать буквы и сумеют прочитать приказ о том, что им можно и чего нельзя делать. В этом ведь суть нового порядка, будь он проклят.

— Так, так! — сквозь зубы прошептал Петро. — Шо ж, трохи почекайте, диты. Зовсим трохи, а там все буде инакше...

— Идут, товарищ командир! — услышал он шепот Горохова и, от неожиданности вздрогнув, недоуменно посмотрел на Михаила.

— Семчук прибыл, — указал глазами тот.

— Бачу, Мышко. Уже бачу. Ну шо ж, будем стричать?

Выйдя из-за густою кустарника, Петро неторопливо двинулся навстречу Семчуку. Он шагал по влажной от недавнего дождя траве, все время чувствуя на себе настороженный взгляд Николая и лихорадочно перебирая в голове слова, которые должен сказать ему. Ранее придуманные и как-будто подходящие, они теперь почему-то показались Петру сухими и неубедительными. А он должен, обязан был сделать все, чтобы Николай поверил ему. Поверил и пошел за ним, ибо только в этом был его шанс остаться живым самому и спасти тех людей, которые вверили этому человеку свои судьбы.

Сойдясь, они остановились и какое-то время молча смотрели друг другу в глаза, стараясь не отвести взгляда. Первым нарушил молчание Петро.

— Здоров, Мыколо! — произнес он и неожиданно даже для себя протянул руку. Петро видел, как Семчук растерянно метнул взгляд из стороны в сторону, словно искал совета у своих спутников. На какое-то мгновение ему показалось, что тот прячет руку за спину. Огонь досады и негодования вспыхнул в груди. Ругнувшись про себя, Петро уже собирался опустить свою руку, но вовремя заметил, как рука Семчука медленно и нерешительно двинулась к его руке.

— Здоров, дядько Петро! — поздоровался Семчук, коснувшись его руки кончиками пальцев. — А ты, я бачу, и мову нашу не забув.

— Так як же ж можна? — сдвинул плечами Петро. — То ж мова моих батькив, моя ридна мова.

— А багато ж и забулы... у вас там... на сходи.

— Е, е и таки. Их у нас батькобросами клычуть, — чувствуя, как нервная дрожь постепенно стихает, усмехнулся Петро. — Та и

у вас же дехто краще немецькою говорыть, аниж украинською. Чи не так?

— Може, й так...

— Та чого там може! Саме так и е. Ризни люды воны скризь е — и на заходи, и на сходи. Буде час, и про це поговорымо. А зараз инша у нас тема. Не про мову, а про життя людей говорытымемо. Багатьох людей. Як ты? Згоден?

— Давай.

— Ну, от и добре. Нимець тикае. От-от Украина зовсим чистою буде.

— Од кого?

— От чумы фашистськои.

— Так. А потим? Потим якою вона стане?

— А то вже народу выришуваты, як житы и яку владу маты. Тепер завдання наше таке: вид ворога землю очистить. А ворог у нас з вами одын — Гитлер и його кодло. Чи не так?

— Та так.

— Ну, колы так, то чи згодни вы разом з намы розпочаты звильнення району? Назустрич армии вдаримо.

— Район звильнымо, а дали нас за граты и до стинки.

Петро нахмурился.

— Знаешь шо, Мыколо, я твоим суддею не був и не буду. Одне можу тоби сказаты: воював ты и твои хлопци з нимцямы добре. Це кому хочешь и де хочешь засвидчу. Думаю, що боятысь вам нема чого. А прыйдут наши, вступымо до армии и разом погоным нимця аж до Берлину. Згоден?

— Згоден, покы разом на Гребинь ударыть, а там выдно буде.

— Ну, шо ж, так, той и так. Почнемо з цього...

На том они и согласились, договорились детально обговорить операцию после возвращения делегированного за линию фронта посланца Задорожнего. Между тем тот, благополучно добравшись вместе с армейскими разведчиками до штаба дивизии, даже не подозревал, что имя его командира произведет такой переполох у дивизионного начальства.

— Как фамилия командира, товарищ? — едва пришедший успел ее произнести, переспросил майор, начальник особого отдела дивизии.

— Задорожний.

— А зовут? Зовут его как?

— Дядько Петро...

— Да нет! Имя, отчество назовите, товарищ, — вмешался в разговор моложавый полковник.

— Так, Петро Степановыч.

— Не может быть! — вскочив со скамейки, воскликнул полковник. — Не может быть.

— Як же не может, товарищу полковник? — обиженно засопел гость. — Петро Степановыч Задорожний зовуть нашего командира, а люды клычуть «дядько Петро»... Хиба я не знаю?

— Простите нас, товарищ Сидоренко, — улыбнулся майор. — Мы верим вам. Только... только, кажется, и мы знаем вашего командира.

Теперь пришла пора изумиться гостю.

— Як знаете? — растерянно моргая глазами, выдавал он из себя. — Петро ж Степановыч тутешний. Дыректором школы працював.

— Он! — воскликнул майор. — Слышишь, Борис Васильевич, это твой комэск.

— Неужели, Алеша?! — улыбаясь, покачал головой полковник. — Неужели жив наш Петр? Просто чудо какое-то.

— Ты прав, Борис, это действительно похоже на чудо. Но разве мало мы встречали чудес за годы войны? Я и в гибель Кати не верю. Понимаешь? Ну, не верю, и все тут!

— И я не верю...

Пробыв сутки в штабе дивизии, Сидоренко успел повстречаться с начальником особого отдела корпуса, отработать с оперативным отделом задачи партизанских отрядов в предстоящей наступательной операции. Возвращался он в отряд, неся своему командиру отряда приветы от друзей его молодости — полковника Мащенко и майора Булычева.

...Освобождение Волыни войска 13-й армии 1-го Украинского фронта начали еще в конце января 1944 года, почти одновременно с завершавшимся освобождением Запорожской области, за каждый метр которой фашисты держались, что называется, изо всех сил. Петро тогда испытывал двойную радость — за свою малую родину и за ставшую ему близкой полесскую землю, которая очищалась от гитлеровской нечисти.

Вначале дело шло как будто споро. Прорвав оборону врага, 1-й и 6-й кавалерийские корпуса, взаимодействуя с 76, 77 и 24 стрелковыми корпусами в первых числах февраля освободили районные центры Маневичи, Киверцы, Колки, Олику, Цумань, Теремно, а затем и областной центр — город Луцк. Однако, по мере продвижения наших войск, гитлеровцы усиливали сопротивление и, отбросив их за реку Стыр, наступающие вынуждены были занять здесь оборону. Остаток февраля и практически весь март ни одна из сторон активных боевых действий не вела. Сказывалась усталость войск, необходимость их переформирования, усиления материально-технического обеспечения. Да и погодные условия не способствовали развитию наступательных операций. В это время активно работали поисковые группы разведок различных уровней, шло прощупывание, зондирование обороны и возможностей друг друга.

Именно в этот период и осуществлялась переброска на Волынь из-под Запорожья стрелкового корпуса, в составе которого числилась дивизия Мащенко. Борис Васильевич все еще находился под впечатлением встречи с семьей.

В коротких снах ему часто являлись Клавдия — исхудавшая, измученная угрозой расправы, которая постоянно висела над ней

все те страшные месяцы фашистской оккупации, и, конечно, Юрка. За это время, пока они не виделись, сын подрос, вытянулся и теперь очень походил на старшего Володю в таком же возрасте. В том, что Клавдия с Юркой все же выжили, уцелели, Борису Васильевичу видится просто чудо. Ведь соседи же знали о том, что он комиссар. Мог найтись какой-нибудь мерзавец, и тогда... Мог, но не нашелся. Правда, Клавдия несколько месяцев находилась в Никополе со сломанной ногой. И Юрка с ней был. «Защитник!» — говорила Клава. Да, защитник. Только за этим защитником глаз да глаз был нужен. Это же юла, которая на одном месте не стоит. Того и гляди, в какую-нибудь беду влезет. Но, слава богу, в этот раз обошлось. Обошлось... Как сказать, конечно. Старшего-то Володю все-таки арестовали проклятые полицаи. Арестовали за два месяца до провала их подпольной организации, и это его спасло. Володю, говорят, увезли то ли в Днепропетровск, то ли еще куда-то, а подпольщиков почти всех расстреляли. Вместе с ними погиб и сосед их Федот Никифорович Юнацкий. Сердце его, Бориса Васильевича ноет, но надежда все-таки есть: жив их Володя. Придет время, и, может быть, встретятся они и снова будут вместе — его дорогая Клавушка и их сыны-соколы.

3 апреля части фронта начали наступление. В считанные дни были освобождены районные центры Берестечко и Сенкевичивка, но летом немцам вновь удалось остановить продвижение советских войск. Дивизия Бориса Васильевича вот уже два месяца стояла перед Любомлем. Он знал этот городок из военной истории. Во время Отечественной войны 1812 года по нему проходила северная линия дислокации войск 3-ей русской армии под командованием генерала Тормосова, которая в тяжелых боях сдерживала наступление наполеоновских войск в глубь Украины. Героически дрались здесь советские воины и в июне 1941 года, когда фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Борис Васильевич помнил, что название этого городка проходило по военным сводкам. Теперь их дивизии предстояло во взаимодействии с танковой бригадой его освободить.

По замыслу командования, наступление частей дивизии и танкистов на позиции гитлеровцев, оборонявших Любомль, должно было начаться в семь часов утра после артиллерийской подготовки одновременно с атакой партизанских отрядов на немецкий гарнизон, расположившийся в селе Гребень. Это позволяло сковать части противника, лишив его возможности маневрировать.

До начала артиллерийской подготовки оставалось еще пять часов. Можно было бы поспать, но это-то у Бориса Васильевича никак не получалось. В какой-то момент ему показалось, что он уже засыпает, но телефонный звонок из политуправления армии напрочь отогнал зарождающуюся дремоту.

— Мащенко, — пробасил начальник политуправления.

— Слушаю, товарищ шестой.

— Как дела? Как настроение?

— Настроение нормальное. А дела завтра посмотрим.

— Но-но-но! Завтра посмотрит он, — недовольно проворчал генерал. — Завтрашние дела делаются сегодня, и ты должен это понимать.

— Понимаю, товарищ шестой.

— Ну, вот. Это другое дело. Теперь вот что хочу тебе сказать. Нынешние места не то, что твоя Полтавщина. Ты ведь, кажется, оттуда родом.

— Оттуда.

— Ага. Это не то, что Полтавщина или Донбасс с Запорожьем. Это Западная Украина. Здесь еще ядовитые плоды капитализма убрать не успели, а националистический чертополох вовсю распустился. Теперь полоть его да полоть!

Борис Васильевич вспомнил свою службу в Каменце-Подольском, те сомнения в правильности национальной политики на Украине и хотел было возразить генералу. Но сдержался, промолчал. И уже когда положил трубку, ругнулся про себя:

— Хрен его знает, что мы за люди! Если немного не так человек думает, то он уже не наш, чужой, а то и враг.

Конечно, он понимал, что настоящие враги были, есть и будут. Будут, по крайней мере, еще долго. Но не все же, кто думает иначе, чем вожди, враги. Из того, что эти волынские селяне не будут во всем согласны с новой жизнью, еще не значит, будто всех их следует записать в националисты, бандеровцы. Да, сегодня они кое в чем сомневаются, кое-что не приемлют. Ну и что? Значит, нужно попробовать их убедить в неправоте. Показать, в чем они заблуждаются, ошибаются. Нельзя же поступать по-солдафонски, одними командами, одними окриками заставлять людей строить новую жизнь. Ведь ее, эту самую новую жизнь, нужно творить. Творить всем и каждому. А раз так, то отличия здесь не только возможны, но и необходимы. И нечего этого бояться.

Думы, думы... Они тревожат, жгут неспокойную душу комиссара, не дают покоя даже перед боем. А ведь бой предстоит не простой. Фашисты просто так город не сдадут. Будут и раненые, и убитые. Будут неизбежно. Эх, только бы поменьше. Поменьше бы кровушки славянской пролилось. От нее ведь земля богаче не станет...

Понимая, что все равно уже не удастся уснуть, Борис Васильевич поднимается, делает несколько резких спортивных движений. Быстро одевается и идет на командный пункт дивизии. Комдив уже там.

— Что, комиссар, не спится? — встречает он улыбкой Мащенко.

— Какой к лешему сон?

— Во-во и у меня то же самое. Жмурил, жмурил глаза, а он проклятый не идет. Не идет, хоть ты тресни. Ну, ничего. Возьмем город и отоспимся.

— Вряд ли, — качает головою Мащенко. — Этот возьмем, и о другом нужно будет думать.

— Это верно. Отоспимся после победы.

— Непременно.

Время до начала артиллерийской подготовки тянется томительно долго. Кажется, что стрелки на часах замерли и не движутся. Уж не остановились ли часы? Борис Васильевич подносит их к уху. Нет, тикают.

— Идут, идут, — усмехнулся комдив. — Я вот тоже свои выслушивал недавно.

Они смеются. Но смех их лишен веселья. И откуда быть тому самому веселью, когда смерть затаилась в неохотно отступающей в городке ночи. Она тоже ждет. Ждет свои жертвы, которые вот-вот принесет ей война.

— Пора! — наконец коротко бросает комдив, и тут же рядом с ним хлопает выстрел ракетницы. Красный уголек взмывает вверх и, зависнув над полем предстоящего боя, начинает плавно опускаться. В тот же миг орудийные залпы разрывают тишину.

Артиллерийская подготовка длится уже сорок минут.

— Жрите, фрицы! — довольно улыбается комдив. — Сейчас мы не жадные. Есть чем вас угостить. И на первое, и на второе.

Канонада еще не смолкла. Только снаряды теперь рвутся где-то в глубине обороны противника. Ага, вот и танки уже двинулись вперед, сердито урча. Будто угрожают: берегитесь, раздавим. За танками — пехота. Штурм начался.

Немцы сопротивлялись отчаянно. Были отбиты две атаки. Буквально в сотне метров от города стояли четыре подбитых «тридцатьчетверки». Едкий густой дым стелился над полем боя, над замерзшими навеки телами павших.

— Я схожу к Петрову, — хмурясь, сказал Борис Васильевич, — что-то долго они там возятся на правом фланге.

— Давай! — коротко бросил комдив, которого и самого уже давно тревожило положение дел в полку майора Петрова.

Прячась в неровностях местности, Мащенко через сорок минут прибыл вместе с ординарцем и двумя автоматчиками на место. На командном пункте полка он появился как раз в тот момент, когда Петров разговаривал по телефону с комдивом.

— Да не спим мы, не спим, товарищ полковник, — вяло возражал он. — Пойдем. Скоро опять пойдем. Вот только бы огоньку добавить и пару-тройку коробок...

Обернувшись, майор увидел стоящего рядом Мащенко и сокрушенно покачал головой.

— Что, причесывал батько? — спросил Мащенко.

— Ох и причесывал! Обещал с полка снять и к обозникам отправить. А за что, товарищ полковник? За что? Эти же гады фрицы вон как обустроились. Мои батальоны у них, как на ладони, выложены. И так столько людей потеряли...

— Ладно, ладно, майор, — остановил комполка Борис Васильевич. — Возьмем город, а там видно будет, куда тебя определить: в обоз или к награде. Сам же знаешь, что победителей не судят.

— Знаю, товарищ полковник.

— А раз знаешь, то и давай думать, как ее, эту самую победу добывать. И не трупами людей наших, а хитростью, умными действиями дорожку к ней прокладывать.

— А я что?

— Ты же пока, как мишка косолапый: напролом, в лоб идешь, сегодня так нельзя. Давай-ка вместе думать...

Батальоны медленно, но упорно продвигались. К середине дня уже была освобождена большая часть города.

С комдивом Мащенко встретился в здании местной школы, куда только успел переместиться штаб дивизии.

— Борис, — тронул его за плечо начальник штаба Гурам Канделаки. — Тебя ищет связной от партизан.

— Где он? — вытирая пот со лба, спросил Мащенко.

— Да вот он, — указал Канделаки на огромного детину в куцем пиджаке. — Вот этот джигит. Говорит, что от твоего друга.

— Сержант Михаил Горохов! — представился связной. — С письмом от командира.

— Как там, Петр Степанович? — поинтересовался полковник, нетерпеливо разворачивая сложенный вчетверо листок ученической тетради.

— Плохо, — вздохнул великан.

— Что? — вскинулся Мащенко, отстраняясь от листка. — Живой?

— Ранен. В грудь. И главное уже в самом конце боя. И откуда тот подлючий фриц с автоматом выскочил, ума не приложу.

«Дорогенький мой Борысе! — запрыгали перед глазами слова, нацарапанные нетвердой рукой Петра. — Эх, як же ты мени зараз потрибен. Ты и нихто бильше. Якщо можешь, то пидскоч до мене у Гребень. Дуже прошу, бо сам не можу. Твий Петро».

— Где это ваш Гребень?

— Да тут леском на лошадях за часок добежим.

— А машиной? Машиной проедем?

— Ну, а чего же? Дороги подсохли. Вмиг домчим.

Через несколько минут Мащенко в сопровождении доктора, Горохова и двух автоматчиков уже ехал, петляя лесной дорогой. А в одной из хат несколько часов тому назад освобожденного села Гребень лежал раненый Петро Задорожний. Сознание то покидало его, и тогда Петру казалось, что он погружается в воду родного Днепра, прохладного и ласкового, то вновь возвращалось, и тогда он словно выплывал, поднимался откуда-то из темной и бездонной глубины, стремясь наверх, к солнечному свету и свежему воздуху. В один из очередных подъемов Петро и услышал, как кто-то разговаривал рядом:

— Ну как, доктор? — спрашивал чей-то знакомый до боли голос.

— Плохо. Пока очень плохо, — покашливая, отвечал ему кто-то другой.

— Но жить, жить-то он будет?

— Не знаю, товарищ полковник. Не знаю. Нужно срочно везти в госпиталь.

«Кто они такие? — пытался понять Петро, почему-то не решаясь открыть глаза. — Будет жить... О ком? О ком это они?» Наконец усилием воли он заставил себя разжать веки и глянуть на тех, кто был с ним рядом.

— Борыс! — хотел радостно крикнуть он, но губы лишь едва заметно шевельнулись:

— Борыс!

— Ожил! — изумился Мащенко. — Доктор, он ожил. Видите? Но доктор уже сам все видел и хлопотал возле раненого.

— Он вас, товарищ полковник, просит.

— Здравствуй! Здравствуй, дорогой мой комэск, — склонившись над Задорожним и едва сдерживая слезы, произнес Мащенко.

— З людьмы,.. — прерывисто дыша, шептал Петро. — Чуешь? З людьмы стринься... Я обицяв... Обицяв, шо ты зробышь... Ты поможешь...

— Кому помочь? В чем? — пытался выяснить Мащенко, но сознание вновь покинуло Задорожнего.

Вошедший в хату комиссар партизанского отряда рассказал Борису Васильевичу, что село Гребень они брали вместе с отрядом украинской повстанческой армии.

— С националистами?! — изумился Мащенко.

— Так, товарышу полковнику! Але то не ворогы. Воны былыся з гитлерюгамы не гирше за нас. И Петро Степановыч обицяв, шо их не тронуть. Ну, простять. Про це вин и вас просыть збырався. Хотив, шоб вы людям сказалы, пидтвердылы, що ти, хто былыся з нимцямы, не е ворогы. Така, значить, справа...

— Да! — потирая затылок, вздохнул Мащенко. — Вот оно что. В памяти всплыл ночной звонок начальника политуправления, который ориентировал его на определенное отношение к националистам. А тут, выходит, совсем другая ситуация. Как быть? Но ведь он не может не верить Петру — коммунисту со стажем, герою гражданской войны, который воевал рядом с этими людьми.

— Добре! — после раздумий решился Борис Васильевич. — Пошли к людям. А пока мы будем говорить, отправьте в госпиталь раненого.

По пути к зданию, в котором недавно располагалась полиция, теперь собрались партизаны и жители села, комиссар попросил:

— А вы б, товарищу полковныку, нашою... украинською мовою змоглы людям сказаты.

— Украинською? — переспросил Борис Васильевич. — Ну а чого ж ни? То ж и моя ридна мова. Я ж з Полтавщины.

— Оце здорово! — обрадовался комиссар.

В большой комнате народу — яблоку негде упасть. Большинство с оружием. Дым стоит столбом от самокруток.

— Доброго дня, люды добри! — поздоровался Мащенко, сняв фуражку. — Ох и насадылы мы з вамы цыгаркамы. От-от стеля злетыть.

Первые слова ему дались легко. Борис Васильевич видел, как в глазах у людей засветился огонек интереса, а кое-где мелькнули доброжелательные улыбки.

Встреча затянулась надолго. Уже сумерки успели вползти в окна, окутав серой пеленой забитую людьми комнату. Зажгли каганец, водрузив его посреди стола, и полохливые тени от пламени заметались по потолку и стенам, а Мащенко все продолжал отвечать на многочисленные вопросы. Наконец партизанский комиссар не выдержал.

— Ну шо, люды добри! — развел он руками. — Поговорыли-побалакали мы довгенько. Але всього за одын раз не переговорыш и на вси пытання видповиди не получишь. Товарищу полковныку видпочиты треба, а нам — совисть маты.

Расходились неохотно. Окружив машину, пытались еще что-то выяснить, что-то уточнить. Партизанский комиссар предлагал заночевать в селе, но Борис Васильевич отказался.

— Бувайте, хлопци! — попрощался он. — Пойдем додому, до хаты. Думаю, що наша дивизия скоро стане ридным домом для багатьох из вас. Так шо, до зустричи.

Усевшись на скрипнувшее под тяжестью тела заднее сиденье, Борис Васильевич откинулся на подушку. Он чертовски устал сегодня. Но на сердце было легко и радостно: встреча с гребневцами удалась. Враги? Какие в черта враги? Нормальные люди. С ними поработать нужно, и они станут прекрасными бойцами, будут немца гнать и в хвост, и в гриву. А после победы, если, конечно, живы останутся, домой вернутся, жизнь свою по-новому обустроят и когда-нибудь посмеются над своими сомнениями.

Подпрыгивая на неровностях, машина пробивалась лесной дорогой. Вдруг в свете фар мелькнули какие-то тени.

— Вперед, Коля! — крикнул шоферу Мащенко, хватаясь за лежащий на коленях автомат.

Машина рванулась и, стрелой пролетев мимо прыгнувших в сторону людей, понеслась вперед. Мащенко услышал, как дзенькнуло разбитое пулей заднее стекло и, выставив автомат, выпустил короткую очередь. Рядом стучал автомат Михаила Горохова. Поворот, еще поворот, и машина, выскочив из чащи, побежала по безлесой местности.

— Проскочили, товарищ полковник! — обрадованно крикнул водитель.

Но Мащенко молчал, склонившись лицом на подушку сидения.

— Товарищ полковник! — всполошился Горохов и, коснувшись склоненной головы Бориса Васильевича, отдернул руку. — Гони! Быстрее в госпиталь.

Горохов смутно помнил, как домчались они до госпиталя, как передали полковника сбежавшимся врачам. Но их помощь уже не потребовалась. Потом, много позже узнал, что в тот вечер они напоролись на засаду, устроенную Михаилом Семчуком. Пуля, пущенная им вдогонку убегавшей машине, и ужалила в самую переносицу отстреливавшегося Мащенко.

Горохов не знал, где похоронили полковника, тело которого куда-то увезли. Не знал он и о том, как прибывший в дивизию следователь армейского особого отдела Аникишин, отстранив от должности майора Булычева, долго трепал нервы и без того убитого горем комдива, упрекая его в потере бдительности и недопустимом слюнтяйстве в отношении к националистам — лютым врагам Советской власти. Возглавив особый отдел дивизии, он таки добился ареста бывших партизан отряда Николая Семчука, мобилизованных полевым военкоматом в армию. Правда, Николаю вновь повезло: он бежал из-под ареста, прихватив с собою винтовку задушенного им конвоира. А его хлопцы по приговору военного трибунала были расстреляны уже в Польше, на землю которой вступила дивизия, преследуя отступающих гитлеровцев.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Гром военной грозы громыхал над Германией. В его устрашающих раскатах слышалась угроза неотвратимой расплаты с теми, кто некогда сластолюбивыми посулами обманул немецкий народ и, заставив его уверовать в собственную исключительность, отправил в безумный марш серые солдатские колонны по странам Европы, чтобы сеять смерть. Слово «немец» стало нарицательным, пугая, вызывая брезгливость таящей в себе аморальностью и бесстыдством, невиданными за всю многовековую историю человечества. И те, кого называли им, теперь сами испытывали ужас от надвигающейся кары за содеянное, желание на время куда-нибудь исчезнуть, спрятаться, скрыться от глаз, полных ненависти и презрения, которые преследовали их повсюду и везде. Стараясь заставить их не смотреть, отвести свой молчаливый приговор, выкормыши Гитлера торопились замести следы своих злодеяний, маскируя места массовых расстрелов, уничтожая концентрационные лагеря. Они спешили. Спешили, но никак не могли опередить скорости продвижения краснозвездных сил возмездия, которые неудержимым потоком двигались с востока.

В одном из зловещих творений приспешников бесноватого фюрера — женском концентрационном лагере Равенсбрюк, что располагался севернее Берлина, неподалеку от города Фюрстенберг, томились десятки тысяч узниц. Созданный в марте 1939 года, лагерь имел кроме того сто филиалов и внешних рабочих команд. Одними из первых узниц Равенсбрюка были цыганки из Германии, Австрии, затем польки и еврейки. С 1940 года в лагерь интенсивно направлялись участницы Движения сопротивления из оккупированных стран Европы, а также члены семей многих видных деятелей международного коммунистического и рабочего движения, в том числе Роза Тельман с дочерью, Мари Клод Вайян-Кутюрье, Эрика Бухман, Зденка Неедлова и другие. С июля 1942 года в лагерь стали поступать русские и украинские женщины.

В конце 1944 года в Равенсбрюк вместе с очередной партией узниц была доставлена и Екатерина Шмидт. После случайного, как выяснилось потом, ареста Катю долго держали в набитой битком запорожской тюрьме. А после расстрела подпольщиков, ни один из которых под пытками не признал ее за свою, Катю отправили сначала в Днепропетровск, где продолжалось уточнение ее личности, хотя уже с меньшей настойчивостью. Затем Катю перебрасывали

из одного лагеря в другой, пока она не попала в Равенсбрюк. Ей повезло: она не оказалась ни в числе истощенных и окончательно сломленных «доходяг», которых отправляли либо на расстрел, либо в газовые камеры, ни среди тех, которых фашистские эскулапы избрали для своих «медицинских экспериментов». Что тому послужило причиной: то ли небольшой росток Кати, то ли цвет ее огненных волос, который почему-то не понравился немецким палачам, отбиравшим свои жертвы, трудно сказать. Только в данном случае судьба «улыбнулась» Кате: ее определили для работы на одном из военных заводов, где изготавливались снаряды.

«Вот и попала ты, Катька, на родину твоих предков, — не раз с горечью думала она, лежа на жестких нарах барака и вслушиваясь в леденящие душу стоны и шепот несчастных узниц. — Сбылась твоя давняя мечта побывать в Германии. Будь она трижды проклята!»

Оценив для себя ситуацию, в которой она очутилась, Катя поняла, что живою из этого ада самой ей вряд ли выбраться. Оставалось, сохраняя волю к жизни, уповать на освобождение, которое могло прийти только с востока. В борьбе за выживание ей помогали Петро и Витек. В том, что они живы, Катя ни на минуту не сомневалась. Ночами она пыталась себе представить, какие они, как она встретится с ними, что скажет. Они как будто постоянно жили с нею рядом, служа опорой и надеждой.

В связи с приближением советских войск в конце апреля 1945 года немцы стали лихорадочно эвакуировать лагерь. Они вывезли значительную часть узниц, собирались уничтожить оставшихся. Но не успели: 30 апреля советские воины освободили лагерь, а немногим позже на пути к городу Любек и остальных узниц, эвакуированных ранее.

Весть об освобождении застала Катю в лагере. Она хорошо помнит, как вдруг женщины бросились толпой к воротам с криками:

— Наши! Наши родненькие пришли!

Они бежали мимо нее, а Катю вдруг оставили силы. Она смотрела на мелькающие перед нею полосатые халаты и чувствовала, что сейчас упадет. Возьмет и рухнет на землю прямо под ноги бегущим. Катя хорошо понимала, что если это случится, ее затопчут и она погибнет. Сжав зубы, сделала несколько шагов в сторону, и тут голова ее закружилась, и что было дальше, она не помнит. Очнулась, сидя на земле. Рядом с нею молоденький лейтенант с фляжкой хлопочет:

— Отпейте, мамаша! Хоть несколько глоточков. Это помогает. Катя хлебнула из фляжки, в которой оказалась водка, и зашлась кашлем. Потом немного пришла в себя. Только слезы неудержимо текли и текли из глаз. Она их смахивала ладошкой, а они снова текли.

Война, столь неожиданно ворвавшаяся в Катину жизнь, как и в жизнь миллионов ее соотечественников, столь же неожиданно

закончилась, вызвав новый взрыв радости. Придя в себя, Катя стала ждать, когда же ее отправят на родину. Она знала, что там разруха и горе, но ей хотелось поскорее туда, к своим, подальше от этой проклятой земли. Время ожидания тянулось томительно медленно, а команды на отправку все не поступало. Это почему-то касалось не всех узниц. Многих из них уже куда-то увозили, и они, возбужденные и радостные, трогательно прощались с Катей, договариваясь о встрече, обмениваясь адресами.

«Когда же до меня, наконец, дойдет очередь?! — сокрушалась Катя, ломая голову над причиной задержки. — Чего они там ждут?»

Она успокаивала себя тем, что слишком много людей хотят уехать отсюда, а поездов и вагонов не хватает. Конечно, вон сколько беды принес фашизм. Катя и сама видела разбитые железнодорожные станции, перевернутые паровозы и вагоны, искореженные рельсы. Но это же было когда? Еще в 1944 году, когда увозили ее в Германию. После этого ведь там еще бои шли. Наверняка разрушений добавилось. Так что надо потерпеть. И она терпела. Правда, Катя понимала и то, что где-то там идет проверка. А как же? Ведь здесь, в разбитом фашистском логове сегодня оказался разный люд. Одних насильно увезли, как ее саму, к примеру, а другие, может быть, добровольно сюда уехали. Разве не было таких, которые клюнули на удочку немецкой пропаганды, вовсю твердившей, что тех, кто поедет в рейх, ожидает чуть ли не рай земной? Кое-кто и поверил в это. Есть и те, кто бежал с фашистами как их пособник, опасаясь справедливого возмездия. Словом, всякие есть, и проверка необходима.

Катю уже несколько раз приглашали для беседы, и она добросовестно и подробно рассказывала строгому старшему лейтенанту свою историю, называла воинскую часть и людей, которые послали ее тогда для связи с подпольщиками Запорожья. Он понимающе кивал, будто во всем соглашаясь с ней, и... молчал. Выслушает ее, задаст свои вопросы, вежливо простится и отпускает.

Несколько дней назад он снова вызывал Катю и почему-то интересовался ее далеким прошлым, работой в повстанческой армии батьки Махно. Она сразу насторожилась, решив, что, видно, что-то здесь не так. Иначе какое имеет отношение ее чекистская работа в батькиной армии? И кто теперь сможет подтвердить, что ее туда посылали с определенным заданием, которое она с честью выполнила. Манцева и Леппика нет. Лева арестован, и что с ним, одному богу известно. Словом, задача не из простых. Правда, жив Кравчевский, да и в органах НКВД, должно быть, сохранились какие-то документы. Но они наверняка лежат где-нибудь среди пожелтевших от времени бумажек. Пойди их сейчас найди. Да и сохранились ли те самые бумажки: ведь людей не успевали спасать, а не то что архивы...

Нужно сказать, что Катя и в самом деле была близка к истине. На территории разгромленной и оккупированной Германии действительно шла предварительная проверка всех, кто по той или иной причине оказался там, так называемых перемещенных лиц. Среди работников органов, возглавляя одно из подразделений, находился подполковник Аникишин. Волею случая оказавшись вдалеке от полыхающей военным огнем границы, Ефим и в последующие годы старался держаться от фронта на почтительном расстоянии. Этому одно время способствовал отец второй жены Ефима, с которой тот познакомился, отдыхая в Крыму и, мирно разойдясь, как он говорил, со своей «шахтарочкой», оформил брак перед самым началом войны. Влиятельный киевский тесть сумел протоптать дорожку к начальству, ведавшему кадрами НКВД и, выхватив зятя, что называется из полымя, обеспечил затем ему место в Днепропетровске. Эвакуировавшись вместе с женой, Ефим служил в Саратове пока, наконец, его не отозвали в распоряжение наркомата и направили в действующую армию. Вместе с дивизией, в которой сменил отстраненного от дела Булычева, он без особых приключений дошел до Германии, где и был включен в аппарат, занимающийся проверкой репатриантов.

Нет, Ефим не занимался изучением всех и каждого, кто должен был отправиться в Союз, не копался в бесчисленном множестве дел. Над этим трудились другие работники, чинами поменьше. К нему же попадали лишь те документы, которые почему-либо вызывали у подчиненных особый интерес или сомнение. А таковых тоже хватало. Ведь среди оказавшихся на территории Германии и в самом деле был разный народ. Разве мог Ефим думать, что когда-нибудь он встретится с женою Нестора Махно? А все-таки довелось. Конечно, фамилия у нее была не батькина, но все же и в пожилой и уже достаточно повидавшей на своем веку женщине назвавшейся Кузьменко Галиной Андреевной им удалось обнаружить жену теперь уже покойного бандитского батьки. Да не саму, а с дочерью. Вначале они пытались говорить, что из Франции их доставили в Германию под арестом гестаповцы. Но проверка показала, что это не совсем так. Да и какое, собственно говоря, это имеет значение? Главное, что эта самая Кузьменко в махновской банде была. А раз так, то вина ее налицо. И за те самые шрамы, которые до сих пор он, Ефим, носит на своей спине. Значит, и отвечать будет по всей строгости закона. Как? Это уже не его дело, а тех, кто приговор выносить будет. Его же задача — не пропустить врага, фашистского пособника и всякого иного гада. Что он и старается делать добросовестно, как чекист и партиец.

— Товарищ полковник, — нарушил размышления Аникишина капитан Федоренко.

Он всегда так обращается к Ефиму, хотя хорошо знает, что тот пока только подполковник. Ефим хоть и делал капитану уже

не раз замечание, но тот продолжает свое. Ну что возьмешь с чудака? Да и что в этом плохого? Все равно вот-вот должны полковника присвоить. Пусть Федоренко говорит, что ему хочется. Парень-то он в принципе неплохой. Службу знает и нюх у чертяки — дай бог каждому.

— Товарищ полковник!

— Ну, я ж тебе, Федоренко, уже говаривал, шо не полковник я, а подполковник. Пойнял?

— Ничего, — гнет свое капитан, — скоро будете полковником. Разрешите доложить?

— Ну, докладывай.

— Интересное дельце хлопцы мои обнаружили. Среди узниц лагеря Равенсбрюк находится некая Екатерина Ивановна Шмидт.

— И что же?

— А то, что, по показаниям задержанной нами Кузьменко, эта самая Шмидт была бабой, любовницей, значит, начальника махновской разведки Левы Задова.

— Хм! — поджал губы Аникишин, делая вид, что погрузился в изучение лежащих перед ним документов, а на самом деле лихорадочно думая, как ему следует поступить. Он по-прежнему помнил о той обиде, которую нанесла ему Катя, отказав дать рекомендацию. Что ею двигало тогда? Только пренебрежение к нему, рабочему человеку. Побрезговала поручиться за него? Или побоялась? Может быть, и то, и другое. Черт их разберет этих слюнявых интеллигентов. Говорили, что по заданию ЧК в тыл к деникинцам ходила и у батьки Махно разведкой занималась. Говорили. А кто проверял? Кто знает, чем там они с Левкой Задовым занимались? Левку этого самого раскололи, выяснили, что он за штучка, как и зачем в органы пробрался. Он, конечно, на нее тогда не показывал. Ну и что из того? Может быть, пожалел просто кралю. Что? Не бывает так? Бывает. Так что еще надо посмотреть, на кого она, эта самая Катька работала тогда. И не только тогда! От Кравчевского Ефиму приходилось слышать всякие там хорошие слова о ней. И о том, какая она славная и смелая, и что сама напросилась в Запорожье. А зачем? Для связи с подпольщиками? Ну и где же она, эта самая связь? Подпольная организация провалилась именно тогда, когда Катерина должна была быть в городе, а сама она куда-то исчезла. Именно исчезла. Потому что среди расстрелянных фашистами подпольщиков она не значилась и в часть не вернулась. Ясно, что организацию кто-то выдал. Кто? Ефим досадливо повел головой.

— Слушаю, товарищ полковник, — наклонился к нему капитан.

— Чего тебе? — нахмурился Ефим. — Погоди. Оставь дело. Я над ним трошки покумекаю.

— Слушаю.

Ефим встал из-за стола и, заложив руки за голову, прошел из конца в конец комнаты. Раз, потом еще раз. Вот задача! И на кой ляд ему эта Катька? Нет, он не думает, что она гитлеровский агент. Хотя и это не исключается: немка все же. И отец инженер. Барин! Но пусть даже и не агент. Пусть. Но как она оказалась здесь? Говорит, что арестована гестапо и вывезена в Германию. Допустим. Такое может быть. Но может же быть и другое: иногда фашисты, чтобы сохранить своего агента, прятали их в концентрационных лагерях. На время, чтобы замести следы. Кто-то же предал организацию. Где гарантия, что когда Катерину арестовали при попытке установления связи с подпольщиками, она не сломалась во время пыток? Те же костоломы в гестапо мертвого заставляли заговорить, а не то, что обыкновенную бабу. А коль так, раз нет гарантии, зачем он будет себе голову ломать? Пусть везут ее в Союз и там как положено разбираются.

— Федоренко! — позвал он капитана, стукнув кулаком в стенку.

— Слушаю, товарищ полковник.

— Да не полковник я! — рявкнул Ефим. — Сколько раз вам говорено было, капитан.

— Ясно, товарищ подполковник.

— Ну, вот. Ясно, а говорите глупости, — уже более мягче заговорил Ефим. — Глядел это самое дело и скажу откровенно: не нравится оно мне. Дюже не нравится.

— Ага. Говном пахнет.

— Во-во. А раз так, то есть пахнет эта самая дамочка... Как ее?

— Шмидт.

— Ну да. Шмидт. Нехай едет до наших людей на доследование. Нехай они спробуют там на месте разгрести то самое, про шо ты сказал.

— Слушаюсь.

Проводив взглядом капитана, Ефим какое-то время молча ходил по комнате, хмурясь и играя желваками. Потом, сплюнув в сердцах, принялся за изучение других дел. Но что-то ему мешало. В глубине души он чувствовал, что поступил несправедливо по отношению к Кате, которая некогда спасла, можно сказать, вытащила его с того света.

— Но рази я ее просил? — произнес Ефим и вздрогнул, испугавшись собственного голоса, неожиданно громко прозвучавшего в пустой комнате.

Он снова встал и начал шагами мерять комнату, вспоминая то уже далекое время. Тогда он, еще совсем молодой парень отправился вместе с Ломовым на связь с человеком, который по заданию ЧК вел разведку в армии батьки Махно. Кто он, этот самый человек, они не знали. Но у них была явка и был пароль, который давал возможность узнать друг друга. Человек на явку не пришел, а их захватили махновцы и, увезя в Дибровский лес, стали пытать.

Страшно пытать. Ефиму стоит лишь вспомнить об этом, как по спине начинают бегать мурашки и волосы становятся дыбом. Не выдержав пытки, он потерял сознание и это, видимо, его спасло. Палачи, подумав, что он уже мертв, просто бросили его посреди леса, а Ломова расстреляли. Там-то в лесу его и нашла Катя.

Да, она тогда спасла его. Но это не значит, что он должен ей слепо верить во всем. Есть подозрение, и его нужно проверить. Подтвердится ее невиновность, и ее отпустят. А нет, ну что ж...

Ефим даже подумать не мог о том, что где-то в Германии, только в другой зоне оккупации есть свидетель его тогдашней далекой встречи со смертью. А он действительно существовал. Это был Никита. В последние дни фашистского рейха, отступая вместе с немцами в составе одной из частей шуцполиции, Никита все время испытывал такое чувство, будто живет он последние часы. Ужас, нестерпимый ужас преследовал его повсюду. Он снова и снова чувствовал его приближение. Еще немного, и наступит конец. Но всякий раз ему везло. Видно, доля его иной была. И смерть, дыхание которой он не раз ощущал, прощаясь с белым светом, почему-то обходила стороной. Загнанный, измученный, грязный телом и душой, он, наконец, получил передышку в этом немыслимом беге, оказавшись в лагере для перемещенных лиц в английской зоне оккупации. Здесь и настигла его весть об окончании войны.

Назвавшись все тем же кладовщиком колхоза, попавшим в плен, Никита не очень верил в то, что ему удастся уйти от гнавшейся за ним кары. Затравленно озираясь вокруг, он во все уши вслушивался, о чем говорили другие его земляки, которые оказались вместе с ним в лагере. Вглядывался в их лица, боясь встретить хотя бы одно знакомое из тех, кто мог что-либо рассказать о его прошлом. Большинство рвались домой. Они готовы были сразу же бежать туда, сломя голову, ломая ограду из колючей проволоки, которая окружала территорию лагеря, сметая караульные вышки. Другие, опасаясь наказания за плен, ужасы которого старательно расписывали англичане, мучались сомнениями, не давая тронуться с места. Кто его знает, что ожидает там? Ведь не погиб, как другие. Живым остался. Выжил. Уцелел. Значит, виноват. А коль так, то ждет тебя неминуемое наказание. Какое? Смерть? Сибирь — суровая и дремучая, про которую мало кто и знал что, но боялись многие? Тоска по родным и близким рвала натянутые ноющими струнами нервы, но страх за их судьбу, боязнь своим проявившимся вдруг позором навлечь на них беду зажимали кляпом рот, который силился выплеснуть наружу крик измученного сердца: «Домой! Домой хочу, бра-а-атцы!» Этот немой крик Никита читал в десятках и сотнях глаз, на которые, будто на колючие штыки, натыкался, бесцельно бродя по территории лагеря. Он боялся этих глаз и всячески сторонился их, опасаясь, как бы тот, кому принадлежат они, не выплеснул на него свою боль, которая, соединившись с его бо-

лью, где-то тупо саднившей у самого сердца, убьет его. Он хорошо знал лишь одно: назад дороги нет. Прошлое умерло для него, ушло навсегда, и он старался о нем не вспоминать.

Английская администрация лагеря лишь однажды пригласила его для уточнения некоторых деталей, а потом, казалось, совсем забыла о нем. «Там, сзади меня пусто, — однажды пришла ему в голову мысль. — Еще ничего не было. Я только что родился, только появился на свет». Мысль понравилась ему, и он с интересом начал оглядываться вокруг. Его обрадовала тишина, которая невесть когда повисла над землей, заглушив все другие звуки. Вон даже лагерные стараются говорить потише, почти шепотом, чтобы, значит, не вспугнуть дремотный отдых этой боязливой гостьи, топавшей сюда долгое время. И солнце светит, ласково касаясь своими лучами нежных стебельков пробившейся наружу травы. И птицы. Господи! Поют-то как звонко и радостно. Чистый тебе рай. Божья благодать. Правда, рай-то уж больно маленький и проволока с колючками... И пища совсем не райская. Хотя и у немцев эрзац-хлеб и другие эрзацы разве лучше были? Э, нет! Стоп. Назад. О прошлом ни слова. Да и какое имеет значение, где ты живешь, что ешь? Был бы жив и была бы душа чистой и светлой. Чистой и светлой...

Размышляя о душе, Никита чувствует, как где-то там, на самом донышке ее, начинает зарождаться беспокойство и тут же спешит перевести внимание на что-нибудь другое. Вот сидит у барака прямо на земле пожилой мужик в выгоревшей и латанной-перелатанной гимнастерке. Зарос, будто медведь берложный. Повстречай такого ночью — помрешь со страху. Днем он ласковый такой, обходительный, каждому помочь, услужить старается и говорит, говорит. Все хочется ему про себя кому-нибудь рассказать, про деревню свою, что в Белоруссии, где-то под Слонимом. Однажды он и к Никите пристал. Пока рассказывал про то, какие места у них красивые, еще можно было терпеть. А потом взял и ни с того ни с сего стал говорить, как жгли их деревню вместе с жителями.

— Ой, горечко-горе! — шептал, схватив Никиту за руку. — Йона горить, а люди крычать...

Еле вырвался от этого медведя. Как только вечер наступает, бородач садится, опершись спиной о стенку барака, и, глядя неотрывно куда-то вдаль, тихо плачет.

Или вон тот, чем-то похожий на полудурка Грамотея, которого разнесло миной на мелкие кусочки за несколько дней до окончания войны. Ну этому туда и дорога. Он почище любого мясника из гестапо был. Убить человека просто так ему мало было. Обязательно хотел видеть, как мучается тот, какие глаза у него становятся перед смертью. Смотрит, паскуда, а потом нажрется где-нибудь в уголочке, подойдет к другим полицаям и, похохатывая с

прихрюком, давай делиться про подвиги свои. Его даже Сашка Лейман побаивался. Да-а-а... А тот тоже зверюка из зверюк.

В сентябре сорок третьего они уезжали вместе с Лейманом и Грамотеем из Запорожья в охране поезда с продовольствием, которое немцы отправляли в свою Германию, выгребая у населения, что называется, под метлу. Вместе служили в шуцполиции в польском городе Хемнитце. Потом уехал Сашка. Говорят, на офицера послали его немцы учиться. Что ни говори, а все-таки свой он им. Родная арийская кровь. И что оно за разница за такая в той самой крови? Нет же. Считают германцы, что у них не такая, как у всех. Самая паскудная, вроде бы, у евреев. За то, значит, и изводили их так спешно. Потом уже не разбирали, хватали всякого, кто под руку попадал. Тысячами стреляли как партизан или их помощников. А откуда их столько? И деды старые, и пацаны сопливые как Пашка его... Пашка... Тьфу ты! Опять туда же. И что это за наказание с ним за такое? Никита трясет головой, стараясь отогнать лезущие в голову запретные мысли, и, потирая виски, быстро уходит прочь от своего барака.

— Эй, Прудкосвист! — слышится знакомый голос, от которого его бросает сначала в жар, а потом по спине пробегает озноб. Никите хочется бежать быстрее и дальше от этого голоса, но ноги становятся тяжелыми и помимо его воли и желания сами замедляют шаг, а затем совсем останавливаются.

Неужели он, Лейман? Не может быть. Ведь Никита сам не один раз обошел лагерь, всматриваясь в тех, кто оказался здесь. Уж кого-кого, а Сашку он бы обязательно узнал. Может, показалось сейчас? Почудилось? Нужно только быстрее уходить подальше, и все будет гут, как говорят немцы. Вот так. Сейчас он возьмет и, не обернувшись, двинет вперед...

— Ну, куда же ты, Никита? — слышится совсем рядом голос Сашки, и сердце Никиты, оторвавшись, плывет вниз к желудку. Сашкины шаги шуршат за спиной, а Никите кажется, что тот ступает прямо по гудящей от боли голове.

— Совсем зазнался, пан Прудкосвист! — скалит удивительно белые и ровные зубы Сашка. — Нехорошо, нехорошо забывать старых друзей.

— Та я,.. — трет затылок Никита. — Та от задумался, понимаете, трохи.

— Бывает! — вроде бы соглашается Сашка, а глаза смотрят недоверчиво и с какой-то обидной насмешечкой. — Бывает, пан Прудкосвист.

— Тихо ты! — начинает злиться на него Никита. — Кричишь, шо тебе на базаре.

Он воровато озирается вокруг и, взяв Сашку за рукав новенького с иголочки пиджака, шепчет:

— Никакой я не Прудкосвист. Кужель моя хвамилия. Василь Пантелеймонович Кужель. Пойнял?

Лейман от удивления сделал большие глаза и присвистнул.

— Н-н-у-у-у! Никита Оверкович! Так ведь, кажется, вас по батюшке раньше звали-величали? Вы же и шустреньким оказались! Никогда не ожидал.

— Не ожидал, не ожидал! — уже менее злобно пробурчал Никита. — Сам, небось, тоже перекрестился? Не зря ведь мундирчика офицерского кудась кинуть успел. Чи не так кажу?

Сашке его шутка пришлась явно не по вкусу.

— Ладно! Ты, паскуда, гыгыкай, да не очень, — оборвал он Никиту, и щеки его начали розоветь, предвещая вспышку гнева. — Я как пришел, так могу и уйти отсюда. А ты сиди здесь до седых волос. Или, может, тебе захотелось домой, на родину, вернуться? Так это мы можем устроить.

Никиту аж передернуло от страха, и руки сами собой по швам вытянулись.

— Александр Юлисович! — просипел он, тронув языком сделавшиеся вдруг сухими губы. — Та я ж шо? Я рази...

— Рази, рази, — передразнил его Лейман, немного успокоившись. — Человеку, можно сказать, радостную весть несешь. От смерти, можно сказать, спасти хочешь, а он брыкается, как молодой бычок, и рожками своими достать тебя хочет.

— Та не хотел я...

— Ну, если не хотел, — усмехнулся, прищурившись, Сашка. — Тогда другое дело, гражданин Кужель. А вы не знаете, куда это подевался Никита Оверкович Прудкосвист?

Никита помолчал, опустив глаза.

— Не знаете? — продолжал ерничать Сашка. — Очень жаль. У этого самого Прудкосвиста родственничек как раз оказался, Оверко Саввич.

— Папашка?! — изумился Никита. — Где? Откуда они?

— Ага! Так, выходит, знакома вам эта личность? Они как раз в Англии проживают и очень мечтают со своим сыночком свидеться.

— Так де ж они? Как же...

— Спокойно! — остановил его Лейман. — Не все сразу. Пока прочти вот это.

Он протянул сложенный вчетверо листок бумаги Никите. Тот развернул дрожащими руками листок, и буквы-каракули запрыгали у него перед глазами. Это была сухая записка всего в несколько строк, в которой отец сообщал, что жив-здоров и приглашал к себе в гости в Лондон.

— Поеду! — загорелся Никита. — К папашке поеду. Он у меня цепкий мужик. Наверняка деньжат накопил и теперь важным тузом ходит по своему Лондону. Может быть, у него про все забуду, человеком стану.

— Станешь, станешь, — опять загадочно усмехнулся Сашка. — Навещу когда-нибудь. Не прогонишь?

«На кой ты мне, зверюга!» — подумал про себя, а произнес другое:

— О чем разговор, Саш? — и тут же поправился:

— Завсегда рады будем вам, Александр Юлисович.

— Ну, ну. Поживем — увидим. И еще тебе привет от учителя твоего.

— Мыколы Мыновича?

— Его самого, Онучина.

— Жив, значит?

— А чего ему сделается.

— И чем он занимается?

— Да все по своей, по литературной части.

— Вот оно, значит, как. Не все, выходит, в огне том сгорели.

— Выходит, не все...

С той поры Никита жил единственным желанием — как можно скорее выбраться из лагеря, добраться до Англии и встретиться с отцом. Но этому желанию, которое неудержимо росло в нем день ото дня, не скоро удалось осуществиться. Немало довелось, выполняя поручения лагерного начальства, которому представил его Лейман, следить за своими соседями, подслушивать их разговоры, а потом доносить, кому следует. Словом, всякое случалось. Но все же настал тот час, когда он покинул вконец опротивевшую ему территорию лагеря. Покинул поздним вечером, ничего не сказав и даже не простившись с теми, с кем провел здесь эти долгие месяцы. Уходил, не в силах скрыть радости и облегчения. Будто вырвался из душного и затхлого погреба на свежий воздух.

Мыкола Мынович, который забирал Никиту из лагеря для перемещенных лиц, поселил его в каком-то домике на окраине Гамбурга. Жизнь Никиты стала совсем иной. Он был один. Вновь почувствовав себя хозяином, целыми днями возился в саду, наслаждаясь давно забытой работой. Правда, временами его одиночество нарушалось. Приходилось встречать каких-то хмурых типов, которые являлись к нему по паролю. Прожив несколько дней, они ни о чем не расспрашивали его и почти совсем не разговаривали. Приходило время, и они исчезали куда-то так же таинственно, как и появлялись. Кем они были и чем занимались, он не знал. Да и старался не интересоваться. Зачем испытывать судьбу, которая так неожиданно смилостивилась над ним, подарив спокойную жизнь и приличный кусок хлеба?

Время шло, и Никита стал привыкать к новым условиям. Но настал час и ему покидать то гамбургское гнездышко. Пожаловавший к нему однажды под вечер Онучин сообщил:

— Ну, Микита, можешь гопака вдарить: выправили тебе документа, с каким не то шо в Англию, а и у рай до Господа бога пройти можна.

— Так когда ж ехать?

— А прямо завтра утречком и рушиш. Вот он и билет твой.

— Не знаю, как и благодарить вас, Мыкола Мынович, — расстрогался Никита.

— Та ты не переживай! — загадочно усмехнулся Онучин. — Задарма, хлопче, зараз и по морди нихто не вдарыть. Прыйдуть, прыйдуть до тебе по ту саму плату, як буде треба. Прыйдуть и скажуть: «Учитель хворый. Кланятысь вам велилы». Запамьятай ци слова. Чуешь?

— Угу...

— Не угукай! — нахмурился Мыкола Мынович. — Не угукай, а повторы, шо я тоби сказав. То пароль для тебе. Почуешь, так и знай, шо то наша людына. Все зробы, шо тоби скаже.

На том они и расстались.

2

Победа, такая долгожданная, выстраданная и завоеванная измученным, но не потерявшим терпение, а главное веру, народом, наконец возвестила о желанном мире. Радости людей, все эти годы моливших о нем и всеми силами приближавших, ковавших его, казалось, не будет конца. Однако война, словно неумолимая смерть, постоянно и жестоко напоминала выстоявшим и оставшимся жить о себе. Она являлась живым в истерзанных, разрушенных, превращенных в руины городах и селах, в искореженной технике, застывшей в самых неожиданных местах, в невиданном количестве братских и одиночных могил, покрывших истерзанную землю, а главное — в великом горе и скорби о павших, ушедших навсегда в небытие родных и близких, которые поселились практически в каждом доме, каждой семье.

И все же опаленная войной земля постепенно отходила, жизнь брала свое. В родные места возвращались люди, некогда унесенные эвакуационным ветром за многие сотни, а то и тысячи километров. И город Запорожье не был в том исключением. Вскоре после освобождения потянулись сюда те, кто покинул его осенью 1941 года. Приезжая, ужасались разрушениям, причиненным промышленным предприятиям, городским постройкам, а главное — всенародной гордости — Днепрогэсу. Днепровская вода с ревом врывалась в проломы взорванной плотины электростанции и мчалась дальше, радуясь своей необузданной свободе.

— Неужели это все? — со слезами на глазах спрашивала у мужа Фрида Бовина, обнимая за плечи уже основательно подросшего сынишку Алика.

— Что все, Фридочка? — хмурился Юлий Липпович.

— Ах, дорогой! Зачем ты так? Разве ты не понимаешь, что это могила? Огромная каменная могила.

— Не говори глупостей, Фридочка. Не поддавайся панике.

— Кто? Я поддаюсь панике? — тут же парировала Фрида. — Нет! Вы слышите, люди? Он говорит, что я поддаюсь панике. Я поддаюсь панике, Аличек! Твоя мама паникер. Она не была им, когда нужно было хватать что-нибудь в руки и лететь за твоим папочкой кто его знает куда. Она не была паникером, когда пришлось жить в собачьем холоде и есть мерзкий суп из лебеды и картофельных обрезков. Она не была...

— Фрида! — сокрушенно качая головой, урезонивал свою подругу Юлий Липпович. — Ты сейчас ведешь себя, как не очень умная женщина. Но пока об этом знаю я и знаешь ты. Неужели тебе хочется, чтобы об этом узнал весь наш город?

Этот аргумент, действовавший всегда на Фриду отрезвляюще, сделал свое дело и в этот раз. Молодая женщина вначале надулась

и, прижимая к себе сына, быстро зашагала прочь. Но сделав несколько шагов, остановилась и с улыбкой бросила мужу:

— Что же ты стоишь, папочка? Мы продрогли. Догоняй нас.

Юлий Липпович, прихрамывая, двинулся следом. Он любил, нет, он жил своей Фридой. А как же? Разве есть женщина красивее ее? По крайней мере, он не встречал таких. Хотя, нужно сказать, что Юлий Липпович имеет право так считать. И не только потому, что он блестящий фотограф-художник (а это ведь кое-что да значит!), но и потому, что он старше жены. Старше на целых двадцать пять лет. За свою жизнь много всяких женщин встречал. Но такой, как Фридочка... Да что там говорить! Главное ее достоинство — золотое сердце женушки. Решиться выйти замуж за человека, который годится ей в отцы. Не каждая на такое способна. А она вот решилась. Решилась, хотя от нее отказались родители и три сестры.

— Не хотят знаться? — сверкая глазами, говорила Фрида навестившему их вскоре после свадьбы брату Илье. — Ну и пусть! Обойдемся без них как-нибудь.

Потом, конечно, отношения с ее родственниками постепенно налаживались. Но это происходило не потому, что Фрида сдавала свои позиции. Ого! Она разве кому-нибудь уступит, если чувствует свою правоту? Кроме него, своего мужа. Взять тот же случай с их сыном. Как дед Соломон, признанный толкователь торы, ни настаивал провести обряд обрезания мальчику, она не уступила.

— Что за дикость?! — выговаривала и отцу, и дипломатично помалкивающему мужу. — Что за безобразие? Калечить ребенка не дам. Как хотите, а не дам, и все.

Старик, демонстрируя свое презрение, завидев дочь с внуком, сердито плевался и спешил перейти на другую сторону улицы. А Фрида ни в какую не шла на уступки. Вот характер!

Да. Теперь уже нет ни старого Соломона, ни бабушки Алика. Остались навеки в сибирской земле, не выдержав ни полуголодной жизни, ни сурового климата. Фрида очень переживала, когда их не стало. А тут еще беда — во время оккупации умерла ее лучшая подруга Марийка, с которой они жили душа в душу. Кто бы мог подумать, что муж Марийки, этот хмурый молчун Никита, окажется таким мерзавцем? Вначале склад хотел поджечь, за что в тюрьму угодил, а когда немцы пришли, и совсем распоясался. В полицаи пошел, принимал участие в расстрелах евреев. Может быть, это пущенная его рукою пуля убила Розочку, дочь его сына Яши. Ах, Роза, Розочка! Бедная девочка. Юлий Липпович как сейчас помнит это славное дитя с ангельской улыбкой на устах. Говорят, что ее мать, потаскушка Лидка, которая путалась с полицаем, сама вывела со двора дочь и толкнула ее в колонну людей, которых гнали на расстрел. Зачем? Говорят, что ее хахаль сказал: «Если не сдашь свою жидовочку, сама вместе с нею под пулю пой-

дешь, а я тебя знать не хочу». Может быть, и так или не совсем так это было, но так говорят. И Лидка сдала Розу. Сдала смерти свою собственную дочь. Теперь она локти кусает, слезы крокодиловы льет и самогон глушит. Ну и что из этого? Девочки же нет. Вернется Яша, и что она ему скажет? Он же убьет ее, паршивку. Как пить дать, убьет. Но за это же его посадят в тюрьму. Боже, боже! Потерять внучку, а потом еще и сына. Он, Юлий Липпович, такого не вынесет, не переживет. А ведь у него Фридочка и их Алик. Кто им поможет? Кому они будут нужны тогда? Нет, когда придет домой Яша, нужно будет предупредить эту чертову Лидку, чтобы она убегала из города или, по крайней мере, спряталась где-нибудь. Уже иметь такую родственницу, знать о том, что она рядом — великий позор, который не каждый перенесет. Да, да. Вон та же Мария, наверное, из-за того же заболела и умерла. И так даже лучше, чем постоянно ощущать на себе жгучие взгляды людей и слышать их проклятие. Так даже лучше Марии, легче. Вот только мальчика, сына ее Павлика, жалко. Правда, он у нее приемный, но все же, Фридочка говорит, что она его безумно любила. Где он теперь, одному богу известно.

Недавно заходил к ним брат Марии Петро. Видно, самостоятельный, хороший человек. Сам свою семью потерял, а когда у них в доме сидел и пил чай, приготовленный Фридой, все о том Павлике расспрашивал: где он может быть и куда деться? Только кто же такое знает? Ведь кто-то из женщин рассказывал, что мальчик исчез из дому вскоре после смерти Марии. Будто видели его в последний раз вместе с теткой, похожей на жену Петра, еще когда немцы в городе хозяйничали. Может быть, Петро надеется, что Павлик сообщит ему какую-нибудь весть об этой женщине? Кажется, Катей ее зовут. А может быть, и мальчика усыновить хочет. Что за жизнь в одиночестве?

Да. Много горя принесла эта проклятая война. Ой, много! И еще долго люди будут искать друг друга, думая: «Авось, беда обошла моих стороной, авось, им удалось обмануть проклятую смерть-старушку». Кому-то наверняка повезет. Но немногим. А кому-то...

Был тот самый их семейный поход к разрушенному и истерзанному Днепрогэсу несколько месяцев тому назад. Тогда Юлий Липпович фотографировал руины станции, которые, казалось, с немым укором смотрели на людей, будто спрашивая: «За что? За что с нами так жестоко поступили? Зачем разрушили такую красоту?» Юлий Липпович вообще все снимает: и пороги, которые должны были исчезнуть с вводом гидроэлектростанции, и стройку, и пуск Днепрогэса, и вот то, что оставили фашисты.

— Все это нужно для истории, — вздыхая, говорит он. — Люди когда-нибудь будут смотреть и узнают, что было с нами и с нашим городом.

Теперь многое изменилось. Город стал сплошной стройкой. Люди со всего Советского Союза приехали восстанавливать Днепрогэс и заводы. Пока всем хороших квартир не хватает. Многие в уцелевших хатах живут. И у них тоже квартиранты. Тесновато теперь. Но что поделаешь? Всем ведь жить где-то нужно. Как-нибудь помирятся.

Полдень. Семья занята своими делами. Фрида готовит немудреный обед, а Юлий Липпович возится в своем павильоне. Так они громко называют верандочку, приспособленную для фотосъемок. С ним увязался и Алик. Завозившись, не заметили, как к дому подъехала легковая машина и, выйдя из нее, стройный, подтянутый военный прошел во двор.

— Могу ли я видеть мастера? — поздоровавшись, спросил он.

— Я вас слушаю, — отозвался Юлий Липпович.

— Смогли бы вы сегодня сфотографировать одного товарища?

— Почему же нет? В любое время готов. Пожалуйста, проходите...

— Нет, нет. Речь идет не обо мне.

— О ком же?

— Этот товарищ будет у вас, скажем, в 17.00. Подходит?

— Конечно.

— Только к утру должны быть готовы фотографии.

Военный ушел, а Юлий Липпович стал гадать, что за клиент должен будет у него появиться.

— Юличка, — успокаивала его Фрида. — Ну почему ты переживаешь? Какое имеет значение, кто придет. Важно, чтобы фотография получилась хорошая. А лучше тебя фотографа в городе нет. И не только в городе.

Ни он, ни она, конечно, не могли подумать, что фотографироваться к ним придет ни кто иной, как Брежнев, избранный в августе 1946 года первым секретарем Запорожского обкома КП(б)У. То было трудное время: предстояло в кратчайший срок восстановить Днепрогэс, поднять из руин и вдохнуть жизнь в заводы черной и цветной металлургии, возвести новые промышленные объекты, кормить людей и готовить землю под урожай будущего года. У кого-нибудь другого голова наверняка бы закружилась. Но не таков был молодой и красивый генерал с черными соболиными бровями. Он умел собирать свою волю в кулак и не терялся даже в самых драматических ситуациях. А в них ему доводилось не раз оказываться и в мирные дни, когда работал секретарем Днепропетровского обкома партии, отвечающим за работу промышленности, и на фронте, где довелось ему быть начальником политотдела 18-ой армии. Да и сейчас, после войны, он не раз с ними успел столкнуться.

Взять хотя бы его первую и пока единственную встречу со Сталиным. Боже, как он готовился к ней, как боялся. Ни есть, ни пить не хотелось уже за неделю до полета. Леонид Ильич, каза-

лось, каждый завод обошел, каждый уголок облазил на стройках. С людьми встречался, узнавал их оценку положения дел, мнение о руководителях. Понятно, что восстановить в кратчайший период и Днепрогэс, и такую махину, как индустриальный комплекс, задача архисложная. И люди это понимают, но настроение у них боевое. Он хорошо помнит бригаду бетонщиц Ани Лошкаревой, которая трудится на восстановлении плотины. Веселые, зубастые и такие улыбчивые. Каждую бы обнял и расцеловал. Да не только за героизм их трудовой, а просто как славных девчат. На фронте ведь в основном только мужские лица сплошь и рядом. Были, правда, и женщины. Но их единицы. Ну и до нежностей ли тогда было? Теперь — другое дело. Мир. Сердце, душа любви просит. И его в том числе. Разве он не человек? Не мужик, черт побери? Мужик и, как будто, еще ничего. Он это чувствует по взглядам женских глаз, которые встречают и провожают его, когда бывает на предприятиях и стройках. Что? Не должен замечать, потому что руководитель? Он это знает и понимает. Но как остановить молодое сердце, как заставить не смотреть в глаза, когда рядом с тобою божественно красивое существо, взгляд которого не то что молчаливо говорит о своих чувствах, о любовной тоске, а прямо криком кричит? Нет, он не похотливый бабник, который не пропустит мимо себя ни одной юбки. Но и не безгрешный человек, которому ничто человеческое не чуждо. И, что бы там ни говорили всякие морализирующие ханжи, таковым и останется. По крайней мере, пока позволяет возраст, а там видно будет.

Правда, во время встречи со Сталиным тогда он порядком таки струхнул. Еще бы! Ведь как готовился он к этой встрече, сколько бумаг всяких вез с собой. Думал, придется по наркоматам отстаивать необходимость поставки на стройки Запорожья всяких там материалов и оборудования. Полный самолет помощников с собой вез во главе с Дымшицем, управляющим Запорожстроя. Словом, готовились как к большому сражению. А вышло совсем иначе, чем думали.

Леонид Ильич рассчитывал, что ждать ему в приемной Сталина придется долго. Ведь у вождя разве одно только Запорожье? Вон сколько дел всяких. Просто диву даешься, как он только управляется с такой огромной страной. И главное, все выходит так, как он говорит. Прямо не человек, а бог. Настоящий земной бог. Говорит как-будто негромко, не так, как многие митинговые крикуны, а народ его слышит. Слышит даже в самых отдаленных краях и верит. Безмерно верит.

Думал посидеть в приемной, посмотреть, что там за люди, как ведут себя, чтобы самому настроиться, собраться с мыслями. Однако посидеть-то и не пришлось. Сталин принял его ровно в назначенный час. Что называется, минута в минуту. Поздоровался, пригласил сесть. Незаметно коснувшись брюк вспотевшими от

волнения ладонями, Леонид Ильич собрался было раскрыть свою папку, лежащую на столе, чтобы начать доклад. Но Сталин не дал ему этого сделать.

— Оставьте бумаги, товарищ Брежнев, — сказал, усмехнувшись, и попыхивая трубкой, неторопливо пошел вдоль стола.

Прошел туда и двинулся обратно. Дойдя до места, где сидел Леонид Ильич, остановился и заговорил:

— Ми читали вашу докладную. Обстановка описана вами достаточно подробно и обстоятельно. Заявки обоснованы. Все учли? Ничего не забыли?

— Как будто нет, товарищ Сталин, — встав со своего стула, ответал Леонид Ильич.

— Так как будто или действительно, на самом деле не забыли? — прищурившись, спросил вождь.

— Все точно, товарищ Сталин! — встав по стойке «смирно», отчеканил Леонид Ильич.

— Хорошо, — кивнул головой Сталин. — Тогда приготовьтесь принимать грузы. Все, что вы просили, получите. У вас еще вопросы есть?

— Никак нет, товарищ Сталин.

— Тогда, до свиданья.

Чувствуя на своей ладони тепло показавшейся несколько вялой руки вождя, Леонид Ильич направился к выходу, что называется, не чуя под собой ног. Уже взялся за дверную ручку, когда вновь услышал негромкий голос Сталина:

— Скажите, товарищ Брежнев, а гдэ ви спите?

Масса всяких мыслей за какое-то мгновение пронеслась в голове Леонида Ильича. Почему возник этот вопрос? Что интересует вождя? Неужели соответствующие службы уже успели настучать по поводу какого-либо бабского грешка? С трудом ворочая отяжелевшим и ставшим таким непослушным языком, наконец выдавил, вновь повернувшись лицом к хозяину:

— Дома, товарищ Сталин.

— Плохо, товарищ Брежнев! Плохо. Ви должны тепер спать на Днепрогэсе и «Запорожстали».

Фу! У Леонида Ильича как будто камень свалился. Такой огромный и тяжелый. На душе легко стало.

— Ясно, товарищ Сталин! — улыбнулся вождю. — Так и будет.

Тогда-то, возвратившись в Запорожье, и велел Леонид Ильич оборудовать себе кабинеты на стройплощадке у Днепрогэса и на заводе «Запорожсталь». Оно и в самом деле удобно. Ведь два самых главных объекта, которые требуют пристального внимания и обкома партии, и его, первого секретаря. Здесь и совещания проводить можно, и людей принимать, и с кем нужно по телефону связаться. И отдохнуть можно: стоят аккуратно заправленные койки. Леонид Ильич и в самом деле в этих кабинетах оставался

ночевать. Не часто, конечно. Но оставался. Люди это знали и относились одобрительно.

Отдавая много сил и энергии работе, он и о доме, о семье своей не забывал. Там его ценили и всячески старались создать ненавязчивый уют. И он за это был благодарен своей жене Виктории, говоря в нечастые вечера, когда удавалось побыть в семье, что она его главный помощник в организации сражения на Запорожском плацдарме. А дела у них в самом деле шли неплохо. В начале марта 1947 года на Днепрогэсе был введен в строй первый гидроагрегат мощностью 72 тысячи киловатт, восстановлена часть здания гидроэлектростанции, проложена линия электропередач для обеспечения энергией «Запорожстали», заводов и шахт Донбасса. К лету должен заработать шлюз, что позволит возобновить сквозное судоходство по Днепру. Нет, черт побери, запорожцы и в самом деле молодцы. Молодцы, и Леонид Ильич их любит. По-настоящему любит, но и по своей родной Днепропетровщине скучает. Там все-таки область мощнее и размахнуться есть где пошире. Да к тому же, там места его юности. Там и мама, его старенькая мама живет.

Вот для нее, своей мамы и хочет сфотографироваться Леонид Ильич.

— Здравствуйте, люди добрые, — поздоровался, сверкнув белозубой улыбкой.

— Здравствуйте, товарищ Брежнев, — отозвался Юлий Липпович.

— Выходит, вы меня знаете? — изумился Леонид Ильич. — Откуда?

— Из газет, — подключается пришедшая помочь мужу Фрида. — Там ведь начальников всяких печатают.

— Фрида! — осуждающе качает головой Юлий Липпович.

— А что? Разве я что-нибудь плохое сказала.

— Нет, нет! — спешит успокоить симпатичную женщину Леонид Ильич. — Только в газетах ведь много всяких начальников печатают. А как же вы все-таки меня узнали?

— Начальников, действительно, много, — соглашается Фрида, — только...

— Что только?

— Только таких бровей, как у вас, товарищ Брежнев, нет ни у кого.

Леонид Ильич заливисто смеется. Ему явно нравятся и Фрида, и вообще вся обстановка непринужденности, которая царит у фотографа Бовина.

— Хорошо у вас, — говорит он прощаясь. — Только тесновато. Ну, ничего! Немного разошьемся с жилищной проблемой и для вашего фотоателье помещение выделим.

— Да мы уж как-нибудь потерпим пока, — машет рукой Юлий Липпович. Было бы что поесть.

С лица Брежнева сходит улыбка.

— Сложно. Сложно сейчас на селе, — роняет он. — Делаем все, чтобы хлеб был.

А украинское село, в том числе и запорожское, действительно переживало труднейшее время. Военный ураган, пронесшийся над благодатной и щедрой землей, до предела истощил ее людские ресурсы, оторвал от своего благородного и мирного дела главного труженика — хлебороба, практически полностью уничтожил и без того небогатый машинный парк, лишил скота. Теперь государство, оказывая возможную, но, к сожалению, скудную и крайне недостаточную помощь, настойчиво требовало от социалистического села хлеба, молока, мяса, других продуктов питания в объемах, дать которые ему было не под силу! К этим трудностям добавились и новые, вызванные погодными условиями. Палившее все лето жаркое солнце ко времени уборки будто нарочно спряталось за тучи. Зарядивший с середины августа дождь размыл дороги, превратил в болота поля, теряющие и без того небогатый урожай.

— Что будем делать, товарищи? — собрав членов бюро обкома партии, спросил Брежнев.

Члены бюро молчали. Да и что им было сказать. Ведь против стихии не попрешь. В это время раздался телефонный звонок. Леонид Ильич поднял трубку ВЧ.

— Брежнев у аппарата.

— Здравствуй, — сердито буркнула трубка. — Каганович говорит.

— Здравствуйте, Лазарь Моисеевич.

— Как дела на селе?

Брежнев окинул взглядом собравшихся и, помедлив какое-то время, вздохнул:

— Дождь, Лазарь Моисеевич. Сплошной дождь, будь он неладный. Но мы нос не вешаем. Секретари и члены бюро обкома партии разъехались по районам. Стараемся использовать каждую погожую минуту для уборки, в ряде хозяйств приспосабливаем для молотьбы зерна сараи, животноводческие помещения, оборудованные крытые тока и навесы. Одним словом, деремся за хлеб, боремся.

— Хорошо! — прохрипела трубка. — Держись, Брежнев. Желаю успеха.

— Спасибо, Лазарь Моисеевич.

Несколько минут в кабинете стояла тишина. Брежнев молча глядел на телефонную трубку, словно ждал, что вот-вот снова раздастся звонок и прервавшийся только что разговор придется продолжить. Но телефон молчал.

— Слыхали? — сощурившись, спросил Леонид Ильич.

И тут все в одночасье задвигались, скрипя стульями, зав-здыхали, стали сокрушенно качать головами.

— Да! Делишки, — обронил секретарь горкома областного центра Моисеенко. — Что же делать?

— Что делать? — нахмурился Брежнев. — Прежде всего не пищать. Немедленно разъезжаемся по закрепленным районам сами, и туда же отправляем аппарат. Всех, кого возможно. Нечего здесь штаны просиживать. Наша судьба сегодня решается на селе. Выхватим урожай, будем с хлебом, тогда будем жить и другие задачи решим. А нет — поисключают нас из партии. Ясно?

— Ясно! Чего уж там?

— А коль ясно, то не будем терять времени. По машинам.

Вскоре здание обкома партии опустело. В кабинетах остались лишь те, которым положено было обеспечивать связь с Москвой и Киевом, решать неотложные вопросы.

Глубокой ночью телеграф принес постановление ЦК КП(б)У и Совета Министров УССР «О ходе хлебозаготовок», в котором говорилось: «Центральный Комитет КП(б)У и Совет Министров УССР отмечают, что за последнюю декаду августа хлебозаготовки почти по всем областям, за исключением Харьковской и Львовской, проходили совершенно неудовлетворительно: за шестую пятидневку августа в целом по Украине заготовлено хлеба меньше плохой пятой пятидневки.

Наихудшие результаты в деле хлебозаготовок за шестую пятидневку августа дали Винницкая, Днепропетровская, Кировоградская, Черниговская и Каменец-Подольская области.

Исключительно плохо продолжают заготавливать хлеб Черновицкая и Измаильская области, которые идут хуже всех областей УССР и не обеспечили сдачу хлеба даже в пределах следуемых по государственным срокам.

За период шестой пятидневки августа действительно прошли дожди в ряде областей и районов, однако относить такое снижение сдачи хлеба государству за шестую пятидневку только на дожди абсолютно неправильно и не соответствует действительному положению в этих районах и областях. Дожди только усугубили неудовлетворительную работу по организации молотьбы и по выполнению плана хлебозаготовок в этих районах и областях...»

— Нас не ругают, — с облегчением вздохнул Брежнев, знакомясь с документом после поездки по районам. — Посмотрим, что будет в постановляющей части.

«Центральный Комитет КП(б)У и Совет Министров УССР, — проплывали перед глазами, словно вылитые из металла, слова, — постановляет:

1. Обязать обкомы КП(б)У и облисполкомы:

а) повсеместно во всех колхозах усилить молотьбу, используя для проведения молотьбы сараи, животноводческие и другие колхозные помещения, пригодные для проведения молотьбы, оборудованные крытые тока и навесы с тем, чтобы молотьба проводилась в каждом колхозе, каждый день, независимо от погодных условий, в размерах, необходимых для досрочного выполнения государственного плана хлебозаготовок...»

— Ага! — усмехается про себя Леонид Ильич. — Вот и следы нашего недавнего разговора с железным Лазарем.

«...б) безоговорочно выделить в каждом колхозе на ежедневную вывозку хлеба государству, на весь период до завершения плана хлебозаготовок, не менее 40 % всего тягла, считая это на данный период важнейшим условием усиления вывозки осевшего и намолачиваемого хлеба без каких-либо задержек;

в) обеспечить немедленную очистку и просушку намолачиваемого зерна вслед за молотьбой, используя для этого имеющиеся в колхозах сушилки, и выделить колхозные хаты для проведения воздушной сушки и людей, отвечающих за проведение сушки зерна и за полную сохранность его до сдачи государству.

2. Обкомам КП(б)У и облисполкомам повести решительную борьбу с фактами утайки хлеба колхозами от государства, разоблачать виновных в сокрытии хлеба в так называемых отходах, на чердаках и других местах, квалифицируя эти действия как направленные на срыв выполнения плана хлебозаготовок, с привлечением виновных к ответственности. Одновременно обеспечить сдачу государству всего утаенного и сокрытого хлеба...»

— Так. Вот и программа для нашего брата. ... ЦК КП(б)У, — все более мрачнея, читает Брежнев, — и Совет Министров предупреждают, что если в первой пятидневке сентября в областях не будет серьезного улучшения в выполнении плана хлебозаготовок, ЦК и Совет Министров накажут виновных руководителей областей.

Секретарь Центрального Комитета КП(б)У Л. КАГАНОВИЧ

Председатель Совета Министров УССР Н. ХРУЩЕВ».

— Значит, и срок конкретный указан, когда могут снять голову. По-нят-но! Ну, что ж, с Лазарем шутки плохи. Да и Никита ему не уступит. Крут. Хоть и улыбается больше. Под простачка играет. Будем хлеб брать с боем...

В районах области денно и нощно трудились работники аппарата обкома партии, многочисленные уполномоченные. В их числе был и инструктор отдела агитации и пропаганды обкома Петро Задорожний.

После ранения, которое он получил при атаке на село Гребень, Петро почти год находился в различных госпиталях. Вначале врачи лечили его рану, оказавшуюся очень тяжелой. Потом боролись с воспалениями легких, которые следовали одно за другим. Было время, когда они сомневались в том, что их пациент вообще выживет. Уж слишком много испытаний выпало на одного человека. А он все-таки выжил. Выжил всем смертям назло, благодаря собственному желанию и усилиям людей в белых халатах.

— И за что они тебя так любят, эти самые докторицы и сестрички? — изумлялись соседи по палатам.

— Так воны ж били люды, а я теж такый, — посмеивался Петро. — Ось погляньте на мого чуба. Выходыть, мы з нымы родычи.

В госпитале Петро встретил и весть о Победе над проклятым фашизмом. Помнится, плакали тогда они все вместе. Плакали и смеялись. Начав понемногу поправляться, стал он письма писать по разным адресам, в которых пытался получить хоть какую-то весточку о Кате и о Витюшке. Но ответы или вообще не приходили, или приходили, не принося ничего утешительного. Одно удалось установить наверняка, что теща его умерла, а Витька будто бы забрал кто-то то ли из родственников, то ли из соседей. Катя же, как в воду канула. Для окончательной поправки врачи отправили Петра в Крым. Здесь, пребывая в одном из наскоро оборудованных после освобождения полуострова санаториев, Петро продолжал строчить письма, изливая терпеливой бумаге свою тоску и тревогу о невесть куда запропастившихся близких.

В санатории получил он весточку от Булычева. Алексей Андреевич скупо намекал на то, что довелось ему пережить некоторые сложности, которые догнали его почти у самой советско-польской границы. Из этого Петро Степанович сделал вывод, что эти самые сложности были связаны с гибелью их друга Бориса Мащенко. Он до сих пор не мог свыкнуться с мыслью о том, что Бориса нет в живых, и они никогда больше не встретятся. К Борису у него было особое отношение. Он был для Петра чем-то вроде младшего брата, за которого он переживал и которому готов был прийти на помощь в любое время. Себя он считал главным виновником его гибели: дернуло его тогда вызвать Бориса для встречи с людьми Семчука. Не будь этого, не приедь Борис в Гребень, может быть, и сегодня был бы жив и здоров. Хотя кто его знает. Разве пули выбирают, где и когда ужалить того или иного из них? А тогда очень хотелось тех семчуковых хлопцев спасти. Вывести на светлую дорогу надежд. Дать новую веру. Хотелось, а что вышло из этого хотения? И им не помог, и друга потерял. Вот и выходит, что он, Петро Задорожний, сам во всем виноват. Что же касается Алексея Булычева, то нет в том никакой его вины. Напраслину возвел на него Аникишин. Как пить дать, напраслину. Ему ведь сразу нужно было виноватого найти и тут же доложить о том, что тот наказан. Да не просто наказан, а, что называется, на всю катушку. Чтобы и поправить после этого уже ничего нельзя было: нет человека, и все тут. Эх, люди, люди! До чего легко вы чужими судьбами распоряжаетесь. До чего скоры на расправу. Отчего так? Отчего боль вы понимаете, когда касается она вас, а боли других не чувствуете? Не все, конечно, такие. Вон тот же Алеша Булычев — другой. Тот говорит с тобою, и ты чувствуешь, что понимает он тебя, вместе с тобою живет, переживает вместе за твои невзгоды. О таких, наверное, и говорят, что есть у них бог в сердце. А коль так, то что в том плохого? Пусть себе сидит там и добром, душевным теплом с другими делится. Это, хочешь или не хочешь того признать, и по-коммунистически, по-партийному будет. Видать, именно такой человек на пути Алеши Булычева оказался, раз сумел понять, что не виновен он в смерти комиссара Ма-

щенко. Понять и возвратить в самый что ни на есть штаб чекистский, где такие люди, как Алеша, как нигде нужны. Ой, как нужны!

Так рассуждал Петро, гуляя по берегу Черного моря, которое то что-то таинственно нашептывало, лениво шевеля греющуюся на солнце гальку, то, почему-то сердясь, хлестало волнами молчаливо взирающие на его причуды скалы.

Поправив свое основательно подпорченное пулями здоровье, направился Петро в Запорожье, где и мобилизовали его для работы в агитропе обкома партии. А там, как вскоре успел он убедиться, скучать было некогда. Гоняло обкомовское начальство свой инструкторский состав, как соленых зайцев. Из одной командировки едва успевали выбраться, как уже готовилась другая. Иной раз по две-три недели приходилось быть вдали от дома, а то и по месяцу. Особенно же досталось им в этом трудном 1947 году.

На этот раз забросила инструкторская судьба Петра в его родные места, в колхоз «Червоный казак», правление которого располагалось в селе Новоандреевке. Председатель колхоза встретил вначале партийного гостя не слишком приветливо. Кто знает, что за человек? Зачем пожаловал? А главное, о чем будет сообщать наверх. Потому и разместил представителя обкома у своей кумы, чернобровой вдовы, чей муж погиб где-то в Польше.

— Товарыш пожыве в тебе, Фросю, — бросил коротко, приведя постояльца.

— О, Тарасовычу! — всплеснула загорелыми руками хозяйка. — Та в мене ж повна хата зерна. И годуваты нема чим.

— Зайдеш до комирныка. Шось выпышем.

— Ну, що ж, колы так, то нехай, — согласилась Фрося, не преминув окинуть будущего постояльца оценивающим взглядом.

«От стерва! — непроизвольно дернул усом Петро, молча слушавший переговоры председателя с хозяйкой. — Выдно, з норовом кобылка. На такий не поидешь».

И в том, что он не ошибся в своей оценке, Петру вскоре пришлось убедиться. Оглядев сарай, в котором шел обмолот хлеба, Петро на брычке, запряженной лошадкой не первой молодости, отправился во вторую бригаду.

— Гляну, як там сушать зерно, — стараясь не встречаться глазами с председателем, бросил, усаживаясь поудобнее.

Конечно, осмотр он мог бы начать и с центральной усадьбы, но Петру не терпелось побывать в родной Андреевке, и он хотел побыстрее реализовать возможность, которую подарила ему судьба. Ехал с надеждой увидеть знакомые места его детства, пройти тропинками, о которых он постоянно помнил, которые часто являлись ему во сне, увидеть село, которое оставил много лет назад. Но надежде этой не суждено было сбыться. Большая часть села, в том числе и место, где когда-то стояла их хата, ушло под воду. О существовании прежней Андреевки напоминали лишь выстроившиеся вдоль обрыва, как приговоренные к расстрелу, хатки верх-

него ряда да полуразрушенные коробки зданий бывшей земской больницы, что виднелись среди деревьев запущенного фруктового сада. Правда, на берегу Днепра, что спокойно и величаво катил свои воды, лежала выброшенная какой-то неведомой силой бетонная глыба. Петро долго стоял с нею рядом, пытаясь угадать ее происхождение, пока не услышал за своею спиной осторожное покашливание. Обернувшись, увидел стоящего неподалеку маленького, согбенного то ли годами, то ли болезнями старичка, что смотрел на него, опершись на свою сучковатую палку.

— Доброго здоровья, диду, — приветствовал он старика.

— Доброго здоровьячка, чоловиче добрый, — отозвался тот, слегка приподняв свой видавший виды соломенный бриль. — А хто ж то вы будете? Наши чи чужи?

— Свий я, свий, диду, — отозвался Петро, почувствовав, как спазм перехватил ему горло. — Задорожний я. Задорожний.

— Задорожний? А чи не Степан, бува?

— Ни, ни, диду. Я сын його, Петро.

— Ага! То ж я и дывлюсь, що для Степана нибыто молодый. Та й нема ж його. Давно немае... А мене ж ты, мабуть, и не впизнаешь? Га?

— Оце дывлюсь и гадаю, чи не дядько Тымофий Пересунько бува?

— Ты поглянь! — обрадовался старик. — Такы впизнав! Выходыть, я ще живый!

— Отаке! И чого б оце вам, дядьку, не житы, такому козарлюзи.

— Э-э-э, хлопче! Булы колысь козакы, а тепер той, чуешь, кизякы...

Ходил Петро по хатах и, глядя на убогость односельчан, все больше и больше мрачнел. А люди, словно и не замечая своей нужды, торопились рассказать ему, как блюдут колхозное зерно, что делают, чтобы просушить его получше и сдать государству.

«Трыдцятый рик Радянськои влады, — сокрушался он, — а мы и доси не спромоглыся достаток зробыты. Як булы голодранцямы, так и доси нымы зосталысь. Та колы ж воно зийде те сонце щастя над моею землею?!»

На отведенную ему квартиру явился усталый и разбитый. Похлебав постной затерки, которой угостила его хозяйка, завалился спать. Уступив Петру кровать, Фрося также отправилась отдыхать на лежанку. Проходя мимо кровати, немного задержалась и, сладко зевнув, вздохнула:

— Приятного сну вам, Петре Степановычу.

— И вам того ж, — отозвался он и тут же будто провалился куда-то.

Проснулся, услышав, как хозяйка сердито двигала ведра и кастрюли, что-то ворча себе под нос.

«Эх ты, моя голубонька, — подумал про себя Петро, — тоби б хлопця доброго на нич. Тоди б, мабуть, не бурчала, мов кыпъяча

вода у казани, а писеньку якусь веселу спивала. Та вже просты мене побытого й голодного».

Думал как-нибудь перетерпит недовольство хозяйки эти несколько дней. Но у Фроси, видно, было совсем другое мнение.

На следующий вечер она в одной сорочке прошла мимо его кровати. Раз, потом другой, и Петро, опьяненный запахом ее молодого, горячего тела, не выдержал. Рука сама, помимо его воли, коснулась ее ноги, и она потянулась, прижалась к нему.

— Милый мий! — шептали ее жарко дышащие губы. — Коханый.

Что-то шептал он в ответ, лаская податливое женское тело, радуясь невесть откуда взявшейся, возродившейся в нем забытой мужской силе.

Была ночь, и снова наступило утро. Оно было такое же пасмурное, как и вчера, но чем-то другое. Будто светлее стало в хате, и запах какой-то знакомый и манящий, что даже слюнки текут. Жареное мясо? Откуда? Неужто кажется? Так нет же. Он явственно чувствует запах свежего жареного мяса.

— Уставай уже, соня! — весело защебетала Фрося, вскочив в комнату. — Сниданок — на столи.

Он встал и, все еще не веря в то, что может полакомиться свежачком, прошел к столу. Нет, так и есть, мясо.

— Звидкиля воно в тебе? — сдвинул плечами.

— А! Воно тоби треба? — махнула рукой Фрося. — Сидай и иж.

— А все ж?

— Козеня заризала...

Весь день Петро испытывал двойственное чувство. Он радовался тому, что вновь ожил, вновь почувствовал себя мужчиной, и ругал, казнил себя за то, что изменил Кате.

«Мовчить? Нема ии? Ни е! Я знаю, я вирю, шо е, шо жива вона, мий горобчик. Може, мучиться десь, а я тут, кобеляка проклятый, у любов граю. Бодай мени луснуть...»

Он ругал себя последними словами за допущенную слабость, решал, что больше не позволит этого. Но ночью Фрося пришла к нему опять, и он снова не смог устоять...

«От чертова баба! — сокрушался он, слушая, как сладко посапывает Фрося. — И шо воно за сыла у их за такая? Узяла, як того бугая, и повела, а я и не мекнув. Тьху! А бодай тоби щастя в хату».

Так прошло еще три дня. Петро закончил свою работу, а тут в аккурат через председателя колхоза команду из обкома партии передали: возвращаться в Запорожье. Идя за своими вещами на квартиру, ломал он голову: что сказать Фросе? Как не обидеть славную женщину. Но она встретила весть об отъезде Петра, на удивление, спокойно. Только, уже прощаясь, смахнула вдруг набежавшую слезу и тихо сказала:

— Мо, прыидешь ище, Петь? Прыидь. Я и козу зарижу... Чуешь?

Ничего не ответил он ей и, виновато опустив голову, вышел из хаты.

3

Чествуя победителей фашизма, которые принесли ему славу великого полководца всех времен и народов, Сталин не забывал карать повинных в его военных неудачах. В качестве таковых им были однозначно определены военнопленные и в первую очередь офицеры. 126 тысяч советских офицеров, освобожденных от фашистской неволи, были тотчас переправлены в лагеря ГУЛАГа. В одном из лагерей, расположенном неподалеку от Джезказгана, отбывала свой срок приговоренная Особым совещанием МВД СССР к десяти годам лишения свободы Катя. Все произошло с ней так неожиданно и казалось таким диким, что Катя, можно сказать, впервые по-настоящему растерялась и по сути ничего вразумительного не смогла сказать этому самому совещанию в свое оправдание. Да, собственно говоря, никакого совещания и не было. Ей зачитали приговор, в котором она обвинялась в том, что находилась в составе бандитских формирований банд Махно и тут же, не задав ни единого вопроса и не дав слова сказать, объявили тот самый приговор. Тем же совещанием была осуждена и бывшая жена Нестора Ивановича Галина Кузьменко.

Они встретились в арестантском вагоне, который вез их к месту, где предстояло отбывать назначенный срок.

— Узнаешь? — подсев к Кате, спросила Галина.

— Голос как-будто знакомый, — сдвинула плечами Катя. — А так...

— Ну, а я тебя сразу узнала, Катерина. Батькина я, Нестора Ивановича жена.

— Галина! — изумилась Катя, — Ты?!

— Я, я, — покачала та головой. — Что? Изменилась? Поганой стала?

— Да не, — смутилась Катя. — Только... только время прошло. Много ведь лет пролетело с тех пор, как виделись мы...

— Хитришь... Не хочешь обидеть... А мне теперь уже все равно. Того, что было, не вернуть и обманывать себя нечего. Ну, да ладно. Расскажи о себе.

— Что рассказывать?

— Ну, как жила все эти годы? С кем жила?

Галина вдруг усмехнулась загадочно и продолжала:

— Ага! С кем жила? Мы ведь тебя тогда больную оставили, кажется, в каком-то селе...

— Да, в немецкой колонии.

— Так. Левка скучал по тебе. Очень. У него ведь после тебя баб не было больше...

Катя сдвинула плечами. Что она могла сказать этой женщине? Что ничего такого, на что намекает она, у них с Левой не было. Но зачем? Почему она должна это говорить? Нет, оправдываться

ей незачем да и не к чему. Они совершенно чужие люди. Здесь случайно встретились и так же разойдутся. А коль так, то лучше помолчать или отделаться самыми общими фразами.

— Вот только куда он пропал?

— Не знаю.

— Совсем ничего не знаешь?

— Нет

— Да-а-а! А я вот одна. Без мужа, значит. Нестор же помер...

— Я знаю.

— Знаешь? Откуда?

— У нас писали.

— Ага. Помер... Но это неважно. На нем жизнь не остановилась. Он у меня был не первый и не последний...

И тут Галина вдруг стала рассказывать о своей жизни. Говорила медленно, вспоминая какие-то, казалось бы, незначительные, но для нее, очевидно, важные детали. Будто заново переживала все прожитые годы. Довелось узнать Кате, как романтика привела ее собеседницу в юные годы в келию Красногорского монастыря на Полтавщине, где пережила она свое первое увлечение молодым канцеляристом из золотоношской полиции, который потом из-за любви к ней даже застрелился. Потом она сама безумно влюбилась в молодого барона Юрия Корфа. Барон даже отважился привести ее к своим родителям, умоляя признать невестой, но строгие предки были неумолимы и категорически отказались иметь невесткой дочь отставного жандармского унтер-офицера. После этой драмы и длительного разочарования как раз и повстречала она вернувшегося с каторги Нестора Ивановича.

— Было то, кажется, осенью 1918 года. Боже мой, скоро тридцать лет тому назад. Ага. Нестор как раз зашел в гимназию и, увидев меня, стал из себя эрудита строить. Какую-то редкостную книгу потребовал выдать ему. А я сказала, что не дам. Не дам, и все тут, потому что она в одном экземпляре. Он на меня очи вытрещил. Еще бы! Ему до меня никто слова «нет» ни разу не сказал. За пистоль схватился. Ну, думаю, застрелит меня сейчас, паразит. Взяла книгу и швырнула ее ему на пол. Эх, как взвился он. «Подними, — кричит, — подними, стерва, книжку». А я как раз на черта села. «Не подниму! — отвечаю. — И культурный человек пистолетом женщине грозить не будет. Да я вас и не боюсь».

Галина замолчала, видимо, переживая вновь то свое далекое состояние.

— Ну а дальше, что? — нарушила молчание Катя.

— Дальше? А ничего особенного. Через неделю свадьбу сыграли. Он ведь, чертяка, скаженный тогда был. Такие нам, молоденьким дурам, нравятся.

— Значит, сама за него пошла?

— Сама.

— А говорили, что батька силой тебя взял.

— Не, сама. Опять же — романтика. Захотелось первой быть. Чтобы все мне завидовали. И таки завидовали! Ох, и многие же мне завидовали, Катька! А ты разве нет?

— Я?! — изумилась Катя столь странному вопросу. — Чему? Чему завидовать?

— Ну, как же? Все ж таки самого батьки жена... Хотя и твой Левка тоже мужик ничего. Ага, совсем ничего. Я ведь его проверяла, щупала, что он за штука.

— Это как же?

— А так. По-своему, по бабьи, — мигнув, засмеялась Галина. — Нестор у меня ревнивый чертяка был. Стоит мне с кем-нибудь переглянуться или заговорить, так он сатанел прямо. Скажу тебе честно, из-за того не одна головушка буйная пропала. Были, конечно, и невинные, а были и виноватые.

— Выходит, ты ему изменяла?

— Эх, Катька! Что про то сейчас говорить? Что было, то сплыло. Как-нибудь другим разом...

Так случилось, что они не только оказались вместе в одном лагере, но и спали на соседних нарах. Наговорились, что называется, на всю жизнь. Всех вспомнили, по косточкам перебрали, находясь за колючей проволокой. Хоть и разные были, а все же, держась вместе, как-то легче других переносили тот ад.

— Мне бы десяток-другой годков сбросить, — вздыхала Галина, — я бы им показала паразитам. Всю охрану сопливую к ногам бы своим положила и по спинам, по спинам их топталась.

Катя то изумлялась жизнелюбию своей соседки по лагерному бараку, то злилась ее необузданной говорливости, которая изнуряла, утомляла ее и, казалось, посланной была кем-то в наказание. Ухитрившись сохранить втайне от Галины свое настоящее прошлое, Катя все же надеялась, что там, на свободе, оно откроется людям. Она представляла, как кто-то принципиальный и чистый, может быть, тот же Алеша Булычев (чем черт не шутит?) наткнется случайно на ее дело, и тогда все прояснится. Как это будет, Катя не знала, но тот, самый счастливый миг в своей жизни она почти явственно видела. Вот ее вызывают к лагерному начальству и читают приказ из самой Москвы: так, мол, и так, гражданка Шмидт, осудили вас по ошибке. Она думала, как будет ехать домой, в Запорожье. Да, да, именно в Запорожье. Этот город они с Петром вместе строили и успели его полюбить. Так что жить они будут только там. Вот только Витька бы найти быстрее и Павлика. Они с Петром обязательно возьмут его к себе. А как же? Мальчик же сирота. Марийка умерла у нее на руках, а ее Никита оказался таким негодяем. Он наверняка где-то сгинул...

Томясь безвинно в лагере, Катя не могла подумать, что тот, кому по всем законам надлежало сидеть здесь, сейчас разгуливал на свободе.

До Лондона, где, судя по рассказам Леймана и Онучина, жил его отец, Никита добирался долго и со всякими приключениями. Пришлось основательно передрожать, пока садился на пароход, не один раз умирать, забившись в самый угол каюты, расположенной где-то на дне корабельного брюха, среди что-то белькочущей пьяной английской солдатни. Его хлопали по плечам, о чем-то спрашивали, но он только глупо улыбался и тыкал пальцем то в рот, то в уши: глухонемой, мол, я, ничего не пойму. Не стало ему спокойнее и тогда, когда истрепанный штормом корабль бросил якорь в порту Тильбери. Его куда-то возили, подолгу расспрашивали, выясняя то то, то это, уточняя какие-то детали. Были моменты, когда казалось, что его либо потащат в тюрьму, либо отправят назад в Гамбург, из которого он прибыл. Но все обошлось, и он, наконец, стоял перед нужным ему домом.

Услышав из-за массивной дубовой двери знакомое отцовское гудение, что-то спрашивающее по-английски, Никита едва не закричал от радости. «От зараз,.. — думал он, стараясь унять стук гулко бьющегося сердца, — зараз откроется дверь, и я побачу свого батька». Но дверь не спешила открываться.

— Татко! Ну, что ж вы? — обиженно позвал он. — То ж я, Мыкыта.

— О боже праведный! — простонал, выглянув из-за двери отец. — Та невжели? Невжели?

Дверь открылась, и Никита от удивления даже рот раскрыл, не в силах проронить хотя бы слово. Перед ним стоял немощный старец с лысой головой, похожей на колено, истертое и измученное от долгого стояния на нем. Желтое, как старый-престарый воск, лицо говорило о страшной болезни, которая дожевывала остатки некогда могучего, как дуб, отца.

— Май диа сан! Сы-сы-ночек! — протянул он трясущиеся руки. — Сыну мий!

С трудом преодолевая охвативший его ужас, Никита шагнул навстречу.

В коморе под лестницей, где жил отец, довелось Никите выслушать исповедь о том, как вместе с Махно пробирались остатки батькиной армии к границе, за которой только и виделось им спасение от идущей за ними следом смерти. Как, подойдя к Днестру, сидели в засаде в лесу.

— Левка Задов натянул на себя одежду красного, з якого хлопцы кишки выпустили. Одежка та на Левке трещит, от-от полезет. Он же, той Задов, добрый бугаяка был. Ну, ничего. Сидим и не дыхаем. Када смотрим — прикордонники красные. Левка до них, значит. Руками машет, шото балакает. Они и поверили. Вуха развесили, а тут мы их и скрутили. Переправились до мамалыжников и тю-тю. Ну, румунские власти зброю в нас позабирали. Дажить трохи у тюрьме посидеть довелось. А потом повыпускали. Нашо мы им? Батько злый был, как чертяка, на красных. Все хоте-

лось ему помститься. Переговоры вел с Петлюрой, шоб на Украину разом идти. Пойнял? Та шо там Петлюра?! Он с самим сатаною б побратался, абы можна было. Мало кто знал, шо у Дибровському лесу батька клада сховал. Хлопцы казали, там такая сила-силенная золота, шо и не передать. Токо все пропало...

— А вы, тато? Вы ж якось казали мени, шо тож ховали.

— Не забыл? — жалкая улыбка скользнула по желтому лицу отца.

Никита неопределенно сдвинул плечами.

— Вы ж сами казали...

— Казал. Под будкой они. Под собачую будку я их закопал той ночью, когда приходил останним разом.

Никита стиснул зубы. И надо же такому случиться! Отец же не зря тогда говорил ему, что нужно собаку завести. Как же он, дурень, не догадался!

— И багато там было?

— Думаю, шо и мне, и тебе до самой смерти хватило бы. Там же не токо мое, а и Ивана добро было. Теперь все пропало.

Никита в сердцах хотел сказать, что больному отцу, который, по всему видно, одной ногой уже на том свете, не стоит об этом сожалеть. Но сдержался. Только вздохнул, глубоко и сокрушенно покачав головой. Он без особого интереса, что называется в полуха, слушал гудение отца. Помотавшись по белому свету, тот, оказывается, уже добрый десяток лет швейцарил у бывшего графа Орлова, бежавшего из России в 1920 году.

То ли сам граф, то ли графиня за какие-то заслуги облагодетельствовали отца. Друзья графа помогли Никите устроиться матросом на торговое судно. Перспектива сидеть рядом с больным отцом, который так походил на давно умершего деда Савву, перебиваясь куском хлеба с кошачьими консервами, вместо спокойной жизни в достатке, на которую он надеялся, когда рвался в эту самую Англию, мало устраивала Никиту. Поэтому предложенной работе он несказанно обрадовался. Правда, пугала качка, которая порядком измучила его, когда пришлось плыть пароходом из Гамбурга. Утешало, что все же удастся к ней привыкнуть. Да и не каждый же день на море гуляют штормы. Зато теперь у него был заработок, и была крыша над головой.

Первые рейсы прошли более или менее спокойно, и Никите стала даже нравится его работа. В свободное от вахты время он любил стоять на палубе, всматриваясь в безбрежную даль. От нее веяло бескрайними степными просторами, далеким и спокойным детством. В сущности, море и было той же степью. Только вместо трепетного дрожания золотистых хлебных латок, выжаренных горячими языками солнечных лучей, пугливого шелеста травинок, гнущихся даже от легкого прикосновения ветерка, да стремительно мчащихся, будто с перепугу, подушек перекати-поля здесь было монолитное и могучее покачивание черно-синей водной гла-

ди, сознающей свое величие и свою неодолимую мощь. И жизнь в этой водной степи была иной — немой, невидимой и по-рыбьи холодной. Правда, и там, и здесь были еще птицы. Там, в степи, — толстое и нахальное воронье, выискивающее с брезгливым и важным видом свою добычу и оглашающее округу пугающим карканьем, в котором слышалось: «Не тр-р-ронь! Мое!» Здесь же, в море — легкие стремительные чайки. Зависая снежно-белыми хлопьями над кормой, они словно старались закрыть собой остающееся позади, уплывающее вдаль прошлое, предупреждая своими вскриками о близкой опасности: «Слу-у-шай! Будь осторожен! Берегись! Твоя беда бродит где-то здесь. Она совсем рядом». И в этих вскриках, во всех повадках дивных птиц чудилось Никите что-то человеческое. Что-то до боли знакомое. Родное и близкое. В море он немного отходил душой, вновь начинал чувствовать интерес к окружающему миру, всматриваться в людей, которые были рядом, сравнивать себя с ними.

Среди команды судна было четверо его земляков: старый, уже собирающийся проститься с морем, механик, ушедший некогда из Севастополя вместе с бароном Врангелем, пожилой, всегда хмурый боцман, толстый, как театральная тумба, родившийся в семье эмигрантов, которые приехали в Англию перед самой революцией из Одессы, и двое таких же, как и он, матросов, немногим моложе его, о которых он мало что знал. Сближаться с ними Никита не спешил. Да и они, как видно, не очень торопились проявлять свои земляческие чувства. Работал каждый сам по себе. Выполняя то, что было положено, бывало, за всю вахту обменяются десятком, другим слов, и весь разговор. Только те двое держались как-то вместе. При нем вроде были, как все: молча сопели себе под нос. Но он несколько раз замечал, как шептались они о чем-то, когда оставались одни. Это его нисколько не удручало. Не лезут к нему с расспросами, и ладно. И на том спасибо. Как-нибудь без них обойдется. За годы, проведенные в заключении, да и потом, когда служил в полиции, Никита привык к одиночеству. Рядом были люди, они что-то делали, о чем-то говорили, но все это как будто проходило в ином мире и его не касалось. Зачем они ему? Они для него те же вороны: вместе летают в одной стае, рядом ходят, ковыряя землю своими клювами, отыскивая свою мерзкую пищу, но никогда не сливаясь в единое, не становясь одним целым, всякий раз оставаясь черной тучей, кем-то случайно и насильно созданной. Вот только пугни, и ее враз не станет. Тяжело взмахивая крыльями, разлетаются вороны в разные стороны, выкрикивая будто самые страшные матюки, свое гортанное карканье. Никите ни разу не доводилось видеть, чтобы вороны сбивались в пары, создавая семьи, как это делали другие птицы. Знал, что где-то существуют вороньи гнезда, но сам их никогда не видел. И как появляются на свет их детеныши-птенцы, также не знал. Не знал да и, по правде говоря, узнать желания особого не

испытывал. Как не взлюбил он этих птиц с раннего детства, так и не смог отделаться от этого чувства всю свою жизнь. Поэтому ужасно испугался, когда однажды вдруг обнаружил, что и сам чем-то стал походить на этот противный всему его естеству вороний род. Он вначале подолгу рассматривал себя в зеркало, стараясь разглядеть в отражении что-то такое, что развеяло бы его опасения. Но видя перед собой непомерно маленькое для его крупной фигуры лицо с большим хрящеватым носом, хищно загнутым книзу, обтянутые шкурой скулы, слегка выпученные глаза, смотрящие будто из небытия, еще больше расстраивался. «Старею, — с тоскою подумалось однажды. — Совсем как дед стал. Дед Савва...» В этой схожести он усмотрел для себя предзнаменование близкого конца и не на шутку испугался.

В отчаянии бросился к Леониду и Николаю (так звали тех двоих матросов), усиленно стал зазывать их к себе в гости, обещая хорошее угощение. Но те, видно, встревоженные его необычной активностью, стали еще больше сторониться. Никита злился, но в душе понимал, что для этого у тех двоих были основания.

Перед очередным рейсом в Стамбул к нему подошел элегантный мужчина и, поздоровавшись по-английски, вдруг на чистейшем украинском языке передал поклон от Мыколы Мыновыча. Никита смотрел на него точно так же, как смотрел бы на неожиданно приземлившегося в центре Лондона на парашюте Иисуса Христа: забыв закрыть рот удивленно и, по-видимому, глупо моргая глазами. Нельзя сказать, что он совсем не ожидал этого самого привета или забыл о нем. Нет. За свою полицейскую службу Никита уже имел возможность убедиться, что пароли его хозяевами просто так не даются. Но чтобы его отыскали так быстро и в другой стране, такого он никогда не предполагал. Его реакция несколько озадачила незнакомца. Какое-то время он, не мигая, смотрел на Никиту, словно пытался прочесть по выражению лица те мысли, которые, как акробаты в цирке, прыгали в его голове. Потом, видно, заметив, что Никита понемногу приходит в себя, иронически усмехнулся, едва шевельнув кончиками тонких губ.

— Так хворый, кажите, они? — пролепетал Никита, испытывая жгучий стыд за свою растерянность. — Горилка... Горилка, кажуть, с червоным перцем помогает от всякой хворобы.

Эти слова были ответом на пароль.

— Ну, от! — более дружелюбно усмехнулся незнакомец, — а то я подумав, шо английски туманы зовсим запаморочили вам голову, пане Свист.

— Та от,.. — попытался оправдаться Никита. — Як вас, выбачаюсь, добродию?

— Витер. Зовить мене Витер. Тильки не будемо гаяти часу. У нас його и так обмаль. Слухайте мене уважно...

Он-то как раз и приказал втереться в доверие к Леониду с Николаем и следить за каждым их шагом, слышать каждое их сло-

во. Хорошенькая штука! Только как он это может сделать, когда те два парня вида его, Никитиного, не выносят, а при встрече молчат, чисто рыбы. И на какой хрен понадобились они Мыколе Мыновичу! Было бы что-нибудь путное, еще куда ни шло, а то самые обыкновенные военнопленные, которых война забросила к черту на кулички. Какой от них толк? К тому же Леонид, по всей видимости, еще и еврей. Вон глаза как выкатил и нос с горбинкой. Ему-то совсем безразлично, кто он такой: русский, украинец, немец или еврей. Какая разница? Одинаково на свет появляются, одинаково и подыхают. Но как же Мыкола Мыновыч? У него ведь, про этих самых евреев когда говорил, желваки ходуном ходили, слюна изо рта, чисто тебе кипяток из чугунка раскаленного, летела. Всех готов был пострелять-порубить. А тут — на тебе. Может, он и этого хочет туда же? Сначала ты, Никита, погляди, послушай, а потом... «Не-е-ет! Спасибочки вам превеликое, пане директор. Чи як вас там? — сердито сопел он, ведя молчаливые споры с Онучиным. — З мене годи вже и того пекла. Годи, шо месяца два очи той дивчинки слидом ходыли, не давая спокою ани вдень, ни вночи. Годи! Шо хочите робить, а не пиду я бильше на такое. Не пиду, хоть убыйте». Хм... Убейте... убейте... И такое может статься. О, Господи! Как же быть? Где спрятаться? У кого искать защиты? Есть ли такое место на свете, где можно покой найти?

Находясь в рейсе, Никита всякий раз мучился от качки, к которой никак не мог привыкнуть. Мечтал о том, как сойдет на берег и, помывшись, будет целыми днями отлеживаться в каморке отца, ни с кем не разговаривая и ни о чем не думая. Но обрести желанного покоя ему и здесь не удавалось. Причиной тому была не только болезнь отца, его старчески-немощный вид и вечное то ли постанывание, то ли бормотание, которые, конечно же, раздражали Никиту. Но главное было не это. Изводила его больше всего отцова хозяйка, графиня Орлова. Овдовев вскоре после приезда Никиты из Гамбурга, графиня стала подозрительной и нервной. Она, казалось, слышала каждый шорох в доме. Стоило лишь неосторожно подвинуть стул или звякнуть кастрюлей, как в каморке начинал дребезжать сигнальный колокольчик, приглашающий в покои к графине.

— Ну, что там за артиллерия грохочет?! — морщилась она, зябко кутаясь в плед. — Ты пугаешь меня, вредный Овер. Зачем ты это делаешь?

— То я, хозяйка, виноват, — оправдывал отца, поднимаясь вместо него наверх Никита, — ведро необережно поставыв...

— Ах, это вы, молодой человек! — жеманно щурилась графиня. — Я и не знала, что вы вернулись из своих вояжей.

Она, конечно, хорошо знала, когда он возвращался и, видно, специально так часто названивала колокольчиком, чтобы поговорить с ним.

— Ну, что там? Что нового в нашем неспокойном и страшном мире? — спрашивала она и, не дожидаясь его ответа, тут же пускалась в пространные рассказы о своей бурной молодости. О России она старалась не говорить. Все больше хвасталась, как жила в Париже, как танцевала в балете в Монте-Карло. Никита однажды бывал в этом крохотном, почти игрушечном городке, который жители со смешной гордостью называли государством. А какое там государство, когда всякому туда вход свободный. Были бы только деньги. Особенно доллары. С ними куда хочешь можешь идти и что хочешь купить. Хоть костюм самый модный, хоть бабу какую. Пожалуйста! Имей только эти зелененькие бумажки. Правда, фунты тоже там в ходу, но все же к ним нет такого почтения, как к долларам. Слышал Никита от хозяйки, что в Монте-Карло есть казино, где крутят рулетку, просаживая огромные состояния.

— О, боже! — закатывала свои уже потерявшие цвет глазки графиня. — Вы себе представить не можете, Овер, какое испытываешь чувство, когда ждешь решения своей судьбы.

Она так и не освоилась с его именем, все время называя, как и отца, этим дурацким Овером. «Как собаке, кличку дала, стерва старая!» — ругался про себя Никита, но поправить графиню ни разу так и не отважился.

Все время подчеркивая свою ненависть к России, которую она будто бы давно вычеркнула из своей жизни, графиня Орлова кривила душой. Увлекаясь бесконечными рассказами, она не замечала, как то и дело сравнивает понравившиеся ей вещи с тем, что когда-то видела на родине.

— А сад, Овер! Сад — прямо прелесть. Прямо как у нас где-нибудь под Киевом. Как у нас...

Детей своих графиня не имела и, спасаясь от тоски, которая все чаще и чаще настигала ее в часы старческого одиночества, завела себе четырех котов. Это были пушистые красавцы сибирской породы, невесть как попавшие из далеких морозных и снежных краев на дождливые берега Темзы, служившие, казалось, родиной всех на свете туманов. Всем четырем котам волею хозяйки были даны русские имена — Иван, Василий, Андрей и Степан. Целыми днями коты лениво и важно разгуливали по комнатам дома, а в зимнее время собирались у камина, устраиваясь вокруг кресла графини, которая любила подремать у огонька. В доме был заведен строгий порядок, по которому котов кормили всегда в одно и то же время. Делала это сама графиня. Усадит их друг подле дружки, кормит из ложечки и говорит, говорит, будто не коты они вовсе, а все понимающие малые ребята:

— Откушай, откушай, Ванечка! А-а-ам! Вот так, вот так, моя умничка. Ну, еще, еще одну ложечку! Ну, ну, миленький.

И радуется чему-то, смеется на весь дом. Как ненормальная. Даже мороз по спине босиком бегает. Страх берет.

— Дывысь! Дывысь, Мыкытка! — испуганно шептал в такие минуты отец, хватая за руку сына. — Бачь, чудыть, чудыть матинька. Выдать, погано ий. Зовсим погано. А ну, помре. Як житы буду? Я ж здохну десь пид парканом з голодухи. Ий-бо, здохну!

Отец торопливо крестился и плакал, будто малое дитя, становясь еще более жалким и беспомощным. Того, некогда могучего отца, от одного вида которого он дрожал, как осиновый листок, оставалось все меньше и меньше. Но сам отец этого, казалось, не замечал. Ишь, о графине беспокоится! Да эта бабка, даром что худенькая да сухонькая, будто та щепка, а на добрый десяток годков его переживет.

Так оно и случилось. Во время одного из своих приездов Никита застал отца совсем плохим. К его болячкам добавилась еще и простуда.

— Пневмония, — поставил диагноз приглашенный Никитой сухонький и белый, как лунь, доктор, тоже из русских эмигрантов. — Воспаление легких, значит.

— Може, лекарство какое треба? — помимо воли пытаясь припомнить, сколько денег у него осталось, несмело спросил Никита. — Купыть шо треба?

— Не стоит. Ему уже ничего не поможет. А тебе, голубчик, советую поберечь копейку. Она еще сгодится...

Где-то в груди вспыхнул было протест. Отец все же! Как можно такое говорить?! Он хотел обидеться на старика-доктора, но, отвалив ему плату за визит, почувствовал, что запал его постепенно проходит. «Ну, пиду я в аптеку, — будто не он, а кто-то другой с безразличием рассуждал внутри его. — Ще вытрачусь. А толку? Все ж одно помре. Он и ликар же сказав, вже ничего ему не поможе. Тоди для чого? Для чого дарма гришмы кыдатысь!»

Так и не пошел он тогда в аптеку. А отец, действительно, помер. На третий день. Тяжело так, будто выталкивая что-то из себя, вздохнул, и — все. Затих. Глядя на него, какого-то маленького и незнакомого, совсем чужого, Никита еще раз почувствовал укус проснувшейся в нем совести: «Гад я! Пожалив гроши на ликы!» Но укус этот был слабым, и он скоро о нем забыл.

В первые месяцы после смерти отца Никита чувствовал себя очень скверно. Было такое ощущение, словно он погрузился глубоко-глубоко в воду. Вокруг плавают люди, смотрят на него вроде бы без всякого интереса, что-то говорят, беззвучно шевеля губами. А вот что, что именно говорят, не разберешь. Да и обходят его как-то не так, безразлично, вроде он вовсе не такой, как они, как все, не человек, а дерево, мертвое и сухое, или камень, глухой и холодный. Даже жутко становилось. Хотелось плакать, кричать во все горло, размазывая по лицу горячие от кипящей обиды слезы: «Эй, вы! Стийте! Хиба не бачите? Ось вин я. Поряд з вамы. Погано мени. Говорить зи мною. Не кыдайте. Молю вас. Молю...» Только не было сил вытолкнуть этот крик из себя. Невидимый плющ

одиночества, присосавшийся к нему, оплетал своими шершавыми змеями-веревками слабеющее безвольное тело, сжимал клещами истерзанную стонущую душу.

Во время плаванья Никита стал замечать за собой, что избегает выходить на палубу. Не хотелось признаться даже самому себе в том, что он боится быть смытым за борт и по-настоящему оказаться в холодной и соленой воде. Ночами ему несколько раз снилось, что он тонет. Вода, будто невесомую щепку, безо всякой натуги, легко отбрасывала дверь и властно вкатывалась в каюту, заполняя с брезгливым шипением все пространство. Где-то рядом мелькали полные предсмертного ужаса глаза той самой, некогда расстрелянной им еврейской девочки с острыми, как из проволоки, плечиками, худыми руками и неестественно тонкой шеей. Он явственно слышал ее звенящий туго натянутой струной голос, умоляюще просивший его: «Дяденька! Милый дяденька, не убивайте... Не убивайте меня, пожалуйста...» Что-то черное, липкое наваливалось на него, сжимало горло, перехватывало дыхание. Измученный вконец, он просыпался в поту, с тревогой слушал, как огромной невидимой машиной, сотрясающей все его тело и, казалось, всю каюту, весь корабль, бухает рвущееся наружу сердце. Немного успокоившись, он уже не мог больше уснуть. Лежал, всматриваясь в черную, пугающую его темноту, терпеливо вымаливая покой, пока одолевающий в своем вечном борении рассвет, наконец, вспарывал плотную и тугую темень ночи, впуская только родившийся, грязновато-серый, едва различимый и непонятный день. Это были самые желанные минуты. Он затихал, как бы оторвавшись от прошлого. В предчувствии умиротворения закрывал глаза, стараясь поскорее уснуть. Но такое случалось очень редко. А если и случалось, то на самое короткое время. Так что Никита даже не мог толком разобраться, спал он или это ему лишь показалось.

В последнее время, незаметно для себя, Никита стал все чаще думать о боге, усиленно вспоминая молитвы, которым когда-то учила его мать. Слова вспоминались с трудом, словно нарочно прятались от него за выстроившимся частоколом лет, в невесть когда выросшем за ним дремучем лесу памяти.

Однажды, слоняясь в тоске по улочкам лондонских окраин, Никита набрел на домик православной церквушки. Осторожно ступая, поднялся на дрожащих от волнения ногах на невысокое крылечко и, открыв недовольно, будто спросонок, скрипнувшую дверь, вошел внутрь. Зажмурил глаза, чтобы немного привыкнуть к полумраку, и, постояв так немного, открыл снова... Прямо перед собой увидел иконостас и, повинуясь какому-то внутреннему велению, опустился на колени. Жадно всматриваясь в печальные лики святых, зашептал молитву. Вернее, это была не молитва, а просто обращение к живым, очень близким людям, с которыми он встретился после долгой-долгой разлуки и которым торопился излить свою душу, боясь, что встреча будет недолгой и вот-вот пре-

рвется. Слезы ручьями текли из его глаз, расползаясь по небритым щекам, сбегая по шее на воротник рубашки. Но он их не замечал, стараясь выговориться, рассказать без утайки о всех своих бедах, всех грехах, которые тяжкими веригами висели на нем все эти годы. Было такое чувство, что святые с икон понимают его, сочувствуют ему, и Никита, как когда-то Марийке, торопливо шептал и шептал им свои тайны. Окончив исповедь, он затих в изнеможении. На какое-то мгновение ему показалось, что вся боль, точившая все эти годы изнутри, покинула его, уплыла вместе со словами, обращенными к богу. Никита замер, боясь пошевелиться. «Бо-ж-же! — трусливым зайчонком мелькнула радость. — Невжели? Невжели молытвы мои дийшлы до тебя, Господы? Невжели очистишь ты тило и душу мою вид багна и дасы спокий рабу твоему гришному?» Тут же испугавшись собственной смелости, Никита замер в ожидании того, что сейчас что-то должно случиться, что-то произойдет. И действительно, где-то справа открылась дверь. Она открылась тихо, без скрипа, почти бесшумно, но он услышал, что это так, и весь напрягся. Кто-то неторопливо шел к нему, и каждый шаг колокольным гулом отдавался в голове Никиты. Подойдя, этот некто остановился и какое-то время молча смотрел на него. Никита чувствовал его взгляд, медленно ползущий с поредевшей макушки на затылок, перебирающий замершие в нечеловеческом напряжении позвонки на спине, ощупывающий плечи...

— Кто ты, сын мой? — послышался глуховатый, с легким надтреском голос. — Встань, сын мой.

Голос показался Никите знакомым. Он сразу же узнал его, но, все еще не веря, продолжал стоять на коленях, опустив голову и закрыв глаза. Это был голос Мыколы Мыновыча. Но тот почему-то говорил по-русски.

— Ты слышишь меня, сын мой? — уже более настойчиво спросили его, и Никита медленно поднял голову. Усилием воли заставил открыть глаза. Да, он не ошибся. Перед ним действительно стоял Мыкола Мыновыч. Прошедшие годы оставили на нем свой след, изрезав лицо бесчисленным множеством морщин, сделав его похожим на вялую картофелину. Мертвым отростком, уходящим не в будущее, а в холодное прошлое, торчали желтовато-серая бороденка и такие же жидкие волосы на маленькой головке бывшего директора школы.

— Господи! Никита? — изумился Мыкола Мыновыч. — Откуда ты?! Как нашел меня?

Никита хотел было признаться, что совсем не искал его, а просто случайно забрел в храм, но почему-то передумал и ответил:

— Сердцем, Мыкола Мыновыч. Мабуть, сердцем.

— А что ж на сердце у тебя, сын мой?

— Неспокий там. Болыть воно. Стогне.

Доброта, которая только что сияла утренним рассветом на лице Мыколы Мыновича, медленно сползла, спряталась куда-то.

Бывший директор чем-то стал похож на разозлившуюся до предела кошку, готовую вот-вот вцепиться зубами в свою жертву или изо всей силы тяпнуть лапой с хищно распущенными когтями.

— Ось ты, значить, як! — то ли сказал, то ли промяукал Мыкола Мынович. — Спокою тоби схотилось! На тепленьке мистечко потягло? Так, так. Тилькы ось що тоби скажу, чоловиче: адресом ты помылывся. Не туды зайшов. Не в те виконце постукав. Тут не спокой, а гнив и ненавысть люта живуть. Так, так.

— Та скилькы ж можна?! — вырвалось у Никиты.

— Скилькы, пытаешь? — ощерился на него беззубым ртом Мыкола Мынович. — До скончания вику. Покы ходыть по наший земли та червона зараза, що посияв Ленин. Я душив и травыв ось цимы рукамы. Травыв разом з Петлюрамы, Деникиными, Врангелямы. Радив, колы на их военный комунизм пиднявся селянын. Думав: «Хай, хай покы попереду буде цей дурко Махно! Згодом знайдеться билш достойна и розумна людына, що зумие перехопыты у батьки знамено и повесты за собою голозадых». Не диждався. Зрозумив их лысый Ленин, чим це пахне и своим нэпом видгородыв вид нас селянына. Ножом гострым був для мене той нэп. Була надия, що за нас звалять бильшовыкив английци, амерыканци, французы або хтось ище. Хиба мае значення, хто, чорт забырай? На фюрера молывся. Той он яке багаття запалыв. Не то шо земли, небу було страшно. Выришив: все, все згорыть, все пропаде. Нехай, якщо не мени, то и им не дистанеться. Мени и, правда, дуля з маком выгорила. А вони живуть! Плодяться, хоть бы що, и стають червонымы. Их колир не миняеться.

Мыколу Мыновыча всего трясло. Никита проклинал себя за то, что решился зайти в этот божий храм, который оказался во власти поселившегося в нем нечистого. Почему-то в памяти всплыл тот день, когда он побывал в последний раз в своей Андреевке, вернее, на том месте, где было село до его затопления. Тогда, бродя среди освобожденных схлынувшей водой развалин, он чувствовал себя как на кладбище среди голых, кем-то специально раздетых и выставленных напоказ покойников. Ему было противно и страшно. Такое же чувство он испытывал и сейчас. Хотелось поскорее отделаться от некогда любимого и обожаемого Мыколы Мыновыча, который казался неживым, нереальным, а как будто пришедшим из того, иного мира, куда Никита совсем не собирался.

— То шо ж робыть? — прервал он поток злых и ядовитых слов, неудержимо рвущихся из маленького, беззубого рта Мыколы Мыновича. — Шо робыть, колы так воно выйшло? Може, так богови треба, якому служите вы у цьому храми?

По лицу Мыколы Мыновыча скользнула растерянность. Но она отразилась лишь на его вздрогнувших, как от внезапно пронзившей зубной боли губах, шевельнувшись под дряблой старческой кожей желваках да лесенкой собравшихся на лбу морщинах. Глаза, глаза Мыколы Мыновича, некогда метавшие искры, оставались, как и прежде, бесцветными и пустыми.

— Шо робыты? — покашливая с надтреском, переспросил он. — Ненавыдыты и вбываты. Убываты и труиты. Поколиння за поколинням. Мы побратаемось з якымы завгодно гитлерамы, з июдамы-сионистамы, з чортамы и видьмамы, абы палыты, мазаты багном крок за кроком кожного их поколиння. Мы пиднимем проты ных не лыше живых, а и мертвых. Так, так. Розрыем, розгребем их могылы. Нехай покийныкы трясуть и стукають своимы костомахамы, выклыкаючи жах до себе и своих справ, до всього мынулого. И тоди (поможи нам боже!) и тоди, можлыво, настане день, колы диты, що зъявляться на свит, будуть инымы, зийдуть на иншу дорогу, выберуть иный колир. Тоди впаде на землю господьня благодать. Боже! Почуй мене гришного! Дай побачиты той свитлый день.

Мыкола Мынович жалобно всхлипнул и, закрыв лицо тоненькими, высохшими ручками, затрясся в рыданиях. Он плакал долго, обиженно, по-детски шмыгая носом и вытирая слезы рукавами поповской рясы. Никита молча и равнодушно смотрел на него. Он не верил своему бывшему учителю, испытывая лишь брезгливость и желание поскорее вырваться на воздух.

— Пробач, пробач мени старому, — успокоившись, наконец, махнул рукой Мыкола Мыновыч. — Нервы. Зовсим никуды не годяться. Просты. Знаю, що батька твого вже нема. Выдно, и мени скоро збыратысь...

— Та чого там,.. — буркнул Никита. — Живить...

— Э, не-е-е! — покачал головой Мыкола Мыновыч. — Пора, пора. А ты живы, як жив. Бога не забувай и батькив памъятай. До храму нашого заходь. Тут тепер твои батько и маты, и сама батькивщина. Робы все, як говорять твои командыры. То их словамы сам Господь до тебе звертаеться...

После той встречи не было никакого желания еще встречаться с Мыколой Мыновычем. Однако люди от него регулярно приходили с разными поручениями. Кроме того, чтобы следить за Леонидом и Николаем, ему приказывали доставлять какие-то пакеты и чемоданы в Германию, Италию, Грецию, Турцию, куда заходил их корабль. Случались и другие задания.

Во время одной из стоянок в Стамбуле к нему подошел Николай и неожиданно произнес слова пароля. Никита матюкнулся про себя: «Зачем же меня столько дурачили, заставляя следить за Николаем и дружком его?» На лице даже радость изобразил и ответил, как полагалось по всем правилам.

— Дельце одно нам с тобой, казак, предстоит, — загадочно усмехаясь, сообщил Николай.

— Так мы чего ж, — покашливая для солидности, но уже признавая Николая своим начальником, отозвался Никита. — Мы завсегда, как будет приказано.

— Вот и лады. До казачков у гости поедем.

— Яких казачков?! — изумился Никита.

— Задунайских, — оскалился Николай.

— Шуткуешь? — почесал затылок Никита, вспоминая, что действительно были такие и слышать ему довелось про Одарку и Карася. — То ж когда было? Повернулись уже давно те самые казаки з-за Дунаю.

— Повернулись, та не все. Окромя ваших запорожцев, бежали в Турцию наши казачки с Дону.

— Так ты дончак?

— Ага, — почему-то с явной неохотой признался Николай. — Из Новочеркасска. Только это без надобности тебе. Слушай дальше. Так от. Бежали те казаки с Дону еще при царе Петре I.

— Игнат-казаки?! — вырвалось у Никиты.

В памяти сразу всплыла родная Андреевка, Казацкая могила, немым сторожем стоящая над ревущим Днепром, и сметанноголовый Петро Задорожний с его рассказом о непокорном царю донском атамане Кондрате Булаве и его верном друге Игнатии Некрасе. Неужто не брехал Петро? Неужто и вправду существуют те самые игнат-казаки? Вот так история!

— Слышал, значить? — с явным интересом посмотрев на него, спросил Николай. — Про казачков тех самых слыхал, говорю?

— Та, слыхал якось. У детстве еще рассказывал пацан одын. Думав, казочка то, брехня. А они, видать, и в самом деле есть те самые игнат-казаки.

— Есть, есть. Живут себе недалечко от Мраморного моря. Есть там озерцо такое, Макиевом зовется. Вот там и свили себе гнездышко наши казачки. Более двухсот лет живут себе, проживают.

— Таки стари?!

— Ты что, дядя, совсем того или только прикидываешься? Те, какие попервах поселились, померли давно, а эти, что сейчас тама, прапрачки ихние.

— Ну, да! Ну, да! — смутившись своей недогадливости, закивал Никита. — Так это я. Понимаю, усе понимаю.

— Так вот. Жили-жили, значит, себе эти самые наши казачки двести с гаком годков, а тут вдруг надумали с места срываться и додому вертаться. Додому! Вроде там их ждут — не дождуться. А того не ведают, что как только на берег ступят, враз энкаведешникам в лапы попадут. Мужиков — по лагерям пересажают, военные базы строить заставят, баб — коров комиссарских доить пошлют, а детей их позабирают и по детским комбинатам пораспихивают. Тю-тю! Только и видали их. Все! Баста. Кончится их казацкая волюшка. Понял?

Никита промолчал. Только головой неопределенно кивнул: понимал, что пугает Николай, треплется, но возразить побоялся.

— Поедем мы с тобой завтра в гости до тех казачков. Погутарим трохи с ними. Так, мол, и так, браты дорогие, и чего вас нелегкая на погибель несет в Россию? Или вам волюшки вольной нехватает? Или небо синее надоело и захотелось увидеть, а какое оно в клеточку? Словом, пояснить нужно, что незачем им от хоро-

шей жизни убегать, чтобы дурь свою из головы выкинули и на месте сидели да рыбкой баловались. Вот так. Я говорить буду, а ты мне помогай. Идет?

На следующее утро выехали туда машиной. Они с Николаем сзади сидели, а впереди турок-шофер и рядом с ним еще один — не поймешь кто, так как и по-русски говорил и по-турецки стрекотал. Ехали долго. Никита с интересом рассматривал горы, которые так близко видел впервые. Когда остановились закусить, вышел из машины, и ноги будто чужие. Даже испугался. Но ничего, отошли. Поднял голову и прямо над собой высоко-высоко в небе черную птицу увидел. «Орел, — подумалось. — А может, нет? Что как игнат-казак это? Домой собрался, посмотреть на места родные, как рассказывал Петро». Понимал, что ерунда это, не может быть такого. Но хотелось, до невозможности хотелось, чтобы было то правдой. Чтобы был тем орлом он сам. Вот так, как тот, взмахнул крыльями и в небо поднялся: «Бывайте все здоровы, а я додому подался». Перелетел через море — там уже рукой подать и до его родных мест. Правда, читал он, что опять уже электростанцию запустили. Значит, не видать ему Андреевки. Под водой она. А все же тянет в родные места. Хоть бы чуток степью дохнуть, упасть на землю и слушать, как шепчут травы, как позванивает стрекотункузнечик, как тихо подпевают степнячку-ветру дозревающие хлеба. Э-э-х! Поездил он, поколесил, помотался по свету, а лучше, чем в родимом краю, нигде места нету. Нигде...

— Эй, Ник! — окликнул сердито Николай. — Где ты там? Ехать пора. Прибыв на место, остановились, не заезжая в станицу.

— Ну, вот и добрались, — оскалился тот, что сидел рядом с шофером. — Дальше пешком идти нужно. Недалеко, каких-нибудь два-три километра. Мы здесь вас ждать станем.

Пошли, оставив машину и тех двоих на площадке. Отойдя на приличное расстояние, Николай запустил трехэтажного матюка:

— Т-т-твою мать! Боятся... Боятся, грю, наших казачков. Произнес скороговоркой, со злостью. Но Никита так и не понял, осуждает он казаков или одобряет. Спрашивать не стал: так оно спокойнее все же. Дальше до самой станицы шли молча, думая каждый о своем.

Показалась околица, и метрах в ста перед собой Никита увидел двух вооруженных ружьями мужчин. Слегка замедлив шаг, Никита с интересом разглядывал некрасовцев. Один из них, постарше, невысокий, полный, с круглым, красным, как помидор, лицом и бородой-«лопатой», смешно поддернул локтями брюки и, поправив выцветшую, некогда коричневую фетровую шляпу, спросил, глядя на пришедших настороженно:

— Энто кто ж к нам распожаловали?

— Свои, свои мы, дядя, — отозвался Николай. — Работу ищем и вот прослышали, что земляки здесь проживают. Попроведать вот решили. Соскучились по речи нашей родной.

— Земляки, гриш? Оно, конешно, так. Все земляки, коль на земле живем. Только сами-то с каких краев будете?

— С Дону, с Дону, я, дядя. А кореш мой — казак запорожский.

— Ух, ты! — радостно воскликнул казак помоложе, сдвинув на затылок шляпу. — И впрям, земляки, дядь Трифон. Оно и видно...

— Ладно, ладно тебе, — нахмурился тот, которого назвали Трифоном. — Ты лучше сбегай до Василия Порфирича. Скажи, мол, так и так. Гости до нас.

— Ага! Побег я...

На околице станицы их встречала небольшая группа казаков и женщин. Они с интересом рассматривали пришедших, но в разговор не вступали. Молча шли следом на почтительном расстоянии, о чем-то тихо перешептываясь. Подошли к станичной церкви, где также стояло человек пять казаков, слушавших уже знакомого молодого казака, который что-то рассказывал с жаром, жестикулируя руками. Увидев гостей, молодой замолчал.

— Здравствуйте, казаки, — поклонился в пояс Николай. — От где довелось с землячками встретиться. А вспомни, Никита, что я тебе говорил третьего дня. Вспомни, как ладонь у меня чесалась. Ох и чесалась, казаки! Не иначе, говорю я корешу своему, с хорошими людьми здоровкаться будем. Говорил такое?

— Говорил, — буркнул Никита, удивляясь тому, как это Николай на ходу так быстро придумывает. А тот продолжал:

— Нет! Вы только подумайте и что оно за штука такая, казак. Месяц уже ходим по Турции, и нигде тебе ничего. Скрозь чужие люди. Лопочут себе на какомсь-то языке непонятном, аж голова кругом идет. Никто тебя не понимает и ты никого. Да что там говорить: турок, он и есть турок. Думаем: все, пропадем мы тут, а оно, видишь, Никита, как вышло. Сразу столько земляков, что и не снилось. Здоровы будьте, браты! Здоровы будьте, казачки наши дорогие.

Николай стал кланяться на все стороны. Глядя на него, раскланивался и Никита, втайне злясь на притвору Николая и в то же время дивясь его оборотистости.

— Здорово, здорово, — сдержанно ответил среднего роста казак с короткими, как-то необычно подстриженными волосами и совсем седой бородой. — Сказывайте, откель приехали — пришли, кто такие будете.

— Да свойские мы, дядя, — заулыбался Николай, почувствовав в собеседнике старшего. — Я вот с самого Дону-батюшки поклон привез. А кореш мой — с Днепра, казак запорожский. Чай, слыхали про таких?

— Слыхали, слыхали, — кивнул старший. — Ну, а как же в ентих местах далеких оказались? Пошто препожаловали к нам?

— Та ить война... Война, стало быть, была, — развел руками Николай. — Полсвета огнем горело. Иль не слыхали?

— Слыхали, слыхали...

— Ну, вот. Разбросало, раскидало людей, что щепки те по всему свету. Разве думал кто, предполагал, где окажется? Не до того было. Молили бога, чтобы живыми остаться. И на том спасибо. В плен попали мы. Всякого повидать довелось. Вот по сей день и ходим по свету.

— Долгонько идете. Долгонько.

— А мы не спешим. Правда, Никита?

Никите совсем не хотелось поддакивать не в меру разговорившемуся Николаю, и он промолчал.

— Да и куда спешить? — продолжал Николай.

— Ну, а домой? — негромко поинтересовался бородач. — Домой, в родные края пошто не вертаетесь?

— Домой? — удивленно поднял брови Николай. — Ты что, дядя? Лешему в зубы? Туды только заявись — враз под пулю или в Сибирь загремишь. Не-е-е. Дураков нет с гепеушниками в ку-ку играть.

— Вона как! — нахмурился бородач. — Боишься, значится?

— Боюсь. А ты сам, дядя, попробуй. Поезжай вместо нас туда, а там и увидишь, прав я или нет. Поезжай. Только крепко с бабой своей, с детками простись. А коль имеются внученьки малые, то и с ними не забудь, потому как, тебя дожидаючись оттуда, они состарится успеют.

— Чудной ты, — потрогал бороду старик. — Чудной. Прям совсем ты меня напужал.

— Да чего там пужать? — начал горячиться Николай. — Чего пужать? Говорю то, про что знаю. Насмотрелся на страхи-ужасы, которые творятся на земле нашей. Ты вот, дядя, не бывал там, не знаешь, каково оно. Не сидел в лагере, как я, или, скажем, Никита.

— Не сидел, — согласился старик.

— Так вот, — воспрянул духом Николай. — Не знаешь, так и не говори, не смущай казачков, а послушай лучше, что люди скажут бывалые. Ни пожрать, ни попить вволю, ни одежку справную купить. Казаков с мужиками поравняли, землю забрали, скотинку забрали, посгоняли силой в колхозы, а детей по детским садам, как собачат, рассовали. Вот так, казачки. А ты говоришь, дядя, чтоб мы вертались в родные края. Да нас туда не то калачом не заманишь, а силой на аркане не затащишь: зубами перегрызем, а не дадимся.

Казаки молча слушали, о чем говорил Николай. Стояли, не выражая ни возмущения, ни интереса. Так просто слушали, не решаясь мешать и показаться невежливыми. Правда, был среди них один лысый, который все кивал согласно головой и, обращаясь то к тому, то к другому, приговаривал:

— Вона как! Вона! Бывал человек. Ой, бывал! Видать, правду говорит. Погибель, погибель тама.

— Ну, ладно! — не выдержал, наконец, старик.

— Нехай говорит! — взвился лысый. — Василь Порфирьич! Нехай говорит человек. Чего ж енто вы, казачки?

— Ладно, говорю, — усмехаясь и поглаживая бороду, настойчиво вел свое седобородый. — Послухали мы тебя, паря. Будя. Сперва, как услыхал я родной язык, обрадовался. Думал, добрых людей бог послал к нам.

— Мы и есть добрые, отец.

— Не-е-е! — тряхнул головой старик. — Недобрый ты человек, паря.

— Это почему же? — не сдавался Николай.

— Да того, что родину свою-нашу ты не любишь. Марашь ее, грязью болотной измазать хочешь.

— Говорю, что знаю, что сам видел.

— Мало, видать, знать. Родную землю чувствовать надо. Не каждому то дано, а коль дано, то от самого изначалу, от отца с матерью и до самой смерти, до окончания дней с тобой будет. Как руки, ноги, глаза, сердце, как сама жизнь. Вона казаки наши. Земельку родимую в глаза не зрели, а чувствуют. Как отцы наши, деды и прадеды. От самого Игнатий Федорыча чувство то идет. Как солнышко ясное. Энтим токо и живем на чужине.

— Чужина! Какая ж она чужина, когда двести с гаком лет род ваш здесь живет. Посчитай, дядя, какое колено в сыру землю эту ушло.

В стоящей вокруг плотной и звонкой тиши послышались вздохи. Они походили на всхлипы. Казалось, еще немного, самая малость, и эти взрослые, видавшие виды мужчины, не выдержат и, отбросив стыд, зайдутся плачем. Это почувствовал и Николай.

— Братцы, родимые! — дрожащим голосом выдохнул он, рванув на груди рубашку. — Неужто решите могилки здесь оставить? Неужто отступитесь.

— Чуете? Чуете, казаки, шо человек гутарит? — снова воспрял духом замолчавший было лысый. — Не говорил я вам, чтобы не слухали Саничева, не шли за ним, как бараны глупые? Своей, своей головой думать надо...

— От што, Иван, — оборвал лысого старший казак, который привел в станицу Николая с Никитой. — Ты Василь Порфирича не замай. Мы его сами атаманом выбирали и слухать слово давали. Негоже тебе боровом на него сунуть.

— А ему платят за то! — сердито крикнул кто-то рядом.

— Кто?! Кто платит?! — взвизгнул лысый, бросаясь на обидчика.

— Стойте, казаки! — поднял руку атаман. — Негоже так. А тебе, паря (не знаю, как тебя звать-величать), такое скажу. Тронул ты нас за самое сердце. Больно нам, могилки наших родных оставлять никак нельзя. Как уходили предки наши с Кубани, раненый Игнатий Федорыч велел землю родную любить, знамя свое и атаманский жезл оставил. А еще завет дал: «Царизме не покоряться, при царизме в Расею не возвертаться...» Его заветами наши деды-прадеды держались, и мы их всегда блюли. Царизму тую люто ненавидели, но и Расею никогда не забывали. С нами она всегда была в обычаях, одежде нашей, в языке, в песнях наших и серд-

цах. С ентим на свет появлялись, с ентим и помирали. Тяжко нам было тут и горько. Сперва хотелось ворогам нашим, чтобы навек отреклись от Расеи, ворогами ее лютыми стали. Не вышло. Не дали казаки распалить тот огонь аспидов в своих грудях. Знали, что и сами у йом сгорят. А тады, когда показал русин турку кузькину мать и побил его, кинул султан на нас тех мухаджиров*. Те соседи злыми шакалами для нас стали.

Ограбить казака, землю забрать, кровь пролить, а то и убить за честь почитали. Целый век в станице, будто в той крепости осадной, жили. Идешь и оглядываешься, что тот волк: а не бежит, не гонится за тобой кто с камнем или ножом. Это ты считаешь благом, парень? Горьким, всегда горьким от горя и соленым от пота был наш хлебушко. Только последние годочки и его нас лишали. Казаки и артели своей рыбацкой не имели права сколотить. Приходилось идти в наем к турку, а тот за милость великую брошенный, будто нищему, кусок считал. И за него драл три шкуры. Мы не знали, что такое есть досыта, голодные на свет появляемся и голодными из него уходим. Такою жизнью мы должны быть довольны? Оставь ее себе. А нам солнышко из-за гор высоких засветило, домой, в родные края, позвало. Не ты первый, кто пришел в смущение нас вводить. Были и другие, кто страхи всякие про жисть на родной земле нашей гутарил, пужал нас и в Канаду звал да ишо куда. Токо зачем это нам? К чему опять чужина? Отец мой перед смертью слезами исходил: просил на родину вертаться. Побывали мы тама надысь с Симоном Шепелевым. И што? Как границу минули, у нас в грудях будто сто светов открылось. Вот она земля родная! Кругом свои, свой язык! На сходе казакам рассказали все, как есть, и порешили тогда: «Все! Пойдем до своего языка, до братьев кровных, на землю родимую!» Вона как. Так что ничто нас ехать туда не удержит. А на слова твои поганые про землю нашу родную скажу...

Атаман гневно сверкнул глазами, коснулся рукой бороды, будто очищая от волос дорогу словам, которые он должен был сейчас сказать. Окинул взглядом стоящих вокруг них казаков и отчеканил:

— Лютым ворогом нашим царизма была. Ее браты наши из Расеи прогнали, как пса шелудивого. Ты, по всему видать, клок шерсти от него. Покинь нас. Не доводи до греха.

Круг расступился, и Николай, по-бычьи наклонив голову, почти бегом устремился в образовавшийся коридор. За ним следом двинулся и Никита. Почти до самой машины он чувствовал на спине сверлившие его гневом и презрением взгляды казаков. Было стыдно оттого, что вот так, с позором выставили их из станицы. Но пока шли к машине, чувство стыда постепенно прошло. «Вот так сходили в гости! — стал подтрунивать он над собой. — Ай да казачки! Ну и молодцы! Как причесали, а?! Николай бежит, будто зад ему скипидаром натерли. Прямо не угнаться за ним, проклятым. Ач, ач как выгребает. И сычит, чисто тебе гусак. Умо-

ра!» И в машине он продолжал подшучивать над неудачным гостеванием. Это его настроение заметил сидевший рядом Николай.

— Чего это ты лыбишься? — сквозь зубы, тихо бросил он. — Там, на горячей сковороде молчал, стерва, быдто язык в задницу засунул, а тут весело ему стало. Помощничек хренов!

Никита обиженно надулся. Хотелось послать к такой матери этого Николая. Кто он ему такой, собственно говоря? Подумаешь, начальник выискался! Двинуть бы его разок по морде, чтобы заткнулся. Но так ничего и не ответил, подумав: «Дед Савва открыто дули сучил, а я, бач, в кармане».

На этом неприятности для них не кончились. Добравшись до корабля, узнали, что куда-то девался Леонид. Никита слышал случайно разговор капитана с Николаем.

— Куда же он мог деваться? — сокрушался капитан.

— Куда, куда! — передразнивал его со злостью Николай. — Сбежал. Сбежал от вас жидок. Проворонили. Теперь наверняка в советском посольстве объявится. Ну, и везет мне с помощничками! Дармоеды проклятые!..

Казалось странным, что рядовой матрос в грубой форме отчитывает капитана, а тот даже не возмущается. Однако, как выяснилось потом, ничего странного в том не было. Николай вовсе не был простачком, за которого себя выдавал. В команде как раз прошел слушок, что он крупная птица, состоящая на службе в конторе, которая занимается разведкой и имеет широкие связи не только в Англии, но и во многих других странах. Тот большой интерес, который он проявлял к Леониду, также имел свое объяснение. Будучи военнопленным, Леонид оказался в английской зоне оккупации, где на него и вышла британская или, черт его знает, еще какая разведка. Собственно, нужен был не сам Леонид, а его отец, какой-то видный советский ученый, занимавшийся секретными работами. Через сына и намеревался заарканить того ученого. Чем он занимался, почему в нем был заинтересован так Николай и тот, кто им руководил, так и осталось тайной для Никиты. Но то, что интерес был и довольно большой, он знал наверняка. Иначе, отчего был такой переполох тогда на корабле? Да что переполох! Почитай всю команду разогнали. Уволили и капитана, и его, как только корабль бросил якорь в Тильбери.

Вот тогда Никита и начал ощущать, что такое остаться без работы в чужой стране. Вначале он не очень огорчился. До чертиков надоело болтаться на волнах, умирая всякий раз даже от небольшого шторма. Проклятую морскую болезнь он так и не смог одолеть. Более того, временами ему казалось, что она с каждым разом все сильнее и сильнее начинает донимать его, выворачивая наизнанку, лишая сил и желания глядеть на белый свет. Так что, получив отставку, даже обрадовался, подумав про себя: «Ну и хрен с вами! Плавайте на вашей вонючей банке. Найдем что-нибудь другое». Но найти это самое другое оказалось совсем не простым делом.

Никита слонялся днями в поисках работы, с ужасом замечая, как быстро тают его запасы. Не раз ловил на себе недовольные взгляды бесцветных глаз графини и, испытывая перед ней пока еще необъяснимую тревогу, старался не встречаться. Однако вскоре она сама пришла к нему и, бесцеремонно толкнув дверь каморки, прямо с порога объявила:

— Вот что, голубчик, сбережения мои на исходе, и держать тебя я совсем не намерена. Освободи комнату.

Что оставалось делать? Как ни сопротивлялись и сердце, и ум, а пришлось-таки идти на поклон к Мыколе Мыновычу. Встреча их оказалась более чем холодной. Бывший директор школы, сердито поджимая тонкие, синие, как у покойника, губы и зябко пряча руки в карман своего поповского одеяния, долго и нудно вычитывал его за нерасторопность, объясняя, что фунты даром не даются, их нужно зарабатывать трудом. В конце все же смилостивился над Никитой и обещал подумать, как помочь. И, действительно, помог устроиться на шахту.

Не просто было привыкнуть к работе под землей. Но куда деваться? Стал втягиваться понемногу. Думал, что теперь дело пойдет по-другому. Будет жить на свои средства, ни от кого не зависим, себе хозяин. Так нет же! Каким-то образом отыскали его два хлюста из полиции и предложили сообщать им, о чем шахтеры говорят в забое. Послал, было, их подальше, но они только рассмеялись в ответ на бесподобный русский мат, который, видно, здорово выделялся на фоне паршивого английского произношения, и очень вежливо напомнили о его недавнем прошлом. Никита сразу сник и, махнув рукой, согласился.

Года два делал, что от него требовали. За «услуги» ему даже платили. Совсем немного, но и эти гроши были не лишними в его скудном бюджете. Казалось, все шло нормально, но однажды ночью, проснувшись от все чаще и чаще мучившего его во сне свидания с Петром Задорожним, Никита подумал: «А ну, как шахтеры узнают, кто я на самом деле и пронюхают, откуда полиции и хозяевам становится известно, о чем они замышляют. Прибьют же и загребут где-нибудь под землей. Как пить дать, прибьют!» Его бросило в холодный пот. Что же делать?

Поразмыслив, решил постараться увиливать от встреч с полицейскими агентами: то больным скажется, то еще какую-нибудь причину придумает. Вначале сходило, но двое слишком быстро его раскусили. Он и опомниться не успел, как был с треском вышвырнут с шахты.

Перебиваясь случайными заработками, Никита однажды встретился со своей бывшей хозяйкой. Графиня в то время как раз переводчиком при советских туристах состояла.

— Фу, какой ты желтый, Ник. И кашляешь, как чахоточный. Нет, не для тебя здешний климат. Съедят тебя английские туманы. Ехал бы ты отсюда.

— Куда?

— А хоть бы в Италию. Там ведь тепло, солнышко светит. Круглый год можешь без пальто ходить. Езжай, а не то сгинешь.

И он таки послушал графиню. Сколько сил стоило добиться от властей разрешения на выезд из Англии. Правдами и неправдами все же добыл, вырвал его. Пришлось отдать проклятым чиновникам едва ли ни половину своих сбережений, которые хранил на черный день. А в том, что он, этот самый день, наступит, придет, он не сомневался. Прошумела молодость, незаметной и быстрой тенью прошагал полдень, и сединой в волосах ехидно и вызывающе усмехнулась старость: вот она, мол, я, встречай. Отдавая деньги чиновнику, который равнодушно и сонно, с нескрываемой брезгливостью сбросил их в ящик стола, Никита весь внутренне сжался. Будто не бумажки эти проклятые отдавал, а полжизни отваливал. Сам, своими собственными руками укорачивал ее. Даже рукам холодно стало, хотя теплынь за окошком небывалая гуляла. Спрятал на груди те самые разрешительные бумаги и уходил, едва не плача. Тешил себя мыслью, что там, в теплой Италии, жизнь все же будет подешевле, да и удача, может быть, смилостивится над ним.

Ступив на итальянский берег в Чивитавекьи, поставил вещи свои на землю и, перекрестившись, прошептал:

— Ну, боже праведный! Спасы и помылуй. Благословы раба твого гришного на нове життя...

4

Привыкнув работать, не жалея сил, Петро мотался по селам области, месяцами не бывая дома. Да и можно ли было назвать домом ту полупустую комнатенку, в одном из так называемых домов индустрии, ордер на которую вручили после утверждения в должности инструктора обкома партии? По своему уюту она мало чем отличалась от его партизанской землянки на Волыни. Разве что окно, в которое по утрам робко заглядывало солнце, словно проверяя, осматривая своим лучом нехитрый быт одинокого жильца. Только и восход солнца, и эту самую проверку Петро редко заставал дома. То бесконечные командировки, то почти круглосуточная работа с минимальным перерывом для короткого отдыха напрочь отсекали возможность наслаждаться ласкающим теплом небесного светила. Он был включен в жесткий механизм партийного аппарата и не мог изменить режим его работы, ибо тот режим был придуман не им самим, не секретарем обкома партии и даже не, казалось бы, всесильным ЦК КП(б) Украины. Нет, они были также, как Петро и тысячи других аппаратчиков, исполнителями, винтиками могучего механизма, который создал и заводил сам Сталин. С ним, с его именем было связано представление не только о бесперебойной работе этого отсчитывающего социалистическое время механизма, но и о самой жизни. А как же? Ведь Ленин только засеял поле одной шестой части земли-матушки семенами новой жизни. Но выращивал-то ее, лелеял, защищал от опасности, конечно, он — вождь и учитель. Ленин путь озарил. Это правда. Отчего и символ социализма Днепрогэс, который уже снова в строю, гонит свою невидимую кровь — электрическую энергию, питая ею и промышленные предприятия, и жилые дома, носит его, Ленина, имя. Да и лампочки, которых все больше и больше зажигается и в домах, и на улицах, тоже называются лампочками Ильича. И не только они. А озеро Ленина? А площадь Ленина? Ну и главная улица Запорожья, которая теперь также названа его именем. Сердце Ленина перестало биться вот уже много лет тому назад, а идеи его живут. Живут и освещают дорогу в будущее. Только не сами они живут. Нет, не сами. Где-то далеко в Кремле, под красными рубиновыми звездами живет ОН, тот, который продолжает не только дело Ленина, но и саму жизнь. Он — душа ее и сердце. Случись что-нибудь с ним, тогда беда будет. Даже трудно себе представить, что будет с ними, со всем народом.

Так или примерно так, как Петро, думало большинство людей. И это были не просто мысли, которые бродили в их головах и которые требовали каких-то подтверждений своей правильности. Нет. Это была вера, символом которой служил Сталин, земной Бог, высшее и единственное существо, достойное поклонения. Петро не переставал верить в его непогрешимость и всесилие

даже тогда, когда его пригласили к заведующему отделом и сообщили об увольнении.

— За шо? — придя немного в себя от неожиданного удара, глухо спросил он.

— За что? — прищурив глаза, переспросил заведующий. — Жена в тюрьме сидит, а он еще спрашивает.

— Катя... живая?! — чувствуя, как что-то острое вонзилось ему в грудь с левой стороны, вскрикнул Петро. Правда, ему только показалось, что он вскрикнул. На самом деле, его губы едва слышно прошептали эти слова.

— А ты что? Не знал, где она? — немного смягчившись, спросил заведующий.

Но Петро уже не в силах был ответить и только повел головой. Боль, становясь все острее, сжимала его сердце. Казалось, еще немного, и оно не выдержит, разорвется на мелкие кусочки, как граната-лимонка, и тогда наступит конец. Петро почувствовал, что он вот-вот упадет. Это его состояние, видимо, понял и хозяин кабинета.

— Ну, ладно, ладно! — поднявшись со своего места, торопливо проговорил он. — Раз не знал, то другое дело. Если бы знал и скрыл, тогда наверняка исключили бы из партии. А так, может быть, и обойдется...

Он налил из графина воды и поднес сидевшему с опущенной головой Петру.

— Вот. Попей, попей водички, Петро Степанович. Помогает.

— Не треба, — отвел руку со стаканом Петро и, превозмогая боль, поднялся.

Непослушными, ставшими какими-то чужими, ватными ногами он дошел до двери. Взявшись за прохладную металлическую ручку, толкнул их от себя. А дальше... Дальше Петро уже ничего не помнил.

Очнулся он на больничной койке.

— Отакое? — изумился, оглядывая палату. — Чого це я тут?

Хотел было встать с кровати, но подоспевшая невесть откуда медицинская сестричка остановила его.

— Вы что, больной?! — сделав большие глаза, испуганно затрещала она. — Вам нельзя ни в коем случае вставать! У вас же инфаркт. Обширный инфаркт...

— Та-а-а-к! — только и сумел выдавить из себя Петро. Он не раз слышал это слово, с которым чаще всего был связан уход из жизни того и иного из его знакомых. Выходит, и он? Но ведь он пока жив. Жив, потому что видит стены больничной палаты, видит испуганные глаза этой молоденькой сестрички, которая так смешно воркует над ним. Значит, не обязательно инфаркт — это смерть? Нет. Он не хочет умирать. С какой стати? Две войны прошел. Ну, поцеловался с пулями, которые передали ему привет от костлявой с косой. Крепкие были приветы. На другого бы и одного хватило с лихвой. А он, Петро, их два получил. Но все же удер-

жался на этом свете, послав ко всем чертям самую неприятную дамочку. Неужели сейчас она таки достанет его? Ох, как не хочется! Да и разве только в хотении дело? Его ведь обвинили. И в чем обвинили? В преступлении перед партией. В преступлении, которого он не совершал и не мог совершить. Не мог! Он чист перед партией, во-первых, потому что действительно ничего не знал о судьбе Кати. И то, что она оказалась живой, для него величайшая радость. Где бы она, его горобчик, ни была, но она есть. Она жива, и это главное. Он вдвойне чист перед партией, во-вторых, потому что Катя не может стать преступницей. Не может, и все тут! Петро знает ее и верит ей. Да, да! Верит и будет верить до конца дней своих, что бы ему ни говорили о ней.

Постепенно привыкая к своему положению, он стал обдумывать, как помочь Кате. Нужно было прежде всего узнать, где она находится. Петру очень не хотелось употреблять слово «сидит».

— Сыдить, — рассуждал он, — можуть злодии та усяка там босота. А Катя до ных не мае ниякого видношення. Ты ж понимаешь, горобчик — злодий! Та я за таке очи выдеру будь-кому. Вона моя дружина, маты мого сына. Можна сказать, герой громадянськои вийны, и ось тоби — на. Ни и ще раз ни! Це якась падлюка або шось пидстроила ий, або оббрехала...

Вначале он послал запрос в областное управление МВД. Оттуда пришел ответ перед самой его выпиской из больницы: «Данными о месте наказания, в котором якобы пребывает гражданка Екатерина Ивановна Шмидт не располагаем». Тогда Петро написал письмо Аникишину, который теперь работал в республиканском аппарате МВД. Делал это, что называется, скрепя сердце. Теперь он уже с полным основанием мог сказать, что не только не уважал Ефима, но и по-настоящему не любил. Не любил за его гонористость, которая расцвела буйным цветом в последние годы, за его пренебрежение к судьбам других людей, способность переступить, раздавить их, не замечая причиняемых боли и горя. Но что было делать? Нужно было спасать Катю, вытаскивать из той беды, в которую попал самый дорогой, самый близкий человек. И ради нее Петро пересилил себя. Ответа пришлось ждать долго. Но он все же пришел. Дрожащими руками Петро вскрыл конверт и, развернув сложенный вчетверо тетрадный листок, прочитал: «Ни вашей жены как врага народу, ни вас знать не знаю и знать не желаю. Полковник Аникишин».

Прочитав еще раз прыгавшие перед глазами строчки, Петро опустился на табуретку, жалобно скрипнувшую под ним.

— Ах ты ж, падлюка! — прошептал, стискивая зубы. — Так Катя, выходыть, ворог народу? Ты кажешь, шо ничого не знаешь, а таку багнюку, таку ганьбу на людыну кыдаешь.

Как же так? Как могут вести себя эти люди в погонах и при власти? Говорит, что ничего не знает... Врет. Наверняка врет. Ведь если бы не знал, то не посмел бы и врагом народа ее называть.

Что-то бы иное придумал. А тут прямо бьет наотмашь. И еще подпись, подпись какая — полковник Аникишин. Не Ефим, товарищ его юности, а полковник. Это значит затем, чтобы знал, с кем имеет дело, и не тревожил.

— Ну, шо ж. Хай буде так, товариш полковнык. Хай буде...

Петро собрался было написать письмо Булычеву. Алексей все же в самой Москве. Он не такой, как этот заматеревший барин Ефим. Да что там не такой. Его совсем нельзя сравнить с Аникишиным. Он, конечно, помог бы. Вот только не повредит ли ему чем-либо эта самая просьба? Не навлечет ли письмо Петрово неприятности или беду какую-либо на Алексея. Ведь тот работает, можно сказать, в самом сердце чекистского штаба. Ни одного пятнышка на нем не должно быть, ни тени подозрения. Нет, его подводить Петро не хотел. Не хотел и не имел права.

— Другови завжды треба плече пидставлять, а не нижку, — решил он и уже написанное письмо так и не послал.

Но мысли о Кате, которая где-то там бедует, мучается, не давали Петру покоя. В памяти одна за другой всплывали их нечастые размолвки с женой, те обиды, которые когда-то он причинил ей.

Особенно мучила Петра история с Фросей. Расставшись с нею по окончании командировки, он не находил себе покоя. Что она думает о нем? Ничего себе партийный работник. Приехал, побаловался со вдовой и намазал лыжи. А если у нее родится ребенок? Будет расти сиротой, а она всю жизнь станет корить себя и перемывать косточки. Однажды он даже решил, что женится на Фросе.

— А шо? — обсуждая этот вопрос на своем внутреннем бюро, убеждал себя он. — Поиду в село, пиду робыть у школу та и будем якось разом. Фрося — жиночка хороша, та и я нибы ще ничого.

Но тут же встал вопрос: а как же Катя? Он все-таки верил, что она жива и вот-вот даст знать о себе. Верил, несмотря на то, что прошло уже семь лет после войны и надежды на возвращение Кати, казалось бы, уже нет никакой.

— Бувають же всяки выпадкы.. Може, и тут... Он боялся снова попасть в Новоандреевку и встретиться с Фросей, и в то же время какая-то сила подталкивала его к этой встрече. Незадолго до того вызова к заведующему отделом Петро таки побывал в селе своего греха, как он сам про себя его называл. Встретились с председателем. Поездили по полям. Петро все мучился, выбирая момент подходящий, чтобы спросить о Фросе. И, наконец, решился.

— Слухай, друже, — опрокинув чарку водки, вроде бы невзначай спросил он, — колысь ше давненько я був у вас. Помъятаешь?

— А чого ж? — усмехнулся в усы председатель. — Вы ж, Петре Степановичу, у моей кумы ночувалы.

— Фросею, кажись, ии звалы?

— Точно.

— Ну, як вона? Жива, здорова?

— Та жива. Два года тому замиж выйшла.

— Он воно як! — изумился Петро, почувствовав, как какой-то камень свалился с его души. — И за кого ж?

— А тут така история. Був у нашому колгоспи першим головою Мыкола Мыхайленко. У голодный 1933 рик забралы його. Кажуть, хлиб вид заготовкы прыховав. Так чи не так було, не знаю. Що люды казалы, те и я кажу. Ну, значить, забралы його. Думалы все, немае вже нашого Мыхайленка. Дружина його Ганка саме в той день сына йому народыла. Сама з голоду померла, а дытя люды до себе забралы...

— Дали, дали ж шо було?! — чувствуя, как тело его начинает бить озноб, бросил Петро. Он ведь знал от Марийки историю Павлика и сразу догадался, что речь идет именно о нем.

— Так от, — заторопился председатель, — писля вийны прыйшло до села хлопья. Сказало, що воно батька шукае. Шо тут робить? У хати, що колысь побудував той бидолага Мыкола, самотний дидусь Пересунько оселывся, бо його хату снарядом разбыло, колы село вызволялы. Ага. Ну, той дидусь и забрав до себе хлопця. Так и жилы воны вдвох, покы раптом Мыкола Мыхайленко не повернувся...

— Мыкола? Так вин живый, выходить?

— Живый. Казав, що справди сыдив у лагери, а колы почалась вийна, то на фронт попросывся. Выдать, добре воював, бо вся грудь у орденах та медалях. Дывышся, так аж очам боляче вид их блыску. Хлопча до нього ниби зразу кынулось. Крычить: «Таточку! Я знав, знав, що вы живи!» Люды и доси без сльоз про це говорыть не можуть. Отакое, значиться, дило, Петре Степановичу...

— Ну, а Фрося? — после долгого молчания спросил Петро. — Фрося ж тут пры чому?

— А пры тому, що скоро побралыся воны з тым Мыколою Мыхайленком. Тепер разом живуть. Вин брыгадируе, а вона в нього учетчицею. Добре живуть. Правда, и дида Пересунька поховалы, а так ничого.

Петро долго сидел, задумавшись, и смолил одну за другою папиросы. Было желание увидеть Павлика и, чего греха таить, взглянуть на Фросю. Но он все же решил не делать этого. Зачем понапрасну людей тревожить? Зачем вносить смятение в их жизнь, и без того переполненную до самых краев всяким горем и тревогами?

Так и уехал ни с чем. Только изредка, вспоминая ту историю с Фросей, поругивал себя, приговаривая, правда, без особой злобы и осуждения:

— От кобеляка чортив! Був соби людына людыною. Можна сказаты, життя усе чесно прожив, без усякого там паскудства. И от тоби — на! На старости такы скочив у гречку. Стринусь з Катею, усе розкажу. Хай знае и тоди робыть зи мною, що завгодно. А може... може, и не буду казать. Мий це грих и хай пры мени залышаеться.

Теперь эта история вновь и вновь всплывала в его памяти, тревожа совесть Петра. Стараясь загладить свою вину перед Катей,

он не переставал искать ее, обдумывая пути освобождения. Разорвав давно лежащее письмо к Булычеву, Петро решил, что напишет письмо товарищу Сталину. Принял такое решение и тут же сел за стол. Послание рождалось медленно и трудно. Он изорвал огромное количество листов бумаги, ругая себя за неумение изложить, казалось бы, простые и ясные мысли. Наконец, письмо было готово. Окончив писать, Петро еще раз прочитал свое творение:

«Дорогой наш вождь, товарищ Сталин! Обращается к Вам рядовой член партии Задорожний Петр Степанович. Мы с женой честно бились за нашу родную Советскую власть в молодые годы, когда шла гражданская война. Мы дрались с фашистами: она — в действующей армии, а я — командуя партизанским отрядом. Не знаю, как там случилось, но оказалась Екатерина Ивановна, то есть моя жена, в заключении. В чем ее вина и где она отбывает срок, я, товарищ Сталин, не знаю. Но готов поклясться чем угодно, что здесь произошла какая-то страшная ошибка либо совершена подлость. Прошу Вас, дорогой товарищ Сталин, как родного отца, поручить разобраться в этом. Если я окажусь неправым, то готов к самому суровому наказанию, вплоть до исключения из партии и суда. С искренней любовью и верой в Вас. Член ВКП(б) с 1917 года Задорожний Петр Степанович».

Отнес письмо на почту и, купив конверт, надписал: «Москва, Кремль, товарищу Сталину И. В.». Опустив в почтовый ящик, медленно побрел домой.

По пути домой встретил Фриду Бовину, которая возвращалась с базара, неся большую кошелку. Бовины были первыми, кто навестил его в больнице и, выйдя из нее, он потом частенько бывал в их доме.

— Эх, — сокрушалась Фрида, — был бы Леонид Ильич, он бы так не поступил.

— Фрида, — качал головой Юлий Липпович. — Ну, зачем ты так говоришь?

— А что? Леонид Ильич был чутким и внимательным к людям. Да, да.

— Это он к тебе был внимателен.

— Ах, брось, Юлий! Я знаю, на что ты намекаешь. Он, Петр Васильевич, думает, что я нравилась товарищу Брежневу.

Хорошие люди эти Бовины. Правда, кое-кому кажется их пара странной. Ведь Юлий Липпович на целых двадцать пять лет старше своей жены. Он, Петро, и сам однажды неосторожно спросил Фриду:

— А чи не ревнуе вас, Фрида Соломоновна, чоловик ваш?

— Бывает, — несколько смутившись, ответила женщина. — Только это все напрасно. Я своего Юлия Липповича ни на кого не променяю.

Бывая в гостях у Бовиных, Петро чувствовал неподдельное радушие, искреннее желание со стороны хозяев сделать ему что-

то приятное. Здесь он оттаивал душой, забывая о своих горестях и невзгодах. Но сегодня Фрида была чем-то взволнована. Петро это видел по ее нахмуренным бровям, которые сошлись к переносице, по поджатым губам, которые, казалось, сдерживали, не пускали рвавшиеся наружу слова.

— День добрый, Фрида Соломоновна, — поздоровался Петро.

— Здравствуйте, Петр Степанович.

— Чомусь вы, здаеться, сумни та невесели.

— Ой , неужели заметно?

— Трохы есть...

— Так у нас же новость. — Фрида поставила на землю свою кошелку и, оглянувшись вокруг, сообщила:

— Приехал Яша.

— О! Поздоровляю вас з гостем.

— Да, конечно, это радость для Юлия Липповича. Но как теперь быть с Лидией? Он же ее убьет за Розочку. И правильно сделает. Я и сама убила бы такую дрянь. Ее же даже сучкой назвать не хочется. Сучка никогда своих щенков не бросит. А Лидка дочь родную сама на смерть послала. Нет, мне ее совсем не жалко.

— Ну, то вже вы занадто, Фридочка Соломоновна. Занадто.

— Нет, нет. Я правду говорю. И Яша убил бы ее, если бы Юлий Липпович не послал Алика предупредить Лидку. Послал, а потом меня отругал: «Как тебе не стыдно?! Ведь его же, Яшу то есть, посадят».

Фрида помолчала, обиженно посапывая, а потом со вздохом произнесла:

— Он, конечно, прав. Но мне все-таки обидно.

— Ну, ничего, ничего. Це пройде. Аби бильшои биды не було, — успокоил ее Петро и, простившись, пошел своей дорогой.

Неторопливо, стараясь, по совету врачей, не перегружать сердце, поднялся на свой этаж и остановился, удивленно глядя на чемодан, который стоял одиноко у двери.

«Чого це вин тут стоить?» — подумал Петро и, бросив взгляд на лестничный марш третьего этажа, застыл в изумлении. На самой верхней ступеньке марша сидел и, глядя на него, улыбался какой-то военный. Что-то знакомое было в его взгляде, в застенчивой улыбке, а главное в больших голубых глазах.

— Ви... Витек? — робко, все еще не веря в то, что это может быть на самом деле, прошептал Петро.

— Я, я, папка! — рванулся ему навстречу сын.

— Сына! Сыночек мий ридненький! — смеясь и плача, приговаривал Петро, прижимая к груди сына. — Де ж ты був? Де ж тебе доля носыла?

Они вошли в комнату, провожаемые выскочившими на шум соседями, и долго стояли, прижавшись друг к другу. Потом, продолжая держать Виктора за руку, словно боясь, что тот уйдет, исчезнет невесть куда снова, Петро усадил сына на единственный стул, а сам опустился на краешек кровати. Он видел, как Витек

цепким взглядом окидывал комнату, и понимал: сын ищет подтверждения того, что мать здесь, вместе с ним.

— Нема. Нема нашои мамы, сыну, — глухо обронил Петро, но увидев, как ужасом наполнились глаза Виктора, поспешил добавить:

— Ни, вона жива. Жива, сыну. От тилькы не знаю, де. Але узнаю. Шоб я вмер, узнаю и знайду!

Уже когда были заданы самые главные вопросы, нетерпеливо рвавшиеся из одного и другого наружу, была распита извлеченная из чемодана Виктора бутылка «Московской», сын рассказал отцу историю своих мытарств:

— Мы тогда, в июне 1941 года так ждали тебя, папа. Так ждали. Мама все время по дому носилась, вытирая каждую вещь по нескольку раз. А бабушка все на базар ходила. Уж очень ей хотелось угостить тебя своим пирогом с рыбой. Ты же помнишь, какой вкусный он у нее всегда получался? У мамы тоже вкусные вещи были, но тот бабушкин пирог, папа, что-то необыкновенное. Да, так вот тот самый пирог уже в духовке стоял, когда мы услышали выступление Молотова... Мама кинулась тебе телеграмму давать, но... Куда ее посылать, когда там у вас уже все горит? Все почтальона ждали. На почту бегали по нескольку раз в день: авось адрес ты забыл, что-нибудь перепутал второпях. Страшнее всего было молчание. Когда письмо твое коротенькое получили, немного успокоились: раз жив, значит все нормально. Потом снова ждали, а от тебя — ни слуху, ни духу. Вскоре отправлять из Сталино начали лиц немецкой национальности. Мама просит подождать: может быть, весточка от тебя какая-нибудь придет. Какое там! Погрузили нас в теплушки, и поехали. До Джезказгана того добирались очень долго. Дороги забиты. То сюда, то туда идут поезда. На запад воинские эшелоны движутся, а на восток эвакуированные, оборудование и, конечно, люди. Наконец, добрались до места. Бабушка в дороге сильно простыла, ну, и я немного болел. Устроили нас всех вместе в комнатенке. Всего хлебнуть пришлось. Мама все на фронт рвалась, к тебе. А бабушка вначале отговаривала ее, но потом сказала: «Если решила, то езжай. Мы тут с Виктором как-нибудь перебудем». Она ведь не любила жаловаться на свои болячки. И я думал, что крепкая у нас бабуся. Но где там. Мама только уехала, а тут бабушка снова простыла. Воспаление легких схватила раз, другой. Что врачи ни делали, ничего не помогло. Видно, не для нее этот суровый климат был. Похоронили ее. А меня соседи к себе взяли. Их вскоре куда-то в Свердловскую область перевели. По пути туда я и отстал от поезда. Определили меня, значит, в детский дом. Вначале в Караганде был. Потом в Алма-Ате. Там семь классов окончил и в ремесленное училище пошел. Токарем стал. Говорят, неплохо это у меня получается.

— Токарь, то добре, сынку, — пыхтя папиросой, похвалил Петро. — Робоча професия вона ниде не дасть пропасты чоловику. А

захочешь дали вчитысь — будь ласка. Людына, яка може шось руками робыты и голову на плечах мае, та ий же цины немае.

— Вот и я так думал. Отслужил армию, а теперь немного отдохну и пойду работать. А вечером — в школу. Десять классов закончу и к институту подберусь.

— Оце по-нашому! — обрадовался Петро и с грустью добавил: — Эх, мама б таке почула. Порадила б... Ну, ничого. Знайдем их. Обовъязково знайдем.

Время шло. Петро, наконец, устроился на работу в школу. Работал на авиамоторном заводе и Виктор. Только о Кате пока никаких вестей не было. Петро терпеливо ждал ответа из Москвы. И хотя Виктор почему-то был скептически настроен на то, что из этого что-то выйдет, послал Сталину еще одно письмо. Отправил он свое заказное еще в декабре 1952 года. Но пока ответа не было.

— Ну, шо ж, — рассуждал про себя Петро. — У товарища Сталина он скоко роботы. Тилькы з розрухы почалы выходыты, а тут буржуи прокляти знов лизуть. И в наший хати падлюкы знаходяться. Он, бач, и серед ликарив завелысь гады. Душить их треба!

Неожиданно газеты и радио принесли тревожную весть: товарищ Сталин серьезно болен. Вся страна с замиранием сердца следила за состоянием его здоровья. А как же! Ведь с ним, с его жизнью люди связывали свое здоровье, свое благополучие и саму жизнь. Да, да. Ведь она с каждым годом менялась, становилась лучше. Считай, к каждому революционному празднику поступали правительственные сообщения о снижении цен на товары. Чьих рук это дело? Чья забота о трудящихся? Конечно, его, товарища Сталина. Люди ждали, люди надеялись, что Сталин справится со своей болезнью. Вон какую войну одолели. А тут всего-навсего какая-то болезнь. Пусть даже и серьезная, но ведь у нас самая лучшая медицина. Правда... врачи. Может быть, и до него добрались? Неужели... Неужели МГБ проглядело? Как же так? Народ тревожился. Тревожился, а надежды не терял. Но 5 марта 1953 года пришло сообщение, которое поразило буквально всех: товарищ Сталин... скончался.

— Все! — плакал, не пряча бегущие из глаз слезы, Петро. — Це вже кинець!

Не в силах сидеть в комнате, он шел к Бовиным, слонялся по улицам. Останавливаясь возле собирающихся то тут, то там людей, молча слушал их разговоры. Тогда они велись тихо, словно боясь потревожить покойника, который находится не далеко в Москве, а где-то рядом.

Сталин спал вечным сном в Мавзолее рядом с Лениным,.. но жизнь, которая, казалось, остановилась, замерла в те траурные дни, продолжалась. По-прежнему гнал электрическую энергию по проводам трудяга-Днепрогэс, все так же дымили заводы, вбирая в свои муравейники-цеха смены трудяг, чтобы по окончании работы вновь выплеснуть на улицы к остановкам троллейбусов, трам-

ваев и автобусов. Жизнь брала свое, хотя иногда в ее спокойное течение врывались события, которые заставляли людей изумиться, а то и ужаснуться. Ну, можно ли было остаться равнодушным, услышав об аресте Лаврентия Берии, который оказался иностранным шпионом? Берия — шпион? Вот это да!

Это была новость. Но уже не такая ошеломляющая, как те прежние аресты. Уже возникло и росло сомнение в том, что это правда. А тут еще разоблачение этой женщины, которую недавно наградили орденом Ленина за раскрытие врачей-убийц. Они, оказывается, никакие не убийцы, а просто люди, которых зря оклеветали. Оклеветали ученых, известных ученых. Как же так могло случиться? Тогда кто поручится за то, что и другие не пострадали столь же безвинно?

Вера в святость апостолов, которые вчера окружали спящего ныне бога, пошатнулась. Пошатнулась практически впервые. Сам же бог по-прежнему оставался богом, величественно позволяющим глядеть на него тысячам верующих паломников. А из лагерей огромного государства с таинственным и пугающим названием ГУЛАГ стали выходить на волю годами безвинно томившиеся в заключении люди. Покидая проходные темниц, они все еще боялись верить в свое избавление и страшились возврата к тому кошмару. А ну, как произошла какая-нибудь ошибка, недоразумение, и их случайно выпустили, не разобравшись как следует, чего-то не досмотрев. Нет, лучше скорее бежать. Бежать как угодно и куда угодно. Лишь бы подальше. Так думали. Но ноги и судьбы неумолимо вели их к родимым порогам, туда, где их еще помнили и, несмотря ни на что, продолжали ждать.

Слухи о возвращении из лагерей ранее осужденных ползли по городу. Доходили они и до Петра, вселяя надежду и нетерпение.

— Слухай, Витек, — заговорил он однажды с сыном. — Напысав я все ж такы лыста Алеши Булычеву. Думав, думав и напысав. Хай поспытае, подывыться, де воно нашу маму доля закинула. Як ты думаешь?

— Ну, а чего же? Попробовать можно.

— Ото и я так думаю. Тилькы боявся, шоб самого Альошу, бува, не пидвесты.

— Не знал, что ты такой боязливый, батя, — усмехнулся Виктор и тут же, глянув на вдруг помрачневшее лицо отца, добавил:

— Воевал геройски, не боясь ничего, а тут вдруг оробел. Чего бы это?

— Чого, пытаешь? Того, що на вийни я своим життям рызыкую. Убыло — значить доля моя така. А тут я на чужу долю, на долю товариша свого зазихаю. От воно в чому рич. Хиба маю право пидвесты людыну? От и ломаю соби голову... Зараз, правда, час иный. Думаю, що своим лыстом биды для Альоши не зроблю.

Письмо свое он таки послал, и вскоре пришел ответ от Булычева. Тот о просьбе его ничего не сказал, но в самом конце письма

заметил: «...Думаю, что скоро, а может быть, и очень скоро, нагрянут к тебе, Петро, гости. Так что готовься». Вот и понимай, как хочешь: то ли сам со своей Полиной заявится (такое ведь тоже может быть!), то ли на Катю намекает. Ну, что ж так, значит, так. Приедет сам, тогда они и поговорят обо всем подробнее...

А лагерь, в котором находились Катя и Галина Кузьменко, пребывал в напряженном ожидании. Наконец дошла очередь и до них.

— На выход с вещами! — последовала команда. И вот после необходимой и томительной процедуры оформления документов они уже за зоной.

— Ху! — зажмурив глаза, выдохнула Галина. — От мы и на воле с тобой, Катька.

— Да. Даже не верится.

— Куда ж ты теперь?

— Не знаю. Ничего не знаю, — сдвинув плечами, ответила Катя.

— Так, может быть, двинем к моей Лене в Джамбул, — немного поколебавшись, предложила Кузьменко. — Шо оно за Джамбул, я и сама не знаю, но первое время как-нибудь перебъемся. Едем?

— Нет, — покачала головой Катя. — Поезжай к дочери. А я не буду вам мешать. Двину в родные места на Украину.

— Значит, на Донбасс?

— Посмотрим, — уклончиво ответила Катя.

Для себя же она уже давно твердо решила, что поедет вначале в Джезказган, где попытается что-нибудь выяснить о судьбе матери и сына, затем заедет в Москву к Булычевым и оттуда уже в Запорожье. Должны же отыскаться если не родственники, то друзья Петра, которые хоть что-нибудь могут рассказать о нем. Если же там ничего не удастся узнать, тогда придется ехать на Волынь. Только зачем об этом знать Галине, с которой они хоть и провели столько лет вместе, но близкими так и не стали? У Галины своя судьба, а у нее, Кати, — своя. Пусть трудная, искалеченная, но своя, а значит, и дороги у них разные.

— Ну, шо ж, — видимо, не слишком обидевшись на отказ Кати от ее предложения, вздохнула Галина, — тогда бывай.

— Счастливо, — ответила Катя.

Простившись, они расстались, чтобы уже никогда не встретиться.

...Вернувшись с работы, Виктор ужинал вместе с отцом, который сегодня раньше него пришел и успел подготовиться к встрече сына. В последнее время Петро стал замечать, что ему доставляет огромное удовольствие баловать своего Витька, как они называли его с Катей в детстве, готовя всякие вкусные вещи. Он охотно ходил на базар, выбирая самые красивые овощи, а в праздничные дни еще и добрый кусок свинины или курицу.

— Ты, бач, — возясь у печки, подтрунивал он над собой, — з мене ще и куховар непоганий выйшов. Талановита вы людына, Петре Степановичу!

Сегодня Петро нажарил котлет, которые аппетитно пахли на тарелке, притрушенные зеленым лучком, и сделал салат из свежих помидоров с огурцами.

— Ну, батя! — восторгался Виктор, уминая за обе щеки, — ты у нас настоящий мастер.

— А шо ты думав! — подмигнул Петро. — Таки котлеты, мабуть, и мами б наший понаравылысь. Як вважаешь?

— Еще бы!

Поужинав, вместе убрали посуду, а потом каждый занялся своим делом. Петро готовился к завтрашним урокам, а Виктор прилег на кровать с газетой. Некоторое время в комнате стояла тишина, нарушаемая шелестом переворачиваемых страниц.

— Ух, ты! — оживился вдруг Виктор. — Ты читал, батя?

— Шо там таке?

— У села Гребень в Волынской области ликвидировали банду бандеровцев, которую возглавляли братья Семчуки. Оказывается, они прятались в схроне, вход в который был в дупле старого дерева.

Петро молчал, подперев руками голову.

— Ты меня слышишь, батя? — спросил Виктор.

— Чую, сынок.

— Ты же там жил?

— Там.

— Так что ты на это скажешь?

— Я знав тых Семчукив.

— Знал?

— Так.

— Ну, и что же?

— Одын и справди ворог наш лютый, а другого... другого мы сами зробылы ворогом...

Петро что-то хотел добавить, но в этот момент раздался стук в дверь.

— Хто це? — сдвинул плечами Петро и направился к двери.

Потянул ручку на себя и замер: на пороге стояла Катя.

— Го... горобчику! — прошептал он, хватаясь за сердце. — Ридна моя...

ЭПИЛОГ

Шли годы. Страх, который при жизни Сталина спеленал, будто немочного младенца, волю народа, делая ее вялой и покорной, постепенно слабел, уходил. Правда, новый вождь Никита Хрущев, долгое время сам пребывавший в смертельном ужасе перед всесильным земным богом, попытавшись было отогнать страх решительно и смело в начале своего правления, вскоре начал сожалеть о содеянном. Стараясь хотя бы частично вернуть его, он гремел на всю страну своими грозными речами, кого-то пытаясь убедить, кому-то угрожая. Демонстрируя свое всесилие, он добился того, что из Мавзолея был удален тот, перед которым трепетали все. Но его только побаивались. Страх, как преданный пес, охранявший долгое время покой и веру в великой державе, покинул ее подворье. Воля, проснувшаяся после долгой спячки, тревожила души людей, требовала простора, дразнила дремающие в колыбели истории ветры социальных бурь. Советские люди стали потихоньку навещать страны ранее запретного Запада. Впервые в таком большом количестве и главное — с совершенно мирными целями. Да и откуда было взяться завоевательным целям у туристов, которые отправлялись в свои вояжи не только без оружия, но и без мало-мальски приличной суммы денег? Они просто открывали для себя новый мир, который представал перед ними несколько иным, нежели рисовали его их отечественные мастера устного и печатного слова.

Довелось побывать в зарубежной поездке и майору Булычеву. Делая свое дело, Алексей Андреевич не привык мельтешить перед очами начальства. И видимо, поэтому погоны его военного мундира украшала всего одна звездочка. Но разве в этом дело? Он честно прожил свою нелегкую жизнь, ни единого разу не войдя в конфликт с собственной совестью. Это было, по его мнению, главным. И хорошо, что так оценило его служебную деятельность руководство комитета государственной безопасности, отправляя в круиз по Средиземному морю.

— Это тебе премия за добросовестную работу, — сказал, подписывая командировочные документы, начальник управления генерал Кравчевский. — Желаю приятного отдыха перед пенсией. Когда отправляешься в Одессу?

— Завтра, — коротко ответил Булычев.

— Что так рано? Ведь до отправления теплохода еще пять дней.

— Хочу заехать в Запорожье. Есть один вопрос по управлению. Уж очень рвется в те края бывшая жена Махно.

— Галина Кузьменко?

— Да. Она. Хочу кое-что проверить. Да и друга своего старого навещу.

— Задорожнего?

— Его.

— Как он там?

— Болеет. Два инфаркта.

— Многовато, — генерал помолчал и, отвернушись к окну, бросил:

— Будешь видеть Задорожнего, привет ему передай. И жене его... тоже.

— Слушаюсь. Разрешите идти?

— Иди. Счастливой тебе дороги.

Круизная поездка и в самом деле была интересной. Они увидят Турцию, Сирию, Египет, Мальту, Францию, Италию и Грецию. Шутка ли сказать! Да об этом можно только мечтать. Но не таков был майор Булычев, чтобы не понимать, что, кроме приятных впечатлений от встречи с древними городами, вояж сопряжен и с большой ответственностью за безопасность четырех сотен туристов. Запад есть Запад, и от него всякие неожиданности нужно ждать. Поэтому Алексей Андреевич тщательно изучал дела своих будущих подопечных, стараясь предугадать, что следует ожидать от того или иного из них.

В Запорожье, решив все вопросы в управлении, отправился к Задорожним.

— Хворию, хворию я, дорогый Алеша! — жаловался за чаем Петро. — Выдно, пора вже видпочиваты.

— Наконец-то до него дошло! — вставила, осуждающе покачав головой Катя. — Давно пора на пенсию, а ты все харахоришься.

— Знов ты за свое, Катю, — вздохнул Петро. — Хотелось же побачить, як онук у школу пиде.

— Ну да! А потом дождаться, когда Василек школу окончит.

— А шо ж? И то було б непогано.

— Ничего, Петр, — усмехнулся Булычев, — пойдешь на пенсию, будет больше времени, чтобы внуку в учебе помочь.

— Та и то правда, — согласился Петро и, улучив момент, когда Катя была занята чем-то на кухне, тихо обронил:

— Ты ж приглянешь там у круизи за нашим Витьком, Алеша?

— Ладно, ладно тебе! — рассмеялся Булычев. — Он и сам за кем нужно приглянет: как-никак руководитель группы туристов. Кому попало такое обком партии не доверит.

— Воно-то так. А ты все ж хоч одным оком поглядай.

— Эх, родители! Дети для нас всю жизнь будут детьми...

Они посетили сирийский порт Латакия, побывали в Александрии и Каире, фотографировались у древних египетских пирамид и на казавшихся игрушечными улицах столицы Мальты Ла Валетта. Любовались красотами французского курортного города Ницца. А теперь теплоход шел к берегам сказочной Италии. К сожалению, стоявшая все предшествующие дни солнечная погода вдруг испортилась, заставив перебраться с палубы в салоны и каюты.

Непогода, зародившаяся над морем, перекочевала на континент. Весь вечер моросил мелкий осенний дождь. Его монотонный надоедливый шелест, казалось, заполняя собою все пространство, проникал в каждую щель, поглощая и перетирая другие, утонувшие в нем звуки. Несметное воинство дождевых капель обрушивалось на взбухшую от избытка влаги землю, голые кроны устало дремлющих деревьев, нахохлившиеся крыши строений. Ударяясь о неподатливую твердь, они, словно в испуге, отскакивали и тут же стекали куда-то вниз бесчисленным множеством стремительно мчавшихся ручейков. Мутные потоки, образуемые ими, с обиженно-сердитым бульканьем слизывали следы, оставленные людьми уже давно погасшим днем, и, унося их за собой, прятали в бездонных кладовых водяного царства.

К середине ночи дождь прекратился, но холодная, липкая сырость еще долго висела над Чивитавекья, цепляясь за мокрый асфальт узеньких улочек, напитавшиеся влагой стены домов, пробираясь в остывшие за ночь квартиры обитателей этого небольшого итальянского городка, что раскинулся на берегу Тирренского моря. Разбуженные коварно подкравшейся стужей, взрослые зябко поеживались и, сердито ворча и постанывая, торопливо кутались в одеяла и пледы. Согреваясь теплом собственного дыхания, они вскоре вновь погружались в дремоту, продолжая во сне решать свои трудные житейские дела, которые никак не хотели позволить забыть о себе, дать отдохнуть издерганным и усталым людским душам. Лишь набегавшиеся за день мальчишки и девчонки, которые совсем не чувствовали груза надвигающихся на них забот, оставались равнодушными к злым козням холода. У них еще все было впереди.

В этот предутренний час на деревянном топчане в углу крохотной комнатки полуразвалившегося домика сторожа элеватора, уперев глаза в потолок, лежал высокий худой старик. Он весь окоченел. Порой ему казалось, что кровь прекратила свой бег, остановилась, замерла в венах и теперь источает остатки своего тепла. Еще немного, и это тепло совсем покинет его тело, и оно превратится в холодное, безжизненное бревно, подобное тому, из которого сделан этот противно поскрипывающий топчан. А может... Может быть, его совсем не станет? «Не станет... Не станет... Не станет», — назойливо и сухо стучала мысль в висок. Вначале он воспринимал ее равнодушно, как будто она относилась не к нему, а к кому-то другому, совсем постороннему. Когда же страшный смысл дошел, наконец, до старика, он не на шутку испугался. Тряхнул головой раз, потом другой, пытаясь прекратить навязчивый стук. Подтянул к самому животу заледеневшие ноги, которые никак не умещались на коротком топчане, и, закутавшись в полы ветхого пальто, замер. Какое-то время, показавшееся ему вечностью, старик напряженно вслушивался в себя. Сейчас ему было

очень нужно уловить биение жизни в собственном теле. Хотелось, до невозможности хотелось убедиться в том, что живет не только мозг, а весь он, Никита Прудкосвист. Старик со страхом ждал, когда отступит сковавший его холод. Ему уже начинало казаться, что этого никогда не будет, что уже началось его исчезновение. Вот сейчас начнут остывать ноги. Потом мертвящий холод станет подниматься все выше и выше, подбираясь к рукам, подкрадываясь к сердцу, отупляя и замораживая мозг. Может быть, он еще будет видеть и понимать, как обнаружат его закоченевшего в этой лачуге. Вот его поднимают и, накрыв простыней, несут в машину, чтобы отвезти на кладбище. «Но почему? Почему сразу на кладбище?» — слабой искоркой вспыхнул в нем протест. Но искорка тут же потухла. — «А куда же еще? — тоскливо подумал Никита. — Кому я нужен, обездоленный и нищий? Ведь денег при мне не хватит даже на то, чтобы сколотить самый паршивый гроб, эту хижину мертвых. У меня и ее не будет. Бросят, как собаку поганую, и засыпят землей».

От обиды и жалости к самому себе старик всхлипнул. Нет! Не бывать этому. Он не хочет! Не желает! У него есть еще силы, чтобы жить. Да! Он будет жить. Назло всем будет...

Никита завозился на топчане, пытаясь сгруппироваться поплотнее, подкладывая под бок полы пальто. Нашел наиболее удобное, как ему показалось, положение и снова замер. Пошевелив пальцами ног, почувствовал, как на ступнях ожили теплые комочки. С силой втянул в себя воздух, с радостью отмечая, что остановившаяся было кровь вновь начинает оттаивать и медленно, как бы лениво и нехотя, продолжает свой бег. «Слава богу! — облегченно вздохнул он. — Может быть, хоть сегодня удастся немного поспать». Плотно сомкнул веки, чувствуя, как в уголках губ начинает зарождаться улыбка. Но он тут же гонит ее прочь, боясь спугнуть такое долгожданное и кажущееся почти невозможным блаженство покоя. Оно еще не пришло, не наступило. Но уже слышно, уже ощущается его приближение. Вот сейчас... Сейчас он досчитает до пятидесяти, нет, до ста и тогда... Тогда веки сами сомкнутся, и он погрузится в сон. Он будет спать спокойно и долго, а потом проснется уже совсем другим человеком, спокойным и сильным, и все будет у него иначе. «Шестьдесят восемь, шестьдесят девять, семьдесят...», — считает про себя Никита. Но сон не идет к нему. Отступившие было неприятные и тревожные мысли вновь выползают изо всех щелей, накатываясь волнами, опять начинают одолевать его. Они кажутся похожими на густую и липкую пену, которая заполняет собою все пространство, все ближе и ближе подступаясь к нему самому. Прудкосвист почти явственно ощущает ее противный горьковато-солено-кислый привкус, который становится просто невыносимым. Пытаясь избавиться

от него, он с силой выдыхает из себя воздух и, стараясь не дышать, начинает шептать молитву:

— Господь! Просты мене гришного. Сохраны и помылуй. Дай покой рабу твоему Мыкыти...

Покой. Неужели же он и его не заслужил своими молитвами? Это же не деньги, которые, он хорошо знает, добываются потом или кровью. Это всего-навсего несколько часов безмятежного сна, когда ты отрываешься от собственного страха, от грехов, двухпудовыми гирями висящих на твоих ногах... Всего несколько часов. Или хотя бы один-единственный. Но, видно, и его сегодня не будет. Ведь скоро сюда явится после ночного дозора синьор Марио, и нужно будет покинуть эту «виллу». Так громко именует свою хибару хозяин, согласившийся за сходную цену пускать чем-то приглянувшегося ему постояльца на ночь. Куда же идти сегодня? Как надольше растянуть проклятые лиры, которые в этом году удалось с таким трудом заработать на сборе винограда и которые, будто дождевая вода сквозь пальцы, так быстро уплывают из его потрепанного кошелька? А может быть, не пожадничай он тогда да купи себе новый кошелек, который предлагала на вокзале в Риме та молодая еврейка, лиры подольше задерживались бы у него? Вряд ли, конечно. Но все же...

Да! Не думал... не думал и не гадал он, Никита Прудко-свист, что вот так, бездомной и всеми гонимой собакой придется встречать ему свою старость. Ведь как хорошо складывалась жизнь в самом начале. С какой легкостью он взлетал над землею! Она казалась ему маленькой и жалкой, ожидающей, как нищий у церкви, его внимания и милости. Что же случилось? Как и когда он сорвался в эту страшную пропасть? Кажется, он уже много-много лет беспомощным камнем с диким свистом несется вниз, ударяясь и царапаясь об острые скалы, безжалостно швыряющие, отталкивающие его от себя в открытую пасть бездонного ущелья. Летит, с леденящим сердце ужасом ожидая страшного приземления, после которого уже не будет ни вконец измучившего, измотавшего его душу полета, ни его самого. Ничего не будет... А может, и не было вовсе ничего? Ни отца с матерью, ни его, Никиты, ни Марии, ни сына, ни той девчонки. Так себе, дух господний навеял, настроил, начудил эти страхи, пустил по свету и забыл про них. А они носятся теперь, гонимые буйными ветрами по разным городам и странам, лютуют, пугают себя и других. Где же конец этим мукам? Когда утихнут они, успокоятся? Только нет, не страшный это сон. Не чьи-то чудесии. То жизнь. Его, Никитина, жизнь. И никуда от нее не уйти. Никуда не спрятаться...

Холод. Проклятый и липкий холод мокрой простыней укутал его тело, и никакого спасения от него нет. Вот тебе и солнечная Италия! Где оно, это солнце? Кто его видит и кому оно светит?

Поманило оно тогда, усмехнулось тем летним днем, когда сходил он на берег. Поманило и скрылось. Думал: «Доберусь до того тепла, куплю себе хатенку. Пусть малюсенькую, поганенькую, но свою, собственную, чтобы дома себя чувствовать». Но от этой мечты сразу же пришлось отказаться: на клетушку-комнатенку уходили все его запасы. А остаться без гроша в кармане Никита не мог. Не хотел рисковать. Уже не раз имел возможность убедиться, что нужными являются лишь те, у кого есть деньги. Без них никому ты не нужен. Будешь лежать себе, как камень немой или башмак рваный и грязный, до которых никому дела нет. Носила, гоняла его жизнь с места на место, как ветры перекати-поле по степи: жил то в сарайчиках у хозяев, к которым нанимался на работу, то снимал уголок где-нибудь на самой отдаленной и грязной окраине, куда нормальные люди и заходить-то боялись. Случалось и просто на улице или на вокзале коротать свои ночи. Словом, не нашлось ему теплого местечка под итальянским небом. Не нашлось, и все тут. Утешением, хотя и слабым, служило то, что не один он такой здесь. Много всякого люду прибивалось к итальянскому берегу, отыскивая свое беспутное, где-то заплутавшее счастье. Ой, много! Да только мало кому открывалось оно здесь, улыбаясь приветливо и солнечно. Остальные так и маялись до окончания дней своих, терзая душу безысходной осенней сыростью. И кого среди них только не было: и черные, будто вымазанные сажей, африканцы, взывающие к состраданию вымученной улыбкой, за которой сладким сахаром блестели неправдоподобно белые зубы, и печальноглазые арабы, и хмурые, злые от собственной неустроенности, европейцы. Бесцельно бродя по развалинам Римского форума, натолкнулся как-то на полячек в монашеском одеянии, пугливо озиравшихся по сторонам и о чем-то шептавшихся между собой. Никита пошел было за ними следом, вслушиваясь в знакомые слова, чем-то напоминавшие его родную мову, которой он давным-давно не слышал. Он чувствовал себя охотником, подстерегающим в заснеженной и тихой степи зайца. Ловил каждый шепоток, который доносился от маячившей впереди стайки чернушек. Но монашки, видно, заподозрив что-то недоброе с его стороны, прибавили шагу и упорхнули.

Он все реже и реже находил себе работу и, не зная, куда девать свободное время, страдал от одиночества и собственной непотребности. На этом щемящем чувстве, как простуда в холодной сырости, зрела непонятная болезнь. Она подкрадывалась незаметно и тихо и, наконец, обрушилась на Никиту, сминая и раскатывая его душу и тело. Он хорошо помнит, когда это случилось, когда грянул самый первый ее удар.

Бесцельно бродя по городу, Никита услышал однажды, как кто-то крикнул:

— Мама! Подождите меня с Райкой здесь. Я сейчас.

Никита не поверил своим ушам. Он даже остановился. Русские? Откуда они здесь? Может быть, показалось?

— Ох, доченька! — вздохнула, поравнявшись с ним, полная старуха. — Совсем ноги не держат. Давай отдохнем.

Старуха огляделась и тяжело опустилась на подоконник магазина.

— Мама! Что ты себе думаешь?! — всплеснула руками молодая. — Здесь нельзя сидеть. Нас оштрафуют.

— А-а-а! Мне все равно, — махнула рукой старуха. — Кроме дырявых калош, у меня нечего взять. Вот.

Она для убедительности развела пухлые руки и повертела туда-сюда ногами, действительно обутыми в бурки с калошами.

— Хай... Хай посыдыть женщина, — облизывая ставшие вдруг сухими и жесткими губы, чужим, хриплым голосом произнес Никита.

— О боже! — воскликнула старуха — Мужчина! Откуда вы? Вы знаете русский?

— Знаю, — кивнул Никита и стал лопотать что-то несвязное о войне, о военном ветре, который разбросал людей по всему свету. — Ну, а вы ж хто будете? Звидкиля?

— Звидкиля? — невольно усмехнулась старуха, дернув тоненьким шнурочком уса, вцепившегося клещем в ее верхнюю губу. — Звидтиля, откуда и вы.

В голосе ее слышалось уже призабытое произношение евреек-торговок, с которыми Никита не раз встречался на базарах в Александровске и в Никополе.

— Откуда? — выдохнула женщина. — Из рая. От своего дома, где все-все необходимое было, понесла нелегкая моих деточек. Куда? Зачем? Не знаю.

— Мама! Перестань, — вяло, как бы нехотя, попыталась остановить ее молодая.

— Перестань, перестань, — всхлипнула старуха. — Что перестань? Разве не говорила я вам: «Дети! Что мы делаем? Куда мы едем? Зачем мы едем?» Не послушали. Мама старая. Мама век прожила. Мама дура. Дура. Конечно, дура. Кому я здесь нужна? Были бы силы, я бы на коленях шла домой. Приползла бы на границу, слезами за собой дорожку вымыла. Но кто меня туда пустит? Кто? Видно, только во сне я смогу увидеть наш Днепропетровск.

Старуха заплакала, сотрясаясь всем своим большим и рыхлым телом.

— Что такое? Что случилось? — встревожился молодой человек, бросив сердитый взгляд на Никиту. — Что вы хотите, синьор?

— Та ничего я не хочу, — сдвинул плечами Никита.

Он понял, что перед ним семья еврейских эмигрантов, покинувших Советский Союз, о которых уже слышал.

— Этот мужчина наш земляк, Миша, — тихо сказала молодая.

— Земляк? — оживился мужчина. — Правда? Откуда?

Но у Никиты пропало всякое желание продолжать разговор. Он махнул рукой и быстро зашагал, стараясь отделаться от ставших ему неприятными людей. «Эмигранты! — все больше распаляясь, ругался он. — Курр-р-вы паршиви! Лахудры вонючи! Го-о-о-с-поди! И шо их гоныть? Шо штовхае на таке дило? Скилькы их Гитлер постреляв, попалыв, потравыв, подушив, як мух, а воны туды лезуть, де духу цього аспида, як Господу богу моляться. Сам же он своими глазами портреты его в книжных лавках видел. Ну, есть ум у людей этих? Проститутки и те не живут в борделях, где бьют их. А эти? Бараны! Чистые тебе бараны. Побежали! Уехали! Да кто за вами гнаться будет? Какому дурню нужна свинота смердюча. Тьфу!» Он даже сплюнул в сердцах, не замечая, как подозрительно поглядывают на него прохожие.

В тот же день Никита уехал в Милан, где один из итальянцев, с которым подружился во время уборки винограда, пообещал помочь с работой. Сидя в вагоне, задремал. Проснулся с каким-то уже давно забытым, радостным чувством ожидания встречи с чем-то хорошим и желанным. Никита долго не открывал глаза, надеясь, что снова уснет, и это приятное явится ему во сне. Уснуть не удалось, а радостное, светлое чувство не проходило. Оно, казалось, окутало собой все вокруг, проникло в самое сердце, будоража, ускоряя бег крови. «Го-о-споды! Що ж це? — думал Никита, ощущая, как мелко подрагивают ресницы, вызывая готовые вот-вот появиться слезы. — Що ж це зи мною?» Стараясь взять себя в руки, глубоко вздохнул и замер в недоумении. Хлеб! Он явственно ощущал запах хлеба. Не того, обычного, который каждый день видел в лавках, а давно забытого, житнего. Но откуда он здесь?

Никита открыл глаза. Напротив сидел пожилой мужчина и читал, держа перед собой газету. Это был сегодняшний номер «Униты». Окончив читать, мужчина свернул газету и, щелкнув замочком, спрятал ее в портфель, стоявший под сидением вагона. Хлебный запах стал еще сильнее. «Значить, дийсно! — обрадовался Никита. — Це хлиб! Справжний житний хлиб!» В памяти всплыли родные места, их Андреевка и мать, достающая из печки свежий хлеб. Вот она берет одну за другой хлебинки из жаркой печи и, уложив аккуратненько рядами, накрывает полотенцами. Так они долго будут стоять в углу, рядом с иконами, наполняя хату этим ни с чем не сравнимым запахом родной хаты, степного простора и самой жизни.

Откинувшись на спинку, мужчина дремал, прикрыв глаза. А Никита сидел, как деревянный, вцепившись руками в сиденье. Ему до невозможности хотелось взять этот проклятый портфель, тихо открыть его и, отломив корочку хлеба, положить в рот. Это было такое сильное желание, что еще немного и он бы уже не смог ничего с собой сделать. Оно бы смяло, раздавило его.

И тогда... Кто его знает, чем бы все это кончилось. Но в тот самый момент, когда Никита уже собирался протянуть руку к портфелю, поезд начал тормозить, и мужчина, сидевший напротив, проснулся. Он смущенно улыбнулся и, смахнув рукой остатки дремоты с лица, поднялся. Проводив его взглядом, Никита еще долго сидел в оцепенении, не решаясь пошевелиться, упиваясь еще сохранившимся в купе запахом хлеба.

С того самого дня Никита почувствовал, что где-то внутри него, у самого сердца зародилась новая, ранее незнакомая ему жизнь. Вспоминалась Марийка, о которой он давно старался не думать. Так, наверное, так она чувствовала себя, когда узнала, что станет матерью. Но при чем здесь это? Разве дано мужику когда-нибудь изведать это чувство ожидания новой жизни? Нет. И все же... То, что зародилось внутри него, было чем-то желанным. Оно звало его домой, к Марийке, к их Павлу. Они помнят его. Должны помнить и простить. Обязательно должны. Он придет к ним виноватый и раздавленный, мертвый, с опустошенною душой. Станет на колени, и они помилуют, простят его. И тогда,.. тогда, орошенный их святым прощением, станет быстро расти в нем этот новый, совсем другой человек. А пока он будет согревать его, беречь. Будет идти за ним следом, растить его и, может быть, наконец, настанет тот счастливый миг, когда он сбросит налипшую за все эти годы грязь, весь ужас и снова почувствует себя молодо и легко. «Може буты... Токо треба берегты його», — думал Никита, со страхом чувствуя, как дремавшая в нем немочь, физическая и духовная, весь накопившийся яд начинают активно противиться его желанию, бунтовать, угрожая захлестнуть ту, едва начавшую дышать в нем, новую жизнь, а с нею и его самого...

В последние годы он особенно плохо чувствовал себя. Почему-то больше всего страшился дождя. Стоило лишь тучке на небе появиться, как его начинало трясти. Знал, что ночью обязательно Петро Задорожний или расстрел будут сниться. И та девчонка с большими черными глазами. Просыпаясь в холодном поту, уже не мог уснуть до утра и вот так же, как теперь, по дням перебирал свою жизнь. Будто судил самого себя. Сколько мест поменял, сколько городов и стран проехал. Ни одной церкви не минул, а не может с души снять груз тяжкий. Ничего не помогает. Куда ни поедет, а эти глаза следом за ним. И негде от них спрятаться...

Погрузившись в свои мрачные мысли, Никита не заметил, как к «вилле» подошел возвращающийся с работы ее хозяин Марио. Вздрогнул, услышав скрип двери, и, поднявшись с топчана, стал торопливо одеваться.

— Ты еще спишь, приятель? — зевнув с каким-то странным подвывом, поинтересовался хозяин.

— Я зараз пиду. Я зараз, синьор Марио, — извиняющимся тоном залепетал Никита, чувствуя все нарастающее презрение к самому себе и за то, что все еще здесь, и за проклятую робость перед этим плюгавеньким старикашкой.

— Ничего, ничего, — успокаивая, похлопал по плечу ночного гостя хозяин. — Сегодня ты можешь еще немного побыть у меня. Я хочу угостить тебя чашкой кофе и кое-что сообщить.

«Про шо то вин?» — с тревогой подумал Никита.

— Ты ведь, кажется, русский? — спросил синьор Марио, колдуя над кофейником.

— У... украинец, — выдавил из себя Никита и впился глазами в торчащие из-под пиджака острые лопатки Марио, будто пытаясь быстрее вытащить из них что-то очень важное, о чем все еще никак не может сказать ему хозяин «виллы».

— Украинец? — удивленно взглянув на Никиту, переспросил Марио, а потом, вдруг рассмеявшись, затряс головой, на которой смешно, как у молоденького петушка, торчал гребень седых волос. — Понятно, понятно. Мы всех, кто живет в твоей стране, называем русскими. И ты тоже русский, Ник.

Мимо окошка промчалась большая колонна автобусов.

— Куда то воны так рано? — удивился Прудкосвист, проводив взглядом последнюю машину.

— Куда? — весело сверкнул глазами Марио. — За русскими туристами. Вот куда.

Он видел, как ночной гость вздрогнул, услышав его ответ, и, подождав, пока тот немного пришел в себя, добавил:

— Сегодня к нам приходит большой корабль с туристами из России. Из Советского Союза.

Никита неотрывно смотрел на Марио, чувствуя, как ноги, руки, все его тело наливается какой-то свинцовой тяжестью, а дышать становится все труднее и труднее.

— Когда? — едва ворочая языком по пересохшему рту, наконец выдавил он из себя по-итальянски.

— Что «когда»? — непонимающе уставился на него Марио. — Говорю же — сегодня приходит. Разве не ясно?

Маленькие, торчащие, как у кролика, ушки Марио краснеют. Это явный признак того, что он начинает сердиться.

— Простите, — смущенно улыбнулся Никита, пытаясь унять острую боль в левой части груди. — Я хотел спросить: в котором часу приходит корабль?

— Не знаю, — сдвинул плечами Марио. — Видно, скоро, раз автобусы уже подают.

Боль в сердце немного утихла, дышать стало легче. Прудкосвист сделал несколько осторожных шагов по комнате. Вроде ничего. Остановившись у зеркала, поднял глаза и, увидев свое худое, дряблое, давно не бритое лицо, поморщился.

— Синьор Марио, — робко попросил, — позвольте мне побриться у вас.

Никита, пожалуй, и себе вряд ли мог объяснить, почему вдруг пришла в голову эта мысль. Он неделями мог ходить небритым, давно уже к этому привыкнув, не ощущая никакого неудобства. А тут — на тебе. Торопливо водя по намыленным щекам лезвием бритвы, чувствовал, как все еще дрожат пальцы. «Чего це? Що зи мною? — пытаясь успокоиться, спрашивал себя Никита. — Радянський корабель? Ну и шо? Хиба раниш, понимаешь, мени не доводылось бачить корабли, що прыходылы звидты?» Почему же тогда он воспринимал их спокойно? Почему сегодня его всего трясет? Нет, видно, и вправду говорят люди, что к концу жизни все больше на родину тянет. И даже болезнь такая есть. Ностальгией зовется. Неужели? Неужели скоро конец?

Окончив бриться, Прудкосвист достал из саквояжа чистую рубаху, переоделся и, простившись с Марио, вышел на улицу.

Он боялся опоздать к приходу корабля и, казалось, совсем забыл о слабом сердце, больных ногах, спешил поскорее попасть в порт. Увидев выстроившиеся в ряд автобусы, немного успокоился и, вытирая платком застилающий глаза пот, стал прохаживаться по набережной. Вдруг среди группы водителей автобусов Прудкосвист уловил какое-то оживление. Напрягая зрение, стал всматриваться в море, откуда должен был появиться корабль. Вскоре он увидел какую-то точку, которая быстро приближалась. Через время уже были четко видны очертания огромного лайнера, который гордо входил в порт Чивитавекья. «Советский Союз», — прочитал на его борту Прудкосвист и снова почувствовал острую боль в области сердца. Чтобы удержаться на слабеющих ногах, схватился руками за столб освещения.

Молча смотрел, как, пройдя таможенные формальности, туристы стали спускаться по трапу теплохода. Жадно вслушивался в каждое слово, произнесенное этими, как ему показалось, необычно веселыми и жизнерадостными людьми.

— Запорожская группа, прошу в автобус номер шесть, — услышал он звонкий голос одной из симпатичных гидов и от неожиданности вздрогнул.

— Невжели з Запорижжя? — воскликнул Прудкосвист и тут же сам испугался своей неосторожности. Но отступать было уже поздно: двое мужчин, услышав вопрос, приостановились. Когда они обернулись, Никита застонал от новой боли, пронзившей его, казалось, насквозь: прямо перед ним, буквально в нескольких шагах, широко расставив ноги и развернув могучие плечи, стоял... Петро Задорожний. Тот же высокий, слегка нахмуренный лоб, те же синие-синие глаза с легкой задоринкой. Только волосы чуба, залихватски брошенные на затылок, другого цвета. Да, точно он, Петро Задорожний. И главное — совсем молодой. Будто и не было

для него ни тех многих лет, которые пролетели с их последней и страшной встречи, ни самой смерти. Почувствовав себя вдруг беспомощным, ничтожно слабым перед этим великаном, Никита втянул голову в плечи.

— Что? Земляков ищите? — спросил второй, пожилой мужчина, одетый в черную кожаную куртку.

— Та як сказать... — замялся Никита, не в силах оторвать взгляда от представшего вдруг перед ним из небытия Петра.

— А может быть, сами из тех мест? — спросил его тот, с интересом рассматривая Прудкосвита.

— Може буты, може буты, — отводя взгляд, неопределенно ответил Никита.

— Как же здесь оказались?

— Так людына ж, як пищинка: дунь на ней — и полетила. А за мою жисть багато витров прошумело. Ой, як багато!

Никита лихорадочно искал возможность подольше задержать собеседников, но в это время кто-то из туристов позвал их и они, извинившись, поспешили к автобусам.

«А ну, як и наш там? — мелькнула мысль — Пашка! Ну, як и вин прыихав». Теряя контроль над собой, Никита бросился следом, но тут же был остановлен водителем автобуса:

— Ты куда, старик?

— Пусты, мени треба! — попытался обойти водителя Никита и сразу же почувствовал, как тисками сжали его руки.

— Ну, тебе же сказано, что сюда нельзя! Хочешь, чтобы карабинеров позвал? — рассердился водитель.

Легко, почти без усилия он оттолкнул Никиту, и тот едва удержался на ногах. Подхватив свалившуюся на землю потертую шляпу, Прудкосвист снова приблизился к автобусу, пытаясь через окошко увидеть новых знакомых, к которым его толкала какая-то неведомая сила.

Когда автобусы, сердито урча, начали трогаться с места, Никита побежал за колонной, крича:

— Стийте! Куда же вы? Куда вы?

— В Рим. Мы едем в Рим, — услышал он из открытого окна.

С чувством горечи оттого, что не выяснил для себя чего-то очень важного, может быть, самого главного, без чего нельзя теперь дальше жить, Никита метался по порту, пытаясь найти хоть какой-нибудь транспорт, чтобы добраться на нем до Рима. Он близок был к отчаянию, когда наткнулся на молодого, но уже совсем лысого парня, который заканчивал загрузку своего грузовика.

Оглядев с ног до головы Прудкосвиста, лысый согласился взять его с собой, но тут же потребовал деньги вперед и, деловито посчитав лиры, скомандовал:

— Садись. Только веди себя смирно или, еще чего доброго, не вздумай умереть по дороге.

— Ладно, ладно, — отмахнулся Прудкосвист, взбираясь в кабину грузовика.

Ему очень хотелось догнать ушедшие далеко вперед автобусы, а поэтому казалось, что они едут слишком медленно. «Ну шо ты тягнешся, стара кобыла!» — ругался про себя он, поглядывая на спидометр. Заметив волнение странного пассажира, водитель, наконец, не выдержал:

— Случилось у тебя что-нибудь?

— М-да... случилось, — буркнул в ответ Прудкосвист и надолго замолчал, погрузившись в свои мысли.

Отчего так происходит? Ну разве не все равно, где жить человеку — в Европе, Америке или в России? Ведь везде же, кажись, одинаковая земля, одинаковые люди. Ну, и живи себе спокойно. Так нет же. Чего-то надо человеку, чего-то особого ему хочется. Взять тех же казаков-некрасовцев, с которыми встретились в Турции. Ведь, понимаешь, двести лет прошло, как уехали они из России. Еще при царе Петре I. Почитай, не одно поколение схоронили на чужбине, а все считали себя русскими и мечтали домой вернуться. Мечтали и таки добились своего те самые казачки. Домой! Где он — его дом? Кто его там ждет? Нет, видно, и вправду, тянет к себе родимая земля. Ох, как тянет!

Сколько раз он думал о ней! Где-то в глубине души капельку, самую-самую малость надеялся, что, может быть, там, дома, его все-таки простят. Ведь давно все это было. Да и не сам же он убивал — заставляли. Но чем больше он думал об этом, тем больше понимал, что не будет ему прощенья. Кровь на его руках. Не отмыть ее. И всякий раз, приходя к такому выводу, он впадал в отчаяние, проклиная свою судьбу. Однажды, когда ему было особенно тяжело, вдруг мелькнула новая мысль. А что если плюнуть на все, прийти в советское посольство и сказать: «Ось вин я — злодий, убыйця. Берить мене, робить, що хотите». Вначале стало страшно, и он, ругая себя, попытался расстаться с этой мыслью, но она уже цепко держалась за него. «Ну и шо ж? — смиряясь, думал Никита. — Хай прызначать кару. Саму найстрашнишу. А покы воны будуть там у всьому розбыраться, я, може, хочь на время збавлюсь вид отих мук. Хочь на время перестану судыть себе».

Сжившись с этой мыслью, Никита почувствовал некоторое облегчение на душе. Будто переложил лежащую на нем огромную тяжесть, все это время мучившую его, на плечи невидимых судей, которым предстояло судить его. Но такое состояние продолжалось недолго. «А ну, як зовсим не пустять мене туды?! — закралось как-то сомнение. — На биса, скажуть, нам таке гивно здалось?» И он снова потерял покой.

Теперь его волновал один-единственный вопрос: пустят или не пустят его. Едва встретившись с туристами, он почему-то сразу для себя решил, что именно они могут на него ответить.

Подъезжая к Риму, Прудкосвист, наконец, нарушил молчание:

— Ты не знаешь, хлопче, де зупыняються туристы з России?

Поймав удивленный взгляд водителя, Никита понял, что заговорил с ним по-украински и, смутившись, поспешил повторить вопрос на итальянском языке. Водитель понимающе закивал головой, и, немного подумав, назвал несколько гостиниц.

— Все они недалеко от вокзала Термини. И если нужно, я могу подвезти туда, — закончил он.

Прудкосвист благодарно кивнул головой и снова замолчал.

Никите повезло: у первой же гостиницы стояла группа советских туристов. Он подошел и долго стоял молча, вслушиваясь в их речь. Здесь были люди из разных мест: быстрые, темнолицые, с характерным разрезом глаз, по всей видимости, откуда-то из Средней Азии, степенные прибалты, были здесь и его земляки. Последних он сразу узнал по незабываемому говору, сложившемуся в родных местах юго-восточного Заднепровья, в котором, наряду с украинскими словами, как-то легко, естественно уживались и русские. Павла, как он ни всматривался в лица туристов, среди них не было, и Никита сник.

— Слухайте, — гудел широкоплечий детина с пшеничными усами, недоуменно разводя свои огромные натруженные руки. — Вы токо послухайте! Нас из Виктором поселили удвох. Дывлюсь, а у номере тильки одна кровать. Чому? Кажуть, номер симейный.

— Ну, ничего, Иван Михайлович, потерпи, дорогой, — успокаивал его тот, в черной куртке, с которым утром в порту разговаривал Прудкосвист. — Мы тебе, нашему славному сталевару, дома персональную кровать подарим.

— Нет, Алексей Андреевыч! — шутливо возражал великан, лукаво подмигивая товарищам. — Абы оце з якоюсь гарною дивчиною мене поселылы, то я б уже якось перемучився. Так де ж там! Спи, Иван, з оцим здоровылою Виктором Задорожним. Це ж шо воно буде? То вин мене зипхне, то я його посуну. Нет, вы себе как хотите, а я буду жаловаться.

— Н-да! — криво усмехнулся стоящий рядом с Прудкосвистом молодой человек. — Здесь только богу можна жаловаться.

Никита сразу узнал его и сестру из той семьи еврейских эмигрантов, с которыми когда-то встречался. Даже имена вспомнил — Михаил и Раиса. Он поискал глазами старуху, но ее не было.

— А вы откуда знаете? — спросил тот, которого звали Алексеем Андреевичем.

— Довелось хлебнуть, — уклончиво ответил молодой человек.

— Небось, на землю обетованную устремился? — высказал догадку кто-то.

— Да, — понурив голову, вздохнул молодой человек.

— Как же живется вам здесь? — спросила одна из туристок. — Чем занимаетесь?

— Да вот мать недавно схоронил, а теперь с сестрой водку, консервы, сигареты скупаем у туристов, а потом перепродаем, — выдавил из себя эмигрант. — Может, и у вас что-нибудь купим?

Он с надеждой огляделся вокруг, хотя уже давно понял, что здесь ему ничем поживиться не удастся.

— Значит, купцом заделался, — покачал головой сталевар. — А дома кем был? Небось, институт окончил?

— Университет в Днепропетровске, физико-математический факультет, — выдавил из себя парень.

— И не стыдно так опуститься?

— Так не ворую же, — срывающимся голосом ответил эмигрант, ежась под презрительными взглядами тех, кто еще недавно были его соотечественниками. — Жить же как-то надо...

Парень отвернулся и, смахнув грязным платком набежавшую вдруг слезу, с горечью и обидой продолжал:

— Вам хорошо говорить! Вы домой к себе поедете, где есть работа. А что у нас есть? У меня, у сестры, у нашего больного отца? Ничего. — Он уже не обращал внимание на слезы, которые катились по щекам и, всхлипывая, продолжал изливать свою обиду:

— Сколько раз обращались в посольство, просили, умоляли разрешить вернуться на родину. Не пускают.

— А что же ты думал, когда предавал свою Родину? — с гневом спросил Задорожний. — Что думал, когда плевал на свою мать, которая взрастила тебя и выучила? Нет, таких нам обратно не надо. Хозяйнуйте тут, у своей Европе. А мы вже там якось сами, без вас. От так...

Оставив понуро стоящего парня, туристы уселись в автобусы, направляясь на очередную экскурсию. Прудкосвист видел, как к эмигранту подошла его миловидная сестра. Прижавшись к его плечу, она что-то шептала, видно, успокаивая его, поглаживая по голове. Потом они медленно пошли по улице, унося с собой свою боль.

«От и все, — думал Никита, глядя им вслед. — Цим видмовылы. А як же зи мною?» Что их вина по сравнению с его? Значит, о нем, старом и умирающем волке, и говорить не стоит? Да. Вот тебе, понимаешь, и весь ответ.

Он криво усмехнулся и побрел, сам не зная, куда, с трудом переставляя слабые ноги.

Остаток дня Никита бесцельно слонялся по городу. Несколько раз натыкался на советских туристов, но уже не подходил к ним. Вечером, вконец разбитый, он вновь вышел к громадному зданию вокзала, решив где-нибудь поблизости устроиться на ночлег. Приткнувшись к какой-то теплой трубе рядом с двумя такими же, как и он, бездомными африканцами, Никита попытался уснуть. Но это долго ему не удавалось. Наконец, усталость сморила его. Во сне он снова видел ту страшную картину. Из рва, куда сбрасывали расстрелянных, на него смотрели большие черные глаза той девочки, которая молила его: «Дяденька! Дяденька, не убивай!»

...Ранним утром, выйдя подышать воздухом перед предстоящей поездкой в автобусе, туристы видели, как заталкивали в полицейскую машину носилки, накрытые белой простыней. Подошедшая к ним гид с деланной веселой улыбкой объяснила:

— Это умер бездомный старик. Таких у нас здесь много. Но вы не огорчайтесь. Италия — страна контрастов, и сегодня я покажу вам много интересных вещей...

Через несколько часов теплоход «Советский Союз» покинул Чивитавекью. Взяв курс к родным берегам, он уверенно разрезал морскую гладь. Вышедшие на палубу туристы горячо обсуждали увиденное.

— А все-таки, братцы, — запустив пятерню в свою шевелюру, вздохнул Виктор Задорожний, — лучше нашей страны и нашего строя ничего нет...

С ним согласились. Они гордились своей Родиной и делами своих отцов, еще не зная, что невидимые черви разочарования и безверия уже подтачивали корпус их державного корабля, готовя его гибель. Да разве может кто-нибудь знать, что ждет нас впереди, к чему приведут нас наши дела. Мы ведь и впрямь не ведаем, что творим в этом безмолвно взирающем на наши дела океане вечности.

СОДЕРЖАНИЕ

Е. Лукьяненко. АВТОР СЛОВА *5*

КНИГА 1. ***СЛЕДЫ*** *13*

КНИГА 2. ***ПОРОГИ*** *167*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 169

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 273

КНИГА 3. ***ВЕРА*** *369*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 371

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 442

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 527

ЭПИЛОГ 587

Літературно-художнє видання

ВОЛОВИК Віталій Іванович

Вибрані твори
ТОМ 1

Воля-волюшка

Роман-трилогія

Російською мовою

Головний редактор ***Я. Бердичевський***
Художній редактор ***О. Холковська***

Підписано до друку 03.06.2004.
Формат 60х90/16. Гарнітура «BalticaC». Папір офсетний.
Друк офсетний. Наклад 1000 прим.

Видавництво «ПРЕМ'ЄР»
Свідоцтво ДК №1439 від 23.07.2003 р.

69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 3 б
Тел.: (38-061) 220-02-10, (38-061) 220-09-91
E-mail: premierkniga@comint.net
Http://premier.ako.zp.ua

Віддруковано у ВАТ «Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе»,
61057, м. Харків, вул. Донець-Захаржевського, 6/8